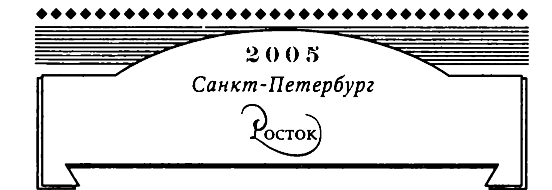
С Е Р И Я

Неизвестный XX век

2005
Санкт-Петербург
Росток

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН.
ЦАРСТВЕННЫЙ ПАЯЦ

Автобиографические материалы. Письма. Критика



ББК 83.3(2Рос=Рус)1
УДК 821.161.1
И26

*Федеральная целевая программа
«Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии
и книгоиздания России»)*

И26 Игорь Северянин. Царственный паяц: [Сборник / Сост., вступ. ст. и коммент. В. Н. Терёхиной и Н. И. Шубниковой-Гусевой. — СПб.: Росток, 2005. — 640 с.

ISBN 5-94668-029-3

«Царственный паяц» — так называлась одна из неосуществленных книг замечательного русского поэта Игоря Северянина (И. В. Лотарева; 1887—1941), познавшего громкую славу «короля поэтов» и горечь забвения. Настоящее издание раскрывает неизвестные страницы его биографии. Здесь впервые собраны уникальные материалы: автобиографические заметки Северянина, около 300 писем поэта и более 50 критических статей о его творчестве. Часть писем, в том числе Л. Н. Андрееву, Л. Н. Афанасьеву, В. Я. Брюсову, К. М. Фофанову, публикуется впервые, другие письма (Августе Барановой, Ирине Борман, Фелиссе Круут) печатались только за рубежом. Открытием для любителей поэзии будет прижизненная критика творчества поэта, — обширная и разнообразная, ранее не перепечатывавшаяся.

Для широкого круга читателей.

На обложке: В. Андога (1910)
(фотография из архива М. Г. Рогозиной)

ISBN 5-94668-029-3

В. Терёхина,
Н. Шубникова-Гусева

ЗА СТРУННОЙ ИЗГОРОДЬЮ ЛИРЫ...

(Легенды и факты из жизни Игоря Северянина)

«Игорь Северянин — поэт, в прекрасном, в лучшем смысле слова, — писал Валерий Брюсов. — <...> Это — лирик, тонко воспринимающий природу и весь мир... <...> Это — истинный поэт, глубоко переживающий жизнь и своими ритмами заставляющий читателя страдать и радоваться вместе с собой. Это — ироник, остро подмечающий вокруг себя смешное и низкое и клеймящий это в меткой сатире. Это — художник, которому открылись тайны стиха» [1].

Действительно, после выхода в 1913 г. книги «Громокипящий кубок» Игорь Северянин стал одним из самых популярных поэтов в России. Публика стремилась на его поэзоконцерты. Как заметил И. А. Бунин, имя Северянина «знали не только все гимназисты, студенты, курсистки, молодые офицеры, но даже многие приказчики, фельдшерицы, коммивояжеры, юнкера...» [2].

Окруженный толпами поклонников и поклонниц, поэт выходил на эстраду в застегнутом наглухо сюртуке с цветком в петлице и с непроницаемым лицом мелодично исполнял «поэзы», буквально гипнотизируя зрителей своим пением. Бесстрастно слушал восторженные крики и бурю оваций и также бесстрастно уходил с эстрады. Он возвышался над шумной толпой и оставался загадкой для современников и потомков. Поэт и сам в течение жизни примерял разные маски, порой скры-

[1] *Брюсов В.* Игорь Северянин // Критика о творчестве Северянина. М.: Изд-во В. В. Пашуканиса, 1916. С. 9, 17.

[2] *Бунин И. А.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 298.

вая за ними остроту душевных переживаний, «свой бóльный путь земной»[3]:

За струнной изгородью лиры
Живет неведомый паяц.
Его палаццо из палацц —
За струнной изгородью лиры...
Как он смешит пигмеев мира,
Как сотрясает хохот плац,
Когда за изгородью лиры
Рыдает царственный паяц!..

(Северянин, 78)

Эта книга помогает увидеть истинное лицо Игоря Северянина, прочесть неизвестные страницы его биографии. Здесь впервые собраны уникальные материалы: письма Северянина и критические статьи о его творчестве. Многие из них публикуются впервые по архивным источникам, и знакомство с ними способно разрушить некоторые из сложившихся стереотипов.

К сожалению, не все сохранилось в большом эпистолярном наследии Северянина. Утрачена переписка с Николаем Рерихом, Сергеем Прокофьевым, Владимиром Маяковским и другими его корреспондентами. Тем выше ценность каждого из дошедших до нас писем, в которых восстанавливается круг общения Северянина в 1907—1941 гг., подробности его повседневной жизни и творческих исканий. Часть из них, адресованные А. Д. Барановой, С. И. Карузо, Г. А. Шенгели, публиковались в последние годы. Другие, среди них письма Л. Н. Андрееву, Л. Н. Афанасьеву, В. Я. Брюсову, К. М. Фофанову, были неизвестны, однако именно в них раскрывается ранний, малоизученный и, в известной степени, мифологизированный период жизни и творчества Северянина.

Один из критиков, Борис Гусман, справедливо заметил, что «Игорь Северянин со своими необычными успехами, взлетами и падениями

[3] *Игорь Северянин.* Громокипящий кубок. Ананасы в шампанском. Соловей. Классические розы / Сост., подг. текста, статья, примеч. В. Н. Терёхиной и Н. И. Шубниковой-Гусевой. М.: Наука, 2004. С. 735. Далее ссылки на это издание даются в тексте сокращенно: Северянин, с указ. страниц. Ссылки на произведения, не вошедшие в эту книгу, даются также в тексте по изданию: *Игорь Северянин.* Собр. соч.: В 5 т. / Сост., подг. текста, вступит. статья и коммент. В. А. Кошелева и В. А. Сапогова — с указ. тома и страниц.

явился блестящей, совершенно исключительной мишенью» для «близоруких охотников» — критиков[4]. Северянин внимательно следил за отзывами в печати о своем творчестве, чтобы ознакомить с ними своего «подрастающего читателя». Но прижизненная критика творчества поэта, обширная и разнообразная, очень скудно вошла в поле зрения современных исследователей, и образ, сложившийся в мозаике этих заметок, остался невостребованным. Особенно мало известны статьи и рецензии, печатавшиеся в прессе русского зарубежья, и до сих пор не собранные воедино.

Чрезвычайно важны автобиографические материалы и хроника жизни и творчества Игоря Северянина, которые не только раскрывают биографию поэта по датам и событиям, фиксируют время создания основных произведений и выхода книг, но передают его душевное настроение в разные периоды жизни.

Настройка лиры

Игорь Северянин считал знаменательным, что родился в год, когда умер Надсон и вышла в свет первая книга Фофанова «Стихотворения К. М. Фофанова (1880—1887)», поэта, поддержавшего его в самом начале творческого пути.

Об отце, Василии Петровиче Лотареве, он писал в «поэме детства» «Роса оранжевого часа»: «Великолепнейший лингвист, / И образован, и воспитан, / Он был умен, он был начитан» (3, 146). Мать поэта, Наталия Степановна, урожденная Шеншина, происходила из старинного дворянского рода, к которому принадлежали Н. М. Карамзин и Афанасий Фет.

Особую гордость Северянина вызывало родство с «доблестным дедом» Карамзиным: «И в жилах северного барда / Струится кровь Карамзина» («Поэза о Карамзине», 1912 — Северянин, 100). Своим «высокомерно взнесенным к потолку лицом мучного цвета со слегка одутловатыми щеками и носом» поэт, по воспоминаниям Д. Бурлюка, напоминал екатерининского вельможу[5].

Детство поэта прошло в Петербурге, но в 1895 г. его родители расстались, и мальчик вместе с отцом переехал в Череповецкий уезд Новгородской губернии в имение тетки на реке Суде. С 1898 по 1902 г.

[4] *Борис Г-н (Гусман).* Очная ставка. (Критика о творчестве Северянина: Сб. статей и рецензий) // Журнал журналов. 1916. № 5. Январь. С. 10—11.

[5] *Бурлюк Д.* Листки футуристической хрестоматии. Игорь Васильевич Северянин (Лотарев) // Голос Родины. Владивосток, 1920. 26 сент.

будущий поэт учился в Череповецком реальном училище, чем и ограничилось его официальное образование. Это давало повод упрекать Северянина в малообразованности и некультурности. Несправедливость таких суждений видна, в частности, на примере его выразительных, эмоциональных писем, соответствующих всем правилам грамматики.

Подтверждением тому является и автобиографический очерк «Образцовые основы» (1924), где раскрываются истоки становления его личности и принципы, на которых будет развиваться зрелое творчество поэта: любовь к поэзии, музыке и русской природе.

На всю жизнь Северянин сохранил взволновавшие его впечатления от путешествия в 1903 г. вместе с отцом через всю Россию на Дальний Восток, в Квантун. В декабре того же года, незадолго до начала русско-японской войны, он вернулся в Петербург и поселился с матерью в Гатчине. В гостях у матери часто бывали литераторы, художники, музыканты, и Северянин не раз вспоминал эту пору как время восторгов и музыки, время, когда он стал поэтом. Из писем становится известно, что Наталия Степановна многие годы поддерживала творческие порывы сына, была его верным другом и наставником: даже любимого Бодлера Северянин переводил с французского «с помощью maman».

Однако свое первое стихотворение «Звезда и дева» Северянин написал значительно раньше, в 1895 г., когда ему не было девяти лет.

Юноша увлекся литературой еще во время учебы в Череповецком реальном училище, когда «испытал сильное влияние Густава Эмара и Луи де Буссенара, позже — Дюма, Гюго, Тургенева и отчасти Гончарова, из поэтов гр. Алексея Толстого, а также Мирры Лохвицкой, Фофанова, Бодлэра и др.». И все же самым важным источником вдохновения Северянина была трепетная и нежная любовь к родному Северу и его природе. Образ «форелевой» реки в северной губернии пройдет через все творчество поэта и станет символом его неразрывной связи с любимой родиной.

В автобиографии, подготовленной для «Словаря русских писателей» С. А. Венгерова, Северянин писал: «Там, на любимой Суде, Игорь проводил летние каникулы, лишь изредка отпускаемый в Петербург к матери, и там же он познал первую (идеальную) любовь к кузине Лиле, дочери брата отца, которая была на 5 лет его старше. Автор осознал себя поэтом благодаря этой любви» [6].

Тем не менее один из наиболее распространенных и укоренившихся в сознании читателей мифов — о внезапном появлении Игоря Северя-

[6] Цит. по: *Кошелев В. А., Сапогов В. А.* «Музей моей весны...» // *Северянин Игорь.* Стихотворения. Поэмы. Архангельск, 1988. С. 7.

нина на поэтическом Парнасе в 1913 г. Его творческий путь принято делить на два периода. Первый охватывает 1913–1918 гг., начиная с выхода в свет книги «Громокипящий кубок» и до избрания в 1918 г. «королем поэтов». Второй период (1918–1941) связан с более чем двадцатилетним пребыванием поэта вне России, от вынужденной эмиграции в эстонском поселке Тойла до краткого возвращения в советское подданство в 1940 г. и смерти поэта. Однако большой и серьезный творческий путь, пройденный Игорем Северяниным до «Громокипящего кубка», позволяет выделить ранний период его творчества (1904–1912), когда он сложился как поэт.

Обычно забывается или не принимается во внимание, что до 1913 г. поэт выпустил 35 брошюр, в которых были опубликованы многие стихи, вошедшие впоследствии в книгу, принесшую ему повсеградную славу. Северянин называл своим первым выступлением в печати публикацию 1 февраля 1905 г. в солдатском журнале «Досуг и дело» стихотворения «Гибель "Рюрика"», и именно от нее поэт отсчитывал юбилеи своей литературной работы.

На самом деле стихотворение вышло раньше отдельной брошюрой из шести страниц (дозволено цензурой к печати 12 окт. 1904 г.). К тому же «Гибель "Рюрика"» была уже второй брошюрой поэта Игоря Лотарева. Еще до этого так же было издано его стихотворение «К предстоящему выходу Порт-Артурской эскадры» (дозволено цензурой к печати 25 сент. 1904 г.). Всего Северяниным на страницах тридцати пяти брошюр (издание автора) было написано и опубликовано 275 произведений. Большая часть этих стихов вошла затем в книги «Громокипящий кубок» (111), «Златолира» (37) и «Ананасы в шампанском» (25), которые в 1915–1918 гг. составили три тома «Собрания поэз».

Другие стихотворения периода «брошюр» Северянин включил в сборники «Поэзоантракт», «Victoria Regia», а также «Ручьи в лилиях» и «Настройка лиры» (два последних напечатаны не были). Среди брошюр (от 4 до 24 страниц) были две листовки («Памяти А. М. Жемчужникова», 1908 и «На смерть Лермонтова», 1908).

Северянин ценил ранний период своего творчества, называл его «настройкой лиры» и в поисках своего литературного имени дважды сменял свою подпись. В 1904–1907 гг. он публиковал стихи под собственной фамилией – Игорь Лотарев. За этой подписью вышло 13 брошюр (последняя называется «Лепестки роз жизни»). В 1908 г. Северянин меняет имя и печатает листок «Памяти А. М. Жемчужникова» под псевдонимом «Игорь-Северянин» с дефисом, где приложение «Северянин» является вторым именем и указывает на особое значение Русского Севера в его жизни и творчестве (ср. Мамин-Сибиряк). Последняя брошюра, подписанная псевдонимом Игорь-Северянин с дефисом, 35-я –

«Эпилог "Эго-футуризм"» (1912). Начиная с «Громокипящего кубка» (1913) он использовал, за редким исключением, имя «Игорь Северянин», где псевдоним — второе имя — превратился в фамилию.

Певица страсти

Большое влияние на творчество Игоря Северянина оказала чувственная и жизнелюбивая лирика Мирры Лохвицкой, присущие ей импрессионисткая зыбкость и экзотизм, легкий и мелодичный стих.

В одном из писем Б. Д. Богомолову от 15 июня 1911 г. Игорь Северянин пишет: «Боготворю Мирру Лохвицкую, считая ее величайшей мировой поэтессой, гениальной поэтессой.

Ее поэмы "На пути к Востоку", "Вандэлин" и "Бессмерная любовь" — шедевры мировой поэзии, разумеется — прозеванные и критикой, и публикой. Если не строили бы так много аэропланов, я ожидал бы с уверенностью, как через двадцать или около этого лет — ее бы славословили. Утешаюсь одним: истинные ценители и теперь у нее есть. Их мало, но они есть. Каждый поэт обязан иметь ее стихи. Затем: я очень люблю Фофанова и Бодлэра. Лишь нравятся Гумилев, Эренбург, Бунин, Гофман Виктор, Черубина де Габриак, Тэффи».

Имя Мирры Лохвицкой было в 1890-е гг. широко известно. Первый и последний сборники поэтессы удостоены Пушкинской премии Академии наук. Поэтический талант Лохвицкой был признан такими поэтами, как А. А. Голенищев-Кутузов, К. К. Случевский, а также К. Льдов и др. И. А. Бунин был с ней «в приятельстве» и позже относил воспоминания о ней к числу «самых приятных». Ее книги «Стихотворения» переиздавались, отмечались критикой и даже удостаивались пародий. Видные поэты, в том числе Константин Бальмонт и Федор Сологуб, посвящали ей стихи. Известность Лохвицкой получила скандальный оттенок после ее декларативного отказа от «идейной» поэзии, утверждения свободы чувств («Мне нет пределов, нет границ»).

Поэтесса увлекалась Бальмонтом («Лионелем») и обменивалась с ним в печати посланиями в стихах. Свой сборник «Будем как солнце» (1903), название которого перекликается со стихотворением Лохвицкой «К солнцу!» — «Солнца!.. Дайте мне солнца! Я к свету хочу!», — Бальмонт посвятил этой поэтессе. 27 августа 1905 г. Лохвицкая умерла от туберкулеза в возрасте 36 лет.

Северянин точно определил основную тему творчества Мирры Лохвицкой в посвящении сборника «Мимоза» — «певица страсти». Любовь была содержанием ее поэзии, и строка «Это счастье — сладострастье» воспринималась как «девиз» поэтессы. «К ней применили, — писал критик А. Измайлов в некрологе, — и оно так и осталось навсегда, имя новой русской Сафо, певицы вакхической страсти, знойного

наслаждения, упоения рабством и владычеством любви. "Amori et dolori sacrum" — значится как эпиграф на одной из ее книг, и она, действительно, была как бы какой-то жрицей в храме, посвященном любви и любовной тоске, любовному страданию, всему огромному содержанию любви, со всем захватом чувственности, стонами наслаждения, смелостью и дерзостью порыва...» [7].

Мое бессмертье неизбежно...

Поэтическое бессмертие волновало воображение Северянина с молодых лет. В связи с этой темой особое внимание критики вызвало стихотворении «Мои похороны» (1910):

Меня положат в гроб фарфоровый,
На ткань снежинок яблоновых,
И похоронят (...как Суворова...)
Меня, новейшего из новых

(Северянин, 94).

В мировой литературной традиции тема стеклянного (хрустального) гроба связана с бессмертием и восходит к сказке бр. Гримм «Schneewittchen» (обычно переводится «Белоснежка»), в которой мертвую девушку кладут в стеклянный гроб. Королевский сын находит гроб и пробуждает девушку. Источниками северянинского образа служат «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина (1833), которая связана со сказкой братьев Гримм, а также стихотворение М. Лохвицкой «Спящая» (1902—1904):

Я сплю, я сплю — не умерла —
В гробу из чистого стекла,
В венках из белых, белых роз,
Под шепот кленов и берез [8].

Журналисты бесконечно обсуждали претензии Северянина на суворовскую славу и бессмертие. «Конечно, затруднительно найти рифму на "фарфоровый", — заметил один из критиков сразу после первой публикации стихотворения, — но тревожить по этому поводу тень Суворова, значит обнаружить недюжинную изобретательность. Avis молодым поэтам! Отныне нет более "оскудения рифмы"» [9].

<>

[7] *Измайлов А.* М. Лохвицкая // Биржевые ведомости. 1905. 30 авг.

[8] *Лохвицкая М. А.* Стихотворения. Т. 1—5 СПб., 1900—1904. Т. 5. С. 21.

[9] Новое время. 1910. 1 (14) нояб.

Лариса Рейснер спустя пять лет увидела в мечтах Северянина «о хрустальном гробе, о сказочных похоронах своей души» слишком суетное желание популярности: «Его сердце уже показывают за деньги, и не слишком дорого заплачено за публичное поругание. На помпезных поэзо-концертах подают "мороженое из сирени", "шампанское в лилии". Все стыдливые и тайные слова поэзии "распивочно и на вынос", со скидкой для учащихся, с бесконечными бисами "очам души твоей", "болезнь" и "страх", "плач совести" и "хохот лиры" — все, все распродается!» [10]

Однако для Северянина имело символическое значение то, что Суворов умер 17 мая 1800 г.: в тот же день спустя 111 лет — 17 мая 1911 г. — умер любимый поэт Северянина К. М. Фофанов, которого он называл «королем поэтов». Суворов похоронен в Александро-Невской лавре. На простой плите надпись: «Здесь лежит Суворов». Северянин надеялся, что тоже заслужит право называться просто поэтом.

Позже, в «Классических розах», тема бессмертия оказывается связанной с долгожданным возвращением на родину, туда, где «Моя безбожная Россия, / Священная моя страна!». Воссоединение с Россией означало для него обретение самосознания и духовного бессмертия:

Я мечтаю, что Небо от бед
Избавленье даст русскому краю.
Оттого, что я — русский поэт,
Оттого я по-русски мечтаю!

(Северянин, 233)

Я покорил литературу!

«Громокипящий кубок» вышел в свет 4 марта 1913 г. Книга имела триумфальный успех и стала одним из заметных явлений русской поэзии XX в. За первые два года книга выдержала 7 изданий, всего за шесть лет, с 1913 до 1918 г., — 10.

В предисловии Федора Сологуба написано: «Одно из сладчайших утешений жизни — поэзия свободная, легкий, радостный дар небес. Появление поэта радует, и, когда возникает новый поэт, душа бывает взволнована, как взволнована бывает она приходом весны».

Единомышленники Северянина сочли, что в признании Сологуба не было «никакого открытия нового светила. На небе русской литературы всем очевидная горела звезда первой величины» [11]. Но для чита-

[10] *Рейснер Л.* Через Ал. Блока к Северянину и Маяковскому // Рудин. 1916. № 7. С. 7.

[11] *Бурлюк Д.* Листки футуристической хрестоматии... // Голос Родины. Владивосток, 1920. 26 сент.

ющей публики слово Сологуба о приходе нового поэта имело свой смысл.

Несмотря на то что Северянин шел к «Громокипящему кубку» десять лет, книга открыла новый этап его творческой биографии, когда он совершал переоценку всего, написанного за эти годы. «Счастливое чудо» (А. Измайлов), «Нечаянная радость» (Ф. Сологуб), «Большое культурное событие» (Н. Гумилев) — так определили появление книги современники Северянина.

Известно, что «Громокипящий кубок» Северянину помогли подготовить В. Брюсов, Ф. Сологуб и основатель издательства «Гриф» С. Кречетов. Брюсов действительно, по словам Северянина, советовал подготовить к печати большой сборник стихов, «повыбрав их из бесчисленных брошюр» (5, 30). Б. Лившиц вспоминал, что название книги подсказал Сологуб, обыгравший его в предисловии, написанном в феврале 1913 г.[12] Но в словах Сологуба можно усмотреть явную связь названия с легкими и сверкающими стихами Северянина, полными упоения весной и радостью жизни («Весеннй день»), и параллель с классической традицией русской поэзии, идущей от Пушкина, Тютчева и Фета.

Актриса Л. Д. Рындина, которой Северянин посвятил стихи «Качалка грёзерки», «Рондо» и книгу «Златолира», в воспоминаниях так записала слова своего мужа — издателя книги С. А. Кречетова (Грифа): «"Я предложил принести мне для просмотра все его стихи, просмотрю, что годится для печати, может быть и издам". Через несколько дней у нас был Игорь Северянин. Гриф отобрал из вороха принесенных стихов, то, что считал интересным, и издал...»[13]. Воспоминания Л. Д. Рындиной, написанные почти 40 лет спустя, являются примером того, как создаются литературные мифы и легенды. Получается, что книгу Северянин подготовил по совету Брюсова, название ее подсказал Сологуб, а отбор и блестящую композицию продумал Кречетов. Это вполне согласуется с тем образом Северянина, который рисовали некоторые критики, упрекая поэта в отсутствии вкуса, и который, к сожалению, укоренился в сознании современных исследователей.

Вряд ли мог Северянин принести «ворох... стихов», скорее всего он принес свои ранние брошюры, возможно, часть стихов (неопубликованных или опубликованных в периодике) была в вырезках. Если даже некие советы и пожелания по отбору стихов и их композиций у редак-

[12] *Лившиц Б.* Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 452.

[13] *Рындина Л. Д.* Невозвратные дни. Воспоминания // РГАЛИ. Ф. 2074. Оп. 2. Ед. хр. 9.

тора были, автор должен был с ними согласиться или предлагать и отстаивать свои решения, тем более что Северянин всегда имел свое мнение и дорожил им.

Так или иначе, если мы внимательно проанализируем тексты «Громокипящего кубка», то увидим, что композиция книги является авторской. В книге всего 137 стихотворений (поэз) за 1905–1912 гг., большинство из которых были опубликованы в альманахах, журналах, газетах и вошли в ранние брошюры Северянина (с 12-й по 35-ю). Стихи брошюры «Ручьи в лилиях» (весна 1911), за исключением двух, перепечатаны полностью. Впервые в книге опубликовано только восемь произведений: «Berceuse осенний», «Эскиз вечерний», «Шампанский полонез», «Virelai», «Гюи де Мопассан», «Газэлла», «Демон», «Любовь и Слава».

Заглавия двух из четырех разделов книги перешли из вышедших ранее брошюр: раздел «Сирень моей весны» – 18-я брошюра (1908) и «За струнной изгородью лиры» – 25-я брошюра (1909). Есть случаи, когда последовательность стихов соответствует их композиции в ранних брошюрах. Так, первые четыре стихотворения книги: «Очам твоей души», «Солнце и море», «Весенний день», «В грехе забвенье» – открывают брошюру «Очам твоей души» (1912), далее следуют стихи, не включенные в сборник. Оспорить авторское расположение стихов в брошюрах Северянина невозможно.

В «Громокипящем кубке» отразилась история «мещанской драмы» поэта-грёзэра, охваченного порывом нового весеннего чувства и молодости. Он живет мечтами и грёзами о прекрасной женщине. Разочарованный и обманутый в своих чувствах, герой попадает с берегов форелевой реки и северного «одебренного» леса на площадь. Затем возникает образ одинокого поэта – царственного паяца, который уходит с площади от толпы и рыдает за струнной изгородью лиры. Невольно ощущается ироничность слов «гения Игоря Северянина» об упоении своей победой и искренность намерения идти «в природу, как в обитель, / Петь свой осмеянный *устав*».

Главной причиной успеха книги «Громокипящий кубок» была ее своевременность и современность. Она вышла весной 1913 г., когда имя Северянина было уже известно: футуристам удалось обратить на себя внимание. И хотя многие современники отделяли Северянина от футуризма, но отдавали должное тому чувству времени, которое проявилось в «Громокипящем кубке».

«Его поэзия, – заметил В. Ходасевич, – необычайно современна – и не только потому, что в ней часто говорится об аэропланах, кокотках и т. п., – а потому, что его душа – душа сегодняшнего дня. Может быть в ней отразились все пороки, изломы, уродства нашей городской

жизни, нашей тридцатиэтажной культуры, "гнилой как рокфор", но в ней отразилось и небо, еще синеющее над нами»[14].

Вторая книга поэз Северянина «Златолира» вышла 4 марта 1914 г. (выдержала 7 изданий), третья — 28 января 1915 г. — «Ананасы в шампанском» (5 изданий), четвертая — 14 апреля 1915 г. — «Victoria Regia» (4 издания), пятая и шестая — «Поэзоантракт» и «Тост безответный» (соответственно 2 и 1 издание). Внимание критики к этим книгам шло по убывающей, каждая последующая книга встречалась более прохладно, чем предыдущая. Неровность успеха Северянина во многом зависела от того, что после «Громокипящего кубка» поэт помещал в новые сборники все более ранние стихотворения. Таким образом, создавалась обратная перспектива творческого пути. Вместе с тем Игорь Северянин, вдохновленный успехом первой книги, в «Ананасах в шампанском» усилил элемент смелой (и очень смелой) парадоксальности и ухищрений, делавших книгу более трудной для восприятия читателей.

Орест Головнин (Р. Брандт), относившийся с большой симпатией к нашему «поэзнику», в 1915 г. сочинил такую эпиграмму:

Войною отняты нам разные припасы:
Так, не дают вина, и редки ананасы.
О, Северянин! Как ты мил:
Ты своевременно снабдил,
Назло стесненьям, думским и германским,
Нас ананасами с шампанским[15].

В восприятии современников имя Северянина нередко ассоциировалось именно с этой книгой. Николай Клюев в письме Есенину, написанному еще до личного знакомства (датируется: «Август. 1915»), предостерегал его от соблазна легкой славы: «Твоими рыхлыми драченами <слова из стихотворения Есенина «В хате»> объелись все поэты, но ведь должно быть тебе понятно, что это после ананасов в шампанском <...> ...и рязанцу и олончанину это блюдо по нутру не придет, и смаковать его нам прямо грешно и безбожно. <...> Знай, свет мой, что лавры Игоря Северянина никогда не дадут нам удовлетворения и радости твердой...»[16]. Спустя восемь лет, в конце 1933 г., одна из почитательниц поэта устроила ему в Белграде на десерт ананасы в шампанском (5, 244).

[14] *Ходасевич В.* <Рец.> Игорь Северянин. Громокипящий кубок // Утро России. М., 1913. 16 марта.

[15] *Головнин Орест (Брандт Роман).* Эпиграммы Игорю Северянину [1915] // ОР РГБ. Ф. 190. Изд-во «Мусагет». Кар. 58. Ед. 13.

[16] Есенин и современность. СПб.; М., 1975. С. 239.

О, критика — проспавший Шантеклер...

Еще до выхода «Громокипящего кубка» Северянин стал известен читающей публике. В 1905 г. Игорь Лотарев был впервые отмечен на страницах «Петербургской газеты» писательницей Н. А. Лухмановой, которая рассказала, что передала раненым «на театре военных действий с Японией» 200 экземпляров брошюры Игоря Лотарева «Подвиг "Новика"» [17].

Однако вопрос о том, как к Северянину пришла слава, все же нуждается в серьезном уточнении. По словам Северянина, это произошло, когда Лев Толстой разразился «потоком возмущения по поводу явно иронической "Хабанеры", об этом мгновенно всех оповестили московские газетчики во главе с С. Яблоновским, после чего всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюканье, чем и сделала меня сразу известным на всю страну!.. С тех пор каждая моя новая брошюра тщательно комментировалась критикой на все лады, и с легкой руки Толстого, хвалившего жалкого Ратгауза в эпоху Фофанова, меня стали бранить все, кому было не лень» (5, 85).

В стихотворении «Сувенир критике» (1914) Северянин восклицал:

Ах, поглядите-ка! Ах, посмотрите-ка!
Какая глупая в России критика:
Зло насмеялся над «Хабанерою»,
Блеснув вульгарною своей манерою.

(1, 567)

На самом деле все обстояло несколько иначе. Писатель И. А. Наживин привез брошюру Северянина «Интуитивные краски» в Ясную Поляну и 12 января 1910 г. прочитал ее Толстому. Вскоре интересные подробности этого визита были изложены в очерке Наживина «В Ясной Поляне»: «Много смеялся он <Толстой> в этот вечер, слушая чтение какой-то декадентской книжки — и не то "Интуитивные звуки", не то "Интуитивные краски", где, разумеется, был и "вечер, сидящий на сене", и необыкновенная любовь какая-то, и всевозможные выкрутасы. Особенно всем понравилось стихотворение, которое начиналось так:

Вонзим же штопор в упругость пробки,
И взоры женщин не станут робки...
<цит. с искажениями>.

Но вскоре Лев Николаевич омрачился.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

[17] Петербургская газета. 1905. 8 апр.

Чем занимаются!.. Чем занимаются!.. — вздохнул он. — Это литература! Вокруг — виселицы, полчища безработных, убийства, невероятное пьянство, а у них — упругость пробки!» [18].

Отрицательную часть отзыва Толстого с собственными комментариями вскоре перепечатали многие газеты России, не упомянув, что это стихотворение *особенно всем понравилось.*

И еще один штрих. В предлагаемой книге публикуются всего два письма Леониду Андрееву. Но ясно, что таких писем было больше, а главное, из содержания этих писем следует, что Северянин и Л. Андреев дружили еще в 1908 г., что называется домами (а жили они, как известно, близко). Прислуга несколько раз в день могла носить письма от одного к другому. Факты сами по себе значительные. Как вспоминали современники, «общероссийскими знаменитостями в то время, если не считать доживавшего последний год своей жизни Льва Толстого, были Максим Горький и Леонид Андреев» [19].

Следует отметить, что к 1910—1911 гг. Игорь Северянин познакомился также с Александром Блоком, Николаем Гумилевым, Анной Ахматовой... В мае 1912 г. он начинает пятый том «Критики о моем творчестве» — «критики бездарной, завистливой и мною ослепленной» (письмо Богомолову от 8 мая 1912). 29 июля 1912 г. он пишет тому же адресату: «Ежедневно получаю такую бездну вырезок и писем, что затрудняюсь отвечать своевременно».

В самом деле, «в былые времена bon ton литературной критики требовал бранить Игоря Северянина, — отмечал Роман Гуль в рецензии на книгу «Менестрель». — Его бранили все, кому было не лень, и часто среди "иголок шартреза" и "шампанского кеглей" в его стихах не замечали подлинной художественности и красоты. А она была: — вспомните "Это было у моря", "Быть может, от того", "Хабанера", "Сказание об Ингред" и мн. др.» [20].

В предисловии В. Пашуканиса к сборнику «Критика о творчестве Игоря Северянина» (1916) справедливо говорилось: «Редко приходится видеть, чтобы на долю поэта выпадало такое совершенно необычное внимание, какого удостоился Игорь Северянин от самых разнообразных кругов читающей публики. <...> Рассматривая отношение критики к Игорю Северянину, мы находим здесь всю гамму критических отношений, от самого восторженного и до резко отрицательного, граничащего с простейшей руганью».

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

[18] Утро России. 1910. 27 янв.

[19] *Шагинян М.* Человек и время. История человеческого становления. М., 1980. С. 362—363.

[20] Сполохи. Берлин, 1921. № 1. С. 42.

Отношение критики к Северянину, как считал В. Пашуканис, «так или иначе способствовало тому исключительному успеху, в котором одни видели самую печальную картину падения литературных вкусов, другие — начало особого внимания читающего мира к новому стихотворцу»[21]. Сергей Бобров в статье «Северянин и русская критика» в хронологическом порядке представил читателю историю отношений Северянина и критики, так оценив всю массу критических выступлений о поэте: «Их много, этих листков. Их такая масса, что если бы перепечатать все — вышло бы томов десять хорошо убористой печати»[22].

Северянин внимательно следил за отзывами в печати о своем творчестве. В очерке «Из воспоминаний о К. М. Фофанове» он написал, что у одного из своих знакомых, Б. Н. Башкирова-Верина, при отъезде из Петрограда в 1918 г. оставил пятнадцать толстых книг, нечетные страницы которых сплошь заклеены вырезками из журналов и газет всей России — рецензиями о его творчестве и эстрадных выступлениях.

«Были в этих книгах собраны и все карикатуры на меня, — сообщал Северянин, — а их было порядочно. Там же оставлен и шарж на меня углем работы Влад<имира> Маяковского — голова в натуральную величину. Самое печальное, что этот знакомый бежал из России в 1920 году, и судьба всех этих ценностей ныне мне не известна, хотя он и уверял меня в прошлом году в Берлине, что эти книги, как ему "достоверно известно", находятся в полной сохранности, однако я все же сильно беспокоюсь...».

Пристальное внимание к журналистским отзывам было свойственно многим писателям. Например, хорошо знакомый двадцатилетнему Северянину Леонид Андреев был постоянным абонентом бюро газетных вырезок и составил из них несколько тематических альбомов (альбомы под номерами 5--12 хранятся в Славянской библиотеке, Хельсинки). Увидевший столь тщательную работу Л. Н. Андреева, В. В. Вересаев иронически заметил, что с годами вряд ли целесообразно собирать эту «газетную труху».

Иначе относилась к текущей критике А. Н. Чеботаревская. Она издала книгу «О Сологубе. Критика, статьи и заметки» (СПб., 1911), состоявшую только из положительных отзывов. Вскоре в октябре 1912 г. Северянин познакомился с Сологубом, который стал ему наиболее близким из современников после К. М. Фофанова. Считая Сологуба «самым изысканным из русских поэтов», Северянин, скорее всего, не-

[21] *Пашуканис В.* От издателя // Критика о творчестве Игоря Северянина. С. 7.

[22] *Бобров С.* Северянин и русская критика // Там же. С. 29.

вольно подражая ему, задумал аналогичную книгу критики о своем творчестве.

Выход сборника «Критика о творчестве Игоря Северянина», в котором из «всего невероятного количества газетных и журнальных статей» о поэте дано «несколько характерных моментов северянинского "успеха"»[23], стал важным этапом в осмыслении творчества поэта. Судя по письму Пашуканису, предполагалось второе, дополненное издание критических отзывов о творчестве Северянина.

Мои волшебные сюрпризы

Северянин складывается как поэт со своей собственной программой уже в 1908–1912 гг. Создавая школу эгофутуризма, он заботился об обновлении поэтического языка. В письме от 2 июля 1911 г. Богомолову поэт излагает свою теорию рифмы. «"Непредвиденность" доказывает жизненность, а потому надобность ассонанса. Возьмем народную пословицу, притом – первую пришедшую на ум: "Жизнь пережить – не поле перейти" – "жить" и "ти", что ни говорите, ассонансы, хотя и плоские. Основываясь на "народном слухе", как наиболее непосредственном, мы можем – и, может статься, должны?.. – ввести в поэзию новую форму дисгармонической рифмы, а именно диссонанс. Пословица блестяще это подтверждает: "Тише едешь – дальше будешь". Спрашивается, как же назвать – "едешь" = "удешь", если не диссо? Найдите в моих "Электр<ических> стих<ах>" "Пятицвет"; – Вы найдете целый цикл подобных стихотворений. Надо иметь в виду, что ухо шокировано этим новшеством только сначала; затем оно привыкает. Отчего можно произвести пословицу на диссо без предвзятого чувства, и отчего нельзя прочесть стихи в диссо, не смущаясь?»

Северянин называл себя в стихах «самоучкой-интуитом», но с первых сборников проявлял интерес к вопросам стихотворного мастерства. В «Автопредисловии» к 8-му изданию «Громокипящего кубка» поэт писал: «Работаю над стихом много, руководствуясь не только интуицией...».

Не желая писать «примитивно», он сознательно экспериментировал со словом, стихом и рифмой. Особый интерес представляют десять придуманных Северяниным новых строфических форм: миньонет, дизель, кэнзель, секста, рондолет, перекат, квадрат квадратов, квинтина, перелив, переплеск, которые поэт использовал в своем творчестве и описал в «Теории версификации» (1933 – Северянин, 591–597). Эта работа дает интересный материал авторского самоосмысления, но не-

[23] *Пашуканис В.* От издателя // Там же. С. 7.

достаточно изучена исследователями стиха. Серьезное внимание привлекают и лексические неологизмы Северянина. Их анализ позволяет сделать вывод о единстве творческого мира поэта, для которого возвращение к классической традиции в эстонский период не означало отказа от словотворческих экспериментов 1910-х гг.

Однако чаще всего отдельные периоды творчества Северянина оцениваются крайне неоднозначно, есть тенденция к их противопоставлению. На момент показалось, что было «два разных поэта, носивших одно литературное имя, — пишет автор одной из работ о поэте. — <...>"Ручейковую" и ласковую лирику Северянина, рожденную любовью к земле, с которой был долго и горько разлучен, надо сегодня возродить, отделив и от ироничных салонных "поэз", и от крикливой саморекламы ранних программных стихов. У нее задачи иные и иное лицо. Пусть поэт в новой, посмертной жизни на родине не столько "эпатирует" презренного обывателя, сколько напоминает людям о дорогом чуде — о чувстве родины, разрыв с которой — всегда мучителен»[24].

Двойственность восприятия поэзии Северянина определяется общей неразработанностью его наследия, которое нередко предстает обедненным, разъятым на случайные фрагменты.

Я — соловей, я без тенденций

Остается распространенным миф о равнодушии Северянина к общественной жизни. На самом деле его лирика и публицистика, когда-то отвергнутые на родине по идеологическим причинам, заслуживают пристального внимания. Не случайно Петр Пильский в статье «Ни ананасов, ни шампанского» писал: «С этим именем связана целая эпоха. Игорь Северянин был символом, знаменем, идолом лет петербургского надлома»[25].

Ощущение души, тоскующей в предгрозье Первой мировой войны, и лирическая ирония по отношению к витавшему в различных слоях общества желанию уйти от трагизма действительности в «бомонд» и «иностраны» остро и глубоко передавали чувства современной Северянину интеллигенции. «В этот период, — вспоминала Е. Ю. Кузьмина-Караваева, — смешалось все. Апатия, уныние, упадничество — и чаяние новых катастроф и сдвигов. <...> Это был Рим времен упадка. Мы не жили, мы созерцали все самое утонченное, что было в жизни, мы не

[24] *Бабичева Ю. В.* Аще не у́мрет... Игорь Северянин // Игорь Северянин. Классические розы. Медальоны. М., 1991. С. 5, 14.

[25] *П<ильский П.>* «Ни ананасов, ни шампанского» // Сегодня. 1931. 15 сент.

боялись никаких слов, мы были в области духа циничны и нецеломудренны, в жизни вялы и бездейственны»[26].

В августе 1913 г. Северянин пишет Брюсову: «Какое отчаяние вокруг! Какая безнадежность! Возможность процесса Бейлиса, ежедневные катастрофы, Балканская гнусность, чума в Новочеркасске, кубофутуристы...».

Позже, за несколько дней до объявления войны, отдыхавший в Эстляндии в приморском поселке Тойла Северянин откликнулся стихами на убийство австро-венгерского эрцгерцога Фердинанда: «Германия, не забывайся! Ах, не тебя ли сделал Бисмарк? <...> Но это тяжкое величье солдату русскому на высморк!» Этакой рифме позавидовал бы и Маяковский, сочинявший осенью 1914 г. патриотические плакаты («Немец рыжий и шершавый...») в издательстве «Сегодняшний лубок».

Северянина осуждали за это проявление чувств (Брюсов назвал стихотворение «отвратительной похвальбой»). Неожиданно политика вошла в соприкосновение и, более того, в противоречие с главным лозунгом Северянина – «Живи живое!» Цикл военно-патриотических стихов составил половину раздела «Монументальные моменты» в сборнике «Victoria Regia» (1915) – тринадцать произведений, написанных в период с июня по октябрь 1914 г. Но современники упрекали Северянина в «квасном патриотизме», цитируя вырванные из контекста строки: «Когда отечество в огне, / И нет воды, лей кровь, как воду... / Благословение войне!» При этом совершенно игнорировались две начальные строки, задающие смысл стихотворения:

Я не сочувствую войне,
Как проявленью грубой силы... (1, 56).

В стихотворениях «Поэза о Бельгии», «Начальники и рядовые» (опубл. в 1922 г.) возникают мотивы Мирры Лохвицкой – боль и сочувствие жертвам войны:

Они сражаются в полях,
Сегодня – люди, завтра – прах.

Возражая свои критикам, Северянин написал иронический «Мой ответ», последняя строфа которого только усилила нападки на поэта:

– Друзья! Но если в день убийственный
Падет последний исполин,
Тогда ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин! (1, 553).

[26] Цит. по: Александр Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 2. С. 62–63.

На волне всеобщего подъема в дни февральской революции Северянин написал цикл стихов «Револьверы революции» (он будет опубликован только в сборнике «Миррелия» (Берлин, 1922). В примечани автора говорилось, что рукописи пропали в Москве в феврале 1918 г. и были восстановлены по памяти через год в Тойле). Несправедливо забытый цикл открывается стихотворением «Гимн Российской республики» («Мы, русские республиканцы...»). Исполнены национальной гордости стихотворения «Моему народу», «Все — как один»:

Народу русскому дивитесь:
Орлить настал его черед!

К лету 1917 г. настроение поэта переменилось: «Искусство в загоне... Что делать в разбойное время поэтам... Мы так неуместны, мы так невпопадны». Октябрьская революция отразилась в «Поэзе скорбного утешения» и «Поэзе последней надежды», в контрастах увиденного «злого произвола» и веры в «глаза крылатой русской молодежи»: «Я верю в вас, а значит — и в страну». Это была политическая лирика в полном смысле слова. «Сверкает в руках револьвер!» — аллитерировано не хуже, чем год спустя у Маяковского: «Ваше слово, товарищ маузер!»

Путь к вечным розам

Еще в конце 1917 г. Северянин вместе с больной матерью поселился в Эстонии в поселке Тойла, где бывал начиная с 1912 г. Отсюда в феврале 1918 г. он приехал в Москву на вечер избрания «короля поэтов». После заключения Брестского мира и получения Эстонией независимости Северянин оказался в эмиграции.

Изоляция Северянина на некоторое время нарушилась, когда он смог осенью 1922 г. приехать в Берлин. Впервые после пятилетнего перерыва Северянин встретил своих знакомых — художника Ивана Пуни, Ксению Богуславскую, актрису Ольгу Гзовскую, поэтов Владимира Маяковского, Андрея Белого, Владислава Ходасевича, Бориса Пастернака и др. Он посещал берлинский Дом искусств, созданный по аналогии с петроградским. Поэт даже выступал в советском торговом представительстве на праздновании 5-летия Октябрьской революции и болгарском землячестве.

В Берлине вышли книги Игоря Северянина: «Менестрель» (1921), «Миррелия» (1922), «Падучая стремнина: Роман в 2-х частях» (1922), «Фея Eiole» (1922), «Трагедия Титана. Космос: изборник первый» (1923), «Соловей: Поэзы, 1918 год» (1923). Две последние книги опубликованы в издательстве «Накануне». Маяковский и Кусиков помогли Северянину заключить договор с этим издательством на 4 сборника.

Но вышли только два, так как вскоре ввоз книг в Советскую Россию был запрещен, тиражи упали, и объявленные еще две новые книги Северянина, среди которых «Царственный паяц», так и не вышли.

В воспоминаниях И. Одоевцевой сохранился рассказ Северянина об одной из встреч в Берлине с А. Н. Толстым: «А мерзавец Толстой в ресторане "Медведь", хлопнув меня по плечу, заголосил, передразнивая меня: "Тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин!" — и расхохотался идиотски во всю глотку и гаркнул на весь ресторан: "Молодец вы, Северянин! Не обманули! Сдержали слово — привели нас, как обещали, в Берлин. Спасибо вам, наш нежный, наш единственный! Спасибо!!" — И низко, в пояс, поклонился»[27].

В сборнике «Соловей» сохранились черты первоначального замысла — «Поэмы жизни». Так, начальное стихотворение «Интродукция» и заключительное — «Финал» подчеркивают единство композиции произведения и особенности его «раздробленного сюжета». Многие стихи определены автором как «главы» более крупного произведения, они сюжетно связаны («Тайна песни», «Не оттого ль?..», «Чары соловья», «Возрождение») или развивают последовательно одну тему («Сон в деревне», «Трактовка»). Более того, стихотворение «Высшая мудрость» было ранее опубликовано в альманахе «Поэзоконцерт» (1918) под названием «Поэма жизни: Отрывок 28-й». Оставляя замысел поэмы неисчерпанным, Северянин в стихотворении «Финал» пояснял: «Поэма жизни — жизнь сама!»

В рецензии А. Бахраха говорилось, что Северянин «во время оно закончил делать свое, ценное. Ныне регресс превратился в падение. <...>. Все те же надоевшие нюансы, фиоли, фиорды, фиаско, рессоры, вервена — Шопена, снова то же старое, затасканное самовосхваление: "я — соловей, я так чудесен"...» По мнению Бахраха, «времена меняются, земля вертится, гибнут цари и царства... а Игорь Северянин в полном и упрямом противоречии с природой безнадежно остается на своем старом засиженном месте <...>. Открываешь книгу, и просто не верится, что на ней пометка "1923"».

Несмотря на то что с момента написания книги до ее издания прошло пять лет, рецензент воспринимал стихи в издании 1923 г. вообще как анахронизм: «Северянина-поэта, подлинного поэта, было жалко. От Северянина-виршеслагателя, автора книги поэз "Соловей", делается нудно, уныло»[28].

Совсем иначе расценивал стихи этого периода эстонский поэт, затем профессор русской литературы Вальмар Адамс. В 1918 г. он был

[27] *Одоевцева И.* На берегах Сены. М., 1989. С. 16.

[28] *А. Б.* <Рец.> // Дни. Берлин, 1923. 18 марта.

редактором газеты «Молот» и часто встречался с Северяниным, о котором дружески вспоминал: «...как он писал стихи! За обеденным столом, во время беседы, экспромтом, — ведь это, что ни говори, биологическое чудо. А какой голос! Однажды в грозу он читал мне стихи под каким-то подобием античного бельведера, уж не помню где, — так он перекрывал гром! Или, случалось, после обеда он сидел у камина и пел одну за другой оперные арии — в доме стены тряслись»[29].

И все же для Северянина возвращение в провинциальный эстонский поселок или озерную глушь было подчас безрадостным. Здесь он оказывался не только вдали от России, но и от основных центров русской эмиграции — Берлина, Парижа, Праги... Возможно, тогда, пытаясь сохранить память об утраченной родине, о прежней жизни или, говоря словами Романа Гуля, «унести с собой Россию», молодой, едва тридцатипятилетний Северянин углубился в мемуары и автобиографические романы в стихах («Падучая стремнина», 1922; «Роса оранжевого часа», 1925; «Колокола собора чувств», 1925 и др.).

Его гастрольные поездки в Берлин, Париж, Прагу, Белград и другие города приносили небольшой доход и ощущение читательского внимания.

«За эти годы, — рассказывал Северянин в письме В. И. Немировичу-Данченко, — мы побывали однажды в Польше, дважды в Латвии. Больше никуда не ездили. Постоянно живем в своей деревушке у моря. Живется трудненько, заработков никаких, если не считать четырех долларов в месяц из “Сегодня”. До сих пор, слава Богу, помогало Эстонское Правительство, благодаря которому мы кое-как и существовали. Однако нельзя ручаться за это впредь. Писатель я никакой, поэтому заработать что-либо трудно. Как лирик не могу много заработать: никому никакая лирика в наше время не нужна, и уж во всяком случае она не кормит. До сих пор мучает меня долг проф<ессору> Заблоцкому (12 долл<аров>), но отдать, при всем желании, никаким образом не могу. И нет даже надежд, т. к. книги не выходят, вечера дают такие гроши, что едва на дорогу хватает».

Многим запомнился поэзовечер в зале «Шопен» в Париже 27 февраля 1931 г., где Северянин читал стихи из книги «Классические розы». Марина Цветаева, присутствовавшая на выступлении, писала С. Н. Андрониковой-Гальперн 3 марта 1931 г.: «Единственная радость <...> за все это время — долгие месяцы — вечер Игоря Северянина. Он больше чем: остался поэтом, он — стал им. На эстраде стояло двадцатилетие

[29] Памяти Вальмара Адамса // Русская мысль. 1999. 4—10 ноября. С. 18.

<...> первый мой ПОЭТ, т. е. первое сознание ПОЭТА за 9 лет (как я из России)»[30].

Цветаева воспринимала новые стихи Северянина в широком контексте — двадцатилетия его творчества. В неотправленном письме Северянину она создала своеобразный гимн русским поэтам — невольным изгнанникам: «Это был итог. *Двадцатилетия.* (Какого!). Ни у кого, может быть, так не билось сердце, как у меня, ибо другие (все!) слушали *свою* молодость, *свои* двадцать лет (тогда!). Двадцать лет назад! — Кроме меня. *Я* ставила ставку на силу поэта. Кто перетянет — он или время? И перетянул он: — Вы.

Среди стольких призраков, сплошных привидений — Вы один были жизнь: двадцать лет *спустя.* <...> Вы выросли, Вы стали *простым*, Вы стали поэтом больших линий и больших вещей, Вы открыли то, что отродясь Вам было приоткрыто — *природу*, Вы, наконец, раз-нарядили ее...

И вот, конец первого отделения, в котором лучшие строки:

И сосны, мачты будущего флота...

Ведь это и о нас с Вами, о поэтах, — эти строки»[31].

Несомненно, сборник «Классические розы» (Белград, 1931) стал наиболее значительной книгой эмигрантского периода. Его заглавие связано с давней литературной традицией, о которой писал В. В. Набоков: «Роза пылала на ланитах пушкинских красавиц. В кущах Фета она расцветала пышно, росисто и уже немного противно. О, какая она была надменная у Надсона! Она украшала дачные садики поэзии, пока не попала к Блоку, у которого чернела в золотом вине или сквозила мистической белизной».

С мятлевскими, классическими, розами связан другой важный мотив, воплощенный в этом хрестоматийном образе, — память об оставленной родине. Для Вл. Ходасевича так происходит восстановление духовной общности России и зарубежья. В стихотворении «Петербург» он пишет о том, что «привил-таки классическую розу / К советскому дичку» (12 дек. 1925; вошло в сборник «Европейская ночь». Париж, 1927). Иначе раскрывается семантика образа в книге Георгия Иванова «Розы» (Париж, 1931), где поэт прощается с прошлым навсегда «сквозь розы и ночь, снега и весну...» «Классность» определяла принадлежность Северянина к каноническому литературному ряду и направление его творческой эволюции. Это сразу ощутили современники

[30] *Цветаева М.* Об искусстве. М., 1991. С. 413.

[31] Там же. С. 412.

поэта, например, Георгий Адамович писал: «Северянин стал совсем другой <...> вырос, стал мудр и прост»[32].

Петр Пильский отмечал, что «поверхностному слуху с этих страниц, прежде всего, зазвучит мотив успокоенности. Это неверное восприятие. В книге поселена тревожность. Здесь — обитель печали. Слышится голос одиночества. В этих исповедях — вздох по умершему. Перед нами проходит поэтический самообман. Втайне и тут все еще не угомонившееся «Я» («Кто я? Я — Игорь Северянин, чье имя смело, как вино?)... Ни скорбь по России, ни мечтательные надежды на ее новое обретение, ни любовь к родной стране, ни жизненные потрясения, ни седина, ни годы не изменяют, не разрушают основного строя души, не умерщвляют коренных, врожденных, взрощенных пристрастий»[33].

Не случайно одно из поздних выступлений Северянина 20 января 1938 г. в обществе «Витязь» (Таллин) с лекциями о русской поэзии XX века носило заглавие «Путь к вечным розам».

Я — композитор

С детства поэт был «заправским меломаном», запоминал любимые арии и напевал их так, что взрослые удивлялись его слуху. В Петербурге Северянин постоянно бывал в Мариинском театре, где блистала его ровесница Мравинская, в консерватории, Театре Народного дома императора Николая II, Театре музыкальной драмы.

Среди любимых композиторов Северянина — Амбруаз Тома и Джакомо Пуччини, П. И. Чайковский и Н. А. Римский-Корсаков. Северянин признавался: «Музыка и Поэзия — это такие две возлюбленные, которым я никогда не могу изменить».

Говоря о себе как о композиторе, Северянин подчеркивал повышенное внимание, уделяемое им построению каждой книги, строгому и продуманному, словно в музыкальном произведении. Тонкий поэтических слух воплотился в разнообразных стихотворных увертюрах, сонатах, этюдах, ноктюрнах, прелюдиях, ариях, — в мелодичных стихах, привлекавших многих композиторов. Среди них были такие выдающиеся современники поэта, как Сергей Прокофьев и Сергей Рахманинов. Переписка с ними могла бы расширить наши представления о северянинском творчестве, но сохранились лишь ее фрагменты.

В одном из писем Августе Барановой Северянин сообщал: «С. Прокофьев писал мне на днях. Он теперь в Германии. Очень хочу пови-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

[32] Последние новости. 1931. 17 сент.

[33] *П<ильский П.>* «Ни ананасов, ни шампанского» // Сегодня. 1931. 15 сент.

даться с ним. Его "Любовь к трем апельсинам" — событие в Европе. Я думаю дать ему либретто для новой оперы». Трудно сказать, когда состоялась встреча Северянина и Прокофьева, но известно, что у них еще с 1916 г. был общий знакомый, сын богатого купца, поэт Борис Башкиров (Верин). Северянин посвятил ему, заслужившему титул принца Сирени, свою книгу поэз «Соловей». В Берлине осенью 1922 г. с Прокофьевым встречался не только Северянин, но и Маяковский, которому также особенно близки были «грубые марши» композитора и опера «Любовь к трем апельсинам».

Сергей Рахманинов знал стихи Северянина еще до выхода «Громокипящего кубка». Он восхищался колыбельной А. Н. Александрова на слова Игоря Северянина («Пойте, пойте»). История создания романса «Маргаритки» связана с малоизвестными страничками дружбы Мариэтты Шагинян с Рахманиновым — «Письма к Ре». Дело в том, что в первом письме, отправленном известному композитору, она не захотела назвать свое имя и подписалась ноткой Re. С тех пор Рахманинов вплоть до их последней встречи в июле 1917 г. всегда называл ее Re. Даже написав для Шагинян романс «Муза», поставил в посвящении: Re.

Однажды летом 1916 г., когда Рахманинов находился на лечении в санатории в Ессентуках, Шагинян привезла ему тетрадку с «заготовленными текстами» — пятнадцать стихотворений Лермонтова и двадцать шесть — новых, среди них «Маргаритки» Северянина и «Крысолов» В. Брюсова, «Ау» К. Бальмонта и «Сон» Ф. Сологуба, «Ивушка» («Ночью в саду у меня...») А. Исаакяна в переводе А. Блока и «К ней...» А. Белого — все шесть стихотворений, на которые он создал потом романсы. «Тут же понемножку мы стали разбирать их, смотреть волнистую графику к ним. <...> Тогда же в Ессентуках, он начал работу над этими новыми романсами, законченными осенью в Ивановке. <...> Все шесть романсов поразительно свежи и хороши. Критики писали о них как о новой странице в творчестве Рахманинова; с очень большой искренней похвалой несколько раз отзывался о них такой строгий и нелицеприятный судья, как Н. К. Метнер»[34]. Сам Рахманинов считал наиболее удавшимися и больше всего любил романсы «Крысолов» и «Маргаритки».

«Наша предпоследняя встреча, — вспоминала Мариэтта Шагинян, — была в Нахичевани. Проездом через Ростов, где Сергей Василь-

---

[34] *Шагинян М.* Воспоминания о С. В. Рахманинове // Воспоминания о Рахманинове / Сост., ред., примеч. и предисл. З. Апетян: В 2 т. М., 1967. 2-е изд., доп. Т. 2. С. 167—169.

евич давал очередной концерт, он прислал мне с письмом свои новые романсы и позвал встретиться... <...> Два часа мы с ним просидели у рояля, — я "рассказывала", а он упражнялся перед концертом. Мне было обидно, что шесть романсов на "мои", так любовно подготовленные для него тексты, он посвятил Кошиц, а он отшучивался на упреки»[35].

Жизнь — всегда любовь

Северянину удалось взглянуть на обыденную жизнь как на романтическое, достойное изящной словесности путешествие. В самой прозе жизни Северянин находил поэтичность, освещал ее свойственной ему иронией и простодушием. В его стихах весь спектр городского бытия, начиная от «мороженого из сирени», «ананасов в шампанском», «фиалкового ликера» и устриц, «боа из кризантем», «шаплеток» и калош до новейших достижений техники (авто, летуны, экипажи, электрассонансы, кинематограф и экспресс).

Но тем не менее Северянин не был певцом города и городской культуры, наоборот, он хотел избрать жизнь в природе, вдали от цивилизации. В письме А. Д. Барановой от 24 июля 1923 г. поэт восклицал: «Как омерзительны и отвратительны города со всей своей гнусью и неоправданностью!». Живя в Тойле (Эстония) с 1918 г., поэт ходил за 3—5 верст в леса и ловил форелей. Нередко в письмах Северянин создает яркие зарисовки дивного озера Ульясте: «Извилистая тропинка вокруг прозрачного озера приводит Вас к янтарной бухте, на берегах которой так много морошки, клюквы и белых грибов. Мачтовые сосны оранжевеют при закате. Озеро зеркально, тишь невозмутима, безлюдье истое. Вы видите, как у самого берега бродят в прозрачной влаге окуни, осторожно опускаете леску без удилища в воду перед самым носом рыбы, и она доверчиво клюет, и Вы вытягиваете ее, несколько озадаченную и смущенную. Лягушки, плавая, нежатся на спинках смотря своими выкаченными глазами прямо на Вас, человека, не сознавая ужаса этой человечности, им чуждой: они так мало людей видят здесь. Стада диких гусей и уток проносятся над озером, разом падая на его влажную сталь. Все это озеро и его берега, и весь колорит природы напоминают мне в миниатюре Байкал».

В более раннем письме, Б. Д. Богомолову, появляется своеобразный «портрет» гатчинских окрестностей: «Живем мы против парка, большого и запущенного, чарующего меланхолика. Два пруда, как два тусклых старческих глаза, смотрят ввысь сосредоточенно и глубоко,

[35] *Шагинян М.* Воспоминания о С. В. Рахманинове // Воспоминания о Рахманинове. С. 169—170.

мудрые и замкнутые. На их переносице — прелестная дорожка, увлекающая к белому дворцу кн. Трубецкой, к белой церкви и, может быть, к белым стихам: такие места рождают поэмы, а поэмы бессмертят такие места...».

Игорь Северянин, может быть, самый «балтийский» из русских поэтов: «Мои мечты всегда у моря... Да, север, сумерки и май...»

Он знал народные сказания, особенно эстонские, об Эмарик и Койте. По фольклорным мотивам написаны, например, «Саги, Балтикой рассказанные». Ему довелось смотреть на Балтийское море с обоих берегов Финского залива — с северных дюн, из Куоккалы в 1907—1917 гг., и с южной, эстонской, стороны, где поэт снимал дачу в поселке Тойла еще до Первой мировой войны, а затем так и остался в тех краях дачником — эмигрантом на двадцать лет, до самой смерти в декабре 1941 г.

О, море нежное мое, Балтийское,
Ты — миловиднее всех-всех морей!
Вот я опять к тебе, вот снова близко я,
Тобой отвоенный, для всех ничей...

Вероятно, ему вспоминались экзотические воды Корейского залива, которые будущий поэт повидал, путешествуя со своим отцом по Дальнему Востоку в 1903 г. («И Море Желтое, я по тебе тоскую!..»). Многое в стихах определялось и литературной традицией, приключенческими романами из пиратской жизни. Александр Вертинский напевал северянинские стихи, и восторгу слушателей не было предела:

А когда придет бразильский крейсер,
Лейтенант расскажет Вам про гейзер...

Произведения Северянина инсценировали в кинематографе, а балетная постановка по стихотворению "M-me Sans-Gene" («Мадам Сан-Жен») была украшением эстрадного репертуара. Но более всего поэт оправдывал избранный им еще в двадцатилетнем возрасте псевдоним «Северянин»: «Сердце северянина, не люби лиан души...»

Живя в Петербурге, Северянин стремился «из города сизой мглы» туда, где «у моря Балтийского, / Лилитного, блеклого и неуловимого,... / Для сердца усталого — так много любимого, / Святого, желанного, родного и близкого!»

В его стихах обычная поездка в Куоккалу превращалась в путешествие куртизанки, словно сошедшей с картины его современника Константина Сомова:

Карета куртизанки, в коричневую лошадь,
По хвойному откосу спускается на пляж.

Чтоб ножки не промокли, их надо окалошить, —
Блюстителем здоровья назначен юный паж.

Известно, как много в творчестве поэта было связано с «острым обществом дамским». Его «северные Лауры» (Злата, Мисс Лиль, Зизи, Тринадцатая) были воплощением определенного идеала. В реальной жизни Северянин, например, писал в сочельник, 23 декабря 1908 г., Константину Фофанову: «Дорогой Константин Михайлович! Сегодня вечером мы с одной синьориной отправляемся на Иматру, где проведем первый и второй день». В поэзах реальность неузнаваемо преображается:

...Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная...
Упоенье любовное Вам судьбой предназначено...
В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом —
Вы такая эстетная, Вы такая изящная...

«Бледный сумеречный силуэт Незнакомки расцвечивается у Северянина яркостью красок в двуликом образе Прекрасной Дамы сегодняшнего дня», — замечал один из поклонников поэта, критик Виктор Ховин в статье с характерным названием — «Сквозь мечту». Царство холодных лучений и зеркальных отраженностей, по словам Ховина, царство парфюмерии и городских масок воплотилось в своеобразной музе Северянина, впитавшей в себя «мотив шантанного напева, ароматной утонченным запахом модных духов, пряной, как ликер Crème de Violette <...> Жива Прекрасная Дама! Жив мечтатель! И есть магические слова, преображающие тусклый прозаизм будней в царство безрáзумных чудес...»[36].

Любопытно, что творческому преображению подвергается и вся природная сфера. Поэт находит «Юг на Севере» (так называлось одно из стихотворений Северянина), свои «Полярные пылы (Снежная поэма)» и «льдяное пламя»:

И в тундре — вы понимаете? — стало южно...
В щелчках мороза — дробь кастаньет...

———————

«Влияние, оказанное Северяниным на поэзию XX в., огромно, — справедливо писал Александр Межиров в статье, посвященной 100-летию со дня рождения поэта. — Его псевдо-салонным жаргоном, непо-

[36] Очарованный странник. 1915. Вып. 7. С. 8.

средственным синтаксисом облучены строки Маяковского, Пастернака, послереволюционного Есенина и многих-многих других»[37].

Сейчас, по прошествии многих лет, легенды и факты из жизни Игоря Северянина, собранные воедино, безусловно послужат для углубленного прочтения и восприятия той истинной поэзии, о свойствах которой писал Георгий Адамович в связи с выступлением поэта в Париже (1931): «После скупости, скудости и анемичности вдохновения у большинства современных поэтов этот "фонтан", бьющий стихами неудержимо, показался чем-то волшебным. Не хотелось говорить о недостатках. Хотелось только благодарить за эту "Божьей милостью" поэзию...»[38].

[37] Лит. газ. 1987. 13 мая.

[38] Цит. по: Сочинения. Таллин, 1990. С. 12—13.

I
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

МОЯ ПОЭЗИЯ

Исповедь Игоря Северянина для «Синего журнала»

Первая моя книжка «К предстоящему выходу Порт-Артурской эскадры» вышла в сентябре 1904 г., в год громов и молний. С тех пор я издал 35 брошюр со своими поэзами. И только в этом году вышел большой сборник — «Громокипящий кубок».

Критика меня заметила только на 26-й брошюре, в которой шла «Хабанера II» («Вонзите штопор в упругость пробки...»). Это было в 1909 г. Меня принялись ругать, а я смеялся и читал «Fleurs du mal»!.. В 1907 г. я познакомился с К. М. Фофановым, сразу же восторженно меня приветствовавшим. Он посвятил мне около десяти стихотворений, в которых пел меня. Я очень его люблю. Это — самый *вдохновенный* русский поэт. Он и Мирра Лохвицкая. Даже все их недостатки очаровательны. Впрочем, их *не принято* хвалить — Фофанова и Лохвицкую. В 1911 г. я провозгласил в России эгофутуризм, издав свой прогремевший «Пролог». Вскоре нашлись последователи, и в январе 1912 г. была нами организована «Академия эгопоэзии», после чего И. В. Игнатьев стал издавать газету «Петерб<ургский> глашатай», около которой и группируются ныне все эгофутуристы. В конце 1912 г. я выпустил «Эпилог» и перестал быть эгофутуристом. Моя задача была выполнена, доктрина «Я — в будущем» стала для меня нелепой. Конечно, я сочувствую всем эгофутуристам, но, к сожалению, среди них много *вечных*, которые никогда не узнают способа *перестать быть* эгофутуристами... Мешает им отчаянная бездарность и тупые трюки. Что же касается «москвичей»-кубофутуристов и «казанцев»-неофутуристов — это сплошное шарлатанство, и я о них даже и говорить не желаю! Равно я не признаю и футуризма иностранного. Из современных русских по-

этов выше всех ставлю Брюсова. Не выношу очень многих, в особенности Ратгауза и Городецкого. «Акмеизм» возбуждает у меня хохот: какой же истинный поэт не акмеист?!.

Ведь так можно и «соловьизм» изобрести! Смешит меня и «Цех поэтов», в котором положительно коверкают начинающих. Вообще, этот «Цех» – выдумка никчемная. Я называю его «обезьянизмом». Сухо, бездушно, посредственно в нем все. Да, не радует меня наша молодая поэзия, и прав Брюсов, писавший как-то мне: «...работы много, а работников нет». Теперь о критике:

СУВЕНИР КРИТИКЕ

Ах, поглядите-ка! Ах, посмотрите-ка!
Какая глупая в России Критика:
Зло насмеялася над «Хабанерою»,
Блеснув вульгарно своей манерою,
В сатире жалящей искала лирики,
Своей бездарности спев панегирики,
И не расслышала (иль то *политика?..*)
Моей иронии глухая Критика.
Осталось звонкими, как солнце, нотами
Смеяться автору над идиотами,
Да приговаривать: ах, посмотрите-ка,
Какая подлая в России Критика!

<1913>

У ПОЭТА

<Беседа с Игорем Северяниным>

Я нашел поэта в маленькой лекторской за эстрадой, где шел доклад о нем.

Игорь-Северянин – высокий, стройный, в черном сюртуке. Бритое лицо не русского типа. Уверенные спокойные глаза хорошо связаны с сжатыми тонкими губами и римским носом.

Мы беседуем.

– Я эгофутурист. Я был им провозглашен в ноябре 1911 г., когда появилось издание моего пролога.

Слова льются четкие, отделенные друг от друга, точно при каждом из них нажимается невидимая педаль.

– Моя доктрина известна. Эго значит – «я». Футурист – «будущий». Эгофутуристом может быть каждый. Это очень просто. Но это

надо суметь, так как для этого нужен большой труд. Каждый человек, который решил выдвинуться, должен упорно выдвигать себя, принося все в жертву этой цели.

С футуризмом я не имею ничего общего. Мое творчество пока единственное в своем роде. Многие подражают мне, но эгофутурист я один.

Что касается Маринетти и итало-французского футуризма, то я не берусь ни судить о нем, ни связывать себя с ним, так как это вне моей компетенции.

Относительно же ваших московских кубофутуристов я скажу, что это шарлатаны и совершенно бездарные люди.

Из всех моих подражателей наиболее приближается ко мне Дмитрий Крючков. Но он все же не эгофутурист, а только модернист.

Из критиков, наиболее чутко улавливающих мое творчество, я назову интуитивного критика «Очарованного странника» Виктора Ховина.

Как читать мои стихи, спрашиваете вы, и под какую музыку?

Под музыку Скрябина.

Мои стихи под музыку Скрябина — здесь должен получиться удивительный диссонанс.

Когда я выхожу на эстраду, я не знаю заранее, что я буду читать. Видите, у меня здесь чья-то визитная карточка. Я только что нанес на нее ряд заглавий моих стихов. Это мой репертуар, из которого я буду выбирать уже на эстраде...

В лекторскую ввалилась после оконченного доклада толпа поклонников.

Всё такой же спокойный, чеканящий слова, изысканный в медлительных движениях и чуть надменный, Игорь-Северянин отошел к своим московским поклонникам.

<1914>

ДОЛЖНЫ ЛИ МОЛЧАТЬ ПОЭТЫ?

(Анкета «Журнала журналов»)

Нет, поэты не должны молчать в дни войны. Поэты никогда не должны молчать. Лично для меня даже всемирная война — только тема. Но я невыразимо болен, я свободы лишен, и вот — я «молчу»...

<1915>

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Родился 4 мая 1887 г. в Петрограде.

Образование получил в Череповецком реальном училище.

Лучшее воспоминание: директор кн. Б. А. Тенишев, добрый, веселый, остроумный.

Дебютировал в ежемесячном журнале «Досуг и дело» (1905 г., № 2, 1-го февраля).

Издал 35 брошюр (2–24 стран<ицы>) – 1904–1912 г.

Мать: Наталия Степановна, рожд. Шеншина, дочь предводителя дворянства Щигровского у<езда>, Курской губ<ернии>.

Отец: Василий Петрович, отставной штабс-капитан 1-го железнод<орожного> баталиона (ныне полка). Скончался 28-го мая 1904 г. в Ялте (44-х лет).

Любимые поэты: в детстве – гр. Ал. К. Толстой, затем – Мирра Лохвицкая, Фофанов, Бодлэр.

Любимые композиторы: Амбруаз Тома, Пуччини, Чайковский, Римский-Корсаков.

Любимый художник: Врубель.

Очень много читал.

<1916>

РОДСТВЕННИКИ И «-ЧКИ»...

Отец матери: Степан Сергеевич Шеншин, пред<водитель> дв<орянства> Щигровского у<езда> Курской губ<ернии>.

Мать матери: Ольга Кузьм<инична> *Детерина.*

Родственники: *Дук, Нелидов, Клейнмихель, Карамзин, Переверзев.*

Первый муж матери: ген<ерал>-л<ейтенант> Георгий Иванович *Домонтович*, военный инженер.

Первая его жена: Павла Михайловна.

Его дети: От первой жены: Иван, студ<ент> Петерб<ургского> унив<ерситета> (умер в юности).

От второй жены: Зоя, моя сестра по матери.

Братья Г. И. Домонтовича: Иван Иванович, гласный Петерб<ургской> Думы, и Конст<антин> Ив<анович>, сенатор.

Сыновья Ивана Ивановича: Владим<ир> Ив<анович>, адвокат, и Александр Иван<ович>, студ<ент> Петерб<ургского> университета (умер в юности).

Конст<антин> Иван<ович> был женат на Аделаиде Конст<антиновне> Муравинской. Ее сестра, Евгения Константиновна, по сцене *Мравина*, колор<атурное> сопрано Мариинской оперы в СПб. Отец их: ген<ерал> Муравинский.

Ген<ерал>-лейт<енант> Михаил Алексеевич Домонтович двою р<одный> брат тех Домонтовичей, был женат на Александре Александровне. У них дочь: Александра Михайловна, вышедшая замуж за полк<овника> (впоследствии ген<ерал>-м<айора>) *Коллонтай.*

Аделаида Константиновна, овдовев, вышла вторично за флигель-адъютанта, полковника лейб-гвардии Конного полка Николая Михайловича *Каменева.* Ее дети от первого брака: студ<ент> Михаил и курсистка Александра.

Брат отца моего, Михаил, инженер-технолог, директор фабрик Шейлера в Лодзи и Коншина в Серпухове, женат на Екатерине Николаевне *Ильвовской.* Их сыновья: Борис, Николай, Владимир, — все студ<енты> Московск<ого> унив<ерситета>.

Их дочери: Елисавета («кузина Лиля»), по мужу *Якульская*; Вера, по мужу *Писарева*; Лилия, по мужу кн. *Ухтомская.*

Мамины сестры: 1) Елисавета Степановна была замужем за Василием Васильевичем *Саловым,* предс<едателем> совета инженеров путей сообщения и моим крестным отцом. У него был незаконный (узаконенный впоследствии) сын Василий, мой друг детства, композитор, автор оперы «Шурка», сын портнихи, женатый на «Ариадниной мамочке» Александре Алексеевне. Вторично Салов-отец был женат на Прасковье Александровне Ваксель (ковенской помещице).

2) Александра Степановна была замужем за инжен<ером> путей сообщ<ения> Иваном Ивановичем *Ходоровским.* У них было шестеро детей. Сыновья: Сергей, Владимир и Константин — все инженеры путей сообщения. Дочери: Зинаида (по мужу *Романова*), Вера (по мужу *Смоленская*), Лидия (по мужу *Кожухова*).

Мамины братья: Николай, Михаил и Иосаф. Николай — гусар, женатый на тете Поле. Михаил убит в молодости на охоте. У Иосафа были две дочери: Лидия, по мужу *Колосова*, вторично — *Матренинская* (оба мужа — инжен<еры> путей сообщения); София, вторая дочь, была замужем за Яковом Павлов<ичем> *Коссаговским.*

У мамы были еще два двоюродных брата: Николай Львович *Марков* (1-й) и Анатолий *Снегирев.* Оба инженеры путей сообщения. Первый был предс<едателем> правления путей Юго-Восточн<ых> жел<езных> дорог.

У отца была сестра Елисавета Петровна *Журова*, жена моск<овского> купца.

Старший сын – Сергей – мировой судья в Москве. Младший – Виктор, окончил юридич<еский> факультет Моск<овского> унив<ерситета>. Баритон, под псевдонимом «Vittorio Andoga». Был режиссером La Skala в Милане. Женат на одесситке Наталии *Фесенко* (по сцене *Аида Маргелла*).

Отец отца – Петр, купец Владим<ирской> губ<ернии>. Мать отца – Пелагея Леонтьевна.

ОБРАЗЦОВЫЕ ОСНОВЫ

1

Мне не было еще девяти лет, когда, живя в Петербурге, я стал писать стихи. Отлично помню первое свое стихотворение, включенное мною как курьез в приготовленный для полного собрания сочинений – восьмой – том детских и юношеских моих произведений – «Ручьи в лилиях»:

ЗВЕЗДА И ДЕВА

Вот и звезда золотая
Вышла на небо сиять.
Звездочка верно не знает,
Что ей недолго блистать.
Так же и девица красна:
Выйдет на волю гулять.
Вдруг молодец подъезжает –
И воли ее не видать.

Стихотворение хотя и бездарное на мой взгляд, – я подчеркиваю на мой, так как на иной оно может и теперь показаться далеко не таковым: увы, я слишком хорошо изучил вкусы и компетенцию в искусстве рядового читателя, – однако написано с соблюдением всех «лучших» традиций поэтического произведения: здесь вы найдете и высокопоэтические слова, как, например, «звезда» и «дева», да еще «красна», и размер «общепринятый и гармоничный»... для слуха обывателя, и такие «гладкие», – не пропустите, пожалуйста, уважаемый корректор, буквы «л», – рифмы, как «сиять» – «блистать» – «гулять» – «видать» и, – что самое главное, – конечно, в этом «образцовом» произведении имеется столь излюбленное классическими поэтами сопоставление, в данном случае в виде «звезды» и «девы», т. е. дева поступает, как звезда... Все вышеперечисленные «достоин-

ства» разобранного стихотворения дают право критику, выражающему вкусы обывателя, причислить его — стихотворение, а не обывателя, а если угодно, и обывателя — к разряду классических... произведений, на мой же взгляд — идиотств...

Подобные этим стихи я писал, к сожалению, достаточно долго, восхваляя в них «солнце золотое», «синие моря» и «чарующие грезы», и происходило это главным образом оттого, что я зачитывался образцовыми поэтами, не умея их читать...

Значительно ранее этого времени меня стали усиленно водить в образцовую Мариинскую оперу, где Шаляпин был тогда просто басом казенной сцены, выступал в «Рогнеде» и «Игоре», и об его участии еще никого не оповещали жирным шрифтом. Из других артистов выступали тогда Стравинский, Славина, Долина, Куза, чета Фигнеров, Карякин, Бзуль, Фриде, Яковлев, Чернов и др.

Благодаря чтению и слушанию всего этого образцового, в особенности же благодаря оперной музыке, произведшей на меня сразу же громадное впечатление и зачаровавшей ребенка, мое творчество стало развиваться на двух основных принципах: классическая банальность и мелодическая музыкальность... От первого я стал излечиваться в 1909—1910 гг., от второго же не могу, кажется, избавиться и теперь: слишком до сей поры, несмотря на всю ее сценическую «вампучность», люблю я оперу, будь то старая итальянская Доницетти или Беллини, или же последние завоевания Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева, моих громоимянных соотечественников...

Да, я люблю композиторов самых различных: и неврастеническую музыку Чайковского, и изысканнейшую эпичность Римского-Корсакова, и божественную торжественность Вагнера, и поэтическую грацию Амбруаза Тома, и волнистость Леонкавалло, и нервное кружево Масснэ, и жуткий фатализм Пуччини, и бриллиантовую веселость Россини, и глубокую сложность Мейербера, и — сколько могло бы быть этих «и»!

Бывая постоянно в Мариинском театре, в Большом зале консерватории у Церетели и Дракулли, в Малом (Суворинском) театре у Гвиди, в Народном доме и в Музыкальной драме, слушая каждую оперу по несколько раз, я в конце концов достиг такого совершенства, что, не раскрывая программы, легко узнавал исполнителей по голосам. В особенности часто, почти ежедневно, посещал я оперу в сезоны 1905—1907 гг. При мне делали себе имена такие величины, как Л. Я. Липковская и М. Н. Кузнецова-Массне (тогда еще Бенуа), явила свой изумительный промельк Монска, выступали Джемма Беллинчиони, Ливия Берленди, Мария Гай, Мария Гальвани, Олимпия Боронат, Зигрид Арнольдсон, Баттистини, Руффо, Ансельми, Наварини, допевали Земб-

рих и Кавальери. Однако Собинова слышал я не менее сорока раз. Удивительно ли, что стихи мои стали музыкальными, и сам я читаю речитативом, тем более, что с детских лет я читал уже нараспев, и стихи мои всегда были склонны к мелодии?

2

С 1896 г. до весны 1903 г. я провел преимущественно в Новгородской губ<ернии>, живя в усадьбе Сайвола, расположенной в 30 верстах от г. Череповца, затем уехал с отцом в Порт-Дальний на Квантуне, вернулся с востока 31 дек<абря>1903 г. в Петербург и начал посылать по различным редакциям свои опыты, откуда они, в большинстве случаев, возвращались мне регулярно. Отказы свои редакторы мотивировали то «недостатком места», то советовали обратиться в другой журнал, находя их «для себя неподходящими», чаще всего возвращали вовсе без объяснения причины. Вл. Г. Короленко нашел «Завет» «изысканным и вычурным», Светлов («Нива») возвратил «Весенний день...» Продолжалось это приблизительно до 1910 г., когда я прекратил свои рассылы окончательно, убедившись в невозможности попасть без протекции куда-либо в серьезный журнал, доведенный до бешенства существовавшими обычаями, редакционной «кружковщиной» и «кумовством». За эти годы мне «посчастливилось» напечататься только в немногих изданиях. Одна «добрая знакомая» моей «доброй знакомой», бывшая «доброй знакомой» редактора солдатского журнала «Досуг и дело», передала ему (ген<ералу> Зыкову) мое стихотворение «Гибель "Рюрика"», которое и было помещено 1 февраля 1905 г. во втором номере (февральском) этого журнала под моей фамилией Игорь Лотарев. Однако гонорара мне не дали и даже не прислали книжки с моим стихотворением. В те годы печатался я еще в «Колокольчиках» (псевдонимы: Игла, граф Евграф, Д'Аксанграф), «Газетчике», «За жизнь — жизнь» (г. Бобров, Воронежской губ<ернии>), «Сибирских отголосках» (Томск) и др. и — везде бесплатно. В то же время я стал издавать свои стихи отдельными брошюрами, рассылая их по редакциям — «для отзыва». Но отзывов не было... Одна из этих книжонок попалась как-то на глаза Н. Лухмановой, бывшей в то время на театре военных действий с Японией. 200 экз<емпляров> «Подвига "Новика"» я послал для чтения раненым солдатам. Лухманова поблагодарила юного автора посредством «Петербургской газеты», чем доставила ему большое удовлетворение... В 1908 г. промелькнули первые заметки о брошюрках. Было их немного, и критика в них стала меня слегка поругивать. Но когда в 1909 г. Ив. Наживин свез мою брошюрку «Интуитивные краски» в Ясную Поляну и прочитал ее Льву Толстому, разразившемуся

потоком возмущения по поводу явно иронической «Хабанеры II», об этом мгновенно всех оповестили московские газетчики во главе с С. Яблоновским, после чего всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюканье, чем и сделала меня сразу известным на всю страну!.. С тех пор каждая моя новая брошюра тщательно комментировалась критикой на все лады, и с легкой руки Толстого, хвалившего жалкого Ратгауза в эпоху Фофанова, меня стали бранить все, кому не было лень. Журналы стали печатать охотно мои стихи, устроители благотворительных вечеров усиленно приглашали принять в них — в вечерах, а может быть и в благотворителях, — участие...

Я поместил свои стихи более чем в сорока журналах и газетах и приблизительно столько же раз выступал в Университете, в женском Медиц<инском> институте, на Высших женских курсах у бестужевок, в Психоневрол<огическом> инсти<туте>, в Лесной гимназии, в театре «Комедия», в залах: Городской думы, Тенишевском, Екатерининском, фон Дервиза, Петровского уч<илища>, Благородного собрания, Заславского, общества «Труд и культура», в «Кружке друзей театра», в зале лечебницы доктора Камераза, в Соляном городке, в «Бродячей собаке», в конференц-зале Академии художеств, в «Алтаре» (Москва) и др. и др.

В 1913 г. вышел в свет первый том моих стихов «Громокипящий кубок», снабженный предисловием Сологуба, в московском издательстве «Гриф», и в этом же году я совершил совместно с Сологубом и Чеботаревской первое турнэ по России, начатое в Минске и законченное в Кутаиси.

1924
Озеро Uljaste

ИГОРЬ-СЕВЕРЯНИН БЕСЕДУЕТ С ИГОРЕМ ЛОТАРЕВЫМ О СВОЕМ 35-ЛЕТНЕМ ЮБИЛЕЕ

Нарва-Йыезу. Начало улицы Свободы. Маленький домик. Из окон продолговатого кабинета-столовой видна зимняя Нарова. Окон — три, и через них открывается влекущий ландшафт: широкая зальденная река, луга, рощи, дальние крыши Вейкюла. Низкий, ослепительно-белый потолок делает всю комнату похожей на уютную каюту. Комната выдержана в апельсиново-бежево-шоколадных тонах. Два удобных

дивана, маленький письменный стол, полка с книгамии, несколько стульев вокруг большого стола посередине, лонг-шэз у жарко натопленной палевой печки. На стенах — портреты Мирры Лохвицкой, Бунина, Римского-Корсакова, Рахманинова, Рериха; в углу — бронзовый бюст хозяина, работы молодого эстонского скульптора Альфреда Каска. Игорь Северянин сидит в лонг-шэзе, смотрит неотрываемо на Нарову и много курит.

Я говорю ему:

— Итак, уже 35 лет, как вы печатаетесь.

— Этими словами вы подчеркиваете мой возраст, — смеясь отвечает он. — Пять лет назад я справлял 30-летие. Сегодня я постарел на пять лет. Почему не принято справлять пятилетнего юбилея? Воображаю, с какой помпою и восторгом моя петербургская молодежь тогда приветствовала бы меня! За *такой* юбилей я отдал бы с радостью все последующие 30 лет жизни! Тогда меня боготворили, буквально носили на руках, избрали королем поэтов, сами нарасхват покупали мои книги. Тогда мне не приходилось — дико вымолвить — рассылать их по квартирам почти и вовсе не знакомых людей, предлагать их и навязывать.

Голос поэта резко повышается. На лице его — презрение, гнев и боль.

— Вы теперь что-нибудь пишете? — спрашиваю я, стараясь переменить тему.

Почти ничего: слишком ценю Поэзию и свое имя, чтобы позволить новым стихам залеживаться в письменном столе. Только начинающие молокососы могут разрешить себе такую «роскошь». Издателей на настоящие стихи теперь нет. Нет на них и читателя. Я теперь пишу стихи, не записывая их, и потом навсегда забываю.

— И Вам не обидно?

— Обидно должны быть не мне, а русским людям, которые своим равнодушием довели поэта до такого трагического положения.

— Однако же они любят и чтут Пушкина, Лермонтова...

— О, нет, они никого не любят, не ценят и не знают. Им сказали, что надо чтить, и они слушаются. Они больше интересуются изменами Натальи Николаевны, дурным характером Лермонтова и нецензурными эпиграммами двух гениев. Я как-то писал выдающемуся польскому поэту Казимиру Вежинскому: «Русская общественность одною рукою воскрешает Пушкина, а другою умерщвляет меня, Игоря Северянина». Ибо равнодушие в данном случае равняется умерщвлению.

— Но у вас так много поклонников, вы получаете, вероятно, столько писем и телеграмм...

— Если бы каждый поклонник давал мне всего-навсего по 10 центов в год, — но, понимаете, обязательно каждый, — я чувствовал бы себя совершенно обеспеченным человеком, мог бы вдохновенно писать и, пожалуй, бесплатно раздавать неимущим свои книги. Но таких поклонников или я не знаю, или их вовсе нет. Судя по количеству поздравлений, я не заработал бы больше кроны, — с неподражаемой язвительностью отчеканил поэт.

— Вы довольны статьями и фотографиями, помещенными в газетах в связи с Вашим юбилеем?

— В особенности фотографиями. Некоторые из них бесподобны и являются, по-видимому, воистину юбилейными. На некоторых из них я снят с женой, с которой расстался вот уже пять лет. Представляете, как было приятно мне и моей новой подруге, женщине самоотверженной и заслуживающей глубочайшего уважения, лишний раз взглянуть на такую карточку, да еще в газете, да еще в юбилейные дни!

— Еще один вопрос, — сказал я, поднимаясь, — и, извините, несколько, может быть, нескромный. Вы изволили заметить, что больше почти не пишете стихов. На какие же средства вы существуете? Даже на самую скромную жизнь, какую, например, как я имел возможность убедиться, вы ведете, ведь все же нужны деньги. Итак, на какие же средства?

— На средства Святого Духа, — бесстрастно произнес Игорь Северянин.

<1940>

II
ПИСЬМА

К. М. ФОФАНОВУ

1

30 декабря 1907 г.

Сердечно поздравляю Вас, глубокоуважаемый Константин Михайлович, Лидию Константиновну, Ольгу Константиновну и Константина Константиновича, желаю Вам всего, всего хорошего. Давно мы уже с Иваном Александровичем собираемся Вас навестить, но я почти безвыходно сижу дома, хандрю и в угнетенном состоянии. Вскоре, Бог даст, однако, соберемся.

XII.30.1907.СПб.

2

12 апреля 1908 г.

Передайте от меня, пожалуйста, пожелания всего наилучшего Лидии Констант<иновне>, Борису и Констант<ину> Константиновичу. Если Ольга Конст<тантиновна> у Вас, — сердечный привет.

Иг.-С.

<НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ ОТКРЫТКИ>

Христос Воскресе, дорогой Поэт!

Игорь Северянин

Привезу «Злату» 14-го апр<еля>.

3

28 мая 1908 г.

Дорогой Константин Михайлович!

Все на этих днях собирался у Вас побывать, но чувствовал себя отвратительно. Буду у Вас в первых числах июня. Сердечный привет

мой Конст<антину> Конст<антиновичу>. Не забывайте меня и навестите.

Крепко Вас целую, дорогой мой. Всегда Ваш Игорь-Северянин.

Мыза «Ивановка»
28-го мая 1908 г.

4

23 октября 1908 г.

Глубокоуважаемый, дорогой мой Константин Михайлович!

Сегодня около 6–7 час<ов> веч<ера> я был у Вас, но, к крайнему моему сожалению, не мог дозвониться; очевидно, никого не было дома. Надеюсь повидаться с Вами в первых числах ноября. Передайте привет Тат<ьяне> Мих<айловне> и Конст<антину> Конст<антиновичу>.

Приобрел № 3 «Тени и тайны»; «Вы не видали этой пары...» — меня очаровало. Обрадуйте меня весточкой о себе. Леонид Николаевич все еще болен. Обнимаю Вас крепко.

Ваш всегда Игорь Северянин

5

18 ноября 1908 г.

Глубокоуважаемый и дорогой друг мой Константин Михайлович!

В четверг, 20-го, я собираюсь и, если буду жив, буду обязательно у Вас часам к 6-ти вечера. Это первая годовщина нашего знакомства! Это — Великий для меня день! Заранее поднимаю бокал и пью за Ваше бессмертие. Обнимаю, крепко, целую. Пуни и вино приедут со мною.

Ваш душою Игорь-Северянин

6

23 декабря 1908 г.

Дорогой Константин Михайлович!

Сегодня вечером мы с одной синьориной отправляемся на Иматру, где проведем первый и второй день. По возвращении навещу Вас для

соображений относительно места встречи Нового года. Мне кажется все же лучшее место – Пудость. Желаю Вам здравствовать. П. А. и К. К. шлют привет.

Вам кланялся на днях Ив<ан> Алекс<андрович>.

Обнимаю крепко. Ваш весь И.-С.

7

4 января 1909 г.

Приветствую поэта! Болен.

1909 г. Игорь

8

27 марта 1909 г.

Дорогого КМ и КК поздравляю со светлым праздником и от всей души желаю счастья!

Игорь

<НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ ОТКРЫТКИ>

Христос Воскресе!

9

15 апреля 1909 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Константин Михайлович!

У меня форменный бронхит, и я сижу дома. Собирался все эти дни доставить Вам книгу, но не могу. Поэтому не будете ли Вы так добры навестить нас вместе с КК в это воскресенье к часу дня. Мама очень хочет познакомиться с ним, а я всегда рад его видеть и люблю. Приедет и Леонид Никол<аевич>, которому я уже написал сейчас. Приезжайте, дорогой, непременно. В воскресенье был на «Миньоне», видел там Измайлова, Вам кланявшегося.

Итак, до 19-го. Любящий Вас всегда всею душою Игорь.

1909,18.IX <sic!>

10

13 мая 1909 г.

Дорогой Вы мой, единственный Константин Михайлович!

12 дней, как я в «Ивановке», как удалился из города сизой мглы! Мы с Петром Андр<еевичем> собрались так скоропалительно, что я положительно не мог к Вам заехать проститься. Сделайте нам Пасху в Троицу: приезжайте к нам, ласковый. Будут Леонид Николаевич, Уваров и друг<ие>. Все они едут с поездом 11.40.

Приветствуем Конст<антина> Конст<антиновича> и надеемся, он приедет с Вами. Пишу много, много.

Живите, Король! Бессмертно Ваш Игорь.

11

18 мая 1909 г.

Мыза «Ивановка»
18.V.1909

Сердечно приветствуем дорогого Константина Михайловича и поздравляем с днем рожденья. Жалеем, что день 18-го мая проведем без нашего славного поэта. Предполагаем быть 21-го. Вчера был Афанасьев, проведший здесь весь день. Ждали и Вас, но Вам очевидно, что-то помешало.

Игорь-Северянин

12

16 июля 1909 г.

Мыза «Ивановка»
16-го июля, 1909 г.

Дорогой мой Константин Михайлович!

Так давно мы не виделись, так неудержимо хочется быть с Вами. Вчера у меня был Л<еонид> Н<иколаевич> и обещал непременно приехать в эту субботу с поездом в 3.10. Я просил его приехать вместе с вами; мы решили сделать так: к 2 часам дня в субботу, 18-го июля, Вы будьте добры приехать на Можайскую к Леон<иду> Никол<аевичу>, а оттуда вместе с ним в 3.10 или 4.45 — к нам в Пудость. Оба эти поезда будут мною встречены.

Дорогой мой! Приезжайте непременно, не обращайте внимания на затруднительность добраться ко мне; если у Вас не случится на дорогу, я думаю, Л<еонид> Н<иколаевич> с удовольствием купит Вам билет, а там мы рассчитаемся с ним. Погостите недельку-другую на июльском воздухе, погуляйте версту-иную по пестрой зелени. Я написал здесь больше 50-ти вещей. Л<еонид> Н<иколаевич> тоже много воспел здешнего. Живем мы теперь во дворце Павла; приехала мама с прислугой. Комнат много (17), и мы можем удобно устроиться; мы же пока занимаем две комнаты. Получили ли книжку?

Перевожу Бодлэра (при помощи maman); есть уже 8 сонетов из него. Вообще здесь хорошо, а с Вами лучше!..

Жду, если Вы меня любите!

Бессмертно Ваш

Игорь

Привет К. К. (милому Коте!).

13

20 июля 1909 г.

Дорогой мой Константин Михайлович!

Благодарю за приглашение, но не мог им воспользоваться: вчера только получил Ваше письмо. Очень сожалел, что Вы не приехали. Был Леон<ид> Ник<олаевич>, затем Гаврилов-Лебедев, который представился мне с месяц тому назад. Собирайтесь ко мне! Привет Конст<антину> Конст<антиновичу>.

Крепко целую Вас. Ваш Игорь.

14

9 августа 1909 г.

Мыза «Ивановка»
9-го августа, 1909 г.

Мой король!

Дорогой и глубокоуважаемый Константин Михайлович!

Дождался августа, а Вас не дождался!..

Глубоко жалко. Однако время еще есть — мы останемся здесь до первого сентября. Провожу время чудесно, жмурясь от крепкого все еще солнца и от упоительных строк ваших сборников и книг Мирры Святой. Теперь у меня уже 3 книги Ея, — и скоро я буду, кажется, знать наизусть все. Боже! Что это за восторг!

Клянусь — это высочайшее наслаждение моей жизни! Я сейчас, написав это, взглянул на Ея портрет, стоящий на столе, и... Она просветлела. Это могло быть, я верю в это!... Ваш портрет всегда рядом с Ней.

Какая прелесть Ваши «Монологи», когда вдумаешься, сблизишься, сольешься с ними. Это — глубочайшая сплошная мысль. Да, теперь таких поэтов нет больше, убежден — нет!... Как я люблю вас, мои дорогие венценосцы!

Сам я много пишу, очень много, и — на мой взгляд — хорошо. А я кое-что понимаю в поэзии, если люблю Лохвицкую и Фофанова!! Хочу читать Вам, болезненно хочу и, вероятно, скоро не вытерплю и буду у Вас, хотя поездка в холерный Петербург мне мало улыбается. Читали ли Вы отзыв о моих «Лазоревых далях» в «Новом слове»? Недобросовестен Измайлов, и он раскается, уверяю Вас.

Теперь несколько слов о Кокорине, который, я думаю, уже побывал у Вас. Это — крестьянин, штукатур по профессии, пожилой человек и безусловный поэт. Мне горько слушать его песни, песни сильнее песен Кольцова, и сознавать, и видеть, как гибнут русские таланты. Он велик, этот Кокорин, но Вы понимаете, чуткий мой!... Я терпеть не могу ничего специфически русского в поэзии, но справедливость заставляет меня сознаться, что он очень талантлив, очень. Кроме того, он прекрасный старик. Петр Гаврилович (кстати сказать, интересный талант!) одного со мной мнения о Кокорине.

Я очень полюбил Петра Гавриловича — милейший. Напишите мне Ваше мнение о Мих<аиле> Иван<овиче>, если только он был у Вас, напишите вообще мне о себе и о чем хотите — каждая Ваша буква боготворима мной.

Кончаю письмо: уже половина первого, а в час будет Леонид Николаевич. Тороплюсь встретить. Передайте мой привет Конст<антину> Конст<антиновичу>.

Обнимаю Вас, счастливый этим.

Бессмертно Ваш

Игорь-Северянин

Ст. Пудость, Балтийской ж. д. Мыза «Ивановка», охотничий дворец Павла I.

15

22 августа 1909 г.

Мыза «Ивановка»
22-го авг. 1909 г.

Поздравляю Великого Собрата с новосельем!
Соберусь сам только в сентябре.

Игорь-Северянин
Охотничий дворец Павла 1-го.

16

20 ноября 1909 г.

20.XI.1909 г.

Глубокоуважаемый и горячо любимый Константин Михайлович!

Известные Вам обстоятельства воспрепятствовали мне провести день второй годовщины нашего знакомства вместе с Вами. Правда, я очень скорблю об этом, но нахожу в себе утешение в воспоминании дня нашей встречи, в переживаниях отжитого.

Я буду сегодня читать Вас, всегда благоговейно боготворимого мною, я буду сегодня думать о Вас и верить в Ваше бессмертие.

Вспомните и Вы меня, вспомните и нашего дорогого Ивана Александровича, всего Вашего.

Ваш неизменно и вечно

Игорь-Северянин

<НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ ОТКРЫТКИ>

С нетерпением ожидаю сдачи в набор «После Голгофы». Типография ждет.

17

17 апреля 1910 г.

Христос Воскресе, Константин Михайлович!

18

29 мая 1910 г.

Мой дорогой Константин Михайлович!

Сердечно приветствую Вас и с нетерпением жду того дня, когда мы соберемся наконец в Пудость, Мариенбург и Гатчину. Сообщите, когда Вам это будет удобнее, — и мы тогда с наслаждением приедем к Вам — я и Леон<ид> Ник<олаевич>. Поскорей бы! Передайте мой привет Лидии Константиновне и Конст<антину> Конст<антиновичу>. Крепко целую Вас. Вчера был у Ив<ана> Ал<ександровича>, который очень Вам кланяется.

29.V.1910. СПб.

Ваш Игорь

19

25 августа 1910 г.

25.8.10

Всей душой рвусь к Вам, в Сергиево, дорогой, но столько хлопот, посетителей и отвлечений, что, положительно, голова идет кругом. 27-го выезжаю на могилу в 10 часов: надо быть пораньше. Не будете ли добры — заехать ко мне до 10-ти часов? Вместе ехать — лучше. Надеюсь, и Конст<антин> Конст<антинович> будет. Ив<ан> Ал<ександрович> обещал быть. Мама шлет Вам и Лид<ии> Конст<антиновне> сердечный привет.

Ваш Игорь

20

14 сентября 1910 г.

Дорогой и любый сердцу Константин Михайлович!

Собирался все эти дни, ежедневно, к Вам в Сергиево, но постоянные посетители препятствовали осуществлению моего намерения; не было дня, чтобы не собралось два-три человека.

Так, за это время были: Арельский, Дорин, Лукаш, Уваров, Антонов, ежедневный Пуни и много других, которых, впрочем, Вы не знаете, и эти другие — вернее, другия...

А я к Вам хочу! Поэтому: будете ли Вы дома во вторник, 21-го сентября?

Вообще напишите, когда Вам удобнее, если я с кем-либо (или один) соберусь в Сергиево. 16-го, 17-го, 19-го и 20-го не могу. 18-го или 21-го?

Читали как-то тут «Герцог Магнус» и «Звезду любви», — и в восторге снова! Впечатление потрясающее, и только в этот раз я *вполне* оценил эти терцины: грандиоз мрачности, замечательная вещь, редкостная. Дайте эту же тему и *это же число строк* любому современнику, — получится ужас, нельзя будет читать, сдохнуть от тоски можно.

Написать «Герцога Магнуса» так, как он написан: захватывающе — мог только Фофанов. И не осмельтесь думать, что я льщу Вам! Прекрасно написано. Это — всеобщее впечатление, всех слушавших поэму в моей точной передаче. Непременно одну из следующих брошюр своих посвящу опять Вам, Вами упоенный, как всегда! В Вас — все, Вы ни в ком.

Всегда чаруй меня рассказом, —
Всегда склонюсь перед тобой!..
Моя мольба звучит приказом,
И мой приказ звучит мольбой! —

На этом пока и окончу свое письмо, целуя и обнимая Вас.

Милого Костю крепко целую.

Лидии Конст<антиновне> и Борису — мой привет.

Мама просит передать Вам, Лидии Конст<антиновне> и Конст<антину> Конст<антиновичу> свой сердечный поклон.

Не забывайте и навещайте всегда всею душою Вас любящего Гогу Вашего.

Игорь-Северянин

1910 г. 14-го сентября

21

30 декабря 1910 г.

Мои поздравления и лучшие пожелания Лидии Константиновне, Косте, Борису и Грише. В Екатерининском театре, на «Вандэлине», встретил Дашкевича. Он Вам сердечно кланяется.

Целую крепко, приеду скоро.

<НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ ОТКРЫТКИ>

С Новым — 1911 — годом, дорогой Константин Михайлович!

Любящий Игорь

22

<1910>

Дорогой Константин Михайлович!

Вы, пожалуйста, уж примите и выслушайте г. Александра Федоровича Скуратова. А выслушаете, — поймете!

Ваш Игорь-Северянин

Л. Н. АНДРЕЕВУ

1

23 марта 1908 г. С.-Петербург

Многоуважаемый,
дорогой,
Леонид Николаевич!

Простите, что я хочу Вас побеспокоить. Будьте любезны, пришлите, пожалуйста, мне сегодняшний номер «Голоса правды». Мне необходимо его видеть. Завтра же возвращу.

Посылал в редакцию, к газетчикам, и — говорят — нет. Уверен, что у вас есть.

Теперь сижу без пальто, чем только и объясняется, что не навещаю Вас. Скоро получу свободу.

Мама поправилась, кланяется Вам и просит нас не забывать. Интересно, получили ли Вы мое письмо?

Как Вы поживаете?

Желаю всего хорошего.

Сердечно любящий Вас

Игорь

23/III

2

10 сентября 1910 г. <С.-Петербург?>

Дорогой друг Леонид Николаевич!

Очень извиняюсь, что приходится Вас беспокоить: забыл вчера у Вас книгу — «Стихотворения К. Антонова», предназначенную автором

для П. Кокорина. Передайте ее, пожалуйста, нашей прислуге, и она занесет «певцу песней». (?)

Мама просит передать Вам свой сердечный привет и пожелания быть здоровым.

Мы ожидаем Вас сегодня к нам, дорогой Леонид Николаевич, очень будем рады Вам.

Любящий Вас Игорь

1910. 10/IX

Л.Н.АФАНАСЬЕВУ

1

24 мая 1908 г.

Очень сожалею, глубокоуважаемый Леонид Николаевич, что Вы не могли быть 21 мая у Конст<антина> Мих<айловича>, который, уехав в этот день вечером ко мне, провел у меня два дня. Он написал у меня около 20 стихотв<орений>. Всегда рад сердечно видеть Вас у себя и весьма сожалею, что не мог быть у Вас ровно в 8 час<ов>, а около половины восьмого. Надеюсь, доставите удовольствие своим посещением.

С искренним уважением

1908 мая 24-го

Мыза «Ивановка»

Игорь-Северянин

2

11 июня 1908 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Леонид Николаевич!

Все эти праздничные дни поджидал Вас к себе, помня Ваше обещание навестить, но, увы, не дождался. Если бы Вы приехали в воскресенье 25-го, доставили бы мне большое удовольствие.

Жму крепко Вашу руку. Душевно любящий вас

Игорь-Северянин

1908, Мыза «Ивановка»

июнь, 11

3

10 июля 1908 г.

На основании Вашей открытки (кстати, весьма мне понравившейся: Шрама я очень люблю), я ждал Вас, дорогой, глубокоуважаемый Лео-

нид Николаевич, 22-го июня и выходил встречать на станцию к 4 поездам. Мое огорчение было велико, что Вы не могли быть. Мне будет очень приятно видеть Вас в «Ивановке» в это воскресенье.

Лето проходит без особых настроений, увлечений и впечатлений.

О Конст<антине> Мих<айловиче> сообщу много лично.

Ваш Игорь Северянин
1908, Мыза Ивановка.
Июля 10-го

<НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ ОТКРЫТКИ>

Сколько потерь в этом несчастном году: Жемчужников, Вейнберг, Римский-Корсаков! За кем-то еще черед? Меня беспокоит здоровье Куприна; оно, — по газетам, — ухудшилось. Неужели — как Чехов?..

8-го июля было 2 месяца, как я здесь.

Думаю пробыть до начала октября. Приезжайте, приезжайте, рад всей душой.

4

17 июля 1908 г.

1908, 17-го июля,
Мыза «Ивановка»

Дорогой мой Леонид Николаевич.

Мне было так радостно получить Ваше письмо, где Вы, такой милый, высказываете свои впечатления, вынесенные после посещения моей «Идеальной Идилии», этого тихого, грустного северного уголка, где можно прожить (конечно, при нормальной атмосфере!) так упоительно: «Отдалиться от людей и давать людям». Этот девиз мой мог бы здесь оправдать значение вполне, если бы я был один здесь; как это было бы чудно!

Я буду без конца счастлив Вас видеть у себя. На будущей же неделе непременно соберусь к вам; о дне приезда предупрежу.

< НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ ОТКРЫТКИ>

Собираюсь в понедельник к Конст<антину> Мих<айловичу>. Мама просит передать Вам ее привет и благодарит Вас за память. Был 15-го в Петерб<урге>, пришлось ночевать и утром уехать. Крепко Вас обнимаю и жму руку.

От души благодарю Вас в свою очередь за то, что провели у меня день, доставили мне радость.

Ваш Игорь-Северянин

5

20 июля 1908 г.

Мыза «Ивановка»
20 июля 1908 г.

Буду у Вас, дорогой и глубокоуважаемый Леонид Николаевич, во вторник, 22-го, к 8 час<ам> веч<ера>. Крепко жму Вашу руку.

Ваш Игорь-Северянин

6

4 августа 1908 г.

Дорогой, глубокоуважаемый Леонид Николаевич!

Все это последнее время нервы мои находятся в таком плачевном состоянии, что я положительно чувствую себя отчаянно; надо ли говорить, что причиной всему этому атмосфера затхлости духовной, в которой я принужден прозябать. К счастью моему, 12-го августа все мои сожительницы ретируются в город и я остаюсь совершенно один. Надеюсь немного отдохнуть; приеду тогда к Вам, а видеть Вас хочется всей душою.

<НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ ОТКРЫТКИ>

Любящий Вас
Игорь-Северянин

P. S. Константин Михайлович, очевидно, после 12-го приедет ко мне погостить; приехали бы и Вы.

Мыза «Ивановка»
1908 года, 4-го авг<уста>

7

9 сентября 1908 г.

Дорогой, глубокоуважаемый Леонид Николаевич!

Сейчас получил Ваше письмо и спешу Вас уведомить, что заеду к Вам, если можно, в среду вечером, чтобы сговориться, когда Вы можете у нас быть. Будьте здоровы; я же не очень хорошо себя чувствую. Сейчас еду в Пудость до вечера. До завтра, жму руку Вашу.

<НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ ОТКРЫТКИ>

Сердечно любящий Вас
Игорь-Северянин
Искренний привет от мамы.

9.IX-08.СПб.

8

14 октября 1908 г.

Очень опечалился, мой дорогой Леонид Николаевич, узнав из весточки Вашей, что в состоянии Вашего здоровья нет изменений к лучшему.

Сочту своим долгом в конце этой недели навестить Вас и очень жалею, что болезнь Ваша лишает нас искреннего удовольствия видеть Вас у нас на Подъяческой. Шлю Вам душевный привет и пожелания скорее поправиться, шлю от маминого и своего сердца.

Ваш душевно
Игорь-Северянин

1908. 14-го окт.

9

16 апреля 1909 г.

Дорогой, глубокоуважаемый Леонид Николаевич.

В четверг на той неделе я был у Конст<антина> Мих<айловича>; в пятницу был у него снова, и мы поехали вместе к нам, где он переночевал, а утром отправился опять к нему, и пробыл я там до поздней ночи. Эти три дня мы провели замечательно интересно. Вся беда в том, что с воскресенья я сижу дома и совершенно болен: у меня бронхит. Так вот, дорогой Леонид Николаевич, не будете ли Вы добры приехать в это воскресенье, когда мы сговорились ехать к Конст<антину> Мих<айловичу>, к нам к часу дня; одновременно я пишу и ему приглашение. Мама просит принять Вас ее самые искренние пожелания и ждет Вас в воскресенье. Давно, давно Вы у нас не были.

Любящий Вас сердечно и всегда
Игорь-Северянин

1909. 16—IV

10

20 апреля 1909 г.

1909. 20/IV

Дорогой, глубокоуважаемый Леонид Николаевич!

Вчера у меня был Константин Михайлович с Костей и друг<ими>, долго Вас ждали, но не дождались и очень сожалели, что Вы не захотели нас навестить. Конст<антин> Мих<айлович> даже обиделся. Но я думаю, что Вы больны, и этим объясняется Ваше отсутствие. Желаю вам скорейшего выздоровления и всего хорошего. На этих днях еду на дачу, зайду проститься, конечно.

Всегда сердечно Ваш

Игорь-Северянин

11

28 мая 1909 г.

Мыза «Ивановка»
28-го мая

Глубокоуважаемый друг, дорогой Леонид Николаевич!

Ваше письмо, так меня тронувшее и обласкавшее, получено мною вчера утром, за что всей душою благодарю Вас. Я совершенно спокоен, и вообще спокойствие здесь разлито в воздухе... Приезжал как-то тут два раза Борис Фофанов, еще некоторые, но, сами знаете, о чем с ними говорить? Плоские разговоры пошляков меня лишь выводят из себя. 21-го был у Конст<антина> Мих<айловича>, было грустно и тяжело, вернулся удрученным. Вчера был в Гатчине. Часа через три сегодня высылаю Вам стихи и жду Ваших. 2-го июня буду в столице: годовщина смерти моей сестры; может быть, если удастся, зайду вечерком к Вам; о многом хочется поговорить. Жду Вас к себе, дорогой Леонид Николаевич. Сообщите, пожалуйста, когда собираетесь. Будьте здоровы и, как всегда, вдохновенны. Крепко целую Вас.

Весь Ваш Игорь-Северянин

12

6 июня 1909 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Леонид Николаевич!

Я приехал сегодня в 3 часа и прямо с вокзала заехал к Вам, надеясь застать Вас дома, чтобы передать Вам вот о чем: «Анна Николаевна»

приехать сама завтра не может и просила меня провести день седьмой июня с ней и у нея. Я, конечно, обязан так исполнить. Сегодня же отдал сапоги свои в починку, и они будут готовы только завтра к 1 ч. дня. Простите, дорогой и милый Леонид Николаевич, что завтрашний план наш разрушен, хотя, спешу оговориться, очаровательной женщиной. Буду очень счастлив, если в понедельник Вы разрешите мне заехать за Вами час<ов> в $10\,^1/_2$ утра, тогда поедем, быть может, вместе в Пудость.

Мама очень Вам кланяется.

Всею душою Ваш Игорь

13

14 июня 1909 г.

Очень рады, дорогой и глубокоуважаемый Леонид Николаевич, что Вы собираетесь приехать на дачу в Пудость, поселясь около нас. Это время обещает быть очень привлекательным. Мы думали, что Вы навестите нас сегодня, но Ваше письмо принесло разочарование. Не соберетесь ли во вторник или среду провести со мною денек? Очень хочется видеть Вас, говорить и читать. Захватите, очень прошу, Лохвицкую: я так к ней привык и без нее мне так скучно и пусто. Мама шлет привет и просит нас не забывать.

Душою Вас любящий

Игорь-Северянин

«Ивановка», 14—VI—1909

14

18 июня 1909 г.

Мыза «Ивановка» 18. VI

Дорогой друг Леонид Николаевич!

Обеспокоенный Вашим молчанием, тороплюсь узнать его причину. На Вашу «закрытку» я ответил открыткой, где просил Вас к себе в среду или во вторник. Выходил Вас встречать, но безуспешно. До первого июля — все время дома; приезжайте, пожалуйста, когда Вам удобнее. Скоро ли Вы думаете собраться? Мама с прислугой устроились у меня очень удобно; во дворце же мельник сдать не решился, боясь хозяйки. Напишите, когда вздумаете навестить: встречу. Мама очень Вам кланяется.

Всей душой Ваш Игорь-Северянин

15

22 октября 1909 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Леонид Николаевич.

Не будьте на меня в претензии, что я не исполнил своего обещания и не был у Вас во вторник, но дело в следующем: в 2 ч. дня мы с Евген<ием> отправи<лись> к Конст<антину> Мих<айловичу>, думая часов в семь направиться от него к Вам. Однако мы там засиделись, и было уже поздно ехать на Можайскую; кроме того, я сильно утомился; хотя ничего не пил, чувствовал себя плохо. В 10 час. мы были уже дома. У К<онстантина> М<ихайловича> «все по-старому»... Прочел ему стихотворений десять, они ему понравились. Сижу дома, читаю Арцыбашева, три газеты и стихи, работаю.

Соберитесь ко мне на этих днях или сообщите, когда можно Вас навестить. Хочется повидаться. Мама и Евг<ений> Матв<еевич> просят принять их приветы.

Сердечно любящий Вас
Игорь

22.X
9 г.

16

7 сентября 1910 г.

Дорогой друг Леонид Николаевич!

Собирался к Вам сегодня, но, к сожалению, мой флюс все еще не проходит, и я еще боюсь выходить.

И мама, и я были бы очень рады видеть Вас завтра, восьмого, у нас. Собирался К. Е. Антонов. У нас постоянные посетители. Заезжал Конст<антин> Михайл<ович> с Костей, был Антонов, Дорин-Николаев, часто навещает меня Арельский, Пуни, Лукаш и мн<огие> др<угие>.

Барышни съезжаются, были уже несколько раз, и я уже был у них...

Вообще, новостей порядочно.

Приезжайте, дорогой.

Ваш душевно Игорь

Сердечный привет от мамы и Влад<имира> Вяч<еславовича> Уварова.

17

23 сентября 1910 г.

Дорогой друг, Леонид Николаевич!

Скучаю по Вас, хотел бы повидаться. Четвертый день – до́ма: бронхит. Мы с мамой сердечно просим Вас сегодня к нам; не откажите в удовольствии. Не будете ли любезны, не пришлете ли мне Бунина: настроение читать его, изящного, тонкоперого, атласистого...

Ожидая Вас, целую и руку жму.

Игорь, Вас любящий

1910.23./IX

18

24 декабря 1910 г.

Глубокоуважаемый и дорогой
Леонид Николаевич!

От всей души поздравляю Вас со днем Вашего Рождения, желая Вам всего, всего доброго. Всегда Вас помню, всегда люблю.

Ваш Игорь-Северянин

1910. Сочельник

19

12 мая 1911 г.

С.-Петербург. 1911 г. V, 12

Дорогой Леонид Николаевич.

Вчера, приехав домой и пообедав, я отправился к И.А. Дашкевичу, который в 3 часа заехал сегодня за мной, чтобы направиться в Сергиево.

В трамвае мы прочли «Бирж<евые> вед<омости>», что побудило нас немедленно ехать в больницу д-ра Камераза.

Больной находится в чудесных условиях; мы за него порадовались. Положение его без изменений.

При нас к нему приезжал Измайлов, который беседовал со мной по поводу его болезни, прося меня не забывать и навещать чаще болящего короля. А<лександр> А<лександрович> был весьма любезен, предлагал мне 10 рублей на расходы, сопряженные с посещениями, но я, само собою разумеется, предложение его отклонил, мотивируя свой отказ –

возможностью истратить, в случае надобности, несколько несчастных рублей для К<онстантина> М<ихайловича>.

Мне было очень печально получить от Вас письмо с уведомлением о невозможности быть сегодня у нас: и мама, и я ожидали Вас.

Буду рад поехать с Вами навестить К<онстантина> М<ихайловича> в субботу днем. Вы обещаете в это время быть у меня, и мы отправимся вместе в больницу. Ожидаем Вас.

Примите сердечный привет от мамы и мой крепкий поцелуй.

Любящий Вас сердечно
Игорь

20

14 июня 1911 г.

14/VI – 1911

Ст. Елизаветино, –
«Дылицы»

Сейчас получив Ваше милое письмо, спешу Вас крепко обнять за него, дорогой и душевноуважаемый Леонид Николаевич. Страшно будем рады видеть вскоре у себя Вас и Косточку! Приезжайте, отдохните, рассейтесь. Здесь — чудно, упоительно! Ежедневно много гуляю, пишу. Да, Вы правы, и Петербург — это мухоловка для художников всех рангов и орудий!

Любящий Вас сердечно Игорь
Хотел бы Вас встретить.

21

19 июня 1911 г.

1911 г. VI, 19

Ст. Елизаветино,
«Дылицы»

Получив вчера письмо от К<онстантина> К<онстантиновича> с извещением о приезде Вашем и его 21-го июня с поездом 11-40; спешу сказать вам, глубокоуважаемый и дорогой собрат, что я к 2 ч. 17 м. буду на станции, чтобы *лично* встретить Вас и Костю. Мама очень рада известию о Вашем приезде, она непременно ожидает. Просит передать свой сердечный привет.

Желающий Вам веселой дороги и любящий Вас
Игорь

P. S. За все время я был на станции всего один раз.

22

1 июля 1911 г.

1911 г. VII, 1 Елизаветино, «Дылицы»

Тщетно и мама и я ожидали Вас, помня Ваше обещание, и вчера и сегодня, дорогой, душевноуважаемый Леонид Николаевич! 25-го я возвратился домой только с последним поездом: поминки затянулись до последнего часа... 26-го приезжал Е. М., а теперь жду со дня на день Костю, Антонова и др. Жду Вашего извещения о скором приезде.

Сердечно Ваш Игорь

23

11 августа 1911 г.

1911 г., VIII, 11 «Дылицы»

Дорогой Леонид Николаевич.

Мы вскоре уезжаем: холодно, сыро, хулиганно. Мама жалуется на все, — первый признак скорого отъезда. Я не спорю: жить в продувной даче нельзя: у мамы здоровье слабое. 14-го или 15-го авг<уста> мы ожидаем Вас, помня Ваше обещание — быть третий раз. 15-го я жду и Антонова.

Следующее воскресение, вероятно, проведем уже в Петербурге.

Целую Вас, жму руку. Мама шлет душевный привет.

Любящий Игорь

P. S. Новую брошюру передам лично.

24

апрель 1912 г.

Христос Воскресе!

Вас, дорогой и глубокоуважаемый Леонид Николаевич, поздравляю со Светлым Праздником, — всего хорошего, всего Доброго Вам!

Доктор сегодня выпустит меня на свободу — до субботы, а в субботу состоится операция, вызванная разрывом так называемой «уздечки». Ужасно нервничаю, волнуюсь.

В ближайшем будущем хочу к Вам, а Вас ожидаю к себе.

Весна зовет в полевые раздолья, в цветень зовет! Хлопочу о паспорте, — дело, Слава Богу, двигается, затем тю-тю, *С.-Петербург!*

Стремлюсь Далече: думаю оДачиться около Везенберга!
Уж навещайте тогда непременно.
А и люблю же я Вас –
в природе, дорогой поэт!
Сердечно Вас любящий –
всегда – Игорь

Мама:
Лучшие пожелания и
Лучшие* поздравления.

---

*Конечно же – «лучшие»...
Разве не могут быть поздравления –
и лучше, и хуже?!.
Поэтому: лучшие!

25

1 августа 1912 г.

Первое августа 1912 г. Ст. Веймарн, мыза «Пустомержа»
Утро

Дорогой Леонид Николаевич!

Узнав из вчерашнего Вашего письма о болезни Кости, я почувствовал неизъяснимую тяжесть в сердце, так хорошо мне *иногда,* – перед чем-либо, – знакомую, и я молюсь, чтобы на этот раз предчувствие меня обмануло... Болезнь сама по себе серьезна, но при таком расшатанном организме серьезность усугубляется. Дай Бог, ему мира и отдыха. Вы знаете, я его люблю, и в нем – это бесспорно! – обострено чувство интуиции, а таких людей я не могу игнорировать: они так редки, так нужны, конечно, не для скотов, а для людей и даже – людей Будущего... Пожалуйста, дорогой Леонид Николаевич, сообщите – как его здоровье и, простите за беспокойство, сообщите теперь же. У меня так испорчены нервы, что больничная обстановка произвела бы на меня удручающее впечатление, да и могу ли я своим посещением облегчить его? Во всяком случае, 6-го авг<уста> я, будучи в Петерб<урге>, постараюсь повидаться с Вами. 3-го мы уезжаем в Jebbc, в 2 $^{1}/_{2}$ ч<асах> езды от Веймарна, в сторону к Ревелю: там живет Евдокия Андр<еевна> Ланина, которая нас очень приглашала. Вернемся в Веймарн только 4-го к вечеру, а 6-го едем до 7-го в Петерб<ург>: «второе приглашение от мисс Лиль»... Пока крепко Вас целую и жду письма. Интересно, состоится ли поэзоконцерт в Лигове? Оредеж писал мне из Всеволожской,

и по тону его письма я заключаю, что он даже и не слыхал о том, что его имя поставлено на афише. Елена Яковл<евна> просит передать Вам свой сердечный привет и приглашение.

Ожидаем Вас к себе с 8-го авг<уста>. Хотим пробыть числа до 20-го.

Любящий и уважающий Вас Игорь

<на полях>

Которого августа Вы переезжаете?

<на лицевой стороне>

Если адресат выбыл, прошу направить по новому адресу: 3 рота, д. 3, кв. 21.

26

11 ноября 1913 г.

Дорогой Леонид Николаевич,

не забудьте же Вашего обещания: мы непременно ждем Вас завтра, во вторник, между 2—6 час.

Так рад возобновлению живого общения, всегда Вас любил и люблю.

Захватите, пожалуйста, стихов: почитаем, как прежде, как еще в 1908 году.

Душевно Ваш И. Лотарев

11-го ноября 1913 г.

И. И. ЯСИНСКОМУ

1

22 января 1910 г.

Глубокоуважаемый Иероним Иеронимович!

К величайшему прискорбию, не могу быть сегодня лично у Вас, вследствие болезни, удерживающей меня в постели. Будьте добры, сообщите результат подателю сего письма. Мною было предложено Вашему вниманию пять стихотворений.

С полным уважением
Игорь-Северянин
22 января 1910 г.

2

<1910?>

Глубокоуважаемый и дорогой Иероним Иеронимович!

Мне радостно напомнить Вам, что завтра, во вторник, Вы согласились быть вечером у меня, к Вам душевно стремящегося.

Я так светло хочу проинтуитировать Вам некоторые шедевры Мирры, нашей единственной, и два-три своих стихотворения.

Никого не будет у меня в этот день, — в этот день я ожидаю только Вас.

Не причиняйте мне боли своим отказом: мне достаточно больно жить.

Любящий Вас ясно
Игорь-Северянин (Лотарев)
Средняя Подьяческая, 5, кв. 8

Б.Д.БОГОМОЛОВУ

1

5 июня 1911 г.

1911 5/VI «Дылицы»

К сожалению, 7-го быть не удастся: утомлен я, знаете, последнее время, — хочется отдохнуть, обездвижиться. Не сердитесь, приезжайте ко мне, когда захотите. Всегда буду Вам рад.

Передайте, прошу Вас, мою благодарность г. Кузнецову, не знаю его адреса. Хотел бы, в свою очередь, выслать ему книжки. Вам высылаю завтра. Жму Вашу руку.

Ваш Игорь

2

11 июня 1911 г.

1911 г. 11,VI Ст. Елизаветино, «Дылицы»

Мне было интересно получить Ваше письмо, доброе и славное, ясный Борис Дмитриевич! — благодарю Вас радостно. Буду надеяться, что вы будете писать мне, хоть изредка, что Вы приедете сами. Вы мне нравитесь: Вы — прямой и светлый, и я Вас готов любить. Если ничего не имеете против, хочу, в свою очередь, быть любимым Вами. Итак, взаимность?..

Живем мы против парка, большого и запущенного, чарующего меланхолика. Два пруда, как два тусклых старческих глаза, смотрят ввысь сосредоточенно и глубоко, мудрые и замкнутые. На их переносице — прелестная дорожка, увлекающая к белому дворцу кн. Трубецкой, к белой церкви и, может быть, к белым стихам: такие места рождают поэмы, а поэмы бессмертят такие места...

Проходим полуверстовую аллею сосен, елей, лип и кленов и, оберезенные опушкой парка, переухабнув канаву, золотимся в раздольных травных шорохах, далеко-далеко окольцованные лиловеющей щетиной лесов, манящих, стоухих и жутких.

Муравейники, эти идеалы социального благоденствия, эти трущобы буржуазной сплоченности, эти гнойные язвы душистого тела монахини Земли, глумятся над Фантазией, напоминают ей ее трагическую никчемность, — злят...

Действительно: это положительное бедствие — сесть и не думайте: все здешние леса так и кишат муравьями, этими хвойными паразитами; в отчаяние приходил, бранился...

А гулять я люблю длинно: верст 10—12; естественно, что захочется присесть, — отдохнуть, понаблюдать.

Но разве возможно вместить в рамки письма все, что хочется?

У меня к Вам, Борис Дмитр<иевич>, просьба: пришлите, пожалуйста, отзыв из «Б<иржевых> в<едомостей>» о «Предгрозьи», о котором Вы мне сообщали. Простите, что беспокою, но для меня это *занятно.* Если же нельзя сделать вырезки, не будете ли любезны — переписать; я буду Вам чрезвычайно признателен.

Кузнецову сегодня же вышлю книжки; спасибо за адрес.

Ваши книжки (2) я получил, прочитал, прочувствовал; видно, у Вас — хорошая и чуткая душа. Мне понравились больше всего следующие пьесы: «В туманности», «Колыбельная», «Осенью» и др. Когда же пришлете детские мотивы? — интересуюсь.

Жму Вашу руку, желая Вам всего лазурного.

Вашей супруге — привет

Ваш Игорь

P. S.: Посылаю Вам «За струнной изгородью лиры».

3

15 июня 1911 г.

1911 г. VI, 15

Елизаветино, —
«Дылицы»

Дорогой Борис Дмитриевич!

Ваше грандиозное и вдохновенное письмо прочел запоем. Спасибо, что не ленитесь писать.

Пишите и впредь: буду отвечать с наслаждением.

«Царевна Зоренька» — прелесть!

Несказáнная наивность и невинность; истая детскость; душистость. Вас, конечно, обвинят в приторности, но я не нахожу в этой поэмке ничего нарочито сладкого. Просто: это — сладкая поэма; я бы сказал: природный десерт. Упаси Бог: не аляповатые торты, а, наприм<ер>, земляника лесная. Эта сладость ароматична и уместна в данном случае. Вообще, это — лучшее Ваше произведение, которое я знаю. Оно оригинально и своеобразно.

У Ал<ексея> Будищева есть поэма: «Царевич Май», которую Вы, вероятно, знаете. Там имеются прекрасные стихи и рефрэны, но в общем она изуродована каким-то отталкивающим и фальшивым налётом непроходимой пошлости и непростительного шаржа. «Солнце одело панталоны...» — террор! ужас! Из всего Будищева я люблю больше всего «Триумфатора», благодаря которому и ставлю автора в ряды интересных поэтов. Затем — места из «Мая», но больше *ничего*.

Вы пишете о Бальмонте. Говоря откровенно, я не люблю ни Бальмонта, ни Брюсова, ни В. Иванова, ни Блока, ни Кузмина. У каждого из них, верю и даже знаю, есть удачные и хорошие стихи, но как поэтов я не люблю их по разным причинам.

Не люблю и многих стариков: Коринфского, Ушакова-Каплуновского, Щепкину-Куперник, Allegro и друг<их>.

Равнодушен к сотням, каковы, напр<имер>: Вл. Лебедев, Голенищев-Кутузов, Ратгауз, Вл. Ленский, разные Дудины и Разы.

Боготворю Мирру Лохвицкую, считая ее величайшей мировой поэтессой, гениальной поэтессой.

Ее поэмы «На пути к Востоку», «Вандэлин» и «Бессмертная любовь» — шедевры мировой поэзии, разумеется — прозеванные и критикой, и публикой. Если не строили бы так много аэропланов, я ожидал бы с уверенностью, как через двадцать или около этого лет — ее бы славословили. Утешаюсь одним: истинные ценители и теперь у нее есть. Их мало, но они есть. Каждый поэт обязан иметь ее стихи. Затем: я очень люблю Фофанова и Бодлэра. Лишь нравятся Гумилев, Эренбург, Бунин, Гофман Виктор, Черубина де Габриак, Тэффи. Но... пора кончать. С грустью кладу перо, ожидая от Вас милых Ваших писем.

Передайте мой привет жене Вашей.

Ваш Игорь

P. S. Моя мама — в восторге от «Зореньки».

<на полях>

Вашими отзывами очень интересуюсь. Вас ожидаю.
Уступая Вашей просьбе, посылаю Вам одно стихотворение для газеты. И благодарю.

4

28 июня 1911 г.

1911 г. VI, 28 Елизаветино, «Дылицы»

Дорогой Борис Дмитриевич!

Писал Вам шестнадцатого июня, но, не получая ответа, думаю, не затерялось ли письмо? 21-го посетил меня Леонид Николаевич Афанасьев с Костей Фофановым, приезжал поэт-надсоновец Александр Лопатин, вечно проживающий в Гатчине. Много гуляли в парке, читали стихи; Л<еонид> Н<иколаевич> уехал на последнем поезде, а Ф<офанов> остался на два дня. 22-го мы сделали экскурсию в Пятигорский Марьинский монастырь, находящийся в десяти верстах от «Дылиц». Пришлось проходить через три деревни: Озера, Хлоповицы и Курковицы. Дорога симпатичная, но однообразная. Все время шли под градоносной грозой, вымокли страшно. К сожалению, в монастыре не были: с нами увязалась моя собака.

25-го, в сороковой день кончины К<онстантина> М<ихайловича>, был в Петербурге.

На панихиде, кроме Л<еонида> Н<иколаевича> и меня, из литературного мира никого не было. Пел хор монахинь, сияло солнце. Затем мы поминали К<онстантина> М<ихайловича> в ближайшем ресторане, и вернулся я домой «до без сознания», что называется... Но подобное состояние за последнее время мне приходилось переживать редко: с 15-го февраля до 25-го июня в рот вина не брал. Конечно, тяжелая реакция и тому подобное. Это — в результате. Вот Вам и все «новости дачного прозябания...» Поминающих было пятеро: брат К<онстантина> М<ихайловича> — Петр, два сына, поэт-народник Петр Ларионов и я.

А теперь, кончая это письмо, очень прошу Вас, милый мой Борис Дмитриевич, приехать ко мне, чтобы провести у нас день-другой. Я же, обещаю Вам, приеду непременно, но не теперь, а в конце июля: надо хорошенько отдохнуть после поездки в Пет<ербург>. Послал Вам в прошлом письме «Nocturne»; извиняюсь, что не прислал больше, но нет ничего под рукой интересного. Да и то не знаю: подойдет ли?..

«В пути» получил, очень признателен за память. Лучше всего — «Элегия», где орга́н...

Ваш Игорь

Передайте мой привет Вашей жене.

Вы писали, что со мной желают познакомиться Евг<ений> Венский, Доброхотова и Кузнецов? Передайте им, что я рад их видеть у себя, и сообщите мой адрес. Я очень люблю, когда меня навещают люди, близкие литературе.

Итак, ожидаю Вас вскоре.

Хочу выслать книжки Вашему южному другу, -- дайте адрес. Кузнецову брошюры послал. Завтра ожидаю Афанасьева, который пробудет у нас дня три. Желаете познакомиться, приезжайте до 1-го июля. Жду и Костю Фофанова.

Соорудим концертик!

5

2 июля 1911 г.

1911, VII, 2 — Елисаветино <так!> «Дылицы»

Ясный Борис Дмитриевич!

Итак, буду ожидать Вас в ближайшем будущем. Благодарю Вас за ласковое письмо, за адрес Сидорова, за память. Все эти дни перечитывал Фофанова, перечитывал с напряженным вниманием. В результате: несомненно, это — самый одаренный поэт из современников. У него найдется пьес 50 — шедевров. В большинстве же случаев ему страшно вредит его поразительная небрежность, неслыханная пренебрежительность к стилю. И иногда — это страшно! — он силен именно... своей небрежностью! Одно ясно: вдохновение его — я не знаю ни одного современника. Рифма у него удовлетворительная, встречается даже *непредвиденный автором* ассонанс, правда, — грубый.

Эта «непредвиденность» доказывает жизненность, а потому — надобность — ассонанса. Возьмем народную пословицу, притом — первую пришедшую на ум: «Жизнь пережить — не поле перейти» — «жить» и «ти», что ни говорите, ассонансы, хотя и плоские. Основываясь на «народном слухе», как наиболее непосредственном, мы можем — и, может статься, должны?.. — ввести в поэзию новую форму дисгармонической рифмы, а именно диссонанс. Пословица блестяще это подтверждает: «Тише едешь, — дальше будешь». Спрашивается, как же назвать — «едешь» = «удешь», если не диссо? Найдите в моих «Электр<ических> стих<ах>» «Пятицвет»; — Вы найдете целый цикл подобных стихотворений. Надо иметь в виду, что ухо шокировано этим новшеством только сначала; затем оно привыкает. Отчего можно произнести пословицу на диссо без предвзятого чувства, и отчего нельзя прочесть стихи в диссо, не смущаясь?

Характерная подробность: певцы старого фундамента, допускающие в своих вдохновениях *непредвиденные* ассонансы, называют блестящий и острый ассонанс — плохою рифмою!.. Вы можете себе представить, как это звучит комично! Конечно, иногда люди, абсолютно лишенные слуха, пользуются даже диссонансами, вовсе не подозревая об этом, наивно думая, что это у них превосходные рифмы. Для примера скажу: у меня есть знакомый, некто К. Е. Антонов, добрейшей души

человек, издавший $1\,{}^{1}/_{2}$ тома (!) своих сочинений. Он рифмует «немощью» – «помощью». На мои разуверения, что это, мол, не рифма, он ощетинился, зарделся и принялся доказывать: дескать, если оба слова оканчиваются на «мощью», значит это – рифмы, и рифмы даже очень интересные, ибо – видите ли – это не глаголы, а имена существительные, что очень ценится, и т. д. Разумеется, существительное более желанно для рифмы, но... какая же тут рифма?

И беда, милый Борис Дмитриевич, с такими «фанатиками рифмы»... – *непредвиденными* ассодиссонаторами! – Ничем не разубедишь, ничем не докажешь. Сегодня начинаю проникаться Виктором Гофманом, к которому всегда питал благосклонность: он такой ласковый, девственный. Благодарю Вас за отправку «Nocturn'a». Жду с большим нетерпением Вашего компетентного отзыва о «Колье принцессы». В какой газете он будет помещен? Когда Вы приедете, я прочту Вам ряд стихов, попросив выбрать любое, – желаю посвятить Вам что-нибудь. Не нашли ли Вы отзыва в «Б<иржевых> в<едомостях>»? Весьма интересуюсь. Передайте Марии Ил<ларионовне> мой сердечный поклон и просьбу – посодействовать Вашему скорейшему к нам приезду. Мама шлет супруге Вашей и Вам свой привет и приглашение. Пишите, пишите!

Любящий Вас сердечно

Игорь

6

8 июля 1911 г.

1911 г. VII, 8 — Ст. Елизаветино «Дылицы»

А что если бы Вы, дорогой Борис Дмитриевич, приехали в воскресенье, 10-го июля? Будет порядочно литератории: Антонов с женой, Гаврилов-Лебедев, Лопатин, Ларионов и др. Приезжайте, прошу, с женою Вашей. У нас гостит теперь К.К. Фофанов, и мы сейчас отправляемся в монастырь, за Кикерино.

Ваш Игорь

7

29 июля 1912 г.

1912. VII, 29 — ст. Веймарн, мыза «Пустомержа»

Дорогой Борис Дмитриевич, светлый мой!

Итак, с 1-го авг<уста> я жду Вас к себе: Вы обещались! Крепко целую Вас за доброе письмо, меня порадовавшее. Вообще, я часто Вас

вспоминаю, а видимся мы — почему?.. — так мало. Привезите, пожалуйста, вырезку из «Алекс<андровских> нов<остей>», — очень заинтересован.

Ежедневно получаю такую бездну вырезок и *писем*, что затрудняюсь *отвечать* своевременно. Читали ли Вы статью Брюсова о моих новых брошюрах а «Русской мысли», № 7? Он бесстрастен... И чуть-чуть больше страстности не повредило бы... ему! Во всяком случае, он — крупное явление наших дней. Я люблю его. Жму Вашу руку, жду к себе.

Ваш вечно Игорь

<Приписка на полях>

6-го и 7-го авг<уста> я дома не буду.

8

12 июня 1913 г. Веймарн

12-го июня *Веймарн*, Балт. ж. д, мыза Кн. Оболенской — *«Пустомержа»*

Дорогой Борис Дмитриевич! Как я Вам уже и писал в первых числах мая, когда выражал Вам и Мар<ии> Ил<ларионовне> свое соболезнование, в этом году я нанял дачу в Веймарне; я переехал сюда 10-го мая, живу здесь вдвоем, мама осталась в городе. Удивляясь, что Вы меня совсем позабыли, сообщаю вам подробный дачный адрес и надеюсь, Вы загляните ко мне денька на два. Как всегда, буду рад Вас видеть. Передайте мой привет супруге Вашей.

Сердечно Ваш И. Лотарев

9

7 октября 1913 г.

Милый Борис Дмитриевич!

Может быть, Вы не откажете мне в любезности зайти ко мне завтра, во вторник, после службы; то, о чем я Вам говорил, мне необходимо сделать завтра же, и я вспоминаю Ваше любезное согласие.

Мой привет Мар<ии> Ил<ларионовне>.

Ваш И. Лотарев

10

24 ноября 1913 г.

Дорогой Борис Дмитриевич,
убедительно прошу Вас в понедельник, 25 ноября, или утром, или после службы: весьма интересное и экстренное для Вас дело имеется. На днях еду в Москву.

Ваш И. Лотарев

11

20 февраля 1914 г.

Милый Борис Дмитриевич,
не забудьте же, пожалуйста, приехать в субботу, 20-го, в зал Петровск<ого> учил<ища>: Вы снова всюду анонсированы. Вообще, мне надо бы Вас повидать – потолковать о серии вечеров в январе по иной несколько программе.

Привет М<арии> И<ллариововне>.

Ваш И. Лотарев

12

<апрель> 1914 г.

Дорогой Борис Дмитриевич!

В свою очередь, поздравляю Вас, Вашу супругу и ребенка со Светл<ым> Праздн<иком>, желаю всего хорошего, на днях уезжаем во 2-е турнэ, очень занят. Извините, что не был. Будьте добры пришлите мне карточки с подателей сего.

Ваш И. Лотарев

13

11 декабря 1914 г. Петроград

Милый Борис Дмитриевич, посылаю афишу. Жду к 8 час<ам> в Зале. Привет.

Ваш И. Лотарев

14

декабрь 1914 г.

Вторник

Милый Борис Дмитриевич, экстренно сообщаю, что в эту субботу состоится наш поэзовечер в зале Психоневрол<огического> инстит<ута>. Он начнется в 5 ч<асов> в<ечера>, а поэтому прошу приехать к 3–3 $^{1}/_{2}$ ч<асам> дня в редакцию «Очар<ованного> стр<анника>» (Невский, 160, кв. 2), куда мы приедем, чтобы оттуда вместе отправиться. Будет, между проч<им>, и Виноградов. 2 вечер (повторение первого) назначен в зале Петровск<ого> учил<ища> на 6 дек<абря>.

16 дек<абря> состоится вечер в Москве.

Ваш И. Лотарев

P. S.

Если в суб<боту> не пойдете на службу, жду Вас к себе *до двух*. Пойдем тогда вместе к Ховину.

И. Л.

15

1910-е гг.

Дорогой Борис Дмитриевич!

Исполняя Ваше желание, даю для альманаха «На берегах Невы» поэзу.

В свою очередь жду от Вас для альманаха «Молитва миражу». И не забудьте, мой хороший, ту вырезку, — помните?

Целую Вас

Любящий Вас

И. Лотарев

P. S. Мой сердечный привет Марии Илларионовне.

Е. И. ВЕНСКОМУ

11 июля 1911 г.

Ст. Елизаветино, Балтийской ж. д.
Село «Дылицы», дача Егора Киселева
1911, VII, 11

Многоуважаемый Евгений Иосифович!

Очень благодарен Вам за книгу, первое издание которой имею. Приезжайте ко мне, — я зайду к Вам. В Петерб<урге> бываю редко, приезжайте лучше сами, улучив свободн<ую> минутку. Выслал Вам 3 брошюры: остальные разошлись, к сожалению. Признателен за Ваше желание — писать в «Г<олос> М<осквы>» отзывы. Надеюсь, пришлете номерок. Жму Вашу руку и жду Вас к себе.

Игорь Северянин (Лотарев)

К. К. ОЛИМПОВУ

28 июля 1911 г.

1911, VII, 28
Елизаветино, «Дылицы»

Дорогой Костя! Вашу открытку получил сейчас. Очень прошу Вас — приезжайте как можно скорее: немедленно по получении этой постальки, ибо до 1-го августа весьма мало дней! Я ожидаю Вас завтра, 29-го июля, хотя с последним поездом. Опечален пропажей рукописей, но этого следовало, увы, ожидать. Чем тут помочь?.. 24-го выпустил в свет новую книжку, разослав 30 экз<емпляров> по редакциям. Много написал нового и интересного, думается.

Мама весьма рада Вашему приезду к нам.

Любящий Вас Игорь

<На полях открытки>

24-го был опять Пуни. Я катался на рысаках с Л. Н. Приезжайте! Прокачу и Вас!

В. Я. БРЮСОВУ

1

19 октября 1911 г.

Светлый Валерий Яковлевич!

Человек, создавший в поэзии эру, не может быть бездарным: я ценю Вас, как — в свое время — новатора. Ваши поэзы, вроде сонаты «Возвращение», не могут мне не нравиться. Правда, я не причисляю себя к восторженным Вашим поклонникам, но читаю Вас всегда внимательно и с удовольствием: Вы свежий и интересный, стиль Ваш изысканно-прост, у Вас острые и волнующие ассонансы, льдя́ная пылкость, и Вы — гордый и мудрый. С радостью послал Вам имевшиеся у меня книжки. Буду признателен, если и Вы пришлете мне. У меня имеется только т. III «Путей и перепутий». «Бюро газетн<ых> вырезок», где я состою абонентом, доставило мне Вашу заметку о «Электр<ических> стихах» (Русская мысль, № 7, 1911 г.). Других заметок и статей я, к сожалению, не читал. Теперь я работаю над циклом «Эго-футуризм», и страдания мои, думаю, Вам понятны. Участились сердечные припадки, и, вероятно, я долго не проживу. <Как> Пугает меня эта мысль: я еще не оправдал себя.

С добрым к Вам чувством.

911 окт., 19. СПб. Игорь-Северянин

2

20 февраля 1912 г.

Светлбуважаемый Валерий Яковлевич!

Вы доставили мне яркое удовольствие присылом своих книг, и я душевно благодарю Вас за Вашу любезность.

Ваша тонная поэза, ко мне обращенная, вдохновила меня на отклик, который я и посылаю Вам при этом письме.

Второе издание тома III я, к сожалению, не могу выпустить теперь же, хотя Ваше компетентное мнение о нем было бы для меня чрезвычайно интересным и — я прибавлю — ценным.

Издателей я не беспокою; они же, очевидно, пока во мне не заинтересованы. Однако верю, все устроится в будущем.

На днях выходит моя новая тетрадь, и я, конечно, тотчас же вышлю ее Вам.

Какое впечатление произведет она на Вас?

Душевно к Вам влекомый

1912. II, 20 Игорь-Северянин

НА ЛЕТУНЕ

Валерию Брюсову

Король на плахе. Королевство —
Уже республика; и принц
Бежит, сестры спасая девство,
В одну из мо́ревых провинц.

И там, в улыбности привета,
У острых шхер, у сонных дюн,
Их ждет — и палуба корвета,
И комфортабельный летун.

Вперед! — осолнечен пропеллер,
Стрекочет, ветрит и трещит;
Моторолет крылит на север,
Где ощетинен бора щит.

Скорбит принцесса. В алой ленте
Лукавит солнце, как Пилат.
Злодея мыслит в президенте
Беглец из мраморных палат...

И, очарованный полетом,
Дарит пилоту комплимент,
Не зная, что его пилотом —
Никто иной, как президент!

1912. II, 17 Игорь-Северянин

3

8 мая 1912 г.

1912. Май, 8. Столица на Неве

Мне дорогой Валерий Яковлевич!

Вчера у меня состоялось заседание дирекции «Петерб<ургского> глашатая», на котором восторженно, – и единогласно постановлено: просить Вас оказать нам честь стихотворением для альманаха нашей газеты, посвященного памяти К. М. Фофанова, и выходящего в свет 17-го мая. Содержание его будет вне определенной темы, и любое Ваше произведение украсит первый столбец первой страницы.

Сегодня, в 10 час<ов> утра, весь материал сдан в набор, и я извиняюсь перед Вами, беспокоя Вас ожиданием в ближайшие дни Вашей рукописи: генеральная корректура будет подписана 16-го мая утром.

Номер же третий «Петерб<ургского> гл<ашатая>», в котором идет передовая статья г. Игнатьева о Вашем четвертом томе, выходит 27-го августа, после чего газета начнет выходить ежемесячно.

Ваше поручение передано мною вчера Грааль-Арельскому.

Порывно благодарю Вас за Ваше *великодушевное* письмо, меня окрыляющее.

На днях у меня начался пятый толстый том «Критики о моем творчестве», критики бездарной, завистливой и мною ослепленной: тщательно собираю все вырезки, чтобы ознакомить с ними моего подрастающего читателя.

Я лазорево смотрю в Ваши глаза.

Светлый Титан!

Любящий и уважающий Вас

Игорь-Северянин

4

24 мая 1912 г.

Мне дорогой Валерий Яковлевич!

Радостно благодарить Вас за Ваш щедрый и прекрасный дар нашему изданию.

Крылю Вам свой сердечный привет, сердечную признательность. Надеюсь, Вы и впредь не оставите наше издание своим вниманием.

Это лето я хочу проводить всюду, и, если Вы вспомните обо мне, направляйте, пожалуйста, письма на мой постоянный столичный адрес.

Давно собираюсь Вам сообщить, что Грааль-Арельский и Георгий Иванов, «оставаясь со мною в лучших отношениях», в ректориате Академии Эгопоэзии больше не состоят и «Футуризму не сочувствуют»: гг. синдики «Цеха поэтов» «нашли несовместимым и то и другое», и вот — «им пришлось делать выбор»...

Все это, конечно, смешно, но и грустно: Гр<ааль>-Ар<ельский> — одаренная натура, а Иванов обладает вкусом. Впрочем, мне остается только преклониться перед их решением... Прошу Вас принять мои блестящие пожелания, дорогой Валерий Яковлевич!

Любящий и уважающий Вас

Игорь-Северянин

912 Столица на Неве Май, 24

5

30 сентября 1912 г.

Мне дорогой Валерий Яковлевич!

Это лето я провел в Веймарне, в четырех часах езды от Петербурга, и неоднократно мечтал написать Вам оттуда, но полагал, что Вы в отъезде и письмо мое может не застать Вас в Москве.

Только в августе — мне привезли на дачу «Русскую мысль» с Вашим обзором текущей поэзии, и теперь, надеюсь, что Вы уже дома, я выражаю Вам за Вашу заметку обо мне сердечную благодарность и свое постоянное признательное воспоминание.

Вскоре владелец газеты «Петерб<ургский> глашатай» издает третий альманах — «Орлы над пропастью» — и, вследствии этого, ведет в настоящее время переговоры с Ф. К. Сологубом, который, кажется, примет участие в нем. Пока я еще остаюсь сотрудником этой газеты, так как г. Игнатьев, во внимание к моей категорической просьбе, решил впредь воздерживаться от «выявлений» вроде «инкрустаций» второго альманаха... Ныне подобные «трюки» я нахожу уже излишними даже для газеты, а в альманахах их положительно недопустимыми. В случае игнорирования моего «ультиматума» я немедленно выхожу из состава Дирекции.

Я горячо хотел бы просить Вас прислать что-либо и для третьего альманаха, но я этого не делаю, боясь злоупотреблять Вашей трогательной любезностью.

В заключение мне хочется Вам сказать о своем страстном желании видеть Вас лично, и, я надеюсь, если Вы будете в Петербурге, Вы доста-

вите мне случай говорить с Вами: я живу там же: Средняя Подъяческая, 5.

Любящий и уважающий Вас

Игорь-Северянин

30 сент. 1912 г. СПб.

P. S. Вернулся из Веймарна 1 сент<ября>. И весь этот месяц собирал по просьбе С. А. Венгерова био-библиограф<ические> о себе сведения для его труда: «Русск<ая> лит<ература> XX века» (изд. т-ва «Мир»). И. С.

6

10 октября 1912 г.

1912. X. 10

Мне дорогой, мой светлый Валерий Яковлевич!

Не умея прозно благодарить Вас за Ваш новый драгоценный дар, обращаюсь к Вам, в свою очередь, с сонетом. Примите его, не осудив строго: это — почти импровизация, но она, — я чувствую, — органична.

Вдохновенно ожидаю Вас к себе в конце октября, — я так рад Вам!

Любящий и уважающий Вас

Игорь-Северянин

«Орлы над пропастью» в наборе. Ваш сонет отправлен сегодня в типографию.

ВАЛЕРИЮ БРЮСОВУ

Сонет-ответ
(Акростих)

Великого приветствует великий,
Алея вдохновением. Блестит
Любовью стих. И солнечные блики
Елей весны ручьисто золотит.

Ручьись, весна! Летит к тебе, летит
Июнь, твой принц, бессмертник неболикий!
Юлят цветы, его гоньбы улики...
Божит земля, и все на ней божит.

Рука моя тебе, собрат — титан!
Юнись душой, плескучий океан!
Самодержавный! мудрый! вечный гордо!

О близкий мне! Мой окрылитель! Ты —
Ваятель мой! И царство красоты —
У нас в руках. Мне жизненно! мне бодро!

1912. Октябрь

Игорь-Северянин

7

20 ноября 1912 г.

Мне дорогой Валерий Яковлевич!

Только третьего дня я встал с постели, в которой пролежал около двух недель: инфлюэнца, осложнившаяся ветрооспой. Теперь я чувствую себя очень слабым.

В бытность Вашу в Петербурге поджидал Вас еще раз к себе, и весьма сожалел, что, по постоянной своей рассеянности, не узнал от Вас Вашего невского адреса: был лишен удовольствия отдать Вам ласковый визит. Но я надеюсь, что Вы, когда вновь будете в Петербурге, — доставите мне новую радость, заехав ко мне. Забастовки и небрежность наших типографий сделали то, что альм<анах> «Орлы над пропастью» вышел в свет только на днях, а мой «Эпилог» выйдет на две недели позднее назначенного срока. После выхода упомянутого альманаха я вышел из состава Дирекции и больше не сотрудничаю в изданиях «Петерб<ургского> глашатая».

Я мотивирую свой уход желанием одиночества и баснословной добротой И. В. Игнатьева, пропагандирующего людей, отстоящих на «почтительном» от Поэзии расстоянии...

Покончив все дела с «Петерб<ургским> глашатаем», я выражаю Вам, душевноценимый Валерий Яковлевич, свою горячую благодарность за Ваше могущественное сотрудничество в альманахах. Вы сделали этим для меня очень и очень многое, и я бессмертно с Вами душой и мыслью.

Мама просит Вас принять ее уважение, сердечный привет и искреннюю признательность.

Любящий и уважающий Вас

Игорь

P. S. Пользуясь Вашим любезным разрешением, я доставлю Вам вскоре 15—20 избранных пьес. Быть может, Вы найдете среди них подходящие для Вашей «Русской мысли».

20-го ноября 1912 г.

8

10 декабря 1912 г.

Мне дорогой Валерий Яковлевич!

Я очень признателен Вам за честь, мне оказанную, и с истинным удовольствием, *теперь же* принимаю первое из Ваших любезных предложений: читать поэзы в «Обществе Свободной Эстетики». Гонорар, Вами означенный, я, конечно, нахожу достаточным, но Вы простите меня за откровенность, я хотел бы просить половину его авансом — для дороги в Москву: у меня постоянное безденежье.

Если аванс возможен, я *каждый день* в Вашем распоряжении, ожидая указания Вами свободного четверга.

О втором Вашем предложении мне хочется переговорить с Вами лично: считаю радостною обязанностью быть у Вас.

От всего сердца благодарю Вас за Вашу ко мне сердечность.

Любящий и уважающий Вас

Игорь-Северянин

1912. XII, 10.

9

17 декабря 1912 г.

Мне дорогой Валерий Яковлевич!

Я очень благодарю Вас за аванс и за любезное приглашение завтракать у Вас в среду, которым — к искреннему моему сожалению — воспользоваться не смогу, так как по важным причинам, я сообщу их Вам лично, приеду в Москву в четверг, около двух дня. С вокзала я еду к двоюродной сестре, откуда позвоню Вам по телефону, и, если Вы будете дома, попрошу разрешения Вас посетить. Билет я уже купил, — трудно было получить: масса публики. Итак, до ясной встречи.

Любящий и уважающий Вас Игорь-

17 дек. 1912.

10

1 января 1913 г.

1 янв. 1913 г. Петербург

Глубокоуважаемый и дорогой Валерий Яковлевич!

Приветствую Вас с годом, новым и радостным, уже чувствуя новую весну — новые упоения и восторги.

Передайте, пожалуйста, Иоанне Матвеевне, светлой и ласковой, мои сердечные поздравления, воспоминания.

Я светло обрадован Москвой, и Вам, светозарный и близкий, — моя пламенная благодарность.

За последние дни мне нездоровилось; <и> я написал в них «Поэму моего отрочества», которая будет помещена вскоре в «Современнике».

Новогодье я встречал у милого Федора Кузьмича, где было всего семь человек — интересных; его зовы к себе так магниты.

Еще не удалось достать «Орлов над пропастью», — высылаю завтра Вам свой экземпляр.

Осолнечный, крылю к Вам душу свою.

Бессмертно Ваш

Игорь-

11

12 марта 1913 г.

<Открытое письмо с видом: «Одесса. Берег большого фонтана»>

ТОСКА О СКАНДЕ

На память Валерию Брюсову

У побережья моря Черного
Шумит Балтийская волна,
Как символ вечно непокорного,
В лиловый берег влюблена.

На море шумно, и гигантские
Оякорены в нем суда, —
Но слышу шелесты Эстляндские,
Чья фьоль атласится сюда.

И вот опять в душе лазорие,
И вновь душа моя поет
Морей Альдонсу — Черноморие
И Скальду — Дульцинею вод!

Одесса, 12 марта 1913 г.

Игорь-Северянин

12

7 июня 1913 г.

ст. Веймарн, Балт. ж. д., мыза кн. Л. А. Оболенской — «Пустомержа»

Мне дорогой Валерий Яковлевич!

Я переехал сюда 10-го мая, окончив свое турнэ с Ф. К. Сологубом 12 апреля. Мы с ним выступили в 11 городах, но из Кутаиса я уже уехал в Петерб<ург>, желая провести Пасху дома. Он же с Ан<астасией> Ник<олаевной> ездил еще в Батум; вернулись они на третий день Пасхи. Я писал Вам стихи из Одессы, а из Симферополя послал свою книгу, но не знаю, получили ли Вы и то и другое.

В настоящее время печатается второе издание моей книги, так как первое уже почти разошлось. Приготовляю к осени 2-й сборник. Много пишу вновь, и эта работа доставляет мне истинное наслаждение. Давно не имел от Вас писем, что мне очень грустно. В Москве ли Вы, Валерий Яковлевич? Я рад возвращению Бальмонта, которому, если его увидите, будьте добры, передайте искренний привет. Думаю пробыть здесь до 15 сент<ября>, и буду рад, если бы Вы написали мне сюда. Живу здесь «отшельником», никого не вижу; на днях приезжал только Сологуб с женой.

Любящий и уважающий Вас

Игорь-

P. S. Пленительно Ваше стихотворение «В том же парке», помещенное в № 3 «Русской мысли»; особенно близка мне последняя строфа... Мой сердечный привет Иоанне Матвеевне.

13

3 или до 3 ноября 1913 г.

Мне дорогой Валерий Яковлевич!

Давно я Вам не писал, — все откладывал со дня на день, хотя в сердце моем Вы ежедневно, всегда. Вы простите меня, Вы поймете. Светло и властно. Неизменно.

Много перемен у меня, много завоеваний, но душа нестерпимо скорбит, стремясь в неизведанное. Многое — позади: впереди — бóльшее. Твердо перо мое, — дали сладостно-туманны. Они вновь туманны! И опять *предгрозье* волнует меня, Будет ли это третий том? Может быть, четвертый? пятый?.. Теперь печатается в «Грифе» второй — «Златолира». Он — многострадальный, он — былой. (?) Гнев и скорбь в

нем. Жизни жажда. Но все же это — отдых мой. И, как отдых, томителен. Страшусь я отдыха: в нем — застой. Все, что вновь создал, — летом. Трудно — в городе. Какая тяга в лес! невосполнимая вот сейчас. И это больно.

Какое отчаяние вокруг! какая безнадежность! *Возможность* процесса Бейлиса, ежедневные катастрофы, Балканская гнусность, чума в Новочеркасске, кубо-футуристы, угасание милых девушек! какое отчаяние мне! И какая жажда жить зато!.. Жажда ли это?

Посылаю Вам стихи, написанные еще в августе, ответ на открытку Вашу. Простите, что только теперь. Душевно Вас любящий.

Игорь-

ОТКРЫТКА ВАЛЕРИЮ БРЮСОВУ

Вы поселились весной в Нидерландах,
Бодро и жизненно пишете мне.
Вы — на отплесканных морем верандах,
Я же — в колосьях при ветхом гумне.

Милый, но Вы не ошиблись, что волны
И за моим нарастают окном.
Только — на море, — то ветрятся клены,
Волны зеленые, — в поле с овсом.

Вам — о полянах — на море Немецком,
Мне же в полях — о просторе морском:
В сердце поэта — и мудром и детском —
Неумертвима тоска о ином.

1913. Авг. Веймарн

Игорь-Северянин

14

22 апреля 1920 г.

Toila, 22. IV. 1920

Светлый Валерий Яковлевич!

Если Вы живете еще в Москве, и это письмо дойдет до Вас, известите меня, пожалуйста, и я напишу Вам большое письмо.

Только вчера узнал о возобновлении почтовых сношений с Россией и спешу послать Вам свой искренний привет и всегдашнее воспоминание.

Любящий Вас Игорь-

Эстония, Eesti, Toila — postkontor,
Jgor Severjäänin'ile

15

23 апреля 1920 г.

Toila, 23. IV. 1920

Дорогой Валерий Яковлевич!

На днях я послал Вам закрытое письмо, но, по растерянности, на *2-ю* Мещанскую. Опасаюсь, что до Вас оно не дойдет, поэтому пишу вторично. Мне хочется знать — находитесь ли Вы в Москве. Если «да», я напишу Вам большое письмо.

Адрес: Эстония, Eesti, Toila — postkontor,
Jgor Severjäänin'ile.

Крепко Вас обнимаю. Надеюсь, Вы вполне здоровы. Из ревельских газет знаю, что еще в октябре Вы были в Москве. Но с тех пор прошло полгода, да и не уверен — на той ли Вы квартире.

Любящий Вас

Игорь-

А. Д. СКАЛДИНУ

1

23 июня 1912 г.

Дорогой Алексей Дмитриевич!

Сообщая Вам свой дачный адрес:

ст. Веймарн, Балтийской ж. д., мыза кн. Л. А. Оболенской — «Пустомержа».

Надеюсь, Вы меня как-нибудь навестите: здесь хорошо, — просторно.

Ваш Игорь

1912.23.VI

2

14 октября 1912 г.

От всего сердца я признателен Вам за присланную поэзу, которая украсит наш альманах.

Я очень хочу Вас видеть, — не соберетесь ли ко мне на этих днях, дома — ежедневно от 7 ч. веч.

Ваш И. Лотарев

1912.X.14

М.Л.ЛОЗИНСКОМУ

до 19 ноября 1912 г.

М. Г.
Господин Редактор!

Будьте добры, при посредстве Вашего уважаемого журнала, огласить следующее мое заявление:

Я вышел из кружка «Ego» и больше не сотрудничаю в изданиях газеты «Петербургский глашатай»

С уважением

Игорь Северянин

Н. С. ГУМИЛЕВУ

20 ноября 1912 г.

20.XI.1912

Дорогой Николай Степанович!

Только третьего дня я встал с постели, перенеся в ней инфлюэнцу, осложнившуюся в ветрóспу. Недели две я буду безвыходно дома.

Я очень сожалею, что не мог принять Вас, когда Вы, — это так любезно с Вашей стороны, — меня посетили: болезнь из передающихся, и полусознание.

Буду сердечно рад, если Вы соберетесь ко мне на этих днях.

Вообще, мне всегда радостно Вас видеть.

Уважающий Вас

Игорь

P. S. Мой привет Анне Андреевне.

Л. Д. РЫНДИНОЙ

1

конец 1912 г.

Дорогая Лида!

Когда мы увидимся? — о, скорее бы! Может быть, сегодня? Вчера весь день провел с Сологубами, был в Екатерин<инском> театре. Не переставал о Вас думать. И не перестаю. И не перестану. Да. Кратко и утвердительно. Меня к Вам влечет. Мне лазурно с Вами. Она омрачится, эта лазурь. Но какая же лазурь не омрачается?.. если, конечно, живая она?.. И небо. И море. И вновь — светло. Свет. Тьма. Свет. Жизнь — это!

Лида, призовите меня.

Игорь

2

апрель 1913 г.?

События последних дней, все эти переживания — сделали со мною то, что я сегодня окончательно изнервничался, мне хочется забыться, побыть в полном одиночестве.

Я сегодня весь день лежу, никого не принимая, и страдаю, всей душою страдаю, моя дорогая, моя любимая Лида! Мне так нестерпимо тяжело, так больно и гадко, что ты не осудишь меня, если я и к тебе не приду сегодня: мне надо отдохнуть, дорогая, надо привести мысли в порядок.

Около меня враги, около меня мелкие, чужие мне люди. Я запираюсь от них, я один в своей комнате.

Призови меня завтра, дай сегодня мне поправить себя.

Я скучаю, я тоскую, я болею.

Вчера все было скверно, я все сказал, как условились, она выслушала, не удивилась, была холодна, сдержанна, обещала *все* прекра-

тить. Я видеть тебя хочу, но мученья мои ужасны. Понимаешь ли ты, как все правы и несчастны.

Прости, я не могу больше писать, я так истерзан. Ободри, ободри меня, Лида, моя чуткая, способная все оправдать.

Приникаю к рукам твоим
нежно и грустно – в изнеможении.
Игорь твой

3

21 мая 1913 г.

Ст. Веймарн, Балтийской ж. д.,
Мыза кн. Л. А. Оболенской – «Пустомержа»
21-го мая 1913 г.

Дорогая Лида!

Прости меня, что так долго не собрался тебе ответить на твое, – я сказал бы несколько странное, – письмо, в котором ты предостерегаешь меня против... алкоголя. Из этого «предостережения» я мог вынести впечатление, что ты – но какие же у тебя основания? – считаешь меня и действительно алкоголиком. Неужели каждый, выпивающий несколько рюмок вина или, даже допустим, изредка бутылку – непременно уж пьяница, непременно уж алкоголик? Позволь, Лида, мне протестовать против этого... наименования. Я, право же, пью умеренно.

Что касается твоих писем, ты можешь быть совершенно спокойна: их больше нет, ведь ты меня, уезжая, так просила.

Я не пишу тебе подробно и много, думая, что ты уже в Малаховке, но, если ты получишь это письмо, я могу писать тебе и на дачу. Если ты, конечно, желаешь. Я переехал сюда десятого – вместе с Еленой и Валерией, погрузившись сразу в тишь и уединение, о которых так тосковала душа моя. Я хочу прожить здесь до 15-го сент<ября>, а 2-го окт<ября> мы – Ф<едор> К<узмич>, А<настасия> Н<иколаевна> и я – вновь поедем, – во второе, – турнэ по городам Прибалтийского края, а зимой – по Сибири.

Летом надо хорошенько отдохнуть... после Кавказа, надо многое сделать. Нервы мои утихли «в этих раскидистых кленах», и я уже порядочно здесь написал. Пока еще никто ко мне не приезжал; на днях, судя по их письмам, собираются Сологубы. Последний в этом сезоне вечер был у них перед моим сюда отъездом – 8-го мая. Я встретил там Мережковского, Гиппиус, Тэффи, Глебову, «офицерика Колю» и дру-

г<их>. Много лестного услышал я о себе на этом вечере, и много читал новых и старых! – стихов. Читал и «Качалку грёзэрки». Ежедневно получаю массу вырезок о «Кубке»; из газет узнал о приезде Бальмонта, которому, если встретишь, передай, что я рад его возвращению и приветствую его.

Сердечно кланяюсь С<ергею> А<лексеевичу>, тебя целую. Теперь пиши о себе, милая Лида.

Игорь-

4

5 июня 1913 г.

Веймарн, «Пустомержа»
5 июня 1913 г.

Дорогая Лида!

Спасибо за письмо, но не пиши впредь заказными, – у нас их неудобно получать, приходится ходить самому на станцию, а что может быть хуже станции, не правда ли? Вообще, письма здесь никогда не пропадают.

Впрочем, и глухие, – как, наприм<ер>, Веймарн, – станции имеют своеобразную прелесть: интересно смотреть на проезжающих хорошеньких; Балт<ийская> же дорога в этом отношении имеет еще и то преимущество, что по ней едут преимущественно на курорты, вроде Мариенгофа, Гунгербурга, Дёббельна и проч. – через Ригу, Ревель, Нарву. Едущие же на курорты, большей частью хорошенькие. Так уж водится.

В Троицу приезжали к нам Сологубы. Я показал им местные достопримечательности и свел на прогулку, приблизительно – верст в шестнадцать. Они порядком утомились. Уехали после полуночи.

Вероятно, Сергей Алексеевич уже получил мое письмо, на Малаховку адресованное. Я очень рад твоим сценическим успехам и желанию съездить за границу, чтобы поиграть и там. Все это так возможно, конечно.

Только напрасно ты думаешь, что то мое письмо – злое и нехорошее: сам я добрый и хороший, значит – такое же и письмо. Или это тебе так показалось. Ну, прости.

Ты спрашиваешь, сердится ли еще А<настасия> Н<иколаевна>? Нет, давно уже не сердится и относится к тебе, по-прежнему, хорошо. Да и за что, да и на что сердиться? Все – в прошлом. Если не поленишься, пиши мне, Лида, тебе, может быть, есть о чем писать. Наша же

жизнь так однообразна — и настолько в деревнях! -- что трудно сообщить что-нибудь интересное.

Целую тебя, шлю привет

Игорь-

5

13 июля 1913 г.

Веймарн, 13-го июля 1913 г.

Дорогая Лида!

Все эти дни я много и тяжко волновался и даже два раза ездил в Петерб<ург>: мама очень плохо себя чувствует, а при ее возрасте даже пустяк опасен. Слабость, головокружение, апатия, вялость языка. Симптомы не из важных.

На днях состоится концерт в Дуббельне, около Риги. Приглашен Чеботаревской читать. Она и Фед<ор> Кузм<ич> очень мило устроились в Иеве, вблизи моря. Комфортабельная дача, целый штат прислуги. Был у них пока один раз: темнеют ночи, и «мои» боятся оставаться ночами без меня.

Много читаю (в особенности — Метерлинка), еще больше работаю. Второй сборник почти готов. Привез из Петерб<урга> некоторые рукописи и усиленно переписываю. Изредка приезжают ко мне, но ведь далеко: 4 $^{1}/_{2}$ часа езды. От нас до Иеве 2 $^{1}/_{2}$ ч<аса>. Радуюсь твоим успехам, твоим планам. Надеюсь еще много о тебе слышать повсеградно: ты серьезна и вдохновенна. Это я утверждаю. Конечно, «верхогляды» не видят в тебе этих двух значительных качеств. Проглядывают. Однако, именно в этом — твое будущее. Целую тебя, спешу на станцию. С<ергею> А<лексеевичу> на днях напишу. Я очень признателен ему, что выручил. Он — милый, и я его люблю.

Игорь.-

<На обороте>

Дочь Валерия растет. Растет она, дочь.

6

26 июля 1913 г.

Мыза «Пустомержа», 26 июля

Дорогая Лида! Третьего дня получил твое письмо, сердечно признателен тебе. Хотя уже во всех газетах анонсировано о предст<оящем>

поэзоконцерте в Дуббельне. Мейерхольд еще ничего мне не сообщал, когда именно конц<ерт> состоится, и я вынужден отказывать желающим ко мне приехать, ожидая со дня на день телеграммы. Сначала был назначен на 21-е июля, но отложили. Все-таки сегодня жду к себе Е. М. Пуни, о котором я тебе рассказывал. Возможно, мы поедем с ним вместе в Дуббельне, заехав предварительно в Иеве.

С упоением работаю (написал уже 25 поэз) и тщательно составляю «Златолиру».

В Пет<ербурге> был уже 4 раза, но это убийственно: $4\,{}^{1}/_{2}$ ч<аса> езды! в один конец! Конечно, ездил только из-за мамы; она чувствует себя теперь лучше. Что касается твоей черкески, я вообще скептически настроен к Кавказу (за небольшими, впрочем, исключениями!), но тебе она едва ли идет, Лида. Трудно представить себе южанина, читающего Уайльда. Это не к лицу для черкеса... Будем лучше ходить в косоворотке и повторять слова Брюсова из его письма ко мне на днях, из Голландии: «Хорошо жить на свете, и хорошо быть поэтом!» Косоворотка (только не «товарищеская»!) ближе к поэзии, не правда ли? Я и дочь Валерия тебя целуем, Лидия.

Игорь,-

7

7 августа 1913 г.

Мыза «Пустомержа»
7-го авг. 1913 г.

Дорогая Лида! Я пробуду здесь до 10-го сент<ября>, так что, когда выйдет 2-е изд<ание>, будь любезна, пришли экземпл<яра> 3 сюда (заказн<ой> бандеролью). И если можно, 1 экз<емпляр> 1-го изд<ания> — для мамы. Я до сих пор еще ей не дал, а 2-е изд<ание> для нее очень мелко. Конечно, я очень интересуюсь поскорее взглянуть на книжку. Избави только Бог от ошибок! Но я надеюсь, С<ергей> А<лексеевич> все исправил. Что касается концерта в Дуббельне, администрация этого курорта что-то нашла против, и концерт, за недозволением, отменяет. У меня прогостил четыре дня Пуни, и мы с ним ездили в Иеве к морю, зашли и к Сологубам на часок, к вечернему чаю. Ее не было дома, она с сестрой ездила за 12 верст в Силломяги. Возвращались мы ночью при оранжевой луне, шли 8 верст глухим сосновым лесом. Приехали в Веймарн только в 4 ч<аса> утра. 9-го авг<уста> я опять приглашен в Иеве — дня на два поеду. На днях ездил с Еленой в Ямбург на извозчике; туда и обратно 40 верст. Дорога заурядная и интереса не представляет. Ездили в магазины.

Спасибо тебе, Лида, за статью Бальмонта о Брюсове, но, конечно, я не согласен с этой «странной» статьей. Брюсов – прежде всего – эпик. Но из этого еще не следует, что и Бальмонт – лирик... Есть что-то еще – среднее между лирикой и эпосом. Вот это-то среднее и есть Бальмонт, разумеется, поэт настоящий, несмотря ни на что. Позволительно любить его или нет, думаю, у каждого – ах, даже очень миниатюрного поэта – есть весьма удачные образы и целые строфы. Что поделаешь. Это хорошо. Я получил на днях июльский номер «Русской мысли», в котором значительны и безукоризненны поэзы Вал<ерия> Як<овлевича>, убийственно стих<отворение> мерзкого Парнока (или мерзкой?), «гладок» и фальшив расск<аз> Кузмина и повторны воспом<инания> Морозова-Шлиссельбуржца. С большими претензиями статья какого-то Дермана о Блоке и нелеп расск<аз> Лугового. Но статьи В<алерия> Я<ковлевича> о «Кубке» не нашел, вероятно, в августовской появится. Постепенно увеличивается моя библиотечка, т. к. молодежь посылает мне все новые и новые книги свои. Ничего яркого, ничего примечательного. Общие места. Скука. Меня очень заинтересовала только книга Нелли (изд<ательство> «Скорпион»). Видимо, автор – кокотка, достаточно изысканная и волнующая. Критика находит, что она подражает, между прочим, и мне. Пожалуй, но немного. Ты, Лида, приобрети эту книгу («Стихи Нелли», 1913 г. Ц. 60 к.). Одно из лучших стих<отворений> «Прогулка с подругой». Читая ее стихи, я невольно вспоминаю свою Нелли, тоскующую в будуаре в обществе молодого педагога. И вот настали пленительные лунные вечера, августовская луна очаровательна. Я брожу по любимой аллее, соединяющей две усадьбы (Оболенской и Тизенгаузен), в жажде средоточия, в алчбе немыслимого. Ах, так много уже позади, но вместе с тем, все еще впереди! Да, есть усталость, да, есть нега осенних восходов, но это лишь – утомленная оркестровка бравурного мотива. Все это чарует. Все-таки я немного жалею, что поселился в этом году в Веймарне, а не у моря: море я очень люблю, при нем легко, просторно, а тем более при Балт<ийском>, а тем более в Эстляндии, где все так мирно, трезво, культурно, благостно и *исторично*. Плещется плачем Сканда, Эрика оплакивая своего!

Правда, здесь тоже недурно: много вокруг деревьев, есть речка шустрая и многоводная, но нет влаги тут, нет ощущения благостыни. Народ здесь отчаянный, хулиган на хулигане. Пьянство выдающееся, грабежи, убийства, всяческие подлости. Ямбургский уезд, Лида, первый уезд во всей России по потреблению водки. (Это установлено статистикой). Девушки – абсолютные проститутки, почти все поголовно, прически трехъярусные, шелк, атлас, духи, помада. Фасон платьев – не преувеличивая – заграничный. Но физиономии – мое почтение –

Фёклы истые! И почти все они пьянствуют. Деревенские девицы! Это уж оригинально несомненно. Окультуриваемся заметно. При всем этом бедность вопиющая: избы валятся, соломой крытые, сосед соседа из-за 3 коп<еек> «бьет в смерть»! В празд<ник> опасно из дома показаться: того и гляди, камнем голову прошибут. Я иногда люблю общаться с народом, но здесь его заменяет хулиган. Обхватить здешнюю молодку в порыве вдохновения, как я это делал в «Ивановке» и в Новгородск<ой> губ<ернии>, я думаю — прямо от нее отправишься к Эрлиху!.. Здешняя баба — нарумяненный иуда. Но вот нет больше места, и поэтому я тебя целую.

Игорь.-

8

31 октября 1913 г.

Дорогая Лида моя!

Именно сегодня я решил писать тебе — спросить тебя кое о чем, и вот — получаю от тебя письмо; целую за него, благодарю.

Ты, Лидочка, не думай, если я долго молчал, что я забыл тебя: ты чудесно знаешь,что я тебя никогда не забываю и каждый день вспоминаю тебя, и это мне приятно. А не писал давно оттого, что просто трудно было собраться как-то. Со дня на день все откладывал. Завтра же высылаю Серг<ею> Ал<ексеевичу> «Златолиру», и вот о чем мне хотелось тебя спросить: желаешь ли ты, чтобы я написал: «Посвящается Л. Д. Рындиной», или же: «Лиде», или: «Нефтис моей». Это я говорю о *всей* книге.

Что же касается поэзы «Одно из двух», она не войдет в этот сборник вовсе, по той причине, что сначала (в марте) она будет помещена в III альм<анахе> «Сирина» и, следовательно, печатать ее раньше ее появления в названном издательстве я не могу. Таким образом, моя Лидуся, она войдет в мой третий том («Виктория Регия»). Я рад, что ты прочла «Гашиш Нефтис», но — нравится ли тебе?..

О Сологубах ты, конечно, уже все слышала, в свою очередь могу сказать, что инициатором нашей размолвки я себя отнюдь не считаю; не поехал по следующим причинам: 1) болезнь мамы, 2) неполучение аванса, 3) «бесписьменность», 4) угрозный тон телеграмм его и ее: они угрожали... прекращением знакомства!.. Что же! *я* и прекратил знакомство с ними. Не жалею, — слишком возмущен. Заискивать не рожден. И ведь не акмеист же какой-нибудь, наконец, я! Против него ничего не имею: он действовал под давлением. Ею прямо-таки возмущен. И дав-

но уже. Короче: я доволен своему «освобождению». Я ликую, Лида! Пусть они не забывают, эти Сологубы, что они «только Сологубы»... не более. Воображаю ее «самочувствие». На письма ее не отвечаю. Лида, Лидия! ты отомщена! И уже давно все шло к этому. За тебя мстить – сладостно! Но высшая месть – *тебе* весь сборник!

Грозово целую тебя, тобою проникнутый. Твое биение и во мне. Вечно. Неизгладимо. Твой.

Возможно, что приеду после 15-го ноября в «Эстетику» (судя по словам Брюсова и Шершеневича). Вскоре решится. Пиши скорее, не забывай. Пиши по поводу посвящения немедленно. Завтра высылаю сборник без посвящения. Получив от тебя инструкции, пришлю отдельный лист с посвящением. Ну, дорогая, будь благостна. Игорь твой.

31 окт. 1913 г.

Почти ежедневно читаю в концертах, устал от триумфов, простужен.

Поклонницы. Цветы. Признания...

9

1913 г.?

Дорогая Лида!

Я всегда был и буду твоим истинным другом; никогда тебя не обижал, не оскорблял даже мысленно; напротив – всегда и везде тебя защищал, даже гнев возбуждая в некоторых; когда тебя критиковали при мне, всегда горячо протестовал и возмущался.

Письмо твое меня страшно, необыкновенно поразило, и целую неделю я проходил в недоумении, сильно расстроенный.

Меньше всего видел и ценил в тебе женщину, несмотря на то, что ты очень красива и интересна. Всегда чувствовал глубину твоей души, которую эти человечки не могут познать. И вдруг ты говоришь чудовищные фразы, что я плюю на тебя и тому подобное! В уме ли ты, Лида? Да на каком основании?! Все, что я делал, я делал искренно и вдохновенно. И не отрекаюсь, и не отрекусь. Это ты не поняла меня, это ты видишь в моих письмах то, чего нет в них и быть не может. Итак, напиши же скорее светлое письмо, все поняв и меня не осуждая, т. к., повторяю, я – хороший.

Игорь

10

7 февраля 1914 г.

7 февраля 1914 г.

Дорогая моя Лидочка,

я тебе очень давно не писал, хотя, конечно, ты всегда отлично знаешь, что я постоянно с тобой, забыть тебя не могу и не хочу, всегда ясно и легко люблю тебя и вспоминаю всегда. «Качалку» читаю в каждом городе первым своим номером, и все остальное понятно.

Турнэ наше очень волнующее и все какое-то взволнованное. Спутники веселые, но какие-то кошмарные... То мне уж очень славно, то уж весьма удручаюсь весь. И уж очень одиноко.

Нет тебя, Лида, со мною: с тобою ж прозрачно и мо́рево! Я часто и упорно жалею, что ты *только* у Незлобина и связана с этим театром, — зачем? Разве не хорошо быть со мною? делать себе большое, выдающееся по оригинальности амплуа, имя? разве не хорошо летать из города в город, из толпы в толпу, от газеты к газете? разве не хорошо «подвергаться овациям» и слышать себя выкликаемой тысячами молодых и восторженно грозо́вых голосов? Подумай только, Лида, свободная моя, надменная моя Лида! Ты только сравни, только подумай! Отбрось все эти «соображения», все эти «будущие преимущества». И со мною они возможны, и со мною ты будешь еще скорее, еще удобнее выявить тебе себя, именно со мною, твоим послушным, тобою любующимся. Ах, Лидия, это досадно, что ты думаешь иначе. Ах, Лидия, это «не так уж очень» вдохновенно казалось бы! Но ты упорно, чувствую, не сочувствуешь мне в моих планах. И кажутся они тебе — отчего? На каком основании? — карточными замками. Ах, Лидия, совсем нет. Вот пример: беру из толпы (а не тебя, артистку с именем) девушку, обыкновенную курсистку. Беру потому, что кажется мне она талантливой. Да, сначала только кажется. И вот едем теперь. Что же? Везде — овации, везде — триумф! «Эсклармонда Орлеанская!!!» — ревет зал, устремляясь к рампе. А ты вдруг колеблешься. Я давно мечтал тебя пригласить, давно, но вспоминая некоторые твои «соображения по поводу столичных сцен» и... не трогал тебя, — все равно безнадежные попытки. Но как ты теряешь! Как ты теряешь! Как теряешь! Вот право же иногда: «поменьше здравых рассуждений» — только повредить могут. А тут даже с рассуждениями дело обстоит благополучно. Да, ты не проиграла бы, не прогадала бы. Ну, пиши до 14-го на Симферополь, Таврич<еской> губ<ернии>, Долгоруковская 17, Влад<имиру> Ив<ановичу> Сидорову (для меня).

Беру тебя за подбородок, губы в губы. Жарко и нежно.

Твой Игорь.-

11

6 августа 1914 г.

Мыза «Ивановка»
6 авг. 12 ч<асов> н<очи>

Лида, друг мой всегдашний! Ты возмутительно долго не писала, ты, обманщица: ты не приехала в «Тойлу», и ты даже не собираешься сюда, хотя я, – да и Е<лена> Я<ковлевна>, – ждем тебя, как и раньше. И не говори, пожал<уйста>, что нельзя тебе – и теперь еще только август, только его начало, и делать тебе в твоей «Малаховке» положительно нечего. Из Германии, – pardon за выражение, – вернулась ты давно, следовательно, успела уж упиться своей «Малаховкой» всласть... А здесь, уверяю тебя, недурно. Я занимаю 6 больших комнат дворца, кухню, 4 кладовки и веранду. 2 хода. 200-летний парк с кедрами, пихтами, грибами, урнами, эстрадами. Дивная форелевая прозрачная река. Мельница. Водопад. Тень Павла I везде и во всем. Работается прекрасно. Много уже написал о войне, печатаю в «Дне». Кстати, получил ли Сергей Алекс<еевич> мои стихи для «Р<усского> с<лова>» и «У<тра> Р<оссии>»? Какая судьба их постигла? Читала ли ты их? Как ты их находишь? Я столько писал С<ергею> А<лексеевичу>, но он упорно молчит. Говорят, вышло 3-е изд<ание> «Златолиры»? Изящно? Да? Ведь я его не видел... Впрочем, на днях куплю, когда буду в городе. Жду в субботу Ф<едора> К<узмича> с А<настасией> Н<иколаевной>. Был в «Питербурхе» в понедельник. Заходил к ним; они вернулись с дачи 22-го. Мне было приятно узнать, Лидок, что ты изучила английский. Когда-то я знал его прилично. Что касается сезона наступающего, не думаю, чтобы он был и для тебя, и для меня удачным. Наприм<ер>: все турнэ приходится откладывать. Мой поэзоконцерт в Риге был назначен на 28 июля. Отменен. Потерял 125 рубл<ей>, а это для меня целое состояние теперь. Вообще, благодаря войне – полнейшее разорение, и мне, человеку семейному, часто приходит в голову мысль о «конце». Заработки в газетах?.. Но это же – юмористика!.. А ехать в Петерб<ург> к маме, в две комнаты, к кошкам и всей той мерзости – благодарю покорно. Из дворца не очень-то хочется. Здесь я чувствую себя, как в своем имении. Да и дешевизна баснословная. Но все же менее 100 руб<лей> в месяц, при всей экономии, не прожить, а попробуй их заработать *только стихами!..* Начатую же пьесу я изорвал: не время,

да и мерзко выходит. А я к себе строг; от того-то так и дивны мои книги, что печатаю только нравящееся себе. Целую тебя горячо. И горячо

твой Игорь.-

<на полях с. 1>

Пиши, пожал<уйста>, теперь же, только побольше. Мама уже в Петерб<урге>.

Лида, приезжай на месяц — на два: будешь работать над своей книгой.

12

13 сентября 1914 г.

Мыза «Ивановка»
13 сент. 1914 г.

Дорогая Лида!

Я очень благодарен тебе за присылку денег на имя мамы. Все, что следует, уплатил, но, к сожалению, застрял здесь на неопределенное время, так как не хватило 25 рубл<ей> на подводы, и теперь не знаю, когда выберусь. Собственно говоря, если бы не война, я, конечно, жил бы здесь круглый год с наслаждением, ибо здесь восхитительно. Но теперь повсюду «ломка», и поэты — «на мели». А посему и придется мне переезжать опять на Подъяческую, что невольно напоминает мне корыто пушкинской сказки... Лида, я опять тебя беспокою, но на этот раз *окончательно*: я прошу тебя (только не сердись, пожалуйста, это не повторится) прислать мне к 20 сентября в долг 50 рубл<ей>, чтобы я мог перебраться в Петроград, где я хочу дать ряд патриотических поэзоконцертов. Устроитель Якобсон.

Первый концерт предположен 27 сентября. После первого же вышлю тебе долг. Иначе — я здесь погиб: ни денег, ни концертов. Ах, как это больно быть поэтом во время такой большой войны! Невольно чувствуешь себя лишним. А воевать глупо; я еще понимаю *предводительствовать*, быть Наполеоном! А идти «в ряды» по своей воле — позор, да и никому это не нужно. Рисковать своей великой жизнью можно только вдохновенно, громоносно, блистательно! Я ужасно беспокоюсь за Сергея Алексеевича — он мною любим, он обаятельный человек, но уход его оправдываю: ушел по необходимости, должен был идти. Хочешь — не хочешь. Но идти «по желанию», волонтером, как ушел этот «германец» Гумилев — рисовка, гнусность! Если я сделаюсь солдатом, я завтра же стану императором! Но это должно произойти сразу! Мать,

жена, ребенок! из-за вас только Европа не в моих руках! (я говорю про оружие, ибо Россия моя литературно).

Игорь.-

<на полях с. 1>

Если исполнишь мою просьбу, пришли на имя мамы. Будь добрая...

13

15 января 1915 г.

Спасибо тебе, милая Лида, — моя Миллида, — за письмо, за книги, за поиски «Кальвиль».

Если затерялась, что же делать. Не беда особенная: напишу другую, третью. Много пьес напишу. Стоит ли горевать, если мы живы!

Получил от С<ергея> А<лексеевича> письмо. Ответил. 20-го янв<аря> еду в Харьков, Полтаву и Кременчуг. Вернусь сюда 26-го.

28-го здесь мой вечер. 31-го в Москве. На 2-й нед<еле> Поста здесь 5-й вечер, потом — по Волге. Потом — Сибирь. Потом — весна! Новые цветы, новые травы, новые чувства. Новые поэзы. Жить, бесконечно жить!

Люблю мою Лиду, хочу видеть, целовать, смеяться весенним смехом! Шумно живу здесь все время теперь. Столько людей, столько интересно!

Твой Игорь

P. S. Кто такая Ртищева? Что она хотела мне сказать? Ты знаешь, — ты говоришь? Скажи же. А «Кальвиль» я хотел дать Балиеву: он просит миниатюру.

14

10 февраля 1915 г.

10 февраля 1915 г.

Дорогая Лида!

Прими, пожал<уйста>, цензур<ный> экземпл<яр> моих книг, когда их тебе пришлет Облонская, и отдай, когда спросит Рассохина. Конечно, отдай уже не Облонской, а Рассохиной. Спешу в Харьков. Пришли, если вышло, 7 изд<ание> <Громокипящего> кубка, будь мила.

Твой И. Лотарев

А. И. ТИНЯКОВУ

1

23 апреля 1913 г.

Дорогой Александр Иванович!

С удовольствием исполняю Вашу просьбу, получив из издательства экземпляры: только что вернулся из турнэ, имея при себе всего один экз<емпляр>.

Сердечно Ваш

И. Лотарев

23 апреля 1913 г.

2

15 января 1915 г.

Светлый Александр Иванович!

Не придете ли в пятницу, часам к восьми-десяти? — почитаем стихи. Будут Алексей Масаинов, Виноградов и друг<ие>.

Ваш И. Лотарев

Среда

3

21 февраля 1915 г.

Милый Александр Иванович!

Мож<ет> б<ыть>, Вы будете любезны выступить и завтра в моем вечере там же и по той же программе?

Завтра, т. е. 22-го, я был бы очень Вам за это признателен, конечно. В таком случае жду Вас к себе до семи веч<ера>. Или же прямо туда. Только сегодня вернулся.

Ваш И. Лотарев

Т. Л. ЩЕПКИНОЙ-КУПЕРНИК

1913 г.

Светлая Татиана Львовна!

Ради Бога, извините меня, что не сразу же ответил на Ваше милое и любезное письмо: последние дни положительно минуты свободной не имел. Книжку я Вам выслал и буду очень рад иметь Вашу. Если это Вас не затруднит, пожалуйста. С большим и искренним удовольствием я, пользуясь Вашим любезным разрешением, навещу Вас в одно из ближайших воскресений.

Сердечно Вас приветствующий

И. Лотарев

Т. Г. КРАСНОПОЛЬСКОЙ-ШЕНФЕЛЬД

До 9-го февраля 1914 г.

Светлая Татиана Генриховна!

К сожал<ению>, не мог прислать фотогр<афии>, т. к. у меня нет ничего подходящего.

Вечер мой назначен на 9 февр<аля>. Я буду рад, если Вы на нем будете: распоряж<ение> мною уже сделано, и билет, с Ваш<его> разр<ешения>, Вам пришлет устроитель.

Всегда радый Вам

И. Лотарев

М. Б. ЧУКОВСКОЙ

лето 1915 г.

Светлая Мария Борисовна!

Я и В. В. Маяковский весьма извиняемся, что, выезжая из Пет<ербурга> с поездом в 1-45 д<ня>, не сможем заехать за Вами лично. И вот — мы просим Вас, будьте такая хорошая, придите на станцию к нашему поезду: мож<ет> б<ыть>, вместе поедем?

С приветом искренним

Игорь-Северянин
В. Маяковский

И я прошу — В. Пуни.

В. В. ПАШУКАНИСУ

1

23 декабря 1915 г.

Многоув<ажаемый> Вик<ентий> Вик<ентьевич>!

Сегодня посылаю корректуру «Анан<асов>» и 50 портретов. Не забудьте приложить перечень всех книг во всех изданиях. Относит<ельно> выхода в свет изд<аний> «Наш<их> дн<ей>» справку навести лучше всего у Городецкого. Набрать теперь думаем «Vict<oria> Reg<ia>» (3 изд). Пришлите, б<удьте> д<обры>, рожд<ественские> №№ «Утро России» и «День». При 2-м изд<ании> «Крит<ики>» корректуру прочту сам. Вскоре увидимся.

Ваш И. Лотарев

2

<1915>

Опечатки

Стр. 17. — «какія»; надо «какіе».
Стр. 34. — «мы»; надо — «вы».
Стр. 77. — «томительной»; надо — «томительней».
Стр. 85. — «а льдись»; надо — «зальдись».
Стр. 121. — «ледяное»; надо — «льдя́ное».
Стр. 123. — «сердце»; надо — «сердцѣ».
Стр. 125. — «смычка»; надо — «смычок».
Стр. 130. — «вдохновья»; надо — «вдохновенья».
Стр. 136. — «лирика»; надо — «лириза» (!!!)
Стр. 139. — «фантазер»; надо «Фантазэр» (Божество!).
Стр. 156. — «полдневный»; надо — «по́лдневый».
Стр. 157. — «лазурь»; надо — «лазорь».
Стр. 172. — «заменил»; надо — «заменял».
Стр. 183. — «волшебныя»; надо — «волшебные».
Стр. 186. — «двумысленная»; надо — «двусмысленная».
Стр. 190. — «бежи»; надо — «божи» (божи́ть!)

Это я пока нашел, не говоря уже о знаках препинания! И потом: на стр. 185 дата: «Петроград, 1909. Октябрь».

Это в *1909*-то году?!! Следует: «Петербург».

Стиль весь нарушен такою чушью. Поменьше мудрствовали бы эти г-да типографы.

3

16 августа 1916 г.

Многоув<ажаемый> Викентий Викентьевич!

Деньги (одесские) получил, – благодарю. Когда будете посылать 250 р<ублей>, не забудьте написать: «торговля Савельева, Феклистову», иначе много хлопот. Жду письма. Пробудем здесь до 1-го окт<ября>, а если не найдем квартиры, и всю зиму: дом в 12 комнат, дрова 6 рубл<ей> сажень. Это, знаете, надо еще поискать в наше время!

Привет. Им<ение> «Бельск».

И. Лотарев

4

25 августа 1917 г.

25 августа 1917 г.

Многоуважаемый Викентий Викентьевич!

Обстоятельства складываются скверно, и 1-го сентября я вынужден оставить гатчинскую квартиру, перевезя все вещи на хранение на дачу, где имею надежных, более 10 лет знакомых, крестьян. Около этого же числа надо выкупить все ценные вещи и быть готовым к отъезду. Поэтому, пожалуйста, переведите 500 р<ублей> на Гатчину, Кирочная, 7, кв. 3. Если до 1-го и не успеете, мы все равно будем заходить к дворнику на старую квартиру и деньги, следовательно, получим.

Всего хорошего

Ваш И. Лотарев

А. Д. БАРАНОВОЙ

1

8 ноября 1916 г.

8. XI. 916

М<ария> В<асильевна> и я приветствуем Августу Дмитр<иевну>, Веру Георг<иевну>, Марию Асаф<овну> и Вас, милый Асаф Асафович, — всех Вас, светло любящих искусство! Ваш Георгиевский пер<еулок> напоминает мне мою Гатчину, и я с отрадою вспоминаю его и гостеприимный особняк, так элегантно заброшенный в Москве и вне ее...

Ваш И. Лотарев

2

23 апреля 1920 г.

Мария Васильевна и я шлем Вам и Асафу Асафовичу наши воспоминания, искренние приветы и просим поскорее откликнуться, так как не знаем — живете ли Вы теперь в Москве. Когда получим от Вас известия, напишем подробнее. Адрес: Эстония, Eesti, Toila — postkontor, Jgor Severjäänin'ile.

Как поживает милый Макар Дмитриевич? Передайте ему сердечный поцелуй.

Итак, в ожидании Ваших строк

Игорь

Toila, 23. IV. 20 г.

3

21 февраля 1921 г.

Я ничего не могу написать Вам теперь, кроме одного: когда приедете в Ревель, дайте знать: немедленно приедем к Вам и тогда лично выразим все наше горе, нашу тоску, нашу боль за Вас, светлая-светлая!

Благоговейно склоненный перед Вашей Великой Любовью, смерть побеждающей,

Игорь

Toila, 21 февр. 1921 г.

4

5 июня 1921 г.

Toila. 5 июня 1921

Светлая Августа Дмитриевна!

Все Ваши письма (их всего 4) получены мною. Не отвечал же я потому, что с 11-го марта по 29 апр<еля> мы с М<арией> В<асильевной> уезжали из Эстии — сначала были в Риге, а из Латвии проехали в Литву, где дали вечера в Ковно и Шавляве. В Ковно прожили 27 дней. Всего же за это время дали 3 вечера (1 в Риге). В январе мы уже один раз побывали в Риге, где было тогда дано 2 концерта. Весь май прошел в поездках по Эстии — по докторам, т. к. здоровье М<арии> В<асильевны> весьма расшатано за последние годы. Она и всегда-то была малокровна и слаба, перенесенные же за это трехлетье невзгоды сильно отразились на ней. Теперь мы на днях вернулись из Дерпта (я дал там попутно концерт), и вот я, извиняясь перед Вами, дорогая и хорошая, за вынужденное долгое молчание, с особым удовольствием пишу Вам. Нас очень обрадовало известие, что Вы приедете в Тойлу — в нашу очаровательную, прелестную, пленительную! Да, обязательно приезжайте и дождитесь нас там: я подписал условие с ковенским импресарио на Берлин, и на этих днях мы туда уезжаем. Дней через 8—12, вероятно. Пробудем в Германии неделю-другую. Возможно, побываем и в Париже. Вернемся во всяком случае не позже 1—7 июля. Поэтому очень просим Вас: обязательно нас дождитесь в Тойле. Когда Вы будете в Нарве, дайте моей маме (Наталии Степановне Лотаревой, Toila, Severjaanin) телеграмму, и она вышлет на станцию (7 в<ерст>) кабриолет и пони. Кучер — Николай Николаевич Фридрихсен, бывш<ий> уп-

равл<яющий> имения под Сиверской. Приятно, правда, проехаться в Берлин и Париж, но летом, когда здесь так чудесно, обидно уезжать отсюда. С большим удовольствием бы поехал осенью. Но условие уже заключено, теперь поздно переделывать его. Целые дни мы проводим в природе. Ходим за 3–5 верст в леса. Я постоянно ловлю форелей. Это такое громадное удовольствие – рыбная ловля. Пишу много: за 3 $^1/_2$ года написал четыре тома. Посылаю Вам одну из трех вновь выпущенных в Эстии книг. Издание эстонского изд<ательст>ва «Odamees» в Юрьеве. Две другие передам лично, т. к. в настоящее время их у меня нет. Т. XII («Менестрель») печатается в Берлине у Закса. Вскоре выходит.

Итак, ожидаем Вас к себе непременно. Очень и очень хотим Вас, как всегда, видеть. Телеграфируйте из Стокгольма, когда выезжаете. Возможно, что еще застанете нас здесь до отъезда нашего. Отвечу телеграфно, когда выяснится день отъезда. Целую Ваши ручки. Марии Асаф<овне> и Вере Асаф<овне> прошу передать наш сердечный вспомин. М<ария> В<асильевна> обнимает Вас крепко. Пишите. Асаф Асафович постоянно с нами, мы всегда говорим о нем как о живом.

Сердечно Ваш Игорь

5

5 июля 1921 г.

Мы очень удивлены, дорогая Августа Дмитриевна, что до сих пор не получаем от Вас телеграммы, в которой Вы сообщили бы нам о дне Вашего в Эстию приезда. Получили ли Вы мое заказное письмо и «Вервэну»? Поездка в Берлин отложена до поздней осени, поэтому мы проведем все лето в Тойле и будем Вам сердцем рады. Приезжайте немедленно: здесь очень красиво, благостно и интимно.

У меня к Вам большая просьба: в Стокгольме – «Северные огни» Ляцкого. Это издательство, кажется, поставлено на хорошую ногу. Я прилагаю к этому письму библиографию, которую было бы желательно показать заправилам. Хотелось бы знать – сколько и какие именно книги пожелает Ляцкий приобрести и на каких условиях. Особо дорожиться не приходится, т. к. весьма и весьма стеснен в средствах. Аванс в какую-нибудь тысячу шведских крон меня бы весьма устроил. Непосредственно же к нему обращаться считаю не очень удобным: в этом несколько дурной тон.

Если эта просьба Вас не затруднит, Вы меня исполнением ее много обяжете.

Пишите, не забывайте нас, приезжайте. Целую Ваши ручки. Привет Марии и Вере Асаф<овнам>, М<ария> В<асильевна> Вас крепко целует, Ваших приветствует. Здоровье ее меня более чем тревожит.

Сердечно Ваш Игорь

Toila, 5. VII. 1921

6

13 октября 1921 г.

Тойла, 13 окт. 1921 г.

Светлая Августа Дмитриевна!

Все письма Ваши, — милые, сердечные, интересные, — я получил. Я не отвечал Вам своевременно, — я переживал тяжелое. Теперь мы расстались, на днях я уезжаю в Берлин, оттуда в Париж и южнее. Неделя назад, как я вернулся из Ревеля, где провел полтора месяца. Я гастролировал там в «Mon repos» (5 гастролей) и один раз выступил в «Драма-театре».

Со мной в Берлин едет эстийская поэтесса Фелисса Крут, моя невеста. Она — девятнадцатилетняя очаровалка. М<ария> В<асильевна>, за семь лет не пожелавшая меня понять и ко мне приблизиться, снова одинока. Я жалею ее, но виноватым себя не чувствую. Вы знаете сами, что давно уже все шло к этому. Жить с поэтом — подвиг, на который не все способны. Поэт, пожертвовавший семью годами свободы своей во имя Любви и ее не обретший, прав прекратить в конце концов принесение этой жертвы, тем более что никому она и не нужна, ибо при «нужности» была бы признательность и более бережное отношение. Я благодарен Балькис за все ее положительные качества, но одно уже отрицательное — *осуждение поэта* — изничтожило все хорошее.

Да, я пережил честно боль, — я имею право на успокоительную отраду. Возможны новые разочарования, — я очарован сегодняшним, и что мне до завтра!

С искренним к Вам влечением Игорь

7

29 декабря 1921 г.

Toila, 29. XII. 1921 г.

Светлая Августа Дмитриевна!

Вчера я получил Ваше письмо — № 11. Мне до сих пор не удалось выехать за границу. С 13.Х, когда я последний раз писал Вам, произо-

шли события: 13 ноября я потерял мать. Она скончалась в полной памяти, уснула тихо. Лежала 12 дней, не болела вовсе, только ничего не ела.

20.XI я выехал в Ревель, где пробыл 6 дней. Оттуда – в Юрьев. Дал 14.XII концерт. В Тойлу вернулся только 24.XII. 21.XII женился в Юрьеве на молодой, – ей всего 19 лет, – эстийской поэтессе. Теперь живу в Тойле у нее в доме. В Эстонии полная для меня безработица. 2.I конц<ерт> в Нарве, оттуда еду в Гельсингфорс, после – на Запад.

В настоящее время занят переводами эст<онских> модернистов.

Всегда пишите на Тойлу. Это адрес постоянный. Я буду писать отовсюду.

Письмам Вашим всегда душевно рад.

Целую Ваши ручки.

Ваш Игорь

8

12 июня 1922 г.

Eesti, Toila, 12 июня 1922 г.

Я был душевно обрадован, дорогая Августа Дмитриевна, получив Ваше письмо от 4.VI. Открытка Ваша, о которой Вы теперь сообщаете, затерялась. Она служила ответом на мое письмо от 22.II. Не получая с тех пор от Вас известий, я очень беспокоился, не зная, чему приписать Ваше молчание – тому ли, что Вы больны, тому ли, что Вы куда-нибудь уехали. Но то, что Вы живы и здоровы и так блистательно двигаетесь по службе, меня очень, повторяю, обрадовало, и я с удовольствием пишу Вам немедленно, т. е. 10.VI, в день получения Вашего письма. Однако пойдет это письмо только в понедельник, оттого я и поставил дату дня отправления: по воскресеньям у нас за почтой не ездят. Я только что вернулся с женой с рыбной ловли, и мне подали Ваше письмо. Целые дни провожу на реке. Это уже со 2-го мая. 5-й сезон всю весну, лето и осень неизменно ужу рыбу! Это такое ни с чем не сравнимое наслаждение! Природа, тишина, благость, стихи, форели! Город для меня не существует вовсе. Только крайняя необходимость вынуждает иногда меня его посещать. С 10 янв<аря> я в городе не был. Это очень благотворно на меня повлияло в смысле продуктивности творчества, и в результате – много новых рукописей. За это время прибавилось 4 книги: т. XV («Утесы Eesti» – антология эстийской лирики за 100 лет), т. XIV («Предцветенье» – книга стихов Марии Ундэр, коро-

лева эст<ийских> поэтесс), т. XVII («Падучая стремнина» — роман в 2-х частях белыми стихами) и т. XVIII («Литавры солнца» — стихи* <...> не имею всех этих книг, чтобы выслать их Вам, мой дорогой старый-молодой друг. Вы так всегда интересно интересовались моим творчеством, что послать Вам книги свои было бы для меня громадным удовольствием, уверяю Вас. Увы, я имею их только по экземпляру. Но я сообщу Вам адреса. Возможно, Вы их получите от издат<елей>. Адрес Кирхнера: Berlin, W 35, Genthiner Strasse 19, Otto Kirchner Co., G.m.b.H. Verlags-Buchhandlung. Книги стоят по 40 герм<анских> м<арок>, в перепл<ете> 55. Адрес Закса: Berlin SW 48, Wilhelmstrasse 20, Russische Buchhandlung Heinrich Sacks. Думаю, у него найдется и «Amores», изданный в Москве. Итак, я сижу в глуши, совершенно отрешась от «культурных» соблазнов, среди природы и любви. Знакомств абсолютно никаких, кроме племянника в<ице>адм<ирала> Эссена — Александра Карловича, инженера-техн<ика>, служащего в 18-и верстах от Тойлы в Järve архитектором на заводе. Он приезжает к нам почти еженедельно. Большой мой поклонник, тончайший эстет. Переписываюсь только с Мадлэн, Златой, Башкировым, Северянкой и братом Эссена, живущ<им> теперь в Америке. Вот и все знакомые. С местными — шапочное знакомство. Да еще в Dorpat'е есть чуткая изящная душа — Борис Васил<ьевич> Правдин, прив<ат>-доц<ент> Юрьевск<ого> универс<итета>, поэт, чудный человек. Он собирается в июле на мес<яц> ко мне. Только что потерял жену-француженку. Олег, его 5-летний сын, сказочной красоты ребенок. Я постараюсь доставить Вам его карточку. Я произвел Эссена, Башкирова и Правдина в принцы — Лилии, Сирени и Нарциссов. Они заслужили это — они слишком любят искусство. Мария Вас<ильевна> служит в Ревеле в кабарэ — поет цыг<анские> песни, хорошо зарабатывает. Мы не виделись с нею с ноября. Жена моя — хорошая, добрая, изящная. Боготворит меня и мое творчество, сама пишет стихи по-эст<ийски> и по-русски. Я посылаю Вам одно из ее русских стихотв<орений>. Мне с нею очень легко и уютно. Беспокоит меня только ее здоровье: на днях она готовится стать матерью и чувствует себя очень слабой. Ей 20-й год, и, м<ожет> б<ыть>, это облегчит трудность ее положения. Что касается Вашей службы, я и радуюсь, и беспокоюсь за Вас одновременно. Конечно, Ваши успехи изумительны, цены высоки, но Вы совсем, совсем не бережете себя, мой далекий-близкий единомышленник* <...> Так Вы полагаете, что Миррэлия — на *Готланде*? Не слишком ли это определенно для призрачного?.. О, дорогая и любимая, светло и дружески скажу словами

* Далее часть письма отрезана.

св. Мирры: «Все то, что выше жизни, зовется сном...» Нежно и почтительно целую руки Ваши женственно-мужественные.

Душою Ваш неизменно Игорь

P. S. Я пришлю Вам «Поэзу о Иоланте» в ближайшем времени, так как «Тоста» в настоящее время нет у меня в доме. Фелисса шлет Вам искренний привет.

Я хочу, чтобы Вы писали мне часто и много. С особенным удовольствием буду отвечать Вам: теперь я совершенно оправился от той жуткой нервозности, которая терзала меня жестоко в *иных* условиях, благодаря обществу иных людей. Моя жена действует на меня благотворно: я абсолютно свободен, она совсем не ревнива, современна, чуткa, развита и талантлива. Все вместе взятое дает мне возможность петь, творить, поддерживать переписку с друзьями. Всего хорошего Вам. Пишите, пожалуйста. В сент<ябре> мы едем в Германию.

Иг.

9

23 октября 1922 г.

Берлин, 23 окт. 1922 г.

Светлая Августа Дмитриевна!

4-го октября я покинул Эстию, а с 6-го нахожусь в Берлине. Мои концерты состоятся в первых числах ноября. Затем я еду, по всей вероятности, в Прагу и Белград, хотя один импресарио зовет в Копенгаген, Стокгольм и Христианию. Но это еще не наверняка — он не уверен в сборах в Скандинавии. Мне безумно хотелось бы повидаться с Вами, мой друг: м<ожет> б<ыть>, Вы приедете в Берлин, если мне не удастся к Вам? Перед отъездом из Toila я получил Ваше письмо из Германии и пожалел, что опоздал своим приездом. Я рад за Вас, что Вы отдохнули хорошо: Вы заслужили — о, более чем заслужили! — этот отдых. Берлин меня утомляет, после глуши моей эстийской мне немного здесь трудно.

Мой верный рыцарь — Принц Сирени — поэт Борис Никол<аевич> Башкиров-Верин — 8-го приехал из Ettal (около Мюнхена), — где он живет с композ<итором> С. Прокофьевым, — чтобы повидаться со мной. Он пробыл в Берлине 8 дней, и мы провели с ним время экстазно: стихи лились, как вино, и вино — как стихи. Я встретил здесь много знакомых: Минского, Зин<аиду> Венгерову, худ<ожника> Пуни, Василевского (Небукву), Маяковского, Виснапу и др. Раз пять был у Гзовской, с которой у нас установились с прошлого года сердечные и дру-

жеские отношения. Она по-прежнему очаровательна целиком — эта лазурная художница! Устроились мы здесь, в смысле кварт<иры>, превосходно: у нас большая, светлая комната в семействе, все удобства, даже уют, если хотите. Моя Злата приготовила мне ее заранее. Это тем более мило с ее стороны, что теперь здесь острый квартирный кризис. Нам с женою было очень грустно и досадно, что мы, не зная возможности заочного крещения, не обратились к Вам с нежной просьбой быть крестной матерью нашего Вакха. Он, конечно, остался дома с бабушкой.

Мы просим Вас принять наши искренние приветы и лучшие мысли, к Вам направленные. Пишите по следующему адресу: Deutschland, Berlin N, Wolgaster Strasse, 6. Frau Eugenie Mennecke für Igor-Severjanin.

Целую Ваши ручки.
Душевно Ваш Игорь

P. S. Мой сердечный поцелуй дорогому Макару Дмитри<е>вичу.

Иг.

10

3 декабря 1922 г.

Berlin, 3.XII

Дорогая Августа Дмитриевна,

прежде всего от всей души благодарю Вас за Вашу фотогр<афическую> карточку: мне так приятно было увидеть вновь Ваши черты, черты человека, душевно любящего искусство. Вы изменились, да! Переживания Ваши глубокие отпечатлели свой след на Вашем родном для меня лице. Но они же дали ему какое-то особое изящество, особую утонченность. Я благодарю Вас за Ваш подарок, я тронут им.

21-го ноября я дал в зале Филарм<онии> свой концерт. Единственный. Зал был переполнен. Овации напоминали мне Москву. Я доволен. Предлагают повторение вечера, но, к сожал<ению>, я вынужден отклонить: герм<анская> марка падает стремглавно, жизнь здесь дорожает неимоверно, и мы, пока у нас еще есть деньги на дорогу, спешим уехать домой. Неименье денежн<ых> и энергичных импресарио побуждает меня к этому — грустному для меня — шагу: я мечтал побывать везде, я мог буквально разбогатеть, т. к. имя мое до сих пор для публики магнитно, что мне показали Рига, Ковно, Берлин. Мой же импр<есарио> безденежен, беспаспортен, вял. Вернувшись домой, я буду давать вечера в городах Эстии и этим существовать, т. к. книги свои я продал «Накануне» за 900 т<ысяч> герм<анских> мар<ок>, деньги за 2 месяца

прожил и купил необходимые вещи. К сожал<ению>, я не мог перевести в Эстию ничего, т. к. герм<анская> марка ниже эстонской в 25 раз!..

В результате не знаю, что делать, ибо за время моего в Эстии пребыванья у меня накопилось долгов на 80 т<ысяч> эст<онских> мар<ок> — все это по мелочам и все бедным труженникам-крестьянам. Госиздат дает мне за книги 250 крон, 250 крон любезно одолжила одна моя хорошая знакомая. Не хватает для полной ликвидации долгов 500 крон. Если бы Вы, дорогая Августа Дмитриевна, выручили меня, я с такой нежной благодарностью приветствовал бы Вашу сердечность! Мне легче быть должным Вам, человеку близкому мне по духу и способному понять меня, чем людям, пусть добрым, но далеким, чужим.

Я не могу указать Вам точно срока, когда смогу вернуть Вам просимую сумму, но я еще не так стар, не так забыт обществом и полон сил и юношеской энергии: заработать их, чтобы возвращать, хоть по частям, надежды не теряю. Т. к. мы с женою будем теперь в постоянных по Эстии разъездах, т. к. Toila наша — глухой и отдаленный уголок, самое лучшее — если Вы будете направлять корресп<онденцию> на моего доброго друга — Марг<ариту> Карл<овну> Кайгородову для передачи мне (Ревель, Эстония. Морской бульвар, 17. Дом и кв. Роттерман). Я буду держать ее в курсе своих скитаний, и она немедленно переправит мне Ваши письма. Всего хорошего, доброго и солнечного желаю я Вам от души. Фелисса ко мне присоединяется, сердечно приветствуя Вас.

Душевно Ваш Игорь

P. S. Если Вас затруднит выслать 500, вышлите хотя бы 250, — и за это я буду Вам очень признателен: ведь это 20 т<ысяч> эст<онских> <марок> — $^1/_4$ долга, так безумно терзающего меня, накопившего пятью годами жизни в Эстии семью в 8 человек. Теперь нас двое, и долгов мы не делаем вовсе.

Самое лучшее — выслать чеком в заказн<ом> письме непосредственно на Кайгородову без передачи мне: она получит и разменяет, и разошлет всем кредиторам. Список (кому сколько) у нее имеется. Одновременно пишу ей. Она поэтесса, замужем за сыном известн<ого> проф. Кайг<ородова>. Чудный человек. Душа, исполн<енная> мистики.

11

10 января 1923 г.

10 янв. 1923 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Маргарита Карловна переслала мне Ваше письмо, за которое я не нахожу слов благодарить Вас. Спасибо Вам сердечное, русское наше, за

обещание доброе выслать просимое. Получив от Вас сто крон в январе и столько же в феврале, я расплачусь незамедлительно с большей частью мучающих меня долгов и, хотя Вы и не обязываете меня, в силу своих взглядов отдачей, почту за счастье вернуть, когда сумею. Своим присылом Вы дадите мне хорошее настроение, а следовательно, и новые стихи, т.к. я могу работать только в светлом и спокойном настроении.

Мы с женой приехали в Эстонию только 24-го утром на пароходе «Шасса». До сих пор устроить ни одного здесь вечера не мог, т.к., во-первых, все время отдыхал от мерзостного Берлина, а, во-вторых, не так-то легко найти и здесь устроителей. На днях мне обещали устроить в Ревеле вечер, веду переговоры с Юрьевом и Валком. Как только растает снег, мы с женой уедем на ст<анцию> Sonda, в 36-ти верстах от Тойлы, где наймем маленькую хижину на берегу очаровательного озера Uljaste (Ульястэ). Мы проведем там все лето, ловя рыбу и занимаясь поэзией. Там всего четыре избушки, от станции 3 версты по лесной тропинке. Озеро 12 верст в окружности. Высокие лесистые берега. Ни души. Масса грибов, ягод, рыбы. Продукты очень дешевы и свежи. Но для этого я должен теперь много работать, чтобы скопить к лету необходимую для проведения его сумму в 15 т<ысяч> эст<онских> м<арок>. Повторяю, я работы не страшусь, но, к сожал<ению>, ее нет почти из-за отсутствия настоящего импресарио. Часто с отрадою вспоминаю Долидзе: вот это был энергичный человек! Осенью мы поедем в Россию.

Вы нас очень обрадовали, дорогая и милая Августа Дмитриевна, своим обещанием приехать к нам в Тойлу на Пасху. Ждем Вас с искренним и восторженным нетерпением. Напишите, когда выедете, я приеду в Ревель Вас встретить. В настоящее время я готовлю к печати новый сборник — «Литавры солнца». Вскоре пришлю Вам только что вышедший в свет альманах «Via Sacra», где помещены три мои пьесы. Альманах издан в Юрьеве изд<ательст>вом Бергмана. Я был так рад, так доволен получить от хорошего Макария Дмитриевича такое чудное письмо. Передайте же ему мои самые сердечные воспоминания. Завтра я пошлю ему на Москву большое письмо.

Жена моя просит передать Вам ее признательный привет и благодарность за Вашу отзывчивость. Маленького Асафа мы целуем. Примите от меня маленький дар — стихи, возникшие сегодня внезапно в моей душе и немедля запечатленные мною для Вас и Вашего сына.

Душевно Ваш

Игорь

P. S. Что касается перевода на Кайгородову, лучше всего чеком на Eesti Bank, но я, право, плохо осведомлен — кронами или марками это

возможно. Думаю, что выдадут марками, по примеру других стран. Из Германии, напр<имер>, выдавали осенью эст<онскими> марками.

Иг.

Продолжайте писать пока, пожалуйста, на Кайгородову.

Иг.

12

7 февраля 1923 г.

Toila, 7 февраля 1923 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

вчера из Ревеля перевела мне Маргарита Карловна деньги, полученные ею от Вас, и я целую Ваши ручки: благодарность Вам сердечная еще раз. Вы меня выручили из трудности, — благодаря этому присылу сумма моего долга сократилась на 9.000 эст<онских> мар<ок>, и это радует меня, как ребенка: Вы даже представить не можете, как тяжело, противно должать, а тем более людям, стоящим по положению и развитию с Вам<и> не в уровень...

Живу по-прежнему в доме матери моей жены, живу на всем готовом, пользуясь большим вниманием и заботливостью. За месяц она берет с меня за все — дрова, стирка, комната, великолепный, простой, но питательный стол —всего 3.000 эст<онских> мар<ок>, — как видите очень дешево. В таких дивных условиях я могу в той-же степени и работать, что я и делаю с наслаждением. Так, напр<имер>, в январе я написал книгу стихов в 140 стран<иц> и новый роман в стихах в 85 стран<иц>. К сожалению, я не в состоянии, не имея постоянного заработка, платить ежемесячно даже такую мизерную сумму, и поэтому задолжал ей около 20.000. Вчера, когда я получил от Вас деньги, я отдал ей 6.000. И этот долг — самый главный, т. к., не уплачивая ей, я, вообще, не могу никак существовать, ибо она — бедная труженица, ничего, кроме двух дач, — из которых одну сдает по 300 м<арок> в м<есяц>, а в другой мы сами живем, — не имеющая. Лично у нее никаких заработков нет, т. к. все свободное время она отдает нашему Вакху, вполне заменяя ему родную мать. Ему пошел уже седьмой месяц, и это — здоровый, полный, веселый, яркощекий ребенок. Сидит уже, не сгибаясь, все что-то щебечет, смеется постоянно. Итак, я задолжал ей большую сумму, и она, в свою очередь, чтобы содержать нас, задолжала односельчанам. Как видите, получился некий круговорот, из которого почти нет выхода... И это положительно убивает меня. Все, что

зарабатываю, идет на погашение долга, и ничего на жизнь не остается. Мы буквально ничего лишнего себе не позволяем, я не пью абсолютно ни капли вина (ни дома, ни в гостях), и все же выбраться из затруднения немыслимо. Необходима помощь извне, чтобы погасить прошлое. Тогда нам будет легко и благостно, ибо мы – люди скромные, любящие природу, искусство и свободу. Никаких изысков, дорого стоящих и ничего, кроме разочарования не дающих, не нужно нам. И если бы Вы, Августа Дмитриевна, дорогой друг мой и моего творчества, прислали в феврале или марте еще столько же, Вы чрезвычайно облегчили бы мое положение, из которого пока нет выхода, т. к. концерты теперь никто устраивать не хочет, не имея денег и энергии.

Из присланных Вами денег я отдал еще 2.000 М. К. Кайгородовой, которая в настоящее время очень стеснена в деньгах. Этим износом я погасил свой ей долг целиком. Себе оставил только тысячу, с которой сегодня еду в Юрьев пробовать устроить там вечер. Вскоре я вернусь домой, поэтому письма свои направляйте, пожал<уйста>, на Toila. И если вздумаете прислать деньги, прямо чеком на мое имя. Дорогая Августа Дмитриевна, как больно мне писать Вам все это – такая удручающая прозность, не остается места ни для чего отвлеченного. Вот если Вы приедете к нам на Пасху, тогда наговоримся и начитаемся вдоволь! И вовсе не будем говорить о противных, ненавистных деньгах. Мы с Фелиссой предложим Вам пойти к морю, в парк, на нашу изумительную Флаговую гору, и там Вы услышите песни нашей Природы в моем исполнении. Вам понравится Toila –о, за это я ручаюсь!

Сегодня я высылаю Вам «Via Sacra». Жду вскоре Ваших писем. Жена, ее мать и Вакх – все Вас сердечно приветствуют. Я писал тогда же Макарию Дмитриевичу, но до сих пор ответа не имею, что меня несколько тревожит: получил ли он мое письмо.

Всего доброго Вам и солнечного, мой друг истинный.

Душевно Ваш

Игорь

13

13 февраля 1923 г.

Toila, 13.II.1923 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

в великолепный морозный солнечный день пишу вам грустные и мрачные новости. Как это досадно! Как хотелось бы сообщить что-нибудь бодрое, хорошее, но, увы!

Я съездил в Юрьев, оттуда в Ревель, — третьего дня вернулся в нашу любимую мною глушь, вернулся обескураженный людской черствостью и отчужденностью, вернулся со станции пешком, восемь верст неся чемодан с концертным костюмом и проч., изнемогая от усталости...

Никто и нигде не может теперь же устроить ни одного вечера — вот результат моих хлопот. Один не имеет средств для начала, другой не имеет времени, третий не имеет желания, четвертый... Одним словом — удачей моя поездка не сопровождалась.

Многие обещают, оттягивают, что-то мямлят. Но я так хорошо знаю цену этим обещаниям!... А жизнь не ждет. Что мне пришло в измученную нуждой голову, которая, при малейшей удаче, могла быть такой ясной и творческой в с е г д а: не сумели ли бы Вы поставить «Плимутрок» в Вашей библиотеке, приняв участие в этой комедии и раздав роли своим сослуживцам? Надо думать, что сбор дал бы несколько сот крон, а это так меня выручило бы из моего мрачного положения. Как был бы я рад, как счастлив хоть временно передохнуть от одолевающей меня безработицы, чтобы отдаться всецело творчеству и природе! Забыл Вам сказать в прошлом письме, что за последнее время от всех неприятностей и тревог у меня развивается болезнь сердца, и по ночам, в бессоннице, я испытываю едкие муки, трудно передаваемые словами. А как все могло бы быть славно, ведь я, в общем, здоров и бодр! Ведь я певец солнечной ориентации, я по-существу не нытик. Как, кстати, нравится Вам мой «Плимутрок»? Меня очень интересует Ваше мнение, ибо Вы — женщина чуткая, большая интуитка. В ближайшие дни, по совету одного доброго знакомого эстонца, занимающего в Ревеле крупный пост, я думаю приступить к переводу книги эстонского народного эпоса — «Калевипоэг». В ней — 18.000 стихов, так что работа эта явится капитальным, как видите, трудом, и на это потребуется не меньше шести-восьми месяцев. Тогда я получу очень крупную сумму, но до того времени... страшно и подумать! Да и вообще трудно работать, когда душа омрачена. А я так близко принимаю все к сердцу, да и как могло бы быть иначе: острые переживания дают острые произведения, не так ли?... Напишу Вам как-нибудь более в бодрых, весенних тонах, а пока целую Ваши ручки, от всего сердца приветствуя Вас, дорогая Августа Дмитриевна. Feliss просит сердечно кланяться Вам. Вот мой друг хороший и чуткий — моя жена! Как я глубоко ей за ее нежность и ободрения меня постоянные признателен, если бы Вы знали! Она воистину бережет меня, эта женщина-ребенок! Не дает унывать мне окончательно, спасибо ей. Только и есть у меня два друга истинных: Вы и она.

Напишите, Августа Дмитриевна, напишите мне что-нибудь бодрое, светлое, как Вы умеете, — и сколько новых стихов услышит мир!... Не

забывайте искренне к Вам расположенного, ценящего Вашу отзывчивость и ласку поэта, сильного в прошлом и — твердо верю в это! — и в будущем!

Душевно Ваш

Игорь

14

19 марта 1923 г.

Тойла, 19.III

Дорогая Августа Дмитриевна!

Ради Бога, что с Вами? 7.II и 13.II послал Вам 2 заказ<ных> письма, 7.II послал «Via Sacra», — и от Вас ни слова! Здоровы ли Вы? Не уехали-ли куда-нибудь? Беспокоюсь, откликнитесь. Положение мое без перемен к лучшему, наоборот: с тех пор не заработал ни марки. Положение осложняется: кредитор из купцов грозит судом. И долг-то небольшой: всего 16 т<ысяч> эст<онских> м<арок>! Но взять негде абсолютно. Здоровье расшатывается окончательно. Дни и ночи думаешь только об одном позоре — невозможности отдачи немедленной. И тут еще торопят. Есть от чего с ума сойти. И, несмотря на этот отчаянный ужас, все же усиленно работаю. Не удивительно ли? Но сбыта нет. Да, пока сбыта нет. Ребенок заболел глазами, жена от малокровья изнемогает, но помочь бессилен и ребенку, и жене. Не хочется даже говорить на эту тему: так скверно. Но пишите хоть что-нибудь: Ваше молчание так беспокоит меня. Я пугаюсь: не обидел ли я Вас чем-нибудь случайно? Быть может, расстроил Вас своими невзгодами? Тогда простите, — впредь не буду касаться этой темы. Писал же Вам на правах дружбы, откровенно. Просил, если можно, в долг. Имея 20 том<ов> тиражных книг, думал, что со временем возвращу с признательностью. Обращаться к чужим не умею. Вас же чужой не считаю. Книги мои — капитал, временно ничего не дающий. И есть — и нет. Целую Ваши ручки, жена Вас приветствует.

Ваш Игорь

15

4 апреля 1923 г.

Тойла, 4 апр.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Сейчас получил наконец-то Ваше письмо и спешу Вам на него ответить тотчас же. От всей души выражаю Вам горячую свою признательность

за добрые Ваши обещания помочь мне и прошу принять мои поздравления с Праздниками, а также выраженья соболезнованья по поводу Вашей болезни зуба. Воображаю, как это измучило Вас: знаю это по опыту, когда у меня бывали много лет назад зубные боли, доводившие меня до умоисступления. Очень заинтересовал<ся> переводом под вашей редакцией, с нетерпением буду ожидать выхода книги. За эти годы жизни моей в Эстии я перевел 3 книги с эстонского, не зная языка. Основывался только на ритме, рифмах и чутье; в прозе, дословно, переводила мне жена и сами авторы. Одна из этих книг — «Amores» Виснапу — уже издана в Москве, другая выйдет осенью в Юрьеве, проданная изд<ательст>ву Бергмана еще прошлой осенью, а третья лежит до сих пор в портфеле автора, как и два новые романа в стихах и книга стихотв<орений>. Я слышал, что Ляцкий опять теперь в Стокгольме, но адреса его не знаю, да и в переписку не вступлю: из этого вряд ли что-либо выйдет. Если он действительно в Швеции и если бы Вам удалось это узнать, я с удовольствием выслал бы Вам незамедлительно рукописи романов и стихов, начисто переписанные для набора и просил бы Вас не отказать в любезности дать Ляцкому их для прочтенья и, если возможно, для приобретенья. Но, не зная, там ли он, я затрудняюсь затруднять Вас рукописями. Во всяком случае, они у меня уже переписаны и ждут только случая ошрифтиться. С тех пор, как я писал вам (18.III), нового произошло в нашей жизни немного и обстоятельства ее не улучшились нисколько: все та же нужда вопиющая, ужасающая, тем более мрачная, что мать жены совсем измучилась с ведением хозяйства, не получая от меня никаких подкреплений. Сидим буквально на одном картофеле и хлебе с чаем (за последнее время), но и на это нет. Не ужас ли?..Так что Вы представить себе не можете, как мы теперь «живем». Мне стыдно сказать Вам, но приходится, вынуждают обстоятельства: даже 30 крон здесь уже месяц приличной жизни, и если бы я имел случай и возможность, — скажем откровеннее: если бы Вы жертвовали ежемесячно, только до осени, когда-то прославленному, ныне душимому нуждой русскому лирику по 30 крон, он благословлял бы Вас, был совершенно спокоен и мог бы продолжать творить неусыпно и все так же вдохновенно, как и раньше. Да, 30 крон — это теперь капитал для меня — моя жизнь! И не стесняйтесь пожалуйста, дорогая Августа Дмитриевна, небольшою величиною этой суммы: верьте, Вы, друг мой, меня этим не обидите, а спасаете. Повторяю: мне так немного нужно, чтобы быть радостным и молодым, чтобы быть поэтом в полном смысле этого понятья. И вот еще к Вам громадная настоятельная просьба, которая, думается, Вас не затруднит, а мне доставит истинное удовлетворение. Это: пиши-

те мне, заклинаю Вас, каждую субботу открытку хотя бы в несколько слов, но непременно каждую субботу. Не изумляйтесь моим причудам: мне это так хочется, мне необходимо это, меня очень успокоило бы, дало бы мне больше бодрости. Вы исполните эту мою просьбу? Правда? Ну, пожалуйста, я очень-очень хочу этого. Ах, Августа Дмитриевна, ведь я как ребенок! Неужели Вы не чувствуете, не видите этого? Так что же Вам, доброй и мудрой, стоит побаловать ребенка? Да и для Вас гораздо проще и легче писать открытки раз в неделю, чем большие письма. В этих открытках Вы сообщайте все случаи за неделю, Ваши настроенья, радости и горести. При такой системе наша дружба будет более одухотворена, в этой системе я чувствую что-то ж и в о е и ж и в я щ е е. А то 2 месяца молчанья это уж чересчур м о л ч а л и в о, н е ж и в о как-то, томительно и мертво. А для дружбы – пульс, б и е н ь е необходимы. А иногда буду ожидать от Вас и больших писем, когда у Вас будет время и желанье. Открытка же много времени не отнимает. Ведь, правда? Так вот, я пишу вам это письмо сегодня, в четверг, 4 апреля; Вы получите это письмо 10 апр<еля>. Если первую открытку Вы пошлете 15-го, в субботу, я буду ее иметь уже 20-го апреля. Не дожидаясь от меня на нее ответа, в следующую субботу бросьте в кружку вторую и т. д. Я же буду отвечать Вам на каждую. И будет все великолепно, и поэт будет рад, и весна солнечна!

Жена моя и я шлем Вам и маленькому Асафу наши искренние приветы и самые сердечные пожеланья всего доброго. Будьте благостны! Мы ожидали вас, не получая так долго писем, на Пасхе и думали, что вы готовите нам сюрприз, приехав внезапно. Вот было бы хорошо! Может быть, летом Вы соберетесь к нам? Подумайте об этом хорошенько. Но заранее простите за то, что не сумеем принять Вас, как следует, как душевно хотели бы. Но природы, вдохновенья и восторга было бы в изобилии, да и помещенье приготовили бы для Вас прекрасное и, конечно, гратис. С ребенком Вы провели бы лето здесь очень удачно: окрестности Тойлы славятся на всю страну. Позвольте мне поцеловать Ваши ручки, дорогая и исто-хорошая Августа Дмитриевна. Передайте Асафу мое спасибо за его строки и поцелуйте его.

Всегда ваш неизменно

Игорь

P. S. Простите за бумагу, чернила... Это так все ясно, к сожалению.

16

10 апреля 1923 г.

Тойла, 10 апр. 1923

Дорогая Августа Дмитриевна!

Вот опять пишу Вам, на этот раз более бодро. Дело в том, что мне удалось найти в нашей деревушке человека, после разговора с которым, он с радостью берется быть моим импресарио по всем городам Эстии. Это — учитель местной школы. Человек он интеллигентный, честный, и это самое в нем для меня нужное и ценное, чрезвычайно энергичный и рисковый. Получает он гроши и рад будет подработать на стороне, и, в случае успеха, поедет со мной осенью в Ригу, Ковно и далее. Но для начала устройства в Эстии концертов необходима сумма, как мы с ним высчитали точно (снятье зал, афиши, программы, билеты, залог за городск<ой> сбор [самое крупное], оркестр для танцев [без этого нельзя], буфет, вешалка) всего в 20 т<ысяч> эст<онских> мар<ок>, т. е. приблизительно 220 шведск<их> крон. И тогда я спасен! Каждый концерт дает лично мне, как я знаю по опыту, от 3 до 15 т<ысяч> эст<онских> мар<ок>, а городов в одной только Эстии 12: Ревель, Юрьев, Везенберг, Нарва, Вейсенштейн, Феллин, Пернов, Валк, Гапсаль, Гунгербург, Верро, Печёры. И везде русский язык знают и ходят охотно: и немцы, и эсты, и евреи. Так что «изобретение» мое — устраивать вечера самостоятельно — прямо-таки великолепно, не правда ли? Порадуйтесь вместе со мной, дорогая Августа Дмитриевна, и помогите мне осуществить мое намерение! Да и для вас я думаю гораздо удобнее выслать единовременно 220 крон, чем, как я просил в прошлом письме, по 30 ежем<есячно> — последнее для Вас, думается, было бы хлопотно слишком. И ручаюсь Вам, что, если мы начнем устройство, допустим 1-го мая, уже через месяц я буду иметь деньги, и не очень для меня малые.

А 1-го мая в школе прекращаются занятия, и мой педагог — в моем полном распоряжении. Вот было бы хорошо, если бы вы, моя добрая, могли к этому времени меня субсидировать указанной суммой. Только один раз, и мы поставим и разовьем дело. Публика любит меня везде по-прежнему, — это я заключаю по многим признакам, — так что до провала дело не дойдет, и, в крайнем случае, хоть немного да выручим, а не потеряем. А я буду и малому рад: много ли мне, соловью, нужно?! Итак, простите, что снова тревожу Вас, но это действительно идея прекрасная, и я не мог отказать себе в удовольствии тотчас же поделиться ею с Вами, с человеком так сердечно и глубоко ко мне относящимся. Жду в ближайшем же Вашем письме Вашего ответа и горю надеждой

неугасимой. Спасите и вдохновите, вернее, только поддержите мое кипение: я уже вдохновился и верю, пламно верю, что Вы, одобрив мой план, дадите мне возможность его осуществить – и чем скорее, тем лучше! Я беру ваши ручки и почтительно печатлею на них в поцелуях свой восторг, свою надежду! Feliss, зажженная моей весенней лучистостью, восторженно смотрит в ваши глаза и приветствует вас от всего своего сердца!

Душевно Ваш

Игорь

P. S. Надеюсь к осени или к зиме вернуть Вам эту сумму с горячей благодарностью.

Иг.

17

20 апреля 1923 г.

Тойла, 20.IV.1923

Дорогая Августа Дмитриевна!

Вы очень порадовали меня открыткой № 1, – она дала мне бодрость, и я вздохнул несколько облегченнее: спасибо Вам, мой друг.

Повторяю: поступите, как Вам удобнее – или ежемесячно, или сразу, как я писал в прошлом письме, для устройства антрепризы. Но если это Вас затруднит, пожалуйста, без стеснения, ежемесячно: как-нибудь обойдемся. Во всяком же случае я Вам душевно признателен и великий должник Ваш. Теперь позвольте переменить тему и надеюсь к финансовому вопросу впредь не возвращаться и не касаться его вовсе: уж очень не люблю я беседовать на эту тему без крайней надобности. Вы спасаете меня своим обещанием одолжить временно на мое с у щ е с т в о в а н и е, – и я благодарю Вас воистину. –

К сожал<ению>, большого письма, которое Вы хотели послать мне вечером 14.1V, до сих пор я еще не получил. Надеюсь в следующем письме дать на него ответ.

Странная весна в этом году: еженочно заморозки, дни стали тусклыми, мокрыми, постоянные туманы, море в плотном льду, река стоит. Вследствие всего этого я не могу открыть сезона своей любимой рыбной ловли. Приедете ли Вы с Асей к нам на лето? Вероятно, в письме Вашем, ежедневно мной ожидаемом, кроется Ваш взгляд на этот вопрос. Дача моей тещи, находящаяся рядом с нашей хибаркой, только что освобождена из-под постоянных жильцов, приведена в порядок.

4 комнаты внизу, кухня, веранда, 3 ком<наты> наверху. Чисто, уютно. Есть кровати с пружин<ным> матрацом, кресла, стулья, диван, вся посуда. Цена сходная – 6 т<ысяч> эст<онских> мар<ок> за все лето. Стол можно иметь у тещи. Если мне удастся ее снять (в случае Вашего приезда, конечно), весь низ в Вашем распоряжении. И само собою – бесплатно. Я же возьму дачу в кредит, осенью расплачусь. Если же обстоятельства воспрепятствуют Вам (что было бы для меня очень грустно!) приехать в Тойлу, мы с женой уедем на озеро Uljaste, о котором, помнится, я уже писал Вам, и будем жить там скромнее скромного, ловя рыбу и погрузясь в природу. Вы представить себе не можете, как хотелось бы мне повидаться с Вами и хотя бы месяц провести вместе в Тойле. Когда я буду иметь возможность, я вышлю Вам несколько видов нашей очаровательной местности.

Теперь, до открытия рыбного сезона, окончив цикл зимних литер<атурных> заданий, я массу книг перечитываю вместе с женой: тут и Тургенев, и Пьер Лоти, и Станюкович, и Бурже, и Смайльс, и Алексей К. Толстой, чья трилогия не знает времени. Книги достаем у одной онемеченной эстонки, большой любительницы музыки, литературы, цветов и воспоминаний жизни ее в княжеской семье в качестве экономки. Эта «Юлия Абрамовна» чрезвычайно типична. Женщина она уже пожилая, и, на свое несчастье, сломала прошлой весной ногу, так что принуждена сидеть на месте без движения, что ей, экспансивной натуре, дается с немалым трудом. Она очень добрая и симпатичная, мы искренно ее жалеем.

Пока позвольте поцеловать Ваши ручки и от всего сердца пожелать всего доброго. Жена сердечно ко мне присоединяется в моих пожеланиях.

Всегда Ваш

Игорь

18

28 апреля 1923 г.

Нарва, 28 апр. 1923 г.

Дорогая Августа Дмитриевна, получил «№ 2» и благодарю Вас. Пожалуйста, не беспокойтесь относительно «учреждения антрепризы»: мне совершенно достаточно и «первых» чисел. Приехал сюда на один день по делам. Грущу, что Ваше настроенье препятствует Вам написать побольше. Что с Вами, мой друг? У нас выпал снег, и все бело: поля, дорога, леса. Весна очень тусклая и мрачная. От Мак<ара> Дм<итриеви-

ча> давно не имею вестей, хотя и писал ему 11 апр<еля> большое письмо. Мечтаю, что Вы приедете на месяц-другой летом в Эстию. В Стокгольме ли Ляцкий? Пока — всего доброго желаем Вам мы оба. Целую Ваши ручки, шлю привет.

Всегда Ваш

Игорь

19

5 мая 1923 г.

5 мая 1923 г.
Тойла

<Дорогая> Августа Дмитриевна, почему-то «№ 3» запаздывает, — как Ваше здоровье? <...> я был на днях обрадован, получив от милого Макария Дмитр<иевича> письмо, где он сообщает о новых помпезных постановках в Большом театре «Лоэнгрина», «Риенци» и «Аиды»! Собинов, по его словам, все тот же кудесный. В ближайшие дни мы думаем выехать на озеро, как только будет для этого возможность. Сегодня ожидаю от Вас письма, хотя обыкновенно получаю по четвергам. Жена просит передать Вам ее искренний привет. Целую Ваши ручки.

Настали теплые дни, море обезольдилось. Я поймал уже две форели. Следоват<ельно>, можно считать рыболовный сезон открытым.

Всегда Ваш

Игорь

Только что получил «№ 3». Меня очень встревожило Ваше сообщение о бронхите. Если доктора посылают на юг, от сердца советую поехать: можно любить Швецию и вместе с тем себя. А к осени возвратитесь в Стокгольм. Поезжайте куда-нибудь в Давос или в окрестности: места испытанные. Жду «№ 4» с большим волнением, хочу знать, как Ваше здоровье, мой друг.

Иг.

20

12 мая 1923 г.

Суббота, 12 мая 1923 г.

Меня весьма тревожит Ваш бронхит, дорогая Августа Дмитриевна, не запускайте болезни, прошу Вас! Открытку, посланную вашей подру-

гой, получил, — она меня несколько успокоила. Жду теперь Вашей собственноручной, — из нее пойму, что вы уже встали с постели. Поскорее обрадуйте меня этим. У нас весна в полном разгаре, — и на душе — весение! Жена вас приветствует.

Ваш Игорь

21

19 мая 1923 г.

Суббота, 19 мая 1923 г.

Дорогая Августа Дмитриевна, весенние зовы в природу так сильны, что не могу дождаться дня, когда уедем из нашего «города»: я называю Тойлу городом оттого, что постоянно живу в ней и здесь много летом дачников. А хочется в безлюдную глушь. Когда приедем в «Uliaste», напишу Вам оттуда. А пока целую Ваши ручки, от сердца всего здоровья Вам желая. Жена шлет свой привет.

Ваш Игорь

Среда, 23 мая. Не успел выслать письмо из-за праздников: 3 дня не ходила почта. А сегодня получил чек, за кот<орый> душевно Вам признателен. Следов<ательно>, завтра уезжаем на озеро. О, если бы вы знали, как я рад уйти целиком в рыбную ловлю! Очень рад, что Вы уже поправились. Пишите на Тойлу, — перешлют.

22

26 мая 1923 г. № 8

Суббота, 26 мая 1923 г.

Дорогая Августа Дмитриевна, посылаю Вам один из видов Тойлы — водопады Aluoja. Большое спасибо за письмо. Я так рад, что туб-бацилл не найдено! Берегите себя, не переутомляйтесь. Вчера получил письмо от Мак<ара> Дм<итриевича>. Это мне было очень отрадно. Отчего вы приедете в Эстию только в октябре? Было бы очень хорошо, если бы летом. Так близко живем друг от друга и н и к о г д а не видимся, — не удивительно ли?

Жена просит персдать Вам ее живой привет. Целую Ваши ручки.

Ваш Игорь

23

1 июня 1923 г.

Озеро Ульястэ, 1 июня 1923 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

С дивного озера, на берегу которого расположен наш дом, я посылаю вам свой привет и еще раз выражаю свою глубочайшую Вам признательность, памятуя, что благодаря Вам ныне я пользуюсь всей этой благодатной красотою!

26 мая мы перебрались сюда. Нам посчастливилось найти здесь, в маленькой рыбачьей деревушке, у одного рыбака комнату в новом хорошем доме. Комната обширная, высокая, светлая, идеально чистая. Внутри — белые сосновые бревна, — что может быть гигиеничнее? На окнах неизменные олеандры, резиновые деревья, кактусы, которые, однако, здесь «дела не портят»... В нашем полном распоряжении — лодка, с которой мы и начали ловить рыбу, выезжая за 3—5 верст от берега. До сей поры поймали уже 36 окуней от 1/8 до 3/4 ф<унта> каждый. Надеемся на более крупных, когда в июле начнется дружный клев. Тогда же будут брать и лещи, достигающие, по словам сторожил, до 25 ф<унтов>! Водятся и щуки, и угри. Теперь остается только держаться бюджета, чтобы сводить ежемесячно концы с концами. Хотя это и прозаично, но приходится. Комната обходится в 500 марок в месяц, дрова 300, табак 300, так что остается 1500 на стол, т. е. 50 м<арок> в день. На эту сумму, хотя и страшно трудно, кое-как все же просуществовать можно. Цены здесь не дешевле повсестранных, т. е. вообще стоящих в Эстии. Для примера: 1 ф<унт> хлеба — 8 мар<ок>, 1 бут<ылка> молока — 10 мар<ок>, 1 ф<унт> сала — 50 м<арок>, 1 ф<унт> масла — 70 м<арок>, 1 ф<унт> сахара — 32 мар<ки>, десяток яиц — 40 м<арок> и т. д. Как видите, цены изрядные, но для иностранцев Эстия самая дешевая страна в мире.

Я так устал, мой друг, от вечной нужды, так страшно изнемог, так изверился в значении Искусства, что, верите ли, нет больше (по крайней мере теперь пока) ни малейшего желания что-либо написать вновь и даже ценить написанное. Люди так бесчеловечны, так людоедны, они такие животные, говоря с грустной — щемящей сердце — откровенностью. Так не нужны они мне, так несносны, не меньше, о не меньше, чем я — им! Не сумели ценить и беречь своего соловья, и приуныл, и пригорюнился соловушко, такой еще недавно детски радостный, бездумно-восторженный, а теперь умудренный печальной явью, совсем обезголосенный людской черствостью, практичностью, пошлостью.

О, если бы Вы и озеро исцелили меня, вернули прежнюю *беспричинную жизнерадостность*, единственно истинное на этой Земле!

Нежно целую Ваши ручки, моя Feliss шлет Вам самые искренние глаза, самые скорбные улыбки. Она, маленькая, уже подстрелена обывательским кощунством в отношении Поэта!

Всегда Ваш

Игорь

24

9 июня 1923 г.

9 июня 1923 г. Озеро «Uljaste»

Извилистая тропинка вокруг прозрачного озера приводит вас к янтарной бухте, на берегах которой так много морошки, клюквы и белых грибов. Мачтовые сосны оранжевеют при закате. Озеро зеркально, тишь невозмутима, безлюдье истое. Вы видите, как у самого берега бродят в прозрачной влаге окуни, осторожно опускаете леску без удилища в воду перед самым носом рыбы, и она доверчиво клюет, и вы вытягиваете ее, несколько озадаченную и смущенную. Лягушки, плавая, нежатся на спинках, смотря своими выкаченными глазами прямо на Вас, человека, не сознавая ужаса этой человечности, им чуждой: они так мало людей видят здесь. Стада диких гусей и уток проносятся над озером, разом падая на его влажную сталь. Все это озеро и его берега, и весь колорит природы напоминают мне в миниатюре Байкал. Я говорю как раз об этом в одной из своих новых поэз. И я очень жалею, дорогая Августа Дмитриевна, что мы с Фелиссой лишены радости, радоваться вместе с Вами созерцанием всей красоты этого лесного уголка Эстии!

Ваш Игорь

25

15 июня 1923 г.

15 июня 1923 г. «Uljaste»

Дорогая Августа Дмитриевна!

Завтра я получу от Вас три открытки. Почта придет через три недели после отъезда нашего из Тойлы: приедет сестра Фелиссы и привезет все, что накопилось за этот срок. Я блаженствую среди лесов и воды. Окуни клюют <....> Мы поймали их <...> Совсем не тянет <...> с грустью

думаю <...> придется оторвать <...> чтобы, начиная с Бельгии, вновь выискивать средства к жизни. Когда осенью вы приедете в Эстию, я обязательно покажу Вам это дивное озеро — этот маленький Байкал. Все более и более я прихожу к заключению, что единственно правильное и безошибочное абсолютно — избрать жизнь в природе и уйти в нее целиком. Все остальное — ложь, мишура, тщета. К будущей весне я заработаю столько денег, чтобы привести свой план в исполнение, тем более что для этого нужны гроши. Жена шлет Вам свой искренний привет. Целую Ваши ручки, жду с нетерпением писем.

Ваш Игорь

26

24 июня 1923 г.

Иванов день в Тойле 1923 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Основываясь на Вашем любезном обещании, высказанном в последней открытке Вашей, выслать чек пятнадцатого июня, мы к двадцатому явились в Тойлу, т. к. из Стокгольма почта идет пять дней. Приехали мы потому, что истратили последний грош, а жить в совершенно чужом месте в кредит не представлялось возможным. К крайнему огорчению чек опаздывает, и до сего дня, т. е. 24 июня, еще не получен. Это обстоятельство вынуждает нас сидеть в Тойле и ждать чека. Это тем огорчительнее, что как раз теперь начался клев лещей, которого я ждал с таким нетерпением всю зиму. Благодаря неправильности и неточности почты я лишен радости быть на своем озере и вновь окружен безденежьем, дачниками и физиономиями своих вечных кредиторов. В результате — совершенно расклеился и чувствую себя мерзко, сижу все дни дома и только и мечтаю о часе, когда смогу вновь попасть в Uljaste. Из письма М<акара> Д<митриевича> узнал, что наконец-то дождались Вы приезда сестры. Радуюсь от души за Вас и прошу передать ей мои приветствия. Один мой знакомый обещал привести в Uljaste «Тост безотв<етный>». Я перепишу «Поэзу о Иоланте» и вышлю Вам ее незамедлительно. Как поживает маленький Асаф? Я думаю, он говорит по-шведски не хуже, чем по-русски, — не так ли? М<акар> Д<митриевич> прислал нам фотограф<ическую> открытку — с невестой он сам. По-моему, он выглядит очень хорошо, помолодел и посвежел. Мечтаю отдохнуть до 1 октября основательно, а затем двинуться или по Европе, или же прямо в Москву. И в том и в другом направлении мною уже

предприняты соответствующие шаги. Так, напр<имер>, на днях я получил письмо от Долидзе, который устраивает теперь вечера Алексею Н. Толстому. Кстати — не знаете ли Вы адреса Александры Михайловны Коллонтай, моей троюродной сестры? Жена и я шлем Вам наши лучшие пожелания. Целую Ваши ручки.

Всегда Ваш

Игорь

27

30 июня 1923 г.

Тойла, 30 июня 1923 г.

Ваше безмолвие теперь уже положительно пугает меня, дорогая Августа Дмитриевна! Две недели — ни звука. Мы до сих пор еще в Тойле. Я не знаю, что и подумать. Очевидно, дело уже не в почте, а что-то у Вас произошло. Жду с большим волнением известий. Шлем Вам наши добрые пожелания, ждем писем. Откликнитесь — что с Вами? Привет сестре и маленькому Асе.

Ваш Игорь.

P. S. Я взволнован тем более, что давно знаю Вашу почти классическую аккуратность и точность!

Иг.

28

11 июля 1923 г.

Тойла, 11 июля 1923 г.

Вместо очередной субботы пишу вам в среду, дорогая Августа Дмитриевна. Благодарю Вас за открытку, рад, что у Вас все благополучно, а я, признаться очень беспокоился. Благодарю также за обещание выслать чек, получив который в тот же день поеду на озеро. Извиняюсь, что не написал в субботу, но настроенье у меня все это время — очень и очень подавленное, настолько, что перо валится из рук и безверие все сильнее, все мрачнее. Наступило дивное лето, но я его не вижу, т. к. приходится жить вовсе не так, как хочется, а Вы, ду-

мается, знаете без пояснений, что это значит. Тем более трудно это для меня при моем характере. Для того, чтобы я был светел и продуктивен, так мало нужно, и отчаяние черное берет, когда и этого нет. А обстоятельства складываются именно таким образом, что вне озера у меня вовсе нет н и к а к о й ж и з н и, а сплошь страданье. Я не буду теперь в открытке вдаваться в подробности, как-нибудь при случае, при личном свидании, я сообщу Вам много непреложного и печального в высочайшей степени, а пока скажу Вам только, что считаю дни и часы, когда смогу быть на озере. Прошу принять Вас мой искренний, самый сердечный привет. Целую Ваши ручки, верю в Вас, в Вашу дружбу.

Ваш Игорь

29

14 июля 1923 г.

Uljaste, 14. VII. 1923 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

Как только получил от Вас открытку, что чек выслан, отправился к себе на озеро, вздохнув с облегчением. Показав хозяевам чек, получил кредит, а сам, получив его из Тойлы, отправился в Ревель для учета по курсу дня. Выражаю Вам свою искреннюю признательность за него. Итак, в настоящее время сумма моего к Вам долга равняется 160 кронам. Я не теряю надежды возвратить Вам ее с благодарностью через год-два. Вы оказываете мне большую, неоценимую услугу, давая мне теперь кроны, т. к. я положительно не желаю жить теперь в Тойле и мечтаю продержаться на озере вплоть до своего отъезда за границу в конце сентября или в первых числах октября. Единственно о чем заклинаю вас — не откажите высылать точно ежемесячно, дабы я мог спокойно набраться сил к предстоящей трудной поездке. Первый раз Вы выслали 15 мая, во второй — 7 июля. Поэтому, дорогой друг, получился слишком большой промежуток, и у меня нарушился весь бюджет. За это время я вынужден был опять задолжать теще, что для меня крайне неприятно и болезненно. Я верю, Вы войдете в мое положение и дадите возможность впредь вовсе не ездить в Тойлу до осени. О, если бы Вы были так добры — выслали деньги первого и пятнадцатого августа: это дало бы мне возможность «войти в жизнь». А затем уже — 15 сент<ября>. Если бы Вы сделали так, я был бы счастлив, как может быть счастливо только дитя, т.е. безоблачно, беспредельно. Обращаюсь к Вам как к родной. Других родных у меня почти нет никого. Да, почти н и к о г о. Не ставьте же меня в зависимость от людей мне чуж-

дых — вот страстная моя мольба. Это — непереносная боль, это такое униженье непередаваемое.

А раз не будет т а к о г о положенья, о чем грустить мне? Озеро, тишь, стихи, надежды на осеннее путешествие. Буду светел, радостен, н е з а в и с и м.

Отправляю это письмо через одного учителя, который послезавтра едет в Тойлу.

Я так светло хочу увидеть вас, чтобы поцеловать ваши ручки, смотреть в Ваши ясные глаза и говорить, говорить с Вами без конца о том, о чем говорят только с такими испытанными друзьями, как Вы, дорогая моя и хорошая.

Всей душой Ваш

Игорь

P. S. Самый сердечный привет Вашей сестре и маленькому моему другу.

Иг.

30

<Toila, 24 июля 1923 г.>

<Искрен>ний привет Вам, дорогая <Август>а Дмитриевна! В эту неделю <...> много рыбы, собрали много <...> Лето установилось дивное. Так хорошо в природе, что с ужасом думаешь об осени, когда придется оторваться от нее и погрузиться в пустынные глуби человечества. Как омерзительны и отвратны города со всей своей гнусью и неоправданностью!

Ваш Игорь

31

<Тойла, 1 августа 1923 г.>

Очень давно опять не имею от вас весточки, дорогая Августа Дмитриевна, не уехали ли Вы куда-нибудь на дачу? Продолжаем сидеть на озере, где теперь хороший клев. По делам приехал на один день в Тойлу, откуда сегодня иду на один вечер в Ярве к Александру Эссену, где устроим импровизо-концерт. Завтра утром предполагаю быть уже в Uljaste. Жена и я шлем Вам наш сердечный поклон. Всего, всего, хорошего. Пишите. Вчера в Тойле сгорела одна из лучших дач. Сгорела до

тла, хотя и работали 2 пожарных команды. Потрясенье сильное. Целую Ваши ручки.

Всегда Ваш

Игорь

32

3 сентября 1923 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Сообщаю Вам свой новый адрес: Eesti Estland. Tartu. Jakobi tän. 58. Борису Васильевичу Правдину для меня. Завтра уезжаю в Тарту. Подробности в письме.

Сердечно приветствую Вас, благодарю за все.

Ваш Игорь

Toila, 3 сент. 1923 г.

33

27 октября 1923 г.

Юрьев, 27 окт. 1923 г.

Вы удивляетесь, мой друг, дорогая Августа Дмитриевна, удивляетесь Вы, что я, так часто ранее Вам писавший и поверявший в тяжких письмах своих все свои нужды и невзгоды, вдруг умолк, и с 3 сент<ября> перестал писать вовсе? – Что же здесь удивительного? Разве я имею нравственное право постоянно расстраивать Вас, жалуясь на свои неудачи, на невозможную безработицу, лишающую меня самого элементарного, что требуется для существования? Разве мало я говорил, не желая говорить, на эту тему? Разве Вам еще не окончательно ясно, что в положении, подобном моему, бодрые слова и яркие чувства органически немыслимы? Сколько раз хотелось писать Вам, сколько раз! И каждый – перо опускалось: зачем? – тревожить друга? Вечно ныть? Не стоит, не хочется, постыдно и бестактно. А хорошего так мало я имел сообщать вам. Получив ваш последний чек и письмо о нем, я понял, что пора что-либо предпринять решительное и в городе, т. к. среди боготворимой мною природы, увы, я не мог ничего заработать. Сердечно, восторженно признательный Вам за лето (какой див-

ный несравненный дар!), за три месяца прозрачного озера, уединения и благости, я вынужден был круто, сразу, оторваться от Красоты и окунуться в прозаическую гнусь городскую. Послав 4-го сент<ября> из Järve, куда мы зашли из Toila проститься с Александром Карловичем Эссеном, Вам открытку, 5-го мы проехали последний раз на Uljaste, проведя там целый день в милой лодке, ловя окуней и вдыхая Природу, а вечером, в темноте и под дождем, наш Kalamees, очаровательный хозяин хутора, отвез на ст<анцию> Kabala (5 верст от озера), и мы отправились в Юрьев «пытать счастья». Остановились у Правдина, я разменял кроны в банке, получил 2.700 эст<онских> марок, и с этими деньгами мы начали свою «жизнь» в городе. На другой же день нашли себе комнату с отдельным входом на Звездной около Лунной за 1500 м<арок> в месяц без дров, где теперь и живем. Я стал искать издателей. Их здесь мало, и все они эстонцы. Русских книг не жаждут. С трудом удалось продать Эдуарду Бергману новую поэму в 3-х частях — «Роса оранжевого часа», которая выходит в декабре. Книга в 112 стран<иц>. Получил я за нее... 7.000 эст<онских> мар<ок>!.. Не подумайте, что шучу: до того ли мне? Одним словом, Вы понимаете, отдал даром. И как еще радовался и торжествовал при этом! Затем мне удалось продать изд<ательст>ву «Sõnavara» другую книжку: Мария Ундэр. «Предцветенье». Перевод с эстонского. Книга в 64 стран<ицы>. Получил я за нее ... 3.000 эст<онских> м<арок>!.. И на этот раз не шучу, — к сожалению! Зато уже больше мне ничего продать не удалось. Теперь у меня на руках имеется 3 рукописи, пристроить которые здесь уже немыслимо. Поэтому нового ничего не пишу. Что же касается концертов, дело обстоит значительно хуже: в Юрьеве живу вскоре два месяца, и ни одного вечера организовать не удалось, несмотря на усиленные старания. Нет предпринимателя — вот и все.

Зато удалось устроить по концерту в Везенберге и Нарве. Нарва дала... 600 марок, а Везенберг... 1500 м<арок> убытку! Дождался, досиделся: мои вечера дают убыток! Это мои-то вечера! Нашлась в Финляндии одна старая петербургская поклонница, устроила мне в Гельсингфорсе 3 вечера подряд (17, 18, и 19 окт<ября>). Ездили мы с Фелиссой, успех имели выдающийся (как, впрочем, и везде!), прожили в Гельсингфорсе неделю, денег получили в «обрез», жизнь там безумно дорога, эмиграция нища. Рады были, что вернулись без убытка, еще осталось 3.000 эст<онских> м<арок>. Приехали 21-го в Юрьев, и вот теперь проживаем эти последние деньги, страшась думать, что будет дальше.

А душа, между тем, рвется на природу, и с таким упоением бросил<ась> бы обратно в Uljaste! Но для этого нужны определенно 3 т<ысячи> в месяц, и их-то нет, и скопить на пару месяцев не приходится,

не имея возможности абсолютной. А жизнь на озере и прекраснее, и дешевле!

Сирота, импресарио Смирнова, явился в Гельсингфорсе на мой первый концерт, наговорил комплиментов и пригласил в первых числах ноября в Берлин и Прагу. Если не обманет и сдержит слово, прислав аванс на дорогу, может быть, и воспряну немного. Только плохо что-то во все это верится, ибо многие меня обманывали за эти годы.

Видеть Вас, Августа Дмитриевна, мне и жене моей очень хочется. Видеть, говорить с Вами, читать Вам новинки. С наслаждением приехали бы к Вам погостить на недельку-другую, да денег нет, конечно. Живем теперь по заграничному паспорту, визу получить – дело легкое: дают сразу. Если бы было возможно Вас повидать! Но дорога стоит дорого для нас: тысяч десять, вероятно. Были бы рады, конечно, если бы Вы сами приехали, да Вы заняты постоянно. Я думаю, что наша дорога могла бы окупиться, если бы я прочел в каком-нибудь салоне в Стокгольме свои поэзы. Прибыли я не ищу, когда могу видеть Вас. Подумайте и напишите. Сколько лет я уже не видел Вас!

Адрес мой теперь на Правдина. Целую Ваши ручки, жду сообщений о Вас. Жена Вас искренно приветствует.

Душевно Ваш

Игорь

34

4 февраля 1924 г.

Toila, 4. II. 1924 г.

Дорогая Августа Дмитриевна, только вчера, приехав сюда с озера, где живу уже с 15. XI, нашел Вашу новогоднюю открытку, пересланную Правдиным! От души благодарю и жалею, что не знал об этом раньше. Обещанного письма, однако, мне не переслали, – видимо, Вы ждали ответа на открытку и не писали его. Итак, жду от Вас теперь писем – и субботних, и закрытых.

Живу по-прежнему на озере Uljaste, где упоительно, много работая и проводя время среди природы. К сожал<ению>, как Вы уже знаете, от нас почта (Kabala) в семи верстах, и через нее получать и отправлять письма затруднительно, в Тойле же я бываю очень и очень редко. Живем отрезанные от всего мира с его враждой нескончаемой. Пишите на Тойлу постоянно, ибо теперь буду бывать там 2 раза в месяц регулярно, и в эти дни стану Вам отвечать аккуратно. Итак, буду теперь

здесь около 20-го февр<аля>. Надеюсь, к этому времени пришлете весточку о себе. Сообщите, прошу Вас, адрес Мак<ара> Дм<итриевича> (тот же ли он?). Целую Ваши ручки. Жена Вам сердечно кланяется. Как Ваше здоровье и маленького Аси?

Всегда Ваш

Игорь

35

5 января 1925 г.

Toila, 5.1. 1925 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Правдин переслал мне Вашу открытку, чем доставил искреннее удовольствие. Я очень удивился, не имея от Вас больше года писем и даже думал, что Вы куда-либо перевелись. Не писал Вам именно поэтому еще, что полагал о Вашем переезде на другую квартиру. Впрочем, я послал Вам открытку к прошлому Н<овому> Г<оду>, и не получил ответной. С большим удовольствием возобновил бы еженедельную — субботнюю — переписку, но, к сожал<ению>, это теперь трудно будет провести в жизнь, ибо я все время в разъездах. Лучше поступим так: буду писать Вам обязательно каждое пятое число закрытое письмо, Вы же мне каждое пятнадцатое.

В первых числах февраля еду в Берлин, Париж и Прагу, до этого времени буду в Юрьеве, Ревеле, Jögewa и др. местах. В ноябре был в Риге, Двинске, Либаве. В октябре вернулся из большого турнэ, уехав 8-го августа. Побывал в Берлине, Штеттине, Данциге, Цоппоте, Варшаве, Лодзи, Вильне, Белостоке, Бресте, Пинске, Луцке и Ровне. Везде давал концерты, кроме Берлина, т. к. летом был там разъезд публики. Заработал настолько удачно, что смог отдать кредиторам 36.000 эст<онских> м<арок>, чем сильно сократил сумму долгов. Рад этому в высшей степени... Пришлось и купить кое-что.

В общей сложности получил около 700 долл<аров>, но, к сожал<ению>, жизнь в Польше и Германии очень дорога, и львиная доля заработка пошла на отели и пр.

Теперь везу книги на продажу (8 рукописей!). К 1-му февраля (день двадцатилетней моей литерат<урной>деятельности, т. к. первое стихотв<орение> было помещено 1-го февраля 1905 г.) изд<ательст>во Бергман выпускает в свет две новые книги. Если «удастся», вышлю и

Вам. Говорю: «удастся», т. к. наши издатели не очень-то обращают внимание на просьбы авторов.

Теперь жду от Вас сообщений, как Вы прожили этот год. Весьма жалею, что и прошлым летом не побывали у нас на озере и на море. М<ожет> б<ыть>, удастся в это лето? Пишите пока на Тойлу. Следующий адрес сообщу 5.II.

Жена Вас приветствует и поздравляет.

Адрес Мак<ара> Дм<итриевича> потерял. Сообщите, пожалуйста.

Опять в Берлине виделся с Костановым и его семьей всей. Милейшие люди они, его же трагедия всегда печалит меня: такой одаренный!

Целую Ваши ручки.

Ваш Игорь

36

5 февраля 1925 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Я очень благодарен Вам за телеграмму с приветствием к моему юбилею и милое письмо. Я рад, что у Вас все благополучно и что Вы чувствуете себя хорошо. «Солнечной женщине» было помещено осенью во «Времени» (Берлин). Стих<отворение> это вошло в сборник моих стихов 1922—1923 гг. «Литавры солнца», имеющий выйти в свет до осени. «Поэзу о Иоланте» я вышлю Вам в ближайшие дни. Сейчас я пишу Вам из Järve, от Эссена, куда пришел из Тойлы сегодня. Завтра утром еду в Ревель. Дней через десять-пятнадцать еду в Берлин — Париж — Прагу. Юбилей прошел более чем тихо. Этот день провел в Тойле. Служили на могиле мамы панихиду и молебен. Никого из городов не приглашал. Тем более своих «односельчан». Получил пять телеграмм и семь писем, в четырех газетах меня вспомнили немного. Вот и все. Да, впрочем, иначе и быть в наше время не может... Офокстроттились все слишком. Жена шлет Вам свой искренний привет. Целую Ваши ручки, жду письма. Поцелуйте от нас Асю.

Всегда Ваш

Игорь

Järve, 5. II. 1925 г.

37

23 февраля 1925 г.

Письмо «вне абонемента»

С большой к Вам просьбой, дорогая Августа Дмитриевна: мне нужно немедленно выехать в Париж, Берлин и Прагу — дать вечера, продать попутно несколько рукописей книг. Имею 100 крон, не хватает еще столько же. Будьте хорошая, пришлите немедленно эту сумму, и я тотчас же выеду, причем обязуюсь честным словом выслать Вам из-за границы недели через две-три эту сумму. О прежнем долге пока не упоминаю, это будет теперь трудно, но новый погашу незамедлительно. Со дня на день ждал 100 крон (в герм<анских> зол<отых> марк<ах>) из берлинского «Времени», но оно закрылось временно, и вот в результате — моя просьба к Вам, ибо Вы — самый лучший друг и поможете мне выбраться на заработки. Через месяц вернусь с обеспечением на все лето и осень, и часть зимы. Все бумаги и визы готовы, нужно только их взять. Сезон кончается, и я спешу ехать. Жалею, что и то потерял так много времени. Пока тороплюсь, целую Ваши ручки, жду скорого ответа. Это письмо вне очереди, 5-го апр<еля> напишу Вам снова и надеюсь — из Франции.

Фелисса просит Вас принять ее сердечный привет. Асю целуем.

Ваш Игорь

Toila, II, 23. 1925 г.

P. S. Если я теперь же не выеду, я попаду в такое же положение, как в те годы, а это ужасно, не правда ли? Верую, что Вы этого не допустите: пока еще не поздно, тем более, половина денег имеется у меня неприкосновенная, а это так много значит. Прошлое турнэ по Польше дало мне большую пользу!

Игорь

———————

На днях буду в Юрьеве — достану все-таки книги для Вас — должен достать — и вышлю с упоением!

———————

Я так настроился ехать, так хочется новых мест, людей, успехов, блеска, тем. Я как-то не старею, дорогая Августа Дмитриевна, и в свои 37 лет часто чувствую себя двадцатилетним, и «девятнадцативешние» это так хорошо видят...

Вот и сейчас мне так легко писать Вам, зная наверное, что Вы не погасите во мне вдохновения, не охладите моего порыва и дадите по-

эту остаться поэтом и поступить, как ему хочется, как ему нужно. От неудачи никну, блекну, от успеха — крылат, жив, блестящ! Еще раз — Ваши ручки!

Игорь

С. Прокофьев писал мне на днях. Он теперь в Германии. Очень хочу повидаться с ним. Его «Любовь к трем апельсинам» — событие в Европе.

В Америке же она шла 3 года назад с выдающимся успехом.

Я думаю дать ему либретто для новой оперы.

Отчего бы либретто не написать поэту? Ведь их обыкновенно пишут какие-то фельетонисты из захудалых изданий.

<Приписки на полях:>

Получив от Вас деньги, выеду на другой же день.

В дороге буду писать Вам каждую неделю.

38

5 марта 1925 г.

5.III. 1925.Toila

Дорогая Августа Дмитриевна,

пусть прежде всего этот месяц ознаменуется присылом мною Вам давно обещанной «Поэзы о Иоланте»! Наконец-то я, выбрав свободную минуту, переписал ее для вас. И только для Вас: переписывать не люблю и не имею времени, ибо работаю теперь во многих изданиях (Ревель, Рига, Берлин, Варшава и Париж), еженедельно посылая туда стихи, рассказы и статьи об искусстве. Дело наладилось. На днях в Юрьеве вышли в свет новые поэмы. Т. к. теперешние издатели экземпляров автору, кроме одного, не дают (экономия!), авторы же зарабатывают так мало, что о покупке не может быть и речи, сообщаю Вам небезынтересно ознакомиться самой и ознакомить с моими книгами милого Макария Дмитр<иевича>, адрес издателя: Estland, Tartu, Jaani uul, 26 — Vadim Bergmann. Книга каждая стоит меньше 1/2 доллара. Конечно, после Парижа (поездка наша туда пока отложена несколько) я смог бы прислать Вам и сто экземпл<яров>, но, думается, Вам интересно прочесть теперь же и не откладывая. Поэтому-то я и сообщаю адрес Вадима Эдуардовича.

В настоящее время я пишу новый большой роман онегинской строфой из жизни России периода 1890–1917 гг. Написал уже ровно 2 части (80 строф по 14 строк). Предвидится еще столько же, если не больше. Надеюсь к маю закончить труд. Эта работа, собственно, и заставляет меня несколько отложить поездку, хотя есть и иные причины.

Идея Ваша – разговор по телефону – выполнима, думается, и теперь: Toila соединена телефоном с Ревелем, а Ревель, вероятно, со Стокгольмом. Если вы хотите стихов, вызывайте, – я к Вашим услугам. И мне будет приятно – очень приятно – читать для Вас, Вам... Предполагаю, когда поеду во Францию, побывать и в Италии, где мы, м<ожет> б<ыть>, встретимся. А если не там, возможно, и в Эстии: м<ожет> б<ыть>, Вы поедете через Ревель? Если я Вас очень попрошу об этом?

У нас выпал глубокий снег, и Toila приняла совсем зимний вид: снова салазки, лыжи, лунные ночи... Хорошо! Живем мы очень уединенно и, кроме как у Эссена, ни у кого не бываем: люди *вне искусства*, – что может быть с ними общего? Всюду политика, а я ее органически не выношу. Читаем всю изящную литературу, какую только удается доставать, а это очень трудно.

Целую Ваши ручки, знакомые с шелестом вешним страниц сборников поэз. Жена свидетельствует Вам свое внимание.

Ваш неизменно

Игорь

39

7 апреля 1925 г.

Toila, 7. IV. 1925

Дорогая Августа Дмитриевна!

Вы мне доставили большое удовольствие, исполнив мою просьбу, да и я не сомневался в этом: ведь Вы – Вы. Очень благодарен Вам и обрадован. В ближайшие дни еду, – укладываемся. Следующее письмо – из Берлина.

Солнце так вдохновенно, река вскрылась ото льда, вскоре появятся подснежники и перелески, зацветут фиалки и анемоны – их у нас так много на лужайках. Пользуюсь случаем поздравить Вас с Праздниками – Вас и Асю – и поблагодарить за карточку, где Вы все та же, как будто и не было семи лет. Жена Вас поздравляет и приветствует. Спешу на почту: сейчас уходит.

Ваш всегда

Игорь

40

5 мая 1925 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Приехал сюда 27 апр<еля>, вчера дал концерт, к сожал<ению>, в маленьком зале, т. к. русских здесь уже мало и все беднота. Настроение не из приятных, ибо жизнь дорога безумно, а денег пока очень мало. Импресарио обеднели тоже и дают гораздо меньше, чем раньше. Завтра выяснится дальнейшее. Целую Ваши ручки, надеюсь на лучшее.

Ваш всегда

Игорь

P. S. Привет от Костанова!
Berlin, 5. V. 1925 г.

41

22 июня 1925 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

На днях я вернулся из-за границы. 35 дней пробыл в Берлине, 14 – в Праге. За все это время дал (удалось дать) 2 вечера. Оба в Берлине только. Первый вечер дал 100 нем<ецких> марок, второй... 10 м<арок>! Антерпренер Бран. Та самая Мэри Бран, которая надула Липковскую и пробовала надуть Прокофьева. Других импресарио вовсе не нашлось. Положение ужасное. Думал заработать, но оказалось все иначе. Пришлось брать субсидии в союзе журналистов и у Чехослов<ацкого> правительства. Пришлось брать, чтобы кое-как прожить в Берлине и Праге, чтобы кое-как вернуться. 1-го октября еду снова – пробовать, и все уверяют, что будет все отлично. Пока же на мели. До осени. Причины? Их много: позднее время, экзамены, разъезд на курорты, жара. Издательства до осени книг не покупают.

Не писал Вам с дороги, – рука не поднималась, так я был расстроен и измучен. Уж простите, дорогой друг, не сердитесь. Вы – чуткая, Вы поймете. Поэтому и долг свой я, к крайнему огорчению, не смогу вернуть раньше зимы. Но зимою не сомневаюсь, что удастся. Мало того – у меня к Вам мольба: поддержите до осени, посылая ежемесячно по 10 хотя бы крон. Каких-нибудь четыре месяца. Иначе я погиб. Я сижу теперь буквально без марки. Ужасно! Гонораров из газет хватает в лучшем случае на 2 недели в месяце. При самой скромной жизни. В Берлине виделся почти ежедневно с Липковской, и Лидия Яковл<евна>

предложила мне в октябре устроить совместно с нею концерты в Париже и Бессарабии, где она постоянно живет. Мне это весьма улыбается. Часто виделся с Юрьевской, Аксариной, Чириковым, Немировичем-Данченко, Гзовской, Гайдаровым и др.

Все они надавали мне своих портретов, книг, всячески обласкали, помогали и письмами, и денежно, и приемами скрашивали грустное. Морально я доволен поездкой. И даже очень. Но материально — тихий ужас.

Приветствую вас, целую ручки.

Жена просит передать Вам сердечный поклон. Мы оба целуем Асю.

Ваш Игорь

Toila, 22. VI. 1925 г.

P. S. В довершение всех невзгод у меня появилась странная болезнь желудка. Возможно, это язва. Докторов здесь нет и денег на них тоже. Ну, посмотрим...

Иг.

42

5 октября 1925 г.

Toila, 5.X

Дорогая Августа Дмитриевна!

Только теперь, когда уже алеют, лимонея, клены, когда мелкий дождь непогожей осени льется с неба, как слиянные слезы всех обездоленных и тоскующих, в маленькой избушке, куда мы на днях перебрались после лета, только теперь я нахожу в себе силы и не могу бороться с неодолимым желанием написать Вам, своему другу, первому человеку, кому вообще пишу за последние три месяца. Я много раз, не хотя никому, Вам хотел написать и столько же раз отказывал себе в этом, боясь огорчить Вас огорчительными сведениями о своей жизни, боясь омрачить Вас той неизбежной мрачностью, меня окружающею, где все казалось бы предназначено для восторгов жизни и радости ее восприятья, чья милая душе и сердцу русского природа говорит и напоминает о родной природе, чьи благостные озера исполнены нашей грустью — беспричинною и величавою, очищенною устремлениями нашего духа в надземное, грезами о всеобщем братстве народов, может быть, утопическими, но зато такими упоительными в своей — пусть тщетной! — вселенности.

Но что и как я мог писать Вам, когда ежедневно, почти ежечасно я был поглощен все лето в мерзостные расчеты денежные, в думы об ежедневном добывании буквально куска черного хлеба на свое пропитание и на пропитание болезненной и хрупкой жены с ребенком. Я не мог в достаточной мере насладиться божественным днем и не менее божественной земной ночью человеческой, данными нам на краткий срок нашего гощения на этой очаровательной, изумительно прекрасной все-таки планете. Встать утром, впивая его красоту до болезненности полно и остро, и не знать, как прожить зачинающийся дивный день, что есть, чтобы мочь ощущать последовательную красоту дневных часов и оранжевого повечерья, — ведь это так обидно до слез, так нелепо и оскорбительно для поэта, о, дорогая моя! Тем более, что для поэта, — я подчеркиваю: для поэта именно, а не для писателя, — так действительно немного нужно, чтобы быть сытым, и, следов<ательно>, безоблачным. На шведские деньги — всего одна крона на весь день с семьею! И как страшно, когда и ее нет, и неоткуда ее взять, тем более что в столе много рукописей для издания, в горле — голоса для эстрады, в груди — вдохновения для творчества! И все тщетно, ибо ничего никому в это гнусное реалистическое время не нужно. Теперь, когда современная, с позволения сказать, цивилизация воздвигла вертикальную кроватку Shimmi и Fokstrott'a, есть ли людям надобность в чистой лирике и есть ли людям дело до лирических поэтов — как они живут, могут ли они вообще жить. Положение же мое ухудшилось за последнее время — все лето — по той причине, что ревельская газета «Последние известия», дававшая мне прожиточный ежемесячный минимум, просто-напросто умирает от худосочия и не в состоянии впредь давать мне даже тех грошей, на какие мы кое-как перебивались. Другие же эмигрантские газеты дают так мало, что хватает лишь на неделю в месяце, и это в лучшем случае. Никакими же побочными способами я заработать не могу, ибо болен теперь окончательно: постоянные головокружения от плохого питания, ночные изнурительные поты, хронический кашель, лихорадка и одышка после ведра — одного ведра! — воды.

Что же, сознаемся без страха: близка, очевидно, гибель, т. к. нет никаких доходов, в долг же брать не у кого. И без того должен всем и каждому, больше не у кого брать. Да, надвигается гибель. Вы прислали мне все, что могли, — я благодарю Вас, благодарю. Конечно, если бы Вы могли посылать мне ежемесячно 20—30 крон, я был бы спасен. Но для Вас это трудно, и я не вправе ни просить их у Вас, ни пользоваться ими. Ревельская же местная русская колония настолько бессердечна, хотя и весьма денежна, что зимою еще уморила с голоду Крыжанов-

скую-Рочестер. Когда писательница умерла, у нее не было... рубашки, и для гроба дала рубашку эстонская крестьянка. Запомните этот случай: он характерен и весьма показателен.

Так вот, в результате я сижу в курной избушке, — часто без хлеба, на одном картофеле, — наступают холода, дров нет, нет и кредита, и пишу Вам. Я хочу сказать раз и навсегда: не оттого я редко пишу Вам, что мне не хочется, — мне не хочется расстраивать Вас, не расстраивать же мне не удастся: я — поэт интимный, искренний, мне не удастся лгать и не хочется. Я и стихов-то полгода писать не могу. Спасибо Вам за все сердечное. Пишите иногда, — мне приятны Ваши письма. У меня же и на марку часто нет. Асю поцелуйте милого. И сама Вы — милая и хорошая для меня всегда. И знаете: такая нужда, а злобы нет ни к кому. Уж такова, видно, душа поэта. Жена Вам очень кланяется, благодарит за все доброе. Ручки Ваши целую.

Ваш Игорь

43

8 марта 1928 г.

Toila, 8.III.1928 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Чрезвычайно рад Вашему отклику, — спасибо за постоянное расположение. Я его очень ценю в людях, и это — редкость. Два дня назад я только что вернулся из Варшавы, Вильно и Двинска, где давал концерты. Пробыл всего в отсутствии полтора месяца. Время шло упоительно. В окт<ябре> ездил в Ригу и Двинск на три недели. Сообщите, давно ли Вы и надолго ли в Берлине. Вообще жажду знать все о Вас. Фелисса Мих<айловна> и я приветствуем Вас искренне. Настроенье бодрое. Близость весны остро ощущается. Видитесь ли с Костановым? Целую Ваши ручки. Сколько времени ничего не знать о Вас! Пишите же, не откладывая: старые друзья верны Вам. Всегда. Даже, когда не пишут годами!..

Игорь

44

5 февраля 1929 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

не посетуйте на меня, что до сих пор не удосужился ответить Вам на все ваши письма: причин много, и все они, прошу верить, уважительны. Одно скажу: никогда не переставал помнить вас, желать с Вами встретиться, и этим я прав. Прежде всего разрешите поздравить Вас, что вам удалось найти близкого человека. Это тем более ценно, что люди с каждым днем все более отдаляются друг от друга, уготовляя себе какой-то новый Вавилон. Я сердечно рад за Вас: это – редкость. Я думал повидаться с Вами в эту зиму проездом в Париж, куда мы хотели с женою попасть к 27 янв<аря> – к открытию сезона Русской оперы Кузнецовой-Масснэ. Но грипп нарушил все наши планы, ибо он повсеместен. Поэтому ни во Францию, ни в Литву мы не поедем до будущего года, теперь же, в ближайшие недели, побываем лишь в Риге и Двинске, где мне предложено дать несколько вечеров и где я не был с ноября прошлого года. Прошлую зиму (январь-февраль) мы провели в Варшаве и Вильно, имея ряд вечеров. Поездка удалась блестяще.

Очень Вы тронули меня, вспомнив о первом февраля. Надеюсь в будущем году встретить этот день или в Париже или же в Москве, куда, возможно, поедем осенью. Тяга туда все ширится: то ли жизнь кончается, то ли душа молодеет, как это ни противоестественно на первый – беглый – взгляд. Я верю в большие возможности своего возвращения домой. Весь вопрос, как взглянет на это правительство моей родины, т. е. предоставит ли мне визу и даст ли разрешение на устройство вечеров – чисто лирических и, следов<ательно>, аполитичных. Пока никаких шагов в этом направлении не предпринимал.

За это время новых книг не выпускал ни одной, подготовляя к печати сборник за семь лет (1923–29) – «Классические розы». Большая книга страниц в триста. Не все написанное за эти годы – лишь избранное. Новый роман мой – «Lugne» – еще не вышел отдельным изданием: он прошел прошлой зимой в «За Свободу!» в Варшаве в девяти воскресных номерах газеты. Последнее время пишу только в «Сегодня». И то весьма редко.

Мне очень хотелось бы, чтобы Вы, Августа Дмитриевна, посетили мою Тойлу и взглянули, как я живу вот уже двенадцатый год. Этим летом жена моя получила от матери в собственность квартиру, которую мы перестроили по своему вкусу. Итак, вскоре мы будем в Риге. Было бы очень хорошо, если бы Вы тоже приехали в Ригу (от Берлина это совсем пустяки) меня послушать и показать нам себя. В самом деле, это великолепная идея! Что думаете Вы по этому поводу? Напи-

шите, пожалуйста, теперь же, я же сообщу Вам заранее о дне нашего отсюда отъезда. Целую Ваши ручки. Фелисса Мих<айловна> Вас искренне приветствует.

Неизменно Ваш

Игорь

Toila, 5.II.1929 г.

45

10 марта 1929 г.

Двинск, 10.III.1929 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Увы, пятое марта я провел в пути и не смог написать Вам. Поэтому делаю это сегодня. Письмо Ваше получил в Тойле перед отъездом. Благодарю Вас искренне. Радуюсь успехам Аси. Скажите ему, когда увидите, что я желаю ему всего светлого. Это, видимо, хороший мальчик.

Мы с женою уехали из дома 2.III, провели один день в Юрьеве, два в Риге, с 6-го же обретаемся здесь, гостя у своего хорошего знакомого, к которому вот уже третий раз за эти годы приезжаем. Был и он у нас в Эстии. Это – молодой человек, учитель, поэт, музыкант. Человек вполне обеспеченный, живет в своем доме вместе с матерью. 12-го здесь состоится мой поэзоконцерт, в котором и он принимает, по моей просьбе, участие.

Что касается Риги, я не сошелся в условиях с импресарио, опаучивающимися ежедневно все более и более: я не нашел для себя возможным выступать за сорок процентов с валового сбора. Минимально – 50. Теперь я веду переговоры с кинотеатром «Капитолий» – одним из лучших в Риге – о гастролях (семидневных). Вопрос выяснится 13-го утром – в день нашего отсюда отъезда. Поезд уходит в 5.55 веч<ера>, и, получив утреннюю почту, я буду знать, как мне поступить: проехать ли в Юрьев, минуя Ригу, или же, в случае принятия Дирекцией моих условий, сойти в Риге. Во всяком случае я рассчитываю быть дома между 16.III–25.III, поэтому свое письмо от 15.III соблаговолите направить прямо на Эстию. Вы интересуетесь «Литаврами солнца». Эта книга до сих пор еще не вышла из печати. На днях выходит «Поэты Эстонии» (Антология за сто лет. Переводы из 35 поэтов). Эта книга печатается уже три года и весьма объемиста. От жены моей и меня шлю Вам искренние приветы. Два дня назад здесь выступала Карсави-

на, у нас имелись билеты, но мы все же не были на ее вечере, т. к. было чрезмерно холодно и я остерегался перед концертом.

Целую Ваши ручки. Жалею, что свиданье наше опять отсрочено. М<акару> Д<митриевичу> мое постоянное воспоминание.

Всегда Ваш

Игорь

46

10 апреля 1929 г.

Toila, 10.IV — 1929 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Мы возвратились из Риги — через Юрьев — 27.III утром, и на своем письменном столе, в числе накопившейся в мое отсутствие корреспонденции, я отыскал и Ваше милое письмо, благодарю Вас.

Я принял условия «Капитолия» (вернее — театр принял мои: почти) и целую неделю выступал ровно с тремя стихотв<орениями> по шести минут ежевечерне. Но жизнь в Риге и дорога отняли львиную долю заработка, впрочем, как и всегда. Но с этим нужно мириться. Сборы всегда полные, прием очень хороший, но я уклонялся от «биссов».

Благодарю Вас за газету и открытку. И Мак<ара> Дм<итриевича> тоже, конечно. Разумеется, интересно было еще раз убедиться — пусть с грустью, — как люди опрометчивы в своих суждениях: если бы тов. Бухарин и Плеханов потрудились прочесть все мои книги внимательнее, в особенности же стихи последних семи лет (в газетах), они, м<ожет>-б<ыть>, избавили мое имя от не совсем подходящего к нему эпитета. Впрочем, в этом «рассеянном» отношении к моему творчеству повинна вся русская общественность во главе с г-ми Мережковскими, некоторым образом ее дирижерами. У меня 25 томов, но сколько же в них «будуарных» мотивов? Капля в море. Так создаются репутации...

Простите меня, что пишу не в срок: положительно не мог взяться за перо эти дни. Вы поймете, правда? Бывают такие мгновенья...

Фел<исса> Мих<айловна> и я шлем Вам, М<акару> Дм<итриевичу> и Асе наши лучшие пожелания.

Мы оба чувствуем слегка себя простуженными и не выходим эти дни. Снега почти нет, яркое солнце, но лед на море и на речке еще очень толст, и о весенних лососках думать преждевременно. Но удочки

приведены уже в порядок. Как-то прошлой весной мне посчастливилось поймать таймень в $5\,^3/_4$ ф<унта>. Эта рыба вкуса изумительного. Но она здесь большая редкость.

Всегда Ваш

Игорь

P. S. Вакху уже $6\,^1/_2$ лет. Рисует. Веселый. Живет по-прежнему у бабушки. Спасибо за память.

47

5 мая 1929 г.

Toila, 5.V.1929 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

с признательностью возвращаю Вам открытку, с интересом мною просмотренную. 23.IV я открыл сезон, поймав лососину в $2\,^1/_4$ ф<унта>. Вчера поймал лососину в $3\,^1/_4$ ф<унта>. Рыбы в эту весну много, но лично мне удалось поймать всего две пока. Весною лососина входит после ледохода в реку, и вся река оживает: появляется много удильщиков, начинается азарт. На удочку некоторым счастливцам удается поймать от $1\,^1/_2$ до $13\,^1/_2$ ф<унта>! На днях войдет язь, сырть и максан. Хожу дважды в день. Конечно, я мог бы поймать и более, но трудно здесь достаются выползни (большие черви), да и удилище мое, подаренное Башкировым, — из Мюнхена, — недостаточно длинное, весною же речка сильно разливается.

Мне было очень приятно прочесть в Вашем письме, что Вы перечитывали мои сборники, что вы храните хорошие о московских временах воспоминания. Да, я помню, что Вы были на всех двадцати пяти моих вечерах в Москве. Часто и я вспоминаю Георгиевский, где было всегда так приятно бывать. Увы, это уже не повторится н и к о г д а: как неповторное, дивно и жутко... Если М<акар> Д<митриевич> поедет когда-нибудь к Вам, я прошу его с женою навестить и нас по пути. (Ст<анция> Иеве, пятая от Нарвы). Я вышлю лошадей по телеграмме.

А Вас, очевидно, трудно заполучить в наши края. Что делать. Да и удобства наши слишком относительны, и мы боимся, что Вам без комфорта было бы трудненько. Впрочем, здесь имеются очень сносные пансионы с приличным питанием и хорошей светлой дачей. 20 долларов с человека за месяц — стол, комната, белье постельное. Недорого? Еще бы! Дешевле трудно найти в других странах. В прошлом году при-

езжали и из Латвии, и из Германии, и даже из Японии... На лето. Объясняется это тем, что местность наша чрезвычайно живописна, удобна и дешева. Аптека, 6 лавок, 2 булочных-кондитерских, мясные, зеленные, дважды в неделю доктор. Почта, радио чуть ли не в каждом доме, телефон, театр, оркестр, футбол и проч. И — море! И 70 озер. Нет, я 12-й год живу и по-прежнему очарован, и о лучшем мечтать страшусь. Целую Ваши ручки. Жена просит передать ее искренний привет.

Всегда Ваш

Игорь

P. S. Сейчас вернулись с речки, где Фел<исса> Мих<айловна> поймала только что две лососины по $2\,^1/_2$ ф<унта> каждая.

Иг.

48

5 июня 1929 г.

Toila, 5.VI.1929

Дорогая Августа Дмитриевна!

Итак, Ася сегодня уже у Вас, — искренний привет ему. Искренне радуюсь Вашему с ним свиданию: на земле так мало людей, с кем хочется видеться. Тем ценнее они для нас.

Строки, о которых вы меня спрашиваете, не мои, но чьи именно — я не знаю: у Бальмонта так много строк, что их трудно помнить. Посылаю, кстати, Вам его стихи ко мне, — думаю, Вы их не читали. Только они у меня, к сожал<ению>, в одном экземпляре: прочтете, будьте добры вернуть. Это же относится к моим стихам, которые посылаю Вам для прочтения. В каждом письме буду Вам что-либо посылать из новинок.

Вчера мы с женою были в Нарве — ездили по делам, пробыли 40 минут: от поезда до поезда. Езды от нас 1 ч<ас> 10 м<инут> да и $1\,^3/_4$ ч<аса> ходьбы на станцию. Дорога теперь — без дождей — очень хорошая, даже приятно прогуляться 8 килом<етров>. А так, вообще, мы редко бываем в городах. В Ревеле, напр<имер>, не были с янв<аря> 1928 г. Семь часов езды, с весны скорый — 3 ч<аса> езды. До Юрьева — восемь часов. Это на пути в Ригу.

На июнь мы были приглашены к поэту Виснапу на его дачу под Юрьевом. Но теперь выяснилось из письма его жены, что у нее плев-

рит, и мы находим ехать неудобным, боясь стеснить. А они зовут, несмотря на болезнь. Отложили поездку пока.

Гостей у нас никого нет пока. Собирается летом только вдова Арцыбашева из Варшавы да художник Кайгородов (сын профессора) с женой из Ревеля. Да некоторая молодежь из Вильно, Юрьева и Нарвы. Сейчас иду на речку. Целую Ваши ручки, жду письма. Фелисса Мих<айловна> просит передать ее сердечный привет.

Всегда Ваш

Игорь

P. S. Не забудьте, пожалуйста, поклониться от меня дорогому Макарию Дмитриевичу: я постоянно чувствую к нему влечение, и повидаться с ним было бы для меня большим удовольствием.

Иг.

Видели ли вы когда-нибудь рижскую газету «Сегодня»? Больше всего я пишу в ней.

49

10 июля 1929 г.

Toila, 10.VII.1929 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

я только вчера вернулся из Luunja, где с 25.VI гостил на даче у Виснапу. Почты там вблизи нет (3 версты, а я целодневно сидел на Эмбахе и не мог оторваться от своей рыбы). Вот этим и объясняется запоздание этого письма, что очень обидно для меня, поверьте.

Время провели приятно, я ловил много окуней, подлещиков и ершей, ездили с «дорожкой», на которую попадались изрядные щуки. По Эмбаху большое движение: пароходы, баржи, лес, лодки, парусники. Много русских – причудских – рыбаков. Над рекой стоит русская речь, иногда весьма рискованная, и это несколько странно в европейской цивилизованной стране. Я как-то основательно отвык от этой «русскости» за эти 12 лет. Вообще, в Причудье народ дик и темен, и эстам приходится много прикладывать труда в борьбе с косностью края.

На днях в Юрьеве вышла моя новая книга «Поэты Эстонии» (переводы из 33 поэтов). Издатель прислал мне всего один экземпл<яр>, мотивируя дороговизной издания (1 доллар). Поэтому я лишен удо-

вольствия выслать Вам книгу. Если пожелаете приобрести, адрес: Estland, Tartu, Jaani uul. 15, Vadim Bergmann.

Сейчас тороплюсь закончить письмо, т. к. меня ждут на озере. Надеюсь в будущем письме побеседовать с Вами подробнее. Фел<исса> Мих<айловна> просит передать Вам ее искренний привет, целую Ваши ручки.

Ваш Игорь

50

1 ноября 1929 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Не удивляйтесь, что не писал и «пропустил все сроки»: никому не писал, ничего не писал, — надо ли извиняться?..

Получил все Ваши письма и открытки, и от М<акара> Д<митриевича> алтайское письмо. Хорошо там! Припомнил свой «Алтайский Коктебель» из «Гр<омокипящего> кубка». Всегда меня туда тянуло...

Вот видите, как нехорошо Вы поступили: поехали и в Швейцарию, и в Италию, а, когда звал Вас сюда, нашли какие-то отговорки, вроде отсутствия денег! А между тем и дорога сюда дешевле, и жизнь тоже. Не в деньгах было, очевидно, а в том, что Вас тянуло поюжнее, что впрочем, вполне понятно, и поэтому прошу счесть мои слова за шутку, не велика важность, если слегка грустную...

8-го сент<ября> я дал концерт в Печерах (б<ывший> город Псковск<ой> губ<ернии>). Это у границы. Погода была отчаянная: холод, дождь, буря. Собралось все же почти 3/4 зала, и успех был очень большой: «восторгам не было границ». От нас до Печер 12 ч<асов> езды через Тапс, Юрьев, Валк и Верро. Живописный мужской монастырь на окраине городка. Холмистая местность. Население русское. Одна поклонница «в бурю и грозу» за 30 верст в автомобиле съездила, чтобы засыпать поэта цветами из своего имения! Вместе со мною выступал пианист Всеволод Гамалея, б<ывший> муж М. Н. Бариновой. Я знаю его с детства, когда он еще был правоведом и ухаживал за моей сестрой. В 1925 г. мы встретились с ним в Берлине, и я перетянул его в Юрьев, где он с тех пор живет постоянно, изредка концертируя.

Вскоре — в путь. Напишу Вам с юга. Но Вы успеете еще мне черкнуть на Toila: уедем между 20—25 ноября. М<акару> Д<митриевичу> передайте, прошу Вас, письмецо.

Фелисса Мих<айловна> и я шлем Вам наши добрые пожелания. Не сетуйте за молчание: повторяю — месяцами не берусь н и к а к за перо. И стихов новых нет.

Всегда Ваш

Игорь

Toila, 1.XI.1929

51

5 января 1930 г.

Toila, 5.I.1930 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

благодарю сердечно Вас и Асю за поздравления, вместе с женою поздравляем вас с пожеланиями всяческого благополучия.

Поездка наша на юг не состоялась в эту зиму, но мы и не очень жалеем об этом: погода стоит совершенно сентябрьская, 5 гр<адусов> тепла, выпадают дожди, почки совсем весенние. До сегодня мороз и снег были всего дважды: один раз в конце ноября было 1/2 гр<адуса> мороза рано утром, без снега, и затем снег выпал 23.XII и пролежал до 29.XII, причем мороз достигал 6 гр<адусов>. А теперь, напр<имер>, совсем тепло и бесснежно, так что и на юг не нужно. Отчего вы умолкли? Вероятно, полагали, что мы странствуем и не знали, куда писать, ожидая от меня адреса? Переслали ли мое письмо М. Д.? Я написал ему стихи. На днях они появятся в «Сегодня», конечно без фамилии и даже без инициалов, чтобы как-нибудь не повредить ему. Но мысленно они посвящены ему. Надеюсь, будет время, он узнает это. Вообще, я написал до Рождества (ноябрь-декабрь) 20 стихотв<орений>. Печатаются в трех газетах — в Риге, в Варшаве и в Шанхае.

Отсутствие новых книг дает себя чувствовать, очень грущу, что не могу следить за новой беллетристикой и поэзией. Жена ухитряется отыскивать у туземцев классическую литературу, и ее мы штудируем добросовестно. Сейчас, напр<имер>, читаем Короленко. За эти годы Ф<елисса> М<ихайловна> прочла полностью Байрона, Шекспира, Достоевского, Тургенева, Лескова, Мопассана, Дюма (84 т.!), Бальзака, Гончарова, Гоголя, Чехова, Киплинга, Мордовцева, Андреева, Шпильгагена, отдельные книги Горького, Жорж Занд, Ожешко, д'Аннунцио, много Сологуба, П. Романова, Л. Леонова, Никандрова, Шишкова,

Куприна, Арцыбашева, Метерлинка, Бурже и бездну других. Но, напр<имер>, Сейфуллину, Пильняка, Федина, Алданова, Бунина и др. здесь нельзя получить, и это грустно. В особенности хотелось бы достать погремевшую «Митину любовь». Вообще же – Бунина и Шмелева.

Как Вы провели праздники? Как самочувствие? Как успехи и здоровье Аси? Пишите, прошу Вас. Надеюсь, переписка наша войдет с нового года в свое русло, и не будет особо длительных перебоев. Целую Ваши ручки. Фелисса Мих<айловна> просит передать Вам ее искренний привет.

Всегда Ваш

Игорь

52

12 марта 1931 г.

Toila, 12.III.1931

Дорогая Августа Дм<итриевна>!

Верю, Вы удивлены, что не имеете от меня вестей и откликов на свои письма, но дело объясняется просто: 21.X мы с женою уехали за границу и вернулись только 4.III. За это время побывали почти во всей Югославии (Белград, Суботица, Горажда, Новый Бечей, Белая Церковь, Вел<икая> Кикинда, Сараево, Земун, Панчево, Дубровник-Рагуза, Каттарро, Цетинье, Любляна), а затем весь февраль прожили в Париже и через Берлин, Ковно и Ригу вернулись домой. Напишите о получении этой открытки, и я подробнее напишу Вам.

Ваш Игорь

53

5 апреля 1931 г.

Toila, 5. IV. 1931 г.

Дорогая Августа Дмитриевна! Получил Ваши открытки. Рад, что все выяснилось. Итак, каждое пятое пишу Вам впредь. Да, мы с женой жалели, что, проезжая Берлин, не могли с Вами повидаться, но мы не были в городе, а просто пересели из поезда в поезд в Шарлоттенбурге. Ехали через Аахен, Ганновер, Кельн, Эссен. В Париже еще было тепло, шли все время дожди, а уж в Германии было много снега. Да, поездка

наша была весьма длительной: с 21.X. по 4.III. За это время дал концерт в Варшаве, три в Белграде, два в Париже, два в Дубровнике (Рагуза), два в Горажде. По одному в Суботица, Любляне, Сараево. Державная комиссия предложила мне дать вечера в женских инст<итутах> и кадетских корпусах. Таким образом, мы побывали в Горажде, Белой Церкви, Великой Кикинде и Новом Бечее. В Научном инст<итуте>, в Белграде, при Палате Академии Наук, я прочел две лекции: «Первая книга Фофанова» и «Эстляндские триолеты Сологуба» и свой новый роман в стихах: «Lugne». Держ<авная> ком<иссия> приобрела у меня три книги моих стихов: «Классические розы» (1922—30), «Медальоны» и «Lugne». Первая книга на днях выйдет в свет (я уже читал дней пять назад корректуру) и поступит всюду в продажу. Весною выйдут и другие.

Неделю провели мы на Адриатике. (У нас были бесплатные билеты 1 класса на три месяца по всей Югославии). Жили в Рагузе на берегу моря. Чудесная вилла в саду. Апельсины, лимоны, миндаль, розы, глицинии. И это 18—24 января. 28—30 на солнце, 15—16 в тени! В открытом авто совершили дивную поездку в Цетинье через Ерцегнови, Зеленику, Пераст, Каттарро. Перевалили хребет (1700 метров), видели близко Ловчен (2300). В Каттарро изнывали от тепла, через час, поднявшись по 28 серпантинам в гору, зябли от холода. Как красива Югославия! Я говорю о Боснии, Герцеговине и Далмации. Да и Монтенегро прелестно. Когда из Любляны альпийским экспрессом ехали около восьми часов по Швейцарии, это нас уже оставляло холодными. Ни в какое сравнение Югославия идти не может. В ней все так величественно — примитивно, дико и потрясающе. 36 часов от Белграда до Рагузы поезд извивается в скалах над безднами. Более 300 тоннелей. Цвет рек изумительный: не малахит, не изумруд, не бирюза, невыразимо-зеленый, ядовито, яростно! Как обозначить его точно? Нет слов, нет красок. Такова, напр<имер>, Дрина в Боснии. Поезд долго идет вдоль ее извилин. Между Вишеградом и Усти-Прача. Уже несколько стихотворений написал я в пути. Но, конечно, это почти невозможно передать.

Успех был повсюду выдающийся, но дорога (отэли, поезда и пр.) очень дорога, так что материально мы пока что не разбогатели, но до окт<ября> кое-как продержимся и — снова в путь. Маршрут намечен следующий: Ковно, Берлин, Брюссель, Париж, Ницца, Югославия, Болгария, Румыния. В последних двух странах мы еще не были. Кроме того, не были в Сербии в Мариборе, Сомборе, Загребе, Нише, Скоплье и Новом Саду. Между тем многие из этих городов звали дать вечера. Придется и повторить в некоторых, как, напр<имер>, Париж, Любляна, Сараево, Белград, Суботица, Горажда, Рагуза. В Ковно не был с 1921 г., в Берлине с 1925 г. Как Вы думаете относительно Берлина?

Много ли сейчас русских, не отражается ли кризис на посещаемости театров и концертов? Если посоветуете, остановимся и дадим вечер, если нет — проедем мимо, повидавшись денек с Вами. Впрочем, до осени времени еще много, и неизвестно м н о г о е... В Париже встретили Ремизова, Тэффи, Оцупа, многих старых знакомых, в том числе Анаиду и Петра Костановых. У них и жили последние 10 дней. Сначала жили в Boulogne, на Denfert Rocherau, у леса Булонского, куда часто ходили гулять. Встречались там и с Юсуповыми, у которых бывали иногда. И они были у меня на концерте. Княгиня Ирина все еще очень интересна и красива, хотя 22.II было 17 лет, как она замужем. Милые, простые люди, очень любящие искусство вообще, мои стихи в частности. Петр Маркович все хворает, нервничает. Жаль его. И заработки скверные совсем.

А мы встречаем весну. 3 градуса в тени, таянье дружное. С таким удовольствием пойдем, как только вскроется лед, на речку ловить лососек. Читать ничего не хочется, когда чувствуется весна, да и книг нет. Все, что привезли с собою, прочитано давно. На днях у нас был гость — директор Госуд<арственного> завода инженер А. К. Эссен, наш друг с 1920 г. Провел два дня. Погуляли в парке у моря, почитали многих поэтов. А так мы месяцами никого не видим, да и не очень грустим об этом: зимою столько всегда вокруг людей в путешествии! В Белграде все дни были расписаны дней за 10—12 вперед. Принимали всюду воистину по-царски. В одном Белграде более 80 чел<овек> х о р о ш о знакомых, а сколько мельком!

Итак, жду от Вас 15.IV письма. Сообщил Вам все новости. Теперь очередь за Вами. Фелисса Мих<айловна> и я Вам, Вашему мужу и Асе сердечные шлем приветы. Прошлой осенью послал Вам стихи для М<акара> Д<митриевича>: «Ночь на Алтае». Получили ли? Целую Ваши ручки.

Всегда Ваш

Игорь

54

5 мая 1931 г.

Toila, 5.V. 1931 г.

Дорогая Августа Дмитриевна, Вашу открытку и письмо я получил, благодарю Вас. Мы с женой радуемся выздоровлению Вашего мужа (сообщите, пожалуйста, его имя-отчество).

Наступает весна, появляется травка и подснежники, лед прошел, прилетели скворцы, но в горах у нас еще много снега. Мы уже ходили на речку ловить рыбу, уже поймали четыре лососки: $3\,^{1}/_{2}$, две по $1\,^{1}/_{2}$, $^{3}/_{4}$. Очень хороша весна у нас на севере, а вот в Югославии жаловались нам, что совсем весны не видят: сразу после зимы лето. Я доволен, что не на юге живу: было бы очень досадно жить без весны.

На днях читал вторую корректуру своей книги «Классические розы», выходящей в Белграде. Масса убийственных опечаток. Я принял меры, чтобы их впредь не было, но это очень трудно бороться с безграмотностью так называемых «интеллигентных» корректоров. Сколько огорчения причинили мне за эти годы издатели в Берлине! Напр<имер>, сборники «Фея Eiole», «Менестрель», «Миррэлия» полны невероятных ошибок. Сообщаю Вам стихи «Ночь на Алтае»:

На горах Алтая,
Под сплошной галдеж,
Собралась, болтая,
Летом молодежь.

Юношество это
Было из Москвы.
И стихи поэта
Им читали Вы.

Им, кто даже имя
Вряд ли знал мое,
Им, кто сплел с другими
Все свое житье...

Ночь на бивуаке.
Ужин из ухи.
И костры во мраке.
И стихи, стихи!

Кедры. Водопады.
Снег. Луна. Цветы.
Словом, все что надо
Торжеству мечты.

Ново поколенье,
А слова ветхи.
Отчего ж волненье
Вызвали стихи?

Отчего ж читали
Вы им до утра

В зауральской дали
В отблесках костра?

Молодежь просила
Песен без конца:
Лишь для русских – сила
Русского певца!

Я горжусь, читая
Ваше письмецо,
Как в горах Алтая
Выявил лицо...

Toila, 1929. («Сегодня», Рига)

Стихи вошли в «Классич<еские> розы». Туда вошли стихи 1922–30 гг. Всего 160. Целую Ваши ручки. Ф<елисса> М<ихайловна> и я шлем Вам и мужу Вашему искренние свои приветы. Итак, жду от 15.V письма.

Всегда Ваш

Игорь

P. S. Только на днях отделался от жестокой невралгии правой стороны головы. Ежедневно от 11 у<тра> до 3 дня. Очень изнуряло.

55

5 июня 1931 г.

Toila, 5. VI. 1931

Дорогая Августа Дмитриевна!

Письмо Ваше своевременно получил, – благодарю Вас. Время летит очень быстро, – вот уже весна почти прошла. Погода все время меняется: то грозы, то град, то чудные жаркие дни, то хмурые и холодные. Сейчас, напр<имер>, 6 град<усов> тепла. В горах все еще снег. Думаю, Ася уже приехал к Вам, и Вы рады. Радостно радости ближнего. Что касается Эссена, это тот самый. Он приветствует Фед<ора> Фед<оровича>. Жизнь наша течет очень буднично и однообразно, но в этом однообразии много своеобразного очарования. Скучать мы не умеем, наслаждаясь природой. Книга моя все еще печатается. Уж очень долго что-то! На днях были гости из Нарвы, вскоре ждем из Ревеля. В ночь на 24.VI у нас жгут костер, играет в парке оркестр, танцуют. На

фоне моря все это очень живописно. Приезжает много публики в автокарах и автомобилях. Между Toila и Гунгербургом (37 верст) ходят автобусы. Где думаете проводить лето?

Фелисса Мих<айловна> и я шлем Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе наши сердечные приветы. А осенью мы, кажется, поедем прямо через Ригу, Варшаву и Будапешт в Белград, Софию и Кишинев. Впрочем, пока ничего не известно в точности, и трудно вперед загадывать: уж очень напряженное время... Вы не находите?..

Игорь

56

5 июля 1931 г.

Toila, 5.VII.1931 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

очень обидно, что в это лето Асе так мало придется с Вами побыть, что эти переэкзаменовки отвлекают Вас. Вполне сочувствую Вам. Но что же поделать. Зато он хороший, видимо, юноша, и со временем все образуется. Главное — не унывайте. Воображаю, как он мучается сам. В котором он классе? Что думает после школы предпринять. Любит ли искусство? Музыку или поэзию?

А у нас злоба дня: сумасшедший. Да, он появился в местечке Иеве за 12 верст от нас. Сын бедных хуторян. Учился в университете, но заучился и «спятил». Был в сумасш<едшем> доме, но т. к. родителям тяжело за него платить, его выпустили на свободу. И теперь он «орудует». Нападает исключительно на женщин и бьет их до полусмерти. Одну женщину бил до того на кладбище, что, придя домой, она умерла. Иногда (представляете себе удовольствие жителей Toila?) приходит и в нашу деревушку и разгуливает в парке. На днях поймал в парке пастушку 12 лет и чуть не задушил. А иногда нападает на дороге между Toila и Иеве. В общем, мы знаем лично четырех, кого он пробовал убить. И никто ничего не предпринимает, а власти его не трогают, — ждут, когда убьет еще кого-нибудь. Управа же местечка не находит нужным платить за него в дом умалишенных. Милые времена, не правда ли? Фелисса же Мих<айловна> любит прогулки в одиночестве по парку, и, следов<ательно>, рискует жизнью. На днях я заявлю обо всем этом мин<истру> внутр<енних> дел. Целую Ваши ручки.

Ваш Игорь

Ф<елисса> М<ихайловна> и я шлем серд<ечный> привет Ф<едору> Ф<едоровичу> и Асе.

57

5 августа 1931 г.

Toila, 5.VIII.1931 г.

Дорогая Августа Дмитриевна, вот еще один месяц прошел – как сон, пронесся, и все меньше и меньше впереди этих месяцев! К нам понаехали гости отовсюду, и шум, и гам с утра до ночи. Но все же я уделяю минутку для этой открытки. Лето стоит дивное, дни пленительные, без дождя, без особой жары. Фелисса Мих<айловна>, – она приветствует Вас и Ф<едора> Ф<едоровича>, – ежедневно купается в море, а я не могу – сердце. Читали ли Вы мои новые стихи (их там 5) в журнале «Числа?» № 5, выходит в Париже. Спасибо за вырезку из «Руля». А я не знал. Но портрет очень примитивен и плох, не правда ли? Сегодня получил письмо из Белграда, – моя книга выходит на днях в свет («Классич<еские> розы»). Сумасшедший куда-то упрятан. А каково времечко и для Германии, и для всего мира! Чувствуется близость встряски и вс́тряски основательной... Сплошная жуть. Целую Ваши ручки. Сердечный привет Фед<ору> Фед<оровичу>. Что М<акар> Д<митриевич>? Пишет ли он Вам? И ему, и жене его, когда будете писать, передайте, пожалуйста, от меня приветы.

Всегда Ваш

Игорь

58

5 сентября 1931 г.

Toila, 5.IX.31 г.

Дорогая Августа Дмитриевна, вот и еще одна осень в нашей жизни – желтеют и алеют листья, серые деньки, бури на море, холодный воздух по утрам. Гости наши все разъехались – и прив<ат>-доцент из Юрьева, и маг<истр> фил<ософии> из Праги, и барышня из Гунгенб<урга>, и вдова художника из Ревеля, и еще одна дама из Юрьева, и супруги из Нарвы. Дня через два приедет один поляк из Варшавы, – и вновь никого, если не считать Эссена, живущего тут же, т. к. расстояние в 16 килом<етров> для нас не более чем горожанам окраина города. Между 1–15 окт<ября> мы, с Божией помощью, уезжаем на заработки – в Югославию, Болгарию и Румынию. Возможны три маршрута: 1) Ревель – Рига – Варшава – Будапешт – Суботица – Белград. 2) Варшава – Вильна – Любляна – Белград. 3) Ревель – Рига – Ков-

но — Берлин — Брюссель — Париж — Любляна — Белград. Все будет зависеть от графини К<арузо> в Брюсселе и от одной дамы в Париже: если удастся там сорганизовать вечера, мы поедем через Берлин. И тогда уж, конечно, будем очень рады с Вами повидаться на денек, тем более что в Берлине пересадка обязательная. Хорошо было бы и выступить где-либо попутно, хотя бы и в небольшом зале. Или даже где-либо в салоне у какой-нибудь меценатки, если такие еще не перевелись.

Книга моя на днях только вышла из печати, но я еще ни одного экз<емпляра> не получил. Как Вы живете? Что нового у Вас? Как Ася?

А пока в ожидании скитаний мы целодневно в парке, где удим форелей и окуней. В это лето я написал всего 4 стих<отворения> — необходимо дать отдых и сердцу, и мозгу. Фелисса Мих<айловна> и я шлем Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе наши искренние приветы. Нас очень тянет Далмация на Адриатике, где мы провели в январе неделю. Там, около Каттарро, в 18-ти от него кил<ометрах>, есть прелестный городок Ризан, где, возможно, мы поселимся, недели на две, и я напишу стихи несколько иной тональности, ловя в бухте кефалей.

Ваш Игорь

59

19 октября 1931 г.

Toila, 19.X.1931 г.

Дорогая Августа Дмитриевна, простите, что чуть опаздываю, но перед отъездом масса хлопот. Мы уезжаем 20 окт<ября> в 3 ч<аса> дня в Ревель, оттуда дня через три в Юрьев, Ригу. В Белграде будем около 8—10 ноября. Я напишу Вам оттуда и, вообще, буду по-прежнему писать каждое пятое, где бы мы ни были. В Париж и Брюссель мы сейчас не поедем. На днях я получил из Югославии уже билеты 1-го класса для разъездов по всей стране gratis. Это очень любезно и удобно. Фелисса Мих<айловна> и я шлем Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе наши искренние приветы. Сообщаю адрес до ноября: Belgrade. J. Rakitin, для меня. Yougoslavie. Rimska, 13. Вы, конечно, успеете написать сюда. Жалеем очень, что не удастся повидаться: в этом, право, что-то роковое...

Здесь так прелестно, что сердце сжимается при мысли, что надо уезжать!

Ваш Игорь

P. S. Не было ли рецензий в «Руле» о моей книге?

60

7 ноября 1931 г.

Любляна (Лайбах).
7.XI.1931 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Сейчас мы прибыли сюда, и я спешу написать вам, т. к. 5-го не мог этого, к сож<алению>, сделать. 3. XI дал вечер в Варшаве, 5.XI в Мариборе (Марбурге), 6.XI в Птуе (Петеуме). Здесь даю 9.XI, а затем сразу едем в Белград, где жду от Вас весточки. Мы едем уже с 20.X. 3 дня были в Ревеле, 3 дня в Юрьеве, в Риге и 5 в Варшаве. Погода за Тиролем стала летней, солнце горячей. Прелестный город Марбург! Живописный. Милые люди. Одна дама свезла нас в своем авто за 18 кил<ометров> в древний Петеум. Но в открытке трудно все рассказать. Когда-нибудь впоследствии. Целую Ваши ручки. Ф<елисса> М<ихайловна> приветствует, как и я, Вас и Ф<едора> Ф<едоровича>. Всего доброго.

Ваш Игорь

61

5 декабря 1931 г.

г. Казанлык, 5.XII.1931 г.

Дорогая Августа Дмитриевна! Пятое декабря застает нас в Болгарии, в городке, расположенном в знаменитой долине роз у подножья Балканских гор. Сегодня даем концерт. С 12.XI мы обретаемся в Болгарии, встречая повсеместно самый сердечный, самый воистину братский и восторженный прием. Дал в Софии два концерта, в Пловдиве два, один в Стара Загора. Отсюда едем в Сливен, Рущук, Тырново, Варну, Шумен, Плевну и Ловеч. Вернемся в Софию около 15.XII, где предположен третий концерт. А потом, с Божией помощью, в Белград и дальше. 24–25.XI ездили с начальником культ<урного> отдела и его женой в автомобиле Мин<истерства> народн<ого> просв<ещения> за 136 килом<етров> от столицы в тысячелетний мужской Рильский монастырь, расположенный среди отвесных гор со снежными вершинами на высоте более 1500 метров. Поездка оставила глубокое впечатление. В Софии встречаемся ежедневно с Массалитиновым, Краснопольской, Любовью Столицей, А. М. Федоровым, вдовой Нест<ора> Котляревского и мн. др. Болгарское общество приглашает на обеды и ужины,

мин<истерство> оплачивает отэль. Все это очень мило и трогательно, но не менее утомительно. Часа нет свободного. С утра фотографы, интервью, редакторы, почитатели. А в провинции, во всех городах, ходят барабанщики, сзывают грохотом барабана толпу и громогласно объявляют, — просто кричат, — о моем концерте! Так что имя мое звучит повсюду, даже на перекрестках улиц. Нельзя сказать, чтобы это было очень приятно. Но что поделать: надо зарабатывать свой покой! Покой, заработанный шумом, — какая ирония!

Ф<елисса> М<ихайловна> и я шлем Вам и Ф<едору> Ф<едоровичу> наши искренние приветы. Целую Ваши ручки. Где-то будем 5 янв<аря>?

Всегда Ваш

Игорь

62

5 января 1932 г.

Toila, 5 янв. 1932 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

мы вернулись домой 1 янв<аря> в 11 ч<асов> веч<ера> прямо из Дубровника, где встречали Рождество в цветущих розах и зреющих перед окнами виллы апельсинах, при 22 град<усах> тепла, и попали в полосу морозов и снежных вихрей. Еще 27-го давал в Белграде концерт, и вот мы уже дома. Благодарим Вас, Фед<ора> Фед<оровича> и Асю за поздравления, получен<ные> в Белграде и, в свою очередь, поздравляем всех Вас. В дороге мы очень устали, т. к. не спали ровно семь ночей, и теперь отдыхаем. Мы побывали в 19 городах, в том числе и в Сараево, где провели 8 часов у знакомых, и дали в общей сложности 15 концертов. Это меня так утомило, что я отклонил 8 вечеров и поспешил домой, где так своеобразно очаровательно. Результаты материальные по причине всеобщего безденежья не блестящи, но все же я вполне доволен. Уж очень дешевы билеты в этом году: первый ряд в Софии шел по 10 лев, в провинции по 5 лев! В Белграде по 40 динаров — это уже прилично. Целую Ваши ручки, шлем привет Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе. Все Ваши письма получил своевременно. Вскоре принимаюсь за большую работу по переводу стихов с болгарского. Осенью, возможно, проедем прямо в Дубровник к своим друзьям, которые усиленно приглашали нас погостить у них на вилле длительнее. У них своя машина,

и мы вновь хотим в Каттарро, Цетинье и Сполатто (Сплит). Там мы еще не были.

Ф<елисса> М<ихайловна> шлет искр<енний> привет свой.

Всегда Ваш

Игорь

63

9 февраля 1932 г.

Toila, 5.II.1932 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

шлем Вам с Фед<ором> Фед<оровичем> свой февральский привет. Рады, что Ася учится теперь лучше. Наш Вакх, – ему 1-го авг<уста> исполняется 10 лет, – учится в сельской школе очень хорошо. Второй год уже бегает. На днях получил извещение из Парижа о свадьбе Анаиды Марк<овны> с кн. А. В. Оболенским. Помните ли Вы ее? Встречаете ли в Берлине Элеон<ору> Марк<овну> и ее мужа? Ведь Вы меня с ними познакомили в 1918 г.

14.II меня приглашают выступить в концерте в Ревеле в конц<ертном> зале «Эстония», вмещающем около 2500 человек и славящимся на весь мир своей акустикой. Смирнов, напр<имер>, говорил мне, что, объездив весь мир, считает «Эстонию» на втором месте. На первый ставит зал в Сиднее. Я уже выступал там дважды. Теперь вскоре четыре года в Ревеле не выступал. Веду переговоры. Не знаю – сойдемся ли в условиях. А 17.II назначено мое чтение в Нарве, где тоже не читал года четыре. Об этом уже объявлено в эст<онских> газетах. Приезжайте с Фед<ором> Фед<оровичем> летом в Тойлу на дачу. Или к нам погостить. Когда-то мы еще попадем в Берлин: он не по пути всегда... Целую Ваши ручки. Фел<исса> Мих<айловна> и я шлем вам обеим свои приветы.

Всегда Ваш

Игорь

64

5 мая 1932 г.

Toila, 5.V.1932 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

приветствую Вас с возвращением домой. В марте не писал по той причине, что Вы дали знать о своем отъезде, а в апреле боялся писать на

Меран, думая, что письмо мое Вас уже там не застанет. Все Ваши письма и открытки получил своевременно, — благодарю Вас за них.

В феврале выступал в Ревеле и Нарве, в апреле снова в Нарве. Первый раз в зале было 250, а вторично 400 человек. В Ревеле же 1200. Везде прием был очень хорошим. Теперь до осени засел в деревне. Ловлю весенних лососок, поймал уже 9 штук: $3\,^{1}/_{4}$, $2\,^{1}/_{2}$, $1\,^{3}/_{4}$, $1\,^{1}/_{2}$, 1 и три по $^{1}/_{2}$ ф<унта>. Одна, — фунтов в 7, — сорвалась, это очень досадно. Но она порвала себе губу.

На Пасху приезжали к нам Кайгородовы из Ревеля. Провели неделю. Она — теософка, он — художник. Набросал три этюда. По вечерам много читали стихов. На этих днях приезжает к нам из Лондона одна молодая дама. Проведет у нас все лето. Англичанка по отцу, итальянка по матери. А осенью мы хотим посетить Югославию и Румынию. Из Дубровника (Рагуза) нас очень зовет к себе одна добрая знакомая, Мария Андреевна Сливинская, у которой мы каждый раз на вилле останавливаемся.

Отчего бы и Вам и Фед<ору> Фед<оровичу> когда-нибудь не побывать там? Дивный край, в особенности далматинское побережье Адриатики, Черногория и Босния. Ехать лучше всего через Вену, Марбург, Загреб, Броды на Сараево. Но, конечно, красивее путь через Белград на Сараево. Приезжайте туда в октябре-ноябре, там мы и встретимся с Вами. Это — чудная идея. У Сливинской большая вилла на берегу моря, раньше они держали пансион, но думаю, что и теперь они уступили бы Вам одну из комнат. Веранда вся в глициниях, а в саду розы и апельсины.

Как идут экзамены Аси? Наш Вакх весной в третий класс переходит. Всего же 6 классов подготовительных к гимназии. Вот Вы каждый год путешествуете, и это очень интересно. Когда же в наши края, на Балтийское море? А следовало бы взглянуть на север, на нашу хибарку: и здесь много очарования и даже, если хотите, красоты. Впрочем, Тойла — лучшее место всей Эстонии...

И Фелисса Михайловна, и я шлем Вам и Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе наши искренние приветы. Целую Ваши ручки.

Сердечно всегда Ваш.

Игорь

65

5 июля 1932 г.

Toila, 5.VII.1932 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

Вы так и не ответили на мое письмо от 5-го мая, письмо, в котором я советовал Вам побывать осенью в Югославии, где мы могли бы с Вами,

б<ыть> м<ожет>, встретиться. Наши письма тогда разошлись, т. к. Вас не было в Берлине, — это я понял из вашей открытки. В июне, я каюсь, не писал, т. к. не знал, где Вы снова находитесь (как уже однажды было зимою). Но полагал, что Вы, по приезде домой, все же меня вспомните. Ответьте, пожалуйста, теперь сразу же, чтобы восстановить переписку, т. е. чтобы 5 авг<уста> я мог смело уже Вам писать, зная наверняка, что письмо мое будет Вами получено. Прошла уже половина лета: отцвели сирень и яблони (у нас это совсем недавно!), отзвучали соловьи, в лесу набухают грибы, — приближается осень. Опять уже осень? Так скоро? Да, да, осень. Так проходит жизнь... Мы целыми днями у моря, у речки, в парке. Изредка кто-нибудь приедет из городов. Вскоре ждем одну молодую даму из Лондона. Она должна была давно уже быть здесь, но у нее заболела младшая сестра, что задержало ее приезд из Англии. В настоящее время мы с Фелиссой Мих<айловной> сделались издателями: печатаем в Нарве на свой счет новую книгу стихов: «Адриатика». Нас побудило на этот шаг два обстоятельства: невероятная дешевизна типографского труда и необходимость (неизбежность, увы!) скорого заработка: сбережения наши от последней поездки кончаются, иссякают, — надо хоть на дорогу до Югославии заработать. Но это удастся только в случае распродажи половины издания. Всего же мы печатаем 500 экз<емпляров>. Продавать будем не очень дорого: 8 франц<узских> франков за экземпляр. И только в таком случае удастся что-нибудь заработать. В магазины издания не дадим: слишком большие комиссионные (40 проц<ентов>) да и опасно: не получишь с них после денег!.. Поэтому решили просить н а д е ж н ы х знакомых содействовать распространению книг, т. е. предлагать книги их знакомым. Написал уже в Париж, Брюссель, Лондон, Белград, Софию и т. д. К сожал<ению>, в Берлине у меня нет никого, кроме Вас, кому я мог бы доверить книги. Но мне ужасно неприятно беспокоить Вас! М<ожет> б<ыть>, все же разрешите, дорогой друг, прислать Вам несколько экз<емпляров> на пробу? Вы нас очень этим обяжете. В Берлине можно продавать на нем<ецкие> марки сообразно с франками. Да, издание книги — это единственный более или менее приличный выход из того неприличного положения, в котором, благодаря кризису, может вновь очутиться поэт, за последние годы ставший было слегка оправляться от тягот былых лет зарубежья... Сообщите, как Ася — т. е. как его успехи? Как Вы с Фед<ором> Фед<оровичем> проводите лето? Что думаете по поводу Рагузы осенью? Вот было бы хорошо! Фел<исса> Мих<айловна> и я шлем Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе лучшие наши воспоминания и чувства. Целую Ваши ручки. Жду весточки. Сколько экз<емпляров>, — если, конечно, Вы позволите, — Вам прислать? Вскоре будут готовы и мои новые портреты. А

Белград задерживает выпуск моих двух новых книг: «Lugne» и «Медальоны».

Всегда Ваш

Игорь

66

5 августа 1932 г.

Estonie. Toila. 5.VIII.1932 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

приветствуем Вас и Фед<ора> Фед<оровича> и Асю в горах Швейцарии! Лето проводим прелестно. На днях приехала к нам из Лондона знакомая. Она любит движение и веселье. Мы очень этому обрадованы. Спасибо большое за содействие касательно книг. Книги вышли в свет только вчера. Я пришлю Вам в конце августа. Фел<исса> Мих<айловна> и я шлем вам всем искренние пожелания. Ждем вестей.

Ваш всегда

Игорь

67

5 сентября 1932 г.

Toila, 5 сент.

Дорогая Августа Дмитриевна,

получили ли Вы мою открытку от 5 авг<уста> на Лугано и вернулись ли уже домой? 30 авг<уста> я выслал Вам 20 экз<емпляров> книжки своей, — как она дошла: не смялись ли, не запачкались ли? Я разослал уже по всей Европе 285 экз<емпляров>. За две недели выручил $^3/_4$ себестоимости!.. Как Вы путешествовали? Довольны ли поездкой? Я получил от Вас только две открытки. У нас сезон дачный закончился. Эссен прожил 6 дней. Вспоминал о Фед<оре> Фед<оровиче> и просил ему кланяться. На днях ждем эст<онского> поэта Адамса. Приедет с невестой к нам дней на 10. В этом году много в лесу брусники и грибов. Мы пробудем здесь до 25 окт<ября>. Наша миссис Braithwaite все еще у нас. Пробудет до поздней осени, а потом уедет в Италию к сестре. Шлем с Фел<иссой> Мих<айловной> Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и

Асе искренние приветы наши. Скоро ли уедет Ася в Стокгольм? Пишите все подробно. Дела наши не из блестящих, но надеемся на дальнейшую успешную продажу книг. Вскоре рассчитываем уже на прибыль. Тянет в Рагузу. Возможно, поедем туда прямо, а оттуда уже в Румынию.

Целую Ваши ручки. Жду письма.

Всегда Ваш

Игорь

68

5 октября 1932 г.

Toila, 5.X.1932 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

очень порадовались мы за вас, что так удачно путешествовали этим летом, что Ася был с вами и что его успехи радуют вас. А помните, было время, когда Вы были сильно обеспокоены его судьбой. Но у каждого юноши бывает такая полоса, когда он временно слабо учится, с годами – иногда с месяцами – это проходит. Так и у Аси: кризис миновал и, уверен, впредь пойдет все благополучно. А мальчик он, видимо, способный, раз мог поступить в лучшее учебное заведение Стокгольма. Помогай ему Бог в его занятиях! Что касается нас с Фелиссой Мих<айловной>, могу Вам сообщить, что в конце октября мы предполагаем отправиться в путь на всю зиму на заработки. Принимая во внимание, что в Югославии и Болгарии мы уже были, причем в первой два года подряд, на этот раз, раньше всего, мы хотим посетить Румынию, а оттуда, при благополучном стечении обстоятельств, возможно, вновь проедем в Югославию, на Адриатику, в Рагузу. Но пока это только мечты, тем более что Мария Андреевна Сливинская писала мне на днях, что они с Александром Влад<имировичем> собираются уехать из Рагузы навсегда. Не мыслим себе пребывания в Далмации без их общества: это на редкость обаятельная чета. Если они уедут, мы, пожалуй, и не поедем туда вовсе. Но пока что они усиленно нас к себе приглашают. Однако нам больше смысла ехать сразу в Бессарабию, где столько русских и где, значит, можно так или иначе рассчитывать на заработок. Дела наши, как и каждую осень, слабы, мы заняты теперь выискиванием средств к движению. Но теперь достать деньги чрезвычайно затруднительно, благодаря милой мировой ситуации. И нужны-то гроши: каких-нибудь 50–60 долларов, но достать их нам, повторяю, не так-то

просто. Я разослал уже по Европе 345 экз<емпляров> «Адриатики», отовсюду пишут об удачной продаже, но, к сожал<ению>, деньги переводить почти немыслимо. Эстония и отчасти Латвия целиком окупили мне стоимость издания, и я уже не в убытке, но прибыли пока нет, т. к. нельзя достать денег из-за границы. Поэтому я пошел на явный риск, прося всех знакомых, продающих любезно мои книжки, посылать деньги в простых письмах. Из Варшавы получил на днях таким способом 25 злотых. Теперь жду из Югославии, Болгарии, Литвы и друг<их> мест. Вот и Вы, дорогой друг мой, если Вам посчастливилось продать несколько экз<емпляров>, не откажите в любезности послать до нашего отъезда немецкие марки в п р о с т о м письме: перед отъездом, сами знаете, каждый грош имеет громадное значение. Но лучше всего послать одной аккредитивой, притом не очень новой, дабы избежать хруста, свойственного всем ассигнациям. Впрочем, м<ожет> б<ыть>, Вы найдете какой-нибудь другой способ пересылки? Если же нет, рискуйте, прошу Вас, тем или другим способом. О получении немедленно извещу. Самое позднее, конечно, около 15—20 окт<ября>, т. к. после 20-го мы думаем сразу же уезжать. С пути и из Румынии я буду писать Вам обязательно, и, если к январю-февралю попадем в Рагузу, м<ожет> б<ыть>, и Вы с Фед<ором> Фед<оровичем> проедете туда? Это было бы упоительно! Все наши гости уже разъехались. На днях уехала от нас жена поэта Виснапу, пробывшая две недели, а вчера уехала в городок Иеве (в 12 кил<ометрах> от нас) и missis Braithwaite, проведшая у нас $2\,^{1}/_{2}$ мес<яца>. Она будет теперь давать в Иеве уроки итал<ьянского> языка. Имеет их уже 7. По субботам будет приходить к нам. Жаль, что это продлится недолго, т. к. мы вскоре уезжаем. Ей будет скучно среди чужих. Осень с каждым днем все больше и больше вступает в свои права: листья желтеют и алеют, море бурно, в саду астры и георгины, но еще много солнца и очень тепло. Иногда я хожу ловить окуней и щук за 6 кил<ометров> в леса к Иеве — я очень люблю прогулки пешком, и мне было приятно узнать из письма Вашего, что и Вы, и Фед<ор> Фед<орович> совершали легко и бодро большие «проходы», а еще лучше по старинке: «переходы...» Мы с Фелиссой Мих<айловной> теперь много читаем. «Атлантида» и «Иисус Неизвестный» Мережковского, «Отчий дом» Чирикова, несколько книг Ремизова, Зайцева, Бунина и «Трагедия адм<ирала> Колчака» в 5-ти т. Мельгунова. Но все это не то, что хотелось бы прочесть и чего нет под рукой. По обыкновению!.. Я целую Ваши ручки. Сердечный привет Вам и Фед<ору> Фед<оровичу>.

Эссен приветствует и благодарит за память. На днях мы виделись тут с ним, и я передал ему привет от Фед<ора> Фед<оровича>.

Неизменно Ваш всегда

Игорь

P. S. Когда будете писать Асе, скажите ему, что я вспоминаю его и приветствую.

Иг.

69

14 октября 1932 г.

Toila, 14.X. 1932 г.

Дорогая Августа Дмитриевна, чрезвычайно признателен Вам за любезное письмо от 9 окт<ября>. Отвечаю незамедлительно. То, что сообщаете о вывозе денег из Эстии, конечно, крайне затруднительно, но мы все же надеемся получать по пути небольшие суммы, следуемые за книги. Самая же насущная надобность именно здесь перед дорогой, т. к. я сильно опасаюсь, что мне не хватит на билеты, визы и проч. У меня же обыкновение — покупать билеты в бюро путеш<ествий> сразу до места назначения. В этом способе таится масса преимуществ: покупаешь сразу на одну валюту, дешевле и действительны они 2 месяца. Так вот, основываясь на этом, я и попросил бы Вас перевести деньги непосредственно сюда, в Эстонию. Конечно, было бы самое удобное — почтовым переводом, но если нельзя, банковским чеком. Дело в том, что почта у нас рядом, а ближайший банк в 12-ти километрах. Впрочем, это уж не так страшно, если нет иного способа. Боюсь, что не соберу в этом году из-за кризиса нужной суммы, поэтому-то и обращаю внимание на каждую, даже мелкую, получку: понемногу отовсюду — в результате что-то. Вы отлично, верю, меня понимаете. Мы с Фелиссой Михайловной шлем Вам и Федору Федоровичу искреннюю нашу благодарность за отзывчивость Вашу и просим принять наши самые теплые приветы. Итак, в ожидании от Вас весточки скорой целую ручки Ваши. Настроение пока все-таки очень бодрое и светлое. Впрочем, это уж у меня такая натура. И это, несомненно, очень и очень хорошо, не правда ли? Поедем мы через Ревель, Юрьев, Ригу, Варшаву, Львов прямо на Кишинев. Я напишу Вам с дороги. Да и из Toila, когда получу, извещу Вас. Всего хорошего. Всегда с Вами.

Игорь

P. S. В Париже книжки мои продает Тэффи, в Брюсселе — графиня С. И. Карузо, давняя приятельница из Харькова, в Нью-Йорке художник С. В. Животовский, в Софии вдова акад<емика> Нестора Котляревского и т. д. Всем им написал, но ответов пока нет: еще рано. На днях начну, вероятно, получать. От всего этого зависит наша судьба, а вернее — день отъезда в Румынию. Асе, пожалуйста, кланяйтесь при

случае. Неужели вы и весною не приедете в наши края?! Здесь так очаровательно.

Иг.

Сколько, интересно, экз<емпляров> удалось Вам пока продать?

70

24 октября 1932 г.

Toila, 24.X. 1932 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Перевод Ваш получил в субботу, 22 окт<ября>. Не нахожу слов благодарить за Вашу большую любезность. Благодаря разнице в курсе я имею 4 кроны лишних: здесь продаю по кроне. Теперь буду ждать из других мест. Когда поедем, сообщу. Спешу отправить эту открытку. Получил и второе Ваше письмо, — спасибо. Очень приятно было узнать, что в Испании есть человек, которому понравилась «Адриатика». Привет незнакомке. Вы интересуетесь Вакхом? Фел<исса> Мих<айловна> дает ему ежедневно двухчасовой урок русского языка. Он делает большие успехи. Они читают вместе Чарскую, Купера и Жюль Верна. Учится он в III классе. Сплошные пятерки. Всего здесь 6 классов. Потом в гимназию в Нарве. Мальчик он хороший, не лжет никогда. Бойкий и предприимчивый. Строит сам аэропланы, делает коробочки из сосновой коры, рисует. Всегда чем-нибудь занят. Фел<исса> Мих<айловна> и я Вам и Фед<ору> Фед<оровичу> шлем самые искренние наши приветы.

Целую Ваши ручки.

Всегда Ваш

Игорь

P. S. Вакх много слышал от нас о Вас и Асе, живо интересуется и преисполнен хороших чувств к далеким друзьям нашим. Он шлет Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе свой привет. Кланяйтесь, пожалуйста, и от нас Асе.

Иг.

Меня мучает мысль, что Вы не все еще экз<емпляры> продали: удастся ли Вам все распространить? Крайне неловко... Еще раз большое-большое сердечное спасибо!

Сию минуту получил Ваше письмо от 20.X! Приношу Вам за него свою признательность, тронутый до глубины души. Итак, еще 8 экз<емпляров>! Это уже лучше...

Бог даст, разойдутся все.

71

5 ноября 1932 г.

Toila, 5.XI.1932 г.

Дорогая Августа Дмитриевна! Пятое ноября застает нас все еще дома, и теперь уж я совсем не знаю, когда удастся нам уехать и удастся ли вообще. В Ревеле мы так все еще и не побывали, ожидая со всех сторон получек за книжку, но их, этих получек, чрезвычайно мало, и многие совсем ничего не сообщают. При таких условиях трудно на что-нибудь решиться. Все же деньги, которые удалось получить, понемногу распыляются и уходят на жизнь здесь. Жизнь, правда, дешева до удивления, но и она чего-нибудь стоит. В результате — не только <не> удалось что-либо отложить на дорогу, а не хватает на прожитие и, несмотря на героические наши усилия, пришлось уже задолжать теще за ребенка, тем более что ему пришлось шить новое пальто, купить сапоги и новые для школы книги. Но других долгов пока, слава Богу, нет — живем на наличные гроши, выручаемые от книг. Но теща сама в крайне стесненных обстоятельствах, и долг наш, в размере 16 долларов, весьма для нее существен. Фелисса Михайл<овна> угнетена и нервничает, что из-за нашего сына страдает ее престарелая (более 70 лет!) мать. Перешивать же из моих старых вещей невозможно, т. к. я ношу в деревне вещи до тех пор, пока они буквально не расползаются по швам!.. Что же касается Вакхиного крестного отца, то Эссен, несмотря на то, что является очень милым и просвещенным человеком, за все $10\,^1/_4$ лет существования своего крестника не помог ему ничем и никогда. Даже шоколадной плитки не привез никогда!.. По новым, — послевоенным, — понятиям это, очевидно, называется бережливостью, но по старым русским, если память мне не изменяет, это называлось несколько иначе... Вообще, должен с грустью признаться, что русская колония в Эстонии отличается какой-то совершенно особой неотзывчивостью и бессердечием, несмотря на то, что среди нее есть много людей не только состоятельных, но прямо-таки миллионеров! Работать же в газетах и журналах стало немыслимо: везде партийщина, кружковщина, кумовство. Больше года я не работаю ни в о д н о й газете! А самое главное — редакции мстят мне, пользуясь моей теперешней зависимостью материальной, за всю мою былую независимость и самостоятельность, и игнорирование авторитетов. Ситуация не из легких, как видите! Все наши корифеи вроде Мережковских, Куприна, Зайцева, Шмелева и др., получают субсидии из Югославии и Чехословакии в размере 500—1000—2000 франков в месяц! Мы же лишены

этой возможности, т. к., когда об этом узнали, было уже поздно: начался кризис, и новых стипендиатов не брали уже. Целую Ваши ручки. Искренний привет от Ф<елиссы> М<ихайловны> и меня Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе.

Всегда Ваш

Игорь

Простите за неинтересное письмо, но очень уж наболело на душе и кому еще и сказать, как не Вам, другу испытанному.

72

5 декабря 1932 г.

Toila, 5.XII.1932 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Вскоре Рождество, а мы все еще сидим дома. Уже по календарю декабрь, а зима такая необычная: ежедневно сияет солнышко, нет ни снежинки, в саду цветут анютины глазки!.. По утрам я занят интенсивной перепиской старых рукописей, подготовляя некоторые из них к печати, — если удастся это сделать, — весною. Днем, в сумерки, мы с Фелиссой Мих<айловной> делаем нашу обычную прогулку по гористому чудесному парку нашему, совершаем свое ежедневное «рондо», заключающее в себе ровно 5 килом<етров>, по вечерам читаем Загоскина, Мережковского, Шмелева и много стихов. Каждый вечер, — вот уже шестой год, — к нам приходит одна молодая петербурженка-беженка, любящая литературу, и принимает живейшее участие в чтении. Это очень милая дама, с которой всегда так уютно и хорошо мы себя чувствуем. Раньше было в Тойле около 350 беженцев, а теперь человек 10. Большинство из них орыбачилось, некоторые торгуют рыбой. Что касается книжек, всего продано уже 144 экз<емпляра>, прибыли кр<он> 88.27, но получено пока кр<он> 65.00 чистой прибыли. Продано же на сумму кр<он> 138.27. Возвращено же пока 114.99. Из этого следует, что имеет смысл издавать раз в году книжку. На очереди «Lugne» (Люнь), роман в стихах, и «Медальоны» (сонеты о поэтах, писателях и композиторах). Но эти книжки уже будут по 64 стр., и каждое издание обойдется себе по 80.00 крон. Продавать думаю по той же цене. Правда, прибыль будет несколько меньше, но зато книга пойдет лучше, думается. Печатать буду по 1000 экз<емпляров>: надо пользоваться кризисом, потом такое издание будет стоить не меньше 300 крон. Если бы

имел свободные деньги, напечатал бы немедленно и припрятал бы до весны. А весною, м<ожет> б<ыть>, будет много дороже. К сожал<ению>, сделать этого не могу. Кое-как сводим концы с концами. Даже по всем лавкам расплатился. Разве же это не чудо — жить на такую маленькую книжечку четвертый месяц?! Около 15 янв<аря> попробуем все же двинуться в дальний путь. Но пока это лишь мечты. И не очень приятные... Вы меня ужасно обрадовали сообщением о билетах шведской лотереи. Спасибо, спасибо Вам сердечно. Я очень заинтересовался этой возможностью. Дело в том, что я всю жизнь мечтал о билетах, иногда покупал и никогда не выиграл ничего. Но, — странное дело, — всегда верил и верю в них. И знаю наверняка, что выиграю. Как только заработаю что-либо, непременно приобрету билеты: с нового года в Эстонии учреждается госуд<арственная> лотерея. А когда бывает розыгрыш Вашей? Вы пишите — дважды в год. Когда именно? Каждый ли раз Вы проверяете таблицы? Не пропустили ли? Я очень Вам благодарен за чудесное обещание. И — почем знать?.. Поэту ли не верить в чудеса? Верю, верю восторженно! Когда узнаю от Вас дни розыгр<ыша>, уже заранее буду каждый раз настраиваться и жить иллюзиями: это так облегчает тяготы житейские. Я, вообще, надежд не теряю и всегда жду чего-то необычного и значительного. Что же, часто мечты мои и сбывались... Не могу жаловаться. Когда будете писать мне, сообщите, пожалуйста, точное число оставшихся у Вас экз<емпляров>: мне это нужно знать для ведомости по изданию. Прошлый раз было у Вас 8. Удалось ли уменьшить это число? Пользуюсь случаем поздравить Вас, Фед<ора> Фед<оровича> и Асю от лица Ф<елиссы> М<ихайловны> и своего с приближающимися праздниками Р<ождества> Х<ристова> и Новым Годом и пожелать всего доброго и хорошего. Целую Ваши ручки. Вакх тоже приветствует всех Вас. Вот уже почти месяц, как Ф<елисса> М<ихайловна> начала учить его и по-немецки, т. к. в школе нем<ецкий> яз<ык> начинается только с 5-го кл<асса>. Она нашла нужным дать ему подготовку. А с весны будет заниматься и по-французски, хотя этот язык в начальной шестикл<ассной> школе вовсе не преподается. Англичанка наша переехала на зиму в городок Иеве, а летом опять будет у нас, и возможно, что летом Вакх начнет учиться и по-английски. По своему опыту знаю, как трудно без языков.

Ваш Игорь

73

5 января 1933 г.

Toila, 5.I.1933 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Фелисса Михайловна и я сердечно поздравляем Вас, Фед<ора> Фед<оровича> и Асю с Новым Годом, признательные Вам за приветствия Ваши, желаем от души всего хорошего и всяческого благополучия. Да, наступил опять новый год, но ничего хорошего в нем не чувствуется. Жить всем и каждому делается все труднее и труднее, взаимоотношения между государствами становятся все напряженнее и резче, безработица ширится, люди мечутся в тоске и полном отчаяньи, угроза голодных бунтов висит в воздухе. Людям терять уже нечего, — впереди всяческие эксперименты и пробы... Только в ночь на сегодня выпал снег, первый снег в этом сезоне, такой запоздалый, — вообще, все както странно, жутко и небывало...

«Адриатика», эта маленькая серенькая книжечка, доставившая нам столько розовых радостей, — морально и материально, — увы, последнее время перестала нас окончательно не только подкармливать, но и кормить, нигде уже больше не расходится совсем, и, следовательно, положение наше стало из рук вон плохо, и впереди — ужас беспредельный. Жестокая, мучительная бессонница терзает меня по ночам ежедневно, тяжелые, жгучие мысли лезут в голову, сердце не выдерживает, давая перебои, в нем часто такое чувство, как будто огонь сжигает его, колики, и оно рвется на части. Иногда боли физические попросту невыносимы. Совсем, совсем я разболелся от горя, от безнадежности, от безвыходности положения поэта в такие варварские, дикие, «ультракультурные» времена! Вдобавок частые острые боли в области желудка, и от малейших физических усилий, если приходится пилить или рубить дрова, головокружения, одышка, обильный пот, и в результате пластом валюсь на диван, прерывисто дыша, в полусознании. О пище лучше уж и не говорить: хронический отварной картофель, соленая салака, кипяток с несколькими ложками молока. Ни мяса, ни масла, ни жиров. Иногда — днями! — не видим даже хлеба!.. Одним словом — дошли до «точки». Хуже быть, пожалуй, не может. И это при здешней дешевизне баснословной, это тогда, когда день приличной жизни обходится около кроны! Из этого Вы видите, что мы тратим *значительно меньше кроны*... Еще бы! — мы тратим последние недели на все не более 20—30 сентов, т. е. часто меньше трети кроны!.. Тут не удивительно, что будут головокружения. Но мы не сможем платить больше, пока нет надежды расплатиться. И без этого уже опять пришлось всюду задолжать. Но больше всего нас, конечно, мучает,

прямо с ума сводит долг теще за содержание Вакха. А этот долг все растет и растет, и уж нельзя больше должать, это уже становится наглостью, *безнравственным деяньем*. Но повторяю — выходов нет. В Ревель мы до сих пор так и не съездили за неименьем денег на дорогу. Туда и обратно стоит 13 крон. Посудите сами, как это трудно, просто *невыполнимо* для нас, у которых, даже при получении в свое время денег за книжку, никогда не бывало в доме более 2—6 крон! Единственный раз только было 24 кроны, полученных от Вас, но мы тогда прозевали съездить, растерявшись от такой крупной суммы и сгоряча уплатили часть долга, чтобы хоть чуточку вздохнуть полегче. Да и неизвестно, что мы сумеем сделать в Ревеле: теперь, говорят, там такой кризис, что вряд ли сможем достать денег на дорогу в Кишинев. Не дают под векселя — ходят слухи. Не дают даже при надежных жирантах. А риск большой: истратишь 13 крон и ничего не достанешь. А самое главное — и пробовать не можем, не имея денег на дорогу. Вот и сидишь тут, медленно, но верно *погибая*. А для того, чтобы уехать в Кишинев, нужно минимально 250 крон: одни билеты стоят (III класса) — 140 крон в один конец. А визы? А паспорт заграничный? А отэли в пути? Господи! Как все это *непередаваемо* тяжко! И Фелисса Мих<айловна> совсем разболелась: и сердце пошаливает, и бессонница, и глухой постоянный кашель. Что тут предпринять? Как поступить? Голова идет кругом. Вот такие невеселые новости приходится сообщать Вам, дорогой друг мой. Уж Вы простите, ради Бога, что пишу так откровенно. Но я думаю, что смысл нашей переписки — именно в откровенности. Иначе она не была бы дружеской, а лишь светской, т. е. не нужной душе.

И самое горькое, что знаем, отлично знаем, что стоит выбраться отсюда и мы будем спасены. Так всегда бывало. Но выбраться почти невозможно. Toila — прелестное местечко, но тупик. И этот тупик дает себя иногда чувствовать. А из Югославии, Болгарии и Румынии, где моих книжек продано крон на 30, никаким образом денег получить нельзя. Все пишут, что пересылка абсолютно запрещена. И нет никаких обходов закона. Нового писать ничего не в состоянии, единственно чем занимаюсь — это переписываю старые рукописи, приводя их в порядок, не теряя все же надежды, что когда-нибудь они понадобятся.

Все чаще и чаще нам с Ф<елиссой> М<ихайловной> приходит мысль о насильственном прекращении жизни. Пока, однако, еще решиться не можем: слишком мы еще жизнерадостны! Но при таких условиях жизнерадостность вскоре окончательно испарится. Да она уже и испаряется заметно.

Целую Ваши ручки. Шлем искренний привет Вам и Фед<ору> Фед<оровичу>. Нам так радостно, что в его лице Вы, дорогая, нашли вер-

ного и чудного человека, спутника Вашей жизни. Да сохранит Господь Ваше счастье! Вакх вспоминает Вас, приветствует. Мы часто говорим ему о Вас и Асе.

Всегда Ваш
дружески
Игорь

74

20 января 1933 г.

Toila, 20.I.1933 г.

Дорогая Августа Дмитриевна, все время ждал от Вас весточки от 15-го, которая, обыкновенно, приходит к нам 18-го, но, увы, не дождался, и вот пишу вне очереди, чтобы просить Вас передать от имени Вакха сердечную благодарность милому Асе за его трогательное внимание. Само собою разумеется, и Фелисса Михайловна, и я очень тронуты добрым поступком Аси и выражаем ему искреннюю нашу признательность. В ближайшие дни мы едем в Ревель на несколько дней, чтобы на месте выяснить все возможности. Это – последняя ставка. Риск для нас крупный. Пока не были там, все же есть надежда, хотя и очень смутная, но, если, побывав, ничего не устроим, тогда не будет и ее, а без надежды, вдобавок истратив на поездку последние деньги, нельзя будет существовать. Впрочем – «смелым Бог владеет!» «Итак, мы начинаем!..»

Душою Ваш
Игорь

P. S. Ф<елисса> М<ихайловна> и я шлем Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе наши искренние приветы и еще раз выражаем всем Вам свою признательность. В ночь на 5 янв<аря> у нас установилась зима, и вот уже третий день мороз достигает 18–20 градусов. Приходится топить трижды в день, чтобы поддерживать 12–14 град<усов> в комнатах: домик деревянный и без обшивки. Морозы нас – при кризисе – не радуют... Совершенно непредвиденные траты. Жду Вашего письма.

Иг.

P. S. Где тонко, там и рвется: сейчас принесли повестки из волости – требуют так назыв<аемый> «подушной» налог в размере – за нас с Ф<елиссой> М<ихайловной> вдвоем – 15 крон 25 сент<ября>. Вот и поездка в Ревель повисла в воздухе!.. От этого же налога не отвертеться. Срок уплаты: 28 янв<аря>. А потом – «с молотка»!..

75

25 марта 1933 г.

Кишинев, 25.III.1933 г.

Дорогая Августа Дмитриевна, с 9.III мы живем здесь! Из Toila уехали 1.III. Побывали в Юрьеве, Риге, Варшаве. В Ревеле провели 10 дней — от 7 по 18.II. С трудом раздобыли тогда деньги на дорогу, сделав долги. 17.III дал здесь первый вечер, собравший полный зал. Но билеты столь дешевы, что выручка оказалась до смешного микроскопической. Теперь мы ее проживаем в ожидании второго вечера, имеющего быть дней через пять. Зовут и в провинцию, однако и это не сулит никакой пользы. Предприниматели робки и пользуются неважной репутацией. Устраивать же на свой счет у нас нет ни средств, ни уменья, ни знанья местных условий. Вдобавок крупные налоги. Принимают всюду очень тепло и радушно, много знакомств и приглашений, но и я, и Ф<елисса> М<ихайловна> почти все время кашляем и чихаем и редко куда выходим, боясь окончательной простуды. Впереди, вообще, весьма смутно. По этой причине и Вам не хотелось писать. Да и никому не пишу. Не сердитесь на меня, это так легко понять. Погода ужасная: то дождь, то снег. В городе — грипп. Не очень-то радостное настроение. Меня очень интересует результат мартовского розыгрыша в Стокгольме. Не будете ли добры сообщить и, вообще, написать по адресу: Romania. Chisinru. Str. Dm. Kantemir. L. Evitski pour I. S. (забыл указать № дома: Dm. Kantemir 10 A). Целую Ваши ручки, искр<енний> привет Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе. Ф<елисса> М<ихайловна> шлет свой всем привет. Пишите. Еще не знаем дальнейшего маршрута: 1933 г. дает себя чувствовать!..

Ваш Игорь

76

28 июня 1933 г.

28.VI.1933 г.

Замок «Храстовац».
Словения

Дорогая Августа Дмитриевна! Сегодня ровно неделя, как мы приехали сюда, в старинный (600 л<ет>) замок в 120 комн<ат> гр<афини> Герберштейн, чтобы провести здесь несколько недель при русской школе. От Марибора (Марбурга) 18 кил<ометров> автобусом, от Вены четыре часа в поезде, от Белграда 12 ч<асов> езды в скором. Легкий

горный воздух, прекрасный стол. Вокруг поля, буковые леса, река, горы. Вдали синеют Альпы. В Румынии мы провели два месяца, из них три дня в Аккермане и четыре в Бухаресте. Остальное время ушло на Кишинев, где я дал три концерта. Месяц прожили в Белграде, три дня в Дубровнике и восемь в Сараеве. Сборы везде хорошие, но денег не остается никогда: слишком низкие цены на билеты, все поэтому уходит на отэли и поезда. В Тойле растет с каждым месяцем долг по содержанию Вакха. Домой возвращаться без определенных результатов мы не можем. Не знаем, как все устроится, пока же живем здесь, по предл<о-жению> Держ<авной> комиссии, для отдыха, в котором и Ф<елисса> М<ихайловна> и я сильно нуждаемся: не забудьте, что мы уже четыре месяца скитаемся, а при теперешних условиях это очень ведь утомительно. Ф<елисса> М<ихайловна> так измучилась и устала, что большую часть дня проводит в постели. В сумерки идет на прогулку в лес. Есть здесь и речка, где мы иногда ловим рыбу. Письмо Ваше на Кишинев получил своевременно, — благодарю Вас. Но с тех пор я вообще никому не писал, был слишком озабочен и омрачен. Только теперь принимаюсь за письменную работу. Напишите нам сюда, что Вы поделываете, где думаете провести лето. Нас с Вами разделяет одна лишь Австрия. Хорошо было бы, если бы Вы с Фед<ором> Фед<оровичем> приехали в пограничный Марибор с нами повидаться, вместе погулять и побеседовать. Это прелестный город, очень благоустроенный. Автобус ходит из него к нам и обратно трижды в день. Жду Вашего письма поскорее. Ф<елисса> М<ихайловна> и я сердечно Вас, Фед<ора> Фе-д<оровича> и Асю приветствуем. Целую Ваши ручки. В Мариборе мы были уже в 1931 г. и имеем знакомых, кот<орые> приглашают к себе и собираются к нам. Я давал там вечер. От Любляны (Лайбах) часа два езды. От нас близко и Триест, и Фиуме. Пятое мая?.. В этот день мы покинули Кишинев. А пятого июня были в Дубровнике. Побывали и в Бугасе на Черном море (в 4 часах от Одессы!).

Ваш неизменно

Игорь

77

28 сентября 1933 г.

28.IX.1933 г. Замок Hrastovac.
Slovenija

Дорогая Августа Дмитриевна, мне написали из Toila, что от Вас получена из Италии на мое имя открытка. Из этого я вижу, что Вы не по-

лучили ни моей открытки отсюда от 28.VI, ни письма от 15.VII. Напишите сюда до 10-го окт<ября>, и я напишу Вам большое письмо. Мы с Фелиссой Мих<айловной> очень жалеем, что переписка наша почему-то прервалась. Мы живем в замке вскоре три с половиной месяца. Бываем в окрестностях, много читаем, а я написал целый цикл лирики. Итак, откликнитесь поскорее! Мы приветствуем Вас и Фед<ора> Фед<оровича> Ася, вероятно, уже уехал. После десятого мы уезжаем в Загреб, Сараево, Белград и дальше. Целую Ваши ручки.

Всегда Ваш

Игорь

78

15 ноября 1933 г.

Сараево, 15.XI.1933 г.

Пишу Вам в Ваш день, дорогая Августа Дмитриевна, торопясь сообщить, буквально вырывая свободную минутку, что оба письма Ваши в Hrastovac получил и от всего сердца благодарю за чувства и пожелания, в них вмещенные! Занят я бесконечно. Дело в том, что меня просили прочесть здесь две лекции: одну на тему «Русская поэзия начала XX века», а вторую – «Поэзия Эстонии». А потом заказали и о футуризме. Пришлось сначала все это написать, притом не имея никакого под рукой матерьяла, а потом три дня читать. Первая лекция состоялась 9-го, вторая 12-го и третья 13-го в залах Народн<ого> унив<ерситета> и Югослав<ской> лиги. Кроме того, дал и первый в сезоне концерт (всего 3-ий в Сараеве). А теперь пишу статью по заказу хорватского журнала. Пробудем здесь еще два дня (всего, следов<ательно>, 2 недели), а потом поедем в Белград. В замке прожили ровно 4 $\frac{1}{2}$ месяца. Как только устроимся где-либо длительнее, напишу Вам подробно о летней жизни и о своих работах. А пока целую Ваши ручки. И Ф<елисса> М<ихайловна>, и я шлем свои искренние приветы Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе. Всегда вас всех вспоминаем, радуемся, что лето вы провели вместе и удачно.

Всегда Ваш

Игорь

79

15 декабря 1933 г.

Белград, 15.XII.1933 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

с 18 ноября живем здесь. Прочел одну лекцию и дал концерт. Были пущены в ход оба раза приставные стулья, и многие стояли. Но цены до смешного низкие: от 20 до 5 дин<аров>. Ежедневно десятки визитеров, интервьюеров, фотографов и пр. Почти всегда у кого-нибудь обедаем и ужинаем. Одна почитательница даже ананасы в шампанском на десерт устроила!.. Были на «Онегине» и «Вертере». Ни мига свободного. Пишу в пальто: идем на вернисаж выставки А. Ганзена. Часто-часто Вас вспоминаю. Целую ручки. Вскоре пришлю адрес. Фелисса Мих<айловна> и я приветствуем Вас и Фед<ора> Фед<оровича>.

Ваш Игорь

Завтра покидаем Югославию. В Сараево были 15 дней.

80

19 января 1934 г.

Кишинев, 19.I.1934 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

редакция «Золотого петушка» очень просит Вас не отказать в любезности посодействовать в распространении среди Ваших знакомых первого номера нашего журнала. Со своей стороны полагаю, что почетную попытку молодого энтузиаста Леонида Евицкого стоит всячески поощрить и поддержать: это ведь героизм — в наше трудное и неблагодарное время пробовать организовать вестник Чистого искусства! Если Вы возьмете на себя труд по распространению и Вам удастся распродать экземпляры, деньги соблаговолите перевести на имя Леонида Григорьевича: Leonid Evitski. Str. Dm. Kantemir, 10 A. Chişinău. Basarabia. Roumanie. На его же имя пишите письма и мне. 2-го ноября мы уехали из замка Hrastovac в Sarajevo, где пробыли, как я Вам писал оттуда, две недели. Затем мы проехали в Белград на три недели. Прочел лекцию и дал вечер, а также читал по радио. Вечера прошли с аншлагом. В Софии пробыли 27 дней. Дал там четыре вечера. Сутки провели в Бухаресте. Обедали у Л. Я. Липковской, ужинали с Е. И. Арцыбашевой. Сюда приехали 5 янв<аря>. Наняли особняк в одну большую теплую комнату. В центре города. Пробудем до весны.

При редакции открываются курсы версификации, и я приглашен преподавателем. Думаю, кроме того, объездить всю Бессарабию, читая лекции о русской и эстонской поэзии и устраивая вечера своих стихов.

Как только устроюсь, напишу Вам более подробно и детально. Пока же у нас страшная горячка: журнал только что вышел, и мы заняты рассылкой его по всем центрам Европы и Америки. М<ожет> б<ыть>, наладите нам какую-либо связь с русскими книжными магазинами Берлина? Будем крайне обязаны. Мы не знаем, к кому в Берлине можно обратиться. Знаю только, что Вы — мой испытанный друг, и верю, что охотно пойдете встречно. В Кишиневе журнал пошел очень успешно. Расходы большие, средства ограниченные. Надо во что бы то ни стало поставить его на ноги. Фелисса Мих<айловна> и я шлем сердечные наши приветы Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе. Целую Ваши ручки. Ежедневно Вас вспоминаем. Напишите поскорее. Теперь уже переписка наладится, т. к. будем сидеть на одном месте.

Ваш неизменно

Игорь

81

5 февраля 1934 г.

Кишинев, 5.II.1934 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

итак, пишу Вам в «наш» день! 25.I послал Вам «редакционное» письмо. 2.II послано Вам 10 экз<empляров> журнала. В последний момент я перерешил выслать 20, боясь обременять Вас слишком большим количеством экз<емпляров>. Проводим время очень мило и тихо. Ежедневно навещают нас наши друзья и приглашают к себе. Ф<елисса> М<ихайловна> много времени проводит на воздухе, гуляя ежедневно не менее двух часов. Квартирой очень довольны: тепло и уютно. Да и хозяйка оказалась моей давнишней и горячей почитательницей и постоянно оказывает всяческие знаки внимания. У меня много работы по подготовке лекций. Вскоре постараюсь все же написать Вам побольше: так часто вспоминаем Вас. И с большою и искренней приязнью. Ф<елисса> М<ихайловна> и я шлем Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе наши теплые приветы. Целую ручки.

Игорь

Постоянный адрес: S. Stodulski pentru Ig.-Sev. Str. Bratianu, 91A. Chişinău. Basarabia. Roumanie.

82

5 марта 1934 г.

Кишинев, 5.III.1934 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

искреннее спасибо за Ваше исчерпывающее вопрос о продаже в Берлине письмо от 14.II и за обычное — всегда милое сердцу! — от 15.II. Сегодня ровно два месяца, как мы здесь. За это время я дал (24.II) один закрытый вечер. Второй предположен около 15.III. 9.III состоится второй вечер в Бухаресте, куда мы поедем на два дня и снова сюда, вероятно, вернемся. Во всяком случае жду Вашего письма на Стодульского. Срок нашей визы кончается 3.IV. Здесь снег почти весь растаял, часто стоят солнечные дни, но бывают и морозы. Ежедневно у нас собирается по несколько человек: читаем, беседуем. С курсами ничего не вышло: для турнэ по стране нет ни импресарио, ни средств. Журнал может быть, выйдет, а м<ожет> б<ыть>, и нет, т. к. Евицкий ухлопал много денег на первый номер (27 тысяч лей!), а вернул пока около трех!.. А денег у него вообще нет. Но возможно все же, что найдет соиздателя. Все это, конечно, очень грустно и даже безнадежно, т. к. дома нас не ждут никакие заработки. 1.III исполнился год, как мы выехали из дома, и до сих пор едва концы с концами сводим, и часто не знаем, как проживем завтрашний день. Из Софии мне пишут о скоропост<ижной> кончине Любови Столицы. Было ей 53 года, и она была веселая и цветущая женщина. Мы часто встречались с ней у Массалитиновых и Разгоневых и бывали у них в доме. В день смерти она принимала участие в литер<атурном> вечере, сама играла в своей пьесе, много танцевала и через 15 минут, по возвращении домой, умерла. Это производит тяжелое впечатление на недавно ее видевших. Умерла и А. Н. Игнатовская, у которой мы часто бывали в Белграде. Ее муж — известный профессор, имеет клинику. 6.XII я был у них, она была немного больна, а 7-го, на другой день после нашего отъезда в Софию, скончалась (нарыв в желудке, о котором еще накануне не подозревали врачи и муж!). Письмо мое, как видите, не из веселых, таково время, видимо. Фелисса Мих<айловна> и я шлем Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе приветы искренние. Я рад, что у Вас все, слава Богу, благополучно, что Вы довольны своей жизнью, рад, что у Аси хорошие друзья. Мои «Медальоны» вышли в свет. В настоящее время получены здесь и поступили в цензуру. Когда освободятся, вышлю Вам. Целую Ваши ручки.

Ваш Игорь

83

5 апреля 1934 г.

Кишинев, 5.IV.1934 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Фелисса Мих<айловна> и я сердечно поздравляем Вас, Фед<ора> Фед<оровича> и Асю с Праздниками св. Пасхи, шлем лучшие пожелания и всегда вспоминаем. 31.III вернулись из Бухареста (12 ч<асов> езды в рапиде), где пробыли 8 дней. Я дал там концерт, превзошедший все ожидания. 29.III произошло сильное землетрясение. Мы сидели в отэле. Впечатление потрясающее. В Белграде вышла в свет новая моя книга — «Медальоны». Половина издания сразу же распродана. Вскоре выпускаю здесь роман «Рояль Леандра». «Петушок» все-таки вскоре выйдет (№ 2—3). Но с ним много хлопот и трудностей, т.к. издатель абсолютно без денег. В Бух<аресте> мы с одной дамой посетили мецената, и так как эта дама была очень красива, получили для издателя некий куш. На днях издатель начнет действовать, и № вскоре выйдет. Сияет солнце, зеленеет трава, распускаются почки. Целую Ваши ручки. Приветствуем Вас, Фед<ора> Фед<оровича> и Асю.

Ваш всегда

Игорь

Постоянный адрес: S. Stodulsky pentru Ig.-Sev. Bratianu. 91A. Chişinău, Basarabia. Roumanie.

84

5 июля 1934 г.

Toila, 5.VII.1934 г.

Дорогая Августа Дмитриевна, 12-го июня мы, наконец-то, вернулись на милый север, пробыв в отсутствии 1 год, 3 месяца и 12 дней. 7 месяцев пробыли в Югославии, 1 месяц в Болгарии и 7 месяцев (2 — в 1933 и 5 — в 1934) в Румынии. Поездка не дала в матер<иальном> отношении ровно ничего: все заработки сразу же улетучивались. В Кишиневе всего прожили полгода и месяц в Бухаресте. Всего везде дал 20 концертов и лекций. Последний был 2-го июня, с участием Л. Я. Липковской, в Бухаресте. Мне так грустно, что переписка наша опять временно прервалась, но на это были веские причины: меня закружил «проклятый» (по Пушкину) Кишинев, и в его обольщениях я (бук-

вально) чуть не сложил головы... Чудом спасенный, с радостью и упоением вернулся домой. Пробудем до осени, а там опять в скитания. Что делать, — таков удел горестный лирического поэта! Куда? И сами еще не знаем. М<ожет> б<ыть>, в Париж и Брюссель, м<ожет> б<ыть> — в Грецию и Турцию. А у нас снова уже гости. Приезжала из Ревеля Грациэлла с подругой-англич<анкой>, только что прибывшей из Лондона, приезжал на гоночном велосипеде из Ревеля (220 кил<ометров>) молодой баритон-поэт, приезжал с озера Uljaste наш хозяин с детьми, а на днях ждем из Юрьева эст<онского> поэта Вильмара Адамса. № 2 «Золотого петушка» печатается в Бухаресте и вскоре выйдет в свет. Цена та же, но в нем более 60 страниц и масса иллюстраций. Издание перенесено в столицу, и половина текста идет по-французски. Дай Бог успеха Евицкому и его детищу! Его любовь к искусству положительно трогательна.

Когда мы ехали со станции в белую холодную ночь, в лесу в открытом экипаже было очень холодно (9 град<усов>), и Ф<елисса> М<ихайловна> получила ангину. Неделю пришлось пролежать и вызвать врача. Вакх собирает теперь марки, и, если у Вас имеются какие-либо, пришлите, пожалуйста: будет крайне признателен. В Бухаресте 800 т<ысяч> жителей, и город этот элегантен и параден. У нас там появилось много интереснейших знакомых. Мой роман в сент<ябре> будет печататься именно там. А «Медальоны», выш<едшие> в свет в феврале в Белграде, почти уже все распроданы. Имеется ли у Вас экземпляр? Напишите, как проводите лето, о своих планах и самочувствии. Целую Ваши ручки. Сердечный привет от Фел<иссы> Мих<айловны> и меня Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе. Наша Toila очаровательна!

Ваш Игорь

85

5 сентября 1934 г.

Toila, 5 сент. 1934 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Наша переписка опять все не может никак наладиться, что мне крайне досадно. Я писал Вам, вернувшись из Бухареста, 5-го июля, а около 20-го июля получил от Вас открытку из Италии. Не зная, вернулись ли Вы к 5 авг<уста> в Берлин, каюсь, умышленно пропустил срок, все поджидая от Вас весточки с извещением о возвращении домой и о получении моей июльской «постальки». Но вот Вы молчите, и поэтому

рискую написать Вам на Берлин. Лето промелькнуло очень быстро, и было оно чудесным. К нам приезжали все время гости, но мы были много на воздухе и в движении. Почти ежедневно проливались краткие, но потрясающие грозы, да и теперь нельзя жаловаться на отсутствие влаги. По соглашению с редакцией «Зол<отого> Петушка», деньги за проданные в Берлине экз<емпляры> можно переслать на мое имя, а равно и все непрод<анные> экз<емпляры>, которые я имею возможность здесь распродать. Будьте добры, пришлите мне, пожалуйста, теперь же все оставшиеся экз<емпляры> № 2–3 на днях все же вышел. В нем 64 стр<аниц>, и составлен он, и выглядит внешне несравненно лучше, чем первый. К сожал<ению>, я получил пока всего пять номеров, и они моментально разошлись. Живем мы исключительно на книги и журналы. К сожал<ению>, книги все уже распроданы, а редакция очень небрежна касательно высылки номеров. Приготовил для издания новую книгу, но нет пока для этого средств, а жаль, т. к. 500 экз<емпляров> «Адриатики» дали мне 110 долларов прибыли, а 200 экз<емпляров> «Медальонов» 58 долларов. Издание же обходится около 15 долларов всего! И окупается в месяц буквально. Как Вы провели лето? Долго ли были вместе с Асей? Сообщите нам, прошу Вас, подробнее. Часто с Ф<елиссой> М<ихайловной> вспоминаем Вас, Фед<ора> Фед<оровича> и Асю. Странно: никогда не видимся ведь, а все вы постоянно с нами, и, когда нет от Вас долго вестей, скучно и пусто. Целую Ваши ручки. Привет вашим самый искренний.

Дружески с Вами

Игорь

86

5 октября 1934 г.

Toila, 5.X. 1934 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

оба Ваших милых письма получил своевременно, за которые очень признателен Вам и рад, что переписка наша вновь наладилась. Вакх был сильно обрадован марками и просит передать Вам его горячую благодарность. Ваш присыл – ценный вклад в его коллекцию. У Вас, очевидно, большая переписка, что видно из количества государств. Напр<имер>, у меня тоже переписка не маленькая, однако нет ни Турции, ни Греции, ни Испании. Фелисса Мих<айловна> и я, в свою очередь, выражаем Вам свою признательность за Ваше внимание к Вакху.

Учится он хорошо, на днях начал пятый класс основной шестиклассной школы. Только уж очень много нам забот с ним, и таких малоинтересных забот. Мы так далеки от всего прозаического и суетного. Итак, Ася готовится к поступлению на службу. Дай ему Бог успехов в начинании. Верим, что, при хорошей протекции, ему, в конце концов, все же удастся прилично устроиться. Просто верить не хочется, что он не найдет службы. Очевидно, дело во времени только. Это хорошо, что Вы с Фед<ором> Фед<оровичем> ежелетне возите его с собою по Италии и Швейцарии, ибо эти путешествия очень много дают и сильно способствуют общему развитию. Поступление же на курсы русского языка в Стокгольме можно только приветствовать, т. к. вероятно, учась постоянно в Швеции, он не мог в совершенстве ознакомиться с родным — и таким прекрасным! — языком. Надеюсь, что он много читает по-русски: это ведь так полезно, на мой взгляд. Когда будете ему писать, передайте, пожалуйста, наши искренние приветы и такие же пожелания. На днях мы ездили в Ревель, где и провели у знакомых четыре дня. Город, очень красивый и своеобразный, показался нам после Бухареста провинциальным и заглохшим. Но в нем все же около 140 тысяч. Мой концерт состоится 1 ноября в Синем зале театра «Эстония». Хотели послушать неувядающего «Севильского цирюльника», но ошиблись днем. Побывали на вернисаже выставки эстонских художников. Даровитый Арен выставил сильно модернизованную «Даму с моноклем» — некую наглую «современницу» с неожиданной застенчивостью в лице. Оригинальная по замыслу композиция. Кайгородов фигурирует подчеркнутыми «Журавлями» над морем. Но море выписано небрежно, смутно и, если хотите, даже нелепо. У него на квартире мы встретили ряд вещей гораздо более выдержанных, и вообще он, надо признаться, делает большие успехи. Его ценят даже в Голландии. Повидали в Ревеле всех своих знакомых, порассказали о своих скитаниях по Балканам и вернулись в тишь и благодать приморской красавицы — Тойлы. В Бухаресте печатается мой новый роман «Рояль Леандра». Издание опять-таки авторское. В книге будет 70 страниц, и продаваться она будет по одной эст<онской> кроне. Это единственная возможность для нас как-нибудь существовать, т. к. концерты дают до смешного мало. А «Адриатика», отпечатанная в 500 экз<емплярах>, принесла нам не более—не менее, как 110 долларов чистой прибыли, что нам хватает на полгода жизни. Но, конечно, это только при том условии, если книгу продают знакомые, а не книжные магазины. Но у нас, слава Богу, знакомых много повсюду, и из стран, откуда нельзя переводить денег, можно получать почтовыми купонами, которые я имею возможность обменивать здесь на деньги благодаря любезности одной дамы, держащей лавку. Кстати, я Вам крайне признателен за

присланные купоны за журнал. Евицкий выпустил № 2—3, который значительно лучше первого. 8 страниц из 67 по-французски. Евицкий очень милый и восторженный, но крайне легкомысленный, большой вивер и мечтатель. Вряд ли он сумеет поставить журнал на должную высоту, т. к. игнорирует интересы сотрудников, данных ему мною. Так, напр<имер>, ни Ремизов, ни Лукаш, ни другие до сих пор не получили от него гонорара, что мне крайне неудобно, т. к. я просил их прислать рассказы. Я писал ему, чтобы он выслал Вам очередной номер в одном экз<емпляре> gratis, — не знаю, получили ли Вы. Он так непростительно небрежен, этот экс-хусар! Пользуясь дивной осенью, мы совершаем ежедневные длительные прогулки в парке у моря. На море участились бури. Но солнце сияет так ярко, и воздух напоминает Дубровник в январе. А это так упоительно. Мы с Фелиссой Мих<айловной>, трижды за последние годы там побывавшие, часто грезим об Адриатике. Пожалуй, в этом сезоне никуда, увы, ехать не удастся. А это жаль, конечно, т. к. приятно зимою очутиться в теплых краях солнечных. Хорошо еще, что у нас в деревне живет одна прелестная дама из Петербурга, приехавшая сюда тринадцатилетней девочкой и превратившаяся на наших глазах в красивую, очаровательную русскую женщину. Ей 29 лет. Муж ее держит лавку, где мы и пользуемся кредитом. Эта милая дама приходит к нам ежедневно уже много лет, вместе гуляем и читаем по вечерам Блока, Брюсова, Гумилева и других излюбленных авторов. Она знает наизусть много моих стихов (почти в с е!) и других авторов. Человек она остроумный, очень тонкий и веселый. Даже как-то странно порой, что она вынуждена сидеть за прилавком, обладая совсем иными данными. Мы все зовем ее ехать с нами в турнэ, и она, конечно, мечтает об этом, но к сожал<ению>, дело не позволяет ей бросить Тойлу. По воскресеньям она задает нам дивные приемы и закармливает моими любимыми русскими пирогами. Присутствие этой женщины в Тойле несомненно скрашивает наше в ней пребывание. А других знакомых ведь здесь абсолютно нет. Вот только Эссен, разве. Но он живет, как Вы знаете, в шестнадцати километрах от нас. Есть еще в десяти километрах знакомый старичок — капитан 1-го ранга Клапье де Колонг, флаг-капитан адм<ирала> Рожественского. Ему 77 лет, и он недавно женился на Римской-Корсаковой, которой 57!.. Но все это в отдалении. Да и скучно, по правде говоря, со старцами. Целую Ваши ручки. Фелисса Мих<айловна> и я шлем сердечные приветы Вам, дорогая Августа Дмитриевна, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе, жду с нетерпением Вашего письма от 15.X. Получу его, как всегда, 18-го.

Дружески Ваш неизменно

Игорь

P. S. Посылаю Вам книжечку стихов одной знакомой дамы из Сараева, которой я рекомендовал отпечатать их в нашей нарвской типографии, и прошу Вас высказать о книжке свое мнение, что меня очень интересует. Не правда ли, как мило издана брошюрка? На мой взгляд, лучше даже «Адриатики». Вал<ентина> Вас<ильевна> гостила прошлое лето у нас в Словении под Марибором, и мы провели чудесные дни там.

Иг.

87

7 ноября 1934 г.

Toila, 7. XI.1934 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

только вчера поздним вечером мы вернулись из Ревеля, где третьего я дал в Синем зале театра «Эстония» концерт, собравший почти полный зал публики и прошедший с большим брио. Как всегда, $^3/_4$ было женщин, конечно. К сожал<ению>, в материальном отношении не так уж удачно: 15 долларов фикс, из них дорога (поезда и лошади) 7 долл<аров>, привезли домой около шести, т. к., хотя и останавливались у знакомых, но два долл<ара> выскочили на мелочи, а по лавкам и за Вакха платить надо сразу же около 20 долл<аров>! И так за последнее время почти всегда, и это уже приняло хронические формы. Все это далеко, понятно, не радует, и не хочется даже говорить на эту тему. Бог даст, все улучшится. А меня все время беспокоит судьба Вашей приятельницы из Испании: откликнулась ли она? Получил ли Ася службу? Нас очень и очень тронуло, что мои книги так почетно выделены в кабинете Фед<ора> Фед<оровича>. Впрочем, я никогда не сомневался в хорошем Вашем отношении к себе, за которое всегда сердечно признателен. Вчера, когда мы в темноте ехали 9 кил<ометров> со станции лесом в Тойлу, молодые и горячие лошади, испугавшись встречного автомобиля, ослепленные его прожектором, понесли, и только чудом мы не угодили в разлившуюся от осенних дождей речку. Кучер с большим трудом удержал их у самой воды. Ландо совершенно уже покренилось. Мы с Фел<иссой> Мих<айловной> любим быструю езду, но в темноте это изобилует большими опасностями. Книга моя печатается уже в Бухаресте, и на днях мне прислали корректуру первых двух печатных листов. В Ревеле время провели очень насыщенно, повидались с большинством знакомых. Ревель живописен и колоритен. Приятно изредка туда ездить.

Простите великодушно, что не написал из Ревеля пятого, но там буквально минуты не было свободной, мне же хотелось написать Вам более подробно. Вакх искренне благодарит Вас за марки. Фелисса Мих. и я шлем Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе искренние наши воспоминания. Целую Ваши ручки. Привет Вам и от г-жи Штрандель, нашей петербурженки, скрашивающей наши приморские досуги. Я только что закончил книгу Марии Ундэр, переведенную с эстонского совместно с Фел<иссой> Мих<айловной> — в ней 42 страницы. Вскоре нужно ее печатать. Жду Ваших скорых вестей.

Всегда Ваш

Игорь

88

1 декабря 1934 г.

Toila, 1.XII.1934 г.

Дорогая Августа Дмитриевна, пишу Вам в декабре не пятого, а первого, т. к. хочу поскорее Вам ответить. Меня крайне тронула Ваша испанская приятельница. Я рад, что на Земле есть еще живые сердца! Будете ей писать — приветствуйте. К сожал<ению>, ни одного свободного экз<емпляра> «Классических роз» у нас давно уже нет. И достать их не могу, т. к. книга издательством перепродана кому-то. Это мне крайне досадно. 20.XI послал Вам экземпляр «Медальонов» с надписью. Известите, пожалуйста, о получении, иначе буду думать, что книга пропала, т. е. почему-либо до Вас не дошла... Роман в строфах («Рояль Леандра») выйдет в свет между 15—20 дек<абря>. Надо ли говорить, что без промедлений вышлю его Вам? У нас дней шесть назад выпал первый снег, но теперь почти весь растаял. Было даже 2 гр<адуса> ниже ноля, но теперь опять тепло: от 3 до 7. На море частые бури. Наш гость из Софии пробыл у нас всего два дня. Ему здесь очень понравилось. Летом приедет одна милая дама из Кишинева — та самая, у которой мы жили три месяца и которая сходила с ума и тоже три месяца провела в сумасш<едшем> доме. Ей 34 года, она тонкая и умная. Поет, рисует, декламирует. Внешностью — Брунгильда (в смысле массива!) Выше меня на голову, — великанша. И при этом, что удивительно, сложена пропорционально. Редкой красоты — южного типа — женщина. И редкой доброты. Замужняя, но уже 6 лет назад разошлась со своим инженером. У нее в Кишиневе три дома. Именье и авто недавно продала, но старого повара Илью трогательно бережет. Вообще, у нас столько ко-

лоритных и интересных встреч. Жаль, что в письме всего не расскажешь. Вакх благодарит за марки и почтительно целует, как и я, Ваши ручки. Ф<елисса> М<ихайловна> и я шлем сердечные приветы Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе.

Ваш всегда

Игорь

Спасибо за надежду выиграть в декабре. Всегда верю!

Вчера заболел Вакх. Сегодня был доктор. Кажется воспаление легких и корь. Не хватало еще болезней!

89

21 декабря 1934 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Фелисса Михайловна и я поздравляем Вас, Федора Федоровича и Асю с праздниками Рождества Христова и с Новым Годом, от всей души желая всем вам счастья и радости душевной! Итак, Ася первый раз не с Вами? Обидно, но он ведь в январе приедет, и это уже скоро. К счастью, Вакх отделался корью и то в легчайшей форме. А в Нарве теперь свирепствует дифтерит, — все школы закрыты. От нас около 45 верст, и это воистину страшно. С Божией помощью, не дойдет до нас. Ф<елисса> М<ихайловна> и я сердечно благодарим Вас за «шоколад» Вакху: Вы всегда такая трогательно милая и любезная. Корректура романа мною уже отослана в Бухарест, и книга выйдет около 10 января. Спешу послать Вам это письмо, чтобы не опоздать на сегодняшнюю почту.

Целую Ваши ручки.

Все мы приветствуем Вас,

Фед<ора> Фед<оровича> и Асю.

Всегда Ваш

Игорь

90

5 января 1935 г.

Toila, 5.I. 1935 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

наши письма разошлись: и Вы и я писали их одновременно 21.XII! Мы все сердечно благодарим Вас за Ваше большое внимание к болезни ре-

бенка, к счастью, прошедшей легко. Сегодня я получил письмо из Бухар<еста> от Ольги Леонт<ьевны> Мими, в котором она извещает меня, что роман мой выходит в свет 3—4 янв<аря>, так что я надеюсь, Вы вскоре будете его уже иметь. Опоздание по случаю Праздников. Нам всем очень понравился Ася: серьезный и вдумчивый. И очарованы милым и добрым выражением лица Фед<ора> Фед<оровича>. А Вас мы ведь давно знаем по ранее присланным и в альбоме находящимся карточкам. Жалеем только, что до сих пор не собрались в нашу очаровательную страну: она некоторым образом близка любимой Вами Швеции. Приезжайте с Фед<ором> Фед<оровичем> и Асей на Пасху! Если у нас покажется Вам слишком тесно и убого, можно остановиться в одном из трех комфорт<абельных> пансионов или же в новом отэле «Инда». День обходится с полным пансионом (и с пост<ельным> бельем) всего две эст<онские> кроны (с человека). А поезд тоже дешев. Так искренне хотелось бы со всеми вами повидаться, и это желание вполне естественно: с февраля 1918 г. мы не виделись! 28 янв<аря> будет 17 лет, как я переехал сюда. Дважды выезжал в Петербург (в феврале и мае) и в февр<але> в Москву и Ярославль. Помните? Фелисса Мих<айловна>, я и Вакх шлем всем вам искренние наши приветы. Целую Ваши ручки. Всего хорошего в Новом году!

Ваш сердцем

Игорь

91

1 февраля 1935 г.

Toila, 1.II.1935 г.

Дорогая Августа Дмитриевна, пишу Вам в день своего тридцатилетнего юбилея. Статьи в газетах некоторых уже появились. Общ<ественные> организации устраивают в середине месяца мой концерт и банкет в Ревеле. Да, как видите, постарел я. Одно утешенье, что дебютировал семнадцати лет... На этих днях (25.I) послал Вам 10 экз<емпляров> новой книги в надежде, что не откажете в любезности ее распространить: мы ведь живем исключительно своими изданиями. Ольга Леонт<ьевна> Мими издала роман на свой счет, оставив себе на покрытие расходов 200 экз<емпляров>, а мне прислала 800. Любезность, конечно, редкостная. И еще большая сердечность, не правда ли? Ей 29 лет, золотая красавица, поэтесса, жена директора банка. Пишет часто то из Констанцы, то из Синайи, то откуда-то из Трансильвании: вечно путешествует. В Бухаресте они нас заласкали и катали в авто всюду. В осо-

бенности дивные поездки по шоссе, построенному русским генералом Киселевым: десятки километров «стрелы»! И уютные рестораны над озерами. Недавно был в Ревеле, где провел три с половиной дня. Вернулся вместе с редактором «Вестей дня» Шульцем. Он погостил у нас два дня. Приезжал и беллетр<ист> из Нарвы – Волгин. Они взяли у меня сведения и фотографии. Вчера одна из них и статья Пильского появились уже в «Сегодня». Думается, роман можно продавать по одной марке. Деньги можно послать почтовыми купонами. Кстати: и Вакх, и мы сердечно тронуты Вашим «шоколадом» и приносим Вам искреннюю свою благодарность. Вы такая всегда милая, Августа Дмитриевна, право. Спасибо Вам за все. Приехал ли уже Ася?

Сейчас приехал опять Шульц из Ревеля, а через $^{1}/_{2}$ часа из имения в 12 кил<ометрах> «Онтика» наш сосед –помещик флаг-капитан адм<ирала> Рожеств<енского> в Цусимском бою на «Князе Суворове» капит<ан> 1-го ранга Конст<антин> Конст<антинович> Клапье-де-Колонг. Ему 76 лет, и дворец его на побережье славится на весь округ: громадный дом николаевской эпохи. Мы все страшно тронуты его вниманием, тем более что вьюга и мороз. Вскоре садимся обедать. Спешу послать эту открытку. Целую Ваши ручки. Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе Фелисса Мих<айловна> и я шлем искренние приветы, как и Вам.

Всегда Ваш

Игорь

92

5 марта 1935 г.

Toila, 5.III.1935 г.

Дорогая Августа Дмитриевна, спасибо Вам за открыточку с Вашим домом от 15.II. Из нее узнали, что Ася до сих пор не приехал, и посочувствовали Вам. Узнали и о получении Вами книжек. А вот не знаем – получили ли Вы открытку от 2.II? Напишите, пожалуйста: для меня это очень важно. Давным давно не имею от Вас длинных писем, что очень грустно. Не знаю, получили ли Вы мою открытку, не знаю, знаете ли о готовящемся в Ревеле чествовании меня? Этот вечер и банкет пока устроители отложили, и состоится все это только 15–20 марта. А 10-го даю вечер в Нарве. Зовут и в Печоры, и в Валк. Веду переговоры, но вряд ли что выйдет: уж очень дешево теперь платят везде: по 30 крон! В эту сумму входят и поезда, и лошади, и отэли!.. А один билет до Печор туда и обратно – 10 крон! Нет заработков хронически,

а когда предлагают, «курам на смех». И живи — как хочешь! Разослал по всей Европе 150 экз<емпляров> на сумму 150 крон, но пока получил только 50 фр<анков> чеком из Белграда от одной богатой дамы за проданные ею 10 книг. И больше ни от кого. А жизнь идет вперед, и уже у нас в Тойле накопилось около 100 крон долга. Все это удручает. Понравился ли Вам роман? У нас почти весна. И уже дней десять. Снега мало осталось. Не сегодня-завтра тронется лед в речке. А море совсем в эту зиму не замерзало. Был ли у Вас мой друг — отец Сергий Положенский? Он хотел засвидетельствовать Вам свое уважение. Он лет 17 знаком со мной, долго жил в Тойле и Ревеле. Теперь благодаря своей энергии окончил Богосл<овский> инст<итут> в Париже и состоит помощн<иком> Иоанна (кн. Шаховского). Пишет стихи. Много расскажет Вам о нас и о нашей жизни. Человек он редкостной порядочности и доброты. Совсем молодой. Целую Ваши ручки. Фел<исса> Мих<айловна> Вас и Фед<ора> Фед<оровича>, как и я, приветствует.

Неизменно Ваш

Игорь

<Приписка на поле:>

Если посчастливилось продать книги, не откажите в любезности выслать почтовыми купонами.

93

17 июня 1935 г.

Дорогая Августа Дмитриевна, спешу черкнуть Вам несколько хотя бы слов. Не осуждайте за молчание. Я жив и здоров, не писал Вам оттого, что в жизни моей происходят некие события. С 7.III переехал от Ф<елиссы> М<ихайловны> из Тойлы в Пюхаеги (в 3 килом<етрах> от Тойлы). Нанял домик над рекой. Почти все время жил в Ревеле, иногда наезжая в природу. С 25 мая живу здесь постоянно. А Ф<елисса> М<ихайловна> с 3.IV переехала в Ревель и домой, в Тойлу, не собирается. Живет у знакомых. Я забросил совсем всю переписку и ничего не творю: нет подходящего настроения. Ловлю рыбу, конечно, с упоеньем. Целую Ваши ручки, приветствую Фед<ора> Фед<оровича> и Асю. Напишите о себе.

Ваш Игорь

Pühajõgi, 17.VI.1935 г.
Адрес прежний.

94

Toila, 30.IV.1937 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

не осуждайте меня, пожалуйста, за мое столь длительное молчание: за эти годы я в о о б щ е никому не писал, и да послужит это обстоятельство мне в оправдание. Нечеловеческих, воистину титанических усилий стоит существовать, т. е. получать х л е б и о д е ж д у, за последнее время зарубежному поэту. Ни о каких заграничных поездках не может быть и речи: при громадных затратах денег, нервов и энергии они в о в с е не оправдываются. Не может быть и речи и о творчестве: больше года н и ч е г о не создал: не для кого, это во-первых, а во-вторых — душа петь перестала, вконец умученная заботами и дрязгами дня. Живу случайными д а р а м и добрых знакомых Белграда и Бухареста. Конечно, все это капля в море, но без этой «капли» и жить нельзя было бы. И всегда хронически ежемесячно не хватает, т. к. самая убогая даже жизнь все же стоит денег, и их, увы, очень немного присылают. Фелисса Михайл<овна> получила, год проработавши на заводе, злокачественное воспаление почек, и вот уже больше года нигде не работает, предоставленная целиком, — можете себе представить это?! — м о и м беспомощным о ней заботам. А откуда же мне-то взять и на ее прожитие, и на образование Вакха, и на собственную жизнь?! Вакх учится в Ревеле в ремесленной школе, и только чудом Господним можно объяснить, что откуда-то достаются гроши на все это. Но как все это трудно и тяжко! Через 4 года, если я сумею продержаться, он окончит училище с дипломом заводского мастера и сразу же встанет на ноги: 50 долл<аров> в месяц обеспечены! Но каково это время пережить! Как-то Вы, Федор Фед<орович> и Ася поживаете? Не перестаю никогда думать о всех вас. Самые лучшие чувства с вами. Напишите нам о себе, пожалуйста. Ф<елисса> М<ихайловна> очень просит Вас поискать у букинистов книгу В. Брюсова «Последние мечты» (советск<ое> изд<ание>), Ахматовой «Anno domini» и мою «Тост безответный». Если бы нам удалось найти их: ведь все же, перестав творить, мы не перестали, как это ни странно, боготворить поэзию. Деревня — вот единственное, что дает силы жить. К сожал<ению>, месяцами мне приходится проводить в Ревеле, где я всю зиму продавал даже незнакомым свою новую книгу, беря цену по желанию покупателей. Это немного поддерживало.

16-го мая исполняется 50 лет со дня моего рождения. Грустная дата... Если бы отец Сергий Положенский и Вы могли бы собрать какую-нибудь сумму среди знакомых для меня, сына и Ф<елиссы> М<и-

хайловны>, мы были бы так светло Вам признательны, всегда дорогая Августа Дмитриевна! Неужели никто не поможет гибнущему поэту в уже погибшем мире? Есть же люди, хочется верить! Наш сердечный и теплый привет Вам, Фед<ору> Фед<оровичу> и Асе и Серг<ею> Серг<еевичу>. И его помним и любим постоянно. Целую Ваши ручки.

Всегда, всегда Ваш

Игорь

Estland. Toila. Postkontor

95

14 сентября 1937 г.

Toila, 14-го сент. 1937 г.

Дорогая Августа Дмитриевна,

простите меня, пожалуйста, что не сразу обответил Ваше проникновенное и родственно-благожелательное письмо, продиктованное лучшими чувствами дружбы Вашей неизменной, что я отлично чувствую и глубоко ценю всегда. Все лето я провел вдали от Тойлы (в 39 килом<етрах>) около Гунгербурга, на берегах многоводной и тихой, очень красивой Россони, впадающей в Нарову против курорта. Жил я в русской деревне, занимая отдельную избушку, арендовал рыбачью лодку, что все вместе за все лето стоило баснословно дешево — около 8 $! Я никого не трогал, радый, что и меня никто не трогает, вел отшельнический образ жизни, питался собственной рыбой, собственными грибами и собственной ягодой, во всем решительно себе отказывая и лишь изредка, в видах все той же экономии, совершая п е ш к о м в Тойлу прогулки за почтой, ибо я не люблю изменять своего адреса, дабы не терялись письма. Так продолжалось до конца августа, когда вдруг Фелисса Михайловна, человек неимоверной гордости и такого же сверхъестественного, прямо-таки нечеловеческого упрямства, граничащего с жестокостью, что, между прочим, и побудило меня 2 $^1/_2$ года назад, после громадной борьбы и желания найти какой-либо компромисс, с нею расстаться в конце концов и искать духовного пристанища у мягкой, добрейшей и обожающей меня моей теперешней верной подруги — Веры Борисовны, скромной учительницы в Ревеле, когда, повторяю, вдруг Фелисса Мих<айловна> неожиданно предъявила мне ультиматум: в пятидневный срок определить пятнадцатилетнего Вакха, окончившего первым учеником начальную шестиклассную школу в Тойле и седьмой, дополнительный, класс ремесленный, определить немедля в

четырехклассное техническое училище в Ревеле, дающее право стать мастером на заводе с окладом до 50 $ в месяц, и, следовательно, могущего впоследствии помогать своим родителям, если он, конечно, пожелает помогать, что, м<ожет> б<ыть>, и сомнительно, например, в отношении отца... Все это, слов нет, было бы весьма мудро и основательно, если бы я получал определенное жалованье, а не жил бы большей частью на счет бедной, души во мне не чающей, Верочки! И вот мне пришлось (иначе Ф<елисса> М<ихайловна> угрожала *самоубийством*) нестись в Ревель и с чудовищными трудностями доставать (вымаливать) деньги на следующее: 1) 10 $ за пансион до 29 сент<ября> (не больше!), 2) 12 $ на костюм форменный, 3) 12 $ на пальто, 4) 4 $ за право ученья (первое полугодье), 5) 10 $ на фуражку, гимнастический костюм, костюм рабочий и прочее-прочее, включая книги, тетради, инструменты. А Вакх пишет матери отчаянные письма и *требует* все новых и новых, совершенно непредвиденных расходов!!! Само собою разумеется, что на все перечисленное денег достать никакими унижениями не смог, а достал лишь всего-навсего 15 $. Тридцать же опять из пятидесяти *зияют*! А нужды тем временем растут, и не за горами 29-е сент<ября>, когда понадобятся новые 10 $ за пансион в октябре. Нужно, извините меня, быть совершенно сумасшедшей (иного слова, право, не подыщешь!), чтобы залезть в такую *авантюру*, как начинать давать образование мальчугану, решительно никаких средств не имея. Надо еще Вам сказать, что полтора года (с 9-го апр<еля> 1936 по сент<ябрь> 1937 г.) я, безработный, содержал на свой (откуда-то доставал!..) счет Фелиссу Мих<айловну> в Тойле: она, прослужив год перед этим на заводе, заболела злокачественным воспалением почек, и вот теперь полуинвалид, т. к. до сих пор не может поднимать тяжестей и промочить ног. Все свои случайно получаемые гроши я отдавал ей лично и даже ухитрялся покупать иногда ей туфли, чулки и покрыть сгнившую на лачуге крышу возобновить! Большего, дорогая, от меня, думаю, и требовать было нельзя: ведь все эти траты — явный ущерб для нашей с Верочкой жизни. Не надо забывать, что она грошевое жалованье получает, имеет от мужа пятилетнюю дочь и живет не в деревне дешевой, как Ф<елисса> М<ихайловна>, а *в городе*, что далеко не одно и то же. Верочка безропотно переносит все невзгоды, и бывали случаи, когда она из *своих* денег помогала через меня Ф<елиссе> М<ихайловне>, которая, к слову сказать, ненавидит ее (за что, спрашивается?) бешеной ненавистью и знать ее не хочет, не будучи даже с нею знакома. А вся вина, все преступленье Верочки заключается, видимо, в том, что она, русская женщина, делится последним (и с какою, надо видеть, радостью!) с русским поэтом, оберегая его, по возможности, от меркантильных забот и

дрязг уродливой за последнее время жизни. Фелисса Мих<айловна> мотивирует свое желание дать Вакху образование так: «Если я не смогу дать хотя бы элементарного образования сыну и сделать из него хотя бы квалифицированного рабочего, я не достойна даже того, чтобы продолжать жить на свете». Это рассуждение не выдерживает ни малейшей критики, ибо *выход* все же есть: директор завода Ван-Юнг, дающий Вакху, по моей просьбе, 4 $ в месяц, предлагает взять его к себе на завод в ученики *на жалованье сразу же* и через те же четыре года сделать его у себя же мастером с окладом до 50 $, т. е. *именно то*, что даст ему техническое училище!!! И вот Ф<елисса> М<ихайловна>, выслушав от Ван-Юнга его изумительное по сердечности предложение, *категорически весьма оскорбительно* его отвергла. Мотивы? «А вдруг Ван-Юнг умрет за эти годы! А вдруг мастер завода, где он будет учеником, захочет поставить на место Вакха, его не взлюбив, своего родственника и заест "ребенка"!»... И тому подобная чепуха. Да ведь если так рассуждать, то и сам герой нашего дня —Вакх тоже может умереть за это время!.. Так или иначе, Ф<елисса> М<ихайловна> неистовствует и ставит меня в невозможное положенье, обрекая на добывание денег. А иначе угрожает с собою покончить и т. д. — еще похуже... А пока что она, полубольная, изнервленная и обозленная предельно, собирается идти в... прислуги!! Умнее ничего не придумала: это ведь два-три доллара в месяц! А на завод ни за что не хочет, хотя хозяин сразу же взял бы ее обратно с восторгом: работала идеально. Что мне делать, дорогая Августа Дмитриевна, — скажите! Вы всегда выручали меня добрым советом, а зачастую и денежно. Теперь я не прошу Вас помочь мне денежно, т. к., Вы сами понимаете, в этом случае никакая денежная помощь, видимо, уже не поможет: слишком большие расходы! Еще должен Вам сказать, что правительство, в воздаянье моих заслуг по переводам с эстонского, назначило мне пожизненную пенсию в размере 8 $ в месяц. Выдача будет в конце октября. Само собою понятно, что мы с Верочкой гроша себе не возьмем и *целиком* отдадим Ф<елиссе> М<ихайловне> в ее распоряженье всю эту пенсию на *все* годы. Тогда, возможно, присоединив 4 $ от Ван-Юнга, она *как-нибудь* и сможет выполнить свой каприз. Но ей самой *ничего* не останется, если подсчитать приблизительно хотя бы, и ее судьба меня тревожит крайне. На этих днях моя хорошая знакомая, жена директора завода, Лидия Харлампиевна *Пумпянская*, едет в Берлин, недавно вернувшись из Парижа и Зальцбурга. Вчера я у нее ужинал и просил ее, когда она будет в Берлине, войти с Вами, ближайшим другом моим, в контакт. Так вот, если Вы найдете возможным и нужным хотя бы немного помочь мне, пожалуйста, дайте ей эту помощь в марках (для покупки в Германии

вещей), а она передаст мне в эст<онских> кронах. Не сердитесь на мою просьбу: уж очень туго живется. Прямо невозможно передать Вам. Знаю, что и Вы, и Федор Федорович — люди добрые и такие *свои*. Не знаю, к сожал<ению>, лично мужа Вашего, но *чувствую* его.

Да, наше положенье очень тяжелое, очень приниженно и подавленно мы себя чувствуем. Не хватает самого *необходимого*... Не хочется подробностями Вас тревожить. Положенский на мою просьбу угостил меня советами, меня просто оскорбившими: удивляться можно, как он, зная меня, додумался до такого абсурда, как говорить о какой-то службе. Всю жизнь я прожил свободным, и лучше мне в нищете погибнуть, чем своей свободы лишиться. Вы в письме своем говорили о прозе. Да, конечно, я мог бы писать прозой, но у меня, увы, нет *места*, где я мог бы писать, *за деньги*. Писать же gratis я не нахожу возможным, ибо это не разрешит задачи заработка. Ни одна газета, ни один журнал моей прозы не желает *теперь*. Несколько же лет назад я написал десятка два статей и прилично заработал. А теперь, к сожал<ению>, негде печататься. Причин на это много. Главная же из них — *кружковщина*, кумовство. Везде свои люди, новых не подпускают близко, готовые горло перегрызть из-за куска хлеба. Как решился вопрос со службой Фед<ора> Фед<оровича>? Переезжаете ли Вы в Вену, Стокгольм или остаетесь в Берлине? От всей души сочувствую Вам и ему, надеясь, что все образуется. Как справляется Ася со своими новыми обязанностями? Целую Ваши ручки и искренне благодарю заранее за все, что напишете мне для моего ободрения, в котором, признаться, я очень нуждаюсь. Всегда помню Вас и внушил Вере Борисовне и любовь к Вам, и уважение. Она приветствует Вас сердечно. Известите меня, прошу Вас, о получении этого письма.

Любящий Вас и признательный Вам

Игорь

Письмо это написано в Ревеле, но Вы, пожалуйста, ответьте на Toila — мой постоянный адрес: почтмейстер мне его доставит. А можно и на Ревель написать, если хотите: Estland. Tallinn. Suur Tartu, 35-2 (kort. Feodorova). Ig. Severjanin.

Если встретитесь с Положенским, расскажите ему обо всем, сообщенном Вам мною. Т. к. вывоз денег из Германии воспрещен, Лидия Харламп<иевна> накупит вещей и, следовательно, денег из страны не вывезет.

<Приписки на полях:>

Главная причина упрямства Ф<елиссы> М<ихайловны> и ее нежелание отдавать Вакха в ученики Ван-Юнга еще в том, что и мать ее, и обе сестры совершенно с нею солидарны и смотрят на меня как на вра-

га, сами, однако, ни сантимом не идя встречно, а взваливая на меня и на Ф<елиссу> М<ихайловну> всю тяжесть добыванья средств. Это возмутительно, и я теряю здоровье.

————————

Сейчас я живу у тетки В<еры> Б<орисовны> г-жи Федоровой, где и пробуду всю зиму.

96

11 июля 1938 г.

Toila, 11.VII.1938 г.

Дорогая Августа Дмитриевна!

Ваше письмо от 15-го мая, столь потрясшее меня, я получил с громадным опозданием, т. к. бываю в Тойле весьма редко, а пересылать почту к себе не позволяю, ибо меняю часто места. Но все же даю Вам и впредь старый, — постоянный, — свой адрес: в июле и августе мне часто придется ездить и ходить в Тойлу.

Нет слов человеческих, дорогой друг мой, чтобы выразить Вам свое соболезнование. Вот ведь странно: я не знал Федора Федоровича лично, но, как живого, видел и вижу его перед собою. Чудесный, обаятельный был человек, чувствую. Мне остается только преклониться перед Вашим горем: слова бессмысленны и обидны.

Но Вы должны жить, и опять-таки: д л я с ы н а. Вы права не имеете причинить ему муку. Сознательную. Этим Вы обессилите его, причините ему вред. Конечно, Вы не покончите с собою: н е л ь з я. Если Вам дана мука, не давайте ее сами другим. Воздержитесь, молю Вас.

Что делает теперь Ася? Как он устроился? Воображаю, как и на него повлиял уход Федора Федоровича.

Ваше желание быть сожженной одобряю вполне. И я хотел бы того же. Благодарю Вас за честь, мне оказанную, и за доверие. На практике не знаю, как поступить. И потом: почему я должен пережить Вас?

При состоянии моего здоровья это просто невозможно. Я — в полном одиночестве. Не первый год. Одно расстроилось, другое не могло наладиться. Горчайшую нужду переживаю. Ничего ниоткуда не имею. Нередко н е е м. Живу каким-то чудом. И сам не знаю — к а к. Люди черствы и скотоподобны. Не помогают даже богатые. Конечно же, я ничего ровно не пишу: люди недостойны Искусства!.. Для себя?! Я давлю в себе малейшее вдохновенье. Болезнь сердца: застарелый аппенди-

цит, сердце изношенное. Одышка, головные боли, частые и жгучие. Фелисса Мих<айловна> сидит сидьмя в Тойле — совсем тоже больная и мрачная: почки хронически болят. И душа.

Что касается Вакха, ему 1-го авг<уста> исполнится 16 лет. Окончил шестиклассную начальную школу, один класс ремесленного, а осенью 1937 г. поступил в Госуд<арственное> техн<ическое> учил<ище> с пятилетним курсом. Этой весной блестяще, — без экз<аменов>, — перешел во второй класс. А строгости там невероятные, и многих среди года даже гонят прочь. Еще 4 года должен учиться, и тогда будет мастером на заводе с окладом около 50 $ в месяц. Но, увы: уже просто нет *никакой* возможности с осени, т. е. с 1 сент<ября>, ему дальше учиться. Очевидно, останется на зиму в Тойле при голодающей матери. Ужасно, дорогая, что я *хочу* и не могу им ничем помочь! Равно и себе самому. Придется, видимо, не сегодня-завтра уйти из этой несправедливой, издевательской жизни. Немыслимо переносить муки свои и близких. А Вакх — хороший, честный, добрый, способный, деликатный. Не дать ему образование — нельзя жить. Он сказал, что никогда не оставил бы нас с Ф<елиссой> М<ихайловной>, окончив школу. Болезненно переживает невозможность окончания школы. Еще бы: пансион в Ревеле стоит ему ежемесячно 11 долларов! Откуда же мы можем бесконечно доставать такую сумму?! Первый год содержало Мин<истерство> нар<одного> просв<ещения>, но с весны прислало формальный отказ: за неименьем средств. Простите за откровенности — невеселые и жуткие. Всегда помним и любим Вас, а если не пишем, не хотим ныть. И омрачать Вас. Асю целуем, целую Ваши ручки, Ф<елисса> М<ихайловна> шлет сочувствие, сама совсем умученная. Будьте добры и благостны!

Всегда любящий Вас

Игорь

Напишите о получении этого письма и пишите впредь, прошу. В Тойле буду около 17—20 июля.

А. С. ЯЩЕНКО

1

20 декабря 1920 г.

Toila, 20. XII. 1920

Светлый Собрат!

С удовольствием исполняю Вашу просьбу — посылаю Библиографию. Надеюсь, буду получать журнал. Если я до сих пор жив, то только благодаря чуткой Эстии: эстонский издатель выпустил 3 книги моих стихов, эстонская интеллигенция ходит на мои вечера (1—2 раза в год), крестьяне-эстонцы дают в кредит дрова, продукты. Русские, за редкими исключениями, в стороне. А русские издатели (заграничные, т. к. в Эстии их вовсе нет) совсем забыли о моем существовании, напоминать же им о себе я не считаю удобным.

Если бы Вы в случайном разговоре с Заксом, Ладыжниковым или кем-либо из других дали им понять, что я еще жив, Вы оказали <бы> мне этим громадную пользу, тем более что «дорожиться» бы я не стал, находясь в таком тяжелом положении.

Попросил бы издателя, в случае желания, приобрести у меня одну или несколько книг, выслать известную сумму герм<анских> мар<ок> чеком в заказн<ом> письме, выслать сейчас же по получении от меня рукописи желаемого тома.

Я пишу Вам все это потому, что интуитивно чувствую в Вас Человека. Других лиц, к котор<ым> я мог бы обратиться в Берлине, у меня нет.

С искрен<ним> уважен<ием>

Игорь Северянин

Estland, Eesti. Toila, Postkontor

2

7 февраля 1921 г.

Глубокоуважаемый collega!

Благодарю Вас за журнал и за предложение о книгах. В конце марта или в первых числах апреля я буду в Берлине и тогда переговорю с г. Заксом. Только что вернулся из Риги, где дал 2 концерта и подписал контракт на 11 концертов, между прочим, 3 в Берлине. Надеюсь повидаться с Вами, чтобы лично поблагодарить. Имею 3 визы в Голландию, на днях еду в Ревель хлопотать о германских транзитных. Для этого необходимо, чтобы мне поспособствовали из Берлина. Но я там никого не знаю. Не будете ли Вы добры заявить в Мин<истерство> ин<остранных> д<ел>, что Вы меня ждете. Извиняюсь за беспокойство, но Вы меня, надеюсь, оправдаете. Выезжаем из Эстии в Двинск 15 марта.

Германия страшно задерживает обыкновенно присылку разрешения.

С подобной же просьбой я обращаюсь к редакции «Голоса России» и к г. Заксу. Что касается присланного Вами листка, к сожал<ению>, ничего сообщить не могу нового, т. к. живу 3 года в глуши.

С искр<енним> уваж<ением>

Игорь Васил<ьевич> Лотарев

Сообщаю на всякий случай сведения о себе и жене.

Игорь Вас<ильевич> Лотарев (Игорь Северянин), род<ился> 4 мая 1887 г. в Петербурге. Русск<ий> под<данный>. Правосл<авный>.

Мария Васил<ьевна> Домбровская (Балькис Савская). Род. 20 авг<уста> 1895 г. в Гродненской губ. Русск<ая> под<данная>. Правосл<авная>.

Импресарио: Ханон Сролевич Лурье. Литовск<ий> под<данный>. Свед<ений> пока о нем не имею. Проживает в Ковно и в Риге: все время разъезжает.

Р. С. Ляхницкому

6 февраля 1925 г.

Открытое письмо
редактору «Последних известий»

Дорогой Ростислав Степанович!

Крепко целуя Вас за Вашу сердечную телеграмму, прошу оттиснуть следующее:

Выражаю, как это в подобных случаях принято, признательность поэтам за посвященные моему двадцатилетнему юбилею «приятельские» стихи, знакомым и незнакомым — за письма и телеграммы, газетам — за так называемые «приветственные» статьи... Но больше всех благодарен я — хотя это, может быть, и совсем не принято — неизвестному мне лично мальчику, Вите из Ревеля, принявшему мой призыв в новогоднем номере «Последних известий» — как это и следовало всем сделать всерьез — и поэтому приславшему сто эстонских марок.

Я горжусь, что еще (или уже?) существуют такие мудрые русские мальчики; он же может гордиться в свою очередь тем, что подарил русскому — своему — поэту день творческой жизни!

Предлагаю всем эмигрантским газетам перепечатать мое письмо.

Ревель
6.II.1925 г.

С.В.РАХМАНИНОВУ

1

10 марта 1926 г.

Toila, Orro, Estonie

Светлый Собрат!

Я вижу, Вы узнали о печали поэта, — я вижу это из поступка Вашего — поступка истого художника. Сердцем благодарю Вас за отвлечение на полтора месяца меня от прозы, за дарование мне сорока пяти дней лирического сосредоточия. В наши дни — это значительный срок, и я рад употребить его на создание значительных строф.

Любивший Вас всегда
Игорь-Северянин

2

23 января 1939 г.

Poste Restante, Narva Yoesuu, Estonie

Светлый Сергей Васильевич!

По совету Дм<итрия> Ал<ександровича> Смирнова, сообщившего мне и Ваш адрес, я пишу Вам, — простите за тревогу, — это письмо.

В 1918 г. я уехал с семьей из Петербурга в нашу Эстляндскую губ<ернию>, превратившуюся через год в Эстонию. До 1934 г. я объездил 14 государств, везде читая русским, везде кое-что зарабатывая. Конечно, очень скромно, но все же жить можно было. А с 1934 г. — ничего: ни заработков, ни надежд на них, ни здоровья. Ехать не на что, ехать некуда: везде ограничения, запреты, одичанье.

Кому теперь до поэзии?! На нее смотрят свысока, пренебрежительно; с иронией и изумлением. И даже с негодованием. Кратко говоря, смысл отношения читателя и слушателя таков: «Лентяи. Бездельники. Не умерли вовремя». Работать в русских периодических изданиях нельзя: их мало, и везде «свои». Я же к тому же «гугенот»: мне никогда никто не простит моей былой самостоятельности, моего эго-футуризма юности. Не кубо-футуризма размалеванных физиономий и желтых кофт, а именно «Ego», — то есть *утверждения личности*, если она, конечно, не вовсе безлична... Я живу чудом, Сергей Васильевич: случайными даяньями. Их все меньше и меньше. Они прекращаются, ибо люди уходят, а человеки не признают. Я живу в глухой деревне, на берегах обворожительной Россони, в маленькой, бедной избушке с женой и дочерью. Мы все больные, умученные, *уходящие*. Помогите же нам, Вы, Большой искусствик, «уйти» более или менее безболезненно. Невыносимо, свыше всяких сил обессиленных — *умирать без конца*! И не странно ли, не поразительно ли? — чем ужаснее жизнь, тем больше жить хочется, тем больше цепляешься за жизнь, все во что-то несбыточное веря и надеясь... без надежд! Читали ли Вы мои стихи, несколько лет назад посвященные Вам? Если хотите, я с радостью вышлю их.

Издавна Ваш
Игорь-Северянин

3

до 4 июня 1939 г.

Poste Restante, Narva Yoesuu, Estonie

Светлый Сергей Васильевич!

Я благодарю Вас от всей души за присланные мне $ 35. Этот Ваш дар явился для меня существенной поддержкой. В моем домике над Россонью висит несколько портретов обожествленных людей, мною боготворимых; среди них Н. А. Римский-Корсаков работы Серова. Сделайте радость мне — пришлите свой с подписью. Вы даровали мне три месяца жизни в природе: это такой большой срок по нашим временам!

К Вам с чувством большой и взволнованной признательности
Игорь-Северянин

4

до 4 июня 1939 г.

Poste Restante, Narva Yoesuu, Estonie

Мой дорогой Сергей Васильевич!

Радостно благодарю Вас за портрет Ваш с надписью. Посылаю Вам стихи, — для Вас воспринятые, — которые давно уже хотел (и был обязан) Вам переслать. Они вошли в книгу, изданную в Белграде в 1931 г.

Последняя книга моих стихов — «Очаровательные разочарованья», — к сожалению моему, а возможно и других, не окончательно эпохой обездушенных, издателя не находит, — и много лет лежит в письменном столе. По этой причине я не могу себе разрешить, — вот уже три года, — запечатлевать вновь неудержимо возникаемое: я слишком ценю и Поэзию, и свое имя.

С каждым новым днем я все ближе и неотвратимее приближаюсь к предназначенной мне бездне и, отдавая себе в этом отчет, осиянный муками, готовлюсь к гибели.

И вот мне хочется прежде, чем это совершится, еще раз от всего простого и искреннего поэтова сердца воздать Вам, прославленному, славу и честь за дарованные мне Вами три месяца жизни на этой Земле, такой мучительной, но и упоящей!...

Игорь-Северянин

ВСЕ ОНИ ГОВОРЯТ ОБ ОДНОМ...

Сергею Васильевичу Рахманинову

Соловьи монастырского сада,
Как и все на Земле соловьи,
Говорят, что одна есть отрада,
И что эта отрада — в любви...

И цветы монастырского луга
С лаской, свойственной только цветам,
Говорят, что одна есть заслуга:
Прикоснуться к любимым устам...

Монастырского леса озера,
Переполненные голубым,
Говорят нет лазурнее взора,
Как у тех, кто влюблен и любим...

Тойла. 1927 г.

Игорь-Северянин

Г. А. ШЕНГЕЛИ

1

12 сентября 1927 г.

Toila, 12 сент. 1927 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич!

Я испытал действительную радость, получив Ваш «Норд»: через 11 лет Вы вспомнили меня, — спасибо.

Из книжки Вашей узнал о смерти Юлии Владим<ировны>, такой всегда хрупкой, так всегда мучившейся. Нежно жму руку Вашу. Но ведь Вы были давно подготовлены к этому, не правда ли? Я тогда же видел ее обреченность. Бедная маленькая женщина, девочка на вид.

В 1925 г. в Праге мы вспоминали Ю<лию> В<ладимировну> и Вас, гуляя по парку с Евг<ением> Ник<олаевичем> Чириковым.

В каждом году — перемены. Сколько же их в одиннадц<ати> летах, к тому же таких, как эти?

В 1921 г. умерла мама моя. В том же году я расстался, — наконец, — с М<арией> В<асильевной>. И это было предначертано, как Вам, думается, известно. Теперь она где-то в СССР.

С 28 янв<аря> 1918 г. я живу постоянно на берегу Финского залива. Мой адрес неизменен: Eesti, Toila. Postkontor. Igor Severjanin.

Иногда выезжаю на Запад. За эти годы побывал трижды в Берлине, где жил от месяца до трех, давая вечера.

Встречался там с Кусиковым, Пастернаком, Маяковским, Толстым, Шкловским, Минским, Венгеровой и др.

Ездил в Финляндию, Латвию, Литву, Польшу (13 городов), Чехословакию. Везде вечера, иногда очень шумные и многолюдные. К сожал<ению>, расход больше прихода, поездки обходятся очень дорого, почти ничего не остается. Поэтому вот уже два года на месте. Эстийская природа очаровательна: головокружительный скалистый берег моря, лиственные деревья — Крым в миниатюре. Сосновые леса, 76 озер в них, трудолюбиво и умело возделанные поля. Речки с форелями. Да, здесь прелестно. У меня своя лодка («Ингрид»), я постоянно на воде,

ужу рыбу. В 1921 г. женился на эстонке. Ее зовут Фелиссой, ей 25 лет теперь, у нас пятилетний мальчик – Вакх. Она пишет стихи и по-эст<онски> и по-русски, целодневно читает, выискивая полные собрания каждого писателя. Она универсально начитанна, у нее громадный вкус. Мы живем замкнуто, почти никого не видим, да и некого видеть здесь: отбросы эмиграции и рыбаки, далекие от искусства. За эти годы выпустил 13 книг. К сожал<ению>, в наст<оящее> время у меня нет ни одного своб<одного> экз<емпляра>, но я пришлю Вам что-либо в ближайшие недели.

Теперь Вы сообщите мне все, касающееся Вас. Судя по вашей книге, Вы печальны и утомлены, милый. Мы с женою воздаем должное стилистике Вашей книги. Приветствуем Вас. Напишите поскорее. Еще раз благодарю за память. Я часто вспоминал Вас.

Всегда Ваш Игорь

2

22 декабря 1927 г.

Toila, 22.XII. 1927 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич!

Не особенно давно я вернулся из поездки по Латвии: гастролировал семь дней подряд в Риге, дал вечер в Двинске, по пути в Латвию – в Юрьеве. Успех всюду прежний – залы переполнены. Пробыл в отсутствии двадцать шесть дней. Письмо ваше ожидало меня дома, и мне было радостно его прочесть. И я рад, что Ю<лия> В<ладимировна> жива, пусть отчуждена она от Вас, пусть не в Вашей жизни оказалась, но ведь жива она, и это как-то бодрит: за эти годы столько смертей знаемых, и каждая из них – отмирание частицы самого себя. М<ожет> б<ыть>, вскоре уже нечему будет отмирать, и это будет смертью собственной: пожалуй, единственная способность, свойственная живущему.

Смерть Ф<едора> К<узмича> – сильный удар для меня. Сбылись предчувствия. Иначе, впрочем, и быть не могло: теория вероятности. Теория, страшная своей непреложностью. Леденящая. Я написал четыре статьи, очень обширных: «Сологуб в Эстляндии», «Эстл<яндские> триолеты Сол<огуба>», «Салон Сол<огуба>», и «Умер в декабре». В последней я цитирую его стих: «В декабре я перестану жить». Это воспринято было им 4.XI.1913 г. кстати: Лесков («Обойденные») говорит: «Замечено, что день 5.XII – день особенных несчастий». Сол<огуб> умер 5.XII. Вы видите? Когда приедете ко мне, я покажу Вам ста-

тьи: все вырезки у меня хранятся, конечно. А приедете Вы непременно: мы оба хотим этого, а это повелительно. Знайте путь: ст<анция> Певе (пятая за Нарвой). Известите заранее – пришлю лошадь. Поезд из СССР приезжает в 10.55 веч<ера>.

Мне отрадно, что Ваша спутница «интеллектуальна». Я могу тоже самое сказать о своей. В наши дни, – как это ни странно, – это редкостно. Нам надо ценить милость, нам ниспосланную. Беречь надо подруг.

Да, лирическое ни в чести, и мы, вероятно, последние. На вечера ходят, как в кунсткамеру. Так надо думать: тиража книг нет. Аплодируют не содержанию, не совершенной стилистике, – голосу: его пламени, его негодованию, его нежности беспредельной, всему тому, чего сами не имеют, перед чем подсознательно трепещут, чего боятся. Двуногое зверье...

Я жду Вашего отклика: я буду знать, что письмо это Вами прочтено, – в пустоту говорить тяжко. Хотя бы кратко скажите о получении. Тогда вышлю Вам свою поэму «Роса оранжевого часа», тогда напишу Вам подробнее.

Так Вы понимаете «отшельничество» мое? Так Вы ему сочувствуете? Тем ближе Вы мне.

«...И вновь о солнечном томится Крыме
С ума сводящая меня мечта!»

К счастью, моя Тойла – Крым в миниатюре: море, нависшие отвесные скалы над ним, леса. И в них – 76 озер. А на них – я в своей «Ингрид».

Любящий Вас Игорь

3

10 марта 1928 г.

Toila, 10.III.1928 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич!

«Драмы» очищают, углубляют, возносят, проясняют смутное и – я «не боюсь смелости» сказать – *обожествляют.* Не забудьте, что в «драме» всегда страдание, оно в ней обязательно, на нем основана она, – и что пленительнее него? В каждой драме есть частица счастья: вновь получить или сохранить теряемое. Сколько «драм» испытал я, но они – этапы в Божественное: я благодарю их. Я жму Вашу руку, ясно и прямо смотрю в глаза Ваши.

Пятого марта я вернулся из Польши – этим объясняется несвоевременный мой ответ на Ваше письмо. Поездка длилась полтора месяца

и утомила меня и жену. Я дал три вечера в Варшаве, прочел в Польском Литер<атурном> о<бществе> доклад об эстонской поэзии, дал один вечер в Вильно и выехал в Латвию, в Двинск, к одному местному поэту (русскому), человеку обязательнейшему, усиленно меня звавшему к себе. Попутно, погостив у него четыре дня, я выступил на ученическом закрытом вечере, прочитав «детворе» (от 14 до 18 лет) десятка два новейших стихов о лесах и озерах эстийских. В Варшаве мы пробыли ровно три недели, гостя у одного весьма популярного в Польше адвоката — поэта, переводчика «Евгения Онегина» (целиком, конечно). В Вильно оставались девять дней. Заезжали еще на два дня в Ревель, где был объявлен мой очередной вечер, на день в Юрьев к милому поэту Правдину — лектору университета — и на день на курорт под Юрьевом — Эльва — навестить угасающую в чахотке (лилии алой...) очаровательную жену видного эстонского лирика, с которым нас связывают, — вот уже десять лет, — дружеские отношения.

Было радостно вернуться к своим осолнечным в марте снегам под настом, и легкокрылые — такие женственные — метели вот уже несколько дней, сменяя одна другую, слепят наши глаза своими южными прикосновениями, лаская лица мягковьюжными пушистыми руками. Но весна неотвратима, — это так ясно чувствуется, и в миги затишья дали так бирюзовы, воздух так весел и прозрачен. Сиреневый снег сумерек призрачен и предвешне тенист.

Благодарю Вас за стихи Ваши: счастье, м<ожет> б<ыть>, не в горах... Мы здесь теряем представление о «нежности изабеллы» и не видим «ореховых садов». Нежность парного молока, шорохи сосен — вот удел наш. Во всем надо находить очарование, — ибо оно повсюду. Жить же не очаровываясь (хотя бы иллюзиями) поэт не может, человеку не рекомендуется.

Фелисса Михайловна Вашей жене (Вы не сообщаете ее имени-отчества) и Вам, как и я, шлет свой искренний привет.

Дружески Ваш, Вас любящий Игорь

4

2 сентября 1940 г.

2.IX.1940 г.

Дорогой мне Георгий Аркадьевич!

Ваше письмо, сердечное и дружеское, меня искренне обрадовало: спасибо Вам за него. Оба экземпляра я получил. Сообщаю Вам свой адрес с 1 апр<еля> 1939 г. Из Toila уехал 7.III.1935 г.

И я очень рад, что мы с Вами теперь граждане одной страны. Я знал давно, что так будет, я верил в это твердо. И я рад, что произошло это при моей жизни: я мог и не дождаться: ранней весной я перенес воспаление левого легкого в трудной форме. И до сих пор я не совсем здоров: постоянные хрипы в груди, ослабленная сердечная деятельность, усталость после небольшой работы. Капиталистический строй чуть совсем не убил во мне поэта: последние годы я почти ничего не создал, ибо стихов никто не читал. На поэтов здесь (и вообще в Европе) смотрели как на шутов и бездельников, обрекая их на унижение и голод. Давным-давно нужно было вернуться домой, тем более что я никогда врагом народа не был, да и не мог быть, так как я сам бедный поэт, пролетарий, и в моих стихах Вы найдете много строк протеста, возмущения и ненависти к законам и обычаям старой и выжившей из ума Европы.

Я не ответил Вам сразу оттого, что ездил в Таллин по делам, побывал в полпредстве и там справился о возможности поездки в Москву, дабы там получить живую работу и повидать Вас и некоторых других своих друзей. Этот вопрос, однако, пока остается открытым, но мне обещали вскоре меня известить.

Положение мое здесь из рук вон плохо: нет ни работы, ни средств к жизни, ни здоровья. Терзают долги и бессонные ночи. М<ожет> б<ыть>, Вам легче собраться сначала навестить меня и мою верную спутницу? Приезжайте, дорогой: квартирка у нас небольшая, но очень милая, и для Вас местечко найдется.

Простите, что задержал ответ, – причину я объяснил. Вы же ответьте, по возможности, сразу.

Примите наши приветы вам обоим.

Крепко жму Вашу руку. Всегда помню и люблю.

Игорь Северянин

Очень рад буду иметь Ваши новые книги.

5

12 сентября 1940 г.

Усть-Нарова, 12 сент. 1940 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич!

3 сент<ября> послал Вам большое письмо, а сегодня лишь несколько строк и два стихотв<орения>: м<ожет> б<ыть>, отдадите их куда-

либо, напр<имер> в «Огонек» или др<угой> журн<ал>, – этот гонорар меня весьма поддержал бы.

Мне здесь сообщили, что в «Литературной газете» (от 1 сент<ября>, кажется) были помещены мои стихи, переданные в августе лично одним знакомым, который заходил ко мне. Не сумеете ли Вы достать этот № и мне выслать, кстати, разузнать о гонораре. Буду Вам чрезвычайно обязан. Ежедневно жду ответа Вашего на свое письмо от 3.IX и обещанных книг. Спешу отправить это письмо. Сердечный привет, добрые пожелания, надежда скоро увидеться. Ответ из Москвы еще не получен.

Всегда Ваш Игорь

P. S. В Таллине и Нарве Лит<ературная> газ<ета> продается, но в очень ограниченном количестве экземпляров, так что сразу же бывает вся распродана.

Вы себе и представить не можете, мой милый Георгий Аркадьевич, как мне хотелось бы повидаться с Вами. Немудрено: ведь столько лет мы не виделись, не перекликались, ничего не знаем друг о друге, между тем как жизни уже заканчиваются и так мало дней впереди...

И все-таки я полон энергии, вдохновения, желания работать на пользу Родины – самой умной, мирной и порядочной из стран мира!

Иг.

Генрих Виснапу (очень известный эст<онский> поэт) просит Вашего разрешения на перевод Ваших стихов.

6

9 октября 1940 г.

<09.10.40>

Дорогой мне Георгий Аркадьевич!

27 сент<ября> переехали до весны в Пайде (б. Вейсенштейн): Верочка получила в здешней школе место препод<авателя> русского языка. Она окончила университет в Дерпте, ее специальность – русский и французский. Городок расположен в центре страны. Климат сырой: вокруг болота. Для здоровья моего (да и ее тоже) это, конечно, гибельно. Но что делать! Отсюда до Усть-Нарвы более 200 кил<ометров>, от Таллина около 100. Мне и Вере было так больно покидать наш милый уголок в прелестной местности у моря и двух рек... К счастью, мы оставили квартирку за собою, и, когда вы через два месяца приедете к нам, я сначала приму Вас у себя в Усть-Нарве, а потом уже мы поедем сюда к Верочке.

Ваше письмо я получил только сегодня, а книгу еще 2 окт<ября>. Я так и думал, что Вы одновременно написали мне, и поэтому медлил с ответом на книгу. А книга произвела на меня большое и из ряда вон выходящее впечатление: я два часа просидел в туманный день у распахнутой форточки и... не заметил, пока не стал сильно кашлять! Книга глубокая, интересная и предельно легкая. Вы — чудесный мастер и проникновенный *большой* поэт. Поэт *вдохновенный*, умный, блистательный. Я горжусь Вами. Верочка очарована «Барханами»! В особенности меня пленили отрывки из «Пиротехника» (*все*!), а некоторые строфы гениальны: «...Это — Жизнь! Бы-ти-е!», «...А вечер весенний сиренев»... А какая лепка эпохи «Ушедшее в камень»! Непревзойденно. Еще мне нравятся «Пять лет», «Ода унив<ерситету?>», «Александрия», «Бетховен», «Державин» и др. и др. При встрече отмечу еще много. На портрете Вы выглядите великолепно: светлый, возмужалый, свой, милый... Спасибо Вам за книжку, спасибо самое восторженное! Своих Вам прислать сейчас, к сожал<ению>, не смогу: их у меня вообще нет, а переводы с эст<онского> остались дома. Около 20 окт<ября> надеюсь там побывать на денек-другой: тогда вышлю две книжки Раннита и одну Виснапу. (Кстати, передам ему Ваши слова относительно переводов. М<ожет> б<ыть>, Вы пошлете ему свою книгу? Его адрес: Эст<онская> ССР, Tallinn. Nômme. Orava, 4—10, Henrik Visnapuu.) Вы меня, дорогой друг, просто тронули своими заботами и вниманием. Я обязательно сделаю так, как Вы советуете: я и сам подумал об этом.

В скором времени я напишу Сталину, ибо знаю, что он воистину гениальный человек. И пошлю ему некоторые новые стихи. Что же касается credo моего, посылаю Вам стихи, написанные еще в октябре 1939 г. Из них Вы узнаете мои мысли и думы. Кроме того, посылаю Вам два стих<отворения>, написанные этим летом. Все три стих<отворения> были помещены в нарвской газете «Советская деревня» и, кроме того, взяты у меня спецкором «Правды» П. Л. Лидовым и В. Л. Теминым, когда 11 авг<уста> они посетили меня в Усть-Нарове и долго беседовали со мною, сделав более десяти снимков с меня дома и на реке. Когда я узнал впоследствии от знакомых, что все 3 стих<отворения> были помещены в «Литгазете», я подумал, что их туда передал Лидов. Но вот Вы пишете, что их там не было. Возможно, знакомые спутали с «Сов<етской> дер<евней>». Относительно денег — как я могу принять их от Вас, когда не знаю сроков получек своих? Во всяком случае, не нахожу слов благодарить Вас, верного своего друга. Посылаю Вам и четвертое стихотворение — «Старый Лондон». Думается, его следовало бы поместить именно теперь, иначе оно устареет. Впрочем, поступайте как найдете нужным, стихи оставьте себе на память и мне не возвращайте.

Я почти три года ничего не писал вовсе, и только это лето, когда бойцы и краснофлотцы освободили нас, реакционных мертвецов, оказалось для меня плодотворным, и я написал целый ряд стихов, ожив и воспрянув духом.

Вера Борисовна и я шлем наши самые сердечные приветы Нине (отчество?..) и Вам. Мы благодарим Вас, помним и любим.

Я жду от Вас, Георгий Аркадьевич, скорого ответа на это письмо.

А к Новому году и Вас самого.

Paide, 9.X.1940

Ваш Игорь

P. S. Пожалуйста, не осудите меня за плохие, водянистые чернила: в этом городе трудно что-либо достать. Поэтому и рукописи получились не в моем стиле. И еще один вопрос: видели ли Вы *своими глазами* № 46 «Литгазеты» от 1 сент<ября>? Или Вам кто-либо говорил о ней? Люди так настойчиво меня уверяли, что читали именно в «Лит<ературной> газ<ете>» мои стихи. И вдобавок прибавляли, что статья обо мне была там помещена!..

И. С.

7

5 декабря 1940 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич, как Ваше здоровье и отчего Вы давно ничего о себе не пишете? Я послал Вам 10 окт<ября> заказное большое письмо и вложил в него 4 новых стих<отворения>, а 12-го переслал зак<азной> банд<еролью> книгу переводов с эстонского, как Вы просили. Около 20 окт<ября> я серьезно заболел: сердечная ангина. Это — следствие весеннего воспаления легких, т. к. температура более месяца была тогда 38—39. Болезнь, чрезвычайно мучительная, продержала меня около месяца в постели. Перемежающиеся боли в левой руке и колики в области сердца, «шумная» одышка, мгновенная утомляемость, невозможность сгибаться. Теперь несколько лучше, но все же глухие боли в сердце. Собственно я не лечусь, только капли принимаю: здесь нет ни подход<ящих> врачей, ни средств на них. Все это очень скучно и отражается на психике, не давая работать. Стремлюсь всей душой быть полезным родине, и меня все это тяготит. Хотелось бы повидаться с Вами. Дайте отклик. Привет жене и Вам от Веры Борис<овны>.

Ваш Игорь

<На полях открытки приписано:>

Отвечайте на мой адрес (после 20-го буду дома): ЭССР, Narva-Jôesuu, Vabaduse, 3.

8

20 декабря 1940 г.

Paide, 20 дек. 1940 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич,

7 дек<абря> послал Вам открытку, а на другой день в школе у Веры Борисовны прекратились на 10 дней занятия (грипп), и мы в тот же день уехали, конечно, в Усть-Нарову, где так всегда очаровательно и бодряще. 16 дек<абря>, перед отъездом, я получил пересланные отсюда два томика Байрона, а 17 дек<абря> уже здесь и Ваше письмо. Благодарю Вас за все. Здоровье мое, к сожал<ению>, совсем испорчено, и это меня омрачает и тяготит. Для меня легче отвечать и писать по пунктам. Простите.

1) Какую работу может мне предоставить Союз эст<онских> писат<елей>? Думаю — никакой. На единовр<еменную> субсидию надежд нет: у них мало средств, да и нет мотивов. Попробую, однако.

2) Книги все распроданы. Постараюсь найти две-три. Трудно.

3) Из примечаний к «Шильонскому узнику» выяснилось, что Вы побывали в Швейцарии. В котором году это было? Я ехал через Швейцарию (Белград — Загреб — Любляна — Инсбрук — Базель — Париж) в 1931 г. в конце января. Отчего не заехали в Тойлу, как обещали?..

4) 163 разных типа катрена — это восхитительно! Спасибо за работу и за выяснение.

5) Ваши указания дельны и дружественны. Самое интересное — это то, что решительно все задевали давно и меня, но вот не исправил почему-то раньше. Теперь все исправлено. Ознакомлю Вас.

6) Жаль, что в Союз советских писателей послал через Союз эст<онских> писат<елей> в прежней редакции (10 дек<абря>).

7) Очень просим Вас приехать в Усть-Нарву между 1—8 января. Я хотел бы повидаться с Вами, дорогой и верный друг. Здоровье мое побуждает просить Вас. У нас есть один свободный диван в моей рабочей комнате. Чисто, светло, тепло.

8) Мы уезжаем в Усть-Нарву (на новог<одние> каникулы) 30 декабря. Пишите на этот адрес (Narva-Iôesuu. Vabaduse, 3. ЭССР).

<Приписка на полях:>

Мне очень хотелось бы иметь какую-либо книгу о М<аяковском>, где, вероятно, есть строки и обо мне: интересно, как пишут обо мне (в каком тоне, и много ли истины? О Маяковском, я наслышан, имеется целая литература.

9) Сообщаю Вам, на всякий случай, перечень книг моих, вышедших в зарубежьи:

Кн. 7 — «Миррелия». 1916—1917 Кн. 9 — «Соловей». 1918 Кн. 11 — «Вербена». 1918—1919 Кн. 12 — «Менестрель». 1919 Кн. 14 — «Фея Eiole». 1920 Кн. 21 — «Классич<еские> розы». 1922—1930	стихи
Кн. 22 — «Адриатика». 1930—1931 Кн. 16 — «Роса оранжевого часа». 1923 Кн. 17 — «Падучая стремнина». 1922 Кн. 18 — «Колокола собора чувств». 1923 Кн. 24 — «Рояль Леандра». 1925	поэмы и романы

Кн. 23 — «Медальоны». (Сонеты — характеристики поэтов, писателей, композиторов. Всего 100.)

Рукописи:

Кн. 8 — «Литавры солнца». 1922—1930 Кн. 10 — «Настройка лиры». 1896—1930 стихи Кн. 25 — «Очаровательн<ые> разочарования» 1931—1940	стихи

Кн. 19 — «Солнечный дикарь». (Утопич<еская> эпопея.) 1924

Кн. 20 — «Плимутрок». (Пьесы и рассказы в ямбах.)

Кн. 27 — «Теория версификации» (стилистика поэтики). 56 стран<иц>

Кн. 28 — «Уснувшие весны». (Критика. Мемуары. Скитания.)

Книги 13, 15, 26, 29, 30, 31 — переводы с эстонского (все вышли в свет).

10) Получили ли Вы в свое время «Росу оранжевого часа»?

11) Вышлю Вам с Устья «Рояль Леандра», «Адриатику», «В оконном переплете» (Раннит), «Полевую фиалку» (Виснапу). Есть по две-три.

12) Переводите ли Вы остальные поэмы Байрона: «Чайльд-Гарольд», «Манфред», «Каин», «Дон-Жуан»? Последняя меня очень интересует из-за Суворова.

13) Не пришлете ли мне еще каких-либо своих (или переводных) книг? Буду очень обязан.

Ваше послесловие показательно и доказательно. Да, в Ваших переводах читать и можно, и даже интересно порой: они изумительны: какой русский язык!

Нине Леонтьевне и Вам Вера Борисовна и я искренне шлем приветы.

Всегда Ваш и с Вами Игорь

<Приписано на полях:>

Не пришлете ли нам книжку стихов Нины Леонтьевны?

<к письму от 20.12.40>

Не пригодится ли перевод «Моего завещания» Юлиана Словацкого? Есть еще два перевода из Евг<ении> Масеевской. Есть с румынского, болгарского, сербского, еврейского.

Есть еще вся «Меланхолия» (5 стихов) Верлэна.

...Сижу в валенках и шубе и пишу эти строки. Верочка в школе. Она так рада была, увидев мою радость, когда Вы прислали работу. У меня, к сожал<ению>, почти ежедн<евно> мигрени; периодически, несколько лет. Приму порошок. И сердце болит сегодня особенно: новости, волнения.

За окном 24 гр<адуса> мороза. День и ночь горит «Грэтц». Я когда-нибудь воспою этого чудного, милого друга!

Если бы работа стала постоянной! Мы могли бы жить в Усть-Нарве, — это же мечта!

Только там можно работать с упоением: тепло, светло, чисто.

9

Начало января 1941 г.
<Не позже 17.01.41>

В стих<отворении> «Старый Лондон» после слов «аббатством» следует: «подсобить разветрить флаг,

флаг, где серп, и флаг, где молот,
флаг, возникший над Невой,
флаг, который вечно молод —
бодрый, гордый, огневой» и далее, как раньше.

После слов «Британский брат» следует новая строка: «Восстановит новый Лондон, победив, пролетариат».

Еще раз: получили ли Вы в свое время «Росу оранжевого часа»? Если нет, я имею один свободный экземпляр и могу Вам его выслать. Но все в Усть-Нарве.

В стих<отворении> «В наш праздник» десятая строка читается: «Мы верим в свое торжество».

Не возьмете ли Вы на себя труд отстукать на машинке те стихи, которые найдете более подходящими, и передать их в Союз сов<етских> писат<елей>. Был бы Вам весьма обязан, т<ак> к<ак> теперь выяснилось, что Союз эст<онских> писат<елей> стихов не выслал 10 дек<абря>, как собирался.

Высылаю Вам «Рояль Леандра».

За книгу «Гюго» большое спасибо. Я ее внимательно прочту, совсем мало его зная.

Лилия Брик, говорят, поместила интересную статью «Маяковский и чужие стихи» в № 3 «Знамени» за 1940 г. Мои знакомые ни в Таллине, ни в Тарту, ни в Нарве, однако, этого номера, к сож<алению>, не нашли. Не пришлете ли его мне? Пожалуйста, очень прошу.

И не найдется ли книга Бенедикта Лившица «Полутораглазый стрелец»? Что было в «Литер<атурном> обозреньи» (окт<ябрь>, или ноября, или же сент<ябрь> 1940 г.)?

В Эстонии, увы, ничего купить попросту нельзя. Я читаю только «Правду», «Огонек», иногда «Октябрь», «Вокруг света», «Вожатый», «Наша страна».

Вообще, если Вы иногда пошлете нам какую-либо книгу, мы с Верочкой будем в восторге, ибо, повторяю, здесь ничего не достанешь. М<ожет> б<ыть>, можно наложенным платежом? Иначе стыдно беспокоить.

Прилагаемые стих<отворения> Веры Бор<исовны>, может быть, дадите в какой-нибудь журнал, если представится случай.

Фото вышлю из дома: здесь, к сожал<ению>, нет.

Пишу воспоминания о Маяковском. Около 500 строк уже есть. Больше, пожалуй, и не будет: все запечатлено.

10

17 января 1941 г.

Paide, 17.I.41 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич, сегодня получил Ваше письмо, а третьего дня мы вернулись сюда из дома. Жизнь наша грустна и тягостна,

дорогой друг, ибо мы должны жить в жутких условиях общежития, в комнате ледяной и сырой, оторванные от условий, в которых я мог дышать, творить и мыслить. Климат Paide ужасен: всегда сырость болотная, удушающая и давящая. Даже при 20 гр<адусах> морозов ясно ощущается сырость! Ни одного знакомого человека, ни театра, ни радио, ни книг, ни доктора, которому можно довериться. У В<еры> Б<орисовны> слабые легкие, она вообще хрупче хрупкого, вся из Матэрлинка, а я еще года нет как перенес воспаление левого легкого, а с октября приобрел болезнь сердца. Можете себе представить, как «хорошо» мы себя чувствуем. Школа совершенно убивает моего друга: 4—5 уроков ежедневно, да работа дома, да тетради, да подготовка, да постоянные заседания, так что она в тень на моих глазах (а это очень ведь тяжко!) превратилась. И я ничем-ничем не могу ей помочь, ибо с июля заработал всего, дико вымолвить, 12 р<ублей> 50 к<опеек>!.. Минутами я чувствую, что не вынесу безработицы, что никогда не оправлюсь в этом климате, в этой комнате, вообще — в этих условиях. Душа тянется к живому труду, дающему право на культурный отдых. Последние силы иссякают в неопределенности, в сознании своей ненужности. А я мог бы, мне кажется, еще быть во многом полезен своей обновленной родине! И нельзя жить без музыки, без стихов, без общения с тонкими и проникновенными людьми. А здесь — пустыня, непосильный труд подруги и наше общее угасание. Изо дня в день. Простите за этот вопль, за эти страшные строки: я давно хотел сказать (хоть сказать!) Вам это. Моя нечеловеческая бодрость, выдержка и жизнерадостность всегдашняя порою (и часто-часто) мне стали изменять. Я жду труда, дающего свои деньги, и отдыха заслуженного, а не бессмысленного.

Любящий Вас Игорь

P. S. Несколько слов по поводу стихов, переданных Вами в редакцию «30 дней». Я был бы крайне заинтересован в их помещении и в оплате, т. к., прямо скажу, весьма тяжко не иметь своего заработка. Вообще, отдавайте стихи, куда только возможным найдете. В<ера> Б<орисовна> напрягает последние силы, но большая часть ее жалования уходит на уплату давнишних долгов. Еще раз скажу: если бы я поскорее мог получить постоянную работу! Болезнь моя более чем серьезна, но я часто стараюсь ее убавить, чтобы не разорять друга на лекарства, доктор же у меня в Усть-Нарве — давнишний приятель и денег за совет не берет. Но здесь, в Пайде, я к врачам не обращаюсь. Безработица — одна из главных причин моих сердечных припадков.

Роман свой я Вам вышлю только через несколько дней.

«Мазепу» Гюго нахожу гениальным произведением. Еще раз спасибо за книгу.

Если встретите Пастернака и Асеева, передайте им мой искренний привет.

Видитесь ли с А. Н. Толстым, В. Каменским и Бриками? Если видитесь, пожалуйста, приветствуйте их.

Давно я не видел Толстого (с Берлина!). Постарел ли он? Мы так дружно тогда и весело проводили время с ним и покойным Маяковским.

11

22 января 1941 г.

Paide, 22 янв<аря> 1941 г.

Дорогой мой Георгий Аркадьевич, в добавлении к своему письму от 17 янв<аря> я хочу в кратких словах описать Вам Усть-Нарову и ее окрестности, чтобы Вы с исчерпывающей ясностью представили наше душевное состояние и поняли, как нам безумно тяжело было лишиться моря, рек, озера, дивного воздуха и уюта сухой и солнечной квартирки. Усть-Нарова, маленький изящный городок, расположена при впадении широкой и многоводной Наровы в Финский залив. Напротив наших окон впадает в нее Россонь, река тоже достаточно большая, извилистая, с живописными берегами. Вытекает она из реки Луги (редкий случай, не правда ли?). В $2\,{}^{1}/_{2}$ кил<ометрах> от городка на правом берегу Россони, в лесах хвойных, находится деревушка Саркуль, где в маленькой избушке (кухня и комнатка) мы прожили со 2 апр<еля> 1938 г. по 1 апр<еля> 1939 г. – ровно год. Это было чудесно, и жаль, что из-за лавок и почты пришлось все же переехать оттуда, но опыт показал, что в бурю, метель или осенние дожди мы буквально были отрезаны от хлеба, папирос и прочего. Купить же или занять в деревне было немыслимо. В хорошую погоду мы ездили в лавки на лодке, и это было большим удовольствием. Если бы мы, конечно, были богаче, мы могли бы запасаться тогда и табаком, и мукой, но в том-то и беда, что при капиталистическом строе мы всегда очень нуждались и доставали деньги по мелочам. Да и В<ера> Б<орисовна> $2\,{}^{1}/_{2}$ года была лишена службы (из-за плохого здоровья). И вот 1.IV.1939 г. нам пришлось переехать в городок, где удалось подыскать на берегу Наровы прелестную, крохотную, очень теплую и сухую квартирку, похожую на каюту, по очень дешевой цене (8 р<ублей> 75 к<опеек> в месяц). Мы, люди бедные, ее любовно и по нашим грошовым получкам тогдашним ее меблировали, причем большинство вещей было сделано по моим рисункам саркульским столяром-любителем, крестьянином Петром Ивановичем. Все это

обошлось крайне недорого, но выполнено было изящно и чисто. Красил вещи я сам. Когда наконец был создан элементарный уют, я целиком мог отдаться творчеству. Все эти годы мы мечтали обзавестись радио, но, увы, достичь этого не смогли из-за неимения средств, и это тем печальнее, что мы обожаем серьезную музыку, а В<ера> Б<орисовна> — человек музыкальный и прелестно играет на пианино, которого, кстати сказать, у нас тоже нет... Итак, откинув музыку, перечислю достоинства Усть-Наровы:

1. Прекрасный морской, бодрящий климат.
2. Очаровательные реки, тихое озеро, леса, поля, луга, море.
3. Лавка, почта, аптека, доктор.
4. Уют и тепло помещения.

Всего этого мы абсолютно лишены в нашем болоте (во всех смыслах!) — в Пайде. Как же нам не печалиться, что не удалось Вере Бор<исовне> получить место учительницы в Усть-Нарве или хотя бы в красивой Нарве, куда могла бы ездить ежедневно на службу? Езды ведь всего 25 минут.

Я хотел бы следующего: 5—6 месяцев в году жить у себя на Устьи, заготовляя стихи и статьи для советской прессы, дыша дивным воздухом и в свободное от работы время пользуясь лодкой, без которой чувствую себя как рыба без воды, а остальные полгода жить в Москве, общаться с передовыми людьми, выступать с чтением своих произведений и совершать, если надо, поездки по Союзу.

Вот чего я страстно хотел бы, Георгий Аркадьевич! Т<о> е<сть> быть полезным гражданином своей обновленной, социал<истической> родины, а не прозябать в Пайде.

Мы с Верочкой очень просим Нину Леонт<ьевну> и Вас все же в коне концов собраться к нам, в Усть-Нарву, предварительно нас на недельку известив. Тогда я один (Вера из-за службы сможет приехать на один-два дня только, к сожал<ению>) выеду домой и приму Вас обоих, как родных. Заранее извините за скромность приема, но зато он будет сердечным. С голода Вас не уморю, ибо готовить необходимое умею в совершенстве сам. Моя рабочая комната с двумя диванами, простыми, но чистыми и удобными, в вашем распоряжении.

Мне просто необходимо повидаться с Вами и обо всем переговорить. Я жажду живой и продуктивной работы. Единственное, что меня удручает, — мое здоровье.

Но не будем об этом говорить, сами все увидите. М<ожет> б<ыть>, получив работу, я оживу еще раз.

По моим шестилетним наблюдениям, глубоким и продуманным, состояние Верочки таково, что ей служить не следовало бы ни в каком случае; с нее совершенно достаточно и забот по хозяйству. Из этого

вывод: я должен встать на ноги и продолжать, как и раньше, содержать и себя и ее. Невыносимо видеть, как любимый человек, порядочный и бескорыстный, прямо убивает себя непосильной работой. Так что и служба в Нарве даже, в итоге, конечно, принесла бы ей вред.

Мучает Веру и то, что ее ребенок, девочка девяти лет от первого мужа, разлучена обстоятельствами с нею: в Пайде русских школ нет, а дочь учится в русской школе в Таллине и живет у бабушки вот уже вторую зиму. (До осени 1939 г. ребенок был при нас). На новогодний каникулы девочку В<ера> Б<орисовна>, конечно, брала в Усть-Нарву. Что касается Нины Леонтьевны и Вашего приезда, я полагал бы так: приезжайте сначала на недельку теперь же (в феврале), а потом на более продолжительный срок летом, а когда можно будет пользоваться лодкой, когда откроется морское купание и проч<ее>.

Посылаю Вам стих<отворение>, написанное Вашей ритмикой («Барханы»), и еще два, что составит весь цикл пьес, созданных от июля до окт<ября> включительно (т<о> е<сть> 11), а также три строфы из «Рояля Леандра». Верочка и я Нине Л<еонтьевне> и Вам шлем самые дружеские приветы и ждем с гром<адным> удов<ольствием>к себе.

Всегда Ваш Игорь

12

31 января 1941 г.

31 янв<аря> 1941 г.

Дорогой мой Георгий Аркадьевич!

Вчера в 9.15 у<тра> получил Ваше письмо и материалы. Сегодня к 10 ч<асам> у<тра> работа была выполнена. Я потратил на нее сутки, — лучше я выполнить при всем старании не смог бы. Я благодарю Вас так, как только способен художник благодарить художника: вдохновенно! От этого «экзамена» зависит слишком многое, поэтому будьте в оконч<ательном> редактировании беспощадно строги: исправляйте все, что найдете нужным. Я после болезни слишком сдал: рассеянность, м<ожет> б<ыть>, недомыслие, мгновенная усталость. Не судите калеку очень, поймите. «Мое о Маяковском» (запоздалые записи) я систематизирую и Вам недели через две вышлю, сделав копию, а Вам предоставлю опять-таки перечеркивать лишнее: Вам виднее. И фамилии заменять инициалами, если надо. У меня ведь сырой материал. Книги высылаю. Простите за невольную задержку. Если увидите Вад<има> Габ<риеловича>, скажите ему, что я прошу его выслать мне на прочет «Стрельца». Верну, конечно. Письмо И<осифу> В<иссарионовичу>

С<талину> у меня уже написано давно, но я все его исправляю и дополняю существенным. Хочется, чтобы оно было очень хорошим. Спешу выслать Вам письмо и перевод. Обнимаю Вас горячо, наш привет Н<ине> Л<еонтьевне> и Вам, дорогой, верный друг. Жду обещанного скорого письма. Мы переехали на днях напротив, наняв на чердаке кухню с отд<ельной> винтовой лестн<ицей> со двора. До потолка от моего темени ровно два вершка... Возможно, здесь теплее и суше, но печка держит тепло только... $1\,^1/_2$ часа! Да...

Всегда Ваш Игорь

Нужно ли посылать Вам переводы в прозе?

13

6 февраля 1941 г.

Paide, 6.II.1941 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич!

Я решил приналечь на работу и выслать Вам «Мое о Маяковском» поскорее, ибо обстоятельства не терпят... Сделайте из материала, что найдете возможным. Роман вышлю из Усть-Нарвы, а пока высылаю другие книги. Мицкевича послал 31 янв<аря> и трепещу за участь переводов: слишком много с этим связано. В<ера> Б<орисовна> и я совсем расхворались на своем чердаке: у нее бронхит, у меня кашель, насморк, бессонница, и сердце таково, ведра поднять не могу: задыхаюсь буквально. Спешу послать.

Обнимаю Вас крепко.
Наши Вам обоим приветы Сердечные.
Всегда Ваш Игорь

P. S. Жду обещанной весточки.

14

24 февраля 1941 г.

Усть-Нарва, 24 февраля 1941 г.

Дорогой и милый Георгий Аркадьевич,

не получая от Вас ответа на три заказных письма из Paide, крайне обеспокоен Вашим молчанием и решаюсь еще раз написать Вам, чтобы выяснить некоторые непонятности.

Буду предельно краток. Переводы из Мицкевича я послал Вам сразу же, т<о> е<сть> 31 января. Затем 5 февр<аля> послала материалы о Маяковском (15 страничек). Кроме того, 23 янв<аря> послал письмо с описанием Усть-Нарвы и прилож<ением> трех строф из романа и стихотворения «К английскому пролетариату».

Как я и предполагал, Верочка, жестоко заболела: ровно 14 дней проболела в Paide, а потом врач, видя, что в болоте ей не поправиться, настоял на перемене воздуха и направил ее к морю еще на 10 дней. Завтра истекает срок, и мы обязаны вернуться. Думаю об этом с отчаяньем, т<ак> к<ак> боюсь, что болото сразу же ухудшит ее бронхит. А тут, уже на четвертый день, она почувствовала себя было совсем хорошо. Жалованья она, увы, не получает, а лишь 50 проц<ентов> на болезнь, да и то только тогда, когда совсем поправится, пока же мы задолжали кому только могли, и выпутаться будет крайне трудно. О своем здоровье утешительного ничего сообщить не сумею: колики в сердце, одышка, ночные ежедневные поты, отчаянье от безработицы и невыясненности положения и от ужаса перед необходимостью сидеть в падейском болоте. О, если бы я смог, пока жив, получить наконец более-менее постоянную переводную работу из Москвы! Кстати: что можете Вы сообщить по поводу сданной мною работы? Приемлема она или вообще никуда не годится? Но я так старался, дорогой друг. Дней через 11—12 мы рассчитываем опять сюда вернуться на весенние каникулы (дней на 12). Поэтому убедительно Вас прошу, напишите ответ в Усть-Нарву. И вот еще один вопрос: не писали ли Вы мне на Paide после 25 янв<аря> (Ваше последнее письмо)? То, где были подстрочники. Получили ли Вы письмо со стих<ами> Верочки? Мне так стыдно отнимать у Вас деловое время, но, уверяю Вас, общее мое состояние (и моральное, и матер<иальное>) да послужит мне прощением. Я серьезно болен, Георгий Аркадьевич, и ежеминутно болею думою за свою подругу. Простите, не осудите, напишите. Наши самые искр<енние> приветы Нине Леонтьевне и Вам. Мы уже устали звать Вас обоих к себе.

Обнимаю Вас крепко.
Ваш всегда и всегда с Вами Игорь

15

7 марта 1941 г.

Paide, 7.III.41 г.

Дорогой и милый Георгий Аркадьевич!

с большим трудом (в разл<ичных> отнош<ениях>) «доставились» мы сюда 2 марта к вечеру. Дорога невообразима: три пересадки, сквозня-

ки, переп<олненные> вагоны, стояние на холодн<ых> площадках. Всего на дорогу уходит более восьми часов! А расстояние пустяковое. 4 дня после этого лежал пластом, ночью приходилось менять по 3–4 рубашки: хоть выжми. Сердце – сплошная рана. Кашель, вызывающий рвоту. Куда я годен? На слом!.. Первое, что здесь выяснилось: на весенние каникулы отпустят лишь 20–22.III. Следов<ательно>, до 20-го пишите сюда. Вы, напрасно, дорогой, пишете в двух экз<емплярах>: письма ведь немедленно пересылаются на другой же день – из Paide в Усть-Нарву и наоборот. Мы всегда подаем письм<енное> заявление. Спасибо сердечное за письмо: Вы столько хлопочете, столько участия во мне принимаете. Не всякий родной так поступил бы. Вообще я недолюбливаю «родных»: самые чуждые, самые чужие. Убеждался неоднократно. К счастью, я давно избавлен от этого элемента. Но вот Верочка... Кстати: она, бедненькая, призналась мне, что в полном отчаяньи, под минутой, написала Вам о наших горестях. Сначала я пожурил ее, а потом понял и оправдал. И Вы оправдайте ее срыв, дорогой друг мой: воистину тяжко ей приходится, – больные невыносимы иногда. Ничего-то скрыть от меня не может: чистая и честная. Ходит опять безропотно в школу, вдыхая болотные испарения. Директор советует сделать последний опыт: до 20.III походить, а если хуже станет, подать в отставку: и ее жалеет, да и больные педагоги только помеха. Посмотрим. Обидно, конечно, перед летом, но ни у кого из нас нет уверенности, что В<ера> Б<орисовна> в состоянии вынести Paide до 20 мая. Предвешние же месяцы здесь опасны для легочных, – это и сам директор говорит, да и врач обмолвился. У меня же еще появилась невралгия левой щеки, так что две ночи и спать не мог. Да и мигрени часты и жестоки. Как видите, все прелести. Хочу все же, чтобы Ваши две работы увенчались успехом и чтобы Вы и Н<ина> Л<еонтьевна> к нам приехали: сколько вопросов, сколько рассказов! Думаю, все болезни сразу от меня отскочат, лишь Вас, дорогого своего, увижу. Ведь в Вас кусочек моей юности, когда я был в периоде завоевателя, когда я весел был, был здоров и когда мне все удавалось. С нежностью вспоминаю иногда Гатчину, когда Вы сидели в моем вишневом кабинетике, пуская голубые кольца, такой внешне спокойный, уравновешенный, мудрый, кипящий внутренне. Я тогда уже знал, что Вам большой и прямой путь предназначен. А помните зайца моего? А лилию в красной узкой вазе? Стоп. Довольно. Не надо больше. Безнаказанно молодость не вспоминают: колики в сердце, поток слез, рука тянется к папиросе. Удивляетесь: па-пи-ро-са? Конечно же, запрещено, но как я могу без табака и без «крепчайшего» (по А. Белому) чаю? Кстати: читали ли Вы его «Первое свидание»? Местами гениально. Вообще же терпеть его не могу.

Теперь несколько слов деловых. Скучно, но нужно. Пришлите нам, пожал<уйста>, № 3 «Красной нови»: здесь нигде ее нет, и никто про нее не слышал. (Я имею в виду Tallinn и Tartu.) Но я-то давно слышал. Еще лет 8 назад перелистывал у Правдина, лектора униве<рситета>. Тогда была, а теперь, удивительно, нет. Сколько плата за строку? Кто и когда перешлет зарплату? Материалы о Маяковском, понятно, вряд ли возможно напечатать из-за интимностей. Было бы чудесно продать в музей. Очень прошу. Жду с упоением франц<узских> поэтов. Но теперь буду работать чуть медленнее: прошлый раз повлияло на голову, а мне врачи запретили перегрузку еще в апреле прошлого года. Эст<онского> языка совсем не знаю. (Вообще на языки тупица!) От фольклора, к сожал<ению>, категорически уклоняюсь: не моя это сфера. От санатория (спасибо за Ваше доброе участие!) тоже уклоняюсь: лучшая для нас санатория — Усть-Нарва. Я привык жить совершенно самостоятельно, дорогой друг. Корку хлеба с солью и крепкий чай — да дома у себя. Характер у меня очень трудный и замысловатый. Постоянное общение с людьми меня сразило бы. Что касается остальн<ых> полит<ичеких> стихов, было бы хорошо разместить их по журналам.

Все-таки можно было бы кое-что подработать. Не прислать ли вам статью «В лодке по Россони»? Там много выпадов против капитал<истических> условий жизни. Написана она в дек<абре> 1939 г.

То, что стихи мои попали в «Кр<асную> новь», меня радует чрезвычайно. Я благодарю Вас особенно за устройство их. Письмо от товарища Маркушевича еще не получено. Неужели же задержат перевод зарплаты? Это весьма грустно было бы. Значит, «30 дней» меня «не любит». Что делать? А что «Октябрь», «Молодая гвардия»? Верочка иногда покупала отдельн<ые> номера этих журн<алов>. А «Знамя»? Лидов прислал письмо — просит свед<ений> для «Правды». Ему заказана статья. Осенние свед<ения>, по его словам, устарели. Но ведь нового ничего нет. Позвоните ему, м<ожет> б<ыть>, по телефону в газету? Он и Темин и фото осенью несколько сделали у нас в кварт<ире> и в лодке в Нарове. Специально просили к воде спускаться. Писать же о болезни своей скучно, да и читателю безразлично. Мне очень хотелось бы после весен<них> каникул остаться уже в Усть-Нарове с Верушкой и ждать там вас обоих. Не знаю, удастся ли это. Поверьте, что поезда меня убивают, и эти постоянные метания из одного пункта в другой меня совсем затормошили. Шлем Нине Леонтьевне и Вам наши самые искренние приветы. Ждем к себе. Обнимаю Вас крепко и целую. Вы так и не ответили на мою просьбу прислать стихи Н<ины> Л<еонтьевны>, — разве у нее нет сборника? Или распродан?

Всегда Ваш Игорь

P. S. Для Вас на Устье забандеролены две книжки. Вышлю около 24–25.III. Жду Верхарна. И вообще – книг. Не оставляйте без дух<овной> пищи. Прошу очень. И ответьте на это письмо, пожал<уйста>, 12 марта. Ну, милый, хорошо?.. 16-го ответ получу. Не откладывайте. Хотя бы несколько слов. Так томительно ожидание.

Что же касается «помощи» от Союза эст<онских> пис<ателей>, могу сказать одно: до сих пор никто не дал и даже не написал мне. Вряд ли и дадут, т. к., в массе, терпеть меня не могут: я не усвоил языка и т. д. Вообще, за все 23 года я был в стороне от них, а они от меня. Исключение: Виснапу, Адамс, Раннит, отчасти Алле. Вот Иоганнес Барбарус – очень милый, культурный и чудесный человек. Он мне всегда и книги с надписью присылал, и вообще хорошо относился. Если буду в Таллине, повидаюсь с ними и переговорю. Жена его и жена Виснапу – подруги с детства и встречаются до сих пор очень часто. Раннит с осени переехал в Каунас, где получил место возле своего друга Людаса Гиры, женился на примадонне оперы. Пишет мне оттуда. Кстати, он – русский по национальности (Долгошев). Адамс (магистр филологии) читает в Tartu лекции и редактирует «Молот». Виснапу переводит Пушкина и Кудышева (?). Послали ли Вы ему свою книжку? Впрочем, он переменил адрес.

...Мне вдруг захотелось послать Вам два стих<отворения> из двух кишиневских циклов. Что Вы о них скажете?..

Беру из «Очароват<ельных> разочарований». (Рукопись.)

Отправку этого письма пришлось из-за денег задержать на сутки, а сегодня утром получил наконец письмо от тов<арища> Маркушевича. Он сообщает, что гонорар они сумеют выслать на днях. Меня только смутила сумма: 399 вместо 640. Что это, как Вы думаете, значит? М<ожет> б<ыть>, частями будут платить? Было бы так обидно. Если так много убавлено: я так рассчитывал на полную сумму, у меня столько обязат<ельств> и долгов. Тов<арищ> Марк<ушевич> пишет, что в Москве сейчас нахо<дится> пред<седатель> Союза эст<онских> пис<ателей> тов<арищ> Якобсон (мы не знакомы), и советует мне впоследствии связаться с ним. Что же, можно испробовать, только вряд ли что выйдет. Итак, дорогой мой, теперь Ваш ответ жду уже, увы, только 17-го. Не мог ли бы Якобсон привезти гонорар из «Кр<асной> н<ови>»? И перевести мне из Tartu?

16

20 марта 1941 г.

Paide, 20.III.41 г.

Дорогой и милый Георгий Аркадьевич!

Получив 16-го Ваше письмо, я попросил на другой же В<еру> Б<орисовну> справиться в банке о телегр<афном> переводе, и действит<ельно>, перевод уже, оказывается, давно лежал: извещенья здесь не приняты. Итак, я получил 17-го зарплату! Спасибо Вам еще и еще раз за все Ваши хлопоты. Теперь нам сразу полегчало в денежн<ом> отнош<ении>. Спасибо и за Верхарна, переведенного почти целиком Вами единолично, ибо Гатов, Брюсов и Волошин — это «капля в море» (простите за стереотип!). Читаю систематически. Хватит недели на полторы.

Сегодня получил письмо от тов<арища> Маркушевича. Он пишет, что мне платили по 3 р<убля> 50 коп<еек> за строку. (114 строк из 128, т. к. 14 из них (сонет) забраковано.) Все же, если Вам удастся 50 коп<еек> впоследствии отвоевать, мне придется дополучить, следов<ательно>, 57 рублей, а это для нас не шутка! У меня, напр<имер>, единственный пиджак (с 1.II.1936 г.), в котором без пальто даже на улицу не выйдешь: глянец повсюду, пятна, обшарпанный воротник и рукава. «По людям» хожу, но в театр нельзя. Люди-то знакомые поймут. А выйдешь на солнышко на улицу — и чужие узрят и, м<ожет> б<ыть>, не поймут. Из этого случая Вы видите, каково жилось нам при капиталистическом строе: оборванцами ходили. Франтить я никогда не любил, но некая опрятность в одежде, мне мыслится, обязательна, как вода в бритье, не правда ли? И вот ее-то и нет, увы.

Верочка благодарит Вас за сердечное и чуткое письмо. Вы — хороший, глубокий, чудный. Что касается «Светляков», если изъять три строки фона, ничего от них не останется. Пусть лежат у Вас в столе: когда-нибудь потолкуем. А пока посылаю Вам другие. Их у меня не очень-то много найдется: везде испорчено мистикой и проч. Но все же сборничек страниц на 100—150 получится подходящий. При старом режиме писатель часто терял чувство внутренней дисциплины, похабно разволивал себя и впадал нередко в непереносимую пошлость и темы, и трактовки ее, и даже стиля. У советского же писателя есть целомудрие, благородство и отрадная скупость в словах и выражениях. Я надеюсь, что со временем освою все это в совершенстве: я ведь, в сущности, не «балаболка», и в сущности моей много глубинного.

21-го я уезжаю в 2.40 дня в Усть-Нарву, а Вера Борисовна с тем же поездом (до Тапса) в Таллин за дочерью. Они приедут ко мне 23-го. Пробудем дома до первого апреля. Спасибо за обещание выслать

«Красную новь». Жду с большим нетерпением. Маркушевич сообщает, что мне дадут оттуда 250 рублей (и вышлют их). Это очень мило. Передайте Асееву мои искренние поздравления с премированием его романа, который у меня имеется. (Там я и про себя нашел!) Что говорит музей? (Спасибо Вам за перепечатку материалов: это же большая работа получилась!)

<К письму от 20.III.41>
22.III.41 г.

Школу лишь сегодня распустили на весенние каникулы, но мы, увы, вынуждены здесь остаться: мое здоровье не позволяет мне пускаться в такой трудный путь одному, а В<ера> Б<орисовна> едет завтра за дочерью и привезет ее сюда. Это так грустно, так обидно — сидеть здесь без цели, но ничего не поделаешь, да и дорога чрезвычайно дорога: около 120 р<ублей>. Сколько концов! В Таллин Вере, оттуда ей и ребенку в Нарву, из Нарвы ей и реб<енку> в Таллин, оттуда ей опять в Пайдэ, да мне два конца — в Нарву и обратно, да еще там автобусы. Нет, это невозможно. Да и плохо я себя чувствую.

...Спасибо Нине Леонть<евне> за переписку стихов, — мы очень тронуты ее любезностью.

...Итак, пишите на Paide. Если же написали уже на Устье, не беда: перешлют, — мы посылаем сегодня заявление. Вот только гонорар из «Красной нови» (250 р<ублей>) пошлют, вероятно, на отдел<ение> банка в Нарве, т. к. я дал Маркушевичу свой адрес другой на каникулы, и он пишет, что передал его редакции. Попробуем заявить в наше отд<еление>, чтобы затребовали из Нарвы сюда. Два адреса — всегда путаница.

...Лидов дал адрес «Правды». Я читал его статью осенью о Латвии, помещенную в «Сов<етской> Эстонии» (Таллин). Фото Темина (мост через Эмбах) видел в журнале. На вид оба симпатичные.

Сегодня Правдин, лектор унив<ерситета> в Тарту, пишет мне, что Л<идов> (они знакомы) уехал в Минск, и сообщает ему, что мои стихи идут в «К<расную> н<овь>»: очевидно, в курсе дел все-таки.

...Против юга я ничего не имею, но дорога меня прикончит. А раньше мы всегда зимами жили на юге: в Бессарабии, в Далмации и проч.

...А все-таки меня чрезвычайно интересуют мотивы браковки «К одиночеству»: нельзя ли увидеть текст с подчеркиваниями и пр. М<ожет> б<ыть>, я смог бы исправить? Или эта пиеса передана другому лицу, так сказать — «на отделку»? Вы сами видели сонет после профессорского «обзора»? И где он вообще, этот сонет?

Крепко Вас обнимаю, шлем искренние
Нине Леонтьевне и Вам приветы.
Всегда с Вами. Игорь

27.III

Умышленно позадержал отправку этого письма, ежедневно ожидая франц<узских> коммунаров, чтобы заодно известить Вас о получке материала. Однако присыл задерживается, — видимо, отбор еще не сделан, поэтому сегодня уже отправлю.

И. С.

17

2 мая 1941 г.

Нарва-Иезу, 2 мая 1941 г.

Дорогой и милый Георгий Аркадьевич,

после Вашей телеграммы от 17 апреля (я благодарю искренне Вас за нее) все эти недели ждал от Вас обещанного письма, но, увы, оно так и не пришло, поэтому пишу Вам сам, крайне обеспокоенный Вашим молчанием. О болезни своей я писать не стану, т. к. повторяться скучно, а мне еще и тяжело лишний раз говорить об этом. Достаточно сказать, что я вот уже вскоре месяц прикован к кровати, встаю только изредка на час-другой, после двух дня поднимается ежедневно температура (до 39,7), ночью (каждую ночь!) изнуряют поты, у меня найдено врачом расширение сердца (2 $^{1}/_{2}$ с.), пью йод, и ничего, в общем, не помогает!

...Итак, 18-го апр<еля> мы переехали сюда. У Веры Борис<овны>, как показал рентген, легкие никуда не годятся, доктора прямо-таки погнали ее, как и меня, прочь из болота, и вот мы очутились здесь. Большое и сердечное спасибо Вам за ускоренную пересылку зарплаты из «Красной нови», также благодарю и за журнал, полученный 30 апр<еля>. Какие стихи идут в «Огоньке», т. е. на какую приблиз<ительно> сумму можно рассчитывать? Получили ли Вы мои книжки, посланные 20 апр<еля>? Не писали ли Вы мне письма после 17 апр<еля>, т. е. не потерялось ли оно? Кто выпустил строфу в стих<отворении> «Привет Союзу!» и слово «вскоре» в последующей — Вы лично или редколлегия? Предпочел бы, чтобы Вы. Вот я уже и устал, простите меня, придется письмо закончить, а столько хотелось бы сказать! Но Вы, дорогой, меня отлично поймете и не осудите. Пока благодаря гонорару из «К<расной> н<ови>» мы еще живы, а что будет дальше — посмотрим. Одно только знаю: чрезвычайно Вам трудно наладить переводную для меня работу, и мне крайне больно (именно больно!), что Вы так хлопочете. Не стесняйтесь, прошу Вас написать обо всем от-

кровенно: всякая правда легче недомолвок. Я ведь все смогу понять. <...>

Крепко обнимаю Вас, крепко целуем, шлем Нине Леонтьевне и Вам наши лучшие пожелания.

Надеюсь, теперь Вы сразу напишете, не станете терзать меня молчанием.

Всегда Ваш, всегда с Вами Игорь

Narva-Iõsuu, Vabaduse, 3,
ENSV Нарва-Иезу, Вабадузе, 3,
Эстонская ССР

P. S. Не думаете ли Вы, что правильнее писать «Нарва-Иезу» вместо «Усть-Нарвы», которой теперь фактически не существует? «Ериван»... «Тбилисси»... «Таллин»... Кажется, я прав.

18

Написано в период от 21.05 до 23.05.41 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич,
заставил себя сесть к столу и одним махом переписать десять стихотворений. Теперь у Вас, по крайне мере, будет выбор: что можно, возьмите для печати, остальное оставьте себе на память. Мне очень ценно было бы иметь Ваше мнение о каждом в отдельности (о всех пятнадцати). По два — по три слова хотя бы. Надеюсь, здоровье Ваше лучше и Вы уже встали. Напишите, если уже все прошло. Из «Огонька» до сих пор нет.

Я никуда не выхожу: температура, начиная с 4—5 дня, 38—39.

По утрам только и могу работать. А по ночам изнурительные поты.

Я спрашивал адрес Асеева. Но, м<ожет> б<ыть>, он меня не любит? Тогда не надо. Куда поехал Маркушевич? Когда его можно ожидать? Было бы хорошо познакомиться, поговорили бы о Вас. Нине Леонтьевне Верочка и я, как и Вам, шлем приветы. Верочке очень понравились стихи Н<ины> Л<еонтьевны>, в особенности ее любовь к детям.

Обнимаю Вас, целую, Ваш Игорь

Светлая Нина Леонтьевна, спасибо Вам за стихи — грустные и трогательные, изысканные и хрупкие. Отчего Вы бросили писать? Такие стихи нужны для небольшого круга ценителей. Это тем ценнее.

Берегите моего и своего друга!

Всего хорошего от Верочки и меня.
Игорь

19

23 мая 1941 г.

Усть-Нарва, 23 мая 1941 г.

Дорогой и милый Георгий Аркадьевич,
из Вашей вчерашней открытки рад был узнать, что Вы поправляетесь. О себе, увы, сказать этого не могу...

Я просмотрел все книги, изданные за 23 года отсутствия. Просмотрел наистрожайше. Среди бесчисленного мусора и всякой гнили я отобрал около 80 стихотворений безусловных. И вот я решил постепенно их переслать Вам: пусть лежат у Вас, — так надежнее. Кое-что отдадите в журналы, по крайне мере выбор будет. Лучшие стихи оказались в сборнике «Классич<еские> розы». А из других по 2—7. Выходит, что я написал за эти годы очень и очень мало. При моей теперешней строгости мне мало что может нравиться. Но то, что я посылаю Вам, я люблю, и стилистически эти вещицы, возможно, совершенны. Из них со временем составится неплохой избранник (исборник).

Что касается слова «предажа», Вы, конечно же, пошутили, что не понимаете!... (продать — продажа, предать — предажа...)

Только, пожалуйста, не подумайте, мой дорогой, что я послал стихотв<орение> о Н. Н. Гончаровой Вам как-нибудь в пику (Вы на нее ведь по-иному смотрите). Нет, уверяю Вас, я даже забыл о Вашем взгляде и только потом вспомнил. Откровенно говоря, никто из нас не знает ничего. Смотря кого читает, каким источникам вверяется. Очень возможно, что она была идеальной женщиной. Не спорю и не могу спорить. Но когда я это писал, мне казалось так (1924 г.). А теперь мне ничего не кажется. Если «предажа» противно звучит, можно всю эту строфу исключить: потеря не из больших. Итак, жду от Вас (когда будет время, конечно) мнения Вашего о каждом в отдельности. Теперь у Вас уже 20 лирических и 10 «портретов». А из тех десяти (политических) два напеч<атаны> в «К<расной> н<ови>», некоторые отпадают, т. к. я усвоил их никчемность («К англ<ийскому> пролет<ариату>», «Старый Лондон»). А что «Красная страна»? Разве ее никто не берет? На мой взгляд, она неплохо сработана. Не послать ли ее мне Дунаевскому? Посоветуйте вообще, что ему послать. А Белосельскому дайте, пожалуйста, возможность скопировать, что ему пригодится.

Обнимаю, целую, люблю. Будьте здоровы. Приезжайте летом: не так уж дорого обойдется, если купить только билеты.

Всегда Ваш Игорь

<Приписка на полях:>

Остальные 40 пиес я пришлю Вам значительно позже, т. к. переписка для меня крайне тяжела и кладет меня «в лоск».

20

15 июня 1941 г.

Усть-Нарова, 15 июня 1941 г.

Дорогой Георгий Аркадьевич,

ждал, ждал от Вас дополнит<ельного> письма, да так и не дождался! Или Вы очень снова заняты, или опять прихворнули. Лишь бы не второе, т. к. на опыте знаю, что это значит...

25 мая в 4 ч<аса> утра со мною произошел сердечный припадок. Верочке пришлось вызвать врача — актера Тригорина-Круглова, заним<ающего> здесь место *земского*. Уже много лет. Кое-как, с грехом пополам, оживил меня... К счастью, дня через два приехал докт<ор> Ривес из Tartu (Юрьева), окончивший Базельск<ий> унив<ерситет>. Он взялся за меня энергично, прописав ряд заграничн<ых> дорогих лекарств: за одну неделю на 42 р<убля>. Велел лежать 12 дней, экономя движения. Мне *чуточку* лучше. Это все... Докт<ор> заходит по средам. Он назначен директ<ором> водолечебницы в Усть-Нарве. Человек соврем<енный>, молодой, ироник и весельчак. И все-таки Вера хочет позвать на днях европ<ейское> светило — проф<ессора> Пуссепа, приехавшего на свою дачу. Вещи, правда, продаем полным ходом, но хватит ли их на светил — не знаю... Кстати, «Огонек» давно уже перевел 200 р<ублей>. Зарплата знатная: по червонцу строка! Жаль, что редко.

Переводы с туркм<енского> мне запрещены, как и вообще чтение и письмо. Но я не слушаюсь, иначе с голода помрем: продавать вскоре нечего будет. Работа, конечно, очень трудная и нудная, но она может дать деньги, и я энергично (понемногу!) работаю. Теперь взялся за «Серго». Вы, со своей стороны, будьте строги и решительны: исправляйте все, что надо.

Изд<ательство> «Сов<етский> писатель» обратилось ко мне с письмом, прося матер<иал> для № 2 «Ленингр<адского> аль<манаха>». Я послал 4 сонета, из которых принято 3, «Чайковск<ого>» браковали по понятным причинам: нытье. Кроме того, взяли с мал<енькими> выпусками «Красную стрелу» (не отдайте ее в какой-нибудь журнал!..).

С сегодняшним присылом стихов у Вас уже накопится 62. О, если бы хоть что-нибудь взяли куда-нибудь: невыразимо трудно болеть в безденежьи!..

Лето у нас кошмарное: холода, ветры, бури, дожди. Солнце пропало. Топим печь через день, готовит В<ера> Б<орисовна> на «Грэтц».

Нине Леонтьевне и Вам Верочка и я шлем сердечн<ые> пожелания. Пишите, очень прошу Вас: переписка с Вами большое для меня удовольствие. Мне кажется, что, получая столько стихов, Вы уже утомились от них. А они все идут... как дождь!.

Обнимаю, люблю. Всегда с Вами, Игорь

И.К.БОРМАН

1

После 22 сентября 1927 г.

Ответьте мне, прошу Вас, на следующие вопросы:

1.) Получили ли Вы письмо мое от 22.IX?
2.) Как фамилия Мих. Ал.?
3.) Когда Вы едете в Ревель?
4.) Ревельский адрес?
5.) Удивитесь ли Вы, если я посвящу Вам несколько стих<отворений>?..

Вот и все пока.
Давайте Ваши ручки!
Игорь.-

2

5 декабря 1927 г.

Toila, 5 XII. 1927.

Светлая Ирина Константиновна,
Вы такая прелесть, что выполнили все в точности! Конечно, я Вами доволен и благодарю Вас.

Когда именно поедете Вы домой? Я, право, не знаю, удастся ли нам попасть к Вам: мои лыжи сломаны, а новые я хотел купить в Ревеле, полагая, что вечер будет до праздников. Теперь же я задумываюсь. За последнее время трижды ездил в Нарву, но там ничего подходящего, — в смысле лыж, — нет. Мы ждем на Рождество из Юрьева Вильмара Адамса и, возможно, если разрешите, вместе с ним заглянем к Вам, если не в душу, то в дом. Впрочем, Вы известите меня еще, не правда ли? Постепенно втягиваюсь вновь в прерванную поездкой работу.

Вчера написал новеллу (в прозе), отослал фельетон в газету. Стихов новых нет. В Двинске написал всего три. Все сильнее тянет в лес, и на

днях хочу в монастырь. После 20 янв<аря> думаем вновь в путь — м<ожет> б<ыть>, в Польшу. Через Двинск, где предложено повторение вечера: был полный зал, и мне предлагали повторить через три дня, но я был связан Ригой, где пришлось выступить семь раз подряд. Фелисса приветствует и Вас, и тех кукол, о кот<орых> Вы сообщали: они не из живых, и ей нет оснований их не любить.

Жму Вашу ручку. По вечерам светит молодой месяц, и в парке бродят замысловатые тени. И мы среди них. Поблескивает наст, и сияние его грустно и болезненно. Как сияние некоторых чувств.

Ваш Игорь.-

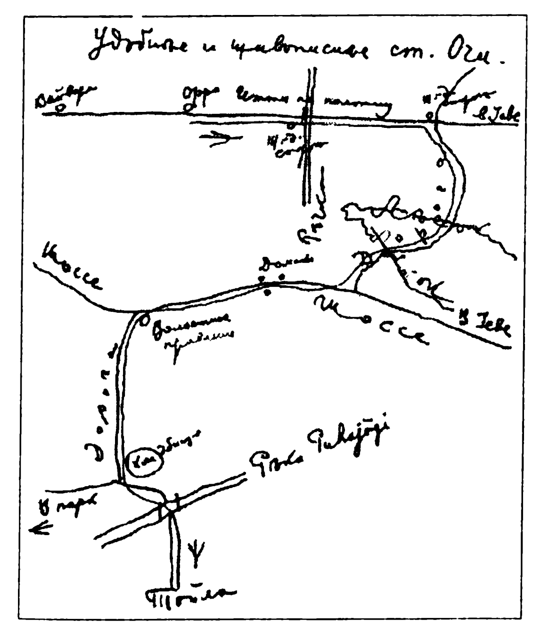
P. S. Фелисса просит Вас подарить ей куклу. Дешевую, конечно.

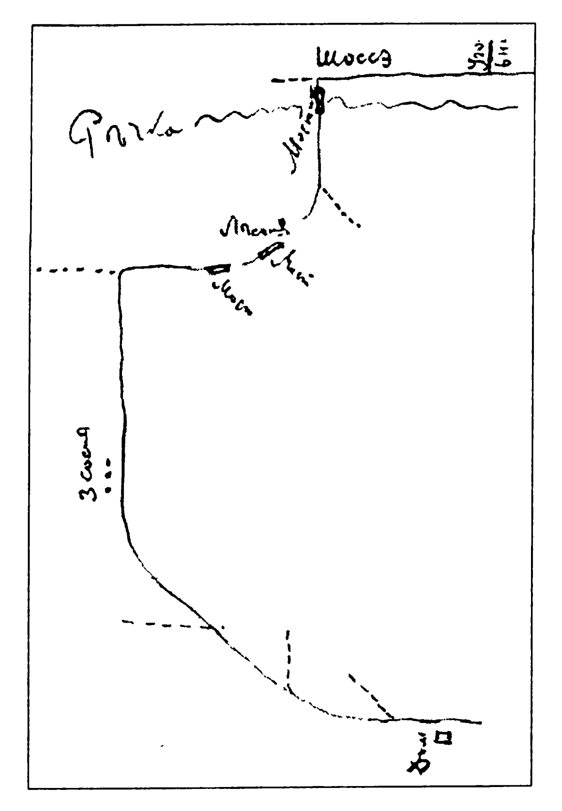
3

22 июня 1929 г.

Toila, 22.VI.1929 г.

Самое лучшее, если вы навестите нас между 25—28 VI.
Мы будем очень Вам рады.
Удобнее и живописнее ст. Oru.





Сердечный привет от Фел<иссы> Мих<айловны> и меня.
Итак, ждем.

Ваш Игорь.-

4

25 июня 1929 г.

Toila, 25.VI.1929 г.

Экстренно вызваны в Юрьев. Сейчас уезжаем. Сообщим о дне возвращения. Привет. Вернемся дней через 5.

Игорь.-

5

9 июля 1929 г.

Toila, 9.VII.1929 г.

Вчера, 8-го, мы вернулись в Toila из Lunja, где гостили у Виснапу. Приезжайте теперь к нам в ближайшие дни, не откладывая. Сердечно приветствуем Вас и ждем, Ирина Константиновна.

Игорь.-

6

19 июля 1929 г.

Toila, 19.VII.1929 г.

Итак, мы ждем Вас в дни, Вами назначенные. Постараемся встретить. Но жаль, что не знаем станции. Сообщите, если успеете.

Привет искренний.
Игорь.-

7

9 июля 1930 г.

Toila, 9.VII.1930 г.

Фелисса сердечно благодарит Вас и всех Ваших за ласковый прием и просит передать всем привет. Присоединяюсь к ней. Особая моя благодарность Мих<аилу> Конст<антиновичу> за любезную доставку «верхом на палочке». Я жду его к себе. На велосипеде это быстро делается. Итак, всего хорошего. Ф<елисса> просит сообщить адрес госпожи Кульдвер. Ревельский.

Игорь.-

8

11 июля 1930 г.

Toila, 11.VII. 1930 г.

Вы знаете, когда приезжайте? — 18—19-го июля: в воскресенье, 20-го, я и Фелисса выступаем здесь в вечере, даваемом местным Музыкальным о<бщест>вом. Упросили, и неловко было отказаться: о<бще-

ст>во хочет подработать, а я здесь уже 13-й год живу, и надо было внести свою лепту.

Вчера вечером вернулся с озер, куда ходил вместе с Л. А. Андрушкевичем и И. Х. Степановым. Вспоминали Вас. Они живут здесь на даче. Первый пробудет до 20 авг<уста>, второй вскоре уедет. Попали под четыре грозы, — славно освежились! Провели там два дня. Третий раз в этом сезоне был я на своей воде. А к Вам около 1 авг<уста> на несколько часов. Идет?

Слезайте в Орро. Черкните заранее, — приду встречать на полпути.

Фелисса Вас приветствует и ждет

Игорь.-

9

1 июня 1931 г.

Toila, 1.VI.1931

На днях у нас были Винклеры, и мы от них узнали о Вашей болезни, и вот выражаем сочувствие и искренние соболезнования. Берегите себя, в особенности на закате. У меня весна тоже прошла под знаком всяких болезней, в том числе невралгии правой стороны головы. А теперь Фелисса Мих<айловна> расхворалась: насморк, кашель и пр. Думаю, что Вы уже в Шмецке, пишу туда. Напишите о своем здоровье, а когда совсем будет хорошо, приезжайте сами. Верх у нас сдан, но внизу для Вас местечко имеется. На днях ждем вдову худ<ожника> Вербера, а затем Инг Виснапу. Вообще же, дачников, к нашей радости, в Тойле не предвидится. Приедете — обо всем поговорим лично. Много есть о чем поговорить. Маме и Мих<аилу> Конст<антиновичу> передайте наши приветы. Как Ваш журнал? Выходит?

Книги мои все еще печатаются. К июлю, вероятно, выйдут в свет. От И. Х. получили приглашение на свадьбу. Очень удивились. Итак, всего доброго.

Игорь.-

10

5 июля 1931 г.

Toila, 5.VII.1931 г.

Вам посылается привет, запрос о здоровье и ожидание Вас в Toila. И не воображайте, пожалуйста, что бездождье продлится все лето, а

потому не очень-то ссылайтесь на «успеется»... «Поспешишь — людей насмешишь», и все боятся почему-то смеха, между тем как он полезен для здоровья, а обрекать ближнего на недуги не так уж вежливо. Какая зловредная сия пословица! И вот — рассмешите людей — поспешите к нам!..

Игорь.-

11

5 августа 1931 г.

Toila, 5.VIII.1931 г.

Не все поездки оставляют после себя очаровательное впечатление, — такова, напр<имер>, моя последняя к Вам. Нелепая, глупая, что она могла дать мне, кроме досады, полнейшей неудовлетворенности? Невменяемое собственное состояние, ненужные спутники. Бр!.. У нас гостит Адамс. Целыми днями стихи, острые разговоры. Приезжайте в субботу в 2 ч<аса> дня из Аувере. Постараемся встретить в Орро. Фелисса все знает. И не подумал скрыть! Она очень просит Вас к нам. Настроение у всех чудесное. А что это за история с «Нарвск<им> листком?» Привезите №. Я чрезмерно удивлен. Итак, до субботы.

Ваш Игорь.-

Пишите впредь на меня непосредственно. Эту открытку Вы получите в пятницу. Спешил, — почта уходит. А если в субботу не приедете, ждем во вторник с тем же поездом. Вообще не откладывайте очень приветы и ожидания.

Иг.-

12

13 октября 1931 г.

Toila, 13.X.1931 г.

Выезжаем мы отсюда во вторник, 20.X, в 3 ч<аса> дня. Зайдите вечерком к Агате и там сговоримся обо всем. Все дни будем очень заняты, но вечером, конечно, свободны. Усиленно благодарствуем за хлопоты. Из Белграда уже получили два билета 1-го класса по всей Югославии на 3 месяца. Дни стоят такие дивные, листва так лучезарно-лимонна, море такое тихое и опаловое, что расстаться с милой осенью нашей

трудно! Переписываю новые книги, кот<орые> повезу с собой. Приветы наши Вам.

Ваш Игорь.-

«Навидит» или ненавидит А. — не все ли равно? Да и нет, в сущности, ничего подобного, конечно. А у меня для Вас есть «писулька», кот<орую> лично доставлю. А в Европе что-то уж чересчур «атлантидно». Где-то кого что застанет... Кажется, это повсюдно...

13

9 ноября 1931 г.

Любляна, 9.XI.1931 г.

Милушка. Вот мы и в Югославии, и уже в третьем городе. Сегодня здесь концерт. 3.XI был в Варшаве, 5 в Мариборе, 6 в Птуе (Петеум). Любляна на Саве, около австр<ийской> границы, в 2 ч<асах> езды от Триеста. Завтра едем в Белград, до кот<орого> 12 ч<асов> езды. Марибор, где мы провели двое суток, совершенное очарование: в горах, на Драве, теплынь, чистота, асфальт, уют. Познакомились там с весьма игривой обладательницей дивной виллы, роскошного авто и старого мужа... Она угощала нас тончайшим обедом, винами и фруктами своих садов, возила, сама управляя авто, в Птуй за [неразб], а когда провожала, вагон наполнила цветами. В ее доме встретились с кн. Е. Оболенской и одной богатейшей помещицей под Марибором, приглашавшей к себе гостить на месяц, но нет времени! В Любляне нас встречали проф. Макледов и Кун, сестра Липковской, с букетом лимонных хризантем для Ф<елиссы> М<ихайловны>. Шлем Вам привет. Жорж обещал писать Вам. Увы, нет больше места.

Целую Игорь.-

Пишите на Белград. Один экземпляр, конечно Ваш!...

14

9 января 1932 г.

Toila, 9.I.1932 г.

Праздники мы встретили в Дубровнике на Ядране у наших очаровательнейших Сливинских. У них же живет В. В. Шульгин — спутник

наших адриатических блужданий и просветитель по части красавиц из Конавли... Побывали в Сараево у милейших из милых, Валентины Васил<ьевны> Берниковой, которую я 11 месяцев не видел и уж очень захотел видеть: не поленился для этой цели 16 часов просидеть в купэ, натопленном, как баня. Да и назад столько же. Она была так обрадована и взволнована свиданием, что мне не пришлось пожалеть затраченных на нее (точнее — для нее) сил. 27-го дал концерт в Белграде, а уж 28-го в 8.35 веч<ера> домой. В Варшаве пробыли всего 18 час<ов>, 3 часа в Риге и около 10 в Юрьеве, я не уверен в Вашем адресе: с Вами это случается, тем более что и на Ракитина не писали. Так вот подтвердите получение открытки этой, и я напишу более подробно. А мои-то открытки из Болгарии и Югославии Вы получили? Что Вы теперь вытворяете? Сообщите. Фишечка Вам шлет привет.

Игорь.-

Как Ваше меццо? В Софии были 6 раз в опере. Слушали и «Шванду» Вайнбергера, — гадость. Впрочем, Христова (контральто) спасла 2-й акт.

15

5 марта 1932 г.

Toila, 5.III.32 г.

Дорогая Ирина <...>

Да, гадалка Ваша во вкусе времени, слов нет, но почему же только два друга дома? Не маловато ли несколько?... Уж на худой конец — дюжину. А что прославитесь — недурственно, знаете ли... Только вот вопрос, как и в чем? А вдруг кого-нибудь там ухлопаете, съедите или в корзинку упрячете? По нашим временам и это слава... на всеобщем бесславии! Впрочем, все это шутки, и я действительно хочу Вам, детеныш, всяких успехов... в пении, например.

А что касается валерьяшки, есть средства и повернее. Жалею, что я на таком «почтительном» расстоянии нахожусь постоянно, а то живо излечил бы «болящую»... При этом гарантировал бы «некоторую неприкосновенность», конечно, при желании, а еще точнее — при нежелании... Понимэ?

Впрочем, надо полагать, и в Ревеле такие «средствия» имеются. Только советую побольше напирать на валерьянку при встрече с добрыми знакомыми, авось кто-нибудь и посочувствует. Как я, примерно.

В Нарве все было «ничего себе»: и зал, и бал, и отэль. Публики было около 250, причем русских, как и следовало ожидать, около пяти... Куль-туу-рный град, что и говорить! Я был приглашен в «жюри», и уж как нас там <не> жури, выбрали некую Мария Маркс. Обывательница, как обывательница. Миленькая, круглолицая, конфузливая. «Веселились» до трех, а потом пошли в Петроградскую», где утром уплатили счет за... бессонницу, однако не в Ирушкином смысле.

А мне все мерещится Ваш бальный туалет с бантиком!... Поедете на праздники домой, заезжайте, право. Обязуюсь быть «паинькой» в моем смысле!

Читать здесь почти нечего. Попробовал было «Антлантиду-Европу» Мережковского, но «сробел» на десятой странице. Нет, уж я предпочитаю ей «Атлантиду» Пьера Бенуа: понятнее и ближе. А еще тут читали рассказы Бунина, Зайцева, Чирикова, Рощина, Куприна. Все весьма посредственно. А Куприн так и совсем выдохся. И все время читателя по плечу похлопывает. Фамильярничает. Ужасно хамит Бунин, заметно «академит». Порой даже до неприятности: задевает. Зайцев неровен, Рощин еще совсем «желторотый», <но> с проблесками и остринкой. Но это с ним редко все же. Лучшей книгой эмиграции остается по-прежнему вышедшая в свет летом в Белграде «Книга Июнь» Тэффи, где она уже не только юморист, но и тончайший, оригинальнейший лирик. Прочтите непременно.

Чувствую себя, если говорить серьезно, не очень-то хорошо: душа нестерпимо тоскует и мечется. Все чего-то не хватает. Иногда беспредметно, но часто и весьма определенно. И этому есть много почти неустранимых причин. Жизнь налажена очень правильно, приятно, даже уютно и вместе с тем...

Я стараюсь, по возможности, винить во всей неурядице себя самого. И уж конечно, известная доля вины лежит на мне. Но, принимая в соображение свои навыки, свои привычки и вкусы, т. е. свою сущность... Не знаю, право, как Вам, дорогая Ирина, ясно и лучше все это выразить, но, верьте мне, мучаюсь я порой самым недвусмысленным образом.

Как следствие всего этого — частая апатия, чисто физическое недомогание, побаливает сердце, и, вообще, меня мутит.

И это тем больнее и нестерпимее, что Фишенька редкостно-порядочный, тонкий, любимый и любящий человек. Она все видит, бедная, и мучается в свою очередь. А «утешения» здешние (я имею в виду живых людей) чрезвычайно слабые и не всегда рациональны...

Пишите, Ирушка, чаще и, если что-нибудь более интимное и откровенное, адресуйте на «нее»: жена может расстроиться иногда и из-за

пустяка, стойко перенося зачастую более серьезное. Люди уж так устроены. Дайте мне Ваши ручки: надежные, испытанные, понимающие.

Приближается весна. Солнце-то, заметьте, какое! Душа полна грусти и радости, боли и блаженства. Стареющий поэт (как это жутко звучит!) все еще преисполнен любви к миру, людям и молодым женщинам. И это, думается, так понятно, так неизбежно, так нужно!...

Ваш Игорь.-

16

18 июля 1932 г.

Toila, 18.VII.1932

Миленькая невежа!

Где ответ на мое обращение от 9-го мая? Злитесь? Нужно ли? Не лучше ли было сразу откликнуться? Ваше молчание несколько осложняет пустяк, в сущности производит неблагоприятное впечатление. Вы понимаете меня, надеюсь? Вы хотите меня понять — вернее?...

Фелисса Мих<айловна> и я ждем Вас 28—30: 31-го здесь будет много оркестров и хоров. Съезд всего. Захватите с собой простыни. Одеяло есть. Я хочу Вас видеть. Сообщите день и поезд — я приду на ст. Орро Вас встретить. Мне нравится прийти. В Нарве — надо думать — печатается моя «Адриатика». 25.VI Волгин увез от меня рукопись, обещая, что типография в ближайшие же дни пришлет корректуру. Однако до сих пор ничего нет. И сам Волгин примолк. Я ему черкнул открытку. Он пробормотал в ответ по телефону что-то невразумительное. Голосок его был какой-то неуверенный. Мягко выражаясь — я смущен... Я получаю со всех сторон заказы. И у меня кончаются сбережения. Мне книга необходима. Если увидите его, попросите его поторопить типографию. Мы приветствуем Вас. Равно маму и Мих<аила> Конст<антиновича>. Я жду от Вас очень скорого письма.

Ваш Игорь.-

Я жду Вас, Ирушка, одну — мне нужно с Вами говорить более или менее интимно. Для других есть другие дни.

Иг.

17

6 августа 1932 г.

6.VIII.1932

Милая Ирушка!

На днях пришлю к Вам, — конечно, с Вашего разрешения, — пять экземпл<яров> «Адриатики», вышедшей в свет 5-го августа, и попрошу Вас, деточка, распродать их по знакомым. Цена всего одна крона. Я послал много экз<empляров> в Югославию, Варшаву, Берлин и пр. Если разойдутся все 500 экз<емпляров>, я смогу осенью уехать в Румынию и уж, конечно, опять на Адриатику. Иным способом теперь денег не заработаешь, и Вы это отлично понимаете.

Вчера от нас уехал Вася. Он пробыл неделю. Что-то с ним произошло: мрачен, тяжел, удручен, молчалив и даже не хихикает. Старался его рассеять, но тщетно. Посоветовал приехать другой раз в лучшем настроении. В нем есть признаки безумия. Говорю это совершенно серьезно.

Приезжал как-то Иван Хар<итонович>, затем Россбаум из Ревеля, иногда бывает Маслов. Брейтвейт живет уже две недели. Энергична, деловита, современна. Умна и воспитанна. Ежедневно купаются с Фишенькой и Дусей. По вечерам читаем Гумилева (она его лично знала), Сологуба, Блока. Собираемся к Эссену, который усиленно зовет. Он приезжал к нам 10-го июля. Ночевал. Был мил и занятен. Приезжайте же в ближайшие дни к нам. Не забудьте, пожалуйста, простыни.

Фишенька, Грациэлла и Дуся Вас приветствуют. И ждут. Познакомитесь и с Аурой, и с Норой. Вы их еще не знаете? В Тойле очень много дачников. Вчера чуть-чуть не попали к Вам ночью в авто: из Ревеля в Гунгербург ехал вечером Стильмарк, заехал пить чай и катал нас. Приглашал всех на курорт. Дамы запротестовали: шел дождь и боялись за туалеты.

Итак, Ирина, жду. Целую.

Привет маме и М<ихаилу> К<онстантиновичу>. Ваш Игорь.-

18

12 августа 1932 г.

Toila 12.VIII.1932

Я приду обязательно встретить Вас. Дождя не предвидится. Но и если бы и был, пусть он не смутит Вас: дороги настолько хороши (из-за

засухи), что сразу испортиться не могут. Мы с Фелиссой очень рады повидаться с вами: столько тем, впечатлений, оттенков!..

Всегда Ваш Игорь.-

19

26 октября 1932 г.

Toila, 26.X.1932 г.

Милая Ирушка!

«Не осуди за долгое молчание»: столько приходится писать ежедневно писем, что никак не собраться было. Уедем мы не ранее чем между 20—25 XI, если, конечно, достанем деньги, а это теперь, сами знаете, трудно. Пока что живем с 1 сент<ября> исключительно на проданные экз<емпляры>, поэтому крайне заинтересованы в скорейшей продаже. До сих продано повсеместно 101 экз<емпляров>, вернее — продано-то больше, но не отовсюду разрешено пересылать деньги. Есть уже и долги. Вообще, трудненько. Как только угораздит Вас отделаться хотя бы от двух экз<емпляров>, шлите переводом. Если увидите Ив<ана> Хар<итоновича>, подстегните его: у него 25, и он молчит, «как убитый». Все жалуются, что дорого, но снижать цену и не думаю: «мал золотник» и т. д. Отчасти я рад, что задерживаемся: осень здесь прелестна. «Дочь Альбиона» 1 окт<ября> переехала в Ieve, а раззнакомился с нею я 15 сент<ября>: не мог простить ей того, что не оправдала себя, как мечты, а предстала вопиющей прозой пред светлые очи мои!.. Вас же мы всегда помним и любим, чего и Вам желаем касательно нас.

Привет Ст. Ив. и Вам от Фелиссы и меня. Пишите!

Игорь.-

20

28 июня 1933 г.

28. VI. 1933 г.
Замок «Храстовац» Словения

Дорогая Ирушка!

1-го июля исполнится ровно четыре месяца, как мы уехали из Тойла. С Вами мы расстались 16 февраля. Побыли два дня в Юрьеве, день

в Риге, три в Варшаве, где я дал вечер, и 9 марта, в сумерки, мы уже ехали по Кишиневу в отэль «Paris». В этом уютном и обворожительном городе с улицами-аллеями провели без трех дней два месяца, дали там три концерта, выезжали на три дня в Аккерман, дал и там вечер, затем в авто съездили в Бугас за 18 кил<ометров> к Черному морю, а 5-го мая покинули Бессарабию и направились читать в Бухарест, гда и пробыли четыре дня. 11-го мая приехали в Белград, дали вечер и пробыли три недели, потом уехали на природу в Дубровник и на восемь в Сараево (и тут был концерт), вернулись на неделю в Белград, а 21 июня приехали, по предлож<ению> пр<авительст>ва, сюда на лето, в старинный (600 лет!) австр<ийский> замок гр. Герберштейна, в котором 120 комнат. Из окна дивный вид на окрестности: холмистые буковые леса и поля, горы, река, а вдалеке синеют Альпы, начинается Триест. От Вены четыре часа езды, от Триеста и Фиуля — пять, от Белграда — 12 ч<асов> езды в ск<ором> поезде. Хотя посещаемость концертов и была хорошей (бывали вечера по 500—700 чел<овек>!), цены билетов стояли крайне низкие, и в результате все, что заработали, ушло на поезд в Румынию и отэли. Здесь же у нас билеты бесплатные, как всегда. Финансовая сторона дела, след<овательно>, оставляет желать лучшего. Зато бездна впечатлений и переживаний, сотни новых знакомств, среди которых есть более чем интересные. Да и старых друзей в Югославии почти всех перевидали. Напишите нам, давно ли Вы в Шмецке, что у Вас нового, встречали ли в Ревеле Россбаума, Вебер и друг<их> знакомых. Я никому ничего все это время не писал, и лишь теперь, в природе и тишине, ни о чем (я не сказал: ни о ком!) не думая. Постепенно принимаюсь за переписку и вообще письм<енную> работу. В Румынии написал 10 стих<отворений> и 4 в Дубровнике. Шлем сердечный привет маме и Мих<аилу> Конст<антиновичу>, а если Нина Конст<антиновна> и Мих<аил> Алекс<андрович> у вас, то, конечно, и им. Встречаете ли Вы Василия Аким<овича>? Кланяйтесь и ему. Мы много гуляем в лесу и полях, ловим рыбу. Попадаются сазаны и проч. В Бух<аресте> видели Липковскую, пришедшую на мой концерт. Она похудала, что ей к лицу. Недавно вышла замуж — в 53 года — за датчанина [неразб.]. Ему 27. Бух<арест> — элегантнейший из городов. Там же живет теперь и Елена Ив<ановна> Арцыбашева. Целую Вас.

Пишите поскорее!

Ваш Игорь.-

Мы живем в 18 кил<ометрах> от пограничного г. Марибора (Марбурга). Сообщение автобусное.

21

7 января 1935 г.

[Toila] 7.I.1935

Я жду Вас, милая Ирушка, от 2 до 4 дня у Шульца в пятницу, 11 января.

Целую ручки. Приветствую.

На Тойла не отвечайте.

Игорь.-

22

19 марта 1935 г.

19.III.1935

Милая Ирина Константиновна, неуловимейшая!!

А не зайдете ли Вы сегодня, во вторник, к 8–9 час<ам> веч<ера>?

Завтра я уеду – имейте в виду. А повидаться бы нам было нужно.

Не правда ли, дитятко?

– Руку!

Игорь.-

В. И. НЕМИРОВИЧУ-ДАНЧЕНКО

28 января 1930 г.

Toila, 28.I.1930 г.

Глубокоуважаемый и дорогой
Василий Иванович!

Мне грустно, что приходится поздравлять Вас с восемьдесят пятым днем Вашего рождения с таким большим опозданием, но только сегодня получил я от редакции «Сегодня» Ваш адрес, о котором своевременно сделал запрос, поэтому простите меня великодушно и примите самые искренние, самые добрые от Фелиссы Михайловны и меня пожелания здоровья и всяческого благополучия.

Летом исполнится пять лет, как мы виделись с Вами в Праге, и мы не забывали за это время Вашего к нам сердечного и участливого отношения, ласково и радостно вспоминая дни, с Вами проведенные. Помним и совместные обеды в «Радио», и часы у Вас.

Передайте, пожалуйста, наши искренние воспоминания Елене Самсоновне, Валентине Георгиевне, Евгению Николаевичу, Сергею Ивановичу, Бельговскому и всем тем милым людям, с кот<орыми> мы встречались пять лет назад у Вас.

За эти годы мы побывали однажды в Польше, дважды в Латвии. Больше никуда не ездили. Постоянно живем в своей деревушке у моря. Живется трудненько, заработков никаких, если не считать четырех долларов в месяц из «Сегодня». До сих пор, слава Богу, помогало Эстонское правительство, благодаря которому мы кое-как и существовали. Однако нельзя ручаться за это впредь. Писатель я никакой, поэтому заработать что-либо трудно. Как лирик не могу много заработать: никому никакая лирика в наше время не нужна, и уж во всяком случае она не кормит. До сих пор мучает меня долг проф<ессору> Заблоцкому (12 долл<аров>), но отдать, при всем желании, никаким образом не могу. И нет даже надежд, т.к. книги не выходят, вечера дают такие гро-

ши, что едва на дорогу хватает. Здоровье и мое, и жены тоже оставляет желать лучшего.

Но, несмотря на все невзгоды (а у кого их нет?), живем мы, погруженные целиком в природу, отрешившись от мирской суеты и бестолочи. Судьбой своей мы очень довольны и на Бога не ропщем.

В глубине душ теплится надежда на скорое возрождение Родины: уж слишком нагло и безобразно гоненье на Церковь, и значит — вскоре восстанет, возмутится народ. Не может не возмутиться: Русский он! Пока я думаю так, я могу жить.

А я так — наперекор очень многому — все же думаю.

Да сохранит Господь Вас, дорогой и любимый Василий Иванович, и да поможет он нам увидеть Россию, снова обратившейся к религии, а значит — и к поэзии.

Всегда неизменно Ваш

Игорь-Северянин

М. С. МИЛЬРУДУ

1

<начало марта> 1930 г.

Письмо в редакцию

1 февраля с<его> г<ода> исполнилось 25-летие моей литературной деятельности. 13-й год живя в приморских дебрях, что называется — не на людях, я полагал, об этой дате никто не вспомнит. Однако я основательно ошибся. Оказывается, еще много людей, любящих мое творчество, помнящих обо мне. Сверх всякого ожидания, я получил столько знаков внимания со стороны читающей публики (главным образом от читателей «Сегодня»), и это несмотря на то, что в печати знаменательный для меня день отмечен вовсе не был, — что я положительно лишен возможности поблагодарить каждого в отдельности. Мне остается поэтому просить Вас, господин редактор, не отказать в любезности, посредством Вашего весьма распространенного издания принести милым и ласковым людям мою сердечную признательность за доставленную мне воистину нечаянную радость...

Эстония, Тойла
1930 г.

2

20 марта 1930 г.

Toila, 20.III.1930 г.

Многоуважаемый Михаил Семенович!

Благодарю Вас за «Февраль» и «Март». 4.II я послал вам заметку «Два взгляда» и 11.II статью «Трагический соловей». Т. к. до сих пор они не использованы, думаю, что они Вам не нужны, и поэтому прошу

теперь же их, как и осенью посланную статью «Подозрительный кучер», возвратить.

Я полагал, что смогу что-либо заработать, о чем и писал Вам неоднократно, но, видимо, редакция попросту не находит нужным с этим считаться, т.к. нельзя же допустить, что все мною присылаемое никуда не годится. Конечно, бедность, – хотя бы по политическим причинам, – обязывает даже именитых людей быть весьма скромными и сдержанными, но все же она не может никому дать права систематически себя оскорблять. Как бы ни были посредственны мои статьи, я не допускаю мысли, чтобы они могли опозорить страницы периодического издания, и, следовательно, постоянное бракование их я вынужден рассматривать как недружелюбие ко мне. Вообще, за последнее время я чувствую к себе известное охлаждение, и мне хотелось бы знать, в чем дело. Напишите совершенно откровенно: ничего нет хуже недоговоренности. Не будете ли Вы добры сообщить мне – получаете ли Вы из Шанхая «Время»? Я получил последний № от 29 дек<абря> Б. А. Суворин, все время писавший мне громадные письма по 8–16 страниц, с нового года совершенно ничего не пишет, и я даже не знаю, жив ли он.

В портфеле «Сегодня» имеется пять моих стихотв. Возвратите те, кот. Вас не удовлетворяют.

Всего хорошего. Жму Вашу руку.

С искр. приветом

Игорь.-

3

1 января 1931 г.

Белград, 1.I.1931 г.

Дорогой Михаил Семенович!

С 12 XI мы живем здесь и пробудем до 14.I, когда поедем в Горажду, Сараево и Дубровник дней на десять, а затем вернемся в Белград и сразу же через Австрию и Швейцарию в Париж, где Церетели и Базиль предлагают мне устроить 12 концертов в городах Франции и Бельгии. За это время, т. е. почти за 2 мес<яца> пребывания здесь, дал в Белграде 2 вечера в больш<ом> зале унив<ерситета>, прочел две лекции в Научн<ом> инст<итуте> при Академии наук (о Фофанове и Сологубе),

выступил на вечере памяти Блока и в конц<ерте> Музык<ального> о<бщест>ва. Затем по предлож<ению> Державной комиссии дал ряд вечеров в русск<их> учебн<ых> завед<ениях> (корпусах и институтах) в городах Белой Церкви, Новом Бечее и Великой Кикинде.

27.XII дал большой вечер в г. Суботице (Терезенштадт) и 13-го янв<аря> даю в Новом Саду. Изд<ательст>во при Державной комиссии приобрело у меня три книги: 1) «Классические розы» (Лирика 1922—30 гг.), 2) «Медальоны» (Сто сонетов о поэтах и композит<орах>), 3) «Lugne» (Роман в стихах в 3-х част<ях>).

Вот и все пока новости. Дня не видно, знакомых уйма. Дней за 10—12 вперед приглашены на обеды и вечера. Шлю привет сердечный Вам и всей Коллегии. Надеюсь из Дубровника (Рагузы) прислать новинки. Думаю, что Адриатика вдохновит!

Всегда Ваш Игорь.-

Адрес мой до 27 янв. — дня отъезда:
Jougoslavie. Beigrade. Kralja Aleksandra, 18.
M-me L. Poturnak для меня

4

18 августа 1931 г.

Toila, 18 авг. 1931 г.

Многоуважаемый Михаил Семенович!

Вот уже два месяца, как не было в газете ни одной моей строки, что весьма заметно отражается на моем — всегда скромном — бюджете. С мая прекращено жалованье, но, сообщая мне об этом, Вы просили моего дальнейшего сотрудничества. Но что же можно заработать при такой системе? Все это более чем грустно и наводит на досадные размышления. В портфеле редакции имеется шесть пiсе — две переводн. И четыре оригин. Ненужные прошу вернуть ближайшей почтой, а пригодившееся пустить в набор, дабы я мог хоть что-либо получить. Еще не наступили предсказанные строки, когда я не буду нуждаться в жалких грошах, т. е. перестану сотрудничать в период<ических> изданиях.

С искр.

Игорь-Северянин

5

1 июля 1932 г.

Toila, 1.VII.1932 г.

Многоуважаемый Михаил Семенович,

Не откажите в любезности провести в утреннем издании, по возможности — среди текста, — прилагаемое объявление раза два-три. Буду Вам очень признателен. Возлагаю на продажу этой книги большие надежды: сбережения мои подходят к концу. Рискнул заделаться издателем.

Привет редакции

Жму Вашу руку.

Ваш Игорь.-

6

12 сентября 1932 г.

Toila, 12.IX.1932 г.

Многоуважаемый Михаил Семенович,

посылаю Вам новейший цикл о Болгарии и, хотя Вы стихи помещаете очень редко, — я имею в виду Бальмонта и Федорова, — прошу Вас, дабы дать мне возможность что-либо подработать, — в чем я весьма ныне заинтересован, — пропустить их в одном из ближайших номеров газеты. Получили ли Вы от г-жи Шмелинг 1 $^{1}/_{2}$ лата и 3 лата от Библиотеки в Двинске? Если получили, передайте их, пожалуйста, Пильскому или же присоедините к гонорару, в случае захотите меня выручить, напечатав стихи.

Раньше чем через год новых стихов я Вам не пришлю, так что Вы ничем не рискуете!.. Нет, кроме шуток, дела очень скверны.

Привет Вам и Коллегии.

Ваш Игорь

7

3 сентября 1934 г.

Toila, 3.IX.1934 г.

Многоуважаемый Михаил Семенович,

вернувшись летом с Балкан, где мы пробыли пятнадцать с половиной месяцев, снова засели на неопределенное пока время на берегу Фин-

ского залива. Из Бухареста ехали домой без остановок в Варшаве и в Риге, почему и не заглянули в редакцию. Был бы рад получать опять газету, высылка которой прекратилась к октябрю прошлого года. Если это Вас не затруднит, пожалуйста, сделайте по конторе распоряжение. Издательство «Золотой петушок» в Бухаресте поручило мне представительство на журнал в Прибалтике, и я должен получить из Двинска от Формакова небольшую сумму за проданные в Риге и Двинске экземпляры. Однако пересылка денег из Латвии, как сообщает Формаков, затруднительна, и поэтому не разрешите ли ему написать, чтобы он перевел деньги на «Сегодня», а я, м<ожет> б<ыть>, мог бы получить их через Шульца от «Вестей дня»? Буду Вам крайне обязан. Фелисса Мих<айловна> и я шлем искренний привет Вам, Нильскому, Брамсу и всей редакционной коллегии. Поездкою своею мы очень довольны, в одном Кишиневе прожили 6 месяцев, где я дал пять вечеров.

Жму Вашу руку.
Всегда Ваш

Игорь.-

С. И. КАРУЗО

1

25 февраля 1931 г.

Париж, 25.II.1931

Светлая София Ивановна!

Только вчера мне удалось получить Ваше письмо. Я искренне рад, что Вы спаслись, что Вы живы. Я часто за эти годы вспоминал Вас, мне очень хотелось Вас найти.

Теперь я еду домой, к себе в Эстонию, где живу в приморской глуши, между Везенбергом и Нарвой, с янв<аря> 1918 г<ода>, лишь изредка выезжая в Финляндию, Германию, Польшу и др<угие> края.

Я живу в прелестной местности на берегу залива и впадающей в него горной форелевой речки, в сосновом лесу, изобилующем озерами.

9 килом<етров> до ближайшей станции, 45 до Нарвы, 43 до Гунгербурга, 220 до Ревеля.

Впрочем, я напишу Вам, вернувшись домой, обо всем подробно. Надеюсь, и Вы расскажете мне побольше о себе, обо всех этих годах ужаса.

К сожалению, я не еду сейчас в Брюссель: идет пятый месяц, как я путешествую, наступает весна, — меня влечет природа моего севера. Но осенью я поеду в Болгарию и вновь в Югославию и тогда обязательно дам вечер в Брюсселе, чтобы повидаться с Вами.

Еще прошлым летом я писал о Вас стихи. Целую Ваши ручки, Господь с Вами. Ярко рад был узнать, что Вы живы!

Душевно к Вам окрыленный

Игорь

P. S. Уезжаю из Парижа 28.II и буду дома 5.III.

2

12 июня 1931 г.

Toila, 12.VI. 1931

Светлая София Ивановна! Сажусь писать Вам, предварительно распахнув окно в сад, напоенный цветущей сиренью. У Вас давно уже отцвела, у нас в полном расцвете. Вот вишни и яблони уже отцветают, как и рябина. В лесах позванивают бубенчики ландышей, на скалах шелковеют японские анемоны, так что Фелисса Мих<айловна> положительно не знает, что раньше собрать. Весь дом наш утопает в цветах. Все канавки полны незабудок и золотой купальницы. На клумбах готовятся к расцвету душистый горошек, левкои, резеда, цветут «Иван да Марья». Весна кончается. Сорок четвертая в моей жизни, двадцать девятая в жизни моей жены. В природе настает лето, в моей жизни — осень, поздняя осень, предзимье. Не знаю, как-то плохо все это чувствуется. Разве — иногда, минутами. А так бодрости и оживления хоть отбавляй! Молода душа, живуча, несмотря ни на какие невзгоды. И часто такое «выкидываешь», что потом сам изумляешься: уж очень это несовместимо с амплуа «монаха зеленого монастыря»... Правда, это случается редко и, чем дальше, тем все реже, но все же и теперь, два-три раза в год, на меня что-то находит. Тогда я бегу куда-нибудь в леса, на озера или в Гунгербург (ближайший курорт). После «встряски» делаюсь еще спокойнее и мудрее, и примитив жизни становится еще дороже, еще ценнее и прекраснее. Да, человеку необходимы контрасты, и с этим ничего не поделаешь. Но Ф<елисса> М<ихайловна> — враг всяких «срывов» и весьма болезненно на них реагирует. Чтобы ее не огорчать (я очень дорожу ее спокойствием), я все реже и реже «уединяюсь». Дома мы ведем очень нормальный образ жизни, а вино, например, даже и на стол никогда не подается: Ф<елисса> М<ихайловна> его не признает абсолютно. Исключенья не делаются даже и для пьющих гостей: «в чужой монастырь» и т<ак> д<алее>. Я совершенно согласен с нею в этом отношении и признателен за ее заботы о моем здоровье, т. к. частое питье мне чрезвычайно вредно. Как, впрочем, и большинству людей. Но ведь это же аксиома. Но все-таки иногда я «схожу с ума»!.. Я человек большой веротерпимости, и меня нисколько не удивили Ваши «городские» вкусы. И я придерживаюсь того же взгляда, что люди должны быть, по возможности, разнообразнее. Я люблю Вагнера, но и люблю и Россини, и Грига. Люблю Гумилева и одновременно Гиппиус. Нахожу ценное в Лохвицкой, но не отвергаю и Ахматовой. И разве это не ясно? Но жить постоянно в городе, повторяю, не мог бы: слишком многое открылось мне в природе, она меня

успокаивает, вдохновляет, отвлекает от мишуры и того отвратительного — весьма разнообразного, — что является неотъемлемой принадлежностью только города, т. е. места чрезмерного скопленья людей. Я люблю людей, мне интересных, все же остальные действуют на меня, в лучшем случае, удручающе. Вы говорите, что я религиозный человек. На мой взгляд, да, хотя я в церкви почти никогда не бываю и молюсь большей частью дома. Но и молитвы мои не только общепринятые, — я часто молюсь стихами. Я всегда чувствую крепкую связь с Подсознательным, с Высшим, и в этом никто, ничто не может меня разубедить. Я стараюсь не причинять боли людям близким да и вообще. Вы пишете, Игорь не любит модных танцев. Они и мне совсем не нравятся, тем более что последнее время это стало каким-то психозом и очень отвлекает людей от искусства, а я, как представитель его, не могу, конечно, этому радоваться. Я очень рад, что Ваш муж такой достойный и хороший человек, что поддерживает Вас и помогает в трудностях жизни. Одной Вам было бы неизмеримо хуже переносить все невзгоды. Эмигрантскую литературу я почти не вижу: книги очень дороги, но все же иногда приходится познакомиться то с той, то с другой. Эренбурга почти не читал. Хорошая книга — «Грамматика любви» Бунина, «Оля» Ремизова. Советских читаю больше. Нравится мне П. Романов, Катаев, Лавренев, Шишков, Леонов. Гладкова не читал. Пильняка знаю ограниченно. Есенина лично не знал. Творчество его нахожу слабым, беспомощным. Одаренье было. Терпеть не могу Есенина, никогда книг в руки не беру после неоднократных попыток вчитаться. Он несомненно раздут. Убийственны вкусы публики! Да и в моих книгах выискивалось всегда самое неудачное. Все «тонкости» проходили — и проходят — незамеченными. Нравится ли Вам Гумилев, Гиппиус, Бунин, Брюсов, Сологуб — как поэты? Это мои любимейшие. Не знаю, писал ли я Вам, что, в сотрудничестве с женою, перевел «Антологию эстонской поэзии за сто лет»? Книга вышла в 1928 г<оду> в Юрьеве. Но теперь такие милые порядки, что я не получил ни одного экз<емпляра>, хотя автору полагается по крайне мере от 10 до 25 экз<емпляров>. Жена купила мне нашу книгу!.. Вы слышали что-либо подобное? А «Классические розы» все еще печатаются... Это уже похоже на анекдот: с января! В ночь на Ивана-Купала, — это уже вскоре, — у нас ежегодно устраивается народное празднество: на лужайке над морем, на высоте 50 метров, жгут костры, играет духовой оркестр, составляемый из рыбаков, молодежь танцует модные и старые танцы. Местные девушки и женщины одеваются в праздники по-городскому и строго придерживаются моды, да и кавалеры от них не отстают в этом отношении. Вообще, надо сознаться, далеко нашему крестьянину до эстонского. Все выписывают газеты, покупают журналы, дома содержат в поразительной

чистоте, многие играют на пианино Сибелиуса, Листа, Бетховена, едят превосходно и вкусно, устраивают часто любительские спектакли, играя подчас даже Шиллера, обязательно ходят на лекции приезжающих из городов докладчиков, знают и чтут своих писателей, поэтов и художников, по праздникам посещают церковь (они лютеране). Народ трудолюбивый, честный, сдержанный, упорный, приветливый. Во всяком случае, более приветливый, чем финны, родственные ему, как и венгры. Страна преимущественно земледельческая, мелкособственническая. Коммунизм имеет успех лишь у безземельных крестьян и у городских рабочих, как, впрочем, и везде. Даже в армии, кстати сказать небольшой, но устроенной по последнему слову техники, солдаты живут по-человечески, у каждого свой прибор, перед обедом должны мыть руки, и традиционный русский траур ногтей здесь строго преследуется. Полное перепроизводство высшего образования, так что даже многие урядники окончили университет! Сильно развито автомобильное сообщение, — дороги все время ремонтируются и поддерживаются, — и экскурсии учащихся, весьма здесь распространенные, пользуются автокарами, автобусами и просто приспособленными для этой цели грузовиками. А о дешевизне можете судить хотя бы по тому, <что> пансион (полный с постельным бельем) на лучшей даче в дивном парке стоит 70 эст<онских> крон в месяц, т. е. 19 долларов с человека! Мы же проживаем все вместе — жена, я и содержание Вакха у бабушки —15—16 долларов в месяц. И, благодарение Богу, с голода не умираем. Где можно найти такую дешевую страну? Эстония и Латвия. Меня очень интересует Ваша девическая фамилия. И, вообще, если бы Вы написали мне подробнее о своем детстве и юности, Вы доставили бы мне большое удовольствие. Вот Вы равнодушны к природе, но все же, вероятно, грустите иногда о своем именьи? В какой губернии было оно, в каком уезде? Была ли река, парк? Напишите мне, дорогая София Ивановна. Кто из родных и родственников остался у Вас в России? Из какой национальности Ал<ександр> Гр<игорьевич>? Жизнь человеческая часто интереснее самой увлекательной книги, тем более жизнь человека, который тебя интересует. Иногда по маленьким штрихам каким-нибудь восстанавливается главное и значительное.

Вскоре я жду к себе из Праги своего давнишнего приятеля — эст<онского> видного поэта и магистра философии Вильмара Адамса, и тогда мы с ним предпримем прогулку в Пюхтицкий монастырь, расположенный в озерном лесу, в 35 верстах от нас. Адамс пробудет, как пишет, у нас около месяца. Это очень талантливый и милый человек, идеально знающий русский язык и русскую литературу, хотя его специальность — скандинавская. Одни гости на днях уже уехали от нас, вскоре приедет жена другого эс<тонского> поэта — самого модного — из

Юрьева. Но она в последнем градусе чахотки, эта обреченная, чуткая, изумительно красивая женщина. «Я приеду, если жизнь моя не облетит вместе с лепестками яблони», как недавно писала она мне. Фелисса Мих<айловна> шлет Вам искренний привет. Нежно целую ручки Ваши, ярко вижу Харьков.

Игорь

3

17 сентября 1931 г.

Toila, 17.IX.1931 г.

Светлая София Ивановна!

Пишу Вам в день Вашего Ангела — приветствую Вас! Ваше письмо я получил на днях. Благодарю за хлопоты и советы. Пока не получил письма из Парижа и Берлина, подожду писать в «Баян». Относительно Югославии имею уже два предложения: из Белграда и Любляны (по два вечера). Если Париж отпадает, поедем на Варшаву — Вену — Любляну, и значит, в эту осень с вами не удастся повидаться, что для меня крайне досадно. Ваши карточки я своевременно получил, — неужели же я забыл поблагодарить Вас тогда же? Простите мою рассеянность, пожалуйста. Одна из этих фотографий живо напомнила мне Вас в харьковский период — догадайтесь, какая?.. То, что и Вы, и А<лександр> Г<ригорьевич> лишаетесь в ближайшее время работы, положительно страшно в наше время, но я твердо знаю, что вам обоим удастся что-нибудь найти, — я так чувствую. Надо только верить в светлое, и оно будет непременно: беда властна исключительно при сомнениях. Сама жизнь в наших руках: «Жизнь в нашей власти»... «Смерть — малодушие твое»... Мы с женою хотели бы, чтобы Игорь приехал на будущее лето к нам. Нам хотелось бы лично с ним познакомиться, посмотреть его, познать. Этот приезд не был бы ни в каком отношении лишним, ненужным. Но только, как знать, что будет с нами и со всей Европой через год? Эта безработица, эти крахи, эти взрывы поездов — симптомы угрозные. «Коммунизму» и «капитализму» — этим двум понятиям, этим двум мироощущениям — никогда не ужиться вместе. Их столкновение — ужасающе-страшное — в конце концов совершенно неизбежно, и у меня нет ни малейшей уверенности в победе капитала. Собственно говоря, жестоки и бессердечны обе системы, и я не приверженец ни одной из них. Остается надеяться лишь на то обстоятельство, что коммунизм в Европе выразится в более культурной и терпимой форме, нежели там, на востоке... Но сперва будет и в Европе отталкивающе, это

ясно, и пережить это время не так-то просто и легко. Сколько будет невинных жертв, недоразумений всяческих и недоумений. Я — индивидуалист, и для меня тем отчаяннее все это. Затем я никогда не примирюсь с отрицанием религии, с ее преследованиями и гонениями. Но, не скрою, много правды и у «коллектива». Как все это сочетать, сгармонировать — вот вопрос.

Разрушение храма Христа Спасителя производит на меня отвратительное впечатление. Я все время жду чуда, которое потрясло бы русский народ, заставило бы его очнуться. Но священники, в своей массе, сделали, кажется, в свое время все, от себя зависящее, чтобы поколебать народную веру... И вот теперь результаты. Все это так тоскливо и безнадежно, что даже говорить подробно об этом не хочется...

Вчера от нас уехал последний гость — молодой поэт из Варшавы. Он пробыл у нас неделю и совершенно очаровался здешней природой. Славный мальчуган, но круглая бездарность. Как и большинство русской поэтической молодежи, впрочем. Все эти «Числа», «Соврем<енные> записки» — сплошное убожество в смысле поэзии. А какой апломб! Какая наглость! Какая беззастенчивость! Иногда меня эти «поэты» положительно возмущают. И как непоправимо они бездарны!.. На днях я получил из Белграда от Палаты Академии наук целый ворох книг — все издания «Русской библиотеки». Сюда вошли и Куприн, и Шмелев, и Бунин, и Мережковский, и Гиппиус, и Лазаревский, и Зайцев, и др<угие>, и др<угие>. Я очень тронут этой любезностью. Теперь мы на много недель обеспечены чтением. Только когда же читать, если уедем? Впрочем, несколько книг я уже успел прочесть, так, напр<имер>, «Синюю книгу» Гиппиус (дневник дней революции). Нахожу ее взгляд совершенно правильным. Всецело к ней присоединяюсь. Вы читали? Прочтите непременно. А какая тонкая и прелестная книга Тэффи — «Книга июнь». Это бесспорно лучшая из ее книг. В ней столько своеобразной, глубокой и верной лирики. Да и стихи Тэффи иногда очаровательны: недаром она сестра своей Сестры — Мирры Лохвицкой. У нас стало уже заметно холоднее, желтеют слегка деревья, воздух прозрачнее с каждым днем, на море часто штормы. Я так люблю северную осень и так рад, что начало ее еще застану на севере. Непонятно Вам все это, к сожалению. Вот и стихи мои в «Числах» Вам не нравятся, а, между тем, это одни из лучших моих стихов последнего времени. А мне кажется, непонимание Вами природы, неуменье проникнуться ею у Вас происходит от того, что Вы бывали в ней не в той среде, в какой было бы нужно. Не может быть, чтобы в Вас не жило к ней предрасположения. Это дремлет в каждом человеке. Нужно уметь только прробудить. А для этого необходима соответствующая обстановка, чувствования, — мало ли еще что.

Целую ручки Ваши, любящие перелистывать иногда томики стихов, нежно думаю о Вас, от всего сердца поэта желаю Вам радости и блага, почти болезненно хочу порой видеть Вас — существующую и мечтанную, угадываемую, но и «городскую», т. е. такую, какая Вы сейчас, со всеми Вашими срывами, болезненными изломами, как Вы сами говорите, столь близкими мне, «здоровому».

Ваш Игорь

P. S. Искренний привет от Фелиссы Михайл<овны>.

4

июль 1932 г.

Toila

Дорогая София Ивановна,
вот уже и опять половина лета прожита, вот уже и опять дни стали короче, а ночи длиннее и темнее. Отцвели яблони, сирень и сливы. В полях скрипят коростели. Соловьи еще правда слышны, но пенье их не так уж нетерпеливо-страстно. Пропала нежная зеленизна зелени. Вскоре сенокос, грибы и ягоды вскоре, а там уж и яблоки созреют — осенью сразу дохнет. И снова осень, и снова зима, а с ними и еще год к нашим кратким человеческим летам прибавится, и значит, еще на год поубавятся эти самые краткие лета...

А сколько не выполнено! а сколько не видано, не испытано! Кто осудит нас за нашу грусть человеческую, за нашу бесссильную, жалкую такую жалобу, за нашу любовь к этой прекрасной людьми, — о, лишь людьми! — оскверняемой земле?!

И, может быть, нам никогда не дано больше на этой Земле увидеться, хотя расстояние между нами исчисляется всего четырьмя днями нашей жизни. Как все это странно, право, как никогда нельзя ко всему этому — непривычному, непривыкаемому — привыкнуть. А между тем...

Я за память Вас благодарю: это положительно трогательно в наше время: кто кого помнит? кто кого поздравляет? Я благодарю Вас, София Ивановна. Не позабудьте свой новый адрес сообщить, а то опять прервется наша печальная, но очень хорошая, добрая переписка, прервется, как встречи наши, лет на... 16! Как страшно: 16! Нет, я никогда к этому не привыкну. Сердце щемит ужас, чувствуете ли Вы это, понимаете ли то тайное, что я хочу сказать и вот не умею найти подходящих слов и оттенков? Мучительная жуть, но есть в ее безнадежности что-то чарующее. Не выразить этого.

Вам не понравилось то мое письмо? Тон не «тот»? Возможно, да: все от настроенья. Так все это изменчиво. Одно лишь неизменно — мое к Вам влечение. Тяга. Сочувствие. Сожаление, что Вы не здесь. Досада, что не могу ничем облегчить Вашей безвыходности. Кроме слов, кроме чувств. Надвигается нечто и на нас. Сбережений от последней поездки хватит на июль и на август. Ровно до 1-го сент<ября>, ибо Ф<елисса> М<ихайловна> все точно всегда распределяет. Дальше? Жутко думать, что дальше, т<ак> к<ак> раньше 1-го ноября нет смысла ехать в турнэ, да и ехать-то в этом году не на что. А в банках теперь почти невозможно брать, имея даже солидных жирантов: отсутствие наличности, сугубая осторожность. Болгария, в бытность мою в ней, обещала прислать прозаические переводы лирики, дабы я перекладывал прозу на стихи. Обещано было от Мин<истерства> нар<одного> просв<ещения> 50 000 лева за книгу. Однако, несмотря на мои напоминания, переводов не шлют, ссылаясь в изысканно-вежливой форме на, — конечно, — кризис. Это осточертевшее слово, надо признаться, чрезвычайно удобно во многих случаях. Впрочем, дела там, как и повсюду, действительно скверны. Мережковский, Куприн, Зайцев и еще четверо уж давно получают субсидии от Югославии (1000 фр<анков>) ежемесячно, получают и из Чехословакии. И вечно жалуются на безденежье. Что касается меня, я получал только одно время от Эстонии (около 100 долларов в год). Но вот уже три года ни гроша, и надежд никаких в этом смысле. В декабре я имел разговор на эту тему с предс<едателем> Державной комиссии в Белграде — с акад<емиком> А. И. Беличем. Ныне получать уже поздно: опять-таки этот «кризис». Мы с Ф<елиссой> М<ихайловной> решились на рискованный шаг: печатаем сейчас в Нарве (от нас 40 кил<ометров>) книгу последних моих стихов на свой счет. В магазины отдать ее нельзя: денег не добудешь, надуют. Хотим посылать знакомым с просьбой распространять по рукам. Печатаем 500 экз<емпляров> по цене 8 фр<анцузских> франков за экземпляр. Распродав все книжки, просуществуем 6 месяц<ев>. Удастся ли только? Называется книжка (в ней 32 страницы) «Адриатика». Может быть, и Вы не откажетесь попробовать предложить несколько? Были бы Вам очень признательны. Если позволите, пришлю бандеролью столько экземпл<яров>, сколько надеетесь продать. Но не знаю, разрешено ли переводить из Бельгии деньги за границу? М<ожет> б<ыть>, узнаете? Да, издание книжки автором — единственный более или менее приличный выход из положения. Хочу послать и в Париж, и в Берлин, и в Болгарию, и в Югославию, и в Польшу. М<ожет> б<ыть>, на скопленную сумму проживем сентябрь и октябрь, и даже в Румынию поедем, а м<ожет> б<ыть>, еще отсрочим гибель на полгода в Тойле. Да, гибель, ибо я — поэт. Только поэт.

Ваша открытка прелестна, но моя паутина, к счастью, не столь цепка: меня паучок не погубит все же.

В следующем письме я много напишу Вам, дорогая, интимного, откровенного, сердечного – с вами это дивно! Вы так хорошо все воспринимаете, что ничего не хочется от Вас скрывать, прикрашивать. Я писал, что гибну от «нее». Так ли это, все же? Ф<елисса> М<ихайловна> сама отчасти слегка повинна во всем. Повинна без вины. Впрочем, до следующего письма. Наш искренний привет Вам, А<лександру> Г<ригорьевичу> и Игорю. А наша англичанка все еще не едет: ее задерживает болезнь сестры.

Целую Ваши ручки нежно.
Ваш Игорь

5

18 августа 1932 г.

Toila, 18.VIII.1932 г.

Дорогая София Ивановна,

Ваше длительное, – как впоследствии выяснилось, такое понятное, – молчание, говоря откровенно, меня крайне беспокоило, и я тщетно силился найти ему какое-либо объяснение. Меня оно положительно пугало, тем более что я знал, в каком ужасном состоянии духа Вы в последнее время находились и находитесь. Поэтому, когда я получил на днях Ваше письмо, я очень ему обрадовался, хотя, увы, радостного у Вас немного, и я искренне всей душой опять и опять соболезную Вам. Но успехи Игоря – это уже из области явно отрадного, и я спешу поздравить Вас и порадоваться Вашей радостью. Верю, что Вам крайне тяжело и горько, но не теряйте бодрости: жизнь так часто неожиданно и круто меняется, и то, что вчера еще могло показаться совершенно невозможным, завтра делается простым, ясным и доступным. У нас, по крайней мере, так почти всегда, и это дает мне смелость бодрить и друзей своих. В настоящее время мы готовимся вновь вступить в полосу испытаний, и вся надежда, как я Вам уже и писал, на распродажу новой книжки, вышедшей в свет только 5 авг<уста>. Я разослал уже по Европе и Америке 250 экз<емпляров>, т<о> е<сть> половину всего издания. Недели через две-три начнут постепенно выясняться результаты. Пользуясь Вашим добрым разрешением, послал 16-го и Вам 15 экз<емпляров>. Вот Бельгия, напр<имер>, такая страна, перевод денег из которой разрешается. Но есть страны, напр<имер> Германия,

Польша, Латвия, Болгария, Югославия, из которых никак и ничего не получить. Но я все же послал книжки и туда в надежде каким-либо чудом получить и оттуда!.. Как-нибудь через эст<онское> посольство или иным способом. Каким — пока сам не знаю. О моей «Адриатике» вчера в рижской газете «Сегодня» появилась прекрасная статья Пильского, и это заменит мне объявление о книге. 24-го июля приехала к нам, наконец, из Лондона Грациэлла Брейтвейт и внесла в нашу глушь свежую струю и оживление. Это молодая, очень деловая и энергичная женщина, которая сразу же стала звать нас на осень в Англию, чтобы дать там один-два концерта, о чем немедленно же написала своей сестре, и та охотно идет навстречу в смысле содействия своего по устройству вечеров. Но, хотя там и 30 т<ысяч> русских, мы все же еще не решили, ехать ли нам туда, т<ак> к<ак>, говоря по правде, эта страна, во-первых, не очень-то нас к себе влечет, а во-вторых, и на успех как-то не рассчитываешь в тех чуждых — во всех отношениях — краях. А мы думали уехать из Тойлы между 20—25 октября прямо в Рагузу и пожить там месяц-другой, а уж потом что-либо предпринимать в Югославии и Румынии. В это лето у нас особо много людей — и в Тойле, и в нашем доме. А на днях приедет из Берлина эст<онский> поэт с одной дамой, и инженер Эссен на 6 дней из соседнего местечка, расположенного от нас в 16 километрах. Сейчас он поехал на яхте в Финляндию, в воскресенье же ждем его к себе. Фелисса Михайловна чрезвычайно притомилась, т<ак> к<ак> на ней лежит все хозяйство. С этой стороны в приемах есть свои отрицательные стороны. Но мы любим, когда к нам приезжают. Было уже 18 человек. И большинство из них жило по несколько дней. 31-го июля у нас в Тойле состоялся большой музыкальный праздник. Пел хор в 650 человек, играл духовой оркестр в 135 инструментов. Съехалось со всего округа более трех тысяч. Вечером был спектакль и, конечно, танцы. Такие развлечения, как музыка и пенье, я приветствую: они говорят о музыкальности и культурности народа.

Как мы проводим время? Много гуляем, много читаем, дамы ездят иногда с рыбаками в море сети осматривать.

Стоят дивные дни, лунные мягкие ночи. Сырости у нас не бывает, но влаги достаточно: мы живем высоко над морем (30 саженей). Я очень сожалею, что не мог сделать на романах надписи: книги лежали у приват-доцента Б. В. Правдина в Юрьеве, откуда он по моей просьбе и переслал их непосредственно Вам. Вы не горюйте, София Ивановна милая, вот увидите — все будет хорошо. Я так хочу для вас счастья и радости светлой. Я так хочу, что это сбудется. Не улыбайтесь, это совсем серьезно.

За последнее время я совсем отошел от всяческих «соблазнов». Все это настолько пусто, мелко и не нужно (ни мне, ни другим), что нашел

глупым длить неоправдываемое. И чувствую себя значительно приятнее, как-то свежее и облагороженнее. Сам удивляюсь, а как легко это было сделать. М<ожет> б<ыть>, давно уже нужно было поступить так. Да, Фелисса Мих<айловна> достойна лучшей участи. Я очень виноват перед ней. Мне так трудно теперь вернуть ее безоблачность. Это более всего меня мучает. Одно лишь время покажет ей многое.

Нежно целую ручки Ваши. Ф<елисса> М<ихайловна> и я шлем Вам, А<лександру> Г<ригорьевичу> и Игорю наши искренние приветы и лучшие пожелания.

Ваш неизменно
Игорь

P. S. Я давно написал бы Вам во время Вашего молчания, но Вы писали, что меняете квартиру, нового же адреса я не знал.

Иг.

Если вас не затруднит, черкните, пожалуйста, открытку о получении книжек и не очень ли они смялись и испачкались в дороге.

Иг.

6

6 октября 1932 г.

Toila, 6.X.1932 г.

Дорогая София Ивановна,
16 авг<уста> я послал Вам, пользуясь Вашим любезным разрешением, 15 экз<емпляров> «Адриатики», а 18 авг<уста> — длинное письмо. И вот до сих пор не имею от Вас ни строчки.

Меня это крайне беспокоит: что с Вами, как Ваше здоровье, все ли у Вас благополучно? Напишите, пожалуйста, сразу же хотя бы открыточку. Дело в том, что в конце этого месяца мы уезжаем в Румынию, конечно, только в том случае, если соберем в дорогу денег. А это очень теперь трудно. Приходится собирать буквально по грошам. Книги мои успешно всюду продаются, и я получаю отовсюду крошечные суммы, кот<орые> должны в конце концов дать возможность тронуться в дальний путь. К сожал<ению>, не из всех стран разрешена пересылка валюты. Самое позднее, если будете добры ответить мне, 20 окт<ября>, иначе вряд ли я получу от Вас письмо. Впрочем, пишите и после этого срока: мне всюду перешлют. Но мне хотелось бы знать о Вас до отъезда. Напишите о себе подробнее.

Гости наши все разъехались. У нас осень. Рамы вставлены.

Если у Вас есть в Румынии знакомые, м<ожет> б<ыть>, найдете возможным сообщить некот<орые> фамилии и адреса: у меня нет там ни одной души знакомой. С дороги буду, конечно, писать Вам. Трудная осень в этом году, и на душе не очень-то радостно. Целую Ваши ручки. Фел<исса> Мих<айловна> шлет Вам свой искренний привет. Привет А<лександру> Г<ригорьевичу> и Игорю.

Всегда Ваш
Игорь

Издание окупилось уже полностью, что меня весьма радует. Хоть это...

7

1 января 1936 г.

Toila, 1.I.1936 г.

С Новым Годом, дорогая София Ивановна! Не удивляйтесь ничему: я вне законов. Если не писал, были серьезные причины. Очень серьезные, поверьте. Не хотелось расстраивать кошмарами переживаний. Ваши письма все получил, — очень признателен Вам. Всегда помнил. Часто-часто. Но меня ведь почти не было здесь. Почти все время был в Ревеле. Вернее — вынужден был быть. Следов<ательно>, не жил, ибо город для меня не жизнь: ненавижу институт городов. Бедная Ф<елисса> М<ихайловна> с 3 апр<еля> живет в Ревеле: работает на фабрике шелковой. Один скелет остался. И очень нехороший кашель (кашелек)... Я то здесь, то там. Иногда один, иногда нет. Заработков лично у меня никаких. За весь прошлый год всего три концерта: в Печорах, Валке и Гунгербурге. Полные залы все-таки. Удивлены? Чем объяснить? Не знаю. Публика ведь отошла от поэзии. И все же везде переполнено. А денег мало. До смешного. По 8 $ за вечер!.. И вдобавок свои расходы: поезда, отэли. Роман «Рояль Леандра» лежит на складе. Из тысячи продано экземпл<яров> 25. Куда идти? Что делать? А теперь вот на Праздники приехали с Ф<елиссой> М<ихайловной> на десяток дней домой. Как хорошо здесь! Как благочестиво! Сегодня Ф<елисса> М<ихайловна> уезжает снова в кабалу. Вам это известно. Вы сами в таком же положении. Зарабатывает она $^1/_2$ долл<ара> в день. У машины. В сентябре приезжала знакомая из Кишинева. В гости. Пробыла 18 дней, из них 12 в Тойле. Ездил с ней сюда. Весною снова приедет. М<ожет> б<ыть>, Вы ее знаете. Она о Вас помнит. Некто Лидия Тимо-

феевна Рыкова, рожденная Адам. У них дом на Федоровой, около Мещанской. Великанша. Красавица. Умница. Любит искусство. Поет. Рисует. И Липковская поселилась в Кишиневе на Немецкой.

Приветствую Вас, А<лександра> Григ<орьевича> и Игоря. Целую ручки Ваши. Напишите мне, не считайтесь письмами. Скверно мне, дорогая и милая София Ивановна, очень плохо на душе. Невыносимо.

Ваш Игорь

С. И. СТОДУЛЬСКОМУ

19 октября 1933 г.

19/X-1933 г.
Замок Храстовец
Словения

Дорогой Семен Ильич!

Обращаюсь к Вам с большой просьбой: не откажите в любезности переписать и прислать мне сюда теперь же, сразу, как получите эту открытку, мои два стихотворения — одно («Нона») из «Менестреля» и другое («С утесов Эстии») из «Феи Эйоле»: они мне крайне нужны, а книг этих я под рукой не имею, у Вас же, помню, эти книги имеются. Буду Вам крайне признателен. Вскоре мы уезжаем отсюда (около 1.XI). По непредвиденным обстоятельствам задержались в замке до поздней осени. Жаловаться на это не приходится, так как здесь очень живописно и мило. Чудно и сытно кормят, все удобства, библиотека, граммофон, радио, церковь, почта, лавки. Ловим окуней и лещей в речке Песница перед замком. В 12-ти км от нас, в горах, над Дравой имеется еще один замок — Вюрберг, расположенный на вершине большой горы с чудным видом на окрестности. Бываем иногда там. Но тот замок меньше нашего: в нем 62 комнаты. Помещается в нем теперь санатория для легочных. Напишите, выходит ли «Золотой петушок» и сколько номеров вышло. Возобновилась ли «Наша речь»? Я очень благодарен Вам за Ваши 2 письма. Простите, что не ответил тогда же, но вообще я мало кому пишу. Летом много и продуктивно работал. Массу читаем. Все время здесь стояла дивная осень, совсем дождей не было, и только вот теперь стало прохладно и серо. Но у нас теплая комната. Что нового в Кишиневе? В августе к нам приезжали из Сараево (17 часов езды) гости: муж с женою, милые люди. Пробыли 16 дней. Готовлю новую программу для осеннего сезона, поэтому и стихи прошу прислать. Сезон начнется, с божьей помощью, с концерта в Сараево, где нас уже ожидают. Фелисса Михайловна и я искренне Марию Георгиевну и Вас приветствуем. Всегда с Вами

Игорь

Ф. М. КРУУТ

1

8 марта 1935 г.

8.III.1935

Это действительно возмутительно: ты веришь больше злым людям, чем мне, *испытанному* своему другу! Моя единственная ошибка, что я приехал *не один*. Больше ни в чем я не виноват. Фелиссушка, за что ты оскорбила меня сегодня? почему не дала мне слова сказать? почему веришь лжи злых людей — повторяю? Мало ли мне, что говорили и говорят, как меня вы все ругаете! Однако ж я стою выше всего этого и даже не передаю ничего, чтобы не огорчать тебя! Я никому не верю, и ты не должна верить. Что ты хочешь, я то и исполню — скажи. Она уедет сегодня, а я умоляю позволить объясниться с тобой, и то, что ты решишь, то и будет. <...> Я очень тебя прошу, родная, позволить поговорить последний раз обо всем лично, и тогда я поступлю по твоему желанию. Я так глубоко страдаю. Я едва жив. Прости ты меня, Христа ради!

Я зайду еще раз.

Твой Игорь, всегда тебя любящий

2

14 марта 1935 г.

Четверг. 14.III.1935 г.

Дорогая ты моя Фелиссушка!

Я в отчаянии: трудно мне без тебя. Но ты ни одному моему слову больше не веришь, и поэтому как я могу что-либо говорить?! И в этом весь ужас, леденящий кровь, весь безысходный трагизм моего положения. Ты скажешь: двойственность. О, нет! Все, что угодно, только не это. Я определенно знаю, чего я хочу. Но как я выскажусь, если, повторяю опять-таки, ты мне не веришь? Пойми тоску мою, пойми отчая-

ние — разреши вернуться, чтобы сказать *только одно слово, но такое, что ты вдруг все поймешь сразу, все оправдаешь и всему поверишь*: в страдании сверхмерном я это слово обрел. Я очень осторожен сейчас в выборе слов, зная твою щепетильность, твое целомудрие несравненное в этом вопросе. И потому мне трудно тебе, родная, писать. Но душа моя полна к тебе такой животворящей благодарности, такой нежной и ласковой любви, такого скорбного и божественного света, что уж это-то ты, чуткая и праведная, наверняка поймешь и не отвергнешь. Со мной происходит что-то страшное: во имя Бога, прими меня и выслушай. <...> Я благословляю тебя. Да хранит тебя Бог! Я хочу домой. Я не узнаю себя. Мне больно, больно, больно! Пойми, не осуди, поверь.

— Фелиссочка!..

Любивший и любящий тебя — грешный и безгрешный одновременно — твой Игорь.-

Лина Юрьевна! Ольга! Простите ли Вы меня?
Можно домой?

3

20 марта 1935 г.

Среда, 20.III.1935 г.

Встал с постели только для того, чтобы написать тебе, дорогая Фелисса, эти строки. У меня грипп. Сегодня уже 38. Я прошу у тебя разрешения, как я только поправлюсь, встретиться: необходимо мне это. Я привык считаться с твоими словами. Ты запретила. Теперь разреши ради Бога. Евдокия Владимировна пусть скажет Шульцу.

Сейчас ложусь опять: знобит, плохо, принимаю много лекарств, болит мозг.

Любящий тебя

Игорь.-

4

1 августа 1935 г.

1 авг. 1935 г.

Дорогая моя Фишенька,

Сегодня день рождения Вакха, и я поздравляю тебя. Лину Юрьевну поздравил вчера лично. Мне очень трудно было столько времени не

писать тебе, как я собирался и обещал, но А. Э. сказал мне еще в первый приезд, что ты не веришь ни одному моему слову и хохочешь над моими письмами. Это меня обидело. Но день и ночь я только и думаю о тебе. Недели через $2\,{}^{1}/_{2}$—3 кончается сезон, и В<ера> Б<орисовна> уезжает на службу. Я остаюсь совершенно свободен, т. к. в Ревель ни за что не поеду с нею. Но я приеду на два-три дня один и остановлюсь у Степанова. Счет у Черницкого возрос до 50 крон, и В<ера> Б<орисовна> обещала ему постепенно его уплатить. Я верю, что она это сделает. Но мне с нею не по пути, и это по многим причинам. Я страдаю от одиночества духовного, от отсутствия поэзии и тонких людей. Неприятности бывают частые и крупные. Это лето вычеркнуто из моей жизни. Тяжело мне невыносимо. Я упорно сожалею о случившемся. И с каждым днем все больше. Больше месяца нет писем от нашей милой Л. Т. На днях я написал ей вновь — зову приехать и помочь мне найти покой и твое прощение. Иначе я погибну. Целую тебя нежно, дорогой и единственный друг мой. О тебе лучшие грезы и вечная ласка к тебе.

Твой всегда любящий тебя

Игорь.-

5

19 апреля 1936 г.

Озеро Uljaste, 19 апр. 1936 г.

В этот раз ты поступила со мною бесчеловечно-жестоко и в высшей степени несправедливо: я приехал к тебе в страстную Господню пятницу *добровольно и навсегда*. Моя ли вина в том, что разнузданная и неуравновешенная женщина, нелепая и бестолковая, вызывала меня по телефону, слала телеграммы и письма, *несмотря на мои запреты*, на знакомых? Моя ли вина в том, что она, наконец, *сама приехала ко мне, и я случайно*, пойдя на речку, встретил ее там? Я ни одним словом шесть дней не обмолвился ей и послал ей очень сдержанное и правдивое письмо. Только *накануне ее приезда*, и, следовательно, если бы она не приехала в четверг, она получила бы утром в пятницу мое письмо и после него уже, конечно, *не поехала бы* вовсе, ибо мое письмо не оставляло никаких сомнений в том, что ей нужно положиться на время до каникул, т. е. 25 мая, и тогда выяснится, смогу ли я жить с ней или вернусь. И конечно, к 25 мая я — *клянусь тебе* — написал бы ей, что *не вернусь*. Я, Фишенька, хотел сделать все мягко и добросердечно, и ты не поняла меня, ты обвинила меня в предумышленных каких-то и не-

существующих преступлениях, *очень поспешила* прогнать меня с глаз долой, чем обрекла меня, безденежного, на унижения и мытарства и, растерянного, измученного, не успевшего успокоиться, передохнуть и прийти в себя, *бросила вновь* в кабалу к ней и поставила в материальную от нее зависимость. Я вынужден был сказать обо всем этом Ев<докии> Влад<имировне> и другим, дабы все знали, что я люблю тебя и не хотел от тебя уйти. Зачем ты, Фишенька, так поступила опрометчиво и зло?!. Что ты сделала, друг мой настоящий, со мною? Ведь вполне естественно, что я страдал, получая от нее известия о ее болезни: меня мучила совесть и жалость. Но постепенно я успокоился бы, и все прошло бы, и ее письма на меня перестали бы оказывать действие. А ты не дождалась, ты поспешила от *меня отречься.* <...> Спаси меня — говорю тебе тысячный раз! Ее приезд доказал мне, что ей верить ни в чем нельзя, что она даже в болезнях лжет. Не пиши, если не хочешь, но, если зовешь меня к себе, пришли только один синенький цветочек в конверте. Это будет значить, что я могу вернуться навеки домой. Я целую тебя, дорогая Фелисса. Пожалей меня, прости, призови к себе.

Любящий тебя одну

Игорь.-

6

23 апреля 1936 г.

23.IV.1936 г.

Я поехал в Таллин, дабы регулировать получку 20-го апреля. Я проявил максимум энергии и в результате получил от одного мецената крупную сумму денег *без отдачи*. В моих руках теперь 100 крон, и, если ты разрешишь мне, я немедленно приеду домой. Смертельно тоскую по тебе, по рыбе весенней, по дому нашему *благостному*. Не отвергай, Фелисса: все в твоих руках — и мое творчество, и мой покой, и моя безоблачная радость. Вера выдала мне обязательство впредь не писать писем, не посылать телеграмм, не звонить по телефону и не являться лично. Я так ее избранил и побил, что это уже наверняка. Каждый лишний день, прожитый *вне дома*, приносит мне пытку. Я еду в Uljaste за синим цветочком. Ждет ли он меня там, не пропал ли в дороге? Не сплю ночей, болит сердце. <...> Прими меня домой — это твой последний долг перед Искусством и отчасти передо мной.

Если еще не послала, пошли цветочек. Я жду в Uljaste. Святой Николай Чудотворец явил мне чудо, — я лично расскажу все.

Твой бессмертно, и так искренне.

Игорь.-

7

7 октября 1936 г.

Tallinn, 7 окт. 1936 г.

Я все еще болен, дорогая Фишка, насморк не проходит, болит упорно грудь, кашляю и впечатление жара. <...> Квартира оказалась холодной и сырой, потолки протекают. Скука ужасающая, дикая! Порядки в квартире способны привести в исступление. Сержусь ежечасно, когда дома, а благодаря болезни «дома» вынужден быть часто. Жажду до умопомрачения Тойлы! <...> Очень трудно мне вести здесь хозяйство на книжку: дорого, безвкусно, несытно. Иногда прикупаю мясо, иначе ноги можно протянуть, но трачу минимально. У В<еры> Б<орисовны> интенсивная переписка с африканским дядюшкой. Она зовет его бросить службу (!) и переехать сюда. И он, видимо, к весне приедет. Это, знаешь ли, не так плохо для В<еры> Б<орисовны>. Человек, видимо, хороший и очень до сих пор ее любит. Прямо молитвенно. <...>

Твой вечно

Игорь.-

P. S. Сияет солнце, зовя к тебе!

8

2 января 1937 г.

Tallinn, 2.I/1937 г.

Дорогая, милая, родная Фишечка моя!

Поздравляю Тебя с днем Твоего нужного мне всегда появления на свет, благодаря которому я приобрел тонкий вкус в поэзии, что я очень ценю и за что очень признателен тебе. Твои стихи должны быть восстановлены — это мое искреннее желание, и я заклинаю тебя это сделать, когда я приеду домой, т. е. когда я вернусь домой.<...> Ежедневно В<ера> Б<орисовна> проводит большую часть дня у своих мегер, а я переписываю рукописи понемногу и никуда буквально не хожу: нет ни

малейшего настроения. <...> Я так утомлен, так обескуражен. И здесь такая непроходимая тощища. Этот «вундеркинд»! Эта Марья! Эта В<ера> Б<орисовна>, всей душой находящаяся у теток! Дядя выехал из Туниса 30-го в 7 веч<ера>. На днях многое выяснится. А там мы поедем с тобой в Ригу: я не могу больше вынести этой обстановки сумасшедшего дома. Ни нравственно, ни физически. Здесь сплошной мрак, сплошная тупь. На днях я пробовал прочесть кое-что из рукописи (не мог молчать, душа требовала стихов!), и через два-три стихотворения В<ера> Б<орисовна> заснула сидя!!! <...>

Любящий тебя всегда

Игорь.-

9

10 января 1937 г.

Воскресенье, 10 янв. 1937 г.

Дорогая моя Фишечка,
Фикунчик мой солнечный!

Изо дня в день стремлюсь к тебе домой, но *пока* еще не могу: не все устроено, а приехать без денег немыслимо. Но у меня есть надежда на крупный куш из Польши. <...>

Дядя – сплошное очарование. Деликатнейший и добрейший, очень сдержанный и ничего не кушающий. И внешностью, и манерой держаться – вылитый Эссен. Большой франт: привез смокинг и три костюма. Бывший морской офицер. Знает и о Гиппиус, и о Гумилеве, и Ахматову любит. Увидев все и все узнав, в ужасе. Даже два сильных сердечных припадка было с ним. Ставил горячие припарки и посылал в аптеку. Да и не мудрено: из-за него содом у теток: хотят женить на Валерии и Вере... одновременно! И послать в Африку. Сестры рвут на части! Но Вера его не уступит. <...> Я нейтрален. Подробности лично. <...> Дядя с Верой ушли к теткам, а я еду в Nõmme. До скорой встречи! Безумно хочу с тобою в Tartu, Ригу, Двинск. <...>

Твой всегда Игорь.-

У Дяди денег в обрез. Но в Африке избыток! Ни гроша Вере *здесь* дать не может.

10

18 января 1937 г.

Понедельник, 18.I.1937 г.

События разворачиваются весьма поспешно: дядюшка вчера уже переехал к тетушкам!!! И – навсегда. Подробности лично. Я с ним, само собою разумеется, не ссорился. Мы расцеловались при прощании, он крепко и долго жал мою руку. В<ера> Б<орисовна> с ним прощаться отказалась. Опять-таки подробности лично. Сплошной водевиль и превеселый!.. Надеюсь, ты уже совсем приготовилась к туру по Принаровью и Печерскому краю. Всего намечено 12 пунктов, начиная с Нарвы. <...> Сейчас иду к г-же Пумпянской, Лидии Харлампиевне: приглашен на обед. В<ера> Б<орисовна> даже в школу перестала ходить после ссоры с дядей, но сегодня направляется. Пропустила три дня. И к теткам сама не ходит и ребенка не водит. Это жаль!..

Твой всегда

Игорь.-

11

18 февраля 1937 г.

Четверг, 18.II.1937 г.

Шесть дней я пролежал дома, конечно, все же по утрам неуклонно посещая министерство и типографию и неуклонно получая ответы, меня не удовлетворяющие. Пришлось вновь писать прошение. <...> Поэтому только завтра, в 11 ч<асов> у<тра>, я смогу получить ответ и деньги. А пока что погибаю от недоедания и общей слабости, ибо в лавке нет самого главного для моего истощенного организма – *мяса*. А денег я не видел, как приехал. Здоровье мое из рук вон плохо, и я совсем калека. Сырость, холод, убожество. Лежу целыми днями в изнеможении. <...> Вот что значит зависеть от счета в лавке В<еры> Б<орисовны>! <...> Повторяю: я плохо себя чувствую в окаянном и ненавистном *всегда* городе.

Любящий тебя

Игорь.-

12

14 января 1938 г.

14.I.1938 г.

Дорогая Фелисса!

Шестнадцатый день провожу я не там-таки, где мне хотелось бы, и надлежало проводить. Здоровье мое ухудшается заметно с каждым днем: пребывание в городе, жгуче мною ненавидимом, да еще в такой непереносимой обстановке, — не то богадельни, не то жидовского детского сада, не то попросту дома для умалишенных ведьм, — мало способствует хорошести моего самочувствия и мировосприятия. Я буквально гибну здесь, и, видимо, нет спасения. В<ера> Б<орисовна> все праздники пролежала в жестоком бронхите, у нее сильно затронуты легкие, она и теперь почти через день сидит дома, так что книг продавать, естественно, не может, и не только теперь, но и впредь. Да и некому больше их навязывать. Положение угрожающее, сводящее с ума и *весьма ложное*, повторяю который уж раз. Здесь все поняли причину моего здешнего пребывания. И тем хуже для *нас всех*. 16 дней не держал в руках ни одного сента: они ниоткуда не поступают. <...> Как сумасшедший, хожу по городу без всякой цели. 2 раза был у Линды за почтой. Дрожал подходя: надежда на спасенье! И — *ничего*! Это надо пережить, это «ничего». Неужели же никто не писал? Неужели же Мими стала такой хамкой, что даже за «Росу» не поблагодарила и не высказала своего восторга перед поэмой моей пленительной? <...> Остро, с бешенством завидую всем живущим не в городе окаянном. <...> Погода ужасающая. По ночам бессонница и руготня. Я обвиняю В<еру> Б<орисовну> и весь мир за то, что не живу в деревне. Моя психика не выдерживает. Я — Божий поэт, мне грязно и позорно жить в городской старческой, поганой трущобе. Я не хочу этого. И я смею этого не хотеть. Каждый грош, который получишь из-за границы, нужен мне для выздоровления, ибо я *болен*. Этому надо верить, я от слез слепну. Все, что свыше 18 крон, пусть будет на мое спасение от ужаса, меня окружающего, душащего меня. В<ера> Б<орисовна> никогда этого не поймет. Она удивляется. Она осуждает. Она — рабыня города, теток, службы. Что ей до моих мук!

Любящий тебя Игорь.-

28 янв<аря> — 20 лет моей жизни в Эстонии. В Тойла хочу быть в этот день. Хочу стихов, музыки, природы, твоего общества: 23 года знаю!!

13

18 марта 1938 г.

Tallinn, 18.III.1938 г.

Дорогая Фишенька, милая!

Ни Вакх, ни Линда точно не знали, где нужно сделать доверительную надпись. Думаем, что правильно. <...> Книги почти не идут, поэтому вся надежда на чек полученный, т. е. на перевод. Возьми себе 1.40, а 40 отдай Е<вдокии> В<ладимировне> Ш<трандель> за телефон. Так что останется моего фонда ровно 16 крон. И эти деньги — моя весна. Ибо здесь что-то страшное творится: в одну лавку 84.45. <...> Кормит старуха со дня моего приезда за крону убийственно, чудовищно. А прикупать из-за отсутствия средств немыслимо ничего. Ни разу не покупали. Имею 4 кроны на дорогу неприкосновенных. Иначе не выдержал бы дня. Давать ей 30 крон в месяц — это значит выбрасывать деньги и голодать. Атмосфера удручающая, — ложь, злоба, ненависть всеобщая. Курю на свой счет. Смысла сидеть здесь уже нет. Попробую заработать в эти дни и уеду без оглядки: *надо жизнь свою спасать*! В<ера> Б<орисовна> совсем-совсем обреченная в этом аду. Все неможется ей, вечно омрачена и сердита. А тетки только и ждут, когда я не выдержу и сбегу. Возлагают на это большие надежды. Я это замечаю. <...> От Рериха жду письмо только в конце апреля. <...> Линда — между нами — не в силах больше здесь жить и после Пасхи вернется домой до осени. Вакха она устроила уже у знакомых. Ему будет хорошо. Он очень мил и симпатичен, всегда радуется мне искренне. Я к ним часто хожу. Благословляю и крепко целую. Хочу починить коричневые сапоги (набойки), домашние туфли и удочку. И тогда приеду. Я чувствую себя, как в темнице. Безумные головные боли, сердце и все другое. Приветствую Л. Ю., Ольгу, Элли.

Крепко целую и люблю.

Игорь.-

14

14 сентября 1938 г.

Saarküla, 14.IX.1938 г.

Попасть в Тойлу не так-то просто, дорогая Фишенька: все время, с редкими перерывами, хвораю, а когда лучше бывает, денег нет хронически, а поездка-то обойдется в 2.90. Легко сказать, когда и гривенни-

ка часто нет. Долги отдал, но растут новые, и чем их платить будем — никто не осведомлен, ибо пока получек не предвидится. Уж не тетки ли заплатят при своей оголтелой скаредности?! Эти сволочи гроша не посылают, и только и знают, что требуют В<еру> Б<орисовну> с девочкой в город. Причина? Сделать мне пакость и оставить меня одного в деревне — больного и безнадежного. А между тем мне необходимы некоторые вещи, как, например, новый костюм и драповое пальто: замерзаю по вечерам. 17-го, в субботу, [имя неразборчиво] едет из Tallinn'a на Устье за женой в автомобиле. Я просил его заехать к тебе, будь добра дать ему чемодан с необходимыми вещами и синее одеяло, а я ведь в Саркуле зимовать буду: не к мегерам же мне ехать! Я очень видеть тебя хочу, но сил у меня нет прийти пешком. <...> Крепко целую и благословляю.

Любящий тебя всегда

Игорь.-

Все заграничные знакомые — сволочи! Не вздумай покидать опрометчиво Тойлу и ехать на заработки: повторяю, все не так ужасно, и я все *устрою*. Но я болен, и у меня нет пока денег на дорогу. Достану и устрою. Мировые события кошмарны, и в них центр наших бедствий! Господь поможет нам.

КАЗИМИРУ ВЕЖИНСКОМУ

26 января 1937 г.

Светлый Собрат!

Сама святая интуиция диктует мне это письмо. Я искристо помню Вас: Вы ведь из тех отмеченных немногих, общение с которыми обливает сердце неугасимой радостью. Я приветствую Ваше увенчание, ясно смотрю в Ваши глаза, крепко жму руку. Я — космополит, но это не мешает мне любить и чувствовать Польшу. Целый ряд моих стихов — тому доказательство. На всю Прибалтику я единственный, в сущности, из поэтов, пишущих по-русски. Но русская Прибалтика не нуждается ни в поэзии, ни в поэтах. Как, впрочем, — к прискорбию, я должен это признать, — и вся русская эмиграция. Теперь она готовится к юбилею мертвого, но бессмертного Пушкина. Это было бы похвально, если это было сознательно. Я заявляю: она гордится им безотчетно, не гордясь отечественной поэзией, ибо, если поэзия была бы понятна ей и ценима ею, я, наизаметнейший из русских поэтов современности, не погибал бы медленной голодной смертью.

Русская эмиграция одной рукой воскрешает Пушкина, другою же умерщвляет меня, Игоря-Северянина.

Маленькая Эстония, к гражданам которой я имею честь принадлежать уже 19 лет, ценя мои переводы ее поэтов, оказала мне больше заботливости, чем я имел основания рассчитывать. Но на Земле все в пределах срока, и мне невыносимо трудно. Я больше не могу вынести ослепляющих страданий моей семьи и моих собственных. Я поднимаю сигнал бедствия в надежде, что родственная моему духу Польша окажет помощь мне, запоздалому лирику, утопающему в человеческой бездарной бесчеловечности. Покойный Брюсов сказал Поэту:

Да будет твоя добродетель —
Готовность взойти на костер!

Я исполнил его благой совет: я уже д о г о р а ю, долгое время опаляемый его мучительными языками. Спасите! Точнее, затушив костер, дайте отход безболезненный.

Верящий в Вас и Вашу Родину.

P. S.

Предоставляю Вам все полномочия на перевод и помещение в печати польской этого моего письма.

Tallinn.
26.III.1937 г.

В. А. РОЖДЕСТВЕНСКОМУ

1

12 июня 1941 г.

Уважаемый товарищ Рождественский!

Мне очень приятно было получить письмо от Вас, т. к. я Вас давно знаю и ценю многие Ваши стихи. К сожалению, они попадались мне в разрозненном виде, т. е. в журналах и антологиях. Если у Вас имеется какая-нибудь свободная книга, пришлите ее, пожалуйста, мне, чем доставите большое удовольствие.

Что касается «Чайковского», Вам, конечно, виднее, т. к., откровенно говоря, я, живя в глуши в Эстонии, очень отстал за последние годы от Нового сияния.

Поправки, внесенные в «Красную страну», нахожу и для себя вполне приемлемыми и благодарю за бережное и чуткое отношение к русскому языку.

<Далее рукой И. Северянина>

Жму Вашу руку, сообщите Ваше отчество, пожалуйста.
Благодарю за перевод денег.
С искренним приветом

Игорь-Северянин

Усть-Нарова
12 июня 1941 г.

2

20 июля 1941 г.

20-07-41

Светлый Всеволод Александрович!

Вы, вероятно, осуждаете меня за неучтивое молчание и удивляетесь ему. Но, получив Ваше чудное, Ваше правдивое и глубинное письмо, я

буквально в те же дни жестоко разболелся, и болезнь сердца заставила меня лежать почти без движения бессчетное количество дней. Теперь несколько дней я вновь двигаюсь, но писать самому мне трудно, поэтому я диктую Вере Борисовне. На Ваше письмо я отвечу лично, а пока что способствуйте нашему выезду отсюда. Конечно через Ленинград. Мое здоровье таково, что в общих условиях оно не выдержит. Длительное вертикальное положение для меня тягостно: в сердце вонзаются иглы. Я мог бы ехать только полулежа в машине. Но где здесь ее взять? Здесь и моего-то имени, видимо, не слышали!!! Может быть, Вы сумели бы прислать машину. Тогда прямо приехали бы к Вам. Я так рад повидать Вас, познакомиться!!! А вечерком поехали бы в Москву и дальше. М<ожет> б<ыть>, попросите у тов. Жданова: он, я слышал, отзывчивый и сердечный человек...

Деньги д а в н о кончились, достать, даже занять, – здесь негде. Продаем вещи за гроши, а в Москве и в Ашхабаде у меня есть получить более двух тысяч за сданную работу. Сюда денег теперь не переводят.

Верю в Вас почему-то, Всеволод Александрович, и знаю, что, если Вы захотите, – Вы поможете выбраться отсюда. Повторяю, в общих условиях мое сердце не выдержит, и живым я не доберусь... Пешком ходить я совсем не могу, и нести еще необходимый багаж!...

Крепко и ласково жму Вашу руку.

Жду ответа: ответьте, пожалуйста, н е м е д л е н н о.

Спасибо за Вашу милую книжечку: сколько слов при встрече!!

Я послал свою «Адриатику».

Игорь Северянин <собственноручно>

Мой адрес: Усть-Нарова, ул. Раху, 20 [Мирная]

<Ниже адрес по-эстонски и фамилия>

P. S. Семья моя состоит из жены и девочки 9 лет. Фамилия жены и маленькой – Коренди. Фамилия Коренди – эстонизирована (Коренева).

III
КРИТИКА

КРИТИКА О ТВОРЧЕСТВЕ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Редко приходится видеть, чтобы на долю поэта выпадало такое совершенно необычное внимание, какого удостоился Игорь Северянин от самых разнообразных кругов читающей публики. Но к читающей публике книга попадает, только пройдя чистилище критики. И, рассматривая отношение критики к Игорю Северянину, мы находим здесь всю гамму критических отношений, от самого восторженного до резко отрицательного, граничащего с простейшей руганью. Задачей составителя предлагаемой книги и было: представить благосклонному читателю проследить, по крайней мере в самых характерных случаях, это отношение критики к Северянину, так или иначе способствовавшее тому исключительному успеху, в котором одни видели самую печальную картину падения литературных вкусов, другие — начало особого внимания читающего мира к новому стихотворству.

Как помнят, конечно, читатели Северянина, первые явно благожелательные и серьезные отзывы о его творчестве вышли из-под пера В. Я. Брюсова; этими отзывами в значительной степени был создан успех Северянина. Поэтому мы сочли за лучшее предложить В. Я. Брюсову дать окончательную сводку его отзывов о Северянине в одной специальной статье, на что В. Я. Брюсов любезно согласился. Эта статья открывает наш сборник.

Следующая статья С. Боброва имеет целью представить читателю в некотором хронологическом порядке историю отношений Северянина и критики.

Далее следует несколько журнальных рецензий на книги Северянина. Выбирая их из всего невероятного количества журнальных и газетных статей о Северянине, мы, разумеется, не могли следовать нашему личному вкусу, и этот отдел дает читателю всего лишь несколько характерных мо-

ментов северянинского «успеха», моментов, созданных тем или иным из наших руководителей покупающей публики.

Одной из довольно важных особенностей поэзии Северянина является его словотворчество. До сей поры эта часть творчества поэта или служила предметом рекламоподобных пародий, или была некоей Гайд-паркской платформой, откуда критики Северянина растолковывали публике о том, что в сей платформе нет ничего такого... особенно дурного. По этой причине мы пришли к убеждению о необходимости специально филологической критики словотворчества Северянина. Эту работу любезно принял на себя заслуженный профессор Р. Ф. Брандт. Этой статьей заключается наша книга.

В. Пашуканис

Валерий Брюсов
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН

1

«Когда возникает поэт, душа бывает взволнована», — писал Ф. Сологуб в предисловии к «Громокипящему кубку». Конечно, певец звезды Маир, обычно скупой на похвалы, не мог ошибиться, произнося приговор столь решительный. Чуткость не изменила Ф. Сологубу, когда он приветствовал Игоря Северянина высоким именем Поэта. Да, Игорь Северянин — поэт, в прекрасном, в лучшем смысле слова, и это в свое время побудило пишущего эти строки, одного из первых, в печати обратить на него внимание читателей и в жизни искать с ним встречи. Автор этой статьи гордится тем, что он, вместе с Ф. Сологубом и Н. Гумилевым, был в числе тех, кто много раньше других оценили подлинное дарование Игоря Северянина.

Однако самое название «поэт», в каждом отдельном случае, требует пояснений и определений. Конечно, «не тот поэт, кто рифмы плесть умеет». С другой стороны, мы только условно называем «поэтом» того, кто совсем не умеет «плесть рифмы». В одной эпиграмме Баратынский шутил: «И ты — поэт, и он — поэт, но р а з н и ц у меж вас находят...» Даже между великими поэтами «разница» несомненна. Может быть, по силе непосредственного стихийного дарования, Тютчев не уступал Пушкину. И все же Пушкин стал родоначальником всей новой русской литературе, а роль Тютчева в истории нашей поэзии гораздо менее значительна. Это происходит оттого, что один талант еще не определяет всего значения поэта и писателя.

Мы знаем, что гений иногда «озаряет голову безумца, гуляки праздного». Хорошо, если таким гулякою оказывается Моцарт, да и то Сальери сказал не всю правду: из биографии Моцарта мы знаем, как много он учился и как много работал. Когда гений соединяется с огромным умом, жаждущим познаний, с безошибочным вкусом и с неустанным трудолюбием, получается титан литературы, как наш Пушкин или германский Гете. Томы сочинений Пушкина, его глубокие суждения о разнообразнейших вопросах истории, политики, науки, искусства, его черновые рукописи, свидетельствующие о кропотливой работе, опровергают то представление о нашем великом поэте, какое готов был поддерживать он сам: как о «повесе, вечно праздном». Разносторонность познаний и интересов Гете достаточно известна. Когда же поэтической дар не сочетается ни с исключительным умом, ни с неодолимым терпением, в лучшем случае выходит русский Фофанов или французский Верлен.

«Душа бывает взволнована, когда возникает поэт. Но после первого радостного волненья наступает время анализа. Нашедший клад, сначала только пересыпает золото из руки в руку, но потом начинает считать его и определять ценность монет. Мореплаватель, открывший остров, после первой минуты горделивого счастия, отправляется исследовать новую землю, выясняет, пригодна ли она для житья, богата ли растениями, животными, минералами, есть ли в ней удобные бухты. Подобно этому, «открыв» нового поэта, пережив радостное «волнение души», читатель невольно начинает относиться критически к новому знакомцу, старается определить его удельный вес. Хочется узнать, принадлежит ли новый поэт к числу редких «посланников Провидения», благословенных гостей мира, как Пушкин и Гете, или к числу второстепенных светил, как Фофанов и Верлен, или, наконец, к тем мимолетным огням, которые, как падающие звезды, порою озаряют на миг небосвод литературы.

А если бы случилось, что мы пожелали отказаться от анализа, если бы нам захотелось только перебирать монеты найденного клада, только любоваться новооткрытым островом, только радоваться на строфы нового поэта, — Игорь Северянин сам не позволил бы нам отдаться этому непосредственному чувству. Первая большая книга, изданная им (он сам именует ее «первой» книгой, как бы отрекаясь от своих предыдущих изданий), «Громокипящий кубок», — книга истинной поэзии. Об ее стихах справедливо сказал Ф. Сологуб: «Пусть в них то или другое неверно с правилами пиитики, что мне до того!» Но после первой появилась «вторая», «Златолира», огорчившая всех, кто успел полюбить нового поэта, — так много в ней появилось стихов безнадежно плохих, а главное, безнадежно скучных. Не лучше оказалась и «третья» книга, «Ананасы в шампанском». Сторонники поэта объясняли это тем, что в обеих книгах были собраны преимущественно прежние, юношеское стихи Игоря Северянина. Мы ждали «четвертой» книги; она вышла под заглавием «Victoria Regia», с пометами под стихами 1914 и 1915 г. Увы! и она не оправдала добрых ожиданий: в ней много подражаний поэта самому себе и много стихотворений неудачных и слабых: ни в какое сравнение с «Громокипящим кубком» идти она не может.

Что же остается делать читателям Игоря Северянина? Отбросить три его книги и перечитывать «Громокипящий кубок», опять и опять радуясь на свежесть бьющей в нем струи? Или — вдуматься в странное явление и решить, наконец, ч т о ж е з а п о э т Игорь Северянин: суждено ли ему остаться «автором одной книги» (каких мы немало встречаем в истории литературы) или возможны для него развитие, движение вперед, новые счастливые создания? Последнее — прямое

дело критики, и ее дело также, если она серьезно относится к своей задаче, указать, по мере своих сил и разумения, поэту, какие причины мешают ему развивать свой дар и идти к новым художественным завоеваниям: есть ли это нечто роковое, неодолимое для самого поэта, или нечто временное, с чем он может бороться. Позднее, беспристрастная история литературы укажет Игорю Северянину его место в родной словесности; сейчас мы, критики, можем и обязаны указывать поэту пути, которые перед ним открыты. Правда, критиков слушают редко, но это уже не их вина, и свой долг они исполнить обязаны.

Подойдем же к поэзии Игоря Северянина со всем доброжелательством читателя, благодарного ему за «Громокипящий кубок», и постараемся уяснить для самих себя и для него, почему нас и, сколько мы знаем, так многих, любящих поэзию, не удовлетворяют его последние книги*.

2

Не думаем, чтобы надобно было д о к а з ы в а т ь, что Игорь Северянин — истинный поэт. Это почувствует каждый, способный понимать поэзию, кто прочтет «Громокипящий кубок». Но важно опреде-

* Здесь я вынужден сказать несколько слов pro domo mea. Игорь Северянин весьма зол на критику и осыпает ее ругательствами: «Смотрите-ка, какая подлая в России критика!» В России критические статьи писали Пушкин, Гоголь, Баратынский, Белинский, Ап. Григорьев, в наши дни пишут Д. Мережковский, З. Гиппиус, Н. Гумилев, М. Кузмин и столько других, имена которых служат достаточной защитой от брани Игоря Северянина. К русским критикам причислю себя и я, если 25 лет работы, руководимой обдуманными убеждениями, знаниями и личным вкусом, а отнюдь не личными отношениями с тем или другим писателем, дают на то право. Недовольный моими критическими замечаниями о его книгах, Игорь Северянин позволил себе заявить в стихах, что я ему «завидую». Любопытно, в чем бы я мог «завидовать» Игорю Северянину. Мне было бы стыдно, если бы я оказался автором «Ананасов», и мне было бы обидно, если бы я сделался объектом эстрадных успехов, выпавших на долю Игоря Северянина. Поэту, немного очадевшему, должно быть, оттого, что «идут шестым изданием иных ненужные стихи», следует усвоить себе простую разницу между критической оценкой и завистью. Не нужно непременно завидовать и можно не переставать любить, судя критически и иногда строго осуждая те или другие страницы прозы и стихов. Неужели Игорю Северянину непонятна благородная любовь к литературе, побуждающая нас, критиков, оценивать создания поэзии, а понимает он только «кумовство» или «зависть»?

лить диапазон поэзии Игоря Северянина. Поэтому, хотя бы бегло, приходится окинуть взглядом его лучшие поэмы.

Первый признак поэта – умение передавать, рисовать то, что он видит. Поэт обладает способностью подмечать такие черты в окружающем, которые одни воссоздают всю картину в воображении читателя. Без этой способности нет поэта, вернее, он может и быть, но останется нем для всех; он будет воспринимать мир художественно, но мы не узнаем этого из его неумелых, бессильных строк. Игорь Северянин такой способностью «рисовать» обладает в сильной степени. Он – поэт-живописец; он рисует целые картины, сохраняющие всю свежесть красок и даже как будто весь аромат действительности. Читая «Громокипящий кубок», *видишь* перед собою поля, и лес, и море, и гостиную и диваны лимузинки.

Таков, напр<имер>, «День на ферме» (I, 23) *, когда «бегало солнце по граблям», таков «Ноктюрн» (I, 47), изображающий, как «бледнел померанцевый запад»; таковы стихотворенья «На реке форелевой» (I, 32), «Январь» (I, 34) и многие другие в первом отделе «Громокипящего кубка». Немногими штрихами Игорь Северянин воссоздает сложные картины. Присмотритесь и прислушайтесь, напр<имер>, к таким стихам (I, 13):

День алосиз. Лимоннолистный лес
Драприт стволы в туманную тунику... –

оцените такую черту (I, 25): «Закатный запад был сиренев»... такой эпитет (ib.): «Шел т и х и й снег», смелость и верность такого образа (I, 49): «Хромает ветхий месяц как половина колеса», или еще (I, 27): «Ночь баюкала вечер, уложив его в деревья». Все это – штрихи истинного поэта, как и длинный ряд отдельных «счастливых» выражений, trouvailles: «морозом выпитые лужи» (I, 50), «аллея олуненная» (I, 66), «сад, утопленный в луне» (I, 89), «кувыркался ветерок» (I, 68), «нóчи в сомбреро синих» (I, 117), и т. п.

Второе необходимое свойство поэта – способность переживать события глубоко и остро. Поэт-лирик имеет почти единственный объект

* Мы означаем книги Игоря Северянина римскими цифрами: I <«Громокипящий кубок»>, II <«Златолира»>, III <«Ананасы в шампанском»>, IV <«Victoria Regia»>; страницы в них – арабскими цифрами. Примеры мы стараемся приводить преимущественно из стихотворений последних годов, начиная с 1913. Во многих случаях, однако, даты под стихотворениями не проставлены, и мы не имели возможности проверить время их написания.

наблюдений — самого себя. Свою собственную страсть, свое счастье и свою скорбь замыкает он «в жемчужине слова». Поэт должен не бояться страданий, потому что сильные чувства дают ему темы для вдохновений. «Всходить на костер», «идти на Голгофу» — эти условные выражения заключают в себе жуткую правду для поэта-лирика. Кто не способен сильно чувствовать, не способен и влиять с силою на читателей. Поэт «с холодной душой» — nonsens, противоречие в терминах.

По силе лирических признаний Игоря Северянина мы судим, что он переживает свою жизнь остро. Такие, казалось бы, обыкновенные отношения, какие пересказаны в стихах «Это все для ребенка» (I, 16), дали Игорю Северянину исключительные по своему импрессионизму строки:

Повидаться нельзя нам.
Разве только случайно. Разве только в театре.
Разве только в концерте.
Да и то бессловесно. Да и то беспоклонно...

Как подлинная трагедия, читаются стихи «Злате», напр<имер>, эти (I, 45):

Ты ко мне не вернешься: на тебе теперь бархат;
Он скрывает безкрылье утомленных плечей...

Мы верим, мы уверены (иного доказательства нет), что только глубокое переживание могло подсказать такие волнующие ритмы (I, 14):

О, милая, как я печалюсь! О, милая, как я тоскую!
Мне хочется тебя увидеть — печальную и голубую...

О том же говорят другие стихотворения «Сирени моей весны», небольшое число пьес из «Златолиры» и лучшие строфы в начале «Victoria Regia». Поэт живет и, переживая «старую сказку», с которой вновь знакомится каждый, узнающий нашу земную жизнь, принимает ее по-своему, так, как было суждено лишь ему одному...

Особенность Игоря Северянина составляет ироническое отношение к жизни. Он очень верно сказал о себе (IV, 31): «Я — лирик, но я — и ироник». В наши дни это — редкий дар; сатира в стихах вымирает, и приходится дорожить поэтом, способным ее воскресить. А что у Игоря Северянина есть все данные для того, может доказать одна «Диссона» (I, 77), стихотворенье, прекрасное от начала до конца:

Ваше Сиятельство к тридцатилетнему — модному — возрасту
Тело имеете универсальное... как барельеф...
Душу душистую, тщательно скрытую в шелковом шелесте,
Очень удобную для проституток и для королев...

Много такой злой иронии рассеяно по «Мороженому из сирени». Целый ряд отдельных выражений прямо поражает своей меткостью и универсальностью: «дамьи туалеты пригодны для витрин» (I, 70), «женоклуб... где глупый вправе слыть не глупым, но умный непременно глуп» (I, 71), «под пудрой молитвенник, а на ней Поль де-Кок» (I, 70), «грумики, окукленные для эффекта» (I, 100), и т. д.

Ирония спасает Игоря Северянина в его «рассудительных» стихотворениях. Поэтому хороши его стихотворные характеристики Оскара Уайльда (I, 101), с прекрасным начальным стихом: «Его душа — заплеванный Грааль», а также Ги де Мопассана (I, 101), с удачным сравнением: «Спускался ли в Разврат, дышал, как водолаз». Там, где Игорь Северянин относится к «толпе» иронически, прощаешь ему даже наивную самовлюбленность, и есть своя сила и своя правда в таких выражениях, как «приличные мерзавцы» (I, 123). В последних книгах поэта, может быть, удачнее всего те стихи, где воскресает эта ирония. Так, напр<имер>, хотя и с некоторыми оговорками, мы охотно «принимаем» стихи «В блесткой тьме» (III, 14).

Как подлинный художник, Игорь Северянин обладает даром перевоплощения. Он умеет писать и в иных стилях, нежели свой, конечно, если чужой стиль ему знаком. Поэтому мы вполне верим поэту, когда он говорит, что мог бы писать «как все». Порукою в том стихи Игоря Северянина, написанные «в русском стиле», в которых он сумел остаться самим собой, удачно переняв то склад нашей народной песни, то особенности народного говора. Таковы стихотворения: «Идиллия» (I, 15), «Chanson Russe» (I, 37), «Пляска мая» (I, 36), «Русская» (I, 37), некоторые пьесы из «Victoria Regia». Напротив, когда Игорь Северянин пытается перенять стили ему незнакомые, напр<имер>, — античный, или писать стихи «экзотические», попытки кончаются горестной неудачей.

Давно указано, что каждый новый поэт приносит с собою и новые, свои, ритмы. Нельзя сказать, чтобы Игорь Северянин сделал многое для русского стиха. Но кое-где он все же пошел вперед по дорогам, до него только намеченным. Так, он широко использовал пеонические размеры, вошедшие в литературу лишь после К. Бальмонта. Благодаря тому, что Игорь Северянин свои стихи не читает, а п о е т, он мог свободно применять ямбы с пиррихиями на ударных стопах, что раньше употреблялось лишь в романсах, назначаемых для пения (как, напр<имер>, стих: «А следова́тельно — не слон», IV, 127). Среди новых словообразований, введенных Игорем Северянином, есть несколько удачных, которые могут сохраниться в языке, напр<имер>, глагол «олунить». Наконец, и ассонансы, на которые Игорь Северянин очень щедр, иногда у него звучат хорошо и, действительно, заменяют рифму; интересны его попытки использовать вместо рифмы диссонанс — слова, имею-

щие различные ударные гласные, но одинаковые согласные (напр<имер>, III, 39: «кедр — эскадр — бодр — мудр — выдр»).

Таков Игорь Северянин, как он представляется в своих лучших созданиях. Это — лирик, тонко воспринимающий природу и весь мир и умеющий несколькими характерными чертами заставить видеть то, что он рисует. Это — истинный поэт, глубоко переживающий жизнь и своими ритмами заставляющий читателя страдать и радоваться вместе с собой. Это — ироник, остро подмечающий вокруг себя смешное и низкое и клеймящий это в меткой сатире. Это — художник, которому открылись тайны стиха и который сознательно стремится усовершенствовать свой инструмент, «свою лиру», говоря по-старинному. При таких данных, казалось бы, можно ли желать большего? Чего же недостает Игорю Северянину, чтобы не только быть поэтом, но и стать поэтом «значительным», а может быть, и «великим». На этот вопрос мы и ставим своей задачей ответить.

3

Аббат Делиль уверял, что весь гений Вергилия заключался в его вкусе. По отношению к Вергилию это — несправедливо, но верно в том смысле, что вкус имеет в искусстве значение огромное. Безошибочный вкус может заменить гений. Но никакая гениальность не вознаградит отсутствие вкуса. Ошибки против вкуса, безвкусие, обезобразят самое вдохновенное художественное создание; они чувствуются особенно больно и для них мы не находим никакого извинения. Между тем именно доброго вкуса и недостает в стихах Игоря Северянина. В одной из своих «поэз» (какое безвкусное слово!) Игорь Северянин, издеваясь над критикой, уверяет, что она, смеясь над его «Хабанерой», не расслышала в стихах иронии, искала лирики «в сатире жалящей» (IV, 123). В оправдание критики надобно сказать, однако, что не всегда легко различить, где у Игоря Северянина лирика, где ирония. Не всегда ясно, иронически ли изображает поэт людскую пошлость или, увы! сам впадает в мучительную пошлость. Мы боимся, что и сам Игорь Северянин не сумел бы точно провести эту демаркационную линию.

Когда продавец «мороженого из сирени» возглашает: «Пора популярить изыски, утончиться вкусам народа!» (I, 59), мы надеемся, это — ирония. Но вот, в январе 1915 г. в Петрограде, Игорь Северянин пишет «увертюру» к своему III сборнику, где угрожает: «Я трагедию жизни превращу в грезофарс» (III, 7). Сказано ли это иронически, или и в самом деле поэт мечтает сделать из жизни фарс, хотя бы и «грезо»? Восхваляя в стихах некую мисс Лиль, поэт уверяет ее: «ты еще пикантнее» (I, 116). Имеем ли мы дело с сатирой или подлинный идеал поэта — пикантность? А восхваляя самого себя, Игорь Северянин сообщает

нам: «Мне отдалась сама Венера» (II, 9). Только предположение, что поэт здесь иронизирует над самим собой (как и в других своих самохвальных стихах) позволит не видеть в таком признании чудовищной пошлости.

Можно понять любовь автора к своим произведениям и желание сохранить даже более слабые из них, оправданные другими, более совершенными. Но есть предел и в такой любви, и только полным безвкусием, отсутствием всякого критического чутья можно объяснить, что Игорь Северянин переполнил II и III сборники своих стихов вещами безнадежно плохими. Здесь обрели свое место и стишки самого банального типа, какие обычно наполняют провинциальные газеты и неудачнейшие иллюстрированные еженедельники (особенно в отделе «Лунные тени»), и явные технические упражнения, которые сколько-нибудь уважающий себя поэт оставляет в своих бумагах, и, наконец, просто мертворожденные создания, которые простительно написать в неудачную минуту, но непростительно выставлять на показ и на позор читателям.

Чем, как не отсутствием вкуса, можно объяснить появление такой вещи, как «Шантажистка» (III, 45), где, в плохих стихах, рассказывается, как некая дама требовала с автора (или с героя стихотворения) денег на прокормление прижитого с ним ребенка, а автор (или герой стихотворения) предложил ей вместо того отправиться с первым встречным в гостиницу? Или благонамеренные стишки (II, 26), в которых поэт (или герой стихотворения) убеждает свою возлюбленную не вытравлять ребенка, советуя ей: «Плюй на все осужденья, как на подлое свинство»? Или еще стихи (II, 32), где повествуется, как к поэту (или герою стихотворения) пришла его бывшая любовница и созналась, что изменяла ему с пятью мужчинами, причем просила: «Наплюйте мне в лицо», а он ей ответил рыцарски: «С глаз долой!» И длинный ряд таких же повествовательных стихотворений II сборника, передающих, может быть, действительные факты из жизни поэта, но абсолютнейшим образом не интересные для читателя, разговоры, о которых хочется сказать словами Лермонтова:

Где разговоры эти слышать?
А если и случалось им,
Так мы их слышать не хотим!

Почти на каждой странице особенно последних трех книг Игоря Северянина встречаются выражения, прямо оскорбительные для каждого обладающего вкусом читателя. То поэт пишет комическое: «Я... от неги вешней мог истечь» (IV, 28) и даже столь доволен этим образом, что его повторяет: «ребенок мог истечь» (не кровью, а «от грез»); то

ставит неимоверное сочетание слов: «я вдохновенно сел в курьерский» (II, 107); то подносит «другу» такой совет в стихотворении с эпиграфом из Ф. Сологуба: «Друг, о г о л и в а й свою Ойлэ!» (II, 123). Игорю Северянину нипочем сказать: «постиг бессмертия п р о ц е с с» (I, 111), «зацелую тебя, как идею брамин» (II, 124), «в танец пустился мир, в о й д я в а з а р т» (II, 10), о проститутках — «в а д и х д е н ь» (II, 115), «играть в Наполеона — в о т в т о м-т о и г р е х и» (IV,96), «обостряли нервы до границ» (II, 54) и т. п., и т. п.

Верха, быть может, безвкусия достигает Игорь Северянин в стихах, посвященных современной войне. Отдел этих стихотворений начинается отвратительной похвальбой, что величье Германии «солдату русскому на высморк» (IV, 93). Не думаем, чтобы сам русский солдат, известный своей скромностью и на деле ознакомившийся с мощью германцев, подписался под этим хвастливым выкриком эстрадного поэта. Далее автор комически восклицает, обращаясь к Германии: «Дрожи перед моею лирой!» (или это тоже сатира на самого себя?) Затем гражданственная поэзия Игоря Северянина переходит площадную ругань; «шут» (IV,96), «буржуйка» (IV, 93)» «наглая» (IV, 99), «апаш» (IV, 99), «мародер» (IV, 94), «срам» (IV, 95) — вот приемы, которыми поэт хочет унизить наших врагов. Ругаться из-за спины других — вряд ли значит исполнять свой долг поэта в войну, и не много надобно вкуса, чтобы понять, в какой мере это некрасиво, именно «не эстетично». Военные стихи Игоря Северянина, которыми он срывает дешевые аплодисменты публики, производят впечатление тягостное.

Перефразируя слова аббата Делиля, можно сказать: все недостатки Игоря Северянина в его безвкусии.

4

Но кроме безвкусия есть другая причина, закрывающая поэзии Игоря Северянина пути к развитию. Поэтически талант дает многое, когда он сочетается с хорошим вкусом и направляем сильной мыслью. Чтобы художественное творчество одерживало большие победы, необходимы для него широкие умственные горизонты. Только культура ума делает возможной культуру духа. Поэт, умственные интересы которого ограничены, роковым образом обречен на скудость и однообразие тем, и вместо бесконечности мировых путей пред ним всегда будут лишь тропки его маленького садика.

Игорь Северянин сам не скрывает, что мысли не его удел. «Я — самоучка-интуит» — сообщает он в одном месте (IV, 111). То была бы еще не большая беда, и Пушкин во многих отношениях был самоучкой; хуже, что Игорь Северянин пренебрежительно относится вообще к учению. «Не мне в бездушных книгах черпать!» (I, 136)» — гордо за-

являет он. И из его стихов видно, что он, действительно, не так-то много «черпал» в книгах. Как только он подступает к темам, требующим знаний (хотя бы и весьма элементарных), это обнаруживается. Напр<имер>, у Игоря Северянина Нерон клянет свой трон (I, 107), а гетеры (!) глядят на него из лож партера; краснокожие в Мексике мечут бумеранг (I, 68); слово «шимпанзе» получает ударение на «а» (II, 111); брамин целует идею (II, 124) и т. п. Не видно даже знакомства с литературой, что, казалось бы, для поэта обязательно. В стихах Игоря Северянина упоминаются лишь наиболее популярные писатели, а если встречается имя чуть-чуть менее общеизвестное, как заметно, что поэт знает его лишь понаслышке: как, напр<имер>, он говорит о строфах Верхарна, этого почти всегда а-строфического поэта!

Если стараться выудить из стихотворений Игоря Северянина мысли, отвлеченные суждения, улов получится самый бедный. В сущности, выищется лишь единственная мысль: «Живи, живое!» (II, 9), которую поэт и повторяет на разные лады: «Люби живущее, живой!» (IV, 136), «Я... ярко радуюсь живым» (IV, 139) и т. д. Мысль не неверная, но не более новая, чем максима (Вл. Соловьев): «Не людоедствуй». Попадаются еще, столь же «набившие оскомину» изречения: «Одно безумье гениально, и мысль ничтожные мечты» (II, 112, сколько раз твердил хотя бы Фет о «безумьи вещем поэта»!) или еще: «В грехе забвенье» (I, 11), а потому: «Греши отважней» («Если хочешь, поди согреши», — лет за 20 до Игоря Северянина писал Д. Мережковский, повторяя, конечно, старые слова). А что такое «грех» по мнению Игоря Северянина? — «утолить инстинкт» (I, 13). Вот и весь умственный багаж поэта; это не мешает ему уверять, будто «всероссно» т. е. все во всей России убеждены, что он что-то сказал «первый» (IV, 124).

Как только Игорь Северянин берется за тему, требующую преимущественно мысли (может быть, лирикам и не следует браться за такие темы, но — если это уж случилось!), бессилие его обнаруживается явно. Таково стихотворение «Под впечатлением Обрыва» (II, 43) т. е. рассуждения по поводу прочитанного автором (давно пора было!) романа Гончарова «Обрыв». Стихотворение написано в форме письма, и в первых строках Игорь Северянин пресерьезно доказывает своей корреспондентке, «что Гончаров — поэт». Разумеется, можно, и даже похвально, изъяснять в письмах лицам, мало образованным, некоторые элементарные истины, но почему педагогические упражнения перелагать в стихи и предлагать читателям? Далее автор письма объявляет, что хороша «борьба за право наслаждения», восклицает: «Велик свободный Марк!», поучает: «Счастье не в летах» и т. п. Если Игорь Северянин все это вычитал из Гончарова, пожалуй, лучше было и не читать «Обрыва»!

Этой «святой простотой» поэта, его «неискушенностью» в истории литературы, объясняется, вероятно, и его самомнение, весьма близко подходящее, в стихах по крайней мере, к «мании величия». Тому, кто не знает всего, что сделали поэты прошлого, конечно, кажется, что он-то сам сделал очень много. Каждая мысль, каждый образ кажутся ему найденными в первый раз. Очень может быть, Игорь Северянин, заявляя, напр<имер>: «Я не лгал никогда никому, оттого я страдать обречен» (II, 42), – уверен, что впервые высказывает такую мысль и впервые в таком тоне говорит в стихах (но вспомним хотя бы добролюбовское: «Милый друг, я умираю, оттого, что был я честен...»). Понятно, после этого, что Игорю Северянину совершенное им (т. е. то, что он написал книгу недурных стихов) представляется «колоссальным», «великим» и т<ому> под<обным>. Он объявляет, что «покорил литературу (I, 141), хотя весьма трудно определить, что это собственно значит, что его «отронит Марсельезия» (II, 11), что он «президентский царь» (ib.), и т. п.

Отсутствие знаний и неумение мыслить принижают поэзию Игоря Северянина и крайне суживают ее горизонт.

5

Говорят, что Игорь Северянин – новатор. Одно время он считался главою футуристов, именно фракции «эго-футуристов». Однако для роли maitre у Игоря Северянина не оказалось нужных данных. Ему нечего было сказать своим последователям; у него не было никакой программы. Этим внутренним сознанием своего бессилия и должно объяснить выход Игоря Северянина из круга футуристов, хотя бы сам он, даже для самого себя, объяснял это иначе. «Учитель», которому учить нечему, – положение почти трагическое!

Нового у Игоря Северянина не более чем приносит каждый истинный поэт, который «в этот мир пришел, чтоб видеть солнце». Если у поэта нет ничего нового, он – не поэт. Правда, Игорь Северянин пытается дать род программы, но дело не идет дальше сообщения, что «теперь повсюду дирижабли летят, пропеллером ворча» и что поэтому нам надобно «острого и мгновенного» (I, 133–4), т. е. дальше повторения мыслей, давно ставших достоянием малой прессы. Впрочем, здесь же указывается еще на преимущество ассонансов пред рифмой (I, 133), но этого как будто мало для программы литературной школы, принимая во внимание, что вот уже четверть века, как ассонансы широко применяются в русской поэзии!

В горячую минуту, в ту эпоху, когда еще Игорь Северянин был «непризнанным», щеголял он еще своим презрением к «авторитетам», отрицанием великих поэтов прошлого. Так однажды вырвалось у него

дерзостное, но не лишенное внешней соблазнительности, заявление: «Для нас Державиным стал Пушкин» (I, 133). Это, впрочем, не помешало поэту в том же стихотворении почти слово в слово повторить стих Пушкина: «В пустыне чахлой и пустой» (I, 135). Однако, после «признания» Игорю Северянину, видимо, захотелось отказаться от компрометирующего заявления, и он поспешил заявить: «Да, Пушкин стар для современья, но Пушкин пушкински велик» (IV, 128). А потом Игорь Северянин простер свою снисходительность к своим «предшественникам» до того, что согласился признать: «За Пушкиным были и Блок и Бальмонт» (III, 14).

Вообще, не в пример другим футуристам, Игорь Северянин только на словах проповедует пренебрежение к старой литературе. Не удивительно, что в отдельных стихах (как мы только что видели) он совпадает с поэтами, писавшими до него. У старой поэзии, — непосредственно и через посредство писателей второстепенных, не все ли равно? — он заимствовал размеры, приемы изобразительности, рифмы, весь склад своей речи. Откинув маленькие экстравагантности, состоящие почти исключительно в употреблении новопридуманных слов или форм слова, мы в стихах Игоря Северянина увидим естественное продолжение того пути нашей поэзии, по которому она шла со времен Пушкина или даже Державина. В подражаниях Фофанову и Мирре Лохвицкой сознается сам поэт. Но он заходит глубже в историю в своих заимствованиях. Так, напр<имер>, он пользуется условными образами классицизма, говорит о своей «лире» (II, 103, IV, 93 et passim), поминает Афродиту (II, 124.), Венеру и т. п. Впадая совершенно в державинский стиль, пишет, что народ ему «возгремит хвалу» (II, 11), что Париж «вздрожит» (ib.), употребляет выражения «злато» (II, 46), «ко пристаням» (II, 12), «зане» (II, 10) и т. п.

Кое-какие права на звание новатора дают Игорю Северянину лишь его неологизмы. Среди них есть много глаголов, образованных с помощью приставки «о», напр<имер>, удачное «олунить» и безобразное «озабветь»; есть слова составные, большею частью построенные несогласно с духом языка, как какая-то «лунопаль»; есть просто иностранные слова, написанные русскими буквами и с русским окончанием, как «игнорирно»; есть, наконец, просто исковерканные слова, большею частью ради рифмы или размера, как «глазы» вместо «глаза», «норк» вместо «норок», «царий» вместо «царский». Громадное большинство этих новшеств показывает, что Игорь Северянин лишен чутья языка и не имеет понятия о законах словообразований. На то же отсутствие чутья языка указывают неприятные, вычурные рифмы, вроде: «акварель сам — рельсам», «воздух — грез дух», «ветошь — свет уж», «алчен — генерал чин» и т. п. В этом отношении Игорь Северянин мог бы многому поучиться у поэтов-юмористов.

Нет, в новаторы Игорь Северянин попал случайно, да, кажется, сам тяготится этим званием и всячески старается сбросить с себя чуждый ему ярлык футуриста.

6

Вывод из всего сказанного нами напрашивается сам собою. Игорю Северянину недостает вкуса, недостает знаний. То и другое можно приобрести, — первое труднее, второе легче. Внимательное изучение великих созданий искусства прошлого облагораживает вкус. Широкое и вдумчивое ознакомление с завоеваниями современной мысли раскрывает необъятные перспективы. То и другое делает поэта истинным учителем человечества.

Одно из двух: или поэзия есть забава, приятный отдых в минуты праздности, или серьезное, важное дело, нечто глубоко нужное людям. В первом случае, вряд ли стоит особенно беспокоиться, как и чем кто развлекается. Во втором, поэт обязан строго относиться к своему подвигу, понимать, какая ответственность лежит на нем. Чтобы идти впереди других и учительствовать, надо понять дух времени и его запросы, надо, по слову Пушкина, «в просвещении стать с веком наравне», а может быть, и выше его. Для нас истинный поэт всегда — vates римлян, пророк. Такого мы готовы увенчать и приветствовать; других — много, и почтить их стоит лишь «небрежной похвалой». Тот же, кто сознательно отказывается от открытых пред ним прекрасных возможностей, есть «раб лукавый», зарывающий свой «талант» в землю.

Июнь 1915

Сергей Бобров
СЕВЕРЯНИН И РУССКАЯ КРИТИКА

I

Описать, представить в совершенно определенном виде взаимоотношения писателя и его критики — дело достаточно трудное. Раньше всего, — нам очень понятно: что такое писатель, но что есть критика? Мы не посягаем на какое-либо умозрительное определение этого понятия, это дело специального исследования, а наши задачи много уже — но и в этой узкой области «есть от чего в отчаянье прийти». — Будем ли мы понимать под критиками лишь тех, кто специально посвятил себя этому делу; будем ли мы именовать критиками людей, попавших в положение экспертов — тех же писателей, которые судят своего собрата, согласуясь со своими — часто весьма сложными и глубоко

интимными — специальными знаниями; покажутся ли нам достойными имени критиков публицисты, люди явно партийные, склонные все и вся изъяснять — один экономическими кризисами, другой «инородческим засильем» *, объявим ли мы, наконец, критикой всю груду газетного хлама, где философствуют, порицают, восхваляют, шельмуют, пресмыкаются мученики пятака серебра, усердные читатели Брокгауз-Ефрона — господа газетчики?

Можно навек застыть в позе Буриданова осла перед этими четырьмя рода критиков!

Попробуем поступить героически — принять их всех сразу... Но здесь было бы любопытно сравнить эти четыре рода, сравнить — хотя бы по их недостаткам. Итак: сорт первый — критики-профессионалы. Главный их грех: оторванность от существа творчества и глубокая привязанность к методам устаревшим. В самом деле: критик не «делает литературу», а его поспешный бег за оной уже сам по себе предопределяет вечное отставание. — Второй сорт: писатели-критики. Это, конечно, единственный сорт осведомленной критики, но в то же время ему, может быть, свойственен грех, которого чужд критик-профессионал, этот грех, явственно воспрещенный десятой заповедью, зависть, — но нам почти не придется его коснуться — погодки Северянина о нем почти не писали, а старшие стоят в стороне от публики Северянина **. Третий сорт критиков — не что иное, как самый определенный курьез: эти «критики» начинают собой крайнюю правую литературного парламента, как сказал однажды Андрей Белый; эта курьезная, ридикульная и глуповатая линия начинается какими-нибудь Кранихфельдом, Фриче, персонажами из «Русского богатства», и исчезает в мрачнейшей пропасти, где копошатся антропофаги из «Русского знамени». Наконец, сорт четвертый — явно ничего не знающий, ничем не интересующийся, живущий осколками неразрезанных «серьезных» статей по экономике и статистике из «толстых» журналов. Но и этот сорт коечем интересен — он не хитро и явно уясняет нам — что делается в глубинах этой загадочной «публики», которая создает успех.

Попробуем теперь пробежать по массе этих листков, которые начинают метить путь Игоря Северянина еще с 1905 года. Пробежать до некоторой степени в хронологическом порядке.

Их много, этих листков. Их такая масса, что, если бы перепечатать все, — вышло бы томов десять хорошо убористой печати. Поэтому мы останавливаемся лишь у тех листочков, которые характерны (и не

* См., напр., «Русское знамя», 26—IV—15.

** Но есть еще один страшный грех, от которого свободны весьма немногие, — партийность.

столько для Северянина, сколько для самое критики); далее же читатель будет иметь возможность ознакомиться в подлиннике с наиболее важными статьями.

II

Сперва — времена, так сказать, доисторические; то время, когда Северянин издавался тоненькими брошюрками, которые мало кому попадались на глаза; т. е. время до выхода «первой книги» Северянина «Громокипящего кубка». — Тут нас встречает обыденное обидчивое недоуменье, коим встречать у нас принято нового поэта. Тот ухмыляется, тот не замечает, другой острит: «Не поэт, а поэтический пулемет» («Совр. сл.» 29—I—10), великий критик земли русской г. Измайлов, прочитав книжки Северянина, пробурчал что-то о том, что «история осудила декадентство, но из декадентства выродился модернизм (!), — бодрое и жизненное течение» — а о самой книжке — ни слова. Один писатель, имя которого и теперь немедленно обращает в бегство зазевавшегося у книжного прилавка покупателя, г. Наживин, съездил со стихами И. С. в Ясную Поляну и прочел их Толстому. Толстой сперва посмеялся, а затем будто бы сказал: «Чем занимаются!.. чем занимаются... Это литература! Вокруг — виселицы, полчища безработных, убийства, невероятное пьянство, а у них — упругость пробки!» *. Этот потрясающий случай дал повод другому знаменитому и великому писателю г. Яблоновскому напечатать фельетон («Южн. кр.» 31—I—10), — так себе, самый обыкновенный фельетон. Провинция тихо мямлит над книгами Северянина, кое-что об «изысканности и задушевности» его стихов («Красноярск. вестн.» 14—X—10). «Биржевые ведомости» находят, что стихи С. суть «стихотворная чехарда» («Б. В.» 28—X—10), «Новому времени» (1—XI—10) не нравятся составные рифмы; сетует на обращение поэта с русским языком академической орган русской мысли «Синий журнал» (№ 1—1910). Г. Шебуев, издававший в то время «журнал для молодых» «Весна», посвящает С. довольно длинную статью педагогического характера — «не надо так писать, а то выйдет смешно». «Саратовской листок» (5—IV—11) объявляет С. «выродком литературы», как и полагается в таком умном городе, как Саратов. Зато в Керчи («Гол<ос> Крыма» 1911, № 386) думают, что Северянин в общем недурен, хотя Петр Муринский (?) пишет гораздо лучше его. — Но в мае 1911 года «Аполлон» печатает статью Гумилева, где сей говорит об И. С.: «Трудно, да и не хочется теперь судить о том, хорошо это или плохо; это ново — спасибо и за то». С этого времени ру-

* «Бирж. вед.» 29—I—10.

гательства критики принимают еще более мрачный характер — признак того, что с И. С. начинают считаться. Пышут злобой «Бирж. ведом.» (2—VIII—11), «Новое время» (6—VIII—11), «Нива» (№ 8, 11 — «Ежем. пр.»), «Русское слово» (5—VIII—11) и др. Лучший русский поэт, всемирно известный г. Е. Венский, уже чует, откуда веет ветер, и строчит первые пародии («Бирж. ведом.», 9—VIII—11). Г. Измайлов решает («Нов<ости> ж<изни>» 1911, № 218), что И. С. — «рецидив декаданса» и т. д. Провинция все так же: и похваливает и поругивает потихоньку («Варш. дн», 20—X—11 и др.). — В это же время в маленькой газетке «Нижегородец», где ютились одно время эго-футуристы, г. Ивей (И. В. Игнатьев) помещает хвалебные рецензии на И. С. («Нижегор.» 1911, № 78, 84). Большинство же отзывов переполнено сладостными воспоминаниями о Поприщине, мании величия и других веселых сюжетах. Особенно почему-то недовольны И. Северяниным в Харбине, Владивостоке, Костроме и Вятке. — Конец 1911-го года окрашен особым воем критики, — ибо в это время вышел «манифест эгопоэзии», что совершенно взбудоражило газетных молодчиков. Книжки же И. С. встречают прежнее отношение — «озорство и уродство», так пишет «Голос земли» (5—III—12), «в конец пошло», говорит аристократическая газета «Раннее утро» (10—III—11). И. В. Игнатьев вновь чрезвычайно сочувственно пишет об И. С. в своей новой газетке «Петербургский глашатай» (11—III—12). А лучший русский философ-моралист, известный красавец г. Арк. Бухов пишет пародии... и довольно скверные пародии. — «Новое время» (31—III—12) вопит о мазохизме; почему именно о мазохизме — секрет критика. Г. Измайлов считает, что дело зашло слишком далеко и находит необходимым несколько видоизменить свою точку зрения на И. С.; теперь вместо «рецидива декаданса» он уже пишет «рецидивист декадентства». («Р. Сл.» 26—IV—12). Г. С. Кречетов с присущей ему изысканностью («У. Р.» 26—V—12) говорит: «В этом абсурдном юноше, в этом “ослином хвосте” от литературы... таится все же искра подлинного дарования». Ликантропы из какого-то «Паука» радуются, что в редакции «Петербургского глашатая» нет... жидов, а потому и приветствуют И. С. — «Колокол» кричит о «неких Брюсовых и Северяниных», совращающих «наших детей», (какой Бэдлам!), — а «Земщина» тут же констатирует, что все виновные в «загаживании языка», т. е. эго-футуристы, суть «жиды и жидовствующие», устраивающие «шабаши» *. — Но вот в «Русской мысли» появ-

* «Паук» (изд. в Петрограде) 1912, № 17; «Колокол» 1—VI—12; «Земщина» 18—VI—12. — Эго-футуристы письмом в редакцию заявили, что они православные, после чего «Земщина», извиняясь, объяснила свою ошибку тем, что «до сих пор на таком языке говорили только жиды».

ляются сочувственные строки Валерия Брюсова. А затем выходит и «Громокипящий кубок».

III

«Громокипящий кубок» вышел в издательстве «Гриф», с которым критике так или иначе необходимо было считаться. Предисловие к нему было написано Федором Сологубом, кого также невозможно было игнорировать. Книге предшествовали статьи Валерия Брюсова в «Русской мысли». Все это, все эти предпосылки мнений, создали совершенно иное отношение к И. С. — Теперь читаем в «Дне» (1—IV—13): «В лице И. С. перед нами несомненный талант, поэт "Божией милостью", с определившимся поэтическим миросозерцанием... etc». В «Утре России» (16—III—13) г. Вл. Ходасевич помещает определенно доброжелательную рецензию. «Современное слово», за некоторыми оговорками, — хвалит («С. сл.» 17—III—13), хвалят и газеты «Баку» (9—IV—13), «Оренбургский край» (23—V—13), «Пермские ведомости» (9—V—13)» «Уральская жизнь» (27—IV—13), «Киевская мысль» (1—V—13). — Антон Крайний в «Новой жизни» (февраль, 1913) говорит о творчестве И. С. как об «описательстве», где «ego» «и не ночевало». В «Заветах» (январь, 1913) г. Иванов-Разумник говорит: «Подает надежды несомненно талантливый Игорь Северянин, если только откажется от своих "поэз", от жалкого кривлянья и ломанья». В тех же «Заветах» через месяц (1913» № 3) тот же критик посвящает И. С. целую статью, где читаем: «И. С. несомненно талантливый поэт, самобытный и красочный *лирик*». В «Современном мире» г. Кранихфельд повторил все свои неразнообразные и запыленные пустячки, которые в достаточной мере надоели еще в его полемике с модернистами («С. м.» № 4, 1913). Но и он «приветствовал в лице И. С. большой и многообещающий талант», что очень понятно, ибо критики типа г. Кранихфельда, несмотря на все свои бутады, заимствовали весь свой вкусовой багаж у символистов, которые приветствовали И. С. — В «Русском слове» самый чуткий русской критик (он же и самый умный) г. Измайлов начинает говорить в совершенно ином тоне. Теперь уже оказывается, что у И. С. «есть пьесы прекрасные, нежные, задушевные» — и т. д., когда так недавно еще И. С. в глазах г. Измайлова был «рецидивистом декадентства» *. — К. Д. Бальмонт в интервью с сотрудником «Раннего утра» ** говорит, что «находит И. С. талантливым». — Г. Луначарский,

* «Р. сл.» 16—V—13.

** «Р. у.» 7—IV—13.

писатель типа Кранихфельда, нарекает И. С. «талантом» *. — Знаменитейший Гр. Петров говорит об И. С. сотруднику «Воронежского телеграфа»: «Как техник И. С. редкий поэт; необыкновенный кованный стих, великолепная чеканка ритма, но не нравится мне его кривлянье» («Вор. т.» 4—VI—13). — Ветхий и скучнейший резонер «Северных записок» г. А. Полянин «более чем сомневается, чтобы из гения И. С. выработался настоящий поэт» («Сев. з.», № 4 за 1913 г.). — «Волжский вестник» (7—V—13) хвалит И. С. — В. Гиппиус в «Речи» (24—V—13) в общем принимает И. С. как поэта, с кое-какими модернистическими оговорками. — «Минский голос» (19—VI—13) хвалит И. С., считая его весьма интимным поэтом, называя его «поэтом-чародеем» **. Г. Войтоловский в «Киевской мысли» (30—VI—13) похваливает И. С. как стихотворца, но нападает на него с других точек зрения. Как курьез небезынтересно отметить следующий пассаж из рецензии г. Войтоловского. Наш критик уверен в том, что словотворчество И. С. — «очень дешевая оригинальность, совсем не требующая улыбчиво-дерзновенного происхождения». Так как это речение даже самому автору кажется весьма неубедительным, то он пробует, «не имея ни малейшего касательства к громокипящему кубку ветреной Гебы», написать «точно такие же (!) стихи». И вот что у него выходит:

Воет, как пропеллер, по дорожкам сада
И кусты ажурит северный Борей (!)
Рвет безумным жестом (!) красоту наряда (!)
И рубинит клены жуткий грезо-брей.
Уж вздохнула осень вздохом погребальным (!)
Караванят гуси с севера на юг...
Облаком унылым, облаком печальным (!)
Грусть меня наркозит, о, мой милый друг (!!).

Вот что значит учить поэтов, «не имея ни малейшего касательства к громокипящему кубку ветреной Гебы»! Так тонут маленькие дети... — Определенно же отрицательные рецензии на «Громокипящий кубок» мы нашли лишь в немногих изданиях, коих общий характер требует настоятельно эпитета — «желтый» ***.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* «Киевск. м.» 17—V—13.

** Следует, однако, отметить, что при этом рецензент хвалит самые неудачные стихи.

*** «Сиб. ж.» 27—III—13; «Р. утро» 16—III—13; «Россия» 26—III—13; «Русск. знамя» 23—III—13; «Волгарь» 20—IV—13; «Одесский лист.» 11—IV—13; «Новое вр.» 6—IV—13; «Неделя "Вестника знания"», 23—VI—13.

IV

Следующие книги И. С., «Златолира», «Ананасы в шампанском» и «Victoria Regia», в значительной своей части составленные из юношеских стихов поэта и не давшие своим читателям ничего нового, сравнительно с «Громокипящим кубком», весьма охладили восторги критики. Г. Измайлов, положим, немного сбившийся и обжегшийся на «Громокипящем кубке», мямлит нечто чрезвычайно сладостное и о «Златолире». — Г. Тальников, из «Современного мира», называет «Златолиру» «недоразумением в стихах», самого поэта — «фигляром» и т. д. в обычном своем безграмотном и дурашливом стиле. — Г. Шмидт (в «Северных записках»!!) находит у И. С. «стремление к монументальности» *; открытие «монументальности» в И. С. — деяние, достойное изысканнейших «Северных записок». Г. Дейч в «Ежемесячных приложениях» к «Ниве» отзывается об И. С. со всяческой похвалой — «тютчевский пантеизм», «юные, светлые песни молодости» — и прочие высокотонкие пустяки. — Г. Неведомский в лекции, читанной в Баку, называл И. С. «мальчишкой от модернизма»; тот же самый г. Неведомский, пишучи в «Дне», не решился обнажать перед Петроградом свое остроумие: «И. С., при всех его ломаньях — действительно талантливый поэт» **. — Г. Пяст (на лекции в декабре 1913 г. в Петрограде) хвалил И. С. — Г. Тиняков, автор сборника «Navis nigra», за последнее время особенно склонившийся к огульному отрицанию «механической культуры», писал об И. С.: «В самом деле, не страшно ли от стиха Тютчева о Космосе дойти до стишков С. о моторе?» («День» 1—V—14), «позднейшие поэзы И. С. стоят совершенно вне поэзии и даже вне литературы» («День» 26—II—15), «С. далеко не чужд хамства» («День» 18—IV—15) и т. д. — «Русские ведомости» (25—X—13) называют поэзию И. С. «будуарным сюсюканьем», хотя впоследствии (довольно скоро) газета пришла к диаметрально противоположному взгляду на С. — Г. В. Стражев, мелкий эпигон А. Блока, на лекции в Худож. кружке счел И. С. «отпрыском модернизма». — Великий «акмеист» г. Городецкий в «Речи» (25—XI—13) писал: «Пафос поэзии Иг. С. есть пафос торжествующего мещанина». — И. В. Игнатьев (в августе 1913 г.) говорит: «Боимся, что кубок С. выпит до дна». — Г. Изгоев («Одесск. л.» 19—II—14) назвал И. С. «крупным талантом». — Г. Гумилев в «Аполлоне» (№ 1—2 за 1914 г.) писал: «И. С. действительно поэт, и к тому же поэт новый». — Небезынтересна статья г. Амфитеатрова об И. С. («Человек, которого жаль» — в «Русском слове»). Г. Амфитеат-

* «Сев. з.» 1913, № 12.

** «День» 1913, № 167.

ров, человек старого закала, к поэзии до сих пор, если не ошибаемся, касательства не имевший, если не считать его «сатирического» акафиста графу Витте, весьма развязно изругал Северянина. Мотивировок искать и не стоит — вся же статья есть сплошное зубоскальство и издевка. Скучно, пошло и неумно. Неумно настолько, что даже «Южный край» (23—V—14) счел необходимым заступиться за Северянина, говоря: «С таким отношением к поэзии можно поэта подвергать не критике, а пытке в застенке, что г. Амфитеатров и делает с большим искусством». — Д. С. Мережковский («Р. сл.» 8—VI—14) называет стихи И. С., хотя и в шутку, увлекательными; позднее, однако (месяца, через два), г. Мережковский в том же «Русском слове» приравнял футуризм, а с ним и И. С. к «грядущему хаму».

Позднейшие книги И. С. вызывали не раз ошибочное к себе отношение. По обилию в них слабых, Плещееву подобных стихов, газетные критики считали их «своими» и расхваливали*. Г. Бурнакин, достойный преемник Буренина, не раз писал об И. С. в «Новом времени», но так как о г. Бурнакине и вспоминать неприлично, то мы воздержимся от цитат. — «Голос юга» (5—II—14) считает И. С. талантливым. — «Одесские новости» (13—II—14) просто захлебываются от восторга; но вот в Майкопе (Куб. обл.) думают, что «из автора (И. С.) мог бы выработаться поэт прекрасный, если бы... и т. д. («Майкопск. газ.» 22—XII—13); в Хабаровске (29—I—14) полагают, что И. С. недостаточно грамотен; в Харькове («Южн. кр.» 25—II—14) пишут, что «стихи И. С. звучны и образны»; в Самаре («Волжск. в.» 29—XII—13), что у С. «хрупкий, элегантный, очаровательный стих»; тогда как в Воронеже («Ворон. тел.» 13—V—14) полагают, что у «С. странное убожество мысли». — «Раннее утро», газета министров, графов, посланников, прынцев крови и т. п., пишет, что И. С. (29—III—14) «белиберда, хуже дяди Михея, парикмахер, парфюмерный магазин». — «Утро» (в Харькове, — 30—III—14) говорит о С. по поводу «Златолиры»: «Мальчик стал старичком», но «Нижегородскому листку» (15—IV—14), «Камско-Волжской речи» (29—III—14) и «Волжскому листку» (12—IV—14) очень нравится «Златолира». По тому же поводу «Вятская речь» (11—IV—14) находит у С. «такую степень совершенства, которая роднит его с великими писателями»; однако, «Одесские новости» (24—III—14) считают «Златолиру» — «поминками». В то же время в Хабаровске («Приамурье», 1—III—14) считают И. С. «очень талантливым поэтом»; но Харьков с этим опять не согласен и говорит («Южн. кр.» 27—V—14), что «Златолира» — «просто бедная книга».

* См., напр., «Уральск. ж.» 25—V—14.

V

Третья книга И. С. вызывает еще меньше восторгов, чем «Златолира»; – «Шампанское И. С. отзывает фальсификатом весьма дурной марки» («К.-Волж. р.» 15–III–15); в Ялте еще боятся «декадентов» и причисляют И. С. к ним; «Черниговское слово» (28–IV–15) говорит: «И. С. собрал в своих книгах все, что свидетельствует о дурном вкусе», – всем ведь известна великая эстетность г. Чернигова, второго по этой части вслед за Нью-Йорком; «Все новые стихи И. С. значительно слабее стихов "Громокипящего кубка"», – говорит «Новая жизнь» (III–15). – «Ананасы в денатурате!» – кричит «Голос Москвы» (14–IV–15), «Ананасы в ханже!» – поправляет более осведомленный «Голос жизни». «Апухтин № 2!» – заявляет «Утро России» (1–III–15); «Кафе-шантанные будни», – вопит г. Кранихфельд («Совр. сл.» 1–1–15). – «И. С. принадлежит к числу наиболее ярких бесполезностей», – финиширует почтеннейший проф. Н. Ф. Сумцов («Южн. кр.» – 28–V–15).

«В *Victoria Regia* С. пародирует самого себя», – говорит харьковское «Утро» (28–IV–15); однако «Утро юга» (III–15) и тут находит у С. «всепобеждающую молодость».

Далее уже явственные курьезы. – «Киевлянин» (17–V–13) пишет: «Когда "поэты" вроде К. Бальмонта и Иг. С...» или (3–V–13): «В области литературы подвизаются Арцыбашевы, Вербицкие, Солл(?)огубы. В области поэзии (поэзия, очевидно, не литература??) – Игори Северянины и Иваны (?) Крученые (??)». – «Вестник знания», этот лауреат невежества, мямлит что-то о Тредиаковском и противопоставляет И. С. как недостижимый для него идеал – какого-то «самобытного» поэта-рабочего... – «Известия т-ва Вольф», прозевавши купить у И. С. вовремя его книги, заявляют, что С. – «явление не совсем здоровое» (№ 5–1914), – в Одессе полагают, что И. С. подражает Верлэну («Од. нов.» 18–I–14). – Газетчик г. Вильде называет С. «эго-писарем», (увы нам! как же после этого назвать г. Вильде??). – Известный своими трудами по дидактике, последователь Лао-Си, г. Арк. Бухов, ахает: «Понимаете вы, ведь это литературный ужас: И. С. расходится сейчас 6-м изданием» («П. кур.» 4–III–14») и т. д.

Это – все.

Сделаем кое-какие подсчеты. – Критики-профессионалы порицали И. С. 4 раза и хвалили 14 раз; критики-писатели порицали 9 раз и хвалили 9 раз; публицисты порицали 3 раза и хвалили 7 раз; газетчики порицали 54 раза и хвалили 21 раз. Всего: 70 порицаний и 51 похвала. В процентах эти числа – 57,85% и 42,15%, т. е. приблизительно одинаковы. – Цифры эти, конечно, приблизительны, так как мы подсчитывали не все, но, в общем, они дают правильное представление об отношении критики к Игорю Северянину.

VI

Попробуем теперь как-нибудь осмыслить, систематизировать всю эту массу мнений.

Мы исходим, вообще говоря, из того положения, что Игорь Северянин, действительно и несомненно, истинный поэт, высокоодаренный как техник и нов в том смысле, что дал нам некий синтез Фету и Тютчеву подобного модернизма с более простыми поэтами, как Случевский, Фофанов, Лохвицкая и даже (в этом нет ничего страшного, с точки зрения историко-литературной) Апухтин и Надсон. Северянинская «мещанская драма» * не есть, конечно, его собственное изобретение, но, — почерпывая содержание оной непосредственно у только что перечисленных нами поэтов, — Северянин подходил здесь весьма близко к Александру Блоку (сравн., напр. «Мещанское житье» Блока в его книге «Земля в снегу»), Андрею Белому («Пепел»), прикоснувшихся к этому роду творчества, так сказать, с другого конца.

И вот, — представьте себе — стихотворец с таким, до известной (очень небольшой) степени, оригинальным habitus'ом, необычность коего усугубляется множеством неологизмов, любовью к многостопным, длиннострочным стихам, дающим зачастую впечатление не стихов, а ритмической прозы, массой ассонансов и составных ритм — неожиданно оказавшийся поэтом с самыми простейшими сюжетами, появляется перед критикой.

У критика-профессионала, критика-публициста в большей степени и у критика-газетчика в еще большей степени имеется раз навсегда установленное, штата такого-то года, представление о лирике, ее достоинствах, о благородстве поэта и т. д. Критик ждет от стихов какого бы то ни было автора одних и тех же, ему привычных и чуть ли не прописанных в его критиковом паспорте эмоций, а раз таковых налицо нет, то ему ничего не остается, как только подобрать наиболее подходящее, по его мнению, ругательство и напечатать его по возможности наиболее крупным шрифтом — вставить это ругательство в заглавие статьи, например. Этой способностью критики, этим главным ее качеством и объясняются появлявшиеся до «Громокипящего кубка» ругательства Измайлова и многих других. Но ведь тот же самый Измайлов, тыкавший Северянину в нос какой-то «бодрый модернизм», ругал и

* Читателю, конечно, известно, что выражение «мещанская драма» не есть ругательство, как думают газетчики, но представляет собой своего рода credo английской литературной школы конца XVIII и начала XIX веков.

поносил самым непристойным образом тех же символистов, покуда они не пробились!* Этим же объясняются и такие курьезы, когда какой-нибудь Арк. Бухов, например, осмеливается вопить о мещанском миросозерцании Игоря Северянина, а газетчики, прошедшие огонь, воду и медные трубы, «прямыми Чильд Гарольдами» восстают на защиту поруганной Игорем Северянином Полигимнии.

Единственной порядочной критикой явилась критика писателей. В ней нет ни злопыхательства, ни издевок, а прямое доброжелательство к новому таланту. И Гумилев, и Брюсов, и Сологуб, и Ходасевич, и даже в конце концов Кречетов не пробовали ругаться и плеваться. Критика Мережковского, Крайнего, Тинякова явственно партийна, и этим соображением легко отводится. Ругня господина Городецкого, давно уже вылетевшего из литературы в газетку, по этому самому не заслуживает никакого внимания. Подмигивания старичков из богаделен и пансионов, вроде «Современного мира», «Северных записок» и т. п., также малоинтересны.

И немедленно вслед за критикой писателей остальная критика поспешила раскланяться перед Игорем Северянином. Настолько прочно осела в сознании критики высокая оценка Северянинской музы писателями, что она не решалась ругать даже явственно слабые книги Северянина, что случилось с Измайловым, расхвалившим «Златолиру».

Вот прекрасный и наглядный урок публике, — указующий, кому из критиков она должна верить — гиенам ли профессионалам, юродивым ли публицистам, хулиганам ли газетчикам — или экспертам-специалистам, людям, любящим глубоко литературу, — писателям.

РЕЦЕНЗИИ

ПАМЯТИ К. М. ФОФАНОВА

Очень часто посещал молодой поэт Игорь Северянин К. М. Фофанова и читал свои произведенья.

К. М. не раз говорил нам: «Из этого молодого человека выработается со временем крупный поэт, если он не свернет с намеченной дороги. Мне он страшно нравится за его искреннюю, неподдельную любовь

* См. хотя бы «Бирж. вед.» 1901 г., № 140.

к покойной Мирре Лохвицкой, с которой он даже не был знаком, а полюбил ее только по ее произведениям».

И, действительно, стихотворенья Северянина, посвященные памяти этой поэтессы, были очень хороши.

Слова К. М. оказались пророческими, так как Игорь Северянин, точно так же, как и старший сын Фофанова, потихоньку от отца, из боязни его критики, по ночам читавший мне свои довольно недурные произведения, решили основать школу футуристов.

П. Петропавловский

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН. – К ВЫХОДУ В СВЕТ ЕГО «КАЧАЛКИ ГРЕЗЕРКИ»

И дань нужна со всех миров вселенной,
Чтоб мой сплести мистический венок!
Забытый блеск прославленной Пальмиры,
Богатства гор и глубины морей,
Все перлы их, алмазы и сапфиры,
Потонут вмиг в огне его лучей!
Он будет свит не смертными руками,
Из чистых струй нездешнего огня,
Того огня, перед которым пламя
Людских очей, лампады в блеске дня.

Шарль Бодлер. «Благословение»
(из цикла «Сплин и Идеал»)

Эти чудные слова – душевный свет прощенья неистовым врагам, горящий в душе благочестивого поэта. Шатенный трубадур, отец российской эго-поэзии, ядро отечественного футуризма – Игорь Северянин – уже и теперь достоин венчания венком мистическим, ибо «дань со всех миров вселенной» претворяется им с каждой новой эдицией все более и более успешно, чаруя новыми, неиссякаемыми запасами красот Слова...

Но «несть пророка в отечестве своем» – приходится цитировать вековую, вечно юно-старую истину. Какая дань получена нашим Северным Бардом? Критика? Бессмысленная, мелкая, дегутантная травля профано-пигмеями крылатого колосса вызывает в душе каждого интеллектуального субъекта ощущение неприятного осадка горечи, оби-

ды зародной, титанический талант, вместе с ощущением подобно тому, какое чувствовалось бы при виде персонажей этой траги-комедии — геростратов журналистики, ведших еще вчера конюшенные знакомства ради репортанса в отделе «Спорт и Фавориты», а сегодня цепляющихся грязными, звериными лапами за литературные перья, — геростратов, воспроизводящих коллективные попытки загрязнить светлые воды Великого Океана.

Выше я назвал травлю Игоря Северянина трагикомедией. Действительно. Величайшей трагедией современного литературного периода была бы непонятность творца тридцати трех креатюр, замыкающих четыре тома. Многие, даже из числа компетентов, так и полагают: Северянин недоступен для восприятия его. О, далеко нет. Pro quo представляется в следующем виде. Старые ветераны литературы, потерпев поражение в борьбе с равнодушием публики, переменили стяги. Уходит «старая школа»... Ряд фиоритур... Выдвинулись на передовые позиции «исты». И закипел бой, бой переменного счастья, кратковременных, но сладких диктаторств.

И вот теперь, когда ослабели силы т. н. «молодых», — всех этих Бальмонтов, Блоков, Городецких, Кузминых, Кречетовых, Цензоров и т. п. «милостивых государей» стиха, — теперь, когда они с завистью во взоре робко озираются назад и беспокойно вглядываются в туманную даль грядущего, — перед их взглядами вырисовываются новые, золотые, вечные слова — Футуризм. — «Пробьет и ваш час!» — доносится чей-то голос последнего отчаяния. — «Принудят уйти и вас!» — Нет! — твердо звучит ответность. — Мы даем просящему хлеба — хлеб, а не камень. Мы не принимаем сусальный картон за червонное золото. Придет время, но мы не умрем. Мы перевоплотимся в Новую Грань!..

Ближе... ближе победное шествие, оначаленное сосьетерами ректориата Академии Эго-Поэзии и Игорь Северянин — первосвященник, верховный жрец ее...

А геростраты, прикидываясь недорослями для восприятия его, забрасывают его камнями, пользуясь тем, что чело их украшено толпой розами Триумфа. Пошлая кукольная комедия! Уничтоженные лилипуты, зрящие не дальше своего собственного носа! В мизерности своей они не могут видеть, что все «перлы» их потонут вмиг в огне его лучей. «Перед его тиарой» из чистых струй «нездешнего огня» венцы уходящих тривиалов, вместе взятые, только, мигая, лампада в блеске дня.

Лира Игоря Северянина настроена в высоких тонах — как и сама Правда. Струны-звуки смелы, как слова Истины. Словно неизмеримость бездны океанной стихии — глубок смысл Северянинових гимнов жизни, бытию, великому, прекрасному, доброму Богу. Его мелодия — песнь солнца, русской Весны, молодости.

Его рифма — изысканно-кристальна, словно звезды северного небосвода, изредка прорезаемого ассонансными дерзо-безумьями. Ради ассоциации всего этого невольно прощаешь слабую сторону — самотитуляцию до «его светозарности».

А как дерзновенно-красив он, когда, сменив Эолову цевницу на Скорпионовы бичи, клеймит кровавыми, нещадно-глубокими, идущими до самого сердца ранами.

И ее сиятельство, имеющая душу душистую, очень удобную для проституток и для королев. И бальзако-летнюю звезду Амьенского бомонда, рифмующуюся звучнее всех с резедой Bronze-oxidé, блондинку Эсклармонду, ту, что остра, как квинтэссенца специй:

В любовники берет господ с трапеций
И, так сказать, смакует мезальянс...
Условностям всегда бросает:
Schocing!
Экстравагантно выпускает лиф,
Лорнирует базарно каждый смокинг,
Но не во всяком смокинге калиф...
Как устрицу глотает с аппетитом
Дежурного огейзерную дань...
При этом всём — со вкусом носит титул,
Иной щеке даря свою ладонь!

И призраков серого Мизера — Будне — Трясины, всасывающей, тушащей своими ядовито-убийственными испарениями все живые огни.

И даже родную страну, не приявшую его:

Где вкус так жалок и измельчен,
Что даже — это ль не пример?
Не знают, как двусложьем Мельшин
Скомпрометирован Бодлер, —
Где блеск и звон карьеры — рубль
А паспорт разума — диплом;
Где декадентом назван Врубель
За то, что гений не в былом...

Некоторая доза интуиции потребна для de voir venir лишь при чтении поэзы «Увертюры», — открывающей «Качалку Грэзерки»:

Как мечтать хорошо Вам
В гамаке камышевом
Над мистическим оком, над бестинным прудом...
Все на свете возможно, все для Вас ничего!

...Качнетесь Вы к выси,
Где мигающий бисер,
Вы постигнете тайну: вечной жизни процесс.
И мечты сюрпризэрки
Над качалкой Грэзерки
Воплотятся в капризный, но бессмертный эксцесс.

Последняя строфа может, пожалуй, служить резюме всех критических дессинациев о Игоре Северянине.

Да, для лиризы «Балькис и Валтасар» (по Анатолию Франсу).

Северянин мобилизирует своими аккордами мировые недвижности. И прав он, говоря, что он крылат. И за Атлант:

Настанет день — польется лава —
Моя двусмысленная слава
И недвусмысленный талант.

Насколько тонко понимает он палача-эстета, за красоту покаранного Оскара Уайльда!

Его душа — заплеванный Грааль,
Его уста — орозенная язва...
Так ядо-смех сменяла скорби спазма,
Без слез рыдал иронящий Уайльд...

Щедрит причудами оборотов речи, прошедшей через реторту его вдохновенности (Негное вдыханье... Сафар... Кризантемы...)

Он и сейчас вправе ретурнировать библейское — «Остановись, солнце!»

— Идите, стоящие! Живите, мертвые! Явитесь, небулозы! И слова его вызывают великий реактив, ибо Игорь Северянин — избранник, отмеченный Богом, наделенный дарами гения, умом орла, величием короля, ритмом великого бога Олимпийского.

И. В. Игнатьев

КРАСАВИЦА, НЮХАЮЩАЯ ТАБАК

...Через известные сроки в редакцию приходили маленькие тоненькие брошюрки стихов, иногда всего в 8—10 страничек. Редактор брал их, метил, посыпал пеплом смешные, вычурные, нелепые стихи и, улыбаясь, вручал соответственному сотруднику.

— Игорь Северянин опять прислал стихов. Будет охота, — отметьте. Наутро в газетах появлялись курьезные цитаты:

...Чтоб ножки не промокли, их надо окалошить...
...Он готов осупружиться, он решился на все...
...О, Лилия ликеров, о, Crème de Violette!
...Я выпил грез фиалок фиалковый фиал...
...Я приказал немедля подать кабриолет,
И сел на сером клене в атласный интервал...
...Офиалчен и олилиен озерзамок Мирры Лохвицкой.
Лиловеют разнотонами станы тонких поэтесс...
Не доносятся по озеру шумы города и вздох людской,
Оттого что груди женские тут не груди, а дюшесс.
...Цилиндры солнцевеют, причесанные лоско,
И дамьи туалеты пригодны для витрин.
Смеется куртизанка. Ей вторит солнце броско,
Как хорошо в буфете пить крем-де-мандарин!..
... Я сливочного не имею, фисташковое все распродал...
Ах, граждане, да неужели вы требуете крем-брюлле?
Пора популярить изыски, утончиться вкусам народа,
На улицу специи кухонь, огимнив эксцесс в вирэле...

Пародисты глумились над поэтом, который себя окалошил, обрючил и оперчаточил.

Фельетонисты советовали писать на вывесках: «Дамий портной» и внушали поэту величайшую осторожность обращенья с грудью красавиц, напоминающую дюшесс. Литературные обозреватели находили, что поэт, севши в атласный интервал, в сущности, сел между двух стульев и вызывает к жизни забытые глупости первого декадента Емельянова-Коханского.

В брошюрках были сердечные, нежные песни, — чудачества заслоняли их, и их не замечали.

Курьезы нанизывались один за другим на имя Игоря Северянина, и имя запоминалось и становилось чудаческим.

А поэту это точно нравилось, и он подливал масла в огонь.

На обложках брошюрок он печатал анонсы, от которых веяло претензиями истинной мании величия. Он назначал время, когда принимает редакторов, издателей, литераторов, композиторов, художников и артистов.

— «Начинающих поэтесс и поэтов, так часто обращающихся ко мне за советами, я с удовольствием принимаю по воскресениям от — до —».

«Устроители концертов и читатели принимаются мною по пятницам от — до — ».

«Интервьюеры могут слышать меня по субботам от — до — ».

У брошюрок были пестрые и кричащие названия и подзаголовки: «Электрические стихи», «За струнной изгородью лиры», «Апофеозная тетрадь третьего тома». Вместо Петербурга внизу стояло: «Столица на Неве».

А между тем уже подходил рецидив комического времени на Руси. Горсточка молодых людей открывала игру футуризм. Ей ничего не стоило провозгласить И. С. своим мэтром. По редакциям и по квартирам писательской братии она разослала летучие листки, где пела его славу и объявляла о майских праздниках где-то на лоне природы, где будут устроены «киоски уединения».

И опять газеты смеялись, что устройство киосков предусмотрительно, — от Петербурга до местности далеко.

Брошюрки И. С. перешли на четвертый десяток. Поклоняемый и славимый в своей кучке, поэт и сам уверовал в свое величье. В последней тетрадке он был преисполнен откровенного надмения:

Я прогремел на всю Россию,
Как оскандаленный герой.
Литературного Мессию
Во мне приветствуют порой...
...Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен
Я повсесердно утвержден.
От Баязета к Порт-Артуру
Черту упорную провел.
Я покорил литературу,
Взорлил, гремящий, на престол...

Упоенный победой, он, однако, недоумевал пред недостаточностью признания:

Я сам себе боюсь признаться,
Что я живу в такой стране,
Где четверть века центрит Надсон,
А я и Мирра — в стороне.

С видом человека, смертельно пресыщенного славой, он писал, обращаясь к светилу модернизма:

Я так устал от льстивой свиты
И от мучительных похвал!..
Мне скучен королевский титул,
Которым Бог меня венчал.

Вокруг талантливые трусы
И обнаглевшая бездарь...
И только вы, Валерий Брюсов,
Как некий равный государь...

Однажды Фофанов пришел в редакцию в сопровождении молодого, стройного, симпатичного человека, безбородого и безусого, державшегося со светской выправкой, скромно и спокойно.

Он был без кудрей до плеч, ничто не подчеркивало в его наружности звания поэта, в глазах светилась своя тихая дума, далекая от предмета случайного сейчас разговора.

— Познакомьтесь: Игорь Северянин. Поэт. Очень талантливый, очень талантливый, — заговорил своей нервной, заикающейся скороговоркой Фофанов. — Мы на днях вместе снимались. Я вам принесу карточку.

Огромный и прекрасный талант, Фофанов был щедр на признанье дарований в начинающих. Так красавица, спокойно, не боясь соперниц, восторгается женским лицом, почти лишенным всякой прелести. Было видно, что Фофанов полюбил этого юношу. Он был Нафанаил, в котором не было лести, и если он кому-либо выказывал свою любовь, то действительно любил его. Игорь Северянин платил ему явным обожанием, и я мог видеть, что смерть Фофанова потрясла его. Когда К. М. хоронили, И. С. вышел к могиле и прочел простые, но задушевные и трогательные стихи:

Милый вы мой и добрый! Ведь вы так измучились —
От вечного одиночества, от одиночного холода...
По своей принцессе лазоревой, по Мечте своей соскучились:
Сердце-то было весело, сердце-то было молодо!
Застенчивый всегда и ласковый, вечно вы тревожились,
Пели почти безразумно, — до самозабвения...
С каждой новой песнью ваши страдания множились,
И вы, — о, я понимаю вас! — страдали от вдохновения...
Вижу вашу улыбку, сквозь гроб меня озаряющую,
Слышу, как Божьи ангелы говорят вам: «Добро пожаловать».
Господи! прими его душу, так невыносимо страдающую!
Царство тебе небесное, дорогой Константин Михайлович!..

В те печальные дни мы часто встречались с И. С., но оба обходили то, что для обоих было наиболее интересным, — его писательство. Нас разъединяла одна невыясненная мысль, и до ее выяснения можно было вести только пустой, посторонний разговор. Мне хотелось сказать ему:

— Зачем вы, талантливый человек, избираете к известности пути чудачества? У вас поэтическая душа, вас, в гроб сходя, благословил Фофанов. Зачем вам нужно окалошивать ножки, сидеть в атласном интервале, огимнивать эксцессы в вирэле? Ведь ничего этого не было у учителя, которого вы обожали. Зачем вам широковещательные анонсы о приемах интервьюеров, которые никогда вас не посещали, и напыщенные стихи о льстивой свите, которой у вас нет? Зачем вам вообще эта ложь, фальшь, косолапые ходули, пестрые штаны с бубенчиками, весь этот благой мат, если у вас поэтическая душа и вы можете писать хотя бы вот такие прелестные, трогательные, личные стихи, похожие на плач большого ребенка, где просто не хочется замечать двух-трех неправильностей и срывов, как не хотелось их замечать у Фофанова:

Ты ко мне не вернешься, даже ради Тамары,
Ради нашей дочурки, крошки, вроде крола;
У тебя теперь дачи, за обедом — омары,
Ты теперь под защитой вороного крыла...
Ты ко мне не вернешься: на тебе теперь бархат;
Он скрывает безкрылье утомленных плечей...
Ты ко мне не вернешься: предсказатель на картах
Погасил за целковый вспышки поздних лучей!..
Ты ко мне не вернешься, даже... даже проститься,
Но над гробом обидно ты намочишь платок...
Ты ко мне не вернешься в тихом платье из ситца,
В платье радостно-жалком, как грошовый цветок.
Как цветок... Помнишь розы из кисейной бумаги?
О живых ни полслова у могильной плиты!
Ты ко мне не вернешься: грезы больше не маги, —
Я умру одиноким, понимаешь ли ты?!..

Но между нами стояла светскость, и я никогда не сказал ему, что думал.

Он мог возразить мне, что вовсе не интересуется моим мнением, и ведь не говорит же он мне, что ему не нравится в моих статьях...

И вот с Игорем Северяниным совершилось счастливое чудо. Его «поэзы» изданы отдельной книгой — «Громокипящий кубок».

Сологуб написал к ней ласковое предисловие. Ее все заметили. Многие критики приветливо говорят о новом таланте. Дар И. С. оценен многими даже выше стоимости. И. С. стал в то счастливое, но и опасное положение, когда уже выслушивают все, что бы он не написал.

Где же истина об этом новом поэте, которого до сих пор знали только по чудачествам? И. С., конечно, не есть и не будет мэтром новой школы. Но его книга выходит в очень удачный момент, когда футуристам, вопреки здравому смыслу, удалось создать около себя бум.

Все курьезы, капризы, вычуры, какими И. С. прославил себя, кажется, целиком остались и в сборнике его стихов. Но в сборнике заметнее и те действительно прекрасные, нежные, задушевные пьесы, которые говорят о самом несомненном поэтическом чувствовании фофановского ученика. И их не одна и не две, — их много. Он глубоко чувствует и в наивных, немного растерянных, неврастенических словах умеет рассказывать людям про свою грусть, про свою оскорбленную любовь, про свое обожание, про плачущую девочку в парке, которой жалко ласточки с переломанной лапкой.

В действительно поэтических образах он воспринимает мир, слышит в шумящих кленах зеленые вальсы весны, видит в тенях парка хоры позабывшихся монахинь, с поэтической дерзостью, достойной Фофанова, превращает лилию в бокал шампанского. Он чувствует и весну, и позднюю осень, «когда хромает ветхий месяц, как половина колеса», а мороз выпивает лужи и затягивает их хрупким хрусталем...

Все это хорошо и иногда прелестно у Северянина, но как много рядом засоряющего, безвкусного вычура; выдуманных слов, сравнений гостинодворца, для которого слово «дюшесс» выражает превосходную степень! Как манерничает он, гоняясь за призраками новых слов! Как смешно и ненужно у него веерит воздух, утреет и денеет комната, и женские ножки «молоточат» паркет!

Какой привскок чувствуется во всех его глаголах — лунеть, якорить, июлить, весениться, разузорить, ажурить, вуалить, офиалить, беззвучить, оэкранить, офлерить, обрильянтить, онездешниться; в его прилагательных — бальзаколетний, клюковый, эстетный; в его наречиях — павлиниево, ореолочно, снегурово!

Сколько дурного вкуса в его желании быть изысканно тонким и галантным!

«Вы такая эстетная, вы такая изящная!» — да неужели он не чувствует, что так написал бы Епиходов? И разве вот это может петь поэт:

> Я в комфортабельной карете, на эллипсических рессорах,
> Люблю заехать в златополдень на чашку чая в женоклуб,
> Где вкусно сплетничают дамы о свежих дрязгах и о ссорах?..

Игорь Северянин — это красавица, нюхающая табак, хромой принц, алмаз с отбитым боком, джентльмен в пенсне из польского золота, талантливый художник, почему-то предпочитающий писать помелом пестрые плакаты. Это не мэтр и не ересиарх футуризма, — наоборот, признанье и любовь придут к нему, конечно, в ту минуту, когда он оставит в детской все эти ранние игрушки, весь этот ажур парикмахерски прифранченных слов и найдет спокойный и честный язык для выражения нежных, наивных, прелестно-грустных переживаний, какие знает его душа.

Не рожденный в княжьей колыбели, он сделает тем лучше, чем скорее оставит своих придуманных принцесс и чем скорее выйдет из роли купринского героя «Гранатового браслета».

Не исключительное, но своеобразное, искреннее дарованье может сделать из него задушевного, нежного поэта, именно в фофановских тонах. Надо только перестать водить знакомство с госпожою Пошлостью и сознать, что признание в литературе покупается не гевальтом и благим матом, а только искренностью таланта. Тот ненастоящий, окалошенный, орекламленный, с 30-ю тысячами интервьюеров и «льстивой свитой», Игорь Северянин остался бы только мишенью газетных острот. Пред настоящим — иная дорога, где ему говорят: добро пожаловать!..

А. Измайлов

ПРИНЦЕССА-ГРЕЗА

(«Златолира» Игоря Северянина)

В одном литературном кружке зашла речь о Фофанове. Все соглашались, что трудно назвать другое имя столь явственно одаренного небесами поэта.

— Но и нет поэта, — сказал стареющий большой писатель, — который, так высоко взметая одно крыло, так часто влачил бы по земле другое. Если исключить его перлы, то об остальных стихотворениях будет справедливо сказать, что редкое из них не испорчено тяжелым прозаизмом, срывом, смешным оборотом или небрежностью. Откройте наобум его книжку, и я поручусь вам за сказанное.

Захотели проверить. Достали книжку. Поэтесса, ныне здравствующая, раскрыла какой-то антологический сборник на Фофанове и начала:

Отче наш! Царь, в небесах пребывающий,
Оку незримый...

— Ну, вот видите, — прервал писатель, — «окунь незримый»! Все стихотворенье прекрасно, но второй стих хоть сейчас в учебник пиитики, как пример какофонии!

У нас, тогдашней литературной молодежи, «окунь незримый» так и запомнился на всю жизнь и стал символом поэтической оплошности. Если сейчас есть другой поэт, который бы так сильно напоминал Фо-

фанова своим действительно поэтическим складом и вместе изобилием незримых окуней, — то это, конечно, Игорь Северянин. Второй сборник стихов его «Златолира» только что появился на книжном рынке.

Читая его, ломаешь руки. Боже мой, можно ли более безжалостно давать самому на себя палку! Среди цветов, настоящих и благоуханных, какие скверные, обмякшие стебли, какие нелепые подделки из ржавой проволоки и полинялого коленкора, какой галантерейный язык, какое безвкусное любительство!

Отчего же боишься ты познать материнство?
Плюй на все осужденья, как на подлое свинство!..
...Вонзите штопор в упругость пробки,
И взоры женщин не будут робки.
Да, взоры женщин не будут робки,
И к знойной страсти завьются тропки...
...Заказали вы «пилку», — как назвали вы стерлядь, —
И из капорцев соус, и рейнвейнского конус...
Я хочу ошедеврить, я желаю оперлить
Все, что связано с вами, — даже, знаете, соус!..

Какие чудачества футуризма с «кротами берлинства, лондонства, ньюйорчества», с дамой, которая «приступилила в седьмом ряду», с величием истинного маньяка!

Мне отдалась сама Венера,
И я всемирно знаменит!..
...О, гениальный, о, талантливый! —
Мне возгремит хвалу народ.
...Победой гордый, юнью дерзкий,
С усладой славы в голове,
Я вдохновенно сел в курьерский,
Спеша в столицу на Неве...
...Великого приветствует великий,
Рука моя тебе, собрат Титан!..

Какие, наконец, рифмы, от которых перевернется в гробу Минаев! «Есть тихий остров, — ползет под мост ров», «был акварель сам, — по сверкающим рельсам», «у бонны из-под рук, — каждый отрок», «кто идет, какой пикантный шаг, — ты отдашься мне на ландышах», «где шелковые пихты, — слышать их ты», «когда в росе лень, — зелень», «хохотом, — вздох о том», «сумраком полян дыши, — реющие ландыши»...

Любительство, безвкусие, парикмахерская галантерейность, хороший тон Гоппе. Но перебрасываешь страницу, — цветы, аромат, све-

жесть, зелень, солнце! Просто не веришь, — неужели то и другое от одного? Смеется и плачет душа большого ребенка, совсем такая же, как фофановская, — ласковая, безумная, растрепанная, наивная в земном смысле, натворившая веселых ошибок и сама не знающая, как теперь избыть их совсем невеселые последствия.

И хочется забыть все, что сейчас оскорбляло вкус, — нелепые выверты, смешные рифмы, поприщинские позы. Хочется послать к черту этот размалеванный, рекламный плакат, какой напялил себе на лопатки талантливый и интересный человек, почему-то думающий, что его без того не заметят, и подойти к нему, — настоящему, светлолицему, ясноокому, сбросившему маску, улыбающемуся сквозь слезы!..

Что большая редкость, — вторая книга стихов Игоря Северянина не слабее первой. И что совсем утешительно, — добрая половина этих стихов вовсе свободна от вычуров, от слов «новоделов», которыми поэт доселе щеголял, как деревенская модница медными серьгами. Ах, это опять нужно было только для того, чтобы его заметили! Конечно, он бросит все это, — вот уже бросает! — сознав, что прелесть поэзии в искренности, в пламени сердца, в самобытности поэтического облика, и что внезапно родившийся к месту неологизм так же прекрасен, как постылы все эти вымученные кренделя — «девно, журчно, ошедеврить и рондовить».

Как хорошо, что есть возможность видеть иногда Игоря Северянина одного «под смоковницей», под сиренью, не в толпе, для которой он так оттопыривает веки и которой выдает себя за царя Марсельезии. И когда он бросает свой бутафорской скипетр и порфиру с нарисованными клеевой краской соболиными хвостами, вы видите в нем своего брата, сына вашего века, милого фантазера-поэта, искренно смеющегося, тоскующего, плачущего, счастливого тем, что нравящаяся женщина согласилась поехать с ним в осенний бор или села около него, качающегося в гамаке. «А теперь, пока листвеют клены, ласкова улыбка, и мягка, посиди безмолвно и влюбленно около меня, у гамака... Раскачни мой гамак, подкачни, — мы с тобою вдвоем, мы одни. И какое нам дело, что там, — где-то там не сочувствуют нам!»...

Но чаще он печален. Ах, у него были такие ошибки, такие непоправимые ошибки!

Обе вы мне жены, и у каждой дети, —
Девочка и мальчик, — оба от меня.
Девочкина мама с папой в кабинете,—
О другой не знаю тысячу три дня...
Девочкина мама, — тяжко ль ей, легко ли,—
У меня, со мною, целиком во мне.

А другая мама где-то там, на воле,
Может быть, н а м о р е, может быть, н а д н е.
Но ее ребенок, маленький мой мальчик,
Матерью пристроен за три пятьдесят...
Кто же поцелует рта его коральчик!..
Что же я, — невинен или виноват?
Ах я взял бы, взял бы крошку дорогого,
Миленького детку в тесный кабинет!..
Девочкина мама! Слово, только слово!..
Это так жестоко: ты ни д а, ни н е т!..

Ах, если хотите правды, он вовсе не король Марсельезии! Никакие герцогини не шлют ему яблоков из своего сада с золочеными пиками! Он самый обыкновенный человек, самым обыкновенным образом потерявший ту, которую когда-то любил.

Семь лет она не писала,
Семь лет молчала она.
Должно быть, ей грустно стало,
Но, впрочем, теперь весна...
В ее письме ни строчки
О нашей горькой дочке,
О тоске, о тоске,—
Спокойно перо в руке.
Письмо ничем не дышит,
Как вечер в октябре.
Она бесстрастно пишет
О своей сестре.
Меня настойчиво просит
Сестры ее не бросить:
«Ведь, ваш от нее сын
Покинут. Один, один».
Ах, что же я отвечу,
И надо ль отвечать?..
Но сегодняшний вечер
Будет опять, опять...

Поэт пил не одно шампанское из лилий. Он хлебнул и из кубка подлинной земной печали, и потому так хорошо понимает и смешное горе Феклы, пишущей несуразное письмо своему милому, и смертную усталость молодой портнихи.

Заклевали меня, оболгали. Из веселой когда-то, из смелой
Стала я от любви безысходной мокрой курой и дурой для всех...

Пожалей же меня, мой уклюжий! Полюби же меня, мой умелый!
Разгрешилась на девке деревня, — значит, девку попутает грех.

. . . .

Ты приходишь невеселая, утомленная, угасшая
И сидишь в изнеможении без желаний и без слов...
Развернешь газету, — хмуришься, от себя ее отбрасывая:
Тут уже не до политики, тут уже не до балов...
...В мастерской — от вздорных девочек — шум такой же,
как на митинге,
Голова болит и кружится — от болтливых мастериц...
Не мечтать тебе, голубушка, о валькириях, о викинге:
Наработаешься за день-то, — к вечеру не до цариц!..

Что есть поэт? Неприкаянная душа, что бродит в мире, всех жалея, все оплакивая, чудак, питающийся супом из незабудок, бедный Дон Кихот, наполняющий жизнь призраками и зажигающий таинственные огни в запущенном старом доме, где шмыгают одни голодные крысы. В окне поезда мелькнула прекрасная чужая женщина. Ничего не было, но у него уже перевернулась душа. Он бредет на свой чердак, не чувствуя земли под собой, и ему кажется, что совершилось что-то большое, большое...

Я в поле. Вечер. Полотно.
Проходит поезд. Полный ход.
Чужая женщина в окно
Мне отдается и берет...
Ей, вероятно, двадцать три,
Зыбка в ее глазах фиоль.
В лучах оранжевой зари
Улыбку искривляет боль.
Я женщину крещу. Рукой
Она дарит мне поцелуй.
Проходит поезд. Сам не свой,
Навек теряя, я люблю...

В этом смысле Игорь Северянин — настоящий поэт, которому муза бросила цевницу в детскую колыбель. Таким «гулякой праздным», отдавшим вольное сердце жизни вольным впечатлениям, прошел свой век Фофанов. Его тоже никакие графини не звали кататься в кабриолетах, но и он свою прекрасную мечту где-то в холодном Сергиеве не променял бы ни на какие престолы и царства. Так проходит свою жизнь Блок, разложивший среди улицы свой кукольный театрик и играющий, не стыдясь взрослых, своими Коломбинами и Пьеро.

Северянин – их родной брат, сеющий розы на снегу, видящий Осень-старуху в желтом пледе, любящий незабудок, этих детей канав с голубыми глазами. То начало неврастеничности, безволия, дурманности, какое отличает его, отличает и сегодняшний день, и вот что особенно откроет ему некоторые сердца. И когда из его стихов исчезнут парикмахерские духи и марки шампанского, ему из гроба ласково улыбнется такой ему родственный и так нежно им любимый певец «Царевича Триолета».

А. Измайлов

О «Я» И «ЧТО-ТО»

Около литературы, среди описательства, народилось явление, крошечное по размерам, бессильное, но характерное и очень подчеркивающее, поясняющее мои соображения об индивидуализме. Вне этих соображений оно нелепость — и я его долго не мог понять.

Говорю о кружке русских «эго-футуристов». О них, вопреки их собственному мнению, решительно никто не знает, а потому сразу поясню: это просто несколько молодых людей, которые пытались занять по отношению к современной литературе позицию, которую когда-то заняли «декаденты». Так же принялись они выдумывать «новые слова», точь-в-точь с тем же задором и той же напускной самоуверенностью. Все то же, только помельче: «декаденты» повели себя от Фета, а нынешние — от Фофанова, т. е. от Фетовского... племянника, что ли. Вот эта «старость» нового особенно и удивляла меня. Вскоре выяснилось, что из этих молодых людей только один более или менее способен к стихосложению (да и тот не так уж молод, лет за тридцать), кружок несколько распался, брошюрки перестали выходить. Оставшийся более талантливый поэт решил печатать свои произведения отдельно, а потом он, конечно, появится и на страницах самых «обыкновенных» журналов (кажется, даже появился); талантливость его — именно обыкновенный «модерн», если вычесть некоторые претенциозные провинциализмы, стесать уголки.

Любопытна не степень талантливости этого единственного «поэта» из эго-футуристов, и не то, что другие оказались бездарными, и не задор знакомо-декадентский, — нет, знаменательна их беспомощная, глупенькая, но инстинктивно верная «программа»; любопытно, что

они, подражатели и роковым образом «описатели», закричали вдруг об «ego», об утерянном «Я». Бессильно закричали, не с того конца, и показали, что они открывают Америку; однако по существу-то вышло кстати, потому что Америку открытую мы незаметно утеряли.

Стихи единого талантливого эго-футуриста — чистейшее «описательство». Несмотря на все самозаявления, только описательство, «ego» в них и не ночевало; тем трогательнее верный инстинкт, влекущий в верную сторону, трогательно и свято покушение на личность, — пусть с негодными средствами. Объявилось желание найти «себя»; сказалось открыто, что современная литература потеряла или теряет «Я»; в ней тонет писатель, тонет человек.

Антон Крайний

ПОЭТ ЭКСЦЕССЕР

Прежде чем приступить к краткому разбору творчества Игоря Северянина, я позволю себе сказать несколько слов pro domo mea.

Не принадлежа к той литературной группе, центром которой является, быть может, И. С., я все же охотно говорю о нем и вот почему: как ни разъединяли бы враждебные утверждения, различные литературные течения, — все они роднятся в стремлении к единой цели всякого искусства (а эта общая цель, думается мне, существует). Разными руслами, не смешиваясь, текут они, но текут в один и тот же голубой океан поэзии, омывающий материк реальности. Любовь к искусству снимает лозунговые противоречия. Я могу отрицательно относиться к футуризму как к программе, но любить стихи Игоря Северянина. Искусство не преходит, а школы меняются. Да и что такое литературная школа? В значительной степени она есть возведение в догмат, понимаемый как требование извне индивидуальных качеств, свойств и склонностей самобытного художника-родоначальника, изнутри обусловливающих его творческую деятельность.

Из самого положения моего по отношению к поэзии И. С. следует, что задачей моею не может быть проповедь футуризма. Определение места И. С. в современной литературе российской, исследование особенностей его языка и стихосложения, — с точки зрения теории словесности все это чрезвычайно интересно. Мне кажется уместным коснуться этих особенностей И. С., но не для того, чтобы произвести

синтаксический или этимологический анализ его языка, а для того, чтобы в структуре его речи, рисунке ее оборотов и ритмических движений уловить колеблющуюся линию лирических движений его души, проникнуть чрез них в душу его творческих образов и этим приблизить читателей к поэту, протянуть нить от сердец слушателей к его сердцу, — и, если мне удастся достигнуть этого, я буду считать свою задачу выполненной.

Когда открываешь впервые любую книгу И. С., первое чувство, какое испытываешь, это чувство недоумения. На каком языке написана эта книга? Иностранные звуки преобладают, речь пестрит неслыханными словообразованиями, капризными неожиданными оборотами. Стихотворные метры так разнообразны, что, даже не читая, а только взглянув на стихи, удивляешься прихотливости, с которой полуаршинные десятистопные строфы, едва умещающиеся на двух строках, чередуются со строфами в один только слог; а рядом совсем безразмерная и вместе с тем таинственно певучая речь.

Но не даром Ш. Бодлэр говорит, что удивление есть первый и существенный момент в восприятии художественных произведений. Удивление, останавливая непрерывно текущий психической процесс, удаляет с поля сознания все прежние представления и как бы очищает его для принятия новых. В самом деле, сколько ежедневно проглядываем мы стихов и прозы в толстых и тощих журналах для того, чтобы через минуту позабыть о них навсегда. А стихи И. С. могут, пожалуй, возмутить, рассердить, даже оскорбить с первого взгляда, но можно быть уверенным, что тот, кто возмущался, вспомнит о них неожиданно для самого себя и вернется к ним и при вторичном, более пристальном и внимательном взгляде, заметит, что возмущавшие его особенности поэтической речи И. С. не суть неумелость и неловкость его, а все они, даже самые вопиющие, самые беззаконные, объединены каким-то законом, — и закон этот — цельность личности поэта.

Намечается путь: раскрыв закон, являющийся объединяющим принципом внешних приемов творчества И. С., — тем самым подойти к психологическому характеру творческой личности Игоря Северянина; это будет для нас первой твердой ступенью для того, чтобы, связав внешние приемы с внутренним психологическим содержанием, перейти к ценностям, заключенным в творчестве поэта.

Само собой напрашивается разделение особенностей языка И. С. на две группы. Первая заключает в себе особенности с точки зрения русской речи вообще, вторая — с точки зрения речи поэтической. Иначе говоря, первая предметом нашего разбора полагает своеобразное словообразование и словоподчинение Игоря Северянина, вторая — его стихосложение.

Еще раз подчеркиваю, что, несмотря на общность предмета, задача моя с задачей теоретико-словесной критики ничего общего не имеет; даже больше: они прямо противоположны, потому что то, что является для филолога-языковеда дефективным, бесценным, — неправильности языка, именно и интересует меня; правило безлично, отклонение индивидуально, а определение индивидуальности И. С. и составляет мою цель.

Я уже говорил, что с первого взгляда отмечаешь изобилие иностранных, преимущественно романских звонких слов в лексиконе И. С. Но он не ограничивается расширением поэтического словаря введением иностранных уже принятых в русскую речь слов. Он идет дальше: от этих слов он производит новые через присоединение разных суффиксов, — так, от слова «бравада» по параллелизму со словами «отрада, прохлада» он производит слово «бравадный», от прилагательного «бравурный» — глагол «бравурить», от «ажурный» по параллелизму с «лазурной» он восходит к фантастическому слову, производящему: «ажурь». Мало того, музыка романских звуков так пленяет его, что он даже от русских корней на страх филологам и в их посрамление производит слова через присоединение — horribile dictu — французских окончаний; так от слова греза... он производит слова — грёзер, грёзерка.

Чем объяснить такой выбор слов, это стремление затопить русский язык наводнением носовых романских певучих звуков? Он щеголяет ими, как некоторые щеголяют вставленными в разговор иностранными словами. Этот романизированный язык И. С. считает настолько родным, что, написав стихотворение на напев русской плясовой народным стилем, — он сейчас же указывает, что это только подражание, что это просто исполнение художественной прихоти поэта, — и указывает это очень тонко: стихотворенье озаглавлено «Chanson russe». Этим он отгораживается от всякой близости к народности, — о, нет, он не народник, он космополит и денди. Правда дендизм его, не дендизм английский, не дендизм родоначальника его Джорджа Брёммеля, который говорит, что у истинного денди ничто не должно бросаться в глаза, что он скромен, что слишком яркие галстуки — это принадлежность не дендизма, а фатовства. Этой скромности у И. С. нет; его дендизм вызывающий, бравирующий, требующий внимания, эстрадный.

Другую особенность словообразований И. С. составляет чрезвычайное богатство в изобретении новых глаголов: «взорлил, гремящий, на престол», — «удастся ль душу дамы восторженно омолнить», — «офиалчен и олилиен озерзамок Мирры Лохвицкой». В каждом из этих слов скрыто собственно два: одно выражающее действие, глагол и другое сравнение; И. С. глагол опущен, а от сравнения производится новый глагол: таким образом, из «взлетел, вознесся орлом» обра-

зовалось «взорлить» из «пронзить или озарить молнией» — «омолнить», из — увиться фиалками и лилиями — «офиалчен и олилиен».

Затем, И. С. часто соединяет в одно слово эпитет с определяемым: «озерзамок» вместо «озерный замок»; «лесофея» вместо «лесная фея», и от этих двойных слов он производит еще и прилагательные: «она была в злофейном крепе». Русский язык знает такие словообразования: он позволяет соединять в одно существительное глагол, с его прямым дополнением — напр., чаепитие, рукопожатие; но помимо того, что И. С. выходит за эти пределы, он часто от таких сложных отглагольных существительных производит новый глагол, требующий нового дополнения — «сенокосить твой спелый июль».

Что объединяет эти словообразования? не ясно ли, что это — стремление к усилению энергии, экспрессивности речи, к повышению ее образности. Дать возможно больше представлений в возможно меньшем количестве слов, даже жертвуя законами речи. Вдохновение И. С. так бурно и эксцессивно, что речь его, как полноводная река, ломает сковывающий ее однообразный лед правил и несет, играя только причудливые отдельные его осколки. Мне хочется назвать И. С. его словом: «эксцессер», потому что одновременно в нем есть намек на его яркий дендизм и определение его художественного метода.

Но «эксцессивность» или «эксцессерство» неразрывно связано с другим психологическим свойством — эмоциональностью. Если эксцесс рассматривать как взрыв, то эмоциональность является условием переработки горючего материала опыта в летучие газы. Эксцессивность даже только атрибут эмоциональности, так что о ней мы могли бы просто заключить из наличности эксцессивности, но об ней свидетельствуют и неожиданные обороты его речи, то отрывистой, как крик, то вьющейся и стелющейся, как ползучее растение.

Мне не хочется утомлять читателя подробным синтаксическим разбором структуры языка И. С. Вместо этого я позволю себе привести два стихотворения его, в которых различно, но одинаково явно зыблются волны этой эмоциональности, всколебленной дуновением вдохновения.

В ОЧАРОВАНЬИ

Быть может оттого, что ты не молода,
Но как-то трогательно больно моложава,
Быть может оттого я так хочу всегда
С тобою вместе быть; когда, смеясь лукаво,
Раскроешь широко влекущие глаза,
И бледное лицо подставишь под лобзанья,

Я чувствую, что ты — вся нега, — вся гроза,
Вся — молодость, вся — страсть; и чувства без названья
Сжимают сердце мне пленительной тоской,
И потерять тебя — боязнь моя безмерна...
И ты, меня поняв, в тревоге, головой
Прекрасною своей вдруг поникаешь нервно, —
И вот, другая ты: вся — осень, вся — покой...

В ПЯТИ ВЕРСТАХ ПО ПОЛОТНУ

Весело, весело сердцу! звонко, душа, освирелься! —
Прогрохотал искрометно и эластично экспресс.
Я загорелся восторгом! я загляделся на рельсы! —
Дама в окне улыбалась, дама смотрела на лес.
Ручкой меня целовала. Поздно! — но как же тут «раньше?..»
Эти глаза... вы — фиалки! эти глаза... вы — огни!
Солнце, закатное солнце! твой дирижабль оранжев!
Сяду в него, — повинуйся, поезд любви обгони!
Кто и куда? — не ответить. Если и хочет, не может.
И не догнать, и не встретить. Греза — сердечная моль.
Все, что находит, теряет сердце мое... Боже, Боже!
Призрачный промельк экспресса дал мне чаруйную боль.

Первое стихотворение представляет из себя о д н о сложное непрерывное предложение, отдельные части которого плавно, гармонически втекают одна в другую; кажется, — это волна, медленно поднимающаяся на плоской берег и на вершине взлета вдруг вскипающая страстной пеной и брызгами, чтобы вдруг погаснуть в паденьи; это долгий, томительный, сладкой вздох, рассказанный словами; второе же стихотворенье — пленительная путаница перебивающих друг друга предложений, в которых мысль и чувства поэта подобны беспокойной зыби, где блеск и тень, боль и восторг, очарованье и безнадежность мгновенно сменяют друг друга.

Если эмоциональность художественного темперамента И. С. выводима из его слово- и фразопостроения, то особенности его стихосложения — наоборот — сами до конца выводимы из этой эмоциональности. Ею рождены эти упругие строфы, она подсказывает ему его качающиеся, колыбельные размеры, она — источник почти песенной певучести его стихов, такой властной и заразительной, что стихи его хочется петь. И. С. и поет свои стихи — и напев их так внятен, что его можно записать нотными знаками. И это не прихоть чтеца — напев заключен в них потенциально и можно даже вскрыть технические причины этой напевности.

Возьмем для примера две строки из стихотворения «Мороженое из сирени»: «Я сливочного не имею, фисташковое я распродал. Ах, граждане, да неужели Вы требуете крэм-брюлэ». Проскандировав эти стихи, мы замечаем, что это шестистопный амфибрахий с цезурой после третьей стопы. Известно, что́ для произнесения каждой отдельной строфы требуется приблизительно равная затрата голосового усилия, распределяющегося равномерно между ударными слогами. Но в данном отрыве шести метрическим ударениям соответствует только четыре грамматических; получается ускорение, нечто вроде метрического зияния, — и, чтобы строфа не смялась, на произнесение ударного слога, предшествующего потерявшему ударение, падает двойное усилие, — этот слог должен произноситься протяжней, а усилию голоса невольно сопутствует повышение и вот уже как бы пунктиром намечается напев.

Итак, к двум уже найденным определениям — денди и эксцессер — присоединяется третье: эмоционалист, но оно требует дополнительных разъяснений. В самом деле, об эмоциональности И. С. мы заключили выводным путем из особенностей его речи; беглый взгляд на своеобразную метрику и чтение стихов И. С. еще больше поддерживает нашу уверенность, что мы на верном пути. Эти особенности были для нас гипсовой формой, на которой отпечатлелись волнообразные линии, говорящие нам о наличности эмоции как формирующей силы; напряженность или прихотливость ее угадывалась по глубине и сложности борозд отпечатка. Но качественного характера этих эмоций мы не определили и не определим по тем формальным данным, с которыми мы до сих пор имеем дело. Здесь лежит порог, переступая который, мы неминуемо должны потерять свою объективность и доказательность положений заменить их убедительностью. Между тем мне кажется несомненным, что повышенная эмоциональность является самым существенным свойством личности И. С. как поэта. Весь мир для него — многотонная гамма ощущений — и ощущений по преимуществу пассивных, страдательных, чем, пожалуй, можно объяснить частое сравниванье самим И. С. своих переживаний с ощущениями вкуса — и, о, какое тонкое гурманство проявляет тогда поэт-денди. Недаром названиями фантастических и существующих яств и ликеров пестрят его поэзы... Может быть, самый сок жизни представляется ему, как эти колоритные, сладко пьяные и обжигающие напитки, от которых кружится голова и все вещи пускаются в плавный танец. И когда опьяненным взглядом он окидывает картину природы или опьяненным сердцем переживает мгновение любви — его вдруг настигает галантный эксцесс и из глубей приливающий прибой выкидывает нам на берег узорноажурную пену — замысловатое кружево его стихов.

Вдохновение его так непосредственно, путь от сердца к песне так короток, переживания так быстро чередуются, что они не успевают, достигнув сознания, из творческих эмоций претвориться в творческую идею...

Ты женщина, ты ведьмовский напиток,
Он жгет огнем, едва в уста проник,
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток, —

говорит Валерий Брюсов, и в этих словах слышится узнавшая все отрады и отравы современная душа, познавшая гибельность любви. И на сдержанное исступление этих строк разочарованно откликается И. С. — «кудесней всех женщин — ликер из банана».

«Колыбель бесконечности» — так в одном стихотворении называет Бодлэр океан. — «Он плещется дессертно, совсем мускат — люнельно», — сладко поет в ответ Игорь Северянин. Первый, созерцая океан, отвлекается от того маленького круга, которым — увы — ограничивает нас наше физическое зрение, — он видит его *весь*, он растворяется в этом созерцании, и, по слову Лермонтова, пьеса о Вечности, как великан, ум человека поражает вдруг. Для Игоря Северянина океан таков, каким он сейчас, мгновенно, преломляется в нем; строго говоря, для Игоря Северянина океан — это только, как и вся природа, состояние его души. Он — солнце того мира, в котором он живет, и, ослепленный своим блеском, он не может видеть над собой небесного, вечного солнца.

В моей душе восходит солнце,
Гоня невзгодную зиму.
В экстазе идолопоклонца
Молюсь таланту своему.
В его лучах легко и просто
Вступаю в жизнь, как в листный сад.
Я улыбаюсь, как подросток,
Приемлю все, всему я рад.
Ах, для меня, для беззаконца,
Один действителен закон:
В моей душе восходит солнце,
И я лучиться обречен!

Так вот к чему приводит эмоционализм как мироощущение! Человек становится центром всего мира, но весь мир зато из большого мира, вселенной, космоса, превращается в мир малый, ограниченный нашими пятью чувствами. Связь между микрокосмом и макрокосмом порвана. Больше нет ни в чем надежной опоры. Достаточно просто

усталости, чтобы потерять остроту вкуса и впасть в уныние, ибо потеря вкуса для эмоционалиста равна смерти, он погружается в бесчувственную тьму. Действительно, останется только «ликер из банана», а за ним морфий или кокаин.

Одинок И. С., несмотря на солнечность свою, в замкнутом мире своих ощущений, — их редкость замыкает его от слушателя как бы в многоцветную тюрьму, и голоса почти он не понимает. Эксцессерство же его кажется подозрительной публике красным плащом тореадора, — и, боясь стать разъяренным быком, она подымает на смех поэта. «Паяц» — кричит толпа. И эту кличку принимает Игорь Северянин, но с такой грустной гордостью, что в его устах она звучит «как королевской титул».

За струнной изгородью лиры
Живет неведомый паяц.
Его палаццо из палацц —
За струнной изгородью лиры...
Как он смешит пигмеев мира,
Как сотрясает хохот плац,
Когда за изгородью лиры
Рыдает царственный паяц!..

И не кличку только, но и личину трагического паяца принимает И. С. — сколько поводов для новых эксцессов. «Я трагедию жизни претворю в грезофарс», — решает И. С.

И под личиной паяца он становится шутом-сатириком, смеющимся над смехом публики, как смеются над человеком, который не замечает, что его держат за нос:

Каждая строчка — пощечина, голос мой сплошь издевательство,
Рифмы слагаются в кукиши, кажет язык ассонанс;
Я презираю Вас пламенно, тусклые Ваши Сиятельства,
И, презирая, рассчитываю на мировой резонанс.

Но эти стихи идут не из самой глубины творчества И. С., они случайны, как результат непонимания, возникшего между поэтом и слушателем. Стоит поэту отвернуться от слушателя, побыть с собой, и опять горячие волны ощущений сладких, нежных, десертных укачивают его. В нем борются два желания: «Кому бы бросить наглее дерзость? — кому бы нежно поправить бант?» — побеждает второе и вновь рождаются стихи сладкие, нежные, тающие, десертные — «Мороженое из сирени» (?), — так называет он их. Но вот обернулся он к слушателю, и паяц вновь просыпается в нем: Игорь Северянин накидывает ко-

стюм мороженника и, с ужимками в голосе, подражая его протяжному завыванью, зазывает в свою палатку умирающую со смеху публику:

Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Полпорции десять копеек, четыре копейки буше.
Сударышни, судари, надо ль? — не дорого — можно без прений...
Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!
Я сливочного не имею, фисташковое все распродал...
Ах, граждане, да неужели вы требуете крэм-брюле?
Пора популярить изыски, утончиться вкусам народа,
На улицу специи кухонь, огимнив эксцесс в вирэле!
Сирень — сладострастья эмблема. В лилово-изнеженном крене
Зальдись, водопадное сердце, в душистый и сдадкий пушок...
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей Богу, похвалишь, дружок!

Публика будет смеяться и лакомиться, но если среди нее — не дай Бог — встретится глубокомысленный литературный критик, он послушает, важно покачает головой и скажет: «Уж не говоря о том, что многого я здесь не понимаю, должен заметить, что стиль не выдержан: где это слыхано, чтобы мороженник говорил такие слова, как эмблема, популярить, изыски». Увы, господин критик, вы не многого не понимаете здесь, а главного; не понимаете, что автор этими словами нарочно как бы показывает из-под костюма мороженника сюртук от петроградского — несомненно, петроградского портного и из-под маски мужика-мороженника выглядывает недвижное холодное лицо поэта денди, космополита и эксцессера, и слышатся слова, намекающие на то, что это просто прихоть, маскарад, грёзофарс, chanson russe...

Но не думайте, что из-под маски истинный свой лик показал вам И. С., — нет, истинного лица сам он вам не покажет, — это было когда-то раньше, когда он писал строфы «Сирени моей весны», где сердце свое трепетное и открытое доверчиво давал в руки читателю, но «много, много уж этому времени, много, много уж этому снов». Но сердце его не умерло: оно спряталось только; тепло и любовь помогут вам растопить восковую личину денди, и под ней вы увидите лицо страдающего и радующегося человека, талантливого личного певца, а в мороженом из сирени, которое предложит вам поэт-хозяин «помпезных поэзо-концертов», — вы узнаете то же прежнее, трепетное, живое сердце, только покрытое тонким «холодным и сладким пушком».

Сем. Рубанович

Прочитано на вечере поэз Игоря Северянина, в Политехническом музее в Москве 31 января 1915 г.

«МОРОЖЕНОЕ ИЗ СИРЕНИ»

Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Полпорции десять копеек, четыре копейки буше.
Сударышни, судари, надо ль? — Не дорого — можно без прений...
Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!
Я сливочного не имею, фисташковое все распродал...
Ах, граждане, да неужели вы требуете крем-брюле?
Пора популярить изыски, утончиться вкусам народа,
На улицу специи кухонь, огимнив эксцесс в вирелэ!

И так далее... Мне думается, что эту поэзу можно было бы взять эпиграфом ко всему «Громокипящему кубку» Игоря Северянина. Вся эта книга есть один своеобразный «эксцесс в вирелэ», если повторить вслед за поэтом это дикое сочетание слов. К сведению читателей: «вирелэ» — одна из форм лирической поэзии во Франции XIV—XVI вв.; все эти рондели, кэнзели, вирелэ хорошо подходят к чисто манерной поэзии Игоря Северянина.

«Эксцесс» в манерности, но не слащавой французской, а грубой и намеренно-ломающейся — этого много в книге «поэз», но ведь в этом-то и видит поэт весь вкус своего «мороженого из сирени»! Он великолепно презирает «площадь»: ведь «площадь» эта любит «сливочное» и «фисташковое» мороженое — стихи Бальмонта или Брюсова. Да и то есть «граждане», которые еще и до этого не доросли, а «требуют крем-брюле», питаются Апухтиными и им подобными. Игорь Северянин хочет своей поэзией «популярить изыски» (т. е., переводя на русский язык, хочет ввести в обиход изысканность), хочет угостить нас своим «мороженым из сирени»: «Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе».

Я не могу сказать, чтобы мне все пришлось по душе в товаре Игоря Северянина; начать с того, что как раз «деликатного»-то меньше всего в «поэзах» этого автора. Какой вкус у мороженого из сирени — я не знаю; но знаю наверное, что вкус самого автора «поэз» далеко не изыскан. Он с восторгом поглощает, например, такую музыкальную дрянь, как Тома, Масснэ, Масканьи: пишет о них, посвящает им стихи! Этот музыкальный крем-брюле не претит его художественным вкусам, и это вообще характерно для всей его поэзии. Его «мороженое из сирени» — очень грубое кушанье, щиплющее и острое, но именно в этом и состоит его своеобразный вкус, который как раз «площади» может прийтись по душе.

Игорь Северянин, несомненно, талантливый поэт — самобытный и красочный лирик; в последнем — вся его сила, и больше ему ничего не

надо. Он, конечно, склонен оценивать себя иначе; он заключает книгу гордым «эпилогом»:

Я, гений, Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен,
Я повсесердно утвержден!
От Баязета к Порт-Артуру
Черту упорную провел.
Я покорило литературу!
Взорлил, гремящий, на престол! (с. 140)

Это, конечно, очень весело читать; и, воображаю, каким хохотом и свистом будут встречены такие слова. И по заслугам; хотя, в сущности, это только дань поэта «эго-футуризму», в коем он доныне пребывал. Многие ли не считали себя «гениями», когда были гимназистами?

«Эго-футуризм» есть самоновейшее течение среди зеленой поэтической молодежи. Они «создали» теорию самого крайнего индивидуализма, поставили вершиной мира свое «я» (о, незабвенные гимназические годы!), издавали различные «манифесты» и все поголовно именовали друг друга «гениями». Все это мило и безвредно; одна беда: почти все они — самые безнадежные бездарности; об этих своих коллегах Игорь Северянин в одном из своих стихотворений выразился кратко и метко:

Вокруг — талантливые трусы
И обнаглевшая бездарь...

Но сам Игорь Северянин — не «трус» и не «бездарность». Он смел до саморекламы, и он, несомненно, талантлив. Эта излишняя развязность и смелость, вероятно, скоро пройдут; недаром он заявил уже где-то «письмом в редакцию», что вышел из кружка «эго-футуристов». Но талантливость при нем была и осталась; и эта подлинная талантливость заставляет принять этого поэта и говорить о нем серьезно и со вниманием. Мне пришлось уже говорить о нем «как о подающем надежды»; чрезмерных надежд возлагать не приходится, но часть уже осуществлена, и можно говорить не только о будущем поэта, но и об его настоящем.

Когда Игорь Северянин захочет, он пишет в «старых формах» такие прекрасные стихотворения, как, например, «Очам твоей души» (с. 9); может показать себя достойным учеником Брюсова «Весенний день» (с. 10), учеником Бальмонта «Chanson russe» (с. 37), может блеснуть таким мастерством техники, как шестнадцать пересекающихся рифм в одном четверостишии («Квадрат квадратов», с. 86). Но не в этом

его сила, а в том, что он, подлинный лирической поэт, чувствует по-своему, видит по-своему, — и по-своему же выражает то, что видит и чувствует. В этом «по-своему» он иногда слишком смел, а иногда поэтому в выражениях его многое спорно, многое раздражает, — особенно в виду его любви к острым и новым словообразованиям.

Когда он говорит:

По аллее олуненной вы проходите морево, —

то последнее слово меня не радует, ибо расхолаживает мое поэтическое восприятие необходимостью разгадывать ребус. Когда он заявляет мне, что:

Чтоб ножки не промокли, их надо окалошить, —

или, тут же рядом, что:

Он готов осупружиться, он решился на все, —

то это только напоминает мне бесчисленные «поэзы» Саши Черного, лаврам которого вряд ли стоит завидовать Игорю Северянину. И то же самое надо повторить о целом ряде никому не нужных «эксцессов», вроде:

Я в комфортабельной карете, на эллипсических рессорах,
Люблю заехать в златополдень на чашку чая в женоклуб...

Или:

Офиалчен и олилиен озерзамок Мирры Лохвицкой,
Лиловеют разнотонами станы тонких поэтесс,
Не доносятся по озеру шумы города и вздох людской,
Оттого, что груди женские, тут не груди, а дюшесс...

К чему все это? И неужели это «поэтический образ»? Во всем этом много гимназического задора и нет поэтической необходимости. Нет ее и в том насиловании русского языка, которое Игорь Северянин возводит в систему. «Популярить изыски», «бурно бравурит весна», «драприть стволы» — к чему все эти «эксцессы в вирелэ»? Надо пожалеть русский язык и избавить его от таких обогащений; а ведь Игорь Северянин думает, вероятно, что он это новые горизонты открывал, когда писал такие строки:

Вы постигнете тайну: вечной жизни процесс
И мечты-сюрпризэрки
Над качалкой грэзерки
Воплотятся в капризный, но бессмертный эксцесс!

Все подобные «эксцессы в вирелэ» очень часто портят лучшие стихотворения Игоря Северянина. Иногда выдержанное, прекрасное стихотворение вдруг обидно пачкается намеренно грубыми мазками в конце; «деликатного» во всем этом очень мало...

Вот пример — прелестное стихотворение «На реке форелевой»:

На реке форелевой, в северной губернии,
В лодке, сизым вечером, уток не расстреливай:
Благостны осенние отблески вечерние
В северной губернии, на реке форелевой.
На реке форелевой в трепетной осиновке
Хорошо мечтается над крутыми веслами,
Вечереет холодно. Зябко спят малиновки,
Скачет лодка скользкая камышами рослыми,
На отложье берега лен расцвел мимозами,
А форели шустрятся в речке грациозами...

Особое умение: двумя словами бесповоротно испортить все впечатление от прекрасного стихотворения! И ведь, вероятно, очень горд собою, — деликатно и изысканно выразился! «Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!» И эта невозможная безвкусица заключает собой стихотворение, очарованию которого поддаешься с первых же строк. «Благостны осенние отблески вечерние», — это «настраивает». Малиновки «зябко спят»; «лодка», «скачет камышами»; «форели шустрятся» — все это смело и верно, все это подлинное восприятие поэта.

Такого подлинно поэтического, иногда спорного, иногда сразу радующего и покоряющего — немало у Игоря Северянина, и в этом все надежды на его будущее.

Люблю октябрь, угрюмый месяц,
Люблю обмершие леса,
Когда хромает ветхий месяц,
Как половина колеса...
Морозом выпитые лужи
Хрустят и хрупки, как хрусталь...

Здесь я вижу лицо поэта. Я покоряюсь ему, когда он говорит про то, как перед грозой «небеса растерянно ослепли, вытер, зашарахался в листве»; когда он говорит про «морозом выпитые лужи», про «хромающий месяц» или про то, как «кувыркался ветерок». Я нахожу среди книги «поэз» много выдержанных и ярких лирических отрывков, много «смелого» и «нового» — не только в плохом, но и в хорошем смысле; рядом много гимназического задора и вздора, много ломаний,

сплошной «эксцесс в вирелэ», — но всюду талант, которому предстоит еще победить самого себя. И недаром в минуту откровенности, поэт сознается:

Не покидай меня! — я жалок
В своем величии больном...

Это «больное величие» ему и предстоит победить прежде всего; без этого путь вперед закрыт для поэта. И несмотря на то, что эта книга его «поэз» заканчивается как раз бредом «больного величия» — «эпилогом», отчасти приведенным выше, — но все же заключительные строки его позволяют надеяться, что на пройденный путь поэт уже не вернется:

Не ученик и не учитель,
Великих друг, ничтожных брат,
Иду туда, где вдохновитель
Моих исканий — говор хат...

Новый этот путь — единственный, на котором Игорь Северянин может пойти вперед и преодолеть сам себя. До сих пор он только поэт площади, не воспевающий ее, но рожденный ею; здесь он выделывает свое «мороженое из сирени», думая, что это весьма «деликатное» кушанье для «площади», презираемой им. Он ошибается: это кушанье грубое, хотя именно в грубости его — его вкус. Но было бы грустно, если бы он век остался кричать на площади или разносить свое «мороженое из сирени» по петроградским дачам. Он подлинный лирической поэт, и широкой путь его лежит от «дачи» — к «природе», «от площади» — в леса, в поля, туда, «где вдохновитель его исканий — говор хат». В силах ли только он свершить этот путь и перестать выделывать свое излюбленное «мороженое из сирени?»

Иванов-Разумник

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН

Нетрудно вышутить Игоря Северянина, низвести его на один уровень с Крученых и Бурлюками, победоносно отразить его мнимые завоевания. Все так еще не прибрано и не благоустроено у него на новоселье; едва ли найдется в его книгах хоть одно стихотворение, не испорченное каким-либо нелепым трюком или просто первым попав-

шимся под рифму выражением. И так много в ней лишнего, ненужного, случайного или нарочитого, столько наивного задора и комического самообольщения, так мало окончательно ценного и прочно установленного, что из лоскутьев ее можно состряпать какое угодно попурри. Но над ней, надо всей ее досадной нескладицей и разлепицей, как над мутным половодьем, над распутицей и бездорожьем пахучих мартовский полей, веет духом весны, — над ней веет свежий дух поэзии, юный дух нарождающегося поэта.

Какие шири! дали! виды!
Какая радость! воздух! свет!..

Что бы ни говорили староверы, Игорь Северянин одарен исключительным даром стихотворца. Звуковой диапазон его стиха очень велик. Он умеет быть протяжно-мелодичным:

Какая ночь! — и глушь, и тишь,
И сон, и лунь, и воль...
Зачем же, сердце, ты грустишь?
Откуда эта боль?

Или напряженно-напевным, восторженно-звонким:

Светило над мраморной виллою
Алеет румянцем свидания...

Но, когда нужно, он умеет нежно приспустить свою звонкость, заставить свой стих звучать тихой жалобой, наподобие струн, прижатых сурдинкой:

Так тихо-долго шла жизнь на убыль
В душе, исканьем обворованной...
Так странно-тихо растаял Врубель,
Так безнадежно очарованный...

Едва ли удавалось кому-нибудь с большей удалью и с большим изяществом передать грубовато-забористый, стремительный praessto плясовой:

Хорошо гулять утрами по овсу,
Видеть птичку, лягушонка и осу,
Слушать сонного горлана-петуха,
Обменяться с дальним эхо: «ха-ха-ха!»

— или бойкую скороговорку наивно-тривиальной гармоники:

Зашалила, загуляла по деревне молодуха.
Было в поле, да на воле, было в день Святого духа, —

или выкрики уличных разносчиков, нахальные, то звонко-переливчатые, то дробно-рассыпчатые:

Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Полпорции десять копеек, четыре копейки буше!
Сударишни, судари, надо ль? — недорого — можно без прений...

Но в то же время немногим из его сверстников дано владеть таким простым и спокойно-красивым стихом:

Схожу насмешливо с престола
И ныне, светлый пилигрим,
Иду в застенчивые долы,
Презрев ошеломленный Рим.

Звукоподражания его зачастую превосходны:

Элегантная коляска, в электрическом биеньи,
Эластично шелестела по шоссейному песку...

или:

Снежеет дружно, снежеет нежно,
Над ручейками хрусталит хрупь
Куда ни взглянешь — повсюду снежно...

или еще:

Морозом выпитые лужи
Хрустят и хрупки, как хрусталь;
Дороги грязно-неуклюжи,
И воздух сковывает сталь.

Последние четыре стиха замечательны также по своей изобразительности, достигнутой путями прямыми, средствами простейшими. Таких стихов и отдельных счастливых выражений и образов найдется в книге Игоря Северянина немало. Правда, это всегда только отдельные отрывки, крупицы, рассыпанные среди неудачных нововведений, насыщенной публицистики, а то и образчиков простой безвкусицы; но рассыпаны эти крупицы рукою щедрой и, бесспорно, талантливой. Замечательно также то обстоятельство, что стихи Северянина, как бы неудачны они ни были, всегда остаются стихами, никогда не превращаются в рифмованную прозу. Мы не видим покамест оснований и для того, чтобы согласиться с мнением Андрея Полянина («Сев. зап.» № 4), что безвкусие — органический порок Игоря Северянина. Скорее, оно есть следствие слишком явной незрелости его таланта и той потери равновесия, которая подстерегает почти каждого на новых и потому опасных путях искусства, — а Игорь Северянин ходит новыми путями.

Было бы грубейшей ошибкой принимать поэзию Северянина и то течение, к которому он примкнул, за подновленное декадентство девяностых годов. Оба течения взаимно противоположны, как по устремлениям своим, так и по происхождению. Каждый декадент, какого бы толка он ни был прежде всего утонченником ради утонченности, он хотел бы быть «поэтом для немногих»; до толпы, ее вкусов никакого дела ему не было; об общедоступности он не заботился, считал ее не только излишней, но и прямо нежелательной. Игорь Северянин в своих стремлениях наполовину публицистичен. Он пишет непременно для многих, он хотел бы быть общедоступным и общеобязательным, — поэтом для всех: «Я покорил литературу», «Я повсеградно оэкранен...» Но при этом он не желает поступаться своими вкусами, своей (хотя бы и мнимой) утонченностью. «Я сливочного не имею, фисташковое все распродал...» Отсюда его задача: быть изысканно-лубочным, художественно плакатным — «Пора популярить изыски, утончиться вкусам народа».

Мы не верим Игорю Северянину, когда он говорит: «Для нас Державиным стал Пушкин», не верим не только в том смысле, что считаем это объективно-неверным, но не верим и в субъективную правду его слов. Насколько еще не изжит Пушкин для самого Северянина, видно хотя бы из того, что через одну страничку после столь решительного заявления он пишет невольную пародию на пушкинские стихи:

Да, я влюблен в свой стих державный,
В свой стих изысканно-простой,
И льется он волною плавной
В пустыне чахлой и пустой.

Не иначе обстоит у него дело и с модернизмом. Далеко не все богатство форм, накопленное за последние два десятилетия, использовано молодым новатором. О таких его нововведениях, как «орозенная язва» и «ядосмех», едва ли нужно говорить серьезно. Сколько бы ни твердил он Валерию Брюсову, что он ему «некий равный государь» и отнюдь не «ученик», мы все уже останемся при том мнении, что он пока именно только ученик знаменитого мастера, и ученик довольно робкий, хотя и заносчивый. Если у него «ассонансы точно сабли рубнули рифму», то сделали они это, по собственному его признанию, «сгоряча». Так же, очевидно, сгоряча заявляет он, что «теперь повсюду дирижабли летят». Заявление это, помимо того, что несколько преувеличено, вдобавок имеет слишком очевидную марку: «made in Italia». Едва ли обрадуют чей-нибудь слух такие ассонансы, как «горло» и «перлы» («пёрлы?»), едва ли даже самые просвещенные гастрономы найдут вкус в «мороженом из сирени». Не очень новы и утонченны

самые переживания Северянина. «Шампанское в лилию», «герцогиня-Дель-Аква-Тор» и т. п. — все это дерзания и прозрения многообещающего гимназиста. Не в них сущность поэзии Северянина и не на них основано право его на внимание критики.

С внешней стороны есть общее между итальянским футуризмом и псевдофутуризмом Игоря Северянина: в обоих настоящее, современное заявляет свое право на эстетическое признание. Но и прошлое и настоящее Италии и России глубоко различны. Прошлое — великое и славное прошлое — есть реальный и крупный фактор в жизни современных итальянцев; оно так же заполняет, и украшая и загромождая, их жизнь, и государственную, и общественную, и частную, и эстетическую, как заполняют молчаливые дворцы с опустелыми окнами тесные улицы их городов. Современный итальянец, отвоевывая себе место в жизни и в искусстве, просит потесниться своих славных предков, — римлян, флорентинцев, венецианцев и других. У нас немыслим подобный конфликт. Нас угнетает не величие и богатство нашего исторического наследства, но то, что оно у нас отнято. Наше право на настоящее обусловлено нашими правами наследования, — наследования того, еще сравнительно небольшого богатства, которое все же было накоплено в течение нашей истории. Для того чтобы стать господами настоящего и творцами будущего в своей стране, или же потому, что мы ими уже становимся, и мы ими будем, — мы должны овладеть наследием прошлого, культурным достоянием духовных отцов наших. Но кто же это «мы», и где наше наследство?

Мы — это все: таков лозунг нашего времени. Наше наследие — все, что было завоевано на полях Полтавы и под стенами Измаила; все, что было создано в тиши монастырских келий, в уюте дворянских усадеб и в наемной комнате одинокого мыслителя; все, что было накоплено в музеях, библиотеках, галереях; все, что было выстрадано «в глубине сибирских руд», в казематах Шлиссельбурга, в ледяных пустынях севера, — все это наше наследие. Все то, что было в прошлом достоянием отдельных групп, лиц, сословий или кружков, — все это должно стать в наши дни достоянием всеобщим, всенародным: «на улицу, специи кухонь!».

Таков лозунг. Как и всякий лозунг, он имеет значение лишь символическое или, как у нас говорят, принципиальное. Живым носителем этого лозунга, его воплощением является у нас тот, крайне неопределенный в своих границах и в своем обличии, класс, который принято называть «интеллигенцией». Знатным, умным, красивым нужно родиться, — интеллигентным можно сделаться. Интеллигент — это инженер, писатель, адвокат, чиновник, агроном, музыкант, врач, профессор, аптекарь, просто ученый и образованный человек, без определенной про-

фессии. Это тот класс, который вмещает в себя все живые культурные силы страны и который поэтому раньше или позже неизбежно сделается правящим классом. И каждый может в него войти, каждый может стать интеллигентом; конечно, и это только принцип, но принцип, полный значения и действенности.

Каждый правящий класс навязывает литературе свой язык. Мы до сих пор еще пользуемся языком Сергея Тимофеевича Аксакова. Язык Игоря Северянина — утрированный жаргон современного интеллигента. Отсюда в его стихах это изобилие иностранщины и книжных речений, эти режущие ухо новообразования — все эти «эксцессы», «эффектные нервы», «коктебли», «грезеры», «опринципить» и т. п. И вкус его — вкус того же среднего интеллигента, ему нравится новое, изящное и общедоступное. Его любимые авторы — Фофанов и Лохвицкая; его излюбленные композиторы — Тома, Масснэ. Это — подлинное искусство, конечно, и даже, в известной мере, утонченное, по сравнению с Надсоном, Травиатой и Марселем Прево, — но все же искусство второсортное, как бы нарочно выкроенное по масштабу среднего интеллигента. Правда, называет Игорь Северянин и два имени совсем иного ранга, — Врубеля и Оскара Уайльда; но стихи, посвященные им, полны дилетантизма.

Есть некоторое правдоподобие в ходячем злом словечке: «поскребите Северянина, увидите Надсона». Стихи Надсона — сплошная интеллигенщина. Но на этом кончается сходство. Ибо стихи Надсона не только не поэзия, но даже и не литература, а одна стихотворная публицистика. Напротив, стихи Северянина суть прежде всего явление литературное, ибо они непосредственно затрагивают вопросы формы. Тот, к кому взывает Надсон, его «страдающий брат», безнадежный изгнанник с пиршества жизни; искусство, красота, даже отвлеченная мысль для него — недоступные цветы в витрине дорогого магазина; он довольствуется трафаретками мысли, чувства и формы, лишь бы они говорили ему все об одном и том же: о том, что он страдает, когда есть счастливые. Напротив, «граждане» Игоря Северянина — настоящие господа жизни. Поэта огорчает только то, что они так малотребовательны и так неразборчивы: «Ах, граждане, да неужели вы требуете крем-брюле»! «Оглянитесь, — говорит он им каждым стихом своим, — посмотрите, сколько богатства рассыпано вокруг вас, повсюду; и все это — ваше. Протяните руку, не бойтесь; требуйте себе лучшего, самого утонченного. Выкатывайте бочки из глубины потаенных подвалов, пейте драгоценные, десятилетиями выдержанные вина, упивайтесь их сладостной крепостью...» Это различие в мироощущении есть не различие двух исторических моментов. Надсон жил и писал в те дни, когда всякая жизнь замирала под железной пяткой реакции, и лучших дней

он не знавал вовсе; Северянин выступил на литературное поприще в наши дни, в то время, когда уже никакая реакция не в силах заставить нас, вкусивших от плодов свободы, позабыть их вкус. Забота о форме обязательна для него потому, что он начал писать после двадцатилетней почти работы Бальмонта, Брюсова и их учеников; забота о всенародности неизбежна для него потому, что он начал писать, уже переживши дни всенародных волнений, восторгов, падений.

Правильно воспринять дух времени — еще не значит быть поэтом; надобно еще найти путь к его воплощению и уметь ступать по этому пути. Если бы у Игоря Северянина было одно только, сейчас отмеченное нами, мы могли бы пройти мимо него молча, предоставив разбираться в его стихах обозревателям общественных настроений. Оборотной стороной стремления к общедоступности всегда была и есть опасность опошлиться, опуститься до уровня своей аудитории. Между Сциллой изысканности и Харибдой вульгарности есть один только путь: путь углубления содержания до пределов основного, общечеловеческого и упрощения формы до границ безусловно необходимого, — путь к тому искусству, которое принято называть монументальным. Этим путем шли в свое время все великие народные поэты: и Гомер, и Данте и Пушкин. Искусство может быть общедоступным, оставаясь подлинным искусством, только в том случае, если оно становится общеобязательным, т. е. достигает той степени простоты и властности формы, при полноте содержания, которое всеми принимается невольно как совершенство. Не каждому поэту дано достигнуть этих вершин творчества; но, безусловно, каждому значительному поэту свойственно стремление к монументальности; и это стремление должно быть повелительным требованием писательской совести у того, кого Аполлон зовет к жертве всенародной.

Мы не считали бы Игоря Северянина поэтом, если бы не подметили в нем (быть может, ошибочно) подобного стремления. Чем ближе к концу его книги, тем чаще проступает у него желание быть «изысканно-простым»; и мы охотно верим молодому поэту, когда, распростившись с шумихой своего футуризма, он говорит нам, что душа его «влечется в примитив». Спускаясь в «застенчивые долы», он идет верным путем, и если он сумеет пройти этот путь до конца, он вернется к нам настоящим поэтом нового времени.

Владимир Шмидт

РУССКАЯ ХАНДРА

Стихотворения Игоря Северянина — не новость. Уже в течение нескольких лет молодой поэт издавал свои тоненькие книжечки (кажется, около 30), считая себя главой «эго-футуристов», — с трогательными объявлениями на задней стороне коричневых обложек, что интервьюеров он принимает в такие-то дни и часы, знакомых дам — в такие-то, молодых поэтов, приходящих за советом, в такие-то. Если верить этим объявлениям, то он был уже широко известен кому-то до этого года, и только теперь Федор Сологуб представляет его всем русским читателям, написав предисловие к его избранным стихам и, надо думать, приняв близкое участие в составлении сборника: по крайней мере, название его, кажется, вызвано предисловием, а не обратно. Сологуб говорит в этих нескольких вступительных словах, что он любит стихи молодого поэта, как «грозу в начале мая». «Люблю грозу в начале мая... Люблю стихи Игоря Северянина. Я люблю их за их легкое, улыбчивое, вдохновенное происхождение. Люблю их потому, что они рождены в недрах дерзающей, пламенной волей упоенной души поэта... Стихи его такие капризные, легкие, сверкающие и звенящие...»

Можно не продолжать — смысл ясен: Сологуб открыл поэта «легкого и сверкающего». Тот, кого истомила самая тягостная из всех скук, какие когда-либо в нашей литературе снились, кто создал для русского общества — рядом с вдохновенным культом смерти — злое издевательство над его пошлостью — Передонова, приветствует в новом поэте «грозу в начале мая». Он не обращает внимания на «неверности с правилами пиитики», — «раздражающими и дразнящими», они ему «нравятся», — и он объяснил почему.

Так смертельно заскучала душа современности, так ждет «раскатов первого весеннего грома».

Дождалась ли? Гроза ли это?

Сам о себе молодой поэт думает, с одной стороны, очень высокомерно, с другой — очень скромно. С одной — он называет себя «гением Игорем Северянином», — «северным бардом», открывающим новые пути и, конечно, не признанным людьми посредственными, его не понимающими, с другой — он думает, что он только один из многих, предвещающих грядущего и близкого великого поэта, который «всех муз былого в одалисок, — в своих любовниц претворит и, опьянен своим гаремом, сойдет с бездушного ума». Это и есть исповедание самого Игоря Северянина, — он ставит себе в заслугу, что он не признает «бездушных книг», «несносной поступи бездушных мыслей», «рассудочного льда», «рассчета лабораторий». Он «спрятал в грудь солнце», он «парит в лазоревом просторе со свитой солнечных лучей...» Отсюда

и его стиль — невыдержанный, действительно капризный, по большей части необыкновенно легкий. Главный его каприз — неологизмы, недаром он называет себя потомком Карамзина. Эта родословная — очень поучительная вообще, но в отношении неологизмов она может быть и лестной и нелестной: неологизмы древнего сентименталиста не отличались особенной выдумкой, но зато они стремились к русификации противного словаря — еще елисаветинского происхождения щеголя, французивших в русской речи самым безвкусным образом. Каприз «потомка Карамзина» выражается, к сожалению, в стремлении французить там, где давно уже привыкли говорить по-русски, а иногда и в смешении французского с нижегородским. Новые же его слова с русскими корнями составлены по двум-трем шаблонам, заранее взятым, поэтому пестрят однообразно и надуманно. Свои стихи он называет «поэзами», «миньонетами», «героизами», «ассо-сонетами», «интуиттами» и пр.

Через два обыкновенных слова на третье — прибегает к таким выражениям: «Лимонно-листный лес драприт стволы», «овесененный ребенок», «комната утрела», «было майно», «мечты отропили сердце», «упоенно юниться», «весна бравурит», «популярить изыски», «огимнить эксцесс в вирелэ», «ножки надо окалошить», «он готов осупружиться», «мечты сюрпризэрки истомленно лунятся», «женоклуб» и т. п.

И все это заключено в стихи — звонкие и поющие, но не новым, воздушным, прозрачно беззаботным пением, а той особенной звонкостью, которая слышит сама себя, сознает себя; не подобной «птичке беззаботной», а очень сознательно слагающейся в созвучия, с рассчитанным подъемом и паденьем гласных, намеренным соединением согласных, соблазнительными ассонансами и другими словесными соблазнами, которые усиленно развивались у нас под влиянием стихотворческой виртуозности Бальмонта. Я не хочу сказать, что Игорь Северянин рассудочнее многих, но он рассудочен, как и все; в нем нет той непосредственной свежести, которую хочет видеть в нем Сологуб, сам истомившийся от сознательности — истомившийся и обрадовавшийся, как ребенок, поэзии, которая показалась ему ребячливой, младенчески-ясной!

Это искание младенческой ясности, свежести, наивности проходит через наше художественное сознание уже довольно давно — с тех пор, как наша поэзия стала сознательной по преимуществу, т. е. с тех пор, как она объявила себя символической. С тех пор и начались мучительные поиски непосредственности, сначала оставаясь в пределах романтических, — и здесь развился культ Блока, который сам томился тоской по жизни; потом эта тоска сказалась в увлечении мифологизмом Городецкого; в прошлом году сделана была попытка найти нового

Кольцова в Клюеве; в этом году открылась борьба «акмеистов» с символистами против их отвлеченности, — наконец, сейчас один из отвлеченнейших наших поэтов предлагает нам «легкую» поэзию Игоря Северянина.

Сологуб не совершенно не прав, так же как правда была и в увлечении Городецким: Вяч. Иванов, философ в стихах, бессильный сложить песню, слагал лишь философические стихотворения, — у его ученика — Городецкого, сказался дар вольной песни; Сологуб, тоже бессильный сложить вольную песню, слагает изречения и молитвы, — у Игоря Северянина есть дар пения, более непосредственный, может быть, чем у Городецкого, «певшего» по Вяч. Иванову. Но в этих певучих стихах нового поэта, — именно нет той внутренней «улыбчивости», — того, что Сологуб хотел бы видеть в них, называя их «вдохновенными по происхождению». Игорь Северянин — не дитя, он сознает себя. Сознает и звон своих стихов, и его переливы, и свои словарные новшества. Он хорошо и точно воспринимает окружающее, поэтому он умеет «описывать» природу, — редкий дар у лириков в настоящее время... Но и это все не так важно, все это можно было бы в разной степени оспаривать; но вот что бесспорно: эта та внутренняя подпочва, которая лежит, как тяжелая залежь подо всей принципиально исповедуемой им — его интуицией, под признанием солнца, горящего в небе и «спрятанного в его груди», — это то, что лежит глубже его собственного сознания, — прорываясь, однако, сквозь его звонкие строфы, иногда скрыто за образами, — иногда в случайных, точных формулах. Это та же тоска по жизни, и, кажется еще более резкая — тоска от жизни — скука!

Недуг, которого причину,
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сплину —
Короче — русская хандра...

У Онегина были предки, утверждал Ключевский; пришли и потомки, как давно уже говорил Добролюбов. Менялись условия, видоизменялся, соответственно, и тип, но, по существу, он все тот же, потому что те же, в сущности своей, остаются условия; и еще сам Пушкин варьировал этот национальный «недуг в другом месте»:

Мне скучно, бес! — Что делать, Фауст!
Таков вам положен предел...

Обложка книги стихов Игоря Северянина напечатана сиреневыми буквами. Второй отдел, центральный в книге, называется «Мороженое из сирени»; первый, вступительный к нему, — «Сирень моей весны».

Сирень в разных вариантах упоминается во всей книге как «эмблема сладострастия» — наряду с лилиями, конечно, эмблемами невинности. В первом отделе излагается история «страсти нежной» — ars amandi. — Эта «сирень весны», очень скоро отцветшей, как всякие цветы чувственности; а «мороженое из сирени» и заключает в себе исконную русскую хандру — в новой разновидности, очень современной: наружно-жизнерадостную, и даже бурную, а внутренно-томящуюся, если вникнуть в эту юношескую поэзию, в ее душу, не считаясь с ее словесными затеями.

После первой помещенной в сборнике чувственной по смыслу и холодной по выражению пьесы — мы читаем вызывающую самым своим мотивом чувство элегическое; третья пьеса — гораздо радостнее. Вот энергические строки из нее:

...Душа поет и рвется в поле,
Я всех чужих зову на «ты»...
Какой простор, какая воля,
Какие песни и цветы!

. . . .

Шумите, вешние дубравы!
Расти трава! Цвети, сирень!
Виновных нет: все люди правы,
В такой благословенный день!

Но разве эти заключительные слова — не слова самоубеждения? Не отказ от печали на один день? Четвертое стихотворение называется «В грехе забвенье», и прочитав его, внимательный читатель уже не забудет его, дочитывая дальше всю книгу:

Вся радость в прошлом, таком далеком и безвозвратном,
А в настоящем — благополучье и безнадежность,
Устало сердце и смутно жаждет в огне закатном
Любви и страсти — его пленяет неосторожность.

О «благополучье» упомянуто не случайно; в следующей строфе оно повторяется:

Устало сердце от узких рамок благополучья,
Оно в унынье, оно в оковах, оно в томленье.
Отчаясь верить, отчаясь грезить, в немом безлучье
Оно трепещет такою скорбью...

«Жизнь чарует и соблазняет», но «сердце в смущенье»: «оно боится... благополучье свое нарушить». Но жизнь проходит — смерть неизбежна — сердце человека одиноко и не чувствует связи со вселенной.

И вот — выход: благополучью противопоставлено безумье одинокого сердца; добродетели — грех, в котором забвенье от скорби:

О, сердце, сердце! — твое спасенье в твоем безумье!
Гореть и биться, пока ты можешь, — гори и бейся!
Греши отважней! пусть добродетель уделом мумий:
В грехе забвенье, а там — хоть пуля, а там — хоть рельсы!

Теперь все уже ясно и не читая до конца; но у кого есть еще сомнение в том, что пред нами новый Онегин со старой русской хандрой, с возможностью забыться лишь в нарушении обычностей, в случайных развлечениях, в случайных жестокостях, — пусть прочтет и конец стихотворения. Это не та смертная скука, которая переходит в озлобление к жизни, и ждет смерти — как у Лермонтова. Она способна себя тешить — это именно хандра:

Больное сердце!..
Живи, ты право! Сомненья — мимо!
Ликуй же, сердце! — еще ты юно!
И бейся шумно!

Так новый эпикуреизм вырастает на почве старой «душевной пустоты».

Весь первый отдел книги — малосамостоятельный, хотя и очень искренний, напоминает по манере кумиров автора — Фофанова и Лохвицкую — в стихах таких же звучных, но часто — таких же тривиальных. Отмечу только, что именно в этом отделе есть живые черты «пейзажа и жанра» — указание на реалистическое настроение поэта, чуждое отвлеченной символики.

Жду, не дождусь весны и мая,
Цветов, улыбок и грозы,
Когда потянутся, хромая,
На дачу с мебелью возы...

«Хромать» еще лучше в другом месте и в другом смысле; в пьесе осенней:

Люблю октябрь, угрюмый месяц,
Люблю обмершие леса,
Когда хромает ветхий месяц
Как половина колеса.

Такие «тютчевские» черты, как «морозом выпитые лужи» — в том же описании дальше, — можно отметить во многих стихотворениях, к сожалению, редко выдержанных. В «деревне, где скучал Евгений», как

характерно сказано в эпиграфе к одной из пьес этого отдела, ему случалось сближаться и с народом, больше всего — наблюдая русские праздничные нравы, а иногда самому, заражаясь бодрящим воздухом летнего утра, — почувствовать себя «вольным сыном природы», заигрывая с «поселянками». Одна из пьес названа «Русская». Это интеллигентская «Камаринская», сочиненная русским барином, ищущим забвения от скуки в деревенских удовольствиях:

Кружевеет, розовеет утром лес
Паучок по паутинке вверх полез.
Бриллиантится веселая роса;
Что за воздух! что за свет! что за краса!
Хорошо гулять утрами по овсу,
Видеть птичку, лягушонка и осу.
Слушать сонного горлана-петуха,
Обменяться с дальним эхом: «ха, ха, ха!»
Ах, люблю бесцельно утром покричать,
Ах, люблю в березах девку повстречать,
Повстречать и, опираясь на плетень,
Гнать с лица ее предутреннюю тень,
Пробудить ее невыспавшийся сон,
Ей поведать, как в мечтах я вознесен,
Обхватить ее трепещущую грудь,
Растолкать ее для жизни как-нибудь!

В такой же французско-нижегородской, но остроумной манере написаны и «Пляска Мая» и «Chanson russe»... Вспомните некрасовского «русского путешественника» по крепостным деревням: «Я путешествовал недурно. Русской край оригинальности имеет отпечаток...»

Зато в городе новый Онегин чувствует себя еще больше самим собой, чем старый, пушкинский. Хандра ждет его здесь даже не «на страже» — она прямо распоряжается его душой, определяет каждое минутное его настроение. Это и есть второй отдел книги «Мороженое из сирени»... короче — русская хандра!

«Усталое сердце» «пленяет неосторожность», «безумье», «грех», «а там — хоть пуля, а там — хоть рельсы!» Этому, до смерти скучающему внутри себя, эпикурейскому самозабвению и предается новый Онегин в городе; и эту невеселую игру жизнью выражает в звуках, на самом деле очень свободных, но словами, еще более пестрыми. В пьесе «Фиолетовый транс» поэт говорит, как, выпив однажды «фиалковый фиал грез фиалок», «лилии ликеров» — Crème de Violette, он «приказал немедля подать кабриолет», и «вздрогнувший мотор, как жеребец заржавший, пошел на весь простор», а «ветер восхищенный» «сорвал с головы поэта его берет»:

Я приказал дать «полный», я нагло приказал
Околдовать природу и перепутать путь.
Я выбросил шофера, когда он отказал,
Взревел! и сквозь природу — во всю и как-нибудь!
Встречалась ли деревня — ни голосов, ни изб!
Врезался в чернолесье, — ни дерева, ни пня?
Когда б мотор взорвался, я руки перегрыз б!!
Я опьянел грозою, все на пути пьяня!

Если вообще можно оправдывать жестокости, то шофер был выброшен не напрасно опьяневшим поэтом: безумная поездка на автомобиле кончилась «благостным исходом» —

И вдруг, безумным жестом остолблен кленоход:
Я лилию заметил у ската в водопад...

И все изменилось в душе, обезумившей от скуки, не знающей куда себя девать, что выдумать, чтобы ее залить:

Я упоен. Я вешний. Я тихий. Я грезер.
И разве виноват я, что лилии колет
Так редко можно встретить,
Что путь без лилий сер...

Итак, вот отчего «грезер» выбросил шофера, и вот почему «грезерки» бесцельно качаются в «гамаках камышовых», в которых «стоит лишь повертеться»:

И загрезится сердце:
Все на свете возможно, все для вас ничего;
Покачнетесь вы влево, —
Королев королева,
Властелинша планеты голубых антилоп...
. . . .
Покачнетесь вы вправо,
Улыбнется вам слава,
И дохнет ваше имя, как цветы райских клумб...

Это бегство от жизни, от ее скуки, от «серых путей» в мечты, — а жизнь пусть идет себе как попало!..

Шампанское в лилию! Шампанское в лилию!
Ее целомудрием святеет оно...
. . . .
Я славлю восторженно Христа и Антихриста
(Что нам до них!),

Душою обожженною восторгом глотка!
Голубку и ястреба! Рейхстаг и Бастилию
(Что и до них?),
Кокотку и схимника! Порывность и сон!
В шампанское лилию! Шампанского в лилию!..

Но — больше всего, еще больше, чем мечты и лилии, — чувственность! Чем изысканнее, чем мгновеннее, тем вернее: вдруг хандра и уйдет со своей проклятой «стражи»!.. Но она не уходит, как бы ни становилась «душа-грезера — как рай — нелепа»:

О, фешенебельные темы! от вас тоска моя развеется...

Нет! Не развевается. Все безвыходно кончается следующим, как называет поэт, «квадратом квадратов», напоминающим по смыслу прежнее «в грехе забвенье»:

Никогда ни о чем не хочу говорить...
О, поверь! — я устал, я совсем изнемог.
Был года палачом, — палачу не парить...
Точно зверь заплутал меж поэм и тревог...
Ни о чем никогда говорить не хочу...
Я устал... О, поверь! изнемог я совсем
и т. д.

Следующая за этим фатальным «квадратом» пьеса еще вразумительнее названа: «В предгрозье». Вы вспоминаете при этом предисловие Сологуба о «грозе в начале мая». Вот настоящее название для всей книги! Молодой поэт, несомненно, владеет даром поющей речи — но это поет скучающая в «предгрозье» душа, и потому она поет не просто, — а с хитростями и фокусами — от скуки душной. В поэзии его не слышны раскаты грома — даже отдаленные, и книга его — не громокипящий кубок, уроненный с неба. Когда пронесется гроза, упадет и ее кубок — поэзия великой веры и счастья!

А пока остается — от скуки, не зная куда девать себя, отдавать «наглые приказания» шоферам и слагать демонические приветствия «агасферам морей»:

Вижу, капитан «Скитальца-Моряка»,
Вечный странник,
Вижу, как твоя направлена рука
На «Titanic»...
Верю, капитан «голландца-летуна».
Враг боязни.
Верю, для тебя — пустить корабль до дна —
Страстный праздник...

. . . .

Руку, капитан, товарищ по судьбе,
Мой дружище!

«Что делать, Фауст! Таков вам положен предел. Вся тварь разумная скучает... Зевай и ты!...» — «Все утопить!».

Так переживается наше предгрозье.

Владимир Гиппиус

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ЖАЛЬ

«Русское слово» любезно прислало мне две книжки стихов поэта, пишущего под псевдонимом Игоря Северянина, с предложением высказаться об этом новом и, кажется, весьма многошумном явлении российского Парнаса.

К сожалению, просмотрев присланные книжки, вижу, что я в состоянии судить в полной мере лишь о весьма незначительной части их содержания, а более или менее — о части хотя обширнейшей сравнительно с первою, но все же слишком малой в общей сумме страниц... О громадном же большинстве произведений г. Игоря Северянина признаю себя совсем не способным судить, — по той простой причине, что не знаком с языком, на котором они написаны. Словаря и грамматики языка этого книгоиздательство, выпускающее сборники стихов г. Игоря Северянина, к сожалению, не догадалось приложить к изящным своим томикам. Это — большая ошибка. Когда Гоголь обнародовал «Вечера на хуторе близ Диканьки», он, имея в виду удобство читателей, приложил к книжке словарь встречающихся в ней малороссийских речений. Между тем малороссийское наречие гораздо ближе к русскому языку, чем то, на котором по большей части пишет г. Игорь Северянин, иногда предаваясь этому загадочному диалекту целиком, иногда делясь между ним и русскою речью.

О непонятной мне части я ограничусь лишь замечанием, что, судя по смешению в языке ее латинских корней с славянскими суффиксами и флексиями, язык этот близок к румынскому. Приблизительно таким наречием изъясняются музыканты румынских оркестров после того, как проиграют сезона два-три в русских ресторанах и увеселительных садах. Филологическая догадка моя о румынском происхождении языка г. Игоря Северянина находит себе подтверждение в довольно час-

том упоминании поэтом о румынской нации, и именно в ресторанной ее разновидности. Например:

То клубникой, то бананом
Пахнет кремовый жасмин,
Пышно-приторным дурманом
Воссоздав о р к е с т р р у м ы н.

И через две страницы опять:

А иголки Шартреза? а шампанского кегли?
А стеклярус на окнах? а цветы? а р у м ы н ы? *

Мне тем более прискорбно не понимать г. Игоря Северянина в значительнейшей доле его творчества, что в той доле, которая мне совершенно понятна, его поэзия мне очень нравится. Это ли, например, не прелесть?

Быть может, оттого, что ты не молода,
Но как-то трогательно больно моложава,
Быть может, оттого я так хочу всегда
С тобою вместе быть; когда, смеясь лукаво,
Раскроешь широко влекущие глаза,
И бледное лицо подставишь под лобзанья,
Я чувствую, что ты — вся нега, вся гроза,
Вся молодость, вся страсть; и чувства без названья

* Впрочем, кроме языка румынского, г. Игорь Северянин прибегает иногда к помощи и других наречий. Так, например, в «Увертюре» к отделу «Колье принцессы»:

Колье принцессы — аккорды лиры,
Венки созвездий и ленты лье,
А мы, эстеты, мы — ювелиры,
Мы ювелиры таких колье.

Ясно, что «лье», во втором стихе — третье лицо единственного числа настоящего времени от глагола «лить», спрягаемого на малороссийском наречии... Смысл стихов таков: «Колье принцессы лье аккорды лиры, венки созвездий и ленты»... Правда, один недоброжелатель г. Игоря Северянина уверял меня, будто «лье» здесь — французскому lieu, но сие невероятно уже потому, что lieu произносится по-русски «льё». И тогда, — для того, чтобы стихи сохранили созвучие, — пришлось бы читать на конце четвертого стиха не «колье», а «кольё», что составляет большую разницу. «Колье принцессы», — это давай Бог каждому, но «кольё принцессы», — это уж из тургеневского Пигасова...

Сжимают сердце мне пленительной тоской,
И потерять тебя боязнь моя безмерна...
И ты, меня поняв, в тревоге головой
Прекрасною своей вдруг поникаешь нервно, —
И вот другая ты: вся — осень, вся — покой...

(*Громокипящий кубок. В очаровании*)

Или:

В парке плакала девочка: «Посмотри-ка ты, папочка,
У хорошенькой ласточки переломлена лапочка, —
Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю»...
И отец призадумался, потрясенный минутою,
И простил все грядущие и капризы и шалости
Милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

(За исключением двух слов, пригнанных для рифмы: «Потрясенный минутою», которые расхолаживают впечатление своею газетною прозаичностью).

Таких вещиц в двух книжках г. Игоря Северянина — «Громокипящий кубок» и «Златолира» (что по-русски должно обозначать, вероятно, «Золотую лиру»), наберется более дюжины: «Все по-старому», «Виктория Регия», «Газелла», «Эхо», «Обе вы мне жены», «Nocturne», «Только миг», «Солнце землю целовало», «Прелюдия» («Лунные тени»), «Звезды», «Ничего не говоря», «А если нет», «Град»... Все это чрезвычайно, как говорится, «мило»: певуче, молодо, свежо, искренно, часто страстно. Подкупает простотою и нежностью, показывает в авторе способность к изяществу стиха и рифмы, большую гибкость, яркую звучность... Правда, все без исключения стихи эти безусловно подражательны и «навеяны», причем в выборе образцов г. Игорь Северянин переливается на тысячи ладов, от Лермонтова до Бальмонта, но в молодом поэте не такой уж это большой грех. Юный Лермонтов подражал Байрону, почему же юному г. Игорю Северянину не подражать Лермонтову? Люди скромные находят даже, что хорошая копия лучше плохого оригинала... И нельзя не сознаться, что правило это как нельзя более оправдывается г. Игорем Северянином*. Покуда он весь — талантливый перепев слышанного-читанного. В области перепева он не только силен, но даже прямо-таки поражает растяжимостью своей способности применяться к чужим мелодиям, часто до полного с ними слияния. Способность эту он начинает проявлять уже с заглавия первой своей книжки «Громокипящий кубок», которое взял взаймы у Тютчева, и

* вариант псевдонима (*Ред.*).

продолжает до последней страницы второй... il prend son bien où il le trouve, — и при этом, надо отдать ему справедливость, добродушно невзыскателен к источникам. Так, например, первая же страница первой книжки поет и воркует читателю:

Тебе одной все пылкие желанья,
Души моей и счастье и покой,
Все радости, восторги, упованья
Тебе одной...

Ах, нет, виноват: это как раз не г. Игоря Северянина сочинение. У него не совсем так:

Очам твоей души — молитвы и печали,
Моя болезнь, мой страх, плач совести моей,
И все, что здесь в конце, и все, что здесь в начале,—
Очам души твоей...

Не правда ли, мило? Читая, искренно сожалел я, что умерли Я. Пригожий и Саша Давыдов... Какую бы первый музыку написал к этим стишкам, а второй как бы исполнил ее, «со слезою», под гитару!.. И сколько чувствительных барышень потом трогательно звенело бы ее фальшивыми голосенками в домиках, где на окнах цветут герани, а к потолкам привешены клеточки с канарейками...

Любимыми образцами г. Игоря Северянина, коим он подражает уже совершенно сознательно и убежденно и о том многократно заявляет, остаются Фофанов и Мирра Лохвицкая. Должен признаться, что здесь я вполне разделяю вкус г. Игоря Северянина, особенно, что касается Мирры Лохвицкой — поэтессы, иногда возвышавшейся (в лирике) почти до гениальности... Фофанова я меньше знаю. Г. Игорь Северянин посвятил ему много стихов, из которых многие хороши, и если не всегда складны, то подкупают искренностью. Что касается Лохвицкой, г. Игорь Северянин так прямо и восклицает:

— Я и Мирра!

Соединение это кажется мне немножко слишком храбрым и преждевременным. Со своим «мирропомазанием» г. Игорю Северянину надо еще погодить, да и погодить: таких наград не берут авансом. Мирра Лохвицкая, велика ли она, мала ли, но вся была, прежде всего, именно сплошь оригинальна и задушевно, пламенно смела. Хотя жизнь ее была короткая, она успела сказать несколько с в о и х слов и внесла ими в копилку русской литературы несколько с в о и х мыслей. Ими потом, вот уже целое десятилетие, пробавляются разные господа-поэты, от них же первый и, к чести его, наиболее откровенный — г. Игорь Северянин. В этом категорическая разница Мирры Лохвицкой

с г. Игорем Северянином, талантливым подражателем, у которого именно как раз своих-то слов еще и нет. На 126–131 страницах стихов ему не удалось ни однажды выразить мысли, создать образ, вызвать к жизни форму, которых не знали бы прежние поэты и не прибегали бы к ним с гораздо большим искусством и удачею. Поэтому, когда г. Игорь Северянин связывает себя в чету с «Миррой», это производит впечатление такой же неудачной претензии, как если бы... ну, хоть Подолинский, что ли, сказал:

— Я и Пушкин.

Или милейший человек, покойник Лиодор Иванович Пальмин:

— Я и Гейне.

Конечно, в измененных пропорциях, потому что Мирра Лохвицкая — не Пушкин и не Гейне... Но она все же их породы, а порода г. Игоря Северянина еще совершенно не определилась. Мирра Лохвицкая — у ж е явление демоническое, а г. Игорь Северянин — е щ е явление обывательское. И в очень большой степени. Говорю, конечно, о породе поэтической, потому что дворянскую свою родословную г. Игорь Северянин нам сообщает с предупредительностью... именно истинного обывателя в фуражке, с красным околышем:

Известно ль тем, кто вместо нарда,
Кадит мне гарный дым бревна,
Что в жилах северного барда
Струится кровь Карамзина?
И вовсе жребий мой не горек!..
Я верю, доблестный мой дед,
Что я — в поэзии историк,
А ты — в истории поэт!

Увы! Демон подражательности, владеющий г. Игорем Северянином, лишил его оригинальности даже в родословной. Ибо кому же неизвестно, что на святой Руси уже полвека лиет (или, если г. Игорю Северянину больше нравится, лье) чернила другой знаменитый писатель, который, можно сказать, уши прожужжал своему отечеству вот этим же самым хвастовством, что он — «внук Карамзина»... И писатель этот — князь Владимир Петрович Мещерский!.. Tanto nomini nullum par elogium. Н-да... Внукам-то хорошо хвастать, а вот каково деду!

Продолжая обозрение тяготеющего над г. Игорем подражательного Фатума, нахожу в «Златолире» его, так сказать, гражданскую исповедь:

Я славлю восторженно Христа и Антихриста,
Голубку и ястреба, рейхстаг и Бастилию,
Кокотку и схимника, порывность и сон...

Охват поэтической компетенции бесспорно широкий, однако опять-таки не побивший былых рекордов. Уже пятьдесят четыре года назад Русь ознакомилась с великим поэтом, носившим скромное имя Якова Хама, который

На все отозвался, — ни слабо, ни резко, —
Воспел Гарибальди, воспел и Франческо... *

Предупрежденный в «направлении» Яковом Хамом, в этической проповеди г. Игорь Северянин является открывать Америку после «Санина» и, по крайней мере, тысяч десяти «русских ницшеанцев», включая в число последних и г. Анатолия Каменского, рекорд которого г. Игорь Северянин тщетно пытается побить в своей «Катастрофе»... Далеко кулику до Петрова дня! То, для чего поэту понадобилось железнодорожное крушение с остановкою в 18 часов, герои г. Каменского обрабатывали в пять минут, на ходу поезда!

Г. Игорь Северянин не чужд горестного сознания насмешек преследующего его рока и борется с своим злым демоном на всех, так сказать, платформах поэтического творчества. Не имея оригинальных идей, он пытается взять реванш, по крайней мере, на оригинальной форме, вертя оную сяк и так. Этими полезными техническими упражнениями он, действительно, развил в себе ловкость, которую, если бы дело шло не о поэте, можно было бы определить акробатическою. Так, на странице 45 «Златолиры» он обрушивает на читателя замечательный фокус в виде редкостно-богатого подбора однозвучной мужской рифмы:

ДУРАК

Жил да был в селе «Гуляйном» дьяк-дурак,
Глоткой — прямо первый сорт, башкою — брак.
Раз объелся пирогами, — да в барак,
А поправился, купил потертый фрак,
Да с Феклушею вступить желает в брак.
Али ты, дурак, своей свободе враг?
А зачем, дурак, ночной бывает мрак?
А зачем, дурак, у леса есть овраг?

---

* Яков Хам имел некоторое сходство с г. Игорем Северянином и в том отношении, что, подобно тому, как г. Игорь Северянин творит стихи свои на румынском наречии и потом уже посильно переводит их на русское, так и Яков Хам изливал свои вдохновения на австрийском языке (румынском, даже пограничном), а переводил их для россиян Н. А. Добролюбов.

Али съест тебя, дурак в овраге рак?
Вот-то дурень, дуралей-то! Вот дурак!
Не стихарь тебе носить бы, а чепрак!
Ну, не все ль равно, что свекла, что бурак!
Коли трус, так не задумывал бы врак,
А молился бы угодникам у рак,
Да поигрывал с помещиком в трик-трак,
Попивая вместе ром или арак!

Однако, к сожалению, и замысловатая жонглировка «раком» и «дураком» изобретена не г. Игорем Северянином. Бертольдом Шварцем этого пороха был В. П. Буренин, слишком тридцать лет назад превесело рассказавший публике ужасную «Ирландскую балладу»:

Проснулся в полночь Мак д'Уррак,
Проснулся бледен и смущен,
Ему во сне приснился рак:
Что значит этот страшный сон?
Привстал на ложе Мак д'Уррак,
Дрожит он, дыбом волоса;
Кругом его лишь ночи мрак,
С ним рядом спит Эдифь-краса.
«Эдифь! — воскликнул Мак д'Уррак,
Склонясь к супруге молодой. —
Вставай! Вставай! Мне снился рак,
Мне снился рак во тьме ночной!..»
На миг Эдифь открыла зрак,
И молвит, вняв речам его:
«И сон твой глуп, и ты дурак», —
И все... и больше ничего!
И в тьме ночной Мак д'Уррак,
Эдифи внявши злой упрек,
Поправил свой ночной колпак
И вновь до утра спать залег.

Притом... перечитав сейчас балладу г. Игоря Северянина о дьяке дураке и раке, я с удивлением заметил, что, покуда я ее переписывал, она удлинилась на шесть стихов, которых нет в книге... Откуда взялся этот прирост? Очевидно, это — машинальный результат бессознательного творчества, пробужденного даже во мне, который менее всего поэт, легкостью и бойкостью рифм г. Игоря Северянина... Подумайте, что же на моем месте совершил бы мастер, специально преданный делу «рифмичества», либо даже не мастер, а просто счастливец, снабженный хорошим словарем рифм? Ведь, только выдержала бы поясница, а

то подобный специалист может этак сидеть да рифмовать с утра до вечера, а если не впадет в сонную одурь, то и с вечера до утра... Сколько бумаги возможно унавозить столь почтенным способом, — даже невообразимо! Говоря словом г. Игоря Северянина, avis aux те, кого пугают слишком быстрые успехи финляндской промышленности.

По всей вероятности, именно отчаянием проявить оригинальность в творчестве на языке русском объясняется обращение г. Игоря Северянина к какому-то румынскому наречию, которое ему, по-видимому, более знакомо:

Душа твоя, эоля,
Ажурит розофлер.
Гондола ты, Миньоля,
А я — твой гондольер.

Что сие обозначает, — как уже сказано, судить не берусь. Но звучит нисколько не хуже эсперанто. Может быть, это оно самое и есть? Стихотворения г. Игоря Северянина, написанные на неведомом языке, делятся на рондели, поэзы, диссоны, интуитты, героизы, вирелэ, кокетты, миньонеты, хабанеры, коктебли и пр. С любопытством ознакомившись с этими новыми поэтическими категориями, я, однако, не мог найти в них разницы с обыкновеннейшими элегиями, посланиями, балладами и прочими родами и видами поэзии, к которым приучил нас добрый старик Стоюнин. Разве лишь что в большинстве «поэз» уж очень хромает размер, и из рук вон плохи рифмы. Говорю, конечно, опять лишь о рифмах, принадлежащих русскому языку. Как-то: «Врубель» и «убыль»; он же, «Врубель», и «рубль»; «видел» и «гибель»; «Арагва» и «нагло»; «поносили» и «бессилье»; «близок» и «одалисок»; «признаться» и «Надсон»; «обувь» и «холопов»; «тосты» и «звезды»; «пихт» и «выход»; «конус» и «соус»...

В румынском произношении все это, может быть, и созвучно, но русскому уху несколько чуждо. Если эти не столько рифмы, сколько оскорбления слуха действием, рождены поэтом не в результате лингвистического недоразумения, а по предварительному умыслу, все в той же погоне за рекордом оригинальности, то приходится предупредить г. Игоря Северянина, что он и тут опоздал. Давно уже срифмованы не только «пуговица» и «богородица», «медведя» и «дядя», но даже «дуга» и «колокольчик». И изобретатели этих рифм были настолько скромны, что даже не потребовали производства за то в гении и короли, а предпочли окончить жизнь в безвестности и забвении...

Рифмами румынскими г. Игорь Северянин владеет, вероятно, мастерски. Предполагаю потому, что очень часто, — вернее даже будет сказать: постоянно, — поэт, затрудняясь подыскать к русскому слову

русскую же рифму, смело заменяет ее рифмою румынскою, и всегда с полною удачею. Например:

Невыразимо грустно, невыразимо больно
В поезде удаляться, милое потеряв...
Росно зачем в деревьях? В небе зачем ф и о л ь н о?
Надо ли было в поезд? Может быть, я не прав?

Или:

Ей, вероятно, двадцать три.
Зыбка в ее глазах ф и о л ь.
В лучах оранжевой зари
Улыбку искривляет боль.

Несомненно, что русские «боль» и «больно» с румынскими «фиоль» и «фиольно» рифмуют бесподобно. Если же какой-либо суровый критик воспротестует против самого принципа русско-румынского рифмования, — протестовал же чудак Чацкий против «смешенья языков французского с нижегородским»! — я советую г. Игорю Северянину ответить придире:

— Разве я первый? Еще 125 лет назад Княжнин рифмовал:

Мое, — ах! — сердце, как сури,
Попавшись вам в любезный каж,
Кричит: мадам, не умори,
Амур меня приводить в раж...

— Как? — перебивает читатель. — Вы хотите уверить меня, что г. Игорь Северянин даже и тут не оригинален?

Увы! Да! И мало того, что этот проклятый Княжнин (поделом засек его Шешковский!) предупредил г. Игоря Северянина. Он еще имел наглость вложить куплет с русско-французскими рифмами в уста... переряженного лакея, который волочится за провинциалкою, разыгрывая роль светского человека!

Приближаясь из тьмы веков к временам более цивилизованным, встречаем Мятлева с «Сенсациями мадам Курдюковой». А в 1859 году реакционная газета «Северная пчела» напечатала на языке, тоже вроде румынского, даже целую статейку:

Утр-томбная сенсация

Наивна и питезна физиономия антецедентной женерации. Экспрессия ее пассивно-экспектативных тенденций — апатия. Магическою энергиею журнальных литераторов все теперь переформировалось и восфламировалось. Арена интеллектуальной реакции открыта. Реформа с принципами абсолютными, прогресс к цивилизации эффективной, гармония в теоретиче-

ских и практических комбинациях, в регулировательных и спекулятивных операциях, — вот атрибуты эпохи продуктивнейшей и с идеями солидными.

И т. д., и т. д.

Статейка эта так понравилась В. С. Курочкину, что он переложил ее в стихи:

Что за абсурдные инвенции
Антецедентной женерации?
И обскурантные тенденции,
И утр-томбные сенсации!
Контанпорейного движения,
Без консеквентного внимания,
Традиционные гонения...

И, если прибавить сюда Г. И. Жулева:

Приятель, не ропщи:
Хоть мы с тобой иззябли,
И лишь пустые щи
Едим, как Мизерабли...

Либо, — еще того прытче:

— О, ди фрау, слава, деньги ль —
Все твое, мейн енгел:
Будь моей лишь после бала...
«Гут!» — она сказала.
Восхищенный этим «гутом»,
Я, в восторге лютом,
Прыгать стал во время соло
На аршин от пола!..

— Но ведь это же все на смех. А ведь г. Игорь Северянин...

Тоже на смех, милый читатель. Тоже на смех. По крайней мере, хотелось бы, чтобы было на смех. Потому что в противном случае было бы уж очень жаль г. Игоря Северянина... Так жаль, как давно не было случая жалеть начинающего писателя.

Разумеется, на смех! Разве может человек, хоть сколько-нибудь талантливый и способный хоть к некоторому самосознанию, серьезно писать о себе:

Я, гений, Игорь-Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!..

И объявлять себя «королем», «государем», «Наполеоном», «Дантом», «президентным царем», какой-то «Марсельезие» и пр., и пр.

Я не хочу останавливаться на этой стороне стихотворчества г. Игоря Северянина. Во-первых, ею уже многие занимались в печати, говоря автору слова горькие и в большинстве заслуженные. Во-вторых, выпуская эти свои пошлости, г. Игорь Северянин хотя виновен, но заслуживает снисхождения. А заслуживает потому, что опять-таки и тут не он первый.

Раньше его целым рядом поэтов и прозаиков русская публика приучилась видеть в поэте прежде всего шута горохового, на которого начинают смотреть только с того момента, когда он «отмочит колено», которого начинают слушать, только тогда он, будто в гонг, ударит ни чему не подобною чепухою...

На таком коньке выехали к «известности» десятки господ из категории, которую г. Игорь Северянин энергически обзывает «обнаглевшая бездарь». И выезд этот сделался настолько привычным, а публика унижением поэтов, обратившихся в шутов, настолько избаловалась, что вот когда, наконец, появился поэт не из «бездари», а с проблеском таланта, то и он, — увы! — чтобы быть замеченным и «вкусить лавра», должен пройти через шутовской стаж. Покажи, милый человек, прежде всего, как ты кувыркаешься, а там, мол, посмотрим... И так как г. Игорь Северянин — человек даровитый и изобретательный, то совершенно естественно он, усердствуя в показании, как он ловок кувыркаться на все лады, да еще сгоряча и заигравшись, перенаглел всю «обнаглевшую бездарь», которую он сам же справедливо презирает и над которой гневно смеется... Отсюда и все его «поприщинские» выходки и выкрики Фердинанда VIII, столь снисходительного, что он даже не требует «знаков верноподданничества». Цели своей г. Игорь Северянин достиг... Внимание на него обращено, и даже очень обращено. Поэтому маска угождающей веку пошлости ему больше не нужна... И обществу хотелось бы видеть, а г. Игорю Северянину пора бы показать:

— Что же под маскою?

Покуда об этом могут быть только догадки, а они разнообразны и двусмысленны. Мы еще не слышали из-под маски г. Игоря Северянина слов оригинальных, но знаем, что слова заимствованные он выбирает хорошо, а произносить умеет красиво: с чувством, с темпераментом, даже с огнем. Мы с удовольствием слышали его декламирующим из Лермонтова, Фофанова, Лохвицкой, Бальмонта. Подобно Несчастливцеву в «Лесе», он часто «говорит и думает, как Шиллер». Конечно, человек, говорящий и думающий хотя бы и из тетрадки, но как Шиллер, предпочтителен человеку, говорящему и думающему хотя и вполне са-

мостоятельно, но, как подьячий. Однако нельзя скрыть плачевной истины, что из-под маски г. Игоря Северянина раздаются не все шиллеровские звуки, а очень часто вдруг икнет или рыгнет кто-то, именно вроде пьяного подьячего:

Ты набухла ребенком! ты — весенняя почка!
У меня вскоре будет златокудрая дочка.
Отчего же боишься ты познать материнство?
Плюй на все осужденья, как на подлое свинство!

Вот тебе и Шиллер! Скорее, не капитан ли Лебядкин, — тот самый, который в «Бесах» приглашал:

Ретроградка иль жорж-зандка,
Все равно, теперь ликуй:
Ты с приданым, гувернантка,
Плюй на все и торжествуй!

Маски опасны. Они прилипают к лицам, и, когда настанет время снять их, иным бывает больно, а у иных они оставляют на лицах нехороший след. «Златолира» в этом смысле — очень плачевный показатель. В «Громокипящем кубке» прорывы «Шиллера» часты и звонки. «Златолира» — почти сплошное кувырканье на потеху «ликующих, праздно болтающих». И, что всего печальнее, г. Игорь Северянин, среди холодного мещанского распутства, в миру которого он поет и которое воспевает, по-видимому, чувствует себя, как дома, и очень хорошо... Компания, положим, большая и теплая... Как говорили в старину, «со звуком», а ныне это, кажется, заменено определением «прасоловская»... Но зачем же тогда обижаться, что в нашей стране четверть века «центрит» (вероятно, стоит в центре общественного внимания) Надсон, а г. Игорь Северянин чувствует себя «в стороне»? Может ли быть иначе?

Надсон — поэт небольшой величины, и это неверно, что он «центрит» четверть века. Он никогда не был ни дирижером, ни первою скрипкою русского поэтического оркестра, никогда не приобретал значения «властителя думы». Но он — поэт, которого общество любило и уважало, любит и уважает, когда-нибудь, может быть перестанет любить, но уважать никогда не перестанет... Потому что, как ты его ни поверни, весь он — «рыцарь духа»... Чистым, светлым, самоотверженным человеколюбцем вошел он в мир, да послужит миру, собирая в свою чашу кровь и слезы угрюмого века. Величие Надсона создал не «талант» его, довольно бедно вооруженный образами, звуками и силою формы. Нет. Это необычайная красота светло страдающего рыцаря духа отразилась в каждом стихотворении его, и с такою яркостью и цельностью, что юноша, совсем не щедро одаренный вдохновением,

сложился не только в поэта, но в поэта глубокого и оригинального. В поэта, который умел говорить обществу «забытые слова» по-своему, неслыханному; в поэта, который своим духовным изяществом оправдывал и искупал нашу мрачную эпоху и, не будучи и претензий не имея быть великим, сыграл в долгой и широкой культурной русской полосе великую роль... Надсон — чудесное, органическое явление новой русской образованности, как бы фокус, собравший в себе лучшие лучи ее внутренней красоты, и этим пассивным соединением — могущественное и незабвенное... Ну... и... можете ли вообразить Надсона говорящим любимой женщине:

— Ты набухла ребенком?

Можете ли вообразить Надсона расписывающимся в одинаковой симпатии к рейхстагу и Бастилии, к ястребу и голубке?..

Можете ли вообразить Надсона, для которого железнодорожное крушение — только предлог «среди прелестнейших долин сыграть любви пантомин»?

Вот то-то и есть, что нет. А общество-то, — оно ведь требовательный взяточник. Его отношение к поэту всегда построено на do ut des. Нет ничего легче, как получить от него ту славу, которую правильнее назвать пресловутость. Даже при совершенной его избалованности коленцами кандидатов в любимцы публики пример г. Игоря Северянина — достаточно явственное показание, как мало требуется труда и материала для подобных достижений. Но, — увы! — не только «центрить», но даже просто иметь какое-либо значение в культуре своей эпохи с таким арсеналом нельзя. Ибо делу время, а потехе час, и в серьезные моменты своей жизни общество безжалостно к тем, кто, покуда длится час потехи, воображал, будто это-то и есть самое дело... В эти времена общество экзаменует своего любимца: обнаружь свой духовный капитал, — чем ты можешь служить мне, если ты сын мой, член мой? И вот у бедняка-то Надсона этого капитала на черные дни общества оказалось достаточно, и впрямь, на четверть века, даже до нашего времени. А богачи из его преемников по лире, между которыми были, конечно, многие значительнее Надсона удельным весом дарований, поголовно — банкрот, банкрот и банкрот...

Кто-нибудь из ригористов, пожалуй, найдет, что я говорю по поводу г. Игоря Северянина больше и, в конце концов, серьезнее, чем заслуживает эта пестрая эфемерида поэтического дня... Мало ли, мол, мы их перевидали, сегодня — «определителей эпох», завтра — «трехнедельных удальцов»... Считать, — цифирю не хватит... То-то вот и есть, что очень жаль было бы, если бы г. Игорь Северянин оказался такою же непрочною обыденкою, как и все «подававшие надежды» в послереволюционный период русской поэзии, который, не обинуясь, назову

бирюлечным... Произведения знаменитостей, им выдвигавшихся, прочитывал я в великом множестве. И решительно ни одна не затронула меня за живое до потребности вот поговорить о ней подробно и «по душам»... Ну, возник; ну, вытянул такую бирюльку, которой до тебя другие бирюлечники не вытягивали; ну, прославился; ну, а новых бирюлек — тянешь потянешь, вытянуть не можешь; ну, а другой бирюлечник тебя перебирюлил; ну, кувыркнулся ты с полувершкового пьедестала, и забыли о тебе, а тот, перебирюливший, воссиял для того, чтобы три недели спустя в том же порядке брякнуться в Лету, где ты уже барахтаешься... Ну, и туда вам обоим и дорога, по совести говоря... Г. Игорю Северянину, при всем безобразии маски, в которой он шутует, я именно, по совести говоря, не послал бы подобного напутствия... Под налетом скандала, чающего пресловутости и восторгающегося ею, теплится какая-то искра как будто настоящего дарования. В душной и спертой атмосфере, в которой эта искра тлеет сейчас, она почадит-почадит гимнами во славу буржуазного распутства и угаснет, задушенная испарениями того самого зажравшегося архимещанства, на пошлом быте которого сейчас сосредоточиваются творческие восторги поэта. Но если искре удастся вырваться из своей коктебельно-кокоточной гасильни, мне кажется, что она очень и очень в состоянии вспыхнуть радостным пожаром, какого мы не видали... да, пожалуй, что не видали именно с года «Горящих зданий» К. Д. Бальмонта...

Последним стихотворением в «Златолире» помещен сонет, посвященный автором какому-то г. Георгию Иванову:

Я помню вас. Вы нежный и простой.
И вы — эстет с презрительным лорнетом.
На ваш сонет ответствую сонетом,
Струя в него кларета грез отстой...
Я говорю мгновению: «Постой!»
И приказав ясней светить планетам,
Дружу с убого-милым кабинетом:
Я упоен страданья красотой...
Я в солнце угасаю, — я живу
По вечерам: брожу я на Неву,
Там ждет грезэра девственная дама,
Она — креолка древнего Днепра, —
Верна тому, чьего ребенка мама...
И нервничают броско два пера...

Кончив читать книжки г. Игоря Северянина, задумался я о нем и как-то невольно думы мои вылились тоже сонетом, так сказать, параллельным и с тем же расположением, приблизительно тех же рифм:

Читаю вас: вы нежный и простой,
И вы — кривляка пошлый по приметам.
За ваш сонет хлестну и вас сонетом:
Ведь, вы — талант, а не балбес пустой!
Довольно петь кларетный вам отстой,
Коверкая родной язык при этом.
Хотите быть не фатом, а поэтом?
Очиститесь страданья красотой!
Французя, как комми на рандеву,
Венка вам не дождаться на главу:
Жалка притворного юродства драма
И взрослым быть детинушке пора...
Как жаль, что вас, детей, не секла мама
За шалости небрежного пера!

Александр Амфитеатров

ПЫТКА С ПРИСТРАСТИЕМ

Недавно Амфитеатров написал большую статью об Игоре Северянине.

О молодом поэте теперь писать принято, и, казалось бы, нет ничего удивительного в том, что и Амфитеатров не отстает от общего правила.

Но дело в том, что статья Амфитеатрова, посвященная творчеству Игоря Северянина, резко расходится не только с общим взглядом на поэта, но, кроме того, намечает стройную платформу, следуя предписаниям которой, поэт может получить признание г. Амфитеатрова.

Я, конечно, не беру под свою защиту молодого поэта. Он в этом не нуждается нисколько. Я только хочу отметить обычное в наших критических застенках отношение ко всему новому, что еще не получило «всеобщего признания».

Я называю критику г. Амфитеатрова именно застенком, потому что пытает он молодого поэта «с пристрастием», безжалостно, не находя у него ничего, что могло бы «смягчить его вину».

А вся вина Игоря Северянина только в том, что он не нравится г. Амфитеатрову. Вина не малая.

Совсем недавно Мережковский обрушился на Тютчева за то, что ему были чужды «гражданское мотивы». На днях Минского в литературных застенках пытали за то, что он обнародовал признание Надсона, которое в публике может «вызвать соблазн».

Теперь г. Амфитеатров выступает со своим «сожалением» к Игорю Северянину.

Фельетон г. Амфитеатрова в «Русском слове» так и озаглавлен: «Человек, которого жаль».

Казалось бы, почему и зачем жалеть Игоря Северянина? Человек он молодой и талантливый, даже и прославиться уже успел. Пишет он, о чем хочет, поет как птица, не справляясь ни у кого, можно ли ему или нельзя петь и о том или ином. И не жалеть его нужно, а радоваться нужно, что вот есть человек, который поет, когда другие хнычут. Но г. Амфитеатров принадлежит к числу тех критиков, которые не любят бодрых слов, и в каждом бодром слове готовы что-то заподозрить.

Заподазривает Игоря Северянина и г. Амфитеатров.

Просто выдает ему свидетельство о его неблагонадежности и недоброкачественности его поэзии.

И каких только сравнений не подбирает Амфитеатров для Игоря Северянина. То с Княжниным его сравнит, то с капитаном Лебядкиным, то с румынским оркестром, то с румыном, который говорит на ломаном русском языке, то еще с кем-то.

А все это потому, что Игоря Северянина нельзя подогнать ни под какой ранжир, что нельзя отыскать ту болванку, на которой сшит его талант. Т. е. просто потому, что Игорь Северянин оригинален и талантлив.

На взгляд г. Амфитеатрова, талант — опасная вещь, потому с талантом критику куда труднее орудовать, чем с бездарностью. О бездарности и говорить-то нечего, а вот об Игоре Северянине г. Амфитеатрову понадобилось написать громадный фельетон, да и в нем он только и смог, что высмеять отдельные места из стихотворений Игоря Северянина, походить вокруг да около с ужимочками и насмешечками и расписаться в собственном непонимании задач поэзии. И только... И все же, несмотря на это, — фельетон г. Амфитеатрова есть явление примечательное и характерное.

Он лишний раз доказывает, что добиться признания публики не так трудно, как победить консерватизм присяжной критики. Хотя г. Амфитеатров и не принадлежит к числу присяжных критиков, но выступает и в этой области с тою же авторитетностью, с которой он выступает во всех областях. А потому и с мнением его как критика приходится поневоле считаться.

И вот получается в результате, что самые упорные в своих предрассудках люди, это — критики. Именно о предрассудках только здесь и может быть речь. О предрассудках того застенка, чрез который проходит всякий, имеющий несчастье обладать талантом.

Талант не уложишь на прокрустово ложе шаблона. Талант не измеришь своим маленьким аршином. За талантом без крыльев не угоняешься. А только то и сделаешь, так это подметишь два-три ляпсуса, две-три ошибки...

Свободу слова у нас слишком узко понимают. Привычка к цензуре въелась в нашу плоть и кровь, и теперь ни один критик не может отказаться от роли цензора, от роли блюстителя идейной нравственности, роли какого-то соглядатая и чтеца в сердцах. По крайней мере, цензор виден и в г. Амфитеатрове, когда он обрушивается на Игоря Северянина за его чисто юношескую восторженность, за его «приятие мира», выраженное в словах:

Я славлю восторженно Христа и антихриста,
Голубку и ястреба, рейхстаг и Бастилию,
Кокотку и схимника, порывность и сон.

Для г. Амфитеатрова это — только Яков Хам из сатиры Добролюбова, потому что г. Амфитеатров совершенно лишен поэтического чутья и каждое слово так и принимает, как таковое, не видя в нем образной антитезы.

А с таким отношением к поэзии можно поэта подвергать не критике, а только пытке в застенке, что г. Амфитеатров и делает с большим искусством.

Книжник

ХУДОЖНИКИ И КРИТИКА

Игорь Северянин, конечно, истинный поэт; такой певучести, такой классической простоты и сжатости слов и стиха давно не было в нашей поэзии, не было и такой свежести, нелитературности. Как скажется в дальнейшем его очаровательный талант — этого он сам не знает, конечно. Но взгляните: он уже определил свое амплуа и провозглашает его во всеуслышание: я — поэт экстаза, каприза, свободы и солнца:

Я с первобытном неразлучен,
Будь это жизнь ли, смерть ли будь.
Мне лед рассудочный докучен, —
Я солнце, солнце спрятал в грудь!
В моей душе такая россыпь
Сиянья, жизни и тепла.
Что для меня несносна поступь
Бездушных мыслей, как зола.

И в эпиграфе к книге, и в ее заглавии, и в предисловии Ф. Сологуба – то же определение: я – молодость, я – непосредственность, я – солнечный, дерзкий, жизнью пьяный!

Не «дерзость» этих заявлений я ставлю в упрек Игорю Северянину; но мне жаль, что он так ясно сознает себя, мне жаль, что его заявления так рассудочны. В этом есть что-то старческое, и во всяком случае это опасно для поэта и вредно для его читателей. Он сразу дает свою формулу, – и в рамке этой формулы его будут воспринимать, и сам он неизбежно будет склонен играть свою формулированную роль, как это отчасти делают до сих пор и Бальмонт, и Брюсов. Зачем он связывает себя и объясняет себя читателям? Это, разумеется, органично, – ведь и Пушкин начинал как солнечный, однако роли себе не приписывал и ее не объявлял; но, может быть, тут есть и вина русской традиции, исконной привычки нашей критики поспешно «формулировать» сущность каждого из наших писателей.

Junior

ОТМЕЧЕННЫЕ ИМЕНА

В Игоре Северянине страшна не лингвистическая резвость и безвкусие неологизмов, зачастую обнаруживающие опасную для поэта нечуткость к духу родного языка, – не это моветонное щегольство творческой юности. Пусть «денеет» и «утреет» комната, «струнят глаза», «окалошиваются ноги», «офиалчен и олилиен озерзамок Мирры Лохвицкой», пусть даже существуют эти отвратительные «грезэры» и «грезэрки», «эксцессерки», «сюрпризэрки» и т. п. сокровища северянинского жаргона, – «с годами» может спасть эта «ветхая чешуя», и творческий темперамент, явный нам в Игоре Северянине, может вынести поэта из болота глупых «изысков». Страшно, на наш взгляд, присутствие глубокого прозаизма в стихах поэта. Такие строки, как: «из-за меня везде содом», «опять блаженствовать лафа», «гнила культура, как рокфор», «мне сердце часто повторяло, что порывается в аул», – да всех их не перечесть; ими пестреют даже лучшие стихи И. Северянина, – такие строки весьма знаменательны для нас. Прозаизм – не внешнее свойство, это – болезнь, таящаяся в недрах творческого духа, и, принимая во внимание дурной вкус стихотворца, мы более чем сомневаемся, чтобы из «гения Игоря Северянина» выработался настоящий поэт.

Андрей Полянин

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ УДАЛЕЦ

Как я ни открещивался от этого наваждения, как ни протирал глаза, «поэзы» Игоря Северянина неотступно преследуют меня.

Весьма равнодушный к футуризму, не могу пройти мимо этого футуриста. Интересует, как никто. Полчища поэтов, – я совершенно безучастен, а этот «двухнедельный удалец» ворожит надо мной, как очковая змея. Северянин заинтриговал меня еще тогда, когда так упорно лез на рожон, ошарашивая критиков вызывающими манифестами и летучками. Но век мыльных пузырей приучает к осторожности. Да и не было смысла вмешиваться в скандал, затеянный с прозаической целью широкого оповещения.

Северянин «делал·шум», покорял мелкую прессу, подзуживал обывательское любопытство. В его «аттракционах» буйствовала убежденная самореклама, «смелость, берущая города». И критический Шаброль дрогнул: изумились и поощрили. Не столько от понимания, как от трусости. «Спящие девы» из толстых журналов сделали вид, что глаз не смыкали в ожидании Северянина. Смешно было видеть, как бегут за колесницей юного задора почтенные носители традиций.

Все это было так фальшиво, неумно и пошло, что я, при всем интересе к новому поэту, с отвращением отвернулся от его триумфа. И только теперь, когда скандал отгремел и битье стекол окончилось, когда Игорь Северянин показывает не только смелость, но и задатки сильного дарования, нахожу возможным уделить этому поэту должное внимание.

Игорь Северянин действительно стоит того, чтобы им заняться как литературным явлением, и это совершенно вне «эго-футуризма», без всякого отношения к моде и сезону. Футуризм оказался химерой, пуфом, а этот «ушкуйник» все больше разжигает внимание. Есть в Северянине нечто властное, притягивающее. Это – обаяние таланта, молодого, свежего, незаурядного, та власть, которая берет без раздумья и боя. Сколько бы ни было плевел в этой поэтической кошнице, не оскудевает к ней внимание. Игорю Северянину против воли прощаешь многое.

Читаю эти взбалмошные экстравагантные стихи, и где моя придирчивость, где моя желчь и брезгливая гримаса? Рождается даже какое-то сочувствие к несомненному озорству и вызову. Старая истина: «победителей не судят». А Игорь Северянин, в самом деле, победитель, и его приход весьма знаменателен.

Никогда яркий поэтический талант не является так кстати, так вовремя, как на этот раз. Уже мирно поделили дивиденд долголетних

операций символизма, и вдруг: на «пир русской поэзии» вламывается безродный крикун и расталкивает величественных амфитрионов.

Игорь Северянин проделал свой дебют не только с апломбом, но и с размахом подлинной силы, с темпераментом:

Я, гений Игорь-Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен,
Я повсесердно утвержлен.
От Баязета к Порт-Артуру
Черту упорную провел.
Я покорил литературу,
Взорлил, гремящий, на престол.

Это было великолепно. Насмарку четверть века декадентских ухищрений, на слом Эйфелеву башню «нового искусства», курам на смех трудолюбивое донкихотство:

Я, — год назад, — сказал: «я буду».
Год отсверкал, и вот — я есть.

Гордое заявление, но близкое к правде. Литература, действительно, спасовала перед натиском буйного юнца, и в его самохвальстве отчетливо слышится сознание превосходства, уверенность сильнейшего:

Я так устал от льстивой свиты
И от мучительных похвал...
Мне скучен королевский титул,
Которым Бог меня венчал.
Вокруг — талантливые трусы
И обнаглевшая бездарь...
И только вы, Валерий Брюсов,
Как некий равный государь.

Кому как, а мне это положительно нравится. Какое яркое обличение нищего века! Северянин прав. На фоне современности он, бесспорно, гениален. По мудрой поговорке — «на безрыбье и рак рыба». Гений, так гений. Нет царя, да здравствует самозванец, пусть только умеет носить корону, да будет ростом чуточку повыше. В смутное время самозванцы необходимы. Они дискредитируют друг друга. Почем знать? Признанный «равным государем», может быть, завтра будет ославлен, как «тушинский вор». На каждого «гения» есть теперь острастка в лицах другого «гения», значит, чем больше «гениев», тем лучше. А если помимо «гениальности» есть и мало-мальский талант, то это уж совсем хорошо. Когда же к таланту присоединяется еще и смелость,

перед нами «завоеватель», Тамерлан, Наполеон. Так обстоит дело с Игорем Северянином. Если в первом сборнике «Громокипящем кубке», он именовал себя растяжимым эпитетом «гения», то во втором сборнике, в «Златолире», он уже чувствует себя Наполеоном. Ни больше ни меньше:

Я — гениальный корсиканец,
Я — возрожденный Бонапарт.

С виду как будто маньячество, а на деле поистине судьба Наполеона, остров Св. Елены в океане бездарности, бессилия и трусости. Век лилипутов, век нищих и безродных, как мало он требует для роли Гулливера! Нет, у меня не поднимается рука на самохвальство Северянина, на его многочисленные «самогимны» и упоенное хвастовство — это не от маньячества, а от сознания «прав и преимуществ». Точно так же и исключительное внимание к Игорю — самозванцу не от заблуждения, а от яркого впечатления на фоне всеобщей тусклости.

Наконец-то современность нашла сильное и меткое выражение, наконец-то явился поэт с живым ощущением века. «Эго-футурист» — какая мертвая наклейка! И при чем тут будущее, когда тут все современное, сегодняшнее, только что откупоренное, порожденное минутой.

Теперь повсюду дирижабли
Летят, пропеллером ворча,
И ассонансы, точно сабли,
Рубнули рифму сгоряча.
Мы живы острым и мгновенным, —
Наш избалованный каприз
Быть ледяным, но вдохновенным,
И что ни слово, то сюрприз.
Не терпим мы дешевых копий,
Их примелькавшихся тонов,
И потрясающих утопий
Мы ждем, как розовых слонов.
Душа утонченно черствеет,
Гнила культура, как рокфор...

«Поэзы» Игоря Северянина имеют одно веское оправдание — они современны, слишком современны, под стать «рокфору», перенасыщены его гнилыми ароматами, в них все, чем дышит черствая, опустошенная, одичавшая душа века. Шум пропеллеров, мигание кинемо и чад авто, пряности парфюмерии и зашнурованное бесстыдство, язык плакатов и пестрота чувств, скрежет обостренных инстинктов и тупоумное самодовольство нигилизма, комфортабельное расслабление и

щекотание нервов экзотикой, вся гниль, весь разлад, все опустошение механической культуры! В этих стихах все своеобразно — и эстетика, и мораль, и логика. Парикмахер, орангутанг и авиатор сплелись в один махровый цветок эго-футуризма. Ажурное мастерство стиля странным образом сопряглось с грубейшею чувственностью, и тонкий расчет карьеризма переплелся с безрассудной смелостью лунатика.

Психиатр нашел бы тут все элементы душевного распада, все атрибуты истерии, перед социологом — яркая картина буржуазного вырождения, историк литературы увидит смешение стилей и разрыв с традициями, но... поэзия остается поэзией при всяких мнениях, при всяком содержании, при всяком выражении, раз она выплеснута со дна души, обнаружена в порыве искренности и непосредственности. Меня совершенно не занимает «подпочва» Игоря Северянина. Мне любопытен он сам по себе, как художественное впечатление, как носитель свежего и незаурядного. И тут Северянин сразу же высоко поднимается над современной юдолью тщеты и фальши, тут он из ряда вон. Сколько бы в нем ни выискивать преднамеренного, бьющего на эффект, рассчитанного на скандал, остается еще много такого, что вырвалось невзначай, что вдруг осенило, нежданно вскипело, вспыхнуло юношескою наивностью.

Это касается не только вывихнутых «словоновшеств», не только ошарашивающих образов, не только галантно-искривленных тем, но и самого нутра поэзии Северянина. Все, все нечаянно, по младенчеству, ради шаловливого каприза. Тютчевский эпиграф удивительно метко характеризуете происхождение этой поэзии:

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

И когда это прочувствуешь, сразу меняется смысл холодного наблюдения, совсем, совсем другое лицо глядит из сборника. Вовсе не «сын века», не холодный культурник, а хрупкий ребенок в бархатной курточке, играющий в серсо на зеленой лужайке, шалун, баловень, вундеркинд, озаренный грезами, изгибающийся в шалостях и кокетстве. И вовсе не «футурист», не разрушитель, не демонист, а безрассудный мечтатель, очарованный фантаст, сын Фофанова, певец мая, розовая сентиментальность, то с экстазными порывами, то с надломом русской тоски. И еще, когда окунешься в кружева, в шелк, в нежное боа этой утонченной стилистики, этого салонного остроумия, этой кокетливой и томной болтовни, этих амурно-ажурных ощущений, смотрит вам в душу изощренный лирик, отзвук Альфреда Мюссе, изгиб Оскара Уайльда:

За струнной изгородью лиры
Живет неведомый паяц, —

тот вечный паяц, которого зовут поэтом, который творит мечту и улыбки, воздвигает фантомы, покоряет салоны, в кокотке вдруг найдет Офелию и автомобиль превращает в Пегаса.

Паясничество Игоря Северянина вдохновенно, и он целен и строен в своей изломанности и разноголосице, и «за струнной изгородью» художник, виртуоз, чуткий, изнеженный музыкант.

В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом,
По аллее олуненной вы проходите морево...
Ваше платье изысканно, ваша тальма лазорева,
А дорожка песочная от листвы разузорена —
Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый.

Как будто есть над чем посмеяться, но и сквозь смех будет слышен музыкальный ритм.

У Игоря Северянина в двух сборниках очень много таких стихов, слишком изысканных, слишком экзотических, но их внешняя вычурность овеяна внутренней простотой, я бы сказал, простодушием. Наш «денди» не лукав: только и того, что Иванушка причесался по-английски. Может быть, весь смысл его напомаженных мадригалов укладывается в эти две наивные строчки:

Олазорь незабудками глазок
Обнищавшую душу мою.

Северянин в качестве певца любви истекает в сентиментах и превыспреннем идеализме. И хотел бы быть развратным и циничным, но, едва глянул на женщину — самая заурядная кокоточка Нелли, Зизи, Лиль, мигом превращаются у него в принцесс и «грезэрок». Очень храбрый в литературных завоеваниях, он пасует в атмосфере нежных чувств и робким пажем заплетается в дамских шлейфах.

Есть в Северянине что-то женственное; бессильный в страстях, он очень выразителен в будуарных аксессуарах, болезненно чуток к красивой обстановке любви.

Цветы, духи, фрукты, шампанское, ликер, изящный лимузин, сиреневый конверт, в этом он расточителен больше всего. В чувствах же Северянин вял, скромен, холодноват, истомленно-покорен, не идет дальше вздохов, лицейского сюсюканья, пошловатых восторгов перед пальчиками и локончиками. И напрасно он шепелявит свои «хабанеры», страсть не его стихия. Северянин выразителен и певуч в беспредметных мечтаниях, в царстве лунных призраков и миражей. Он должен

выдумать себе героиню, сочинить или увидеть во сне (Балькис, принцесса Мимоза, Инес).

Пристально вглядываясь в Игоря Северянина, я не только перестаю верить в его футуризм, но даже и в его современность. Его «поззы» современны по обстановке, по словарю, по психологическому складу. И только. Содержание же этого новаторства то, что слывет в грамматике под именем «давнопрошедшего». У этого нового поэта достаточно ветхие настроения. В основе его поэзии идиллия. Северянин не зажжет солнца, как обещает, и не встревожит мир трубой архангела.

Раскрашивать цветочки, рисовать губки бантиком, играть на окарине, писать мадригалы нездешним принцессам, вот его поэтической круг. Модернизованная Аркадия с весьма ограниченными горизонтами: гостиная, пляж, финская дача, робкие пожатия в лимузине, «мой — рой», «грезы — слезы», «мечты — цветы», скромное наследство Фофанова и — Мирры Лохвицкой, перекроенное по фасону «заумностей» и «словоновшеств».

И пока нет в нем умысла, пока пенятся эти идиллические песенки молодостью и живой любовью к миру, до тех пор такая поэзия может привлекать и очаровывать. Но посягать на вечность с подобной «дачной мебелью» рискованно.

Соразмеряйте силы, господа поэты.

А. Б.

Проф. Р. Ф. Брандт
О ЯЗЫКЕ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА

Игорь Васильевич Шеншин-Лотарев, сам себя называющий Игорем Северянином, поэт несомненно заслуживающий возбужденное им внимание, хотя величая себе «гением» (Эго-футуризм, Пролог), «историком в поэзии» (Поэза о Карамзине) и т. д., он отчасти преувеличивает, отчасти шутит. У меня интерес к нему выразился уже несколькими эпиграммами и газетными заметками. В настоящей статье я, по приглашению Редактора предлежащего сборника, желаю рассмотреть по возможности обстоятельно, хотя и вкратце, язык нашего «поэзника».

Мне предлежат, как полное собрание сочинений, четыре игоревских сборника: «Громокипящий кубок». Изд. седьмое. Москва 1915; «Златолира». Издание четвертое. Москва 1915; «Ананасы в шампан-

ском». Издание второе. Москва 1915 и «Victoria Regia». Издание второе. Москва 1915. Все содержимые здесь «поэзы» я внимательно перечел и вновь прочитал и сделал из них подробные, систематичные выписки; но читателю, конечно, поднесу матерьял свой не целиком.

Имеющиеся у меня новые издания, поскольку мне удалось сличить их с первыми, не представляют никаких существенных изменений; да они и не называются ни исправленными, ни дополненными, ни сокращенными.

Язык Игоря бывает весьма своеобразным — настолько, что Амфитеатров о некоторых вещах его отказался судить «по незнакомству с языком, на котором они написаны» *. Иные стихотворения в самом деле кишат своеобразностями, как, например, «Обреченный» в «Златолире». С другой стороны, есть, однако, как отметил уже и Амфитеатров, также стихотворения, писанные обыкновенным языком. Таковы, напр., «В очарованьи», «Стансы: Простишь ли ты», «В парке» (Громокипящий кубок), «Моя дача» (Златолира), «Она критикует», «Nocturne: Месяц гладит камыши» (Ананасы), «Так уж сказалось» (Victoria Regia).

Оригинальности допускаются сознательно, намеренно — сам автор в «Корректном письме» (V. R.) говорит:

Я разве не мог бы писать примитивно,
Без новых метафор и слов?
Я так и пишу иногда.

А в другом месте — «Боа из хризантем» (Гр. к.) — он восклицает:

О, в поэзах изысканных я строжайший редактор!

Не совсем только ясно, какую грань стихотворец проводит между поэзами изысканными и небрежными. Иногда, правда, он несомненно шутит; таковы: «Мороженое из сирени» и «Фиолетовый транс» (Гр. к.), «Увертюра» и «Пятицвет II» (Ан.). Но порой и в серьезных вещах вдруг появляются странности, похожие на дурачество. Так, едва

* *Амфитеатров Александр.* Человек, которого жаль // Русское слово. 1914. 15 мая. — Довольно длинное, но также недостаточно глубокое (местами педантски-придирчивое) рассмотрение Игорева языка находим у Андрея Шемшурина: Футуризм в стихах В. Брюсова. Москва 1913, где страницы 187—240 представляют Приложение 3 «Громокипящий кубок И. Северянина и русский язык»: Шемшурин утверждает (с. 215), что наш поэт «плохо разбирается в русском языке», причем «ошибки... таковы, что по языку он должен быть иностранцем» (с. 192).

ли можно сомневаться, что стихотворение «В кленах раскидистых» (Гр. к.) изображает искреннее, нужное чувство, однако в нем подпущены выражения: «разузорим уют», «в кленах... есть водопад вдохновенья», «лирное сердце», «весна бравурит зеленые вальсы». Также в «Издевательстве» (Ан.), хотя оно и кончается ироничным восклицом:

Царица Жизнь воспитана, как хамка! —

описание ночи и успеха вдохновенного поэта, конечно, задуманы всерьез, хотя выражены крайне чудно́. И в обильном странностями «Поэзоконцерте» (Гр. к.), полагаю, никак не в шутку брошен заключительный вызов:

Проклинайте, люди трезвые! Громче, злей, вороны, каркайте!
Я, как ректор Академии, пью за озерзамок тост!

Не буду, впрочем, говорить очень решительно насчет намерений автора: в «Хабанере III» (Гр. к.) для меня стихи: «О, бездна тайны! о, тайна бездны! Забвенья глуби... гамак волны!.. Как мы подземны! как мы надзвездны! Как мы бездонны! как мы полны!» звучат лирично, и даже недурно, между тем сам поэт нам говорит в «Сувенире критике» (V. R.):

Какая глупая в России критика!
Зло насмеялася над «Хабанерою»...
В сатире жалящей искала лирики.

Своеобразность игоревского языка состоит большей частью в том, что еще сильнее развито у более крайних футуристов и прямо написано на их знамени как «словоновшество».

Новотворки у Северянина являются особенно часто в следующих видах: 1) предложные глаголы на -ить, типа «озадачить», 2) глаголы ятевые, типа «краснеть», 3) предложные и сложные прикладки, типов «безводный» и «вероломный», 4) предметницы на -ье, типа «распутье», «красноречье», 5) предметницы женского рода на -ь типа «гладь», и 6) сложные слова из двух предметниц, типа «небосвод».

Считаю нужным здесь же оговорить, что я отнюдь не враг новшеств в языке: особенно в грамматике я пытаюсь заменить целый ряд мудреных и длинных слов более простыми и складными, говоря, например, как в предыдущих строках, вместо «существительное» — предметница, вм. «прилагательное» — прикладок, вм. «новообразование» — новотворка.

Больше всего Игорь любит глаголы на «ить» с предлогом «о»: мои пути осветозарь! (Алтайский гимн); Вам сердце окудесила проказница-весна (Песенка-весенка); олазорь незабудками глазок обнищавшую

душу мою! (Вне); офиалчен и олилиен озерзамок Мирры Лохвицкой (Поэзоконцерт); удастся ль душу дамы восторженно омолнить? (Каретка куртизанки; также: в омолненном дыме — Качалка грезэрки); он злится, хочет мести, мгновенно себя очортив (Блаженный Гриша); огимнив душисто-веселый свой труд (Промельк: «Янтарно-гитарные пчелы»); очáрен Балтикою девной (Поэза детства моего и отрочества: говоря «очарован», мы почти уже не думаем о чарах, о колдовстве); Бэбэ печально, но улыбит свое лицо (Поэза детства моего и отрочества, 5); я вновь желаю вас опéрлить, река и дева (Тж., 6, срвн. Захочу — опéрлю его. — Майская песенка); омáтовить весь лоск германца (Поэза о гуннах); я осоловьил Парнас (Поэза для Брюсова) и т. д.

Иногда эти глаголы принимают форму возвратную, как: он готов осупружиться (Нелли); оцарься, раб! (Поэза спичечного коробка).

Игоревы новотворные глаголы сразу понятны и весьма выразительны; притом это живой тип, новотворки по коему — правда, изредка — встречаются помимо декадентства. Жуковский заставляет говорить мышиного царевича, что их «край надолго был обезмышен»; Тютчев (К Ганке) сказал: тех обезъязычил немец; недавно в официальном объявлении говорилось о мызе, «остолбленной» распоряжением военного ведомства; сам я в своих язычных работах употребляю глагол «опримерить» слово или форму — снабдить примерами из письменности *.

Но возражения вызывают у Игоря только некоторые частности. Таков глагол «оэкранить»: «я повсеградно оэкранен» (Эго-футуризм, Эпилог). Надо бы, прежде всего, «об-»: грамматика велит нам употреблять предлог этот перед гласными в более полном виде («о» действительно развилось из «об» перед согласными, хотя потом в большинстве славянских языков решительно возобладало), а наша народная речь и вообще предпочитает «об»; кроме того, здесь естественнее было бы взять другой предлог: «на». Тот же предлог я предложил бы подставить в выражении «меня отронит Марсельезия» (Самогимн). А в выраженье «в твоем огрязненном снегу» (Поэза дет. м. и отроч., 5) уместнее был бы предлог «за».

Реже встречаются ижевые глаголы с другими приставками: взорлил, т. е. взлетел орлом (Эго-фут., Эпил.); приступила в седьмом ряду

* Насчет того, что вещи, отвергаемые ревнителями школьной грамматики и обиходной речи, появляются у образцовых писателей, можно справиться у Чернышева: *Чернышев В.* Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики. Издание 2-е, исправленное и дополненное. Петербург-Петроград, 1914—15.

(Замужница); она брала перо..., бессмертя мглы дурманящий мираж (На строчку более, чем сонет); разузлена система жил (Памяти К. М. Фофанова); я забурлила – с шумом поплыла – на мыс (День на ферме); дорожка... от листвы разузорена (Кэнзели).

Попадаются также новые ижевые глаголы беспредложные: лес драприт стволы в туманную тунику (Berceuse осенний); вальсы... бравурит весна (В кленах раскидистых); цепят звенья пахитос, т. е., куря, пускают дымовые кольца (Поэзоконцерт); четверть века центрит Надсон (Поэма вне абонемента); солнце ла́вит с неба (Прогулка короля).

Два-три раза встречаются глаголы сложные – производные с сложных имен: сенокося твой спелый июль (Эксцессерка). По образцу своего «сеноко́сить» Игорь создал еще и «людоко́сить»: в них людоко́сящие войны невероятны, как потоп («Благословенны ваши домы»).

Отметим еще некоторые ижевые глаголы возвратной формы: зальдись водопадное сердце! (Мороженое из сирени); воробьи на дороге шустрятся (В ресторане); лошади распылились в пляске (Марионетка проказ).

Значительно также количество глаголов ятевых, как: вечереет холодно (На реке форелевой); уже ночело (Когда ночело); костер ветреет (Эпиталама); лес заветрел (Когда ночело); пока листвеют клены (Невод грез); отчего же я огневею? (На островах); грозовеет облако (Лиробасня); вот пробесшу́мела мышь (Эскизетка); очи синие, синейте завтра, как вчера! (Еще не значит). – Странны «мореть» и «замореть», указывающие, по связи, на то, что люди очутились у моря и под его влиянием: мореет: шинам хрустче (В коляске Эсклармонды); заморело! – глиняные глыбки я бросаю в море, хохоча (Прогулка короля).

Своеобразен, но ясен и кстати, необычный глагол с приметою «а» («я»): столпляются девушки (Балтийские кэнзели). Не совсем ясен, однако, другой: я выгромляю в небе громы («Благословенны ваши домы»); а третий, сам по себе вполне прозрачный, стоит в бестолковой фразе: я – купальщица – потопляла солнце (День на ферме).

Понятны и выразительны также новотворные прикладки: предложные – особенно часто с предлогом «без», в некотором злопотребленьи которым винится сам автор, словами: «будь проклята приставка без!» (Замужница), – сложные и простые. Примеры: преданье в безлистную книгу времен навек занесло свои строки (Баллада; ср. – само по себе непонятное – выражение «в безлистном шелесте страниц». Октябрь); над бестинным прудом (Качалка грезэрки); бесстранный король (Памяти Мациевича); предснежный месяц (Октябрь); беспопья свадьба (Пляска мая); море безволное (Экстаза; также: море безво́лно, Поэза майских дней); леннострунный Нил (Балькис и Валтасар 3); золотогрёзый виноград (Тринадцатая); стальносердные братья мои (Вне); успо-

коив его — ребенка — благоматного (Отчаяние); так мы встретились, разнотропные (Кладбищ., поэзы, II); белоконные гусары («Провижу день»); в росисто-щебетном саду (Дачный кофе) *. Как примеры простых прикладков на -ный отметим: (шуточное) боа из маркизных головок (Боа из хризантем); на сóфном бархате (Поэзоконцерт); вы такая эстетная (Кэнзели); арфное (имя) Балькис (Саронская фантазия); с протестным бичом (Вне); как гетера усладного Рима (Соната); ты идешь, улыбна и легка (В госпитале; также: я милый, белый, улыбный ландыш, Préludi I).

Несколько смущают меня: лилиесердный герцог (видно, чистый душою — Дель-Аква-Тор); блузка лилиебатистовая («Еще вы девушка»); шалэ березозебреное — беседка из березы, напоминающей корою белую, чернополосую зебру (В шалэ березовом; правда, это вещь шуточная). Непонятен мне злофейный креп (Virelai). «Снегоскалый» было бы недурно, если бы так определялся Казбек или Эльбрус, но снегоскалый гипноз (Эго-фут., Эпил.) повергает меня в недоумение.

Отмечу, кстати, своеобразное употребленье связанных с прикладками наречий, хотя своеобразность здесь по большей части относится не к форме слов, а к обороту речи: было повсюду майно (День на ферме); задрапированн(ая) мишурно (Письмо из усадьбы); солнце улыбно уходит домой (Земля и Солнце); вы оделись вечером кисейно (Когда придет корабль; таково же: вас одеть фиолетово, фиолетово-бархатно, Боа из хризантем); отдавалась грозóво («Это было у моря»); цилиндры... причесанные лоско (Каретка куртизанки); удáло в ладоши захлопайте! (Фантазия восхода); распустив павлиньево свой веер (Когда придет корабль); льются взоры ласково и грезно (Прогулка короля); порой бранят меня площадно (Эго-фут., Прол„ IV); как журчно... реку льет (Рондели о ронделях); всероссно — т. е. по всей России — твердят (Крымская трагикомедия); я исто смел, я исто прям (Поэза для Брюсова); со сном чаруйным вплямь — очевидно, пламенно, горячо — заспорю (Вервэна).

Многочисленны, далее, слова среднего рода на -ье, тоже несомненно ростоспособная категория: в немом безлучьи (В грехе забвенье); (Мадлена... хмурит) чернобровье (В березовом коттэдже); в немом безгрёзье (Элементарная соната; также: царь погружается в безгрёзье — т. е., должно быть, в сон без видений: Балькис и Валтасар, 3; ища в нем черного безгрёзья: Героиза — пишу ё, т. к. созвучиями у Игоря служат

* Укажу еще, что Игорь довольно решительно предпочитает у таких прикладков наставку -ный безнаставности, т. е. тип «черезполосный» типу «безголосый».

«позе» и «гроздий»); на отложье берега (На реке форелевой); снега, снега – как беломорье (Алтайской гимн); пушисто-снежное узорье (Тж.); всегда предгрозье душно (Секстина: «Я заклеймен, как некогда Бодлэр»); сколько пустоты и безнадежья (Морская памятка); равнокровье и злой мезальянс (Электрассонанс); будет в вечерах угрозье (Осени предчувствие; также: в глазах угрозье горлоспазм, Загорной); он златолетье с вами жил – златолетье, д. б., срок золотой свадьбы, 50 лет (Памяти К. М. Фофанова). Своеобразны, как простые, слова: «цветочье»: брожу я часто по цветочью (В Миррэлии) и «горбовье»: по холмистому горбовью труп мой в озеро спусти! (По восемь строк, III), и, как отглагольные: к пробитью закатного часа (Инэс) и «в отстраданьи» (Замужница). Несколько искусственным кажется допущенное раз-другой, ради стиха, двусложное окончанье -ие: в апрелие – апрельской порой (В Миррэлии); молнии, как огнестрелие (Тж.); ни поцелуя, ни обручия – т. е. объятия (Кладбищ. поэзы, II); в ряды Краснокрестия ступайте без слов! (Все вперед!).

Любит Игорь еще одну, несомненно живучую категорию – односложные слова женского рода на «ь». Таковы: (он) вернет меня к моей бесцельной яви (Berceuse осенний; это слово, впрочем, не совсем новое*; над ручейками хрусталит хрупь (Фиалка; также: ты – сплошная хрупь, Кузина Лида); врожденная сонь (Предостерегающая поэза); и сонь, и лунь, и воль (Грасильда, 3); (звуки) навевали смуть былого (Nocturno); бежали двое в тлень болот (Эго-ф., Эп.); юнью дерзкий (Гризель); бирюзовая теплая влажь (Гашиш Нефтис); шансонетка с гнусью мин (В кустах жасмина); чарующая чудь (Вечером жасминовым)**; влекуся в моревую сквозь (Вервэна); новь – в смысле не новопашной земли, а новых предметов или ощущений: какие нови в чарах мая, какая в новях благодать! и сколько новей в чарах мая! («Я жив, и жить хочу»). Как такие краткие и складные слова Шемшурин, говорящий о слове «синь», коим пользуются и другие, в том числе мой двойник, Орест Головнин: «Вечно синью яркою одет, небесный свод и стуже чужд, и зною»). Освобожд. Ерус., XV, 54, мог назвать «неуклюжими» – мне непостижимо.

Рискованнее, не имеющие прямых образцов (ср., впрочем, «лазурь», «эмаль», «благодать»), слова двусложные и, кажется, единственное, трехсложное. Разумею стихи: «приди, любуйся моей фио-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Относительно новости слов легко ошибиться, ибо точно установить ее можно бы лишь обширным, кропотливым обследованием.

** Не знаю, следует ли тут смущаться, и мне не сразу вспомнившимся, старинным значением слова Чудь – финны.

лью» и «моей фиолью святи мечты» (Фиалка); льются взоры,... то лазорь, то пламя, то фиоль (Прогулка короля); фимьямная лиловь (сирени — Интермеццо); в улыбках ве́сени (весенней неги — Балтика, 3); ты вся — улыбь (Кузина Лида); обнаглевшая безда́рь (Прощальная поэза); не все ли мне равно — я гений иль заурядная безда́рь, когда я... весь сплошная светоза́рь (Монументальные пустяки, 1). У составных слов этой группы можно усмотреть неправильность в их наконечном ударении, тогда как ударение здесь тяготеет к начальному слогу: за́водь, у́даль, при́быль, ро́ссыпь, бе́столочь, даже и́конопись (хотя слышится также ико́нопись); впрочем, в пользу Игоря можно сослаться на исключения: поги́бель, и особенно посте́ль, напа́сть, благода́ть.

Вот еще примеры на несколько своеобразных и хороших производниц, не подходящих под обычные игоревские категории. Зизи, Зизи! тебе себя не жаль? Не жаль себя, бутончатой и кроткой? (Зизи); чарунья грёз («Благословенны ваши домы»; так же: пою чаруний — стрекоз. Prélude I); ты — бессмертница! ты — всемирница! (Кокетта); безжалостница, ближница и далёчница — в последнем слове пишу ё, т. к. созвучье к нему «хочется» (Никчемная); известница — известная, знаменитая (Процвет Амазонии); «Замужница» — заглавие; иконница-моленная (Симфония); мечтатели — вечно бездомники (Фантазия восхода); предутренник — предрассветный ветерок (Алтайский гимн); я — солнечник, и лью с эстрады на публику лучи поэз (Замужница); для святотатца («Вернуть любовь») — я позволил себе в Освобожденном Ерусалиме подобное же образование: на созаклятцах будет знак креста (песнь XIX, октава 87); он пел застольцам «Алаверды» (В духане над Курой); мне улыбалась Красота, как фавориту-аполлонцу (Героиза; также: душой поэта и аполлонца, Лесофея); воспевца монумент-фонтана (Бахчис. фонт.); мы с вами оба гениальцы (Поэза для Брюсова); любовь владыки своей мечты, безвестца своего (Колье рондо, 8); пчела, летучая жужжалка (Заклинание); Метёлка-самомёлка (в заглавье и во всех строфах); все в кучу: слон и кролка — кроличек (Тж.); бессонок! — человек бессонный, не могущий заснуть, в данном случае девушка (Колье рондо, 7); мой литературный выдвиг (Поэза дет. м. и отр. 5); и в этих о́тгулах рванулись двери (Поэза трех принцесс); призрачный про́мельк экспресса (В пяти верстах по полотну). Последним словом, действительно прекрасным, поэт сам, видно, очень доволен, так что употребил его еще 3 раза, как заглавие: раз в Златолире и дважды — в Ананасах. — Меньше мне нравится Славяния (Все вперед!) — у певца панславизма, Коллара, лучше: Славия (Slávie). Очень мило звучит «ве́сенка»: «Песенка-весенка» — заглавие, хотя производство его от слова «весна» или от «весенний» несколько произвольно. Сомнительно мне достоинство слова «вселенец» — космопо-

лит: кто мыслит глубже, тот вселенец («Мою страну зовут Россией»), вселенец, заключенный в смокинг дэнди (Оскар Уайльд); я образовал бы «вселенщик», от вселенский, или «всемирник» — Игорева форма примыкает скорее к глаголу «вселиться», чем к предметнице «вселенная», ср. поселенец, переселенец. Сомнительного достоинства также «преступка» вм. преступница (Тарновская). «Нет ни лампы, ни надлампника, — все сгорело... Недосмотр неопытного рампника?» (У Е. К. Мравиной) д. б. — неуместная! — шутка.

Иногда, напротив того, новые слова настолько удачны, что даже не замечаешь их новости. Таковы: она тоскует... о незабудках, о росной сени (Лесофея); игольчатые рощи (Письмо из усадьбы); ветровые сани (Январь); трехкомнатная дача (Янтарная элегия); я завтра напишу угрюмцу твоему (Примитивный романс) *; грёз неистечные ключи (Демон); пряною душистостью травы (Синий сонет); горда, сверкательна, строга (Одна из двух); глядь, мельня-мукомолка (Метёлка-самомёлка).

Характерно для Игоря также обилие сложных слов, из коих многие звучат слишком на немецкий лад, примыкая к редким и дурным образцам, как «небосвод» и «кораблекрушение», т. е. представляя приклейку предметницы или прикладку к неизменной — не укороченной, ни распространенной — предметнице. Таковы: солнцесвет — немецкое Sonnenlicht (Крымская трагикомедия); бракоцепь — Ehekette (В березовом коттедже); порвав злоцепь с печалью и нуждой (Памяти А. М. Жемчужникова); демимонденка и лесофея — Waldfee («Лесофея»); «пьеро»-костюмы и стихотомы (Поэза истребления); у окна альпорозы в корзине (Эксцессерка); у лесоозера (В шалэ березовом); Златолира — заглавье сборника (также: о, Златолира, воспламеней! Эпиталама, и еще: бряцай пророчно, Златолира! «Благословенны ваши домы!»); златополдень и женоклуб (Клуб дам), лисопрофиль (Лисодева); я трагедию жизни претворю в грёзофарс (Ананасы, Увертюра); под ало-желтый лесосон (Регина); «Лиробасня» (заглавие); оркестро-мелодия (На премьере); звукоткань, электробот и в луносне (Издевательство); «Ядоцветы» (заглавие); горлоспазма (Загорной); слышишь ли его призыво-крики над рекой? (Колье рондо, 4), всюду красность, где лунопаль была — палевость, бледность (Тж., 9); Вы, чьи стихи, как бронзольвы (Поэза для Брюсова); лиловеют разнотонами станы стройных поэтесс (Поэзоконцерт); гостиной сребротоны (Поэза о тысяча первом знакомстве); над Белолилией застала юного (В шалэ березовом); с бе-

* Насчет значения слова «примитивный» ср. в начале этой статьи цитату из «Корректного письма».

лорозой в блондных волосах (В госпитале); мне стало скучно в иностранах (Крымская трагикомедия).

Иные из сложных слов удачнее, потому что примыкают к хорошим образцам или могут быть поняты как естественное сокращение хороших фраз; иногда притом соблюдено и правило перемены окончания второй части. Таковы: цветоплеть — ср. летопись (Романс III); под бичелучье молний (Бриндизи); плутоглазка (Валентина); горничная Катя — алодевчик (27 Августа 1912 года); ветропро́свист экспрессов! крылолёт буэров! (Ананасы, Увертюра). — Не раз еще — не берусь точно сказать, когда — можно сослаться и на шуточность тона.

К тому же наши книжные слова нередко грешат неудобною длиною, на что жаловался уже Дмитриев, в предисловии к своим Басням, над чем подтрунил один чех, Рубеш, сказав, что «у русского слова саженные»:

Rus má sáholouhá slova.

Ввиду этих длиннот, несомненно, весьма желательно удачное слитие двух слов в одно, а также и другие сокращальные приемы.

Поэтому-то не могу не сочувствовать различным способам укорочки, встречающимся у Северянина *. Употребляет он следующие укороченные слова: Богомать (В березовом коттэдже), прелюд: в прелюде месяца лилового — причем, впрочем, неясно, какой это месяц (В Миррэлии), провинца и квинт-эссенца: в одну из моревых провинц (На летуне), квинт-эссенца специй (Цветок букета дам). С последними можно сравнить державинские «бердыши милицы» вм. «милиции» (Евгению, Жизнь Званская, 38). Таковы еще: оло́нец: в краю олонца (Прощальная поэза), вм. олончанина; радуется сердце любое мое — вм. любящее, любвеобильное (Тринадцатая); ироничный (Зарею жизни), симфоничный (Морская памятка); незатейный (Тж.); день... парадный, музычный («Провижу день»); читая твои укоризные письма (Корректное письмо); все всяко — т. е. всячески, разными способами — сказано (Кладбищ, поэзы, I); туман... тебя задраприт, вм. задрапирует, с его немецким суффиксом -ir- (Балтика, 5); открытки вашей тон элежный, вм. элегический (Письмо на юг); я впрыгивал... в трам — т. е. в трамвай (Крымская трагикомедия); беспредложное «чаровательный» (Поэза о Mignon); произведенное от более краткого настоящего времени вместо инфинитива, «чаруйный» и однородное с ним «волнуйный», — второе встречается 2 раза, а первое — целых 5, напр.:

* К укороченью и к усилению речи ведут и вышеотмеченные новотворки вроде «оперлить» — украсить жемчугом, «ночеет» — наступает ночь, «белоконные» — верхами на белых конях и т. п.

Ты чаруйную поэму превратила в жалкий бред! (Валентина).
Чрез двадцать шесть волнуйных маев (Предчувствие поэмы).

В том же роде беспопья свадьба (Пляска мая), дамьи туалеты (Каретка куртизанки) и дамья кавалерия (Процвет Амазонии), тысячи душ и девьих, и женских (Тиана) *, чувство мужье (С ядом у костра). Двукратное укороченье представляет выраженье «популярить изыски» вм. по-пу-ля-ри-зи-ро-ва-ть и-зы-ска-ни-я (Мороженое из сирени). Последнее – м. б. и еще кое-что – Игорем чуть ли ни сказано в шутку, но я рекомендовал бы это всерьез.

Укорочка у Северянина является еще в виде «извлечки», т. е. восстановки или создания первичных слов на основании имеющихся производных или же – свободного употребления слов, обычных лишь в каком-нибудь застывшем выражении. Вот подмеченные мною слова этого рода, с прибавленьем к этой «извлечки» ее источников: слышал я, как вздрагивал окрест (Канон Св. Иоасафу) – «окрест», в качестве наречия; ты... может быть, томилась вешнею ажурью (Четкая поэза) – ажурный; ради нашей дочки, крошки вроде кро́ла («Ты ко мне не вернешься») – кролик, ср. стол – столик: этот «крол», пожалуй, естественнее того слова «кроль», кое я бы образовал, в виду польского krol король, при krolik; у ограды монастырской столбенел зловеще инок (Июльский полдень) – о-столбенеть; «струны своих мандол» и «галоп мандол» (Дель-Аква-Тор, 2, и Хабанера III) – мандолина; с присевших в устали верблюдов (Балькис и Валтасар, I) – без устали: подобным же образом я позволил себе сказать, что «кони их... едят лишь мало, устали не зная», Освоб. Ерус., I, 50; пунц Запада (Городская осень) – пунцовый; отзвук денного гуда (Коктебель) – «гудеть», правда, уже имеющее при себе «гул»; на Францию смотря прищуром зорких глаз (Гюи де Мопассан) – прищуриться; незримой изнутри лазорью осиянна (Тж.) – лазоревый; арабец, т. е. арабской конь (Демон) – арабчик; кудесное кольцо (Героиза), также: о, глазки, вы кудесные (Тебе, моя красавица) и: кудесней всех женщин – ликер из банан (Тиана) – кудесник; алый крапат на блузке (Еще вы девушка) – крапчатый; поэза вм. стихотворение – поэзия; грандиоз! ведь это ж грандиоз! (Поэза спичечного коробка) – грандиозный; перятся серо соловьи! (Памяти К. М. Фофанова) – опериться; о, внешний сверк (Тарновская) – сверкать.

Однако при всем своем стремлении к краткости, Северянин одной своей вещи дал заглавие: «Поэза о солнце, в душе восходящем», а дру-

* Есть «девья кожа» = немецкому Jungfernleder – пастила-тянучка.

гой «Поэза детства моего и отрочества», и говорит в одном месте о «паркоаллейных кладбищах» (Кладбищенские поэзы, II), а в «Роднике» являются «неисчерпываемая вода», «неотбрасываемо я приникаю» и «изнедривающаяся струя».

И переформовка уже бытующих слов встречается у Игоря помимо стремленья к краткости. В одном случае автор, видимо, добивался большей ясности, когда глагол зреть —зрю и в инфинитивных формах отличил от зреть — зрею, сказавши: он зрил в шантане храм (Гюи де-Мопассан): и среди друзей я зрил Иуду (Эго-фут., Эпил.). Ср. попадающееся в просторечии, а изредка и у писателей, стелить вм. стлать, причем стлать-стелю и для уха вполне отличено от слать-шлю. Обыкновенно же в этих случаях приносилась жертва (по-моему вполне допустимая) стиху и рифме: скелетом черным перелесец пускай пугает (Октябрь) — вм. перелесок; он не нашел страны цветковой (Дель-Аква-Тор) — вм. цветочной; идолопоклонца и беззаконца (Поэза о солнце, в душе восходящем; второе слово повторяется в Эпилоге Эгофутуризма, 2) — вм. идолопоклонника, беззаконника, ср. у Баратынского «староверца» вм. старовера — рифма: сердца; на горячий моревый песок (Прогулка короля) и в одну из моревых провинц (На летуне) — вм. приморской; богадельница (Мельница и барышня) — вм. богаделка; лапы паучные (Кэнзели) — вм. паучьи; брачуясь («Провижу день») — вм. брачась, значит: брачеваться-брачуюсь вм. брачиться-брачусь.

В нескольких случаях переформовка произведена просто по какому-то капризу: цветка эдемного (Балькис и Валтасар, 2), вм. эдемского; гигантно недоразуменье (Поэза истребления): можно было образовать «гигантско» от обыкновенного гигантский. «Тундра клюквовая» в Тундровой пастэли д. б. намеренно отличена как поросшая клюквой, от сваренного из клюквы клюквенного киселя.

Довольно редко, не раз, однако, не совсем кстати, Игорь допускает славянизмы, кои здесь отметим полностью: как розы алые цветут мои ланиты (Письмо из усадьбы); распускался душистый горошек на взлелеянной пажити клумб (Душистый горошек); пускай пугает! страх сожну (Октябрь), т. е. сгоню, прогоню — это погрешность вм. сжену, отжену; журчит в фиалах вино, как зелье (Эпиталама); Валтасар... повержен долу (Балькис и Валтасар, I); маркизы, древья улиц стриженных (Городская осень) — здесь при русском окончании славянская огласовка корня; паутинкой златно перевитый... лесок (Прогулка короля); злато: вознес меня аэроплан в моря расплавленного злата (Героиза), солнце землю баловало, сыпля злато на поля (Народная) и злато галуна (Забава безумных); препон не знающий с рожденья (Эго-фут., Пролог, II); я повсеградно оэкранен (Тж., Эпилог); «зане болезнен бег-

лых взлет» (Тж.) и «зане я сам хамелеон» (Поэза возмездия); он стал тебе — девушке — внимать (Поэза без названия); чтоб свет от люстры гнал сонм теней («Когда ночами»); от жути взор склонился ниц (Белая улыбка, I); дабы назад вернуться нам (Регина); на искусственном острове крутобрегого озера (Озеровая баллада); «девственный твой лик окудрен» (Одно из двух) и «их лики из псевдоантичных» (Предостерегающая поэза); я прихожу подъять свой взор на море (Морской набросок); в полднях (будет) хлаже золото — солнечное (Осени предчувствие): корень здесь церковнославянский, а смягчение — русское, «ж», а не «жд».

Еще — реже славянизмов, и тоже не очень уместны, у Игоря слова простонародные: весенний гутор ворвался в окна (Надрубленная сирень — иное дело «гутор на полянке» в Пляске мая, писанной под народную); грубою издевкой охлаждала страсть (Четкая поэза), — впрочем, «издевательство» — длинно; октябрь и смерть — в законе пара, т. е. брачная (Октябрь); журчит в фиалах вино, как зелье — как отрава (Эпиталама); чары еще не кончили свой сказ (Демон), что, пожалуй, недурно; «опять блаженствовать лафа!» (Эго-футуризм, Пролог, II) и «где вино вне вина, пить и грезить лафа!» (Роза в снегу); «луна... гнала седую мгу» (Сонет: «Я полюбил ее зимою») и «кедров больше, лиственниц, хрупи, мги и пихт!» (Тундровая пастэль); нам за вашей веселостью шалой не угнаться (Вне); в душистом полыме своей весны (Орешек счастья) — размер допускал и литературное «пламени»; о нашей горькой дочке (Ненужное письмо); (лунные) лучи-пролазы (Колье рондо, 4); созданное по примеру «горемыка» — грёзомыка (Тж.) и по примеру «чернозём» — роднозём: ах, роднозём, как заусенец, докучен, иногда кровав («Мою страну зовут Россией»). Прекрасное народное (малорусское) слово, впрочем встречавшееся мне и инде, — чаровница (волшебница): чаровница-музыка (Ванда, 3) *.

Вообще у нашего поэта народности мало, даже в поэзах по замыслу народных. Кажется, можно решительно утверждать, что ему не удалось исполнить того, что он сулил нам в конце «Громокипящего кубка»:

Не ученик, и не учитель,
Великих друг, ничтожных брат,
Иду туда, где вдохновитель
Моих исканий — говор хат.

* Что до слова «сударышня»: сударышни, судари, надо ль? (Мороженое из сирени), то я не знаю, взято ли оно из народной речи или же образовано к слову «сударыня» по близкому примеру «барыня — барышня».

Что касается внутренней стороны слова, то Игорь не чужд приему, который можно назвать новосмыслием или новозначностью, приему едва ли заслуживающему сочувствия. Правда, в живом языке слова нередко имеют несколько значений, причем мы не затрудняемся, напр., тем, что перед булочной может быть деревянный забор, а в ней усиленный забор хлеба, что можно отказать в чем-нибудь и, напротив того, отказать что-нибудь по завещанию. Однако вновь заводить двузначность — писателям, разумеется, не к лицу. Поэтому, скорей в оправданье, чем в обвиненье нашему автору, предполагаю, что он иногда давал слову новое значение потому, что забыл про старое.

Рядом с обыкновенным значеньем «окрылять»: крылю привет карающей звезде (Секстина: «Предчувствие томительней кометы»), глаголу «крылить» придается значение «лететь, нестись»: о ты, чье сердце крылит к раздолью (Фиалка), моторолет крылит на север (На летуне). Таковы еще следующие места. Пой, маячь пути ко сну! (Грасильда, 3), т. е. освещай, как маяк, но маячить значить мыкать, волочить; семеня гранаты (Соната в шторм) — семенять ногами; для тебя пустить корабль до дна — страстный праздник (Агасферу морей), т. е. страсть-какой большой; комфортабельный летун (На летуне) — аэроплан, тогда как летун есть летатель, летчик; июлят цветы (Валерию Брюсову), т. е. июльски, по-летнему, роскошно цветут — для меня получается комизм; я превратила сердце в твердь (Осенние мечты), также: на твердь... он грохнулся (Памяти Мациевича) - твердь равно латинскому firmamentum, свод небесный; я... весь воскрылие = полет (Berceuse томления), также: тщета воскрылий... тщета усилий (Певица лилий полей Сарона) — славянское воскрилие значит кайма, обшивка; до дня грядущего от сотворенья мира (Балькис) — грядущий, будущий, взято в смысле идущего, текущего, настоящего; на широких дедовских диванах приседали мы (Белая улыбка, I), т. е. присаживались; июлил вечер, мечтая звезды высечь (Саронская фантазия), понимай: высечь, как искры из кремня, а не розгами; глаза в глаза грузя (Кладбищенские поэзы, I), т. е. погружая, углубляя, а не нагружая, сваливая; такая уж весёлка (Метёлка-самомёлка), т. е. веселушка, затейница, а не кухонная лопатка для теста *.

Есть случаи, где стерт оттенок значения. Так, темная, тесная дворницкая названа «вертепом» (Поэза без названия); сердце бьется четко (Четкая поэза): четко ведь значит ясно на письме или в печати, —

* Сюда же я склонен отнести принимаемый Игорем титул «ректор Академии» (Поэзоконцерт) — мне при этих словах представляется не глава поэтского кружка, а начальник высшего духовного училища.

впрочем, уже Тургенев сказал: Водная гладь... дробится и дрожит мелкой, четкой рябью (Записки охотника – Стучит); глагол «обречь» употреблен у Игоря про обстоятельства благоприятные: в моей душе восходит солнце, и я лучиться обречен (Поэза о солнце, в душе восходящем), чтоб на бессмертье дочь обречь (Предчувствие поэмы). Такое обесцвечиванье, правда, встречается в житейском обиходе: теперь чуть ли не все пишут «благодаря мору», «благодаря жестокости немцев», хотя можно сказать «вследствие», «по причине», «по вине»; однако писатель призван обогащать язык, а не обеднять.

Неприятно поражает у Северянина обилие иностранных слов, из коих иные мне, несмотря на порядочное знакомство со значительным числом языков, совершенно непонятны; о рядовом читателе и говорить нечего. Являются напр.: коттедж, английское слово, означающее дачу, произносимое Игорем с французским ударением: живете вы в березовом коттэдже (и заглавье: В березовом коттэдже); коттэдж с рифмой истечь (Поэза дет. м. и. отр.); шалэ – беседка (Янтарная элегия и В шалэ березовом); Бриндизи (заглавье: это итальянское brindisi, спич, тост); глаза, поющие виолами (м. б. «виолинами», т. е. скрипками? – «Ойле»); эфемериды – обыденки: враждебные эфемериды да изничтожатся теперь (Во имя зорь весны грядущей); как пахнет морем от вервэны («Вервэна» – что это значит, не поясняет и «очерк тех вервэнных губ» – Поэма между строк, II); на улицы специи кухонь, огимнив экстаз в вирелэ! (Мороженое из сирени; это загадочное для меня слово является также как заглавье, написанное латинскими буквами: Virelai); загадочно мне также слово Розирис – заглавье I-го отдела «Ананасов»; коктебли звучат за коктеблями, поют их прекрасные женщины (Фантазия восхода); сонет с кодою: итальянское coda, хвост, – излишек стихов в сонете (Тарновская); с белорозой в блондных волосах: blonds blond, – белокурые (В госпитале). Что такое «электрассонанс» для меня осталось загадочным и после прочтения игоревского стихотворения под этим заглавием. Понятна, но далеко не красива иная самодельная иностранщина, как «Амазония» (Процвет Амазонии – страны амазонок, воинственных женщин) и труд – пчел – в изумрудной «Вассалии» (Промельк: «Янтарно-гитарные пчелы») – т. е. в даннических лугах. – Иногда можно догадываться, что уродливая иностранщина подпущена для шутки.

Очень портят русскую речь, особенно стиховую, чужесловы несклоняемые. Крайне странно и даже непонятно заглавие «Колье рондо» – как смелый новщик не догадался назвать это «рондо́вым ожерельем» или м. б. «рондо́вым венком»? Нехорошо звучат также: «я к вам по поводу Торквато Тассо» и «мы, изучившие Торквато Тассо» – употребленные, несмотря на рифму, принцесса «Интасса» (Поэза трех прин-

цесс)*; подходят ночи в сомбреро синих (Коктебель) – по-испански было бы sombreros; там, где все палаццо из пластов базальта (Боронат) – по-итальянски было бы palazzi. Впрочем, в «Интродукции» поэт смело и недурно сказал: его палаццо из палацц, а в другом месте (Фантазия восхода): «Осанна» гремит за «Осанною».

Непонятные слова у Игоря иногда представляют отзвуки из литературы, истории и географии, как: Нарцисс Сарона, Соломон (Рондели); властелин Миррэлии (Боа из хризантем) и «опять в Миррэлии приветливой ловлю стремительных форелей» (В Миррэлии); «Кэнзели» (заглавие в Громокипящем кубке); напевая из Грига (Воздушная яхта); с визитом к самому Палладину (Тж., заметим, что не у Карла Великого); в белом ранчо (Madame Sans-Gêne); краснокожий метал бумеранг (Тж., – австралийское метательное орудие); оставляя рюмку с Бенкарло (В госпитале); улыбно светит с неба Син (Балькис и Валтасар, 2); вдруг заискритесь, как Мумм (Поэза о Фофанове); бросаетесь в траву, Снегуркою-Тианою мечтая наяву (Песенка-весенка); поверяя пламенно золотой форминге чувства потаенные (Нерон) – греческое phórminx, арфа; раз душу переехали квадриги (Колье рондо) – латинское quadriga, четырехконная колесница; «Кальвиль раздория» среди принцесс (Поэза о трех принцессах).

Любовник уйдет от меня, «оставив мне незримый гиацинт» (Berceuse осенний) – это чуть ли ни намек на греческое предание о юноше Гиацинте, превращенном в цветок, будто бы с написанием его имени.

Кое-где наш поэзник выразился туманно и помимо словарных новшеств. Так, мы у него читаем: мне хочется, чтоб сгинул, чтоб исчез тот дом, где я замужняя невеста (Berceuse осенний); тщетно я терзался: кто ты? амулетка, верная обету? лилия ль с вином? (Четкая поэза); твоей симфонией слепой я сердце захлесну! (Грасильда, 3); утомленная женщина, отшвырнув голенищи, растоптала коляскою марьонетку проказ... (Марионетка проказ); принцессы в Игорев призрачный терем «вошли, как Ромул и как Рем» (Грозовое царство); дева с поля! Кто же имя девы вкусит (Весна – из последующего видно, что это значит «узнáет»); Квадрат квадратов (как заглавие); повсюду сонъ, везде туман, как об-

---

* Торкват Тасс (вспомним общеизвестную элегию Батюшкова «Умирающий Тасс») прежде для всех был Тассом – лишь недавно мы стали блистать глубоким знанием итальянского языка, где он Torquato Tasso. Это «о» – обычное окончание итальянских предметниц, коему соответствует наша бессуффиксность (на письме – ъ) и связанное с нею склонение.

руч голоса... (Грасильда, 2); душа прибоем солона (Крымская трагикомедия). Сюда же отношу и следующие места, где, правда, есть новотворки, но вполне понятные, так что неясность вышла помимо их: по аллее олуненной вы проходите морево (Кэнзели) — проходите, точно море?!; ручьиться шелестно в извивах душ («Любить единственно»); он — первый, кто сказал, что все былое безвопросно (Крымская трагикомедия).

С другой стороны встречаются рискованные слова и обороты, кои нисколько не мешают понятности. Таково переносное употребление цветовых названий в следующих примерах: пойте... о улыбке лазоревой девичьей (Berceuse) — об улыбке, ясной, как небесная лазурь, с чем однородно: мне хочется тебя увидеть, печальную и голубую (Элементарная соната), а также: Клавдий так лазорев (Нерон); алые шалости (Диссона), возврат любви мгновений алых (Сонет: «Любви возврата нет»), ты долго пожил ало (Дель-Аква-Тор, I) —алый, конечно, яркий *. Понятны и следующие случаи: она, завесенясь, смахнула слезу-незабудку (Отравленные уста, 4), т. е. прояснилась лицом и отерла слезу, еще напоминавшую о печали; где спит палач-вулкан на страже зова (Октавы) — спит в ожидании часа губительного извержения; злак лазурит спокойствие в нерве, не зная словесных клоак (И рыжик, и ландыш, и слива) — былинка проясняет и успокаивает чувства, без грязной речи человеческой; сомнамбулен ликий опал (Балтийское море) — желтоватое лицо сонно-мечтательно; проборчатый, офраченный картавец (В лимузине: лимузин — какая-то повозка); о девоженщине, сковавшей мне уста противоплесками чарующих речей, противоблесками волнующих очей (Кладбищ., поэзы, 1); как мне северно, как южно верить этой общей лжи! (Поэза доверия), т. е. бросает и в жар и в холод; (море) ежецветно (Эстляндская поэза) — бывает всякого цвета, меняет свой цвет; они возможники событий, где символом всех прав — кастет (Поэза истребления) — люди, делающие возможными; звяк шпор и сабель среброзлат («Провижу день») — золотые и серебряные шпоры и сабли звякают.

Не раз, однако, причуды крайне затрудняют понимание. Я никак не мог уяснить себе следующих мест. Смеется куртизанка. Ей вторит солнце броско (Каретка куртизанки); прошли века, дымя свои седины (Дель-Аква-Тор, 3); я их приветил: я умею приветить все, — божи, Привет! (Эго-фут., Эпилог, 1), также: божит земля, и все на ней божит

* Однако, когда в «Поэзоконцерте» говорится про «фиолетовый концерт», я лишь робко гадаю, что он для поэта ало-голубой, т. е. и страстно-яркий, и небесно-возвышенный.

(Валерию Брюсову); сонные сонмы сомнамбул весны санно манят в осеянные сны (Сонмы весенние); лунные плены былинной волны (Тж.); примагничены к бессмертью цветоплетью сердца углубные в медузовой алчбе (Романс III); случайных дев хотел в мечту я осудьбить (Она и он); Душа все больше, все безгневней, все милодушнее она... (Предчувствие поэмы) — знаю выражение «за милую душу» (в изобилии), но оно сюда не подходит.

Очень мудрено приведшее в отчаянье Амфитеатрова двустишие:

Душа твоя, эоля,
Ажурить розофлер (Бриндизи).

Хотя и догадываюсь, что это значит «душа твоя веет зефиром из-за розовой кисеи платья» (ср. тюли эоля качала Марчелла: «грустно, весенне усни!» Эскизетка), боюсь несколько, чтобы Игорю по случаю моего толкования не пришлось повторить слова того мудреного немецкого философа, который должен был признаться, что только один ученик его понимал, и тот — превратно.

При чтении Северянина, таким образом, нередко затрудняешься значением слов, и я совершенно серьезно примыкаю к шуточному желанью Амфитеатрова, чтобы издания вашего поэзника были снабжены списками малоизвестных и не совсем ясных слов — такие словарики действительно иногда прилагались к произведениям чешских писателей в пору возрождения чешского языка и литературы, когда насочиняли немало новых слов*.

Но приложения к поэзам грамматики можно требовать только в насмешку. В области словомена, управления и распорядка у Игоря особенностей почти что нет, а что есть, понимания не затрудняет.

Очень редки и вполне понятны особые формы склонений. Таковы: «матью» вм. матерью (рифма: благодатью), в Благодатной поэзе, чему я знаю параллель у польского поэта XVII века Веспазьяна Коховского, порифмовавшего ма́цё (macią) на бра́цё (bracią) — братьей, братьями**; глазы — четырехкратно: «о, поверни на речку глазы! (я не хочу сказать глаза) — Июневый набросок, океан струится в мозг и в глазы — В коляске Эсклармонды, глазы вниз — Поэза детства м. и отроч., олуненные глазы — Колье рондо, 4. Мне эта форма известна в поговор-

* Замечу здесь же, что меня при настоящей работе затрудняли еще оглавленья, расположенные не в азбучном порядке.

** У Коховского вольность эта не то оправдывается, не то усугубляется тем, что самое слово «мать» (mać) у поляков издавна устарело, заменяясь производным matka.

ке «Свиные глазы не боятся грязи» и кажется крайне вульгарной, но не знающий поговорки, вероятно, почувствует здесь такой же архаизм, как «домы» вм. дома́: «Благословенны ваши домы!» (начало одной вещи в сборнике Victoria Regia). Собственно неправильно, но встречается помимо Игоря «помой» вм. помоев (Мисс Лиль). Еще я отметил: почтенные отцы, достойные мужи (На смерть Фофанова) — князь Вяземский, напротив того, допустил «Герои, славные мужья» вм. мужи. Укажу далее: на лилий похожи все лебеди (Фантазия восхода), т. е. винительный падеж в форме родного от имени неодушевленного; сгребает все без то́лка вм. бе́з толку (Метёлка-самомёлка); колыхает вм. колышет (Баллада), что встречается и у прежних писателей; деепричастие «ткя» — необычное, однако вполне соответствующее введенному и в литературу народному ткёшь, ткёт, ткём, ткёте, с «к» вм. фонетически правильного «ч». Форма множного числа «голенищи» (Марионетка проказ) очень кстати отличает это число от одинного, тогда как при окончании -а разница была бы только *на* письме; я бы даже порекомендовал Игорю внести народное окончание -и, -ы вм. -а, нередкое у более ранних писателей (так, у Пушкина), в одно, теперь неясное, место «Златолиры», в поэзе «Я запою», и написать:

Я запою улыбок солнцы...
Сердец раскрытые оконцы *.

Точно так же речи не затемняют и даже яснее указывают на грамматическую роль слова («сказуемость»), очень любимые Игорем краткие прикладки, напр.: весенний день горяч и золот (Весенний день); запад был сиренев (Письмо из усадьбы); где волна бирюзова («Это было у моря»); ваша тальма лазорева (Кэнзели); как» мы подземны! как мы надзвездны! как мы бездонны! (Хабанера III); в тундре стало южно (Юг на севере); как мраморна печаль (А если нет?); скалы пустынно-меловы (От Севастополя до Ялты); их мотив был так чарующ (Неразгаданные звуки); чья дипломатия апашева (Поэза о гуннах); грядущий день весенен, дивен, сиренен, птичен, солнчен, злат! («Во имя зорь весны грядущей»). Единичен обратный случай: девы... брачуясь радые возлечь («Провижу день»). В том же роде: так мало можно нам, а сколького нельзя! (Кладбищенские поэзы, I).

* Толкуя по школьному, о «неправильностях», оговорю, что теперешняя неправильность может быть будущим правилом: вспомним, что наше выражение «коровы пришли» содержит форму мужеского рода вм. женской «пришлы», и звучало некогда столь же дико, как доныне звучит «корова пришел».

Никто, конечно, не затруднится нередкими случаями необычного употребления множного числа вм. одинного, большею частью при значительном количестве предмета или повторяемости явления, напр.: я к Вам спешу на парусах своих экстазных своеволий (Весенние рондели, I); беги автомобилей (Ананасы, Увертюра); несмотря на зноии дней (Письмо на юг — ср. жары, холода); погребальные звоны (Миньонетты, II); лета... недопитых любо́вей (Обреченный); обласкан шелестами дюн (Поэза д. м. и отроч.). Смущают меня «сосны, идеалы равноправий» (Июльский полдень) и «лучинок из берез» (Поэза спичечного коробка).

Изредка, опять-таки нисколько не затемняя смысла, поставлено, напротив того, одинное число вм. множного. Почти не заслуживают внимания, как встречавшиеся и до Северянина, «чара» (сколько чары! — Валентина) и «грёза» («Что такое грёза?», «любимая, вечная грёза» Земля и Солнце). Рискованнее: «ваши песни запетая кознь» (Вне), «все гнезда в лопочущем хлопоте» (Фантазия восхода) и «щекотать просонок вод» (Светосон), причем вдобавок в последнем случае ни размер, ни рифма не мешали сказать «просонки».

Книжнику могут еще не понравиться некоторые особенности в произношении, по большей части вполне допустимые, или даже проистекающие из игнорируемых школьной грамматикой свойств живой речи. Таковы случаи необычного обессложенья звука «и» перед гласными, как «их вздох витьеват» (Эксцессерка) и «фимьямною лиловью» (Интермеццо); в том же роде «съединить» (Посвящение и Процвет Амазонии), уже и прежде допускавшееся вм. установившегося, но сугубо книжного «соединить» — ср. съёмка; чисто по-русски было бы «с-одн-ить». Произвольным кажется опущенье «соединительной гласной» в словах «озерзамок» (Поэзоконцерт — несколько раз) и «зеркалозеро» (В шалэ березовом), вм. озер*о*замок и зеркал*о*озеро. Тут, однако, неловко лишь самое сложение, на немецкий лад, довольно длинных слов, а укорочка находит параллель в живом произношении: «набережная» вм. наб*е*р*е*жная, «проволка» вм. пров*о*л*о*ка; для «зеркалозера» есть даже ближайший образец в прикладке «белозерский» вм. бел*о*озерский. Насильственнее, отчасти даже крайне неприятны — иной раз, впрочем, подпущенные для шутки — следующие случаи опущения гласных: ты издеваешься над мной (Аккорд заключительный), чарует грёза все одна и та ж (Тринадцатая); люблю клуб дам не потому ль? (Клуб дам); дрожит в руке перо ль (Сонет: «Мы познакомились»); люб ль, рифма — рубль (Злата) *, я руки перегрыз б (Фиолетовый транс).

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Сравним с этим иную, на мой слух вполне правильную, рифму: «корабль — раб» (Соната в шторм) — для нас, северян, нормальный выго-

В том же роде: строй мирозданья скуп и плоск (Все то же) и: лисицы, зайчики без норк (Поэза детства моего и отрочества, I), в противоположность которым читается: их мотив был... полон ласок (Неразгаданные звуки). Наконец, отмечу употребление в некоторых пришлых словах и в образованных с иностранною наставкою, звука э вм. ё, на месте французского звука ö: ленты лье (миль), рифма: «колье» (Колье принцессы. Увертюра), грёзэрка (Качалка грёзэрки), что должно бы звучать «грезёрка», или лучше бы: «гре́зница», либо, с шуточным оттенком, «грезунья». Впрочем, рифма у Игоря не очень доказательна для выговора, так как он ее нередко заменяет отдаленными созвучиями, — «ассонансами», как он говорит: ассонансы, точно сабли рубнули рифму сгоряча (Эго-фут., Прол.), хотя испанский ассонанс, это — проведенное по целому ряду стихов «равногласие», напр., дама-рана-слава-услада-зараза.

Еще менее могут затруднить и смутить, при большом разнообразии в этом отношении русской речи, случаи необычного ударения, как пороша́ вм. поро́ша (Сказка сиреневой кисти, Женская душа, Nocturne: «Месяц гладит камыши» — этот выговор есть в областной речи); разведи костер у бо́розд (Идиллия — ср. «в грозе небритых бо́род» у Баратынского, «Дядьке-итальянцу»); в рёках («И рыжик, и ландыш, и слива»); по во́лнам (Поэза д. м. и отр., I); в этих слёзах (Из Сюлли-Прюдома); с неба синего льетесь стру́ями (Nocturne: «Струи лунные»). Несколько странна только «холодная ки́рка» (Отравленные уста), т. е. протестантская церковь, вм. кирки́ — лопаты.

Строгая грамматика осудит, но живое чутье оправдает также следующие случаи переходности и страдательности, при употреблении глаголов средних: но кто надтреснул лунный обод? (Октябрь), отстрада́нные обманы (Тж. — это слово могло бы войти также в предыдущий пункт, ибо должно бы собственно звучать «отстра́данный»); росой накаплен мой бокал (Эго-фут., Эпил.); исстражденный, хочу одевить, замужница, твои черты (Замужница) *; алые уста, взбурлившие мне кровь (Злата); графиня ударила веером страусовый опешенного — опе-

---

вор «руп, корап». С другой стороны — вследствие своей книжности — нормально четырехсложное «дирижабль»: «Солнце, закатное солнце! твой дирижабль оранжев»! (В пяти верстах по полотну), и допустима также рифма: «рубль — Врубель» (Поэза вне абонемента).

* Два последних причастия, впрочем, и образованы не совсем правильно: нужно бы «накапан» и «исстраданный»: «отстраданный» нам только что встретилось. Отмечу мимоходом еще одну необычную глагольную форму: «пронзовывал» вм. «пронизывал» (Крымская трагикомедия).

шившего от этой выходки — шевалье (На премьере); Вы весело в дороге проведете следуемый час (Шантажистка, ср. обычное «следуемые деньги»); о том, что сказано, о том, что не успето («Один бы лепесток»); крылю восторг, пылаю фимиамы (Ванда, 3); лишь ты, мечтанный мой, мой светозарный (Поэза о трех принцессах); ветка перееханной сирени и бокал, извиненный до дна (У Е. К. Мравиной). Сам я, в стихотворении «Мертвая наука» (Памятка Смоленская, Смоленск 1911), позволил себе сказать: где в груде, весь растреснут, лишь камень предлежит очам.

Не затрудняют понимания и некоторые смелые обороты, иной раз насильственные и неудачные, но не раз краткие и выразительные. Примеры: я бьюсь Мариею Потоцкой (Бахчисар. фонт.), вм. бьюсь об заклад: поэт мог бы, а пожалуй и должен был сказать «клянусь»; дрожал я войти в кабинет (Соната — сильно боялся); она на пальчиках привстала (Маленькая элегия — отчего не на «-ки?»); гро́зы и туманы, вечера́ в луне (Четкая поэза — вм. «при луне»); это только в жасмин, это только в сирень («Это только в жасмин» — в пору их цветения); в шик опробоенные великосветское олухи (В блесткой тьме); каретка куртизанки, в коричневую лошадь (Кар. курт.) — с последними двумя случаями сравним «комната в два окна», «забор в рост человека»; нечто красочно-резкое, задохнувшее смех (Марионетка проказ — заставившее задохнуться); проснись любить! смелее в свой каприз! (В березовом коттэдже); как по́шло вам! (Тж.); мне запечалилось (Письмо из усадьбы); пустить корабль до дна (Агасферу морей — только рифма вызвала такую замену обычных соединений «на дно» или «ко дну»); отныне оба — мечта и кисть — в немой гармонии (Врубелю — вм. обе! рифма: на крышку гроба); раз объелся пирогами (Дурак — вм. пирогов), одна из этих вечных статуй как-то странно мнилась мне добра (Белая улыбка, I); с пьедестала отошла сестра кариатид (Тж., III); горничная Катя... торопится лужайку напролет (27 Августа 1912 года) *.

Не опасно для смысла также, притом весьма редкое, нарушение обычного порядка слов: полвека умер он уж, вот (Белая улыбка, I); минуты счастья! я вижу вас ли? (Звезды); морей безбережных среди (Южная безделка); в небе грянула гроза бы (Рондель: «От Солнца я веду свой род»); сверкнули гла́за два горячих (Поэма между строк, II).

Однако Игорь, чему мы видели целый ряд примеров, все-таки не раз выражается так, что я не могу его понять; между тем я полагаю,

* Управление по литературному неправильное, но в народе обычное, представляет одно заглавие в Ананасах: «По восемь строк» вм. «По восьми».

что, хотя бы наш поэзник иногда писал для немногих, я, как филолог и поэт, безусловно принадлежу к тем, кому должно быть возможно его уразуметь. Печатаются же люди несомненно для того, чтобы передать свои мысли и чувства, каковая цель при непонятности не достигается.

Положительно, Северянин иногда злоупотребляет широкою свободой, узаконенной уже Горацием, сказавшим, что:

запрета нет, и не будет
В речи своей выводить слова современной чеканки, –

или общее, но с некоторою, здесь не приводимою, оговоркой насчет разумности:

живописцам всегда и поэтам
Смело решаться на все давалось полное право.

Николай Гумилев
ИЗ «ПИСЕМ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ»
(отрывки)

Из всех дерзающих, книги которых лежат теперь передо мной, интереснее всех, пожалуй, Игорь Северянин: он больше всех дерзает. Конечно, девять десятых его творчества нельзя воспринять иначе как желание скандала или как ни с чем не сравнимую жалкую наивность. Там, где он хочет быть элегантным, он напоминает пародии на романы Вербицкой, он неуклюж, когда хочет быть изящным, его дерзость не всегда далека от нахальства. «Я заклеймен, как некогда Бодлэр», «проборчатый... желательный для многих кавалер», «мехово», «грезэрка» и тому подобные выражения только намекают на все неловкости его стиля. Но зато его стих свободен и крылат, его образы подлинно, а иногда и радующе неожиданны, у него есть уже свой поэтический облик. Я приведу одно стихотворение, показывающее его острую фантазию, привычку к иронии и какую-то холодную интимность.

ЮГ НА СЕВЕРЕ

Я остановила у эскимосской юрты
Пегого оленя, — он поглядел умно,
    А я достала фрукты
    И стала пить вино.

И в тундре — вы понимаете? — стало южно...
В щелчках мороза — дробь кастаньет...
    И захохотала я жемчужно,
    Наведя на эскимоса свой лорнет!

Трудно, да и не хочется судить теперь о том, хорошо это или плохо. Это ново — спасибо и за то. <...>

<...> Альманах «Орлы над пропастью» является последним выступлением группы эго-футуристов. В программной статье «Первый год эгофутуризма» находим, среди других, следующие изречения: «<для нас> Державиным стал Пушкин», «об опровержении говорить не приходится. Ясно, что г. Ф. М. Достоевский был неправ, говоря вышеприведенное». «Вообще эго-футурист фундаментируется на Интуиции», и т. д.

Рассмотрим творчество адептов этого нового направления. Федор Сологуб, которым открывается альманах, дал самое дурное из всех своих стихотворений. Валерий Брюсов, в сонете «Игорю Северянину», предсказывает этому последнему: «И скоро у ног своих весь мир увидишь ты!» Сам Игорь Северянин находит, что «пора популярить изыски <...> огимнив эксцесс в вирэле!» А. Скалдин рабски подражает Юрию Верховскому. А. Куприн поместил письмо к издателю альманаха г. Игнатьеву, в котором высказывает сожаление, что не мог попасть на поэзо-концерт. Некоторое недоумение возбуждает статья г. Казанского, где «Poesia», издающаяся в Милане, названа римским футур-журналом и где перечисляются предтечи эго-футуризма: Фофанов, Лохвицкая, Уайльд и Бодлер. Кроме того, на обложке напечатаны стихотворения еще четырех поэтов. Обо всех можно сказать одно: вульгарность и безграмотность переносимы лишь тогда, когда они не мнят себя утонченностью и гениальностью.

Но большая, непоправимая ошибка заложена в основу каждой трагической судьбы, и поэт сознает ее, горько восклицая: «Магия ваша пустой декорацией зыблется...» И почти на каждой странице этой книги чувствуется дверь в другой, настоящий мир, куда так хорошо убежать от неосторожно пригретых, развязных кошмаров повседневности: от тахты кавказской, графа из «Эльдорадо», бокала ирруа... Поэт из репортера превращается в творца истинной реальности, истинной, потому что вечно творимой, в шекспировского Просперо:

Там зыблются пальмы покорно,
Беззвучно журчат ручейки;
Там зебры, со шкурой узорной,
Копытом взметают пески.
Там ангелы, крылья раскинув,
Чтоб пасть перед Господом ниц,
Глядят на слонов-исполинов,
На малых причудливых птиц.
Там вечный Адам, пробужденный
От странного, сладкого сна,
На Еву глядит, изумленный,
И их разговор — тишина...

Книга «Стихи Нелли» напоминает мне «Золотой горшок» Гофмана. Как в последнем все эффекты построены на противопоставлении мещанского житья немецкого городка огненным образам восточных преданий, так и здесь сопоставлено снобическое любование красивостями городской жизни с великолепием творений «Вечного Адама», пробужденного от сна. В упрек русскому поэту можно поставить только несвязанность этих двух мотивов: они никак не вытекают один из другого, и поэт, соблазненный желанием благословить решительно все, вместо мужских твердых «да» и «нет», говорит обоим нерешительное «да».

О «Громокипящем кубке», поэзах Игоря Северянина, писалось и говорилось уже много. Сологуб дал к ним очень непринужденное предисловие, Брюсов хвалил их в «Русской мысли», где полагалось бы их бранить.

Книга, действительно, в высшей степени характерна, прямо культурное событие. Уже давно русское общество разбилось на людей книги и людей газеты, не имевших между собой почти никаких точек соприкосновения. Первые жили в мире тысячелетних образов и идей, говорили мало, зная, какую ответственность приходится нести за каждое слово, проверяли свои чувства, боясь предать идею, любили, как Данте, умирали, как Сократы, и, по мнению вторых, наверное, были похожи на барсуков... Вторые, юркие и хлопотливые, врезались в самую гущу современной жизни, читали вечерние газеты, говорили о любви со своим парикмахером, о бриллиантине со своей возлюбленной, пользовались только готовыми фразами или какими-то интимными словечками, слушая которые каждый непосвященный испытывал определенное чувство неловкости. Первые брились у вторых, заказывали им сапоги, обращались с официальными бумагами или выдавали им векселя, но никогда о них не думали и никак их не называли. Словом, отношения были те же, как между римлянами и германцами накануне великого переселения народов.

И вдруг — о, это «вдруг» здесь действительно необходимо — новые римляне, люди книги, услышали юношески-звонкий и могучий голос настоящего поэта, на волапюке людей газеты говорящего доселе неведомые «основы» их странного бытия. Игорь Северянин — действительно поэт, и к тому же поэт новый. Что он поэт — доказывает богатство его ритмов, обилие образов, устойчивость композиции, свои, и остро пережитые, темы. Нов он тем, что первый из всех поэтов он настоял на праве поэта быть искренним до вульгарности.

Спешу оговориться. Его вульгарность является таковой только для людей книги. Когда он хочет «восторженно славить рейхстаг и Бастилию, кокотку и схимника, порывность и сон», люди газеты не видят в

этом ничего неестественного. О рейхстаге они читают ежедневно, с кокотками водят знакомство, о порывности и сне говорят охотно, катаясь с барышнями на велосипеде. Для Северянина Гете славен не сам по себе, а благодаря... Амбруазу Тома, которого он так и называет «прославитель Гете». Для него «Державиным стал Пушкин», и в то же время он сам — «гений Игорь Северянин». Что же, может быть, он прав. Пушкин не печатается в уличных листках, Гете в беспримесном виде мало доступен провинциальной сцене... Пусть за всеми «новаторскими» мнениями Игоря Северянина слышен твердый голос Козьмы Пруткова, но ведь для людей газеты и Козьма Прутков нисколько не комичен, недаром кто-то из них принял всерьез «Вампуку».

Другое лицо Игоря Северянина тоже нам уже знакомо. Как не узнать радости гимназисток — «писем» Апухтина — хотя бы в этих строках:

Не может быть, вы лжете мне, мечты!
Ты не сумел забыть меня в разлуке...
Я вспомнила, когда, в приливе муки,
Ты письма сжечь хотел мои... сжечь!.. ты!..

или в этих:

...Ребенок умирал. Писала мать.
И вы, как мать, пошли на голос муки,
Забыв, что ни искусству, ни науке
Власть не дана у смерти отнимать.

Опять-таки поэт прав: многих такие стихи трогают до слез, а что они стоят вне искусства своей дешевой театральностью, это не важно. Для того-то и основан вселенский эго-футуризм, чтобы расширить границы искусства...

Повторяю, все это очень серьезно. Мы присутствуем при новом вторжении варваров, сильных своею талантливостью и ужасных своею небрезгливостью. Только будущее покажет, «германцы» ли это или... гунны, от которых не останется и следа. <...>

<1910–1913>

Максимилиан Волошин
О МОДНЫХ ПОЗАХ И ТРАФАРЕТАХ
Стихи г. Игоря-Северянина и г-жи Марии Папер

Вопросы стихосложения и ритмики, обсуждавшиеся за последние годы во всех литературных кружках Москвы и Петербурга, и образцы разрешения различных трудных версификационных задач, данные за истекшее десятилетие Бальмонтом, Брюсовым, В. Ивановым и пр., вульгаризировали тайны стихосложения до такой степени, что теперь всякий может писать формально хорошие стихи, всякий, у кого есть склонность к этому роду умственных упражнений, может разрешать те или иные очередные головоломки с рифмами и строфами. Это скорее хорошо, чем плохо. Средний уровень стихов очень повысился. Приятные стороны этого явления таковы: стихи теперь пишут лишь те, которые более или менее интересуются техникой стиха, общее повышение формального уровня дозволяет совсем не считаться со стихами безграмотными, наконец, общедоступность стихотворной грамотности позволяет не обращать слишком много внимания на преодоление трудностей чисто формальных и строго разделять стихотворца от поэта. Поэтому глубоко необходимо, чтобы изучение законов и условий ритмики продолжалось и постоянно популяризировалось. Надо, чтобы любой телеграфист или парикмахер могли писать в приступах влюбленности стихи формально не хуже бальмонтовских и брюсовских. Только тогда мы избавимся от неизбежного путанья стихотворцев с поэтами, только тогда трафареты чувств, образов и идей будут достаточно выяснены.

Минувшее десятилетие подновило и трафареты стихотворного содержания. Когда в восьмидесятых и девяностых годах многочисленные безвестные поэты той эпохи писали стихи, они употребляли трафареты настолько истертые и захватанные, что никаких черт их происхождения на них не оставалось. Семь десятилетий, прошедших после пуш-

кинской эпохи, настолько их утомили, что под ними уже ничего не осталось. Теперешние же трафареты только создаются, и каждый носит еще на себе фабричное клеймо своего происхождения. Эти трафареты еще способны возмущать вкус и даже компрометировать тех поэтов, у которых произведено заимствование. Когда, например, Мария Папер говорит: «Родной сестрой мне стала рысь», то становится немного неловко за В. Брюсова, а когда в стихотворении, посвященном Бальмонту, она восклицает: «Нежный поэт упоительно пьян», то становится мучительно стыдно за Бальмонта. Бальмонт больше всех виноват в Марии Папер. Конечно, читая Бальмонта, она сознала, что она — «растоптанная лилия, оскверненный Божий храм», что в ней «кипит, бурлит волна горячей крови семитической... Я вся горю, я вся полна заветной тайны эстетической», над Бальмонтом она сознала свои желания: «О, жажду нежного, слегка нескромного я взгляда рдяного... Красавца гибкого, красавца томного, восторга полного»; или: «Щемящие ласки, нежданность паденья... его отуманенный винами взгляд, и дерзостно смелый порыв Наслажденья, и с плеч моих спавший кисейный наряд». Мария Папер способна подыматься до больших высот безвкусия (например: «Ягодной струей желанного вечный мрамор орошу», «Близ тебя я проснусь и созрею, близ тебя я, как роза, нальюсь») и беззастенчивости (например: «Темен был его плащ и постель не узка... В извиваньях своих он был твой и ничей... В кружевах, кисеях утопала кровать... О, когда б ты могла ничего не скрывать!»). Особенность Марии Папер в том, что она любит запутывать массу известных лиц в свои интимные переживания, она любит «посвящать» и каждому умеет сказать что-нибудь неприятное. С. Городецкого она называет своим «стройным мальчиком», «с легкой синью глаз лилейных» (какая гадость!). В. Ропшину (очевидно, автору романа «Конь-блед») спешит сообщить, что она с ним заодно, Сергею Ауслендеру значительно напоминает о «девственно пышном страсти махровом цветке», Осипу Дымову покровительственно говорит: «Мы с тобою, дитя, прощались навеки, но не навсегда». Своею фамильярностью она не щадит и умерших... Авроре Дюдеван она говорит, что они — сестры, госпоже Сталь рассказывает, как она, Мария Папер, родилась в «медовую, греховную ночь», Байрона она называет своим другом и «кровным братом» (Байрон — семит?). Кроме лиц вышеупомянутых, в книге Марии Папер еще скомпрометированы: Федор Сологуб, Мирра Лохвицкая, Сергеев-Ценский, А. Блок, С. Рафалович, Оскар Уайльд и Пшебышевский.

Перелистывая стихи, присланные для отзыва в редакцию «Утра России», я не могу отвязаться от одной мысли: как хорошо было бы, если бы Мария Папер встретилась с Игорем-Северяниным. Это — поэт вполне в ее вкусе. Вот его стихи:

Гитана! сбрось бравурное сомбреро,
Налей в фиал восторженный кларет...
Мы будем пить за знойность кабалеро,
Пуская дым душистых сигарет...

...Галоп мандол достигнет алегретто,
Заворожен желаньем пируэта,
Зашелестят в истоме вздохи пальм...

Вина! вина! Обрызгай им, Гитана,
Букет мыслей... Тогда не надо тальм, —
Тогда помпезный культ нагого стана.

Игорь-Северянин творит из своей личности поэму «вечно-мужественного», вполне соответствующую тому идеалу «вечно-женственного», что из себя создала Мария Папер. Он не меньше скомпрометировал своей книгой женщин, чем Мария Папер мужчин. На обложке его книги напечатан отклик (в прозе) поэтессы Изабеллы Гриневской: «От всей души благодарна поэту Игорю-Северянину... Горячо желаю его звучным и задушевным стихам широкого распространения». Он посвящает свою книгу «Памяти почившей Королевы поэзии Мирры Лохвицкой — страстно скорбящий автор, благоговейно склоненный».

Нет! Если только существует какая-нибудь целесообразность в природе — Игорь-Северянин и Мария Папер должны полюбить друг друга, они созданы друг для друга и взаимно будут друг друга нейтрализовать.

В тех поэтических трафаретах, которыми они пользуются оба, явно влияние Бальмонта. Бальмонт в некоторых своих уклонах дал слова и речь, приготовил русло этому голосу внутренней духовной пошлости, и вот плоды его неосмотрительности.

<1911>

Виктор Ховин
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТИХИ

СПб., 1911. Предвешняя зима

Кто откроет книжку г. Игоря Северянина, будет *убежден*, что перед ним пародия на стихотворения декадентов. В самом деле, трудно представить себе, что такое, например, стихотворение может быть написано серьезно:

M-ME SANS GÊNE

Это было в тропической Мексике,
Где еще не спускался биплан,
Где так вкусны пушистые персики, —
В белом ранчо у моста лиан.
Далеко-далеко, за льяносами.
Где цветы ядовитее змей,
С индианками плоско-курносыми
Повстречалась я в жизни моей.
. . . .
...А бывало: пунцовыми ранами
Пачкал в ранчо бамбуковый пол...
Я кормила индейца бананами,
Уважать заставляя свой пол...
Задушите меня, зацарапайте, —
Предпочтенье отдам дикарю,
Потому что любила на Западе,
И за это себя не корю...

При всем желании никакой пародии на это стихотворение написать невозможно: это была бы уж двойная пародия.

Все стихотворения г. И. Северянина чрезвычайно старательно выдержанны в том же стиле. Стоит раскрыть книгу наугад, и вы получите шедевр своего рода. Таково первое же стихотворение в книжке — «Хабанера III»:

Струятся взоры... Лукавят серьги...
Кострят (?) экстазы... Струнят (?) глаза...

— Как он возможен, миражный берег... —
В бокал шепнула синьора Za (?).

За «струнящиеся глаза» автора было бы положительно справедливо «приструнить».

«Гамак волны» (с. 2), «сосны — идеалы равноправий» (с. 2), «фарватер, шелестящий под колесами» (с. 2), «Эскизит страсть» (с. 7), «лимонный плеск луны» (с. 19), «березозебренное (?!) шалэ» (с. 20) — все эти перлы щедрою рукою рассыпаны автором по страницам его книжки.

Но все это цветочки... В книге г. И. Северянина есть такая ягодка, которой изумился бы и истинный мудрец, несмотря на свою привилегию ничему не удивляться; стихотворение называется «Июневый набросок» (с. 16).

Взгляни-ка, девочка, взгляни-ка! —
В лесу поспела земляника,
И прифрантился мухомор —
Объект насмешек и умор...
О, поверни на речку глазы (?!!)
(Я не хочу сказать: глаза...)
Там утки, точно водолазы,
Ныряют прямо в небеса.

. . . .

Оно подобно мигу, лето...
Дитя, ты только посмотри:
Ведь мухомор — как Риголетто (?),
Да не один еще, — их три!..

Конечно, если автор хочет реформировать русскую грамматику, запретить ему это невозможно. Советовали бы ему издать по этому поводу специальное исследование... Но недурен также и мухомор, который «как Риголетто»!

Характер «творчества» г. И. Северянина, кажется, достаточно ясен из вышеизложенного. Все, начиная с названия, продолжая датой — «предвешняя зима» (впрочем, зима ведь всегда бывает «предвешней», г. И. Северянин?) и посвящением («тринадцатой») и кончая самими стихотворениями, — есть самое безнадежное ломанье и рисовка, все бьет на эффект, но, конечно, крайне неудачно. Впрочем, книга может иметь успех в качестве «книги невольных пародий», но трудно предположить, чтобы о таком именно успехе мечтал автор.

Мне хотелось бы сказать еще несколько слов относительно *формы* стихотворений г. И. Северянина. В этом отношении, конечно, нет тех вопиющих нарушений всякого смысла, какие наблюдаются в *содержании* их. Встречаются (хотя, увы, очень редко) места даже красивые и

звучные. Так как всегда приятно остановиться на хорошем, я приведу четыре последних стиха из стихотворения «Хабанера III» (с. 1).

Шуршат истомно муары влаги,
Вино сверкает, как стих поэм...
И закружились от чар малаги
Головки женщин и хризантем...

Если первый стих еще вымучен и носит на себе печать болезненной «выдуманности», столь свойственной г. И. Северянину, то три остальные прямо красивы.

Первая половина стихотворения «Сонет» правильна по форме и ясна по мысли.

Но вот и все, что составляет плюс автора. А минус его, и так громадный, увеличивается еще частою неправильностью версификаций, небрежными рифмами и, наконец, — прием не новый, но очень нехудожественный — придумыванием слов с целью *создать* рифму. «Глаза» рифмуются с «синьора Zа», «водолазы» с «глазы», «серебряный» с «березозебренным». В 4-х-строфном стихотворении «Квадрат квадратов» автор буквально «переливает из пустого в порожнее», изменяя в каждой строфе только 2—3 слова, причем содержание абсолютно не меняется. Я уже не говорю о таких «рифмах», как «пропели» и «пропеллер», «серьги» и «берег», «ноздри» и «сестры» и т. д., и т. д.

Насколько г. И. Северянин капризен, мы уже имели случай убедиться, когда он категорически отказался говорить «глаза» и захотел сказать «глазы», несмотря на то, что две страницы назад, в «Хабанере III» он, не будучи никем принуждаем, говорил «глаза». В такой же мере г. И. Северянин и строг. У него есть стихотворение «Импровизация». Впрочем, виноват, это не стихотворение: нельзя же назвать это стихотворением, когда там нет ни размера, ни рифм! Так вот, в этой «Импровизации» автор спрашивает:

Как смеют хоронить, когда на небе солнце?
Как смеют ковать цепи, когда не скован венец?
. . . .
Как смеют пить воду, когда в воде падаль? и т. д., и т. д.

Совершенно верно, г. И. Северянин! Действительно, досадно видеть, когда какой-нибудь нахал лезет пить воду, в которой падаль или начинает ковать цепи, когда венец еще не скован. Вы совершенно правы, когда восклицаете: «Как он смеет!» Но что же поделаешь? Много в людях излишней смелости, очень много!

<1911>

Александр Измайлов
ТЕРНИИ СЛАВЫ,
ИЛИ СОН В НОЯБРЬСКУЮ НОЧЬ

Нелегко быть министром, а великим человеком и того хуже.

Все дни разобраны, все часы рассчитаны! Пошел бы в гости, влез бы в халат, но — близится приемный час, и надо быть в крахмальном белье и во всем авантаже!..

Попробуйте, например, представить себя в положении поэта Игоря-Северянина. Вы спросите, откуда можно знать уклад его жизни? — он сам объявляет о нем в следующем заявлении на обложке своей только что вышедшей брошюрки «Пролог эгофутуризма».

«Я принимаю редакторов, желающих иметь мои поэзы на страницах своих изданий, по вторникам от 5 до 6 час<ов> веч<ера>. Мои условия: 1 р. за строку рукописи и годовой экземпляр издания. В некоторых случаях — gratis.

Издателей я принимаю по средам от 5 до 6 часов веч<ера>.

Начинающих поэтесс и поэтов, так часто обращающихся ко мне за советами, я с удовольствием принимаю по воскресеньям от 1 до 2 час<ов> дня.

Для литераторов, композиторов, художников и артистов я дома по четвергам от 1 до 3 час<ов> дня.

Устроители концертов и читатели принимаются мною по пятницам от 3 до 4 час<ов> дня.

Интервьюеры могут слышать меня по субботам от 2 до 3 час<ов> дня».

Можете себе представить! Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье — заняты. Только и отдохнуть, что в понедельник!

И что творится в покоях поэта! С утра суетятся — издатели, редакторы, художники, фотографы, портретисты, композиторы, артисты,

устроители концертов, интервьюеры, репортеры, начинающие поэты, поэтессы, почитатели, поклонницы... Что там приемы министров, — детская игра!

Поэт, видимо, только и знает, что выступает на вечерах, позирует перед художниками, уговаривается с издателями, редакторами, беседует с интервьюерами, разрывающими его на куски!

Жаль только, что не указано, где печатаются эти интервью и на каких концертах и собраниях можно видеть поэта.

О просителях автографов, которые лично являются к великому поэту и присылают тридцать тысяч курьеров, г. Игорь-Северянин умалчивает, очевидно, по своей невероятной скромности. Но можно себе представить, как они ломятся, эти несносные честолюбцы, тщеславящиеся вниманием знаменитостей, в его двери с утра до вечера! Что там театр Станиславского или Мариинская опера!.. Жизнь за автограф!

В понедельник, вероятно, автор только и делает, что пишет автографы!..

Какой пышный, какой волшебный сон!.. Как хорошо быть поэтом и мечтателем...

Жаль лишь, что к редким избранникам приходит такая сногсшибательная слава, и один из милиардов может сказать о себе, как говорит г. Игорь-Северянин в своей брошюре в четыре странички (мал золотник да дорог):

Я прогремел на всю Россию
Как оскандаленный герой!
Литературного Мессию
Во мне приветствуют порой...

1911

Федор Сологуб
ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА «ГРОМОКИПЯЩИЙ КУБОК»

Одно из сладчайших утешений жизни — поэзия свободная, легкий, радостный дар небес. Появление поэта радует, и, когда возникает новый поэт, душа бывает взволнована, как взволнована бывает она приходом весны.

«Люблю грозу в начале мая!»

Люблю стихи Игоря Северянина. Пусть мне говорят, что то или другое неверно с правилами пиитики, раздражает и дразнит, — что мне до этого! Стихи могут быть лучше или хуже, но самое значительное то, чтобы они мне нравились.

Я люблю их за их легкое, улыбчивое, вдохновенное происхождение. Люблю их потому, что они рождены в недрах дерзающей, пламенною волею упоенной души поэта. Он хочет, он дерзает не потому, что он поставил себе литературною задачею хотеть и дерзать, а только потому он хочет и дерзает, что хочет и дерзает. Воля к свободному творчеству составляет ненарочную и неотъемлемую стихию души его, и потому явление его — воистину нечаянная радость в серой мгле северного дня. Стихи его, такие капризные, легкие, сверкающие и звенящие, льются потому, что переполнен громокипящий кубок в легких руках нечаянно наклонившей его ветреной Гебы, небожительницы смеющейся и щедрой. Засмотрелась на Зевесова орла, которого кормила, и льются из кубка вскипающие струи, и смеется резвая, беспечно слушая, как «весенний первый гром как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом».

О, резвая! О, милая!

Февраль 1913 г.

Владислав Ходасевич
РЕЦЕНЗИЯ НА ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ «ГРОМОКИПЯЩЕГО КУБКА»

«Громокипящий кубок» — не первая книга Игоря Северянина: в ней собраны стихи, в большинстве своем уже вошедшие в тридцать шесть изданных им брошюр. Но эти брошюры почти не поступали в продажу.

То, что до сей поры пуще всего сердило развязных критиков Игоря Северянина и что, действительно, прежде всего бросается в глаза — это его язык. Повторилась старая история: поэт позволил себе несколько расширить рамки обычного словаря. В таких случаях поднимается вопль. Негодуют те самые люди, которые в других случаях, когда дело идет об уже признанных поэтах, умеют называть обогащение словаря высокой заслугой. За словарь доставалось Бальмонту, Брюсову, Андрею Белому. В старые времена — Пушкину, Гоголю, и даже тому мифическому вольнодумцу, который в «Горе от ума» дерзал перевести на русский язык слова: madame, mademoiselle:

Сударыня? Ха—ха—ха—ха! Прекрасно!
Сударыня? Ха—ха—ха—ха! Ужасно!

На самом деле в словаре Игоря Северянина нет ничего «ужасного». Он, например, любит образовать глагольные формы от существительных: «офиалчен и олилеен», «околошить», «осклепен». Но ведь говорим же мы: окаймлять, обручаться, а В. А. Жуковский, отнюдь не футурист, 80 лет тому назад написал: «И надолго наш край был обезмышен». Такие глаголы, как «ручьится» — не редкость в поэзии Державина... Мы не имеем возможности подробно остановиться на других особенностях языка И. Северянина. Одни из них более удачны, другие менее, но все они так же мало «ужасны», как только что приведенные. Да и не в них дело.

«Футурист» – слово это не идет к Игорю Северянину. Если нужно прозвище, то для И. Северянина лучше образовать его от слова *«present»*, «настоящий». Его поэзия необычайно современна – и не только потому, что в ней часто говорится об аэропланах, кокотках и т. п., – а потому, что чувства и мысли поэта суть чувства и мысли современного человека, потому что его душа – душа сегодняшнего дня. Может быть, в ней отразились все пороки, изломы, уродства нашей городской жизни, нашей тридцатиэтажной культуры, «гнилой, как рокфор», – но в ней отразилось и небо, еще синеющее над нами.

Образы поэта смелы и выразительны, приемы – своеобразны. Он умеет видеть и изображать виденное. Его стихи музыкальны и иногда легки, как лучшие строки Бальмонта. Правда, кое-что в них безвкусно, неприятно, развязно, но все это недостатки временные. Дарование поэта победит их.

1913

Осип Мандельштам
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН. ГРОМОКИПЯЩИЙ КУБОК. ПОЭЗЫ

Предисловие Федора Сологуба. Изд. Гриф. Москва, 1913 г.

Поэтическое лицо Игоря Северянина определяется главным образом недостатками его поэзии. Чудовищные неологизмы и, по-видимому, экзотически обаятельные для автора иностранные слова пестрят в его обиходе. Не чувствуя законов русского языка, не слыша, как растет и прозябает слово, он предпочитает словам живым слова, отпавшие от языка или не вошедшие в него. Часто он видит красоту в образе «галантерейности». И все-таки легкая восторженность и сухая жизнерадостность делают Северянина поэтом. Стих его отличается сильной мускулатурой кузнечика. Безнадежно перепутав все культуры, поэт умеет иногда дать очаровательные формы хаосу, царящему в его представлении. Нельзя писать «просто хорошие» стихи. Если «я» Северянина трудно уловимо, это не значит, что его нет. Он умеет быть своеобразным лишь в поверхностных своих проявлениях, наше дело заключить по ним об его глубине.

1913

Владимир Кранихфельд
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОТКЛИКИ
«80 тысяч верст вокруг себя»
(отрывки)

I

Пришел сам «мэтр» Валерий Брюсов и, осудив осуждающих «крайнюю левую» русской поэзии, указал на заключенную в ней «какую-то правду, какие-то возможности» (см. в «Русск. мысли», март, статью «Новые течения в русской поэзии»).

«Выступления "футуристов", как то всегда бывало с крайними течениями в литературе, возбуждает, — жалуется Брюсов, — смех и негодование читателей; им ставят в вину непонятность и бессмысленность их произведений; их готовы считать просто шутниками и мистификаторами. Вряд ли, однако, такого отношения заслуживает группа молодых художников, стремящихся сказать и сделать что-то новое; справедливее попытаться понять их стремления и оценить эти начинания серьезно, хотя бы и с своей точки зрения» (с. 124). «В протесте футуристов тоже есть своя "правда", поскольку они восстают против того "общего места", к которому начинает склоняться наша поэзия за самые последние годы» (с. 133).

Вместе с Брюсовым пришел недавно еще «смертерадостный», а ныне сладчайший Федор Сологуб и приторными словами, как «одно из сладчайших утешений жизни», приветствовал капризную, дразнящую и раздражающую музу одного из «крайних левых»:

О, резвая! О, милая! *

* См. предисловие Ф. Сологуба к книге Игоря Северянина «Громокипящий кубок. Поэзы». М. 1913 г.

Нет ничего удивительного в том, что отцы напутствуют и благословляют возмужавших сыновей своих, радостно приветствуя их первые публичные выступления. Ведь футуристы — законные дети и правопреемники того, блаженной памяти, литературного декаданса, зачинателями которого у нас в свое время были, вместе с другими, и Брюсов, и Сологуб. Правда, оба они давно перешагнули уже ту черту сознательности и возраста, за которой казались им соблазнительными и остроумными их прежние выходы с фиолетовыми руками, бледными ногами и многочисленными другими «эпатирующими» chefs d'oeuvre'ами свободного от задерживающих центров творчества. Теперь они уже не те лихие наездники всяческих «дерзаний», вокруг которых в былые времена собиралась и шумела любопытствующая улица. Вслед за Брюсовым может сказать про себя и Сологуб:

Теперь в душе и тишь, и тень,
Далека первая ступень.

Но вот, солидные и серьезные мэтры, они видят себя вновь окруженными родственной молодежью, которая и лозунгами, и задором почти повторяет их. Им ли не радоваться на нее? Им ли не приветствовать ее первые шаги:

О, резвая! О, милая!

Если бы дело ограничилось отеческими благословениями Брюсова и Сологуба, оно могло бы, пожалуй, быть принято со стороны за интимное семейное торжество. Иному щепетильному зрителю ничего другого не оставалось бы, как скромно, в качестве непрошенного гостя, удалиться, предоставив отцам и детям отпраздновать радостную встречу в их близком семейном кругу.

Но праздник выскочил из этих узких рамок интимности. Он привлек к себе толпу, превратился в событие, в числе непосредственных свидетелей которого оказался, конечно, и Тан, — всюду поспевающий, проворный Тан. И он склонил свое чело перед «крайними левыми» русской поэзии, противопоставив их молодую энергию застывшей «лаве погасшего вулкана» старой литературы, группирующейся вокруг Всероссийского литературного общества, «Литературки» тож. «Ведь они все-таки моложе и бойчее» («Речь», 26 марта)...

Этот несколько странный и легкомысленный аргумент пущен в ход Таном не только по свойственной этому писателю поспешности, но и за полным отсутствием у него каких-либо иных доводов в пользу футуризма. Очутившись на собрании «крайних левых», он вынужден был сознаться, что «ей Богу, не понял ни слова, при всем желании». Видел только, что люди там «моложе и бойчее», и преклонился, — не чета, мол, «нашей Литературке, заживо мертвой». <...>

III

Меня смущает только одно обстоятельство: я боюсь оказаться со своей статьей в таком же неприятном положении, в каком оказался Брюсов со статьей, напечатанной в мартовской книге «Русской мысли». Дело в том, что события в жизни и деятельности наших футуристов развертываются с такой умопомрачительной быстротой; прогресс, как говаривал Щедрин, идет у них вперед с такой неудержимой энергией, что нет никакой возможности хоть на мгновение остановить его, чтобы зафиксировать на бумаге. И вот случилось так, что статью Брюсова, напечатанную в марте, в апреле уже приходится признать безнадежно устаревшей. Теперь она переполнена фактическими ошибками, потому что многие события, правильно освещенные Брюсовым в марте, в апреле были выворочены наизнанку.

Ошибочным оказалось уже самое деление футуристов на петербургских и московских. Московские футуристы перекочевали в Петербург и прочно обосновались здесь, открыв совместно с художниками-кубистами свой орган: «Союз молодежи». На днях вышел № 3 этого журнала *.

Петербургские футуристы, напротив, пишут почему-то свои «поэзы» в Москве. Затем они лишились своего лидера Северянина и этим вовлекли Брюсова в новую ошибку. «Погиб поэт Игорь Северянин, материальности предпочивший Идейность, рыночному спросу Свободу», — мрачно констатирует летописец последнего издания петербургских футуристов «Засахаре Кры» («Засахаренная Крыса», надо полагать?). Впрочем, тот же летописец свидетельствует, что гибель Северянина пошла на пользу товарищам, оставшимся верными своему знамени. Падение Северянина, утверждает он, как и падение яблока на голову Ньютона, привело к новому знаменательному открытию: на месте погибшей северянинской «интуитивной школы Вселенского Эго-Футуризма» открыта «интуитивная ассоциация». Эта последняя обнародовала свою новую «грамоту», которая у Брюсова, опять-таки ошибочно, воспроизведена в прежней, ныне уже устаревшей редакции.

Попутно в дальнейшем изложении я, быть может, укажу еще и некоторые другие невольные фактические ошибки Брюсова, а пока начну с новой грамоты новой «интуитивной ассоциации». Приведу два первых ее пункта:

* В прошлом году этот журнал принадлежал только художникам и назывался «Общество художников Союз молодежи». Вышло в свет только два номера, так что новый журнал «Союз молодежи» является как бы расширенным продолжением прошлогоднего издания. — *Вл. Кр.*

I. Эго-Футуризм – непрестанное устремление каждого Эгоиста к достижению возможностей Будущего в Настоящем.

II. Эгоизм – индивидуализация, осознание, преклонение и восхваление «Я».

Эти не совсем грамотно выраженные положения крайнего индивидуализма петербургских футуристов находят дальнейшее выражение в органе их московских (точнее: бывших московских) сотоварищей.

В статье «Принципы нового искусства» («Союз молодежи», № 2) Владимир Марков восторгается одной из достигнутых уже «возможностей Будущего в Настоящем»: «Так хорошо, так радостно выпустить душу на волю, рисовать и работать, полагаясь на счастье, не стесняя себя никакими законами и правилами, а идти слепо, без цели, идти в неизвестное, отдавшись свободному исполнению, и расшвырять, разметать все завоевания, все наши quasi-ценности».

Между прочим, «Союз молодежи» вовсе не так уж чуждается своих итало-французских родоначальников и учителей, как это утверждает о наших футуристах Брюсов, основываясь на других изданиях этого течения. «Союз молодежи» охотно помещает на своих страницах воззвания и статьи западноевропейских футуристов. И вот, например, несколько параграфов из напечатанного в № 2 «Союза» «Манифеста футуристов» итало-французского происхождения.

«Мы объявляем:

1) Следует презирать все подражательные формы и возносить все формы самобытные.

2) Следует восстать против тирании слов: "гармония" и "хороший вкус".

3) Что художественная критика бесполезна и вредна.

4) Что следует смести все изжитые темы, чтобы выразить наш головокружительный век, – век железа, гордости, лихорадки и стремительности.

5) Что следует с гордостью принимать титул "сумасшедшего", которым стараются заклеймить новаторов».

Достойно внимания, что в ламентациях наших отечественных сверхчеловеков, как и в манифестах их заграничных учителей, одинаково пробиваются две как будто враждебные друг другу ноты. Гимн абсолютной свободе сопровождается диссонирующим аккомпанементом какой-то фанатической сектантской нетерпимости.

Для них, грядущих в мир, провозглашается безграничная свобода творчества, – свобода от законов и правил, свобода от цели и плана, свобода нелепости и уродства (тезис Владимира Маркова), свобода дурного вкуса (тезис итало-французского манифеста), – свобода, в

безбрежном просторе которой Ольге Розановой из «Союза молодежи» радостно грезится «небывалое ранее разнообразие и количество художественных путей».

К тем же, кто не с ними, к тем, которые до них успели начертать свое имя на скрижалях литературы и живописи, — к тем они варварски жестоки. Расшвырять, смести, сжечь — таков их неумолимый приговор великим памятникам искусства.

«Только мы — лицо нашего Времени. Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч. с парохода современности», — провозглашают наши футуристы. «Я тоскую по большому костру из книг! — завывает в "Союзе молодежи" В. Хлебников. — Где великие уничтожители книг?»

Допустим, что футуристы-художники (они же кубисты) имеют известные основания коситься на существующие музеи и картинные галереи. Они поставили себе задачей создать новую живопись, совершенно отличную от существовавшей и существующей. Они намерены показать нам в своих картинах не только то, что мы видим в природе, но также и то, что мы знаем о ней, — не только, скажем, лицо человека en face, но вместе с лицом и затылок его. Они намерены, бросая на картину одни лишь разрозненные впечатления (кусок здания, часть колеса бегущего автомобиля, руку шофера, нажимающую на руль, и т. д.), заставить самого зрителя воссоздать по этим отдельным намекам синтетическую картину движения. Они намерены освободить живопись от подражания природе, изображать только сущность предметов, пренебрегая их индивидуальными признаками, и т. д., и т. д. Словом, футуристы-художники как-никак, но ставят себе определенные, хотя, быть может, совершенно утопические задачи, для осуществления которых им необходимо приучить и себя, и зрителя к целому ряду новых, непривычных и сейчас неприемлемых условностей. И если предположить, что первые же опыты футуристов в этом смысле дали удовлетворительные для новых принципов показания (а это предположить никак нельзя, глядя на их красочную мазню и чернильные кляксы), то вместе с тем приходится признать, что наличность музеев, в которых и зритель, и сами художники-футуристы воспитывают свой глаз в направлении традиционных условностей, будет задерживать успехи нового искусства. Отсюда ни в каком случае, разумеется, не следует, что полезно разорить музеи, как это уже и предлагалось итальянскими футуристами, желающими немедленного торжества своей не оправданной еще никакими завоеваниями мечте. Но при всем том мы можем, по крайней мере психологически, объяснить и понять неприязненное отноше-

ние этих новаторов-мечтателей к нашим общепризнанным художественным ценностям.

А футуристы-поэты, какую иную, кроме беспредельного своеволия, мечту пришли они поведать миру? Во имя чего иного, кроме «непреодолимой ненависти к существовавшему до них языку», как сказано в манифесте б. московских футуристов, намерены они смести с «Парохода современности» и предать потоплению или огню наших Пушкиных и Толстых? Каким новым достижениям в области слова могли бы помешать им поэзия Пушкина, проза Толстого?

Не ищите ответов на эти вопросы в изданиях футуристов. Их нет, и только, порывшись в генеалогии этих сверхчеловеков, вы догадаетесь, что свою идиосинкразию к литературным памятникам искусства они целиком разделяют с такою же идиосинкразией своего предка Фамусова: «Уж коли зло пресечь,— забрать все книги бы да сжечь».

И заметьте, что нашим современным фамусовым, точно так же, как и достопочтенному их прадедушке, мешают не только определенные сочинения, напр., поэзия Пушкина, что ли, а книги вообще. Футуристы — видите ли — желают блеснуть своими откровениями не только в поэзии, но и во всех областях знания. Так «разве можно, — негодует Хлебников, — с таким грузом книг, какой есть у старого человечества, думать о таких вещах!» <...>

V

У Брюсова есть свои основания поощрять эту профессию. Для него слово — не эхо мысли только. Преклонившись в одном из своих стихотворений пред могуществом чисел («Вам преклоняюсь, вас желаю, числа!»), он с таким же преклонением относится и к слову. Слова для него — это цветы мистического созерцания, таинственные голоса, несущие обетование иных миров. И недаром же, считая Вячеслава Иванова поэтом сухим, Брюсов ставит ему в особую заслугу то, что он выработал свой собственный язык и даже свой синтаксис.

Бывший maître d'école петербургского эго-футуризма, Игорь Северянин, которого Брюсов поощрил за «самостоятельность» и «отвагу» еще два года тому назад, познакомившись с его «электрическими» стихами, тоже обещает нам подарить, вместе с изысканно-тонкими блюдами старо-французской поэзии, и свой новый изысканный язык. В «Громокипящем кубке» своей поэзии он пишет:

Пора популярить изыски, утончиться вкусам народа,
На улицу специи кухонь, огимнив эксцесс в вирэле!

(«Мороженое из сирени»)

И вот он пускает в оборот целый ряд новых словообразований: окалошить, беззвучить, осупружиться, обнездешиться, заморeть, морево, грозово, улыбность, провинца и т. д., и т. д. Сочиняет «поэзы» вроде, например, таких:

Офиалчен и олилиен озерзамок Мирры Лохвицкой.
Лиловеют разнотонами станы тонких поэтесс.
Не доносятся по озеру шумы города и вздох людской,
Оттого, что груди женские — тут не груди, а дюшесс...

(«Поэзоконцерт»).

Или:

Ты взглянула утонченно-пьяно,
Прищемляя мне сердце зрачком...
И вонзила стрелу, как Диана,
Отточив острие языком...
И поплыл я, вдыхая сигару,
Ткя седой и качелящий тюль, —
Погрузиться в твою Ниагару,
Сенокося твой спелый июль...

(«Эксцессерка»).

Свое миросозерцание Игорь Северянин целиком взял у старых декадентов, с одинаковым восторгом прославлявших и Господа и Дьявола. Повторяя те же мотивы, он славит Дисгармонию, в которой одинаково ценны Рейхстаг и Бастилия, кокотка и схимник. Затем, объявив в особой «поэзе» о своем высоком происхождении, — он внук Карамзина, — Игорь Северянин подводит итоги своей двухлетней поэтической деятельности:

Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!
От Баязета к Порт-Артуру
Черту упорную провел.
Я покорил Литературу!
Взорлил, гремящий, на престол!

(«Эпилог»).

В течение каких-нибудь двух-трех лет «покорить литературу» и «взорлить на престол», это, пожалуй, даже для «оэкраненного» Игоря

Северянина слишком много. Читатель вправе предположить здесь манию величия и заподозрить, в качестве виновников несчастья, во-первых Брюсова, «повсесердно утвердившего» предрасположенного к болезни поэта, и во-вторых, кинематограф, «оэкранивший» его (вот новая беда от кинематографа!).

Но нельзя не признать все-таки, что в лице Игоря Северянина русская поэзия может приветствовать большой и многообещающий талант. В «Громокипящем кубке» есть несколько стихотворений, останавливающих внимание неподдельным лирическим настроением и законченностью формы. Правда, и в них чувствуются перепевы иногда Бальмонта, иногда Сологуба, иногда Фофанова, Брюсова, но печать индивидуального таланта молодого поэта так крепко оттиснута на них, что причислить их к подражательным никак нельзя. Поэт ищет свою форму и, конечно, найдет ее. В числе лучших стихотворений Северянина можно назвать: «Очам твоей души», «Весенний день», «Русская» «Chanson russe», «Мисс Лиль», «На смерть Фофанова» и др. Для примера приведу здесь «Русскую»:

Кружевеет, розовеет утром лес,
Паучок по паутинке вверх полез.
Бриллиантится веселая роса;
Что за воздух! что за свет! что за краса!
Хорошо гулять утрами по овсу,
Видеть птичку, лягушонка и осу,
Слушать сонного горлана-петуха,
Обменяться с дальним эхом: «Ха-ха-ха»!
Ах, люблю бесцельно утром покричать,
Ах, люблю в березах девку повстречать,
Повстречать и, опираясь на плетень,
Гнать с лица ее предутреннюю тень,
Пробудить ее невыспавшийся сон,
Ей поведать, как в мечтах я вознесен,
Обхватить ее трепещущую грудь,
Растолкать ее для жизни как-нибудь!

Подлинный талант, которому стало тесно в узких рамках кружковщины, спас Игоря-Северянина от цепей футуризма, а внутренние распри, нашедшие себе выражение и в «Громокипящем кубке», и в «Засахаре Кры», ускорили развязку. В ответ на обвинения, предъявленные ему бывшими товарищами по «интуитивной школе вселенского эгофутуризма», Игорь-Северянин ответил, что он признает миссию своего

эгофутуризма выполненной, желает быть одиноким и считает себя только поэтом, чему он «солнечно рад». Свое освобождение поэт ознаменовал тем, во-первых, что многие (к сожалению, далеко не все) из своих прежних «эклетрических» и прочих иных чудачеств изъял из книги, и, во-вторых, тем, что закончил книгу словами, обещающими дальнейшие шаги в сторону эмансипации:

Мой мозг прояснили дурманы,
Душа влечется в Примитив.
Я вижу росные туманы!
Я слышу липовый мотив!
Не ученик и не учитель,
Великих друг, ничтожных брат,
Иду туда, где вдохновитель
Моих исканий — говор хат.

Такую «самостоятельность» и такую «отвагу», выразившуюся в разрыве Игоря-Северянина с чудачествами футуризма, можем приветствовать и мы. Что же касается «отваги», направляемой на искусственное обогащение языка, то последние опыты наших футуристов в № 3 «Союза молодежи» с достаточной очевидностью показывают, к каким результатам эта «отвага» неизбежно приводит. Известный уже нам В. Хлебников разрядился здесь огромной, в 8 страниц, поэмой или чем-то в этом роде, под названием «Войнасмерть». Приведу ее начало:

Немотичей и немичей
Зовет взыскующий сущел,
Но новым грохотом мечей
Ему ответит будущел.
Сумнотичей и грустистелей
Зовет рыданственный желел
За то, что некогда свистели,
В свинце отсутствует сулел...

И все-таки рекорд «словоновшеств» побил не Хлебников, у которого, хоть изредка, да попадаются общеизвестные слова, а Крученых, тут же напечатавший пятистишие «на языке собственного изобретения». Ввиду, должно быть, особенных достоинств этого стихотворения редакция футуристского журнала отвела ему отдельную страницу и выделила его из всего остального журнального материала крупным шрифтом, который мы здесь тщательно воспроизводим:

ГО ОСНЕГ КАЙД
М Р БАТУЛЬБА
СИНУ АЕ КСЕЛ
ВЕР ТУМ ДАХ
ГИЗ

Здесь поэзия футуризма действительно достигла вершины доступного ей совершенства. С побеждающей выразительностью она обнаружила достоинства, приписываемые ей ценителями, – отвагу Брюсова, милую резвость Сологуба и молодую бойкость Тана. Но, очевидно, в то же время, даже в той же области, которую футуристы сами отмежевали себе, – в области обновления языка, – заслуги их чрезмерно преувеличены: они не куют, как утверждает Брюсов, они только высовывают язык.

<*1914*>

Сергей Кречетов
FINITA LA COMEDIA!

Меня взорвало это «кубо»,
В котором все бездарно сплошь...

Игорь Северянин

Послушайте меня, поймите,
Их от сегодня больше нет.

Игорь Северянин

Еще на арене кувыркаются клоуны и пестро одетые фигуры прыгают в обручи, обтянутые папиросной бумагой, еще гудит тромбон и тяжко ухает турецкий барабан, а около выхода уже толкотня, и зрители ищут шапки и калоши, торопясь на воздух.

Еще лекторы читают рефераты о футуризме, еще кое-где в общественных местах попадаются люди в желтых кофтах и странные физиономии с клеймами и таврами еще на диспутах тоскливо скандалят по долгу службы, силясь продлить ускользающую рекламу, но уже становится все более и более очевидным, что песенка футуризма спета. Мутная его волна быстро сходит на нет, не создав никакой серьезной школы и оставив на опененном берегу лишь несколько удачных неологизмов да пару не очень новых мыслей о необходимости дальнейшего развития русского языка в соответствии с усложнением жизни и ускорением ее темпа.

Единственный талант, вынесенный на гребне этой волны, Игорь Северянин, быстро проложил себе широкий и вольный путь и, наконец, решительно открестился от всей липнувшей к нему бездарной своры своим недавним «манифестом», напечатанным в «Утре России». Там он, утверждая свое преемственное место в общем течении русской литературы и свою благоговейную связь с пушкинской традицией, весьма определенно заявляет по адресу «псевдоноваторов», кричащих

о необходимости выбросить Пушкина и Лермонтова «с парохода современности»:

Не Лермонтова – «с парохода»,
А бурлюков – на Сахалин!

Быть может и придет еще подлинный футуризм, который докажет, что гг. Бурлюки и Шершеневичи не с большим правом называли себя «футуристами», чем некогда, на заре символизма, именовал себя «декадентом» стихоплет из грошевых уличных листков Емельянов-Коханский. Но во всяком случае та группа русских писак, которая присваивает себе имя футуристов теперь, являет картину полнейшего банкротства.

Этому лучшим доказательством толстый том (цена 2 рубля) первого выпуска «Первого журнала футуристов» (М., 1914).

<...>

Какой толк в том, что у отдельных участников (Большаков, Лившиц, особенно Маяковский) попадаются отдельные блестящие крупинки, притом проскальзывающие у них помимо их воли, пожалуй, и могут показать, что, брось эти господа свои затеи, из них могли бы выйти пристойные стихотворцы, но вовсе не могут сделать ни в какой мере ценной глыбу бездарности, в которую они вкраплены, – бездарности лиц и бездарности самого их метода.

<...>

Даже бывший соблазнитель «графинь» и «герцогинь», Вадим Шершеневич, еще недавно изводившийся в потугах быть изысканным, салонным и будуарным, бросил эти бесплодные попытки и, по-видимому, обрел более подходящий для себя стиль.

Теперь мне уже нет поводов называть его «обезьяной Игоря Северянина», ибо он выступает в качестве форменного «урбаниста» (по определению исследователей болезней современной культуры, «“урбанист” есть хулиган городской в отличие от “рустициста”, хулигана деревенского!»).

Вместо всяких весьма неудавшихся ему изысканностей и «шикарных» поз, писания его теперь уснащены грубыми и площадными словами и выражениями из категории тех, за которые выводят из гостиной, но которые производят благодарный эффект в дворницкой.

Забеременели огнями животы витрин

Пойдемте же тыкать расплюснутые морды

А в животе пробурчат остатки проглоченных щей

Из ваших поцелуев и из ласк протертых
В полоску сошью себе огромные штаны...

<...>

Да, Шершеневич, наконец, «исправился». Теперь он может быть спокоен. *Таким* его никто не заподозрит в подражании Северянину. Но обезьянство осталось обезьянством. Была бездарь под Северянина, стала бездарь под Маяковского и Бурлюка. Впрочем, пока Давид Бурлюк пишет решительнее.

А поезд, как дитя, вдруг приподнял рубашку
И омочил прибрежность, насыпь, куст,
И ландыш, и волшы (?), и сладостную кашку,
И девушку, упавшую без чувств.

Но я надеюсь, со временем Шершеневич в своем новом курсе его перещеголяет, хотя бы не только девушки, но и лошади падали без чувств от такой «литературы».

<...>

Кроме отдела «Теория и полемика», строго выдержанного в одинаково базарном тоне, есть еще отделы «Библиографии» и «Художественной хроники», окрашенные совершенно теми же красками и переполненные столь же комическими, сколь и нелепыми самовозвеличениями.

И надо всем висит зеленая скука и мертвый, безнадежно мертвый дух надоевшего, себя пережившего скандала.

Все талантливое, все подлинно живое (Северянин, Ларионов, Гончарова) отступилось от этого безвозвратно потерянного дела. Снаружи — гаерство, внутри — пустота печальная, угрюмая, жуткая.

<...>

Пора раскрывать окна и выметать футуристические окурки.

<*1914*>

И. Игнатьев
ПЕРВЫЙ ГОД ЭГО-ФУТУРИЗМА

...Я не могу понять...
...Что значит дикое слово «триолет»?!

Из провинциальных рецензий о футуризме

Каждый преподаватель физики, дойдя в своих объяснениях до Инерции, считает непременно обязанностью сослаться на следующий довольно характерный эпизод.

— Однажды, в одной из южных провинций Франции, полотно железной дороги переползало необозримое количество гусениц. В это время должен был проходить экспресс, паровоз которого и врезался в середину живого наводнения. Колеса локомотива заработали на одном месте, и, как ни бился машинист, поезд не трогался ни взад, ни вперед. Кончилось, кажется, тем, что паровоз взорвался...

Такое же зеленое наводнение жирных, тупых гусениц представляла и представляет наша так называемая, pardon, «Критика», способная уничтожить все нужное, чуткое, ценное, передовое.

За последнее десятилетие, — или, вернее, пятилетие, российская пресса вынуждена была подтянуться. Сначала «дням свободы», а затем всевозможными дельцами американской складки à la г. Корнфельд, дающими невзыскательной улице сенсационные новости и доходящими в погоне за лишним читательским пятаком до шулерских приемов *. Все это, однако, только в области техники, отделов, графики. Но ни одна искорка от новых лучей не заглянула в мрачный уголок «Критики».

* Петербургский «Синий журнал», дающий снимки своих пьяных сотрудников, иллюстрирующие «интервью» А. Бухова на тему «Клуб рифмы» и «Тайна смерти». «С. ж.», № 39 и 40.

И если *четыре* года тому назад Эллис жаловался на «вандализм в современной критике», то в настоящий момент вандализм этот усугублен до *четвертой* степени.

Тот же «пересказ своими словами», та же искажаемость, те же выхваты наугад, прицепление к опечаткам, бранное раздувание мелочей и замалчивание сущности.

Вот при такой «критической» обстановке и суждено было родиться эго-футуризму.

В ноябре прошлого 1911 года издательством «Ego» был выпущен первый боевой снаряд — брошюра г. Игоря-Северянина «Пролог Эго-футуризм», вызвавший переполох необычайный.

Ежедневники и еженедельники хрипели до остервенения. И только один единственный критик И. В. Игнатьев *признал первый* надлежащее значение Игоря-Северянина («Нижегородец» № 78. 1912. 25. XI).

Следовательно, *мэтром* новой интуитивной школы и является г. Северянин.

Я, возведенное на пьедестал, в момент, когда «Державиным стал Пушкин», когда было пустынно на опушке Олимпа «грезовых лесов», когда уходили Одни (импрессионисты) и не пришли еще другие (эго-футуристы), — взбаламутило дремное море «критики». Она, не доросшая даже до понимания Ушедших, с ожесточенностью набросились на «Грядущего Дерзателя».

Это было первою горстью зерен, посеянных на русской территории.

Собственно говоря, подчеркивание русской территории здесь излишне, ибо само слово «*эго*-футуризм» и без того достаточно ясно заявляет, о чем в данном случае идет речь. Но вселенский *эго-футуризм* постоянно смешивают с *футуризмом* итало-французским, родоначальником которого признан уже около трех лет тому назад издатель римского футур-журнала «Poesia» — Marinetti. Точно так же слышен всегда вопрос Непосвященных.

— В чем же точно и обстоятельно заключается credo эго-футуризма?

На этот вопрос отвечает программа Академии Эго-Поэзии, выпущенная в январе 1912 г.

АКАДЕМИЯ ЭГОПОЭЗИИ
(Вселенский Футуризм)

19 Ego 12.

П р е д т е ч и:
К. М. Фофанов и Мирра Лохвицкая.

Скрижали:

I. Восславление Эгоизма:
   1. Единица — Эгоизм.
   2. Божество — Единица.
   3. Человек — дробь Бога.
   4. Рождение — отдробление от Вечности.
   5. Жизнь — дробь вне Вечности.
   6. Смерть — воздробление.
   7. Человек — Эгоист.

II. Интуиция. Теософия.

III. Мысль до безумия: безумие индивидуально.

IV. Призма стиля — реставрация спектра мысли.

V. Душа — Истина.

Ректориат:

Игорь-Северянин.
Константин Олимпов (К. К. Фофанов).
Георгий Иванов.
Грааль Арельский.

Имена членов ректориата начинают встречаться затем на страницах *первого периодигеского издания эго-футуристов,* — газеты «Петербургский глашатай», основанной и издаваемой И. В. Игнатьевым с 12 февраля 1912 г. Несмотря на то, что облик первого номера газеты был довольно робок и неопределен, — она пронеслась ураганом от «Урала до Алтая, от Амура до Днепра». Всколыхнулась провинциальная интеллигенция — полетели в Петербург приветственные послания со всех сторон России, из Владивостока, Костромы, Рыбинска, Смоленска... Новым течением заинтересована вся серьезно читающая публика. Тут-то и начинается главная роль посредника между Читателем и Автором — «Критики». Сюсюкая идиотским хихиканьем, она топчет Новое, встающее на ноги, вместо того чтобы помочь ему подняться. «Больные»... «Декаденты»... «Желтые люди»... «Сумасшедшие»... Каждый трубит в свою дуду — черные бьют в набат, крича «о загаживании русского языка» («Земщина»), красные нажимают педаль на «слуг разжиревшей буржуазии» (3 фельетона «Рыбинской копейки», «Поволжский вестник», «Скверное утро»). Бездоказательное неприятие, беззастенчивое хулиганское издевательство, попугайские выкрики «декадент! декадент!» (а Вы знаете разницу между Декадансом и Мистическим Анархизмом, госпожа тупорылая «Критика»?!) — вот встреча эго-футуризма со стороны нечистоплотной дряни, стоящей у кормила Оценки. Но все это не приводит ни к чему. «Критика» делает попытки

к замалчиванию — Читатель настойчиво требует сведений о Новом Светлом Течении. Приходится идти на компромиссы. Вот почему в России нет ни одного захудалого листка, не посвятившего хотя бы колонку строк эго-футуризму, который крепнет, яснеет, растет.

Это видно и по второму номеру «Петербургского глашатая», вышедшему 11 марта 1912 г.

Такой чисто суворовский штурм и победы побуждают Дирекцию устроить ряд редакционных раутов, банкетов и soirées, о которых говорит весь Петербург.

Благовоспитанное времяпрепровождение за чтением поэз и фиалом крэм де-Виолетта является протестом интеллектуальных интимников против мещанства публичных эксцессов футуристов итало-французских, отличающихся крайнею стадностью и нетерпимостью. (Между прочим, ими преданы публичному сожжению творения Римского-Корсакова, Чайковского, Сен-Санса и др.)

В начале весны текущего года намечался к устройству открытый поэзо-концерт. Были разосланы приглашения, в том числе и А. И. Куприну, ответное письмо которого помещено на первой странице. Был даже обнародован проект программы.

Ego
МЫЗА «ИВАНОВКА»

Ст. Пудость, Балт. ж. д. Гатчинская Мельница. В парке при Охотничьем Дворце Павла I-го, на Эстраде у мраморных урн, в прелюде Мае 1912 г.
Первый весенний концерт Вселенского-Футуризма организованный Дирекциею Газеты «Петербургский глашатай».

Соисполнители:
Игорь-Северянин. И. В. Игнатьев. Константин Олимпов. И. С. Лукаш.
Начало точно в полночь.
В парке лиловая иллюминация. Эоло-колокольчики. Незримые окарины и свирели.
Киоски: Уединения. Эго-сборников. Молока и черного хлеба.
Шалэ Амура.
Буфет на восточной веранде Дворца у самой Эстрады. Вина садов князя Юсупова; Ликер Crème de Violettes фирмы Cusenier. Розовые гатчинские форели; хариусы; Bonbons-Violettes от Гурмэ. Чай из лепестков fleur d'orange. Гондолы для переправы через р. Махалитту: «Принцесса Греза», «Алави».
Вшаг по пригласительным вержэткам.
Обратный поезд 5 ч. у.
О дне Концерта будет анонсировано во всех столичных изданиях.

Директор Газеты И. В. Игнатьев

<1912>

Дмитрий Крючков
ДЕМИМОНДЕНКА И ЛЕСОФЕЯ

...Она кусает платок, юледнея,
Демимонденка и лесофея!

Игорь-Северянин

Дна лица милых, близких, и певучих, у нее живущей «в шалэ березовом, таком игрушечном и комфортабельном» — демимонденки и лесофеи. И, быть может, они не знают друг друга — качелящая грезэрка в «шумном платье муаровом» и та, другая, пишущая классическое, нежное, бездумно-ароматное «Письмо из усадьбы», уходящая на ловлю стерлядей и «противно-узких щук». Изменчив, как городской шум, как прихоти кокотки, путь Северянина, опьянен ликером современности. Ведь ей, Зизи, так близки Тома и Масснэ — разве не бальных зал, электрических лучений многоглазых люстр и пышноцветной прелести быстротекущего дня в их музыке, такой обычной, такой приемлемой усталым сердцем, зацелованным прохожими. И в смутных снах ей грезится форелевая река и там любовь, подобная лилии — галантный принц Эксцесс. Женщина идет по рифменной тропе Северянина, и сам он, подобно этому зверобогу в кружевах и газе, мимолетен, трагически пламенен и комедийно легкомыслен.

Это лицо его поэзии, томящееся в ожидании «литавров солнца», принадлежит той, что

Умом ребенок,
душою женщина.

Она могла сделать своим возлюбленным его, рыдающая за «струнной изгородью лиры».

Надолго ли любовь эта? Не так ли мигна она, как синие вскрики трамвайных искр, как соленый изумруд океанского прибоя?

Что нужды — в темной башне ждет поэта — Тринадцатая. Она долго ждет его, и любовь ее подобна косному агату. Любит, убивает, ждет, чтобы любить, и теряет, чтобы обрести. В темную, хмарную грусть облечена душа поэта, не радуют ласки двенадцати, таких обычных и близких, как все живущее, как все достижимое.

Но бывают ночи: заберусь я в башню,
Заберусь один в тринадцатый этаж,
И смотрю на море, и смотрю на пашню,
И чарует греза все одна и та ж:
Хорошо бы в этой комнате стеклянной
Пить златистогрезый, черный виноград
С вечно-безымянной, страшно так желанной,
Той, кого не знаю, и узнать не рад.

Верным послом, неустанным странником идет поэт к Тринадцатой — путем странным, смутно-изменчивым, тем путем, что шел посол «герцогини дель Аква Тор», ища страну Виктории Регины, гордо, скупо надменного цветка.

Но легко ли уйти от «офраченных картавцев», от цитровых оркестров и сплинных женоклубов на милый север, под зеленоглазое небо, под опалы звезд, к долгожданной Тринадцатой — лесофее?

В шелковых гостиных озерзамка сплетаются медленные сонеты, и сладко мнить, что

Поплыл я, вдыхая сигару,
Ткя седой и качелящий тюль,
Погрузиться в твою Ниагару,
Сенокося твой спелый июль.

А та, Тринадцатая, лесофея, плачет и молит — задумчивой виолой струнит ее голос:

Мои мечты... О, знаешь их ты!
Они неясны, как намек...
Их понимают только пихты,
А человеку невдомек...

Четок путь между пихтами, небо точит синее вино в зелень луговых бокалов. И разве не сердцем, не освобождением весны от ледяных уз пахнуло на нас:

Иду в природу, как в обитель,
Петь свой осмеянный устав.

Еще не свершен крут радений, еще не замкнута черта — еще поет поэт. Без спасительно путеводной нити спустился он в пещерности сердца. И дымной мглой отомстила ему даль. Из лучей поддельных солнц, шума колес, будней сутолоки вышла она — возлюбленная в «шумном платье муаровом». Любовь ее хрупка, как бокал хрустальный, а душа подобна мелкой зыби морской — прихотлива, капризна и жестока. И к ней стремил кабриолет моторный и только водопад мучений остановил его хрипучий бег — там лилия запела бело и невинно.

И вдруг безумным жестом остолблен кленоход,
Я лилию заметил у ската в водопад.
Я перед ней склонился, от радости горбат,
Благодаря за встречу, за радостный исход.

И вот снова живо то Мудрое, о чем так певуче говорят слова важные и простые!

Убила девушка, в смущеньи ревности, ударом сабельным
Слепого юношу, в чье ослепление так слепо верила.

Слепая вера, зрячая любовь — не одно ли то же это?

И было гибельно. И было тундрово. И было северно.

И все же не бездонно и не безнадежно. Разве нельзя убить любимого? Разве страшно это? Ведь на той могиле взойдут томные, невянущие цветы. — Ревность напоит их кровью сердца, испестрит их яростью и усталой печалью и молитвенным раскаянием.

И вот путь «шатенного трубадура» — от громовых улиц к пихтам, от Масснэ и Тома к «липовому мотиву», от демимонденки к лесофее. Пусть эти два лика свершают хоровод, маскируются похоже друг на друга, все же:

Душа влечется в Примитив.

Может ли вселенец уснуть в кокоточных объятиях, «мороженым из сирени» закрыть «Сириус сверкательно-хрустальный»? В Примитиве благость и всепрощение, и любовь. Он даст целость жизни, он заключит мир в пламень, сердце и душу превратит в березовые шелесты, в шум океанской волны.

Многообразна демимонденка — «креолка древнего Днепра», «грэзерка» и та, что входит «в моторный лимузин», но бледен пыл ее румян, слабеет, вянет золотистым, осенним листом тень ее. Листопад Прошлого — таль Печали — весна Грядущего. «Литавров Солнца» ждала душа поэта. И они гремят литавры, они победны.

Влекусь рекой, цвету сиренью,
Пылаю солнцем, льюсь луной,

Мечусь костром, беззвучу тенью
И вею бабочкой цветной.
Я стыну льдом, волную сфинксом,
Порхаю снегом, сплю скалой,
Бегу оленем к дебрям финским,
Свищу безудержной стрелой.
Я с первобытным неразлучен,
Будь это жизнь ли, смерть ли будь.
Мне лед рассудочный докучен, —
Я солнце, солнце спрятал в грудь!

В зеленых шумах, на перекресток «палевых дорог» пришла Тринадцатая, такая наивная и простая, но и могучая пламенем веры, юродством любви. Ласки ее благоуханны и нескончаемы.

Как в алфавите, а и б,
Так мы с тобою в нашей тайне.

В этой тайне, в этом замке неизменяющей любви так грезно, так желанно нам.

Внизу грохочет день, моторит город, смеется демимонденка,

Эскизя страсть в корректном кавалере.

Она — как тень, певучая, вечно изменяющаяся и вечно изменяющая. Но разве ей дано пламенить душу, разве она —Дульцинея сонных видений? Разве не постылеет облик ее вместе с родившим — городом, стальным, грохочущим, неумолчным, с нудной цепью старинных будней и ненужных праздников? Ей ли устоять против лесофеи — когда легко и певуче восклицается:

Я вижу росные туманы,
Я слышу липовый мотив!

Мы знаем, мы чуем — много чудесных неожиданностей, много «ажурных сюрпризов» таит душа Северянина. Певучей «росою накаплен его бокал», внятен сердцу «говор хат» — хочешь верить чарам, хочешь сбытия волшебств и шепчешь исходные слова:

В ненастный день взойдет, как солнце,
Моя вселенская душа!

То будет день победный, день венчальный — звезды сплетут венцы брачные для Тринадцатой и для того, чей путь туманен, кто верен себе и той мечте, той тени, что

Кусает платок, бледнея,
Демимонденка и лесофея.

СПб., 26 сентября 1913 г.

Корней Чуковский
ФУТУРИСТЫ

I

Как много у поэта экипажей! Кабриолеты, фаэтоны, ландо! И какие великолепные, пышные! Уж не герцог ли он Арлекинский? Мы с завистью читаем в его книгах:

«Я приказал немедля подать кабриолет...»

«Я в комфортабельной карете на эллипсических рессорах...»

«Элегантная коляска в электрическом биенье эластично шелестела по шоссейному песку...»

И мелькают в его книге слова:

«Моторное ландо»... «Моторный лимузин»... «Графинин фаэтон»... «Каретка куртизанки»...

И даже когда он умрет, его на кладбище свезут в автомобиле, — так уверяет он сам, — другого катафалка он не хочет для своих шикарных похорон! И какие ландо, ландолетты потянутся за его фарфоровым гробом!

II

Это будут фешенебельные похороны. За фарфоровым гробом поэта потекут в сиреневом трауре баронессы, дюшессы, виконтессы, и Мадлена со страусовым веером, и синьора Za из «Аквариума». О, воскресни, наш милый поэт! Кто, если не ты, воспоет наши будуары, журфиксы, муаровые платья, экипажи? Кто прошепелявит нам, как ты, галантный и галантерейный комплимент?

— Вы такая эстетная, вы такая бутончатая! — шептал ты каждой из нас. — Властелинша планеты голубых антилоп!

И даже когда мы в гостиной —

В желтой гостиной из серого клена с обивкою шелковой, —

угощали визитеров кексом, у тебя, как у Данте, в душе возникали сонеты. Ты один был нашим менестрелем, и как грациозно-капризны бывали твои паркетные шалости! Как мы жемчужно смеялись, когда однажды ты заказал в ресторане мороженое из сирени (мороженое из сирени!) И в лилию налил шампанского. Или подарил нам боа из кудрявых цветов хризантем! Гордец, ты любил уверять, что у тебя, в твоей родной Арлекинии, есть свой придворный гарем:

У меня дворец пятнадцатиэтажный,
У меня принцесса в каждом этаже!

И странно: тебе это шло, тебе это было к лицу, как будто ты и вправду инкогнито-принц, и все женщины — твои одалиски, и это ничего, что у рябой коровницы ты снимал в Козьей Балке дачу: эту дачу ты звал коттеджем, а ее хозяйку сиятельством; дворник у тебя превращался в дворецкого, кухарка Маланья в субретку, и даже мы, белошвейки, оказались у тебя принцессами:

— Я каждую женщину хочу опринцессить! — таков был твой гордый девиз.

Но что же делать принцессам без принца? О, воскресни, наш милый принц!

III

Тут непременно случится великое чудо. Из гроба послышится жуткий и сладостный голос того, кого мы так горько оплакиваем:

«Гарсон! сымпровизируй блестящий файв о'клок!» — и шикарный денди-поэт, жеманно и кокетливо потягиваясь, выпрыгнет из фешенебельного гроба: — Шампанского в лилию! Шампанского в лилию! — И закричит шоферу-похоронщику:

Как хорошо в буфете пить крем-де-мандарин!
За чем же дело стало? — К буфету, черный кучер!

IV

Многие, конечно, догадались, что герой этой странной повести наш фешенебельный, галантный поэт, лев сезона, Игорь Северянин.

Я только вчера прочитал его книгу, и теперь в душе осколки его строф:

— Ножки пледом закутайте, дорогим ягуаровым...

— Виконт сомневался в своей виконтессе...

— Вы прислали с субреткою мне вчера хризантемы...

— Дворецкий ваш... на мраморной террасе...

— Mingon с Escamillio! Mingon с Escamillio! Шампанское в лилии святое вино!

О, лакированная, парфюмерная, будуарно-элегантная душа! Он глядит на мир сквозь лорнет, и его эстетика есть эстетика сноба. О чем бы он ни говорил: о Мадонне, о звездах, о смерти, я читаю у него между строк:

— Гарсон! сымпровизируй блестящий файв о'клок.

Его любимые слова: *фешенебельный, комфортабельный, пикантный.* Не только темы и образы, но и все его вкусы, приемы, самый метод его мышления, самый стиль его творчества определяются веерами, шампанским, ресторанами, бриллиантами. Его стих, остроумный, кокетливо-пикантный, жеманный, жантильный, весь как бы пропитан этим воздухом бара, журфикса, кабарэ, скетинг-ринга. Характерно, что он ввел в нашу поэзию паркетное французское сюсюканье и стрелку называет пуантом, стул — плиантом, молнию — эклером и даже русскую народную песню озаглавливает «Chanson Russe». *Фиоль, шале, буше, офлёрить, эксцессерка, грезёрка, сюрпризёрка* — на таком жаргоне он пишет стихи, совсем как (помните?) мадам де Курдюков:

Вам понравится Европа.
Право, мешкать *иль не фо па,*
А то будете *малад,*
Отправляйтесь-ко в Кронштадт.

Же не вё па, же нире па,
Же не манж па де ла репа.

И не странно ли, не изумительно ли, что все же, несмотря ни на что, его стих так волнующе-сладостен! Дух дышит, где хочет, и вот под вульгарною личиною сноба сильный и властный поэт. Бог дал ему, ни с того ни с сего, такую певучую силу, которая, словно река, подхватит тебя и несет, как бумажку, барахтайся сколько хочешь: богатый музыкально-лирический дар. У него словно не сердце, а флейта, словно не кровь, а шампанское! Сколько бы ему ни было лет, ему вечно будет восемнадцать. Все, что увидит или почувствует, у него претворяется в музыку, и даже эти коляски, кабриолеты, кареты, — ведь каждая в его стихе звучит по-своему, имеет свой собственный ритм, свой собственный стихотворный напев, и мне кажется, если б иностранец, не знающий ни слова по-русски, услышал, например, эти томные звуки:

Я в комфортабельной карете на эллипсических рессорах
Люблю заехать в златополдень на чашку чаю в женоклуб, —

он в самом кадансе стиха почувствовал бы ленивое баюкание эластичных резиновых шин. И какой сумасшедшей музыкой в его стихотворении «Фиолетовый транс» отпечатлен ураганный бег бешено ревущего

автомобиля. Как виртуозно он умеет передать самой мелодией стиха и полет аэроплана, и качание качелей, и мгновенно мелькнувший экспресс, и танцы, особенно танцы:

И пела луна, танцевавшая в море!

Даже свои поэзы он означает, как ноты: соната, интермеццо, berceuse. Про какую-то женщину он говорит:

Она передернулась, как в оркестре мотив!

Конечно, он нисколько не Бах и не Вагнер, скорое всего он Массне, салоннейший из композиторов, коего благоговейно воспевает. Один критик даже рассердился: можно ли воспевать такого сноба, — но кого же и воспевать поэту-снобу! Он верен себе во всем. Давайте решим на минуту, что снобизм, пшютизм, как и все остальное, имеют право излиться в искусстве и что от художника нам нужно одно: пусть он полнее, пышнее, рельефнее выявит пред нами свою душу, не все ли равно какую. Мелодекламация дамски-альбомных романсов нашего галантного поэта и какие-нибудь гимны Ра, псалмы Ксочиквецали — перед лицом Аполлона равны.

V

Эта салонность поэзии как будто и неуместна теперь. Светозарный Игорь Северянин, милый принц, он явился как будто не вовремя. Ведь нынче в моде, напротив, пещерность, звериность, дикарство; поэты из сил выбиваются, как бы позверинее рявкнуть. Кто же поймет и полюбит теперь

[Его] волшебные сюрпризы,
[Его] ажурные стихи!

Нынче даже тонкие эстеты, парнасцы, как, например, Гумилев, вдруг записались в Адамы: основали секту адамистов, первобытных, первозданных людей.

— Как адамисты, мы немного лесные звери! — уверяют эти господа. — Сбросим же с себя «наслоения тысячелетних культур»! Все эти адамисты, как и эгофутурист Игорь Северянин, — живут в Петербурге и порождены Петербургом.

А московским кубофутуристам нечего больше и сбрасывать. Они уже все с себя сбросили: грамматику, логику, психологию, эстетику, членораздельную речь, — визжат, верещат по-звериному:

Сарчá крочá бугá на вихроль!
Зю цю э спрум!
Беляматокияй!

«То было и у диких племен», – поясняет их апостол Крученых. Вот воистину модный девиз для всех современных художеств: *«То было и у диких племен»*. Тяга к дикарю, к лесному зверю, к самой первобытной первобытности есть ярчайшая черта нашей эпохи; сказать про творение искусства: *«То было и у диких племен»*, – нынче значит оправдать и возвысить его. Пусть Игорь Северянин, как хочет, жеманничает со своими кокотессами-принцессами в желтой гостиной из серого клена с обивкою шелковой, – на него со всех сторон накинутся с бумерангами, дубинами, скальпами кубисты, футуристы, бурлюкисты: сарча́, кроча́, буга́ на вихроль! – и, не внемля его французскому лепету, затопчут бедного поэта, как фиалку. Долой финтифлюшки, и в той же гостиной на всех шифоньерках расставят явайских, малайских, нубийских кривоногих пузатых идолов, по-шамански завопят перед ним: зю цю э спрум! Беляматокияй!

«Сбросим с себя наслоения тысячелетних культур!» – таков бессознательный лозунг новейших романов, поэм, философий, статуй, танцев, картин.

«О, большие черные боги Нубии!» – взывает один кубофутурист и, свергая Аполлона Бельведерского, славит «криво-чернявого идола»!

«Вашему Аполлону пора умереть, – пишет он в альманахе «Союз молодежи». – У вашего Аполлона подагра, рахит. Мы раздробим ему череп. Вот вам другой Аполлон, криво-чернявый урод!»

Даже Венеру Милосскую они обратили в дикарку, сослали ее в тундру, в Сибирь, и бедная неутешно рыдает в поэме московского Хлебникова:

Ты веришь? – видишь? снег и вьюга!
А я, владычица царей,
Ищу покрова и досуга
Среди сибирских *дикарей.*

Игорь Северянин явился не вовремя, бонбоньерочный, фарфоровый, ажурный. Добро бы к такому дикарству влеклись одни московские футуристы. Бог бы с ними! Но нет. Это всеобщая тяга. Джек Лондон отнюдь не футурист, а ведь вся Европа влюбилась в него именно за эти призывы к первобытности, звериности, стихийности. Стихийность! Что же и славят теперь нынешние модные философы. Антиинтеллектуализм господствует нынче повсюду. Ratio, Logos – нынче у нас не в фаворе, – дорогу слепым, но вещим озарениям стихийной души. Интуитивное постижение мира, темный звериный нюх, шаманский экстатический бред мудрее вашей бедной рассудочности. «Сбросим же с себя наслоения тысячелетних культур!»

И ведь дошло до того, что даже он, даже Игорь Северянин, от кокоток, кушеток, файв о'клоков, гарсонов тоже вместе со всеми устремля-

ется в тундру, в первобытные дебри дремучих лесов. Сидит со своими гризетками где-нибудь в отдельном кабинете или

В будуаре тоскующей нарумяненной Нелли,
Где под пудрой молитвенник, а на ней Поль де Кок, —

и вдруг заявит ни с того ни с сего:

«Иду в природу, как в обитель...», «По природе я взалкал», «Бегу оленем к дебрям финским...», «И там в глуши, в краю олонца... Моя душа взойдет, как солнце».

Повторяю, теперь это мода, и, право, прелестна его виконтесса, которая прямо из ложи театра угодила на Северный полюс:

Я остановила у эскимосской юрты
Пегого оленя, — он поглядел умно...
А я достала фрукты
И стала пить вино.
И в тундре — вы понимаете? — стало южно...
В щелчках мороза — дробь кастаньет...
И захохотала я жемчужно,
Наведя на эскимоса свой лорнет.

Тундры, юрты, олени делают особенно пикантным гривуазно-кокоточный тон этой очаровательной пьески. Шампанское — в тундре! Эскимос и — лорнет! О, виконтесса осталась в восторге от диких экзотических стран, — там такие пылкие любовники:

Задушите меня, зацарапайте,
Предпочтенье отдам дикарю!..

Вот в какие неожиданные формы вылилась эта жажда стихийности, чуть только она докатилась до «желтой гостиной из серого клена, с обивкою шелковой», хотя дело, конечно, не в формах; знаменательно, что и будуарные души воздыхают нынче по пещерам и тундрам.

«Гнила культура, как рокфор!» — восклицает Игорь Северянин.

«Я с первобытным неразлучен... Душа влечется в Примитив».

VI

Трогательно наблюдать Игоря Северянина на лоне того Примитива, к которому он так страстно влечется. Он и в поля и в леса вносит те же паркетные вкусы. Вот пролетела перед ним стрекоза. «Грациозная кокетка!» — кричит он ей вслед. Сирену он называет водяной балериной, а деревья ему кажутся маркизами. Он требует, чтобы на берег моря, на дикий прибрежный песок, ему принесли клавесины, он сыграет попурри из Амбруаза Томá, а его адьютантесса покуда защитит его

зонтом от солнца. Таково его слияние с природой! Полосы спелой пшеницы для него *золотые галуны*, в весеннем шелесте листьев он слышит *зеленые вальсы*, и даже в тундре олений бег кажется ему *бальным вальсированием*.

Нынешняя жажда первобытного привела современных людей к детям, к детской душе. Художники, особливо кубисты, изучают детские рисунки, пробуют им подражать; поэты благочестиво печатают образчики детских стихов. Николай Кульбин в своих лекциях о грядущем искусстве читает стихи семилеток.

Игорь Северянин тоже льнет и влечется к малюткам, но опять-таки как-то по-своему:

Ласковая девонька! Крошечная грешница!
Ты еще пикантнее от людских помой, —

говорит он какой-то крошке, очевидно, с Невского проспекта, —

Котик милый, деточка! встань скорей на цыпочки.
Алогубы-цветики жарко протяни...
В грязной репутации хорошенько выпачкай
Имя светозарное гения в тени!

И здесь он верен себе. Но если бы эти стихи как-нибудь удручили читателя, затемнили светозарный лик поэта, право, мне очень легко снова вернуть к нему сердца. Стоит только мне переписать иные его певучие строфы, например, плясовую, камаринскую — такую утреннюю, молодую, заразительную, или эту его милую «диссону», в которой многих, я уверен, прельстит такая острая пряность игривых и пикантных ассонансов:

Ваше Сиятельство, к тридцатилетнему — модному — возрасту
Тело имеете универсальное... как барельеф...
Душу душистую, тщательно скрытую в шелковом шелесте,
Очень удобную для проституток и для королев...
Впрочем, простите мне, Ваше Сиятельство, алые шалости.

Ирония, претворенная в лирику, — здесь Игорь Северянин настоящий маэстро, и я думаю, сам Обри Бердслей удостоил бы его «диссону» гротеском.

VII

Здесь я, в сущности, мог бы и кончить. И правда, не пора ли расстаться с этой исчерпанной книгой? Но в самом ее конце, на одной из последних страничек, я внезапно с удивлением увидел неожиданное слово: футуризм.

Странно. Неужели и он футурист? Вот никогда не подумал бы. В чем же его футуризм? Может быть, в этих кексах, журфиксах? Или в русско-французском жаргоне? Но тогда ведь и мадам Курдюкова, которой восьмой десяток, такая же футуристка, как он. Однако мадам Курдюкова никогда не говорила о себе: «Я литературный Мессия... Моя интуитивная школа – вселенский эгофутуризм»; это говорил о себе господин Северянин. В его книге мы беспрестанно читаем, что он триумфатор, новатор:

Я гений, Игорь Северянин,
Своей победой упоен, –

и когда любимая женщина усомнилась в его победе, он чуть не задушил ее за это:

Немею в бешенстве, – затем, чтоб не убить!

Издевайтесь над ним, хохочите, – вы скоро все поклонитесь ему, так уверяет он сам. «Новатор в глазах современников – клоун, в глазах же потомков – святой!» У него есть ученики и апостолы, есть даже, как увидим, Иуда, и в разных газетах и журналах они возглашают о нем: «Отец Российской эгопоэзии! Ядро отечественного футуризма! Ее Первосвященник, Верховный Жрец!»

А мы перелистали его книгу, – и где же были наши глаза? – ничего такого не увидели. В ней откровения грядущих веков, а нам мерещились какие-то романсы! Пред нами пророк, а мы думали: оперный тенор. Мы думали, что он шантеклер, а он, смотрите, стоит на Синае с какими-то скрижалями в руках. И на этих скрижалях начертано:

«Вселенский эгофутуризм... Грядущее осознание жизни... Интуиция... Теософия... Призма стиля – реставрация спектра мысли... Признание эгобога... Обет вселенской души», – и так дальше, в таком же роде, а мы, перечтя его книгу и раз, и другой, и третий, так-таки ни в одной запятой никакого футуризма не нашли! О, критики, слепые кроты! Футуристы отвергают нас недаром. «Вурдалаки, гробокопатели... паразиты!» – иначе они нас и не зовут.

Вникнем же как можно почтительнее в эти их катехизисы, заповеди, декларации, манифесты, доктрины, скрижали, постараемся без желчи, без хихиканья понять эту загадочную секту.

Я готов даже попробовать и сам сделаться на время футуристом, на неделю, на две, не больше, чтобы точнее, доскональнее узнать и потом поведать всему миру, что же это, в сущности, такое. Критик так и должен поступать, иначе к чему же и критика! И если он сам, например, хоть на час не становился Толстым или Чеховым, что он знает о них! Клянусь, я уже был в свое время и Сологубом, и Белым, и даже Семе-

ном Юшкевичем. Нужно претвориться в того, о ком пишешь, нужно заразиться его лирикой, его ощущением жизни.

Итак, с настоящей минуты я – уже не я, а Бурлюк. Или нет, – Алексей Крученых! «Сарча́ кроча́ буга́ на вихроль!»

Но лучше подожду еще минуту и постараюсь хоть бегло, хоть в нескольких строчках побыстрее досказать о Северянине.

VIII

Есть два стана русских футуристов: петербургские и московские. Петербургские не просто футуристы, а с прибавкою слова *эго.* Северянин – эгофутурист. *Эго* – по-гречески: *я.* Не оттого ли в его стихах так выпячено надменное *я*:

Я даровал толпе холопов
Значенье собственного я.

«Я изнемог от льстивой свиты...», «Я гений, Игорь Северянин...», «Я коронуюсь утром мая...», «Мне скучен королевский титул, которым бог меня венчал», – не оттого ли он вечно чувствует свою коронованность, избранность, единственность? И все его адъютанты за ним. Даже какой-то Олимпов и тот говорит: я гений.

Иначе нельзя, помилуйте, на то они эгопоэты. Ведь и бог у них не бог, а эгобог: если он сотворил человека по образу своему и подобию, значит, он такой же эгоист, как и мы, – рассуждают эти господа и зовут нас поклониться эгобогу.

Но к чему же сочинять стихи, ежели я – эгобог? И к чему вообще слова, если я во всем мире один? – рассуждает эгофутурист Василиск Гнедов. – Слова нужны лишь «коллективцам», «общежителям». И он создает знаменитую поэму без слов: белый, как снег, лист бумаги, на котором ничего не написано. Эта бессловесная поэма озаглавлена «Поэма конца», и как хорошо, что Гомер и Вергилий держались иных убеждений.

Эгофутуристы мечтают о таком же эготеатре, где не будет ни актеров, ни зрителей, а только мое или ваше единое *я.* Это у них называется «эговый анархизм», и я мог бы легко доказать, что отсюда логически следует то всеосвящение, всеоправдание мира, о котором возвещает их мессия: «Виновных нет, все люди правы... не знаю скверных, не знаю подлых...», «Я славлю восторженно Христа и Антихриста!.. Голубку и ястреба!.. Кокотку и схимника!..»

Но где же здесь, ради бога, футуризм? Это старый, отжитой, запыленный «Календарь модерниста» за 1890 или 91-й год. Там, где-нибудь на дырявой страничке, замызганной тысячами пальцев, вы найдете всю эго-поэзию от первой строки до последней. «Люблю я себя, как

бога», — писала там Зинаида Гиппиус... «И господа и дьявола хочу прославить я», — писал там Валерий Брюсов, и даже этот соллипсический *эготеатр* выкроен по старой статье Сологуба. Право, не стоило всходить на Синай для такой отрыжки вчерашнего.

Впрочем, есть у этих петербуржцев и новые скрижали. На последней, например, странице в их альманахе «Стеклянные цепи» я с восторгом прочитал такое:

«Константин Олимпов носит воротники "торреадор"».

И дальше:

«В имении директора газеты "Петербургский глашатай" И. В. Игнатьева... состоялся оживленный стерляжий раут».

И дальше:

«И. В. Игнатьев изволил одобрить Американские Горы в "Лунапарке"».

Там же Игорь Северянин сообщает: «20-го июня уезжаю на мызу княгини Л. А. Оболенской».

Это у них самобытное. Рауты, мызы, княгини и, главное, воротнички «торреадор», — здесь единственная их подоплека, сколько бы они ни лепетали об эго-боге или эгопоэзии. Розовая пудра! голубые флакончики! золотые духи! «Ах, хотел бы я быть элегантным маркизом и изящно играть при дворе с королями в фаро!» — вздыхает один из них, должно быть, на Песках или в Подьяческой. «Луна просвечивала сквозь облако, как женская ножка сквозь модный ажур» — пишет эгофутурист Шершеневич и доходит до такой галантерейности, что даже могильных червей, торопящихся к свежему трупу, величает франтами во фраках, с гвоздикой в петлицах, спешащими на званый обед.

Из гостиной или из Гостиного двора вышли эти господа в литературу? Этакие Оскары Уайльды, они словно состязались друг с другом, — особенно в первые годы — кто кого пережеманничает, кто кого переманерничает, кто покартавее крикнет: «Гарсон, сымпровизируй блестящий файв о'клок».

Всех перекартавил Северянин, но и остальные не ударили в грязь. Я никогда, например, не забуду их эгоконцерт футуризма, с гондолами, принцессами, ликерами, в парке, у мраморных урн, при Охотничьем дворце Павла Первого. Я тоже получил приглашение. Правда, все оказалось мечтой, и не было ни принцесс, ни ликеров, ни мраморных урн, не было даже концерта, но как характерна такая мечта для эгофутуризма с Подьяческой. Форели, свирели, вина князя Юсупова! — в этой милой утопии так ясно сказалась та среда, где сформировался талант Северянина, где возникли наши Маринетти, и хотя теперь Северянин от них отошел и все они друг с другом перессорились, хотя будуарно-парфюмерный период петербургского эгофутуризма закончился, дра-

гоценно отметить для будущего С. А. Венгерова, что именно в этой среде петербургский эгофутуризм зародился впервые...

IX

«В женоклубе бальзаколетний картавец эстетно орозил вазы. Птенцы желторотят рощу. У зеркалозера бегают кролы. В олуненном озерзамке лесофеи каблучками молоточат паркет».

На таком языке изъясняются между собой футуристы. Эгофутуристы, петербургские. Здесь они, действительно, новаторы. «Осупружиться», «окалошиться», «офрачиться», «онездешиться», «поверхноскользие», «дерзобезумие» — таких слов еще не слыхало русское ухо. Многие даже испугались, когда Игорь Северянин написал:

Я повсеградно оэкранен,
Я повсесердно утвержден.

Лишь один не испугался — Юра Б. Он и сам такой же футурист. Озерзамками его не удивишь. «Отскорлупай мне яйцо», — просит он. «Лошадь меня лошаднула». «Козлик рогается». «Елка обсвечкана». И если вы его спросите, что же такое крол, он ответит: крол — это кролик, но не маленький, а большой.

Этому эгофутуристу в минувшем июле исполнилось уже четыре года, и я уверен, что для Игоря Северянина он незаменимый собеседник. Пусть только поэт поторопится, пока Юре не исполнилось пять; тогда в нем словотворчество иссякнет.

Это не укор Северянину, а большая ему похвала. Хочется нам или нет, такие слова неизбежно нагрянут, ворвутся в нашу закосневшую речь. Нам, в сутолоке городов, будет некогда изъясняться длительно-многоречиво, тратить десятки слов, где нужны только два или три. Слова сожмутся, сократятся, сгустятся. Это будут слова-молнии, слова-экспрессы. Кто знает, что сделала Америка с английской речью за последние два десятилетия, тот поймет, о чем я говорю: что янки расскажет в минуту, по-русски нужно рассказывать втрое дольше. Трата словесной энергии страшная, а нам необходима экономия: «некогда» — это нынче всесветный девиз; он-то и преобразит наш неторопливый язык в быструю, «телеграфную» речь. Тогда-то такие слова, как *окалошиться, осупружиться, экстазить, миражить,* станут полноправны и ценны. Здесь именно дело в стремительности: хочется, например, побыстрее сказать, что некто, обливаясь слезами, подобно грешнице Марии Магдалине, кается и молит о прощении, — и вот единственное герценовское слово: *магдалинится.* У Северянина мне, например, понравилось его прехлесткое слово *бездáрь.* Оно такое бьющее, звучит как затрещина и куда энергичнее вялого речения *без-дар-ность:*

Вокруг -- талантливые трусы
И обнаглевшая бездарь...

Право, нужно было вдохновение, чтобы создать это слово: оно сразу окрылило всю строфу. Оно не склеенное, не мертворожденное: оно все насыщено эмоцией, в нем бьется живая кровь. И даже странно, как это мы до сих пор могли без него обойтись.

IX

А московский Крученых говорит: наплевать!

— То есть позвольте: на что наплевать?

— На все!

— То есть как это: на все?

— Да так!

Это не то что Игорь. Тот такой субтильный, тонконогий, все расшаркивается, да все по-французски, а этот — в сапожищах, стоеросовый, и не говорит, а словно буркает:

Дыр бул щыл
Ха ра бау.

И к дамам без всякой галантности. Петербургские — те комплиментщики, экстазятся перед каждой принцессой:

— Вы такая эстетная, вы такая бутончатая.

— Я целую впервые замшу ваших перчат.

А этот беспардонный московский Крученых икнет, да и бухнет:

— У женщин лица надушены как будто навозом!

И почешет спину об забор. Такая у него парфюмерия. Этот уж не станет грациозиться. Ведь написал же итальянский футурист Маринетти, что он не видит особенной разницы между женщиной и хорошим матрацем. «Из неумолимого презрения к женщине в нашем языке будет только мужской род»

Вот какая широкая бездна между петербургским футуризмом — и московским. Игорь Северянин — типичнейший представитель эгофутуристов петербургских. Крученых столь же характерный представитель кубофутуристов московских.

Петербургские эгофутуристы — романтики: для них какой-нибудь локончик или мизинчик, кружевце, шуршащая юбочка — есть магия, сердцебиение, трепет: «оттого, что груди женские — тут не груди, а дюшес» — слюнявятся они в своих поэзах, а Крученых только фыркнет презрительно:

«Эх вы, волдыри, эгоблудисты!»

И про этот самый дюшес выражается:

Никто не хочет бить собак
Запуганных и старых,

Но норовит изведать всяк,
Сосков девичьих алых!

В то время как эгофутуристы в мечтах видят себя юными принцами на каких-то бриллиантовых тронах, Крученых о себе отзывается:

«Как ослы на траве, я скотина».

Эгофутуристам мерещится, что среди виконтесс-кокотесс на ландышевых каких-то коврах они возлежат в озерзамке, но у Крученых другие мечтания:

Лежу и греюсь близ свиньи
На теплой глине,
Испарь свинины
И запах псины,
Лежу добрею на аршины.

Свиньи, навоз, ослы — такова его тошнотная эстетика. Он и книжечку свою озаглавил: «Поросята»; не то что у Игоря — «Колье принцессы», «Элегантные модели», «Лазоревые дали».

Когда Крученых хочет прославить Россию, он пишет в своих «Поросятах»:

В труде и свинстве погрязая,
взрастаешь, сильная родная,
как та дева, что спаслась,
по пояс закопавшись в грязь.

И даже заповедует ей, чтобы она и впредь, свинья-матушка, не вылезала из своей свято-спасительной грязи, — этакий, простите меня, свинофил!

Всякая грация, нежность, приветливость, всякая задушевность и ласковость отвратительны ему до тошноты. Если бы у него невзначай сорвалось какое-нибудь поэтично-изящное слово, он покраснел бы до слез, словно сказал непристойность. Такие они все, эти московские: Петрарки навыворот, эстеты наизнанку. Срывы, диссонансы, угловатости, хаотическая грубость и неряшливость — только здесь почерпают они красоту. Оттого-то для них так прельстителен дикарский истукан-раскоряка, черный, как сапожная вакса, и так гадок всемирный красавец, снежно-мраморный бог Аполлон.

Я верю: это не поза, не блажь, а коренное, подлинное чувство. Дисгармония, диссиметрия, диспропорция и вправду обаятельна для них.

В знаменитой своей «Декларации слова» они недаром восхваляют какофонию.

«<Нужно>, чтоб читалось туго... занозисто и шероховато!» — пишут они снова и снова.

Как же им не гнать из чертогов поэзии женщину, Прекрасную Даму, любовь? Мы видели: они даже Венеру Милосскую сослали куда-то в тайгу.

Эротика, этот неиссякающе-вечный источник поэзии, от «Песни песней» до шансонет Северянина, в корне отвергается ими. Когда Северянин поет, что паж полюбил королеву и королева полюбила пажа, Крученых эту королеву ведет к прокаженному на поганое и смрадное гноище.

К черту обольстительниц-прелестниц, все эти ножки, ланиты да перси, и вот красавица из альбома Крученых:

Посмотри, какое рыло,
Просто грусть.

Все это, конечно, называется бунтом против канонов и заповедей былой, отжитой красоты, и, как мы ниже увидим, нет ни единого пунктика в нашей веками сложившейся жизни, против коего не бунтовал бы Крученых.

Но странно: бунтовщик, анархист, взорвалист, а скучен, как тумба. Нащелкает еще десятка два таких ошеломительных книжек, а потом и откроет лабаз, с дегтем, хомутами, тараканами — все такое пыльное, унылое. (Игорь Северянин открыл бы кондитерскую!) Ведь бывают же такие несчастно рожденные: он и форсит, и кривляется, а скука, как пыль, налегла на все его слова и поступки. Берет, например, страницу, пишет на ней слово *шиш*, только одно это слово! — и уверяет, что это стихи, но и шиш выходит невеселый. Хоть бы голову себе откусил, так и то никому не смешно. Кажется, только российская глушь рождает таких унылых и скучных людей, — под стать своим заборам и осинам. Вот уж, подлинно, российский Маринетти! У другого вышло бы забубенно и молодо, ежели бы он завопил:

— Беляматокияй!

— Сержамелепета!

А у этого — даже скандала не вышло: в скандалисты ведь тоже не всякий годится, это ведь тоже призвание! Он, конечно, очень старается: берет, например, страницу — зеленую или даже оранжевую, и выводит на ней с закорючками:

Читатель, не лови ворон.

Фрот фрон ыт,

Алик, а лев, амах.

Но и сам деревенеет от скуки. Как будто его подрядили, чтобы он во что бы то ни стало выделывал эти тусклые фокусы, и вот теперь поневоле он цедит сквозь зубы унылое:

Те гене
рю ри
ле лю,
бе
тльк
тлько
хомоло
рек рюкль
крьд крюд
нтрп
нркью
би пу, —

а сам вздыхает и думает: «И когда это кончится, господи?» — но нет, выжимай из себя без конца эту несмешную канитель.

Право, мне его по-человечески жалко. Предо мною почти все его книжки: «Взорваль», «Помада», «Возропщем», (Мир с конца», «Бух лесиный», «Игра в аду», «Поросята» — и мне кажется, что у меня на столе какая-то квинтэссенция скуки, тройной жестокий экстракт, как будто со всей России, из Крыжополя, Уфы и Перми, собрали эту зевотную нуду и всю сосредоточили здесь. Уже одни их заглавия наводят на меня ипохондрию, а казалось бы, книжки пестрые — желтые, зеленые, пунцовые! — но, боже мой, как печальна наша действительность, если в роли пионера, новатора, дерзителя и провозвестника будущего она только и умела выдвинуть вот такую беспросветную фигуру, которая мигает глазами н безнадежно бормочет:

Те гене
рю ри
ле лю,
бе...

Хорошо, если он добормочется до такого, например анекдота:

«27 апреля в 3 часа пополудни я мгновенно овладел в совершенстве всеми языками. Таков поэт современности. Помещаю свои стихи на японском, испанском и еврейском языках».

Но это редко, раз в год, а обычное его состояние — *те гене рю ри ле лю,* и я боюсь, как бы от нуды, от тоски, от зевоты он чего-нибудь над собою но сделал. Этак ведь и удавиться недолго.

...Впрочем, не будем смеяться над ним, не забудем, что у него были знаменитые предки: например, тот убогий остряк приживальщик из тургеневской «Лебедени», который, помните, сделал карьеру такими же тарабарскими выкриками:

Кескесэ
Жемса.
Не ву горяче па.
Ррркаллиооон!

Но пусть другие смеются над ним, для меня в нем пророчество, символ наших будущих дней. Иногда мне кажется, что если бы провалились мы все, а остался бы один только он, вся наша *эра* до ниточки сбереглась бы для грядущих веков.

Ничего, что сам по себе он мелкая и тусклая фигурка, но как симптом он огромен. Ведь и вибрионы холерные мелочь, да сама-то холера не мелочь. Как в конце шестнадцатого века в елизаветинской Англии не мог не возникнуть Шекспир, так в Москве в начале двадцатого века не мог не появиться Крученых. А с ним и другие такие же, и все они кричат о себе:

«Только мы лицо нашего времени».

«Мы новые люди новой жизни!»

И правы, непререкаемо правы: пусть вопиюще чудовищны эти их невозможные книжки, они не ими одними написаны, а и мною, и каждым из нас.

Когда мы смеемся над ними, не смеемся ли и сами над собой? «Дохлая луна», «Ослиный хвост», «Поросята», «Пощечина», «Требник троих», «Мир с конца», «Бух лесиный», «Садок судей», ведь понадобились же они именно нам, а не другим поколениям, ведь задели же в наших сердцах что-то самое живое и кровное, ведь не может же быть, чтобы здесь был только скандал, только бред, чтобы вся эта обширная секта зиждилась на одном хулиганстве!

Секты хулиганством не создашь, вообще ничего не создашь без веры, сердцебиения, и трепета. А если бы и одно хулиганство, то ведь хулиганство бывало и прежде, откуда же его внезапный союз с русской литературой и живописью, с русской передовой молодежью, с русской, наконец, интеллигенцией?

Сказав: *безумие, бред* — вы еще ничего не сказали, ибо что ни век, то и бред, и в любом общественном безумии есть своя огромная доля ума.

Где же смысл этого бессмыслия, где же логика этого бреда? Почему не вчера и не третьего дня, а именно нынче, сейчас, какая-то нечеловеческая сила заставила современных художников, выразителей наших же дум, нашего же мироощущения, завопить сплошной «ррркаллиооон», сплошное «зю цю э спрум», возлюбить уродство, какофонию, какие-то шиши н пощечины, какие-то ослиные хвосты, сочинять стихи из одних запятых, а картины из одних только кубиков, где же, ради бога, разгадка этой странной и страшной загадки?

Здесь я говорю исключительно о кубофутуристах московских. Милые эгопоэты, петербургские гении, Игорь Северянин, Дмитрий Крючков, Вадим Шершеневич, Павел Широков, Рюрик Ивнев, Константин Олимпов, конечно же, здесь ни при чем.

Они очень приятные писатели, но футуристами лишь притворяются. Рахитичные дети небывалых салонов, принцы-королевичи, здесь мы с ними должны распрощаться. Для всякого ясно, надеюсь, что это последыши вчерашних модернистов, разве что немного подсахарившие наскучивший модерн отцов. Они и сами не скрывают своей связи с модерном и любят игриво указывать, кто из них подражает Бальмонту, а кто Александру Блоку.

Скоро они сами признаются, что футуризм их игра, их бильбоке, их крокет, — и почему же в юности не шалить, не кокетничать, не сочинять манифестов и не пройтись порой на голове!

Игра оказалась во благо; мы видели, сколь плодотворны были их словесные сальто-мортале. Но теперь они все разбежались, да и будуариться, кажется, бросили; эгофутуризм уже кончился, и теперь в покинутых руинах озерзамка хозяйничает Василиск Гнедов, личность хмурая и безнадежная, нисколько не эгопоэт, в сущности, переодетый Крученых, тайный кубофутурист, бурлюкист, ничем и никак не связанный с традициями эгопоэзии.

Это очень показательно и важно, что, чуть эгофутуризм исчерпался, его пожрал, проглотил целиком кубофутуризм, бурлюкизм. Иначе и быть не могло: бурлюкисты кряжистый народ, а эгопоэты эфемерны и хрупки.

Странно, что русские критики могли эти два направления смешать и, посвятив им большие статьи, так-таки до конца не заметили, что петербургские эгофутуристы одно, а московские кубофутуристы другое. У эгофутуристов во всем, в структуре стиха, в языке и в сюжетах, — пусть и смешная! — утонченность, переизысканность, перекультурность, а кубофутуристы против чего же и ратуют!

Эти два направления полярны. Одни сжигают именно то, чему поклоняются другие.

А если случайно встречаются в них какие-нибудь общие черты, то лишь оттого, что поначалу оба эти заклятых врага нарядились в одинакие мундиры, сшитые одним и тем же портным — из Парижа и Рима, — Маринетти; казалось, что они рядовые одного и того же полка.

Снять бы с них эти чужие мундиры; каковы они окажутся без них? Об этом я теперь и хлопочу. Попытаюсь хоть отчасти вскрыть ту подлинную внутреннюю сущность, что скрывается в русском футуризме под его показными девизами. <...>

<1913>

Василий Львов-Рогачевский
СИМВОЛИСТЫ И НАСЛЕДНИКИ ИХ

<...> На фоне надоевших всем перепевов развернули свои знамена новые школы.

Эгофутуристы выступают всюду с протестом против академизма и музейности, против литературщины, против «устоев», «заветов» и «канонов» — во имя новизны, во имя беспрерывного обновления будущего искусства.

Для нас Державиным стал Пушкин
Мы ищем *новых голосов*...

Не терпим *мы* дешевых *копий*...

...Не мне в *бездушных книгах* черпать
Для вдохновения ключи —
Я не желаю исковеркать
Души свободные лучи!
Я *непосредственно* сумею
Познать неясное земле.

Так пишет в своем «Прологе» бывший петербургский эгофутурист Игорь Северянин.

Ему вторит тоже петербургский эгофутурист П. Широков в своем пространном стихотворении «Итог»:

Идут года прогресса и культуры,
Там города, где раньше черный лес,
Но неизменен пульс литературы,
Но лес в умах не срублен, а исчез.
В победный век великих откровений
Стал слишком стар былых творений план,
И мы желаем лучших совершений
Затем, что есть теперь аэроплан.

Последняя строка почти повторяет заявление Игоря Северянина: «Теперь повсюду дирижабли летят, пропеллером ворча».

Эгофутуристы пообещали изменить пульс литературы и начать новую эру.

Московские эгофутуристы в своих бесчисленных манифестах постоянно приглашают «сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и пр. и пр. с парохода современности», постоянно доказывают, что для них «прошлое тесно. Академизм Пушкина непонятнее гиероглифов», постоянно повторяют на разные лады:

Только мы — лицо нашего времени...

Мы новые люди новой жизни.

«Мы объявляем борьбу всем, опирающимся на выгодное слово "устои", ибо это почетное слово хорошо звучит лишь в устах тех людей, которые обречены не поспевать за стремительным бегом времени».

Все это звучит гордо, и все это сводится к нулю, когда многочисленные футуристы-новаторы переходят от манифестов к произведениям.

Если вы отвлечетесь от их крикливых фраз — «Пощечина общественному вкусу!», «Смерть искусству!»... — и приглядитесь более внимательно к их бумажной революции, вас поразит нищета их творчества. От новизны так и разит стариной.

«Дома новы, но предрассудки стары!»

Не стоило сокрушать «пресловутую» статую самофракийской победы и объявлять войну «гиероглифам» Пушкина, не стоило заноситься за облаками на дирижабле для того, чтобы довести до абсурда эксцессы раннего декадентства, чтобы опуститься в пустыню безыдейности.

Русские эгофутуристы пришли на готовое, они подобрали то, что было давно отброшено первыми русскими декадентами.

Если вам угодно — первыми футуристами были Бальмонт с его «себялюбьем без зазренья», с его стремленьем перешагнуть дерзновенно «все преграды», и Валерий Брюсов с его заветами «Юному поэту». Эти заветы, провозглашенные в 1906 году, целиком вошли в самые последние манифесты эгофутуристов.

Юноша бледный со взором горящим,
Ныне даю я тебе три завета:
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее — область поэта.
Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, бесцельно.

Крайний индивидуализм, беспредельная любовь к себе, себялюбье без зазренья — вот основные ноты «Эгопоэзии», поскольку ее можно

различить за криком и шумом, за выкрутасами и вывертами Василисков Гнедовых, Викторов Хлебниковых, Маяковских и всевозможных крученых panычей.

«Цель эгопоэзии — восславление эгоизма как единственно правдивой и жизненной интуиции», — пишет господин Г. А. в альманахе футуристов «Оранжевая урна».

Там недаром на первом месте напечатаны стихи Валерия Брюсова, неустанно, вот уже четверть века восславляющего эгоизм.

В другом альманахе «Стеклянные цепи» (как всегда в несколько страничек) эгофутурист Дмитрий Крючков пишет восторженную статью о «Зеркале теней» Валерия Брюсова и называет поэта «исхищренным мастером», «умудренным учителем и буйным юношей, жрецом-магом и страстным любовником». Это уже совсем похоже на преклонение перед авторитетом.

Игорь Северянин в своих «изысках» находится под большим влиянием «исхищренного мастера», который раньше других пишет: «Фарман иль Райт, иль кто б ты ни был! Спеши! Настал последний час!.. Просторы неба манят нас».

Игорь Северянин выделяет этого трудолюбивого литератора, в поте лица добывающего стих свой. В ответ на посланье Виктора Хлебникова, который «шаманит» в поэзии:

Только Вы, Валерий Брюсов,
Как некий равный государь.

Стоило ли сбрасывать Пушкина с парохода современности, Пушкина-Державина, чтобы преклониться перед Брюсовым, тем Брюсовым, который давно уже стал пушкинианцем?

И московские, и петербургские эгофутуристы никому не сочувствуют и не живут настоящим, но предпочитают они не будущее, не futurum, а все тот же plusquamperfectum. Только Валерий Брюсов увлекается упадком Рима, а Хлебников повестью «Каменного века», первобытными народами, дикарями, и пытаются говорить их языком.

Венеру и Тангейзера Вагнера сменили Венера и Шаман Виктора Хлебникова, который сам шаманит в поэзии:

Монгол. Монгол. Как я страдала.
Возьми меня к себе, согрей...—

жалуется Венера, покинутая художниками и народом, забравшись в пещеру Шамана.

— Не так уж мрачно, —
Ответил ей, куря, Шаман. —

Озябли вы, и неудачно
Был с кем-нибудь роман.

Нужно ли указывать, что от слова «роман» веет самой подлинной самобытностью? Не о стихийности, не о варварстве и дикой силе говорят образы Шаманов, а только о декадентской усталости, пресыщенности и развинченности, о жажде чего-нибудь пикантного, экзотического, острого. Они не стали детьми, но они по-старчески впали в детство, они дают пресыщенному, скучающему читателю суррогат новизны.

Тайну этих варваров и буйных дикарей вырабатывает Игорь Северянин, которого душа «влечется в примитив» и который «с первобытным не разлучен».

Его герои «живы острым и мгновенным».

Все его Зизи, нарумяненные Нелли, виконты и виконтессы, жены градоначальника, их сиятельства, гурманки, грезерки и «эксцессерки» пресытились культурой и захотели ржаного хлеба.

«Задушите меня, зацарапайте, предпочтенье отдам дикарю», — рассказывает путешественница у Игоря Северянина.

У него же разыгрывается драма «в шалэ березовом, совсем игрушечном и комфортабельном...». Эта драма в стихах полуиронически, полусерьезно заканчивается строкой:

И было гибельно.— И было тундрово.— И было северно.

В стихотворении его же «Юг на Севере» утонченно-примитивная барынька рассказывает, как она остановила оленя у эскимосской юрты и захохотала жемчужно, «наводя на эскимоса свой лорнет».

Примеров такой извращенной первобытности, такого «дикарства» у Игоря Северянина — множество, и будет еще немало в будущих сборниках его, так как поэт намерен побывать «в глуши, в краю олонца»...

Вся пикантность, вся острота его первобытности заключается в постоянном переплетении «фешенебельных тем», «помпэзных эпитетов» с рассказами лейтенантов о «полярных пылах», о циничном африканском танце, о проказах злых орангутанов.

В мире варваров и дикарей двадцатого века — живется недурно!

Клуб дам, курорт, пляж, будуар нарумяненной красавицы, каретка куртизанки, мороженое из сирени, Поль де Кок и молитвенник — все эти темы разрабатываются с веселой легкомысленной улыбкой, с едва уловимой иронией... От всех напудренных и нарумяненных дикарей и варваров пахнет тонкими духами уже знакомых нам пастушек и пастушков XVIII века.

Но при чем тут новизна? Это все тот же «пир во время чумы», это все то же: «а после нас, хоть потоп...»

...Нам скажут, Игорь Северянин — уже не эгофутурист, и его стихи, иногда блестящие, по форме — не характерны для эгоорангутанов.

Игорь Северянин — единственный талантливый поэт из десятков обнаглевших бездарностей, и он в удобопонятной форме выявил один из основных мотивов эгофутуризма *. Впрочем, и этот мотив давно уже прозвучал в «зовах древности» К. Бальмонта.

Нам указывают, что новизна эгофутуристов заключается в их языке, в их словотворчестве, в их словоновшествах и «самовитых» словах.

Московские футуристы в своем манифесте приказывают чтить право поэтов: 1) «на увеличенье словаря в его объеме произвольными и производными словами, 2) на непреодолимую ненависть к существующему до них языку».

Они гордятся тем, что расшатали синтаксис, что уничтожили все знаки препинанья, сокрушили ритмы, не оставили камня на камне, словом, дикари произвели словесную революцию.

По части словотворчества в особенности отличались: Виктор Хлебников — автор «Смеюнчиков», Крученых — автор бесчисленных поэм и петербургский эгофутурист Василиск Гнедов.

Эта страсть к словотворчеству заметна и у Игоря Северянина, который стремится «популярить изыски» и жалуется, что живет в стране, «где четверть века центрит Надсон».

Но у бездарных эгофутуристов словотворчество превращается в какой-то бред, в какую-то отвратительную тарабарщину и неразбериху. Они точно стараются перещеголять друг друга нелепостями и словесными выкрутасами. От «сочетанья слов» они перешли к сочетанию букв, от музыки к какофонии.

Бобэоби пелись губы
Вээоми пелись взоры
Пиээо — пелись брови
Лиээй — пелся облик, —

распевает диким голосом Велимир Хлебников в «Пощечине общественному вкусу».

Го О снег Кайд
М р Батульба, —

откликается в «Союзе молодежи» Крученых;

* Среди каракулек и гиероглифов московских эгофутуристов выделялись некоторые произведения Елены Гуро, ныне умершей, у нее попадаются искренние вещи, полные интимных переживаний.

Козой вы мной молочки
Даровали козяям луга.
Луга-га!
Луга-га! —

прыгает по-козьему петербургский Василиск Гнедов в своем сборнике «Гостинец сантиментам».

...Каждый новый сборник — шаг вперед в смысле достижения идеала нелепицы. Недавно вышла книжечка Василиска Гнедова «Смерть искусству». Это — шедевр «обнаглевшей бездари».

В сборнике 15 поэм:

Поэма 1. Пепелье Душу.

Поэма конца (15).

За этим заглавием — ничего.

Теперь разверните и прочтите, что пишет редактор издательства «Петербургский глашатай» Иван Игнатьев в своем предисловии к иероглифам Гнедова по поводу пустого места:

Нарочито ускоряя будущие возможности, некоторые *передунчики* вашей литературы торопились свести предложенья к словам, слогам, и даже буквам.

— Дальше нас идти нельзя,— говорили они.

А оказалось льзя.

В последней поэме этой книги Василиск Гнедов ничем говорит: целое что.

Думается нам, следующий «опус» Хлебникова будет заключаться в чистой странице. Там даже не будет стоять: Поэма конца (15). Просто будет пусто — хоть шаром покати, и эта честная и откровенная пустота будет последним словом эгофутуристов. Последующим «передунчикам» нечего будет делать, и они почиют от всех дел своих.

Бывают эпохи, когда заимствуются целые сферы новых идей, а с ними *целые разряды новых слов;* такие эпохи уже не раз переживала Россия, когда приходилось у Западной Европы, у передовых стран брать уже готовые слова для обозначения соответствующих понятий. Иногда писатели обращались к богатейшим запасам народного языка и создавали новые слова по аналогии, но и в обычное время нередко слова новые рождаются у писателя *вместе с мыслями,* как счастливое вдохновение.

Чтобы какое-нибудь новое слово пошло в ход, оно должно быть по своему составу совершенно просто, естественно, непринужденно.

Каждое новое слово связано неразрывными узами с языком народа, и если стиль это — человек, то язык — это народ. Существа — делающие орудия, существа — общежительные создали слово как средство общения.

Словом, говорит Потебня, человек превосходит прочих животных, потому что делает возможным общение мысли, связывает людей в общество. Совокупными условиями многих создается и развивается язык.

Теперь приглядитесь к каракулькам футуристов, возвестивших о своей ненависти к существующему до них языку. Их язык это — средство разобщения.

И здесь они подбирают декадентский хлам и возвращаются к «звонкозвучной тишине», влюбляются снова в «чуждый чарам черный чёлн». Ради музыки они жертвуют смыслом. Хотя их музыка могла бы удовлетворить только персидского шаха.

Их новые слова родятся при полном отсутствии каких бы то ни было идей и мыслей, из одичанья, ужасающего каждого, кто любит литературу. Это — комариное жужжанье, это — блеянье, бурлюканье, только не язык человеческий, не тот прекрасный русский язык, который так любили Гоголь и Тургенев.

Бывший человек Сатин, опустившийся на дно, упивается словами «сикамбр», «макробиотика». Когда Бубнов спрашивает его: «Ты что бормочешь, к чему говоришь?». Сатин отвечает: «Так, надоели мне, брат, все наши слова, надоели. Каждое из них слышал я, наверное, тысячу раз»... «Люблю непонятные, редкие слова...»

Предвидел ли Сатин, бывший человек, что его «сикамбр» превратится в «бобэоби» эгофутуристов?

Эгопоэзия, голый эгоизм опустошенных душ, духовных босяков породила их тарабарщину, их непонятные, редкие слова.

Когда человек был один, — теоретизирует все так же господин редактор Иван Игнатьев, начитавшийся Ветхого Завета, — ему не нужно было способов сношения с прочими, ему подобными существами... Человек «говорил» только с Богом, и это был так называемый «рай»...

Пока мы коллективцы, общежители — слово нам необходимо, когда же каждая особь преобразится в объединиченное «Эго» — я — слова отбросятся само собой.

Что может быть пошлее этого самодовольного набора слов!

Никогда человек не был один, и никогда общество не ведется к одному, об этом говорит любой, самый элементарный курс по истории культуры.

Но для нас характерны мечты Игнатьевых: они ненавидят «коллектив», «общественность», их крайний индивидуализм ведет к мечте о полном распаде социальных групп.

Революция 1905 года с ее культом коллектива, героической толпы и мятежной массы нанесла смертельный удар самодовольному эстет-

ству, келейному творчеству, «своеволью без зазренья», стремлению бежать от жизни «за пределы предельного».

Реакция общественная и политическая с ее распыленьем общества, с ее «крахом души» и культом тела выдвинула снова опустошенную личность на первый план.

Сплоченность общества не может ослабиться без того, чтобы индивид в той же мере не отставал от социальной жизни, чтобы его личные цели не перевешивали стремленья к общему благу, чтобы единичная личность не стремилась стать выше коллективной.

Это распыление общества, его анатомирование, этот разрыв личности с коллективом не могли не отразиться на литературе.

Шумное и крикливое выступленье московских и петербургских эгофутуристов с их эгопоэзией, это дерзкое отрицанье общественности, этот возврат к эксцессам крайнего индивидуализма, к тем эксцессам, которыми изобиловала поэзия декадентов, символистов в конце 80-х и в начале 90-х годов.

Валерий Брюсов видит в поэзии эгофутуристов «какую-то правду», «кой-что не лишенное ценности», историческим оправданием русского эгофутуриста готов считать появленье эгофутуристов на Западе — в Италии, во Франции и других странах. Нам думается, литературное заимствование и рабское передразниванье Маринетти, это еще не *историческое* оправдание.

Русский футуризм ближе к раннему декадентству Брюсова, чем к футуризму Маринетти.

Течение, связанное с крайним индивидуализмом, естественно пройдет к тем же грустным берегам, к тем же эксцессам, которые давно отброшены мэтрами символистов.

Конкуренция бесчисленных бездарностей только ускорит и обострит процесс.

Уже и теперь ясно, что будущее принадлежит не футуристам, и напрасно В. Брюсов обнадеживает их.

Когда я слежу за шумными выступлениями эгофутуристов, я вспоминаю малороссийскую юмористическую песенку о Мухе-Шелестухе и комарике.

Ой шож там за шум уничився?
Що комар тай на мусци оженився.
Полетив той комар у чистое поле,
У чистое поле в зелену диброву.

В роли комарика оказалась группа поэтов, с победоносным жужжаньем вылетевших в чистое поле русской литературы, а в роли «Мухи-Шелестухи» те читатели, которых увлекли господа эгофутуристы.

Зазовь!
Зазовь манности тайн
Зазовь обманной печали...
Зазовь сипких тростников
Зазовь зыбких облаков
Зазовь водностных тайн
Зазовь.

Это комарик вечером над болотцем справляет свою комариную свадьбу и зазывает в свои объятья непоседливую Муху-Шелестуху. Этот комариный язык, конечно, не имеет никакого отношения к «непонятным гиероглифам Пушкина»...

Не «рог времени трубит» в зазывающих книгах Гнедовых и Хлебниковых, а трубит победу и одоленье над Пушкиным и «великим сплетником» Толстым все тот же комарик, не устающий жужжать «зазовь... зазовь... зазовь!».

В малороссийской песенке, о которой я вспомнил, рассказывается о трагическом конце комарика и его апофеозе. После свадьбы с Мухой-Шелестухой молодой уселся на дубочек, «свои ножки опустив в холодочек». Пока он наслаждался своим царственным величием, «налетела шуря-буря, вона того комарика с дуба сдула». Комарик погиб. Тогда после его смерти начался апофеоз. Прилетели атаманы. Положили разбитого и смятого комарика в гроб, покрыли бездыханные останки «червонною китайкою» и похоронили на высоком кургане.

Но и это не все.

Песня кончается словами:

Ой шож там лежит за покойник?
Ой чи пан, чи гетман, чи полковник?
Ой ни пан, ни гетман, ни полковник.
А то Мухи-Шелестухи полюбовник.

Поэтиков, занимающихся словоизвержением и победоносным жужжанием, быстро унесет волна общественного подъема. Атаманы Валерий Брюсов и Ф. Сологуб попытаются сперва их сосватать, а потом устроят им пышный апофеоз.

Но кто пережил свою первую любовь к поэзии Пушкина и Толстого, кто чужд высшей политике атаманов, тот пройдет мимо высокого кургана. Он ведь знает, что там покоится:

Ни пан, ни гетман, ни полковник,
А то Мухи-Шелестухи полюбовник.

<1913>

Владимир Маяковский
ПОЭЗОВЕЧЕР ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА

О поэзии Игоря Северянина *вообще* сказано много. У нее много поклонников, она великолепна для тех, чей круг желаний не выходит из пределов:

Пройтиться по Морской с шатенками.

Но зачем-то ко всему этому притянута война? Впечатление такое: люди объяты героизмом, роют траншеи, правят полетами ядер, и вдруг из толпы этих «деловых» людей хорошенький голос: «Крем де виолет», «ликер из банана», «устрицы», «пудра»! Откуда? Ах да, это в серые ряды солдат пришла маркитантка. Игорь Северянин — такая самая маркитантка русской поэзии.

Вот почему для выжженной Бельгии, для страдальца Остенде у него только такие «кулинарные» образы:

О, город прославленных устриц!

Поэтому и публика на лекции особенная, мужчины котируются как редкость: прямо дамская кофейная комната у Мюра и Мерилиза.

Публики для военного времени много.

Нетерпеливо прослушан бледный доклад Виктора Ховина, ополчившегося на воинственный итальянский футуризм и пытавшегося теоретически обосновать воспевание «гурманства» и «трусости», о которой дальше проскандировал Северянин:

Да здравствует святая трусость
Во имя жизни и мечты!

После вышел «сам». Рукоплескания, растущие с каждым новым стихотворением. Еще бы: «это — король мелодий, это — изящность сама». Увлекаются голосом, осанкой, мягкими манерами, — одним словом, всем тем, что не имеет никакого отношения к поэзии. Да в самом деле, не балерина ли это, ведь он так изящен, ну, словом —

Летит, как пух из уст Эола:
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.

<1914>

Мариэтта Шагинян
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН

Чего только ни наговорили об этом поэте! Федор Сологуб любит его за «дерзание», Корней Чуковский за «коконтес и виконтес», которых он считает наиболее характерными для «изысканного упадочника» Северянина. Принято нынче всюду, говоря о нем, прибавлять «но, конечно, он очень талантлив...» Его книгой «Громокипящий кубок» обновился старый «Гриф», — московское книгоиздательство, давно уже помалкивавшее; издавая ее, оно как бы записало в восприемники футуризма волну русской символистской поэзии, именовавшуюся «декадентством».

Первым и наиболее главным из отрицательных явлений, мешающих читателю ознакомиться с Иг. Северяниным, надо признать кличку футуризм и футуристскую рекламу. Большинство приступающих к чтению «Громокипящего кубка» ищет в нем сенсаций, чего-нибудь забавно-предосудительного, дразнения, а также и той болезненной истерики, которая столь часто дразнением вызывается. Наиболее искренние из называющих себя «футуристами» находятся сейчас на положении своего рода пушных зверьков, которых публика всячески гладит против шерстки, дабы вызвать рычанье и царапанье. Следы такой болезненной «непокорности» имеются в «Громокипящем кубке», но их мало, и они не существенны. Этот настоящий лирический сборник, заслуживающий настоящего и серьезного внимания, никоим образом не следует читать как нечто футуристское. Рекомендую моему читателю забыть сейчас все клички, все невежественные и наивные теоремы футуристов и вместе со мною отдаться удовольствию перебрать несколько прекрасных стихотворений, удовольствию, в наше время ставшему редким.

Всякого поэта, большого и малого, в поэзию, как в рыцарство, должна посвятить любовь. Не потому ли мы переживаем наиболее бедное лирикой время, что наши многочисленные стихотворные таланты успевают только писать, окончательно разучившись углубленно переживать? К чему они должны непременно писать, и непременно в стихах, а не в прозе — загадка и для читателя, и для них. Подобной «загадки» не существовало ни для Игоря Северянина, ни для его внимательного непредубежденного читателя, который отделяет в стихах Северянина

подлинное от вымороченного: автор «Громокипящего кубка» не мог не писать в стихах, ибо он любил.

Первый отдел его книги называется «Сирень моей весны». В этом отделе происходит посвящение поэта в поэзию любовью; каждая строка тут автобиографична, по крайней мере, так убежденно чувствует читающий.

Очам твоей души — молитвы и печали.
Моя болезнь, мой страх, плач совести моей;
И все, что здесь в конце, и все, что здесь в начале, —
Очам души твоей...

Ну, что здесь футуристского? А между тем этим стихотворением начинается сборник. Автора <сердце?> совсем молодое, умеющее любить и страдать, самоуверенное, но и трогательное в своей смиренности существо, дерзкое перед чужими, кроткое перед любимыми, и главное — до зависти, до странности, не по-петербургски, — откуда оно для всех нас возникло, — молодое.

В то время как стихотворные складки нашей безукоризненной молодежи ложатся по-старушечьи сморщенно, строфы аккуратны и безобидны, темы до тошноты скучны — и это при всех потугах на юность и стихийность, у Игоря Северянина нет ни одного скучного стиха и ни одной старческой гримасы во всем сборнике, даже там, где он, к сожалению, начинает уже писать не просто, а как бы для иллюстрации футуризма.

Чуковский видит в Северянине городского поэта, позера, влюбленного в файф-о-клоки, автомобили, кокоток и т. д. Это абсолютно неверно. Игорь Северянин глубоко чувствует деревню, знает и видит ее и, когда о ней пишет, выбирает нежные и верные слова; посмотрите, например:

Люблю октябрь, угрюмый месяц,
Люблю обмершие леса,
Когда хромает ветхий месяц,
Как половина колеса...

Или, например:

Прост и ласков, как помыслы крошек,
У колонок веранды и тумб
Распускался душистый горошек
На взлелеянной пажити клумб.

Замечательно по своей светлости и свежести стихотворение «Маргаритки», которое так и тянет сравнить с гетевской «Майской песнью»,

читатель, конечно, не посетует на меня, если я приведу это стихотворение целиком:

О посмотри! как много маргариток —
И там, и тут...
Они цветут; их много: их избыток;
Они цветут.

Их лепестки трехгранные — как крылья,
Как белый шелк...
Вы — лета мощь! Вы — радость изобилья!
Вы — светлый полк!

Готовь, земля, цветам из рос напиток,
Дай сок стеблю...
О, девушки! о, звезды маргариток!
Я вас люблю...

Бег оленей для него «воздушней вальсовых касаний и упоительней, чем лень», ночи приходят в «сомбреро синих», вечером при луне «дорожка песочная от листвы разузорена — точно лапы паучные, точно мех ягуаровый», в ясный день он описывает лёт автомобиля: «...а кругом бежали сосны, идеалы равноправий, плыло небо, пело солнце: кувыркался ветерок; и под шинами мотора пыль дымилась, прыгал гравий, совпадала с ветром птичка на дороге без дорог...». Каждое стихотворение, каждое слово говорит о верном чувствовании и свежем радостном вглядывании поэта в мир. Надо признать, что даже там, где Северянин, заключенный в городе, волей-неволей поет город, он воспевает, даже в специфически городском, косвенные отражения природы и находит эпитеты всегда живые, органические, растительные, земляные, а отнюдь не механические.

Вот несколько образчиков этого: у автомобиля он берет не его машинные характеристические признаки, а такое, в сущности говоря, случайное свойство, как материал, — то, что он из клена: «...сел на сером клене в атласный интервал»; далее мотор прямо называется кленоходом: но не довольствуется растительным сравнением. Северянин окончательно анимизирует автомобиль: «шоффер» — мой клеврет — коснулся рукоятки, и вздрогнувший мотор, как жеребец заржавший, пошел на весь простор»... «Цилиндры у него «солнцевеют», дамская венгерка — комичного цвета коричнево-белковая и т. д.

Но то, что безусловно отличает Игоря Северянина от громадной массы современных поэтов, как футуристского, так и прочего толков, это элемент подлинной лирической скорби, обостряющейся иногда до трагизма, и при этом не высосанной из пальца и взятой напрокат у со-

седа (как ныне практикуется), а рожденной собственным опытом, перенесенной душою, как болезнь, простой и оригинальной, как и все настоящее.

Все истинные стихи — биография; жутко-интимные и стихи «Громокипящего кубка»: из них можно вычитать целый рассказ о любви автора. Я попытаюсь сделать это для читателя.

Быть может, оттого, что ты не молода,
Но как-то трогательно-больно моложава,
Быть может, оттого я так хочу всегда
С тобою вместе быть...

Итак, она не молода; на пальце ее обручальное кольцо — она замужем; встречается с ней автор в «трехкомнатной даче», которую он называет в стихах «шалэ», и которая находится где-то «на реке форелевой, в северной губернии»; все эти встречи — летние; зимою они так же редки, как цветение Виктории-Регии. И зимой поэт мечтает о лете, когда он «откроет сердце, как окно», для своей запретной любви. Вот пленительное стихотворение под заглавием «Это все для ребенка...»

О, моя дорогая! ведь теперь еще осень, ведь теперь еще осень...
А увидеться с Вами я мечтаю весною, бирюзовой весною.
Что ответить мне сердцу, безутешному сердцу, если сердце
вдруг спросит.
Если сердце простонет: «Грезишь мраком зеленым, грезишь
глушью лесною».
До весны мы в разлуке. Повидаться не можем. Повидаться
нельзя нам.
Разве только случайно. Разве только в театре. Разве только
в концерте.
Да и то бессловесно. Да и то беспоклонно. Но зато — осиянным
И брильянтовым взором обменяться успеем... как и словом
в конверте...
Вы всегда под охраной. Вы всегда под надзором. Вы всегда
под опекой.
Это всё для ребенка... Это всё для ребенка... Это всё для ребенка...
Я в Вас вижу подругу. Я в Вас женщину вижу. Вижу в Вас человека.
И мне дорог Ваш крестик, — как и Ваша слезинка,
как и Ваша гребенка.

Но что произошло меж нею и поэтом? Так любима, что даже разлука становится для него источником духовных откровений и близости:

Найти друг друга, вот отрада!
А жизнь вдвоем — предтеча тьмы...

Нам больше ничего не надо:
Лишь друг вне друга — вместе мы!

Так любима, что поэт зовет ее: «мой лучший друг, моя святая» — и вдруг, «Стансы» выдают нам его тягчайшую боль:

И все — невозможно! И все — невозвратно!
Несбыточней бывшего нет ничего...
И ты, вся святая когда-то, развратна...
Развратна! — Не надо лица твоего!..

В этой строфе каждая строка свидетельствует о страдальческой сознательности автора; а фраза «несбыточней бывшего нет ничего», — блестящая по афористической мудрости мысль, достойная войти в разряд философско-житейских максим.

Человек может грешить и почти всегда грешит ниже и хуже животного, но любить он способен лишь чистоту: в этом его страдательная привилегия. И поэт не прощает ей, любимой, как раз того, в чем он может быть и сам повинен, — утери чистоты. Цикл «Сирень моей весны» заканчивается в числе других стихотворением «Завет», где Игорь Северянин формулирует свой внутренний опыт следующими великолепными по мысли строками:

Целуйте искренней уста —
Для вас раскрытые бутоны,
Чтоб их не иссушили стоны,
Чтоб не поблекла красота!
С мечтой о благости Мадонны
Целуйте искренней уста!

Как не схоже это «с мечтой о благости Мадонны целуйте» с нашими современными эротическими заповедями, которые не только не освящают подхода к женщине воспоминанием о благостной Деве Марии, а и самую «благость Мадонны» превращают (например, у молодых поэтов школы Белого и Эллиса) в средство для двусмысленно-экстатических «подходов», напоминающих экзальтированную влюбленность в женщину. Далее, в стихотворении «Завет» следуют строки «прощайте пламенней врагов», «страдайте стойче и святей», «любите глубже и верней, бессмертен, кто любил страдая...». Таково credo родоначальника русского футуризма.

Читателю, вероятно, еще очень понравится маленькое стихотворение из первого цикла. Оно называется «В парке плакала девочка».

В парке плакала девочка: «Посмотри-ка ты, папочка,
У хорошенькой ласточки переломлена лапочка, —

Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю...»
И отец призадумался, потрясенный минутою,
И простил все грядущие и капризы, и шалости
Милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

Следующие циклы гораздо совершенней по форме, но, к несчастью, и гораздо нарочитей и скусней <скучней> первого. С них, собственно, и начинается футуризм Северянина. Он подает читателю «мороженое из сирени», для чего предлагает своему «водопадному сердцу» «зальдиться в душистый и сладкий пушок». Поэт восклицает: «Пора популярить изыски, утончиться вкусом народа!». Но посмотрим, какие же изыски он собирается популярить. Лилия ликеров, фиалковый фиал, качалка грезерки, мечты-сюрпризэрки, омолненный дым, озерзамок, аллея олуненная, окалошить, омолнить, солнцевеет, лоско, броско, нечно <так!>, зеркалозеро, лес одобренный, слезоем, омаен, освирелься, безслухий и т. д., и т. д. Вот область, где Северянин производит свои «изыски» и где сосредотачивается его изысканность. К изобретаемым новым словам присоединяется славянизация слов романских (офлеря, кайзэрка, вирелэ, крем-де-мандарин, эксцессерка и пр.) и наряду с этим романизация слов славянских (пристегивание французских окончаний, итальянское сокращение гласных «ія» в «а» и т. д. Сюда же принадлежат так ново и непривычно звучащие русскому уху рифмы «констриктор-редактор, фиалково-Пулково. журфикс-кэкс, шелестешалости», которым, несомненно, принадлежит будущее. Все эти новшества относятся к технике стиха; что же принадлежит самому Игорю Северянину в области поэтического мелоса, иначе говоря, в чем его собственная песня? Большинство критиков сходится на том, что Игорь Северянин — поэт крайнего декаданса, «ажурности», «грезэрок», «румян», той самой гнили, которую отлагает от себя культура: другие (а с ними вместе, вероятно, и сам поэт), считают его как раз, наоборот, возвестителем конца мира, пророком одичания, бегуном от культуры. Я думаю, песня Северянина — ни о том, и о другом); она поет нам лишь о молодости самого поэта. Мелос Северянина в подлинной его молодости, — как раз в том, чего недостает сегодняшним старцам, не успевшим даже на вершок перерасти гимназический пюпитр.

Увы! — пустынно на опушке
Олимпа грозовых лесов...
Для нас Державиным стал Пушкин,
Нам надо новых голосов!

Теперь повсюду дирижабли
Летят, пропеллером ворча,

И ассонансы, точно сабли,
Рубнули рифму сгоряча!

Мы живы острым и мгновенным,
Наш избалованный каприз:
Быть ледяным, но вдохновенным,
И что ни слово, — то сюрприз.

Не терпим мы дешевых копий,
И примелькавшихся тонов
И потрясающих утопий
Мы ждем, как розовых слонов...

Душа утонченно черствеет,
Гнила культура, как рокфор...
Но верю я: завеет веер!
Как струны, брызнет сок амфор!

Придет Поэт — он близок, близок!
Он запоет, он воспарит!
Всех муз былого в одалисок,
В своих любовниц претворит.

И, опьянен своим гаремом,
Сойдет с бездушного ума...
И люди бросятся к триремам,
Русалки бросятся в дома!

Извиняюсь перед читателем за длинную выдержку; стихи так прекрасны, что жалко выбрасывать строфы. Что же в них наиболее характерно? Явная молодость, радостная воля жить, умение быть молодым... В этом главная прелесть Северянина: «блажен, кто смолоду был молод», и ждал «потрясающих утопий», как «розовых слонов»; но в этом же и главная опасность для поэта: сумеет ли он свою весеннюю ярость прочно и праведно переработать в мужество и показать нам всем, кто дул в его парус, — дух Божий, или только ветер его счастливого утра?

<*1914*>

Виктор Ховин
СКВОЗЬ МЕЧТУ

> Вымысел, которого ты так опасаешься, есть душа этого творения, дыхание его жизни, та текучая теплота, которой недостает срезанным листьям.
>
> *Поль Гоген.* «Ноа-Ноа». Путешествие на остров Таити

Здравствуй, Белая Ночь!..

В тревожные сумерки взял я эту книгу, книгу, рожденную очарованем Обетованной Земли, и не успел дослушать вдохновенный шелест древней свирели, «которую маори знают под именем vivo», не успел дослушать тихую песнь взморья, которую, казалось, несло мне дыханье соснового леса, как заворожила легендная чаровница, лежащее там, в отдалении, скверное, мертвенно спокойное море...

И когда в открытое окно вошла она в своем холодном и мудром молчании, набросившая на всю природу из прозрачно сребристых струй мантию, вдохновенно приник я к грезе художника, – к грезе Благоуханной Земли...

«И вот с Таити художник привозит с собою не листья тамарина, на которых вырезаны красивые слова, и не горсточку песку, и не живую женщину, и не солнце. Он привозит с собою ту Грезу, которую пережил там своими глазами, своим умом и сердцем.

Но не лжет ли он? И кто даст нам уверенность в том, что действительно существует этот далекий остров, на котором мы ни разу не бывали, эта восхитительная и обреченная земля?..»

И когда одни отбросят твою книгу, художник, как никчемную для потребностей их сегодняшнего дня, а другие, те, кого называют эстета-

ми, составители гербариев и хранители железных сундуков, будут помнить о Благоуханной Земле как о царстве лени и дремы, будут говорить о крепких чреслах маорийской женщины, но пройдут холодные мимо того, что называешь ты «маорийским очарованием», не приникнут к той песне, которую поет дикая свирель vivo, и к той тайне, которую излучают глаза златокожей женщины, хранительницы старых преданий, — не удивляйся и не жди больше; — пред тобою прошел современный читатель.

И когда бескрылые, опустошенные и пустые в своем скептицизме души пренебрегут твоей книгой, книгой подлинного вымысла и вдохновенных суеверий, повтори слова другого суеверца: «Кто верит какой либо системе, тот изгнал из сердца своего всеобщую любовь! гораздо сноснее нетерпимость чувствований нежели рассудка: суеверие все лучше системоверия...»

Но я в эту белую холодную ночь, я поверил тебе, художник, поверил твоему видению, твоему вымыслу, равному той истине, которая пребывает только в душах наших... и не только одинокие оба, сердце твое и vivo «вблизи и вдали поют свирельною трелью», но и далеким северным эхом отвечает вашим сердцам и вашим песням мое сердце и моя песнь...

. . . .

— Он был первым, кто сказал — живите, как цветы полевые, — пишет Уайльд о Христе, и Он же признавал, что душа каждого должна быть, как девочка, что резвится и плача, и смеясь.

Мечта Уайльда о торжестве бесплодных эмоций над практицизмом, творческой лжи над будничной правдой действительности нашла себе воплощение в сладостной и пламенной легенде бездомного художника, бежавшего от городской культуры в дебри варварской природы острова Таити...

«Сквозь Мечту» — так назвал Поль Гоген, этот взыскательный и непримиримый фантазер, первую главу своей книги.

Сквозь Мечту!..

Но неужто же путь мечтательства, очарованных скитаний и прихотливо фантастических странствий, неужто же путь этот лежит там, вдали, через океанийские острова, — лежит не примиренным с городскою Европой?

Неужто же действительно в городе не стало больше цветов?

Неужто в моторном канкане улицы, среди контор, казарм, кабаков, больниц и тюрем смолкли весенние шелесты звонкопоющих душ, и Прекрасная Дама, лунная греза поэта, растоптана на панелях городской проституткой?

И кто же прав из них — художник ли варвар, думавший оставить на берегах Европы свою заледенелую в лучах электрического солнца душу и в фанатизме своем бросившийся на путь далеких исканий будто бы потерянной нами тайны творческой лжи, или художник дэнди, пустивший своего фанатика красоты в туманы лондонских улиц?..

О, вы помните, еще так недавно бродил мечтатель по аллеям старых барских усадьб, желтеющим осенней позолотой, — и не правда ли, царством его было царство природы? И вот пришла эта шумно-блистательная городская культура, в стальной паутине которой забилась недавно еще стихийная душа мира; что же сталось тогда с мечтателем?

Он тоже перекочевал в город, и как странно было мечтателю в городе. Ведь он так привык запрокидывать свои глаза в голубизну небес и в своей поэтической наивности искал Прекрасную Даму в густолиственных чащах лесов и на берегах спокойно-ласковых рек. И вдруг — сдавленность городских стен, судорожная поспешность, истерическая деловитость улицы.

А вот мечтатель Достоевского одним из первых почувствовал себя как нельзя лучше в городе; — он завязал какую-то необъяснимую дружбу с деловито бегущей улицей, он вступил в таинственное общение с каменными мешками домов. Он познал поэзию неприступных углов, мансард, где обитал, — углов, оторванных от мира, которые таятся от дневного света и не знают солнечных лучей. Еще немного, и городской мечтатель как улитка прирастет к городу, впитает в себя яд его, город сделает столицей своей и не променяет ее на все великолепие царства природы.

Вот спускается он в закоптелые угарные подвалы городских кабаков и здесь, под пьяные вульгарные звуки коверкливых органов, ищет уюта среди других отверженцев улицы. И в такую-то обстановку попадает мечтатель и не попадает, а сам идет, идет по собственному желанию, влекомый к дверям этого кабачка — кем? — Прекрасной Дамой, грезой поэта.

Помните как у Блока в «Незнакомке» поэт тоскует в пьяном угаре: «Вы послушайте только. Бродить по улицам, ловить отрывки незнакомых слов. Потом прийти вот сюда и рассказать свою душу подставному лицу.

И среди огня взоров... возникнет внезапно, как бы расцветет под голубым снегом — одно лицо: единственно прекрасный лик Незнакомки».

И медленно пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями
И в кольцах узкая рука.

И свою «Незнакомку» Блок приводит куда же? – да в городскую квартиру, быть может даже в один из этажей городского небоскреба.

Звездная «странница по путям жизни, о которой тосковал мечтатель всех веков, идет в большую гостиную комнату, ну, конечно же, ярко освещенную электрическими лампами и, конечно, в общество молодых людей в безукоризненных смокингах, как гласит ремарка блоковской пьесы.

Но ведь это все та же лесная фея, призывная спящая царевна; разве не ее прозрел Поль Гоген в богине-дикарке с острова Таити, и разве не к ней, «к вечно безымянной, странно так желанной, той, кого не знаю и узнать не рад», – стремится самый современнейший из современных поэтов Игорь Северянин?

– Мечтатель сегодняшнего дня идет по путям новой фантастики и новых странствований.

Маринетти, так прекрасно понявший душу городской культуры, презрительно отмахнулся от всего не городского, от всего того, что лежит за городскими шлагбаумами. Но Маринетти отдал искусство в услужение современной культуре; он слишком прозаик и потому-то забыл о таинственных общениях души поэта с душою мира, забыл о том, что мечтатель, прогуливаясь теперь по тротуарам города, трепет свой несет все туда же – в хрустальные замки творческой фантазии...

И конечно, не с маринеттизмом, а с истинным футуризмом идет восторженная и громоносная юность, идет средь болотных огней повседневности, великая в буйстве с пламенными словами заклинаний:

И потрясающих утопий
Мы ждем, как розовых слонов!..

«Гнила культура, как рокфор...» – говорит Северянин, а там вдали лучится палевое царство грез, но современный мечтатель не занавешивает окна своей комнаты от уличных фонарей, не заглушает шума улицы, не зажигает сальную свечку в сантиментальном испуге.

Через современность должен пронести он свою мечту и сквозь мечту должен созерцать современность.

Мечтатель Блока спустился в угарный уличный кабачок, современный же мечтатель тоскует в шантане:

Шампанского в лилию! Шампанского в лилию!..

И если блоковский поэт держал за рукав полового из кабачка в надежде, что хоть этот приникнет к причудливым словам поэта о легковейной пляске вечерне-синего снега, то не северянинский ли мечтатель изнывает пред нагло-накрашенной кокоткой Зизи.

Бледный, сумеречный силуэт Незнакомки расцвечивается у Северянина яркостью красок в двуликом образе Прекрасной Дамы сегодняшнего дня. И зовут эту Прекрасную Даму: Демимонденкой и Лесофеей. Это она проходит в шумном платье муаровом, это она несется на ландолет по островам к зеленому пуанто. И ей поет свою песнь двуликий поэт — наивный мечтатель в образе столичного дэнди.

И песнь пенная фантазмами шампанского — во имя той, которая в шумном платье муаровом сменяется другой песнью, пахнущей лугами и травами, во славу Лесофеи. И с грешно-алых губ поэта упадают нежные и молитвенные слова.

Царство холодных лучений и зеркальных отраженностей, царство парфюмерии и судорог городских масок и поэзия, впитавшая в себя мотив шантанного напева, ароматная утонченным запахом модных духов, пряная, как ликер Crème de Violette. А за всем этим бледное молитвенное лицо:

Зизи, Зизи! Тебе себя не жаль?
Не жаль себя бутончатой и кроткой?
Иль может быть цела души скрижаль
И лилия не может быть кокоткой?..

. . . .

Грядет механизированный человек, грядет бездушное машинное царство, которого так алчет современность. Но мечтателю нечего становиться по рецепту маринеттизма приспешником этого царства, точно так же как нечего бросаться под колеса чудовищной машины технической культуры, дабы задержать ее всепобедное шествие.

Жива Прекрасная Дама! Жив мечтатель! И есть магические слова, преображающие тусклый прозаизм будней в царство безразумных чудес, и

В будуаре тоскующей нарумяненной Нелли,
Где под пудрой молитвенник, а на ней Поль де Кок, —

есть еще, значит, молитвенник...

И в бессветности потерявших грани дней и ночей города пишется новое Евангелие современного мечтательства.

1915

Александр Редько
ФАЗЫ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА

Игорь Северянин — Надсон. Мадагаскарская королева на автомобиле. — Обнаглевшая бездарь. — Пустая душа

I

По ходячей молве Северянин представлялся свежим, юным счастливцем, только вчера пришедшим в мир, чтобы дерзать.

Ныне эту ходячую молву разрушает не кто иной, как сам Северянин.

Соблазненный своей громкой известностью и возможностью предать тиснению и восторженной оценке поклонниц и поклонников всякую строку, им когда-либо написанную, автор «Ананасов в шампанском» приложил к сборнику особый отдел. Здесь собраны давние стихотворения Северянина.

В отделе «Незабудок» собраны стихотворения Северянина, начиная с 1903 года. Как видит читатель, Северянин совсем не такой нововозникший поэт, как это представляется по ходячей молве. Он работает, как стихотворец, уже 12 лет, хотя и стал модной известностью чуть не вчера. Оказывается, что в пору действительной юности Игорь Северянин совсем не напоминал Игоря Северянина, каким мы знаем его теперь. Во многом — по тону душевных переживаний — он напоминал двенадцать лет тому назад — кого бы вы думали? Можно биться об заклад, что ни одна из его поклонниц и ни один из поклонников, столь бурно аплодирующих при его появлении на эстраде, не оскорбят дерзновенного любителя ананасов в шампанском сравнением с Надсоном. Сам он бранится этим именем.

И между тем, в его собственных старинных «незабудках» чисто Надсоновские переживания. При *другой* стихотворной форме (во избе-

жание недоразумений подчеркнем это) совершенные аналогичные настроения. Так как это мало правдоподобно и «оскорбительно» для Игоря Северянина, то приведем две справки из прошлого, поскольку оно освещено самим автором в отделе «Незабудок».

Вот «Новогодняя элегия» Игоря Северянина, помеченная датой: 2 января 1908 года. Наступивший «Новый Год» заставляет автора «проследить печальным оком миновавшие года». Результат пережитого оказывается удручающе печальным. В прошлом не оказалось ни одной сбывшейся надежды. Все было самообманом и самообольщением. И вот вывод, к которому автор приходит:

Не ищи в унылой тундре
Ароматных ярких роз, —
Не ищи любви и счастья
В мире мук, в мире слез.
Но дождался — не дождешься,
Боль была и есть в груди...

Вот все, что было, и все, что будет. «Боль была и есть в груди». И вот все, чем Игорь Северянин может поздравить человечество:

С новолетьем мира скорби —
С новой скорбью впереди!..

На что-нибудь другое, кроме скорби, по Игорю Северянину, рассчитывать не приходится.

Разве автор этой «Новогодней элегии» не родной брат «господину Надсону», в свое время тяжело и жалобно переживавшему бессилие личности и безнадежность жизни?

И настроение подавленности не исключение в отделе «Незабудок».

И теперь я плачу, плачу на коленях
О погибших грезах,
Об измене мая.
    Не нашел себе я счастья, —
    Звуки горе мне напели:
    Я боялся их недаром
    С безмятежной колыбели.

Тоска и неопределенные душевные позывы — вот основные настроения молодого Игоря Северянина. И это продолжается не менее пяти лет: «Новогодняя элегия», написанная в 1908 году, не обнаруживает никаких изменений в настроении по сравнению с 1913 годом. Все та же безнадежность искателя «любви и счастья в мире муки, в мире слез».

II

Стихотворения «господина Надсона» тоже были безрадостны и унылы. Но они были нужны своему времени, своим читателям. Они раскрывали читателям те чувства, которыми они жили, не умея их сознавать. Поэтому безрадостные, унылые стихотворения Надсона были нужны. В этом было литературное счастье несчастливого в жизни Надсона.

Безрадостные, унылые стихотворения Игоря Северянина, собранные ныне в отделе канавных незабудок, не были нужны своему времени, полосе 1903—1908 гг. В этом было временное несчастье Игоря Северянина, который ныне

...покорил Литературу!
Взорлил, гремящий, на престол!

Новое счастливо найденное настроение заключалось, конечно, по формулам эстетического индивидуализма, в решимости освободиться от каких бы то ни было внутренних ограничений; от влияния каких бы то ни было «неразгаданных звуков», благо они и так перестали слышаться, тревожить и волновать. Отныне он уже не будет горько, на манер «господина Надсона», «плакать на коленях», жалуясь на «мир равнодушия» и «бессердечия ближнего». Он исцелился сам и чувствует себя способным исцелить весь мир.... Отныне его гордая задача: «даровать»...

...толпе холопов
Значенье собственного «я».

В чем это значенье собственного «я»? В «Громокипящем кубке» много интересных по форме вещей. Но оценить их можно, только отвлекшись от переживаний, вызвавших поэзы: до такой степени они бедны красотой.

Мы уже знаем, что автор «незабудок на канавках» раз навсегда решил не быть похожим на самого себя в прошлом. Отныне он уже не «господин Надсон», а российский Оскар Уайльд, долженствующий показать мировой толпе холопов значение собственного «я».

Но вот любопытная вещь: когда читаешь Оскара Уайльда, — то с удивлением в каждой строке видишь, как он богат духовно, как сложен в своих вкусах, требованиях и влечениях и как он мало умещается в рамках того, что он хочет утвердить как истину эстетического индивидуализма. Из каждой трещины, оказавшейся в его мироотношении, просвечивает внутренне одаренный человек. Он тоже полагал, что напрасно мир так долго «борется со Злом», но это не мешало ему поражать читателя утонченностью несознаваемых «высших» вкусов, не исключая чисто моральных вкусов.

С Игорем Северянином, который хочет быть сокращенным российским изданием английского эстета, дело обстоит совершенно иначе. Читаешь его и удивляешься, до какой степени он весь до последнего душевного движения умещается в тесных рамках эстетического индивидуализма. Его литературный облик определяется двумя качествами: значительная талантливость в выражении своих переживаний и столь же выдающаяся «бездарь» в этих самих переживаниях, quasi-эстетических.

Он настолько успешно освободился от каких бы то ни было борений между «высшим» и «низшим», что в его поэзах не остается даже психологии. Она подменяется психо-физиологией. Его поэзия — излучение пяти внешних чувств.

Он живет в XX веке; в его вещах постоянно говорится о необычайных завоеваниях технической мысли:

Теперь повсюду дирижабли
Летят, пропеллером ворча.

В его поэзах то и дело встречаются «моторы», но и от моторов, и от дирижаблей, и от аэропланов он берет только то, что свободно от «золы бездушных мыслей».

Главное, чем он «лучится», это чисто желудочные переживания. Даже всю третью книгу свою он назвал: «Ананасы в шампанском». Теми же словами начинается первая «поэза»:

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!

«Поэзы» Игоря Северянина нередко какая-то контрафакция из ресторанных меню. То и дело в его стихах встречается: дессертно, мускат-люнельно, английский бисквит, устрицы, ягоды, шницель с анчоусом, артишоки и спаржа, клико и чаек.

По адресу своей Беатриче он говорит: «Вы грызете, как белочка, черносливную косточку»; и о себе в другом месте сообщает:

Я пить люблю, пить много, вкусно.

Такая же «красота» в его эротических стихотворениях.

Он с «бездумной» простотой сообщает, что «пьянеет».

Среди дам просто и «этих» дам.

и что вообще он «огневеет»,

Когда мелькает вблизи манто.

Это приблизительно все, чем лучится Северянин в области чувства. Ни намека на какое-нибудь сложное переживание, на какую-нибудь действительную красоту внутренней одаренности.

Кому бы бросить наглее дерзость?
Кому бы нежно поправить бант?

Вот то солнце, которое восходит в душе Игоря Северянина и которое должно озарить всех, кто мыслит и скорбит. Сам он в этом уверен. В этом его гордость: он обрел ни мало ни много как «вселенскую душу».

В ненастный день взойдет, как солнце,
Моя вселенская душа!

Но эта утонченность, конечно, только простой обман зрения и слуха. От того, что в стихотворениях Северянина то и дело встречаются среброспицные коляски, ландолеты, моторные лимузины, экспрессы, аэропланы, шаплетки-фетроторт, волосблонды, ананасы, шампанское, рокфор, мороженое из сирени и пр., его подход в миру и жизни не становится утонченней ни на йоту. Он архипримитивен. «Душа влечется в примитив», — это заявляет о себе сам Игорь Северянин. Конечно, он пользуется — и жадно пользуется — предметами внешней культуры XX века, но пользуется ими в Петрограде в таком же роде, как пользовалась, вероятно, мадагаскарская королева, поселившаяся в Париже после того, как французы лишили ее власти над своими дикарями. Эта государыня, нужно думать, тоже оказалась способной ценить и среброспицные коляски, и лимузины, и шампанское, не понимая вкуса только к высшим произведениям окружившей ее культуры.

Зато, как мы видели, он чрезвычайно много-футурен в области утверждения своего Эго.

Конечно, не он создал или определил индивидуалистическо-эгоистическое настроение в литературе. Но, как мы видели, в нем русская литература имеет бесспорно наиболее махровый и яркий цветок индивидуализма, упрощенного до уровня теорий. Он, на самом деле, свободен от каких бы то ни было борений в душе. В нем нечему бороться; он довел себя до минимума духовного содержания.

Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!

. . . .

Я покорил Литературу!
Взорлил, гремящий, на престол!

И, на самом деле, слава, что упорно не давалась юному Северянину, в пору канавных незабудок, сама собой пришла, как только в его душе

взошло солнце нового мироощущения. Федор Сологуб написал предисловие к первому сборнику стихов, любовно рекомендуя вниманию читателя; В. Брюсов приветствовал посланием, на которое Северянин ответил гордым признанием Валерия Брюсова равным себе «государем» поэзии:

Вокруг — талантливые трусы
И обнаглевшая бездарь...
И только Вы, Валерий Брюсов,
Как некий равный государь...

Бывший автор незабудок не сделал исключения, как видит читатель, даже для восприемника своей литературной славы — Федора Сологуба. В русской поэзии он нашел только два имени, достойных стоять рядом: он и В. Брюсов. Все остальное — «талантливые трусы» и «обнаглевшая бездарь».

Налицо «некий государь»; налицо и некие подданные. Порукой в этом служат повторные издания книг; порукой — те повторные поэзоконцерты, где он нараспев декламирует свои излучения, окруженный молодой толпой, жадно слушающей и рукоплещущей. Это заставляет особенно присмотреться к творчеству Игоря Северянина. Все равно, ценят ли в нем или только прощают, за словесное мастерство, то, чем он лучится, «наглея восторгом», все равно, задача критика одна: не ограничиваясь формальными приобретениями, определить тот душевный тип, который создается под влиянием литературной тяги к «бездумью», ярким выразителем которой является Игорь Северянин. Его поэзы — исторический документ в этом смысле.

<1915>

Сергей Седлецкий
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН В ПРОВИНЦИИ

...Не знаю, кто толкнул этого «лауреата» поэзии на провинциальное турне. Быть может, «завистью его лукавый мучил», или опротивела ему столица и «шум ее наскучил»... Но в один прекрасный день на улицах провинциального городка, в котором я имею честь обитать, — появилась саженная афиша о том, что поэт Игорь Северянин будет читать свои «поэзы».

Перед чтением — некий, никому неизвестный, Масаинов обязывался прочесть лекцию об искусстве и поэтах...

Целую неделю висела афиша на вертушках и заборах, но редко кто пред нею останавливался. Публика интересовалась войной, своими делами и переменой картин в кинематографах. Все это было так близко сердцу и понятно... Правда, порой сюжеты в «Модерне» и «Рекорде» были невероятно глупы, но все-таки... они были жизненны, и это главное!..

...В день «поэзовечера» я зашел в парикмахерскую на главной улице. Пусто.

— Вы, должно быть, господин, сегодня смотреть футуриста собираетесь?.. — спросил меня бреющий человек в белом.

— Да, хотел бы... а что?..

— Они уж приехали-с... Я их недавно брил... Они здесь, в гостинице... И не одни-с... с дамой!.. Только они-с обыкновенный человек... Физиономия не намалевана, и одеваются-с прилично... А рассказывали, что футурист весь день все равно, что клоун раскрашенным ходит и кофту замест пиджака...

— Что же, спрашивал вас о чем?..

— Да, как же-с!.. Говорит, городок у вас тихенький, жители должно быть Пушкина читают?..

— Нет, говорю, зачем же-с, — А обо мне, говорит, ты слышал?.. Никак нет, говорю..

— Ну и что же он на это?..

— Да ничего-с... улыбнулись и на чай дали...

Парикмахер, видимо, был разочарован. Он ждал многого, мечтал о фокусах и белой магии, а увидел — обыкновенного смертного...

Его разочарование понемногу передалось и мне...

...Большой многостульный зал. Горит электричество... Пусто... пусто, как в парикмахерской днем... Я — один...

Вот вошли трое: преподаватель словесности, военный врач и земский инженер.

— Любопытно... «Что Северянин нам готовит»... с улыбкой произносит словесник...

— Да-а-с!.. Послушаем!..

Один за другим стали появляться семинарист, студен, несколько гимназистов и гимназисток... Две-три худосочных барышни... Офицеры...

Собралось человек шесть-десять... Зал был пуст зловеще... Указанное в афише «начало» прошло, но занавес не подымался... Становилось скучно. Я уж стал подумывать, что «поэзоконцерт» не состоится...

Неожиданно поднялся занавес... На сцену вышел молодой безусый человек в визитке и громко произнес:

— «Милостивые государыни и милостивые государи!.. У Тургенева есть рассказ о том, что жители одного города считали себя несчастными, если ежедневно, просыпаясь, они не узнавали, что кто-нибудь написал новые стихи»...

Это Алексей Масаинов авторитетно и развязно скорбел о том, что нынешнее общество не любит поэзии, что оно выродилось в пошлого «Ивана Ивановича», признающего только поэзию кредитной бумажки. Для вящего апломба оратор мобилизовал лучшие литературные силы Европы и сверкал именами, как бриллиантами. Блеск их, однако, никого не удивил, и «чемоданы» не помогли. Публика слушала и удивлялась.

После Масаинова вышел на сцену бледный в длиннополом, семинарского покроя, сюртуке «сам» Игорь. Увы, ни желтой кофты, ни хождения на руках, ни раскрашенного носа, — не было. Стоял обыкновенный, осюртученный, обрюченный человек, похожий на провинци-

ального псаломщика, приодетого по случаю храмового праздника. Это впечатленье усилилось, когда Игорь Северянин «загнусавил»...

Монотонно, на один и тот же манер г. Игорь пропел подряд несколько своих поэзо-измышлений о женоклубе, цветочной парфюмерии и модной галантерее... Лица у публики прояснились. Некоторые не в силах были сдержать смеха при виде того, как поэт приподымался на верхних нотах и опускался на нижних... Он не только пел, но и танцевал свои стихи...

❖ ❖ ❖

...В антракте немногочисленная публика оживленно комментировала новейшую поэзо-литературу.

— По-моему, это балаганщина, а не поэзия...

— Ни мысли... ни идеи... пустозвонство!..

— Просто рифмованный барабан... ей-Богу!..

Кое-кто сбегал в кассу, побеседовал с распорядителем и теперь торжествующе заявил:

— Господа, знаете!.. Игорь Северянин и Алексей Масаинов получают за поэзовечер 12 рублей... И ни копейки больше...

— Считайте: за зал 25 рублей... За освещение... За афиши... а много ль нас?.. В убыток сработали.

— Хоть мало нас, да мы славяне!.. . . . .

. . . .

. . . .

Второе отделение прошло вяло. Стихи читал Алексей Масаинов полудекаденствующие...

Игорь снова гнусавил, но публика больше не удивлялась — однотонность прискучила.

Один за другим слушатели покидали многостульный пустозал даже во время чтения. . . . .

. . . .

Наш «голос из провинции» — это искренний совет Игорю Северянину:

— Не ездите вы больше в провинцию! Она вас не стоит!..

<1915>

А. Оршанин
ПОЭЗИЯ ШАМПАНСКОГО ПОЛОНЕЗА

Современному поэту-дэнди «жить и грезить лафа!» Утром, когда он мечтательно подливает в кофе сливки, ему подают душистый конверт на «коленкоровой подшивке». Прелестная «замужняя невеста», у которой есть «трижды овесененный ребенок», ждет поэта и верит, что он придет, «ее галантный Эксцесс», возьмет ее и «девственно озверит». На чайном столе увядают «бледновато-фиалковые» хризантемы-грезерки, приятно «наталкивая» поэта на «кудрявые темы».

Взяв свой неизменный лорнет, поэт, «лоско» причесанный и «в шик» опроборенный, едет в комфортабельной карете на «эллипсических рессорах» на «чашку чая в женоклуб», «где вкусно сплетничают дамы о светских дрязгах и о ссорах». «Эстет с презрительным лорнетом» — желанный гость в женоклубах, салонах и других «блестких аудиториях». Во-первых, он — тонкий ценитель дамских нарядов. Поэты старой школы преднамеренно или без злого намерения обходили молчанием очарования женских туалетов или отделывались какими-нибудь общими местами. Только у эго-футуриста хватило смелости приютить в своих поэзах капризных рабынь моды. И в его стихах, словно в журнале мод, запестрели муаровые и незабудковые вуальные платья, лилие-батистовые блузки, «отороченный мехом, незабудковый капор», эполеты из «палевых тончайшей вязи кружев», «вуаль светло-зеленая с сиреневыми мушками», лиловые пеньюары, лазоревые тальмы, шоколадные шаплетки и черные фетерки.

Есть еще один дар у современного поэта, который делает его обаяние неотразимым; это — его галантность. Послушайте, как он изысканно «ткет разговор».

Ваше платье изысканно. Ваша тальма лазорева.
. . . .

Вы такая эстетная. Вы такая изящная.
Но кого же в любовники? И найдется ли пара вам!

Сам поэт всегда изыскан, галантен и элегантен. Его франтоватая поэзия, как и перчатка одалиски его грезового гарема, пропитана «тончайшими духами». И все у поэта корректно, элегантно и изысканно. Городская осень у него элегантна, «слова констэблевого альта» «корректно-переливчаты», его элегантные эксцессерки мечтают о «галантном эксцессе». Он музыкален и мило напевает неглубокие, но изящные мотивы из Массне, Тома и Масканьи. Изящность — это его бог в поэзии и музыке. Даже о Массне он говорит: «Это изящность сама». Поэт — тонкий гастроном и гурман. В его стихах вы найдете разнообразное меню: «стерлядь из Шехены» устрицы из Остэнде, скумбрию, «с икрою паюсною рябчик», хрустящие кайзерки, артишоки и спаржу, «из капорцев соус», земляничный корнильяк, геркулес. При этом, конечно, «и цветы, и фрукты, и ликер», и шоколад-кайэ. В его прейскуранте вин любовно отмечены кларет, малага, мускат, рейнвейн и шампанское.

Я пить люблю, пить много, вкусно.

Особенной симпатией пользуется у поэта крем-де-мандарин.

Как хорошо в буфете пить крем-де мандарин!

Курит поэт только дорогие пахитосы и сигареты. Он обаятелен, когда «ракетит» «блестящий файв-о-клок» перед изумленными демимонденками.

Он — певец любви и страсти, неглубоких и опьяняющих также недолго, как его любимый «восторженный кларет». Он, как пчела, «жаждет пить» «то сок из ландыша, то из малины». Он огневеет, «когда мелькает вблизи манто».

Его любовная этика очень несложная: зачем бронзой верности окандаливать свою грудь или устраивать слезоем!

Не надо вечно быть вдвоем!

Его мечта —

Быть каждой женщине, как муж.

В любви всего легче познается душа поэта, и в этом смысле очень любопытен дачный роман «Злата».

«Было все очень просто, было все очень мило».

Поэт знакомится на даче с портнихой, очаровательной, стройной, целомудренной блондинкой. Пламенея в «чувственном огне», он с ней

отменно корректен, и она, конечно, с ним изысканно (!) любезна. Галантность, красноречие и настойчивость городского франта неотразимы. И бедная портниха «в коричневом платье» не устояла перед поэтом, обещавшим ей, ничего не смыслящей в географии, создать «на севере Экватор». Она отдалась ему в ясную ночь при томной луне, разнежившей души, и, придя домой, отравилась, так и не увидавши на севере экватора. На этом заканчивается дачная поэма. Ни боли утраты, ни слез над милой тенью.

Но для поэта-дэнди, «ветреного проказника»:

Мало для души одной души,
Души дев различно хороши, —

и потому «пусть чужая будет не чужой»! Но так как «чужих» дев бесконечное множество, то понятно, что ему некогда разбираться ни в своей и ни в чужой душе. Сделав «ничью» Злату своей, он мчится дальше, как «ветер мил и добродушен». Вот он уже с своей кузиной, прелестной эксцессеркой в «шоколадной шаплетке» и с золотой вуалью. Сидя в «палевом кресле» и «каблучком молоточа паркет», она, глядя на поэта «утонченно-пьяно», шепчет: «А если?» И поэт уже не видит в кузине кузину и любовно сенокосит ее «спелый июль». Но вот «июль блестяще осенокошен», и уж крик «горлана-петуха» раздается с моторного ландо, бесшумно идущего по «островам» к «зеленому пуанту».

Потом снова раздается хабанера в отдельном кабинете, где:

Струятся взоры. Лукавят серьги...
Кострят экстазы... Струнят глаза... —

и где синьора Za, опьянявшая от «грез кларета» и «чар малаги», шепчет поэту в бокал:

Как он возможен миражный бухт.

Кстати о синьорах Za, кокотках и всяческих проститутках поэта-футуриста. Поэт-классик, отделавшись двумя-тремя фразами об «убогой роскоши наряда» проститутки, устремлял всю силу своего художественного прозрения в спутанный темный узел ее души, силясь на основании повести ее жизни вскрыть психологию проституции. Но, озаряя душу проститутки, он оставлял в тени ее тело, которое чуть-чуть просвечивало и было лишено своих поддельных и неподдельных чар. Поэт-футурист интимно близок с кокотками, гризетками, куртизанками и шансонетками. Ко всем этим «девам радости» он ходит не для психологических этюдов, а для «культа нагого стана»; оттого их нагое тело ярко сквозит сквозь прозрачную ткань его поэз. Вместо вопроса: «Как дошла ты до жизни такой?» — он предлагает раздеться:

Гитана, сбрось бравурное сомбреро, —

и спешит «к поцелуям финал причислить», чтобы получить «счастье в удобном смысле». Мы знаем его знаменитый лозунг: «Ловите женщин, теряйте мысли...» Ясно, что от поэта, роняющего свои мысли, как кокотка — гребенки, нельзя много и требовать. По утрам после ночных кутежей поэт силится собрать уцелевшие мысли: «Дайте, дайте припомнить...» Он хочет «ошедеврить», желает «оперлить» и «иголки шартреза», и «шампанского кегли», и даже «из капорцев соус», — словом, «все, что связано» с какой-нибудь Люсей, подругой его ночного веселья. Как видите, путь от поэта-классика с его «убогой и нарядной» до поэта-футуриста с его Люсей весьма знаменательный.

Постоянное пребывание в группе девушек нервных, «в остром обществе дамском» учащает «пульс вечеров» поэта. Вкус пресыщенного грезера становится чрезвычайно изысканным. Когда-то он искал вдохновения в уединении, «в глуши, в краю олонца», шел «в природу, как в обитель». Но затем для его порывного вдохновения понадобились «ананасы в шампанском».

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро.
Весь я в чем-то в норвежском, весь я в чем-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! и берусь за перо!

Хронически повышенная температура атмосферы демимонда, где смакуют «messalliance», и среда кокоток с их изощренным искусством эротического пленения неизбежно толкает слабовольного поэта на путь эксцессов:

Все содроганья и все эксцессы
Жемчужу гордо в колье принцессы.

Совершается ужасный уклон от весенней грозы с ее «Громокипящим кубком» в сторону ожемчуживания эксцессов, от молодых раскатов жизни к грезофарсу с ананасами в шампанском.

В шампанское лилию. Шампанского в лилию.

Поэзия Северянина и есть поэзия шампанского полонеза. Целомудренную лилию своей поэтической мечты он с утонченным сладострастием топит в шампанском вожделении под звуки певучего прелюда. Стоит ему правой рукой заиграть какой-нибудь певучий мечтательный прелюд, левая рука присоединяет неожиданно мотив кэк-уока, и вся пьеса звучит каким-то прелюдо-кэк-уоком, невероятным грезофарсом. И чем дальше поэт уходит от «Громокипящего кубка», тем явственнее слышится кэк-уок, и тем глуше звенит робкий прелюд грезы. Впрочем,

мы еще вернемся к лилиям Северянина, а пока небольшая экскурсия в импрессионистскую живопись. Когда я читал стихи Северянина, я вспомнил этюд Дега «Женщина за туалетом». Нагая женщина сидит к зрителю спиной. Спина — маловыразительный животный лик человека. Вы всматриваетесь в спину и силитесь создать лицо этой женщины, по линиям спины творите очерк лица. Муза Северянина в большей части его поэз стоит к вам спиной, ибо она — муза «эстета с презрительным лорнетом». Но власть таланта так сильна, что вы предчувствуете обаяние ее лица. И когда поэт бросает свой лорнет и поднимает «золотую вуаль» с ясноликой, ясноглазой музы, вы в восторге, что не ошиблись. Вы забываете шаплетку банальности в кларет пошлости, ибо лик музы Северянина — лик целомудренной лилии, речной девственницы, заглядевшейся в зеркальную глубину сонных вод.

Прочтите его «Янтарную элегию».

Вы помните прелестный уголок,
Осенний парк, в цвету янтарно-алом?
И мрамор урн, поставленных бокалом,
На перекрестке палевых дорог?
Вы помните студеное стекло
Зеленых струй форелевой речонки?
Вы помните комичные оценки
Под кедрами, склонившими чело?
Вы помните над речкою шалэ,
Как я назвал трехкомнатную дачу,
Где плакал я от счастья и заплачу
Еще не раз о ласке и тепле?
Вы помните... О, да! Забыть нельзя
Того, что даже нечего и помнить...
Мне хочется вас грезами исполнить
И попроситься робко к вам в друзья...

Хрустальная прозрачность воспоминания удивительно гармонирует здесь с янтарностью осеннего дня.

Мы остановились на этом стихотворении потому, что оно — видимый кристалл незримого интимного «я» поэта. Задушевный лиризм с нежным женственным тембром есть ядро его поэзии.

Ему близка и понятна весенняя дрожь милого, белого, улыбного ландыша, зыблющегося на тонком зеленом стебельке, и светлая печаль его о неизбежности июньского сна. Вид душистого горошка, обвивающего бесчувственный мрамор, вдохновляет его на очаровательную сказку с поэтически-глубоким символом. «Весенняя яблоня» в «нетающем снегу», как девушка больная, наполняет его сердце нежностью и

ласковой тоской, — и он откликается прозрачной и нежной акварелью. Его рисунок вообще тонок и выразителен; штрихи отчетливы. Прихотливости и изменчивости его эмоций, постоянно модулирующих, соответствуют капризные ритмические фигурации его стихов. От ямба и хорея, графически изображающихся прямыми линиями, он часто переходит к пэоническому стилю с его волнообразным ритмом, графиком которого может служить синусоидальная линия.

В «Шампанском полонезе» размах стиха достигается комбинацией пэона 2-го рода и дактиля. В его «Русской» и «Chanson russe» ритм его пляски с первого же стиха отдается в ваших ногах. В его «Июльском полдне» чувствуется ритм шелестящей коляски.

Вообще стиль Северянина не обладает звонкостью металла, он не отлит, не откован и не нуждается в чеканке; но он певуч и ажурен, достигая в некоторых пьесах облачной воздушности, нежного шелеста крыльев бабочек.

Таков островок поэзии Северянина, островок, вокруг которого «плещется десертно, — совсем мускат-люнельно», — стихия дэндизма, шантеклерства и эксцессерства. Вам приятно побродить в этом уголке, полюбоваться его лилиями, послушать янтарные элегии; но скоро вас начинает тянуть на простор. Впечатления в этом уголке чрезвычайно скудны, прозвучавшие мелодии не захватывают вас. Лилии Северянина — обыкновенные, вам хорошо знакомые лилии; его полонез о лилиях — новая вариация на старую тему. Правда, он нам показал лилии в тонкой игре световых оттенков и лучей. В процессе творчества, конечно, может быть момент, когда поэт делает самый незначительный сюжет объектом новых художественных приемов. Моне писал двадцать раз один и тот же стог сена в поле, чтобы проследить по серии этюдов все ступени сложной гаммы световых нюансов и красок. Но Северянин берется за незначительные сюжеты вовсе не потому, что он торопится разрешить волнующую его колористическую или другую художественную проблему. Нет, просто его кругозор ограничен; оттого он так рано начинает перепевать самого себя. Если стихийная порывность нашего века и находит себе иногда отзыв в зигзагообразной форме его стихов, в ломаной молниевидной линии их ритма, то современная мятущаяся, изверившаяся, тоскующая и утонченная душа не нашла себе никакого отражения в его поэзии. Женщина не сходит со страниц его книг; но это не современная женщина. Нет, это или эксцессерка, или в лучшем случае «хорошенькая девушка».

Поэт отъединил себя от мира живописной гирляндой девушек и дам, и в этом приятном обществе смакует ананасы. Он легкомысленно забывает им же самим провозглашенные истины: «величье всегда молчаливо», и «стыдливость близка к красоте». Вас оглушают истериче-

ски-пронзительные выкрики маньяка: «Я — гений, Игорь Северянин» и «я всемирно знаменит». Мания Северянина кажется нам эффектным ярким плащом. В этом плаще есть своего рода историческая преемственность. Бальмонт объявил себя «стихийным гением», раздвинувшим «ткань завес в храме гениев единственных». Северянину показалось недостаточным объявить себя гениальным. Он взорвал свои хабанеры «точно динамит», притом с такой невероятной силой, что три года дым «стлался по местам, объятым» его «пожаром золотым». Устроив этот грандиозный пожар, поэт «взорлил гремящий на престол», предоставив великодушно толпе пить «ликер гранатовый» за его «ликующий восход».

Вы, конечно, нисколько не потрясены и не испытываете благоговейного трепета перед чудом природы, гением; вам смешно и досадно; вы отлично понимаете, что вся эта игра в гений — только «пикантный шаг», «пестротканное шитье» «лоскощекой кокотки», «бутафорская туника», шансонетки, самореклама «с гнусью мин».

Впрочем, Северянин роняет жалобное признание, заставляющее призадуматься, не является ли его мания психопатологическим аффектом:

Я соберу тебе фиалок
И буду плакать об одном.
Не покидай меня! я жалок
В своем величии больном.

Но увы! С кинематографической быстротой появляется снова «эстет с презрительным лорнетом», и муза поворачивается к вам спиной. Под «фиолетово-розовый» хохот сирени начинается вакханалия «онездешенных» рифм и «окалошенных стихов». Стихи, как кокотки, и кокотки, как стихи, вальсируют перед зеркалом в черных фетерках «бирюзовыми грациозами», обласканными «резерверками». Сам поэт голосом сладким, как «тенор жасмина», импровизирует блесткие «неопоэзы». После какого-нибудь пикантного пассажа, вроде следующего:

Часто приходила ты в одной рубашке
Ночью в кабинет мой, *возжелав* меня, —

вся публика приходит в неистовый восторг; а знакомая нам «Люся» берет «монбланные» ноты, крича:

«Ах, какой же вы ловкий!»

Но взвинченная публика требует от поэта пикантного острого «квинтэссенца специй». Милый и добродушный поэт начинает сначала с пошлых, двусмысленных намеков и постепенно доходит до откровенного «оголивания». Глубокое по своему смыслу двустишие Ф. Сологуба:

На Ойле далекой и прекрасной
Вся любовь и вся душа моя, —

вдохновляет Северянина на плоские стишки:

Благоговея, друг, оголивай
Свою Ойле.

Но публика не желает метафор и символов, «щекочущего чувственность дыма», а требует «нео-поэзных» шансонеток. Что может быть пикантнее! Стащить поэта с царственного престола на эстраду шантана; услышать из уст «солнечника», «поэта-экстазера» шедевр шансонеток — «Шансонету горничной».

Безвольному поэту не все ли равно, что читать. И куплеты готовы:

Я — прислуга со всеми удобствами —
Получаю пятнадцать рублей,
Не ворую, не пью и не злобствую,
И самой инженерши честней.

И т. д.

Как мучительно хочется поскорее «выключить электричество» в этом будуаре «нарумяненной» поэзии, где поэт вульгарит «что-то нудно-пошлое», и вернуться в «лесную глубь», к простой и нежной «фиалке», к незабудкам и ландышам, отдавшим свою жизнь поэту «для венца» в тот далекий «счастливый день», когда поэт короновался «утром мая под юным солнечным лучом».

Но все же вы остаетесь в глубоком недоумении и снова задаетесь невольным вопросом: в чем причина фатального тяготения поэта из безгранности звездного мира в пошлую плоскость демимонда, где «рифмы слагаются в кукиши»? В чем причина этой роковой двуликости, этого неизбежного для его музы закона вращения около собственной оси, причем нарумяненный опереточный лик «офранченного картавна» сменяется «грезовым» ликом мечтателя? Как понять сладострастный садизм, с которым поэт топит лилии в шампанском, фиалки в крем-де-мандарине, загрязняет и опошляет «случайные чайные розы» своей поэзии? Здесь возможны два соображения. В душе Северянина нет яркого лейтмотива, нет сильной основной мелодии. Стихи поэта — музыкальный сказ загрезившей или страдающей души. У каждого поэта мы находим две-три основных темы, и все их стихи в сущности — только тематическая разработка этих тем. Тому, кто по теме бытия мучительно жаждет солнца, — не до «гнуси мин». Тот, кто изнемогает от трагического разлада души, не станет сознательно детонировать. Или же это определенная художественная манера усилить игру тонов поэтического спектра черной и белой красками?

На нашумевшей в свое время картине «Олимпия» Э. Мане ослепительно-белая наглая куртизанка, разметавшаяся на постели, резко контрастирует с негритянкой и красочным букетом цветов. Олимпия левой рукой, как фиговым листом, покрывает жеманно свою наготу, а негритянка, оттопырив толстые чувственные губы, держит у ног Олимпии букет. Северянин опасался, что его простой благоуханный букет поэзии останется в тени, никем незамеченный; ему казалось, что хоть на мгновение надо озарить его световой рекламой. Если Бальмонт пришел с горящими зданиями, кричащими бурями, кинжальными словами и предсмертными восклицаниями, если Брюсов притащил с собой козу и поэтизировал утехи с ней, то отчего бы Северянину не поручить нагой куртизанке продемонстрировать его «грезовый» букет незабудок и фиалок пред публикой, так жадной к наготе и экзотике.

Если этот путь саморекламы выбран сознательно, то все же это очень опасный путь для «интуита с мимозовой думой», ибо путь эксцессов и рекламной шумихи обездарят его «дар», «запесочат» «пожар» в душе поэта. Когда поэт снова «просто и правдиво» захочет раскрыть «сердце, как окно», «тому, кто мыслит и скорбит», — в окне его «грезового терема» появятся своевольно и дерзко куртизанка и негритянка с букетом, пропитанным духами и «экзотическим ароматом».

И горько будет рыдать «за струнной изгородью лиры» его прекрасная наивная принцесса-мечта, обманутая поэтом, который обещал ей надеть на шею «колье сонетов» и вместо колье бессмертья дарит ей

Зло-спецной Эсклармонды шаплетку-фетроторт.

<1915>

Пимен Карпов
ПОЭЗОКОНЦЕРТЫ

Если подразумевать под словом «футуризм» — взрыв чувств, вдохновение, новые горизонты, новую, дотоле неведомую красоту, то — каждый поэт футурист, иначе он не поэт. Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет, вдохновенно проложившие столько новых загадочных и манящих путей к предвечной красоте, пользуясь для этого *новыми*, неожиданными словами, оборотами речи, намеками, — футуристы в подлинном смысле, и было бы ложью и оскорблением памяти великих поэтов называть их просто стихотворцами, сочинителями и т. д., как это делал прежде (Писарев), да и теперь делает нигилистическая критика. Так называемые трезвые (т. е. ограниченные) реалисты любят ссылаться на Толстого, Тургенева, Достоевского — вот, мол, реалисты. Но прочтите любое описание весны, пробуждающейся природы у Толстого, у которого здесь все дышит мистическим чувством, прочтите «Клару Милич» Тургенева, не говоря уже о всем Достоевском, соприкасавшемся «мирам иным» — ради Бога, где ж тут реализм?

Итак, все поэты — мистики и футуристы. Но, впрочем, дело не в кличках и ярлыках. Игорь-Северянин не оттого ведь песнопевец-поэт, что объявил себя «эго-футуристом», а оттого, что Бог вложил в него при рождении душу поэта. Я встречал его стихи еще задолго до пресловутого футуризма, когда поэт выпускал «тетрадь тридцать третью тома двадцать четвертого» (что-то в этом роде) — стихи эти были так же ярки, оригинальны и трогательны, как и теперь. Но критика замалчивала их. Это было обидно, и можно извинить поэта, что он решил пойти на дерзость, на крайность, даже на скандал, чтобы добиться внимания. Именно этим объясняется его величание себя «гением», печатание на обложках книжек сногсшибательных извещений о том, что «светозарный Игорь Северянин интервьюеров (40 тысяч!) принимает тогда-то и тогда-то. И этим же объясняется его — то приклеива-

ние к себе, то отклеивание футуристического ярлыка (несколько раз он вступал и выходил из кружка футуристов). Теперь, кажется, основательно утвердился в эго-футуризме.

Если эго-футуризм — не ярлык, то его можно приветствовать. Поэт всегда должен быть индивидуальным, т. е. внутренне свободным, всегда должен творить, не связывая себя ничем. А уж Бог позаботится, чтобы достояние поэта было всенародным. Ибо поэзия — дыхание Бога. Народ ли не поймет поэзии, пусть и неясной, но истинной? он ли, кто живет Богом и тайнами, не постигнет поэта Божьей милостью? Какой абсурд! Нигилисты считают бредом всю Библию, народ же ею живет.

В кружке эго-футуристов истинные поэты Божьей милостью; это — Игорь Северянин и Дмитрий Крючков. Недавно — все газеты обошло известие об их «поэзо-концертах». Мысль удачная. Кому же и светить с эстрады, кому же и будить «преступно-равнодушную» толпу, как и не поэтам?

Но знают ли они, что тут неизбежно явятся гешефтмахеры, которые предупредят и осквернят само имя поэта? Так, кажется, и случилось. Об этом повествует И. Северянин в № 3 «Очарованного странника». Какой-то «парень в желтой кофте», выдав себя за «розового слона», примазался к поэту, и тот,

Как поводырь, повел по Крыму.
Столь розовевшего слона.

В результате «желтокофтец» слон, оказавшийся «из гутаперчи» обделал дельце, поэту же ничего не оставалось, как утешать себя:

Поэт! поэт совсем не дело
Ставать тебе поводырем.

Но подробнее обо всей этой трагикомедии, о поэтах и гешефтмахерах — «желтокофтцах», — в «Одесских новостях».

«ЭГО» И «КУБО»

Тесным сплоченным кружком сошлись в мирной беседе гости-футуристы: тут и одаренный Игорь Северянин, и теоретик нового течения «директор» издательства «Очарованный странник», и Виктор Ховин, и «лирикопоэт» Вадим Баян, и, наконец, «первая артистка-футуристка» Эсклармонда Орлеанская — все «лучезарно» соучаствовавшие в «поэзо-концерте». Все это не кубо-, а эго-футуристы, а это не одно и то же! — В чем разница и где точки соприкосновения? — В том-то и дело, -- замечает Игорь Северянин, — что никаких точек соприкосновения и нет! Мы совершенно не признаем их!

— Но в состоявшемся уже выступлении кубо-футуристов в Одессе, кажется, предполагалось и ваше участие?

— Да, действительно, было время, когда я считал возможным наши совместные выступления. Но ничего не вышло! Поехали мы вместе, посетили ряд городов. Одно время держали себя прилично! Но потом, как пошли они расписывать свои физиономии, появились эти золоченые носы, желтые кофты и проч., — я понял, что нам не по пути.

Они очень резко, в выражениях, не допускающих различных толкований, отмежевываются от тех «смеяльных смехачей», которые уже почтили Одессу своими излияниями.

Меж нами нет и не может быть никакой связи, — подхватывает в качестве теоретика Виктор Ховин. — Собственно, общее только название. Но тут уже ничего не поделаешь. При зарождении того или другого течения никто не застрахован, что не появятся спекулянты на новаторство, которые позаимствуют новое название. Эго-футуризм возник еще в 1911 г., вне всякой связи даже с итальянским футуризмом. Если можно связать его с каким-нибудь из предшествовавших литературных течений, то разве только с декадентством, в отношении которого — по крайней мере насколько можно говорить об его формах, в течение последнего времени, — мы занимаем оппозиционное положение. Декаденты как-то расчленились на две различные группы, из коих одна (Иванов, Чулков) ушла в сторону теоретизма, другая (Мережковский и др.) круто повернула назад к общественности. Эго-футуристы протестуют как против одного превращения, так и против другого. Мы служим прежде всего свободному искусству, не знающему других лозунгов, кроме творческой свободы. Поэтому наша школа и сводится прежде всего к совершенному отсутствию какой бы то ни было школы. Эго-футуристы интуитивны, они интуитивно воспринимают творчество, индивидуально оценивая его каждый по-своему.

— Я скажу: прекрасен Пушкин! Вы же возносите лиру Лермонтова! И мы никогда не сумеем переубедить друг друга. Ведь доказать прекрасное — невозможно! Так же интуитивно относимся мы к словотворчеству. В порыве вдохновения, в момент подъема поэт рождает новое слово, относительно которого тоже не может быть одной какой-либо оценки, потому что оно воспринимается индивидуально. Я, напр., понимаю красоту новых слов Игоря Васильевича — «олуненный», «центрит», «озерзамок» и т. д. Однако же никогда истинное его творчество не может принимать таких форм, в какие вылилось оно у наших кубистов. У них вы найдете целое стихотворение, сплошь состоящее из новых слов. Это уж совершенно меняет дело. Это не та творческая жажда освежения, что родит новые формы — это просто надуманное, нарочито проводимое экспериментаторство. Возьмите, напр., это новое слово «Сарча-Бухра» Крученых! Не то, собственно, важно, что они золотят свои носы и выступают в желтых кофтах!

Это куда еще ни шло! Гораздо ужасные их литература, как они пакостят слово, книгу. Ну, что значит «Сарча-Бахра»? Кто знает? Вчитываешься, и ничего не понимаешь!

— Я тоже как-то решил одолеть писанья кубистов — рассказывает Игорь Северянин. — Я посвятил им три недели, изучал, вчитывался, размышлял, — но так ничего и не понял! Почему слово «лилия» должно быть заменено словом «уэль»? Нет, это все люди конченные, с смущенной душой, изверившиеся, безнадежные. Или, того и гляди, просто спекулянты!..

— И вот трагизм нашего положения, — волнуется Виктор Ховин. — Мы больше, чем кто бы то ни было, ненавидим кубо-футуристов! И нас-то именно и смешивают с этими обывателями, которые задумали прийти в литературу, чтобы создать что-то новое, в то время как у них и предъявить-то нечего... Вот ключ к разгадке всех экспериментов Бурлюков!

И долго еще они, наперерыв друг пред другом, варьировали на разные лады свои бесконечные расхождения с кубизмом и его странными адептами...

Неудивительно, что «публика», толпа («преступно-равнодушна»), смешав поэтов, истинных писателей и творцов красоты с гешефтмахерами, отвергает всех и вся. Есть, впрочем, и чуткие души, что идут навстречу поэтам. Но истинных ценителей так мало.

НАСТОЯЩЕЕ
(На поэзо-концерте эго-футуристов)

Да, это они, настоящие футуристы. Без пунцовых кофт и размазанных носов и лбов. С серьезным намерением ознакомить с собою и своим творчеством публику, но публика рассыпалась жиденькими горсточками по просторному залу. И это говорило о материальной неудаче вечера. Разложению декаданса и возрождению футуризма докладчик г. Ховин посвящаёт целый час, минуя недостойные выпады против «подлой критики», журналов, «этих торгово-промышленных базаров», «уличной прессы» и т. п. Доклад можно свести к следующим положениям.

Первая часть — надгробная лития декадансу. Рожденное еще К. М. Фофановым декадентство процветало, пока исходило из протеста против утилитаризма в искусстве. Но едва оно сошло со стези индивидуализма, как стало хиреть. Бальмонт принялся за скверные политические стихи. Блок изменил своим мотивам. Дальше пошло еще хуже. «Символизм не хочет быть только искусством», — заявил Вячеслав Иванов. «В наши дни нужно больше любить Некрасова, чем Пушкина», — сказал Мережковский. И сам Антон Крайний, чье имя так связано с декадентством, заговорил о «деле», о «словах одобряющих». Потому это вылилось в «чудовищное позорное письмо» М. Горького о Художествен<ном> театре: «Искривленная душа, — чем в ней любоваться», — писал о постановке Достоевского. А — «квити-

оздоровители», критики с теплым сердцем все оправдывали и все приветствовали. Официальное о кончине декаданса возвестили «Бесы». И надгробное слово заканчивалось исторической аналогией. «Кому оставляешь ты власть? — спросили у умирающего Александра Великого. — «Достойнейшему» — ответил монарх.

Читатель, конечно, догадывается, что этот «достойнейший» — эго-футуризм. Никто иной, — доказывал референт. За аргументацией г. Ховина остается, в виде предательских следов, ряд вопиющих противоречий, недоуменных вопросов. Почему столпы декадентства именно в наши дни свернули на путь «ободряющих слов», порыва к делу. Почему мистик-богоискатель Мережковский взыскует гражданской поэзии Некрасова. Что это «сумерки божков», развал душ или всплеск «духа живого», голод и жажда гражданского возрождения. И почему уже не «подлая критика», а сам лучезарный г. Ховин делает явную подтасовку в освещении известного выступления Горького. Он будто бы не знает, что Горький выступал против инсценировки не всего вообще Достоевского, а только тех его произведений, где выражена его «искривленная душа», которую, как наготы Ноя, надо прикрыть, а не выставлять наружу.

Но не замечая оставленных следов, по которым так легко прийти к несостоятельности чистейшего индивидуализма, «индивидуализма в напряжении», каким точно взятым на прокат графским гербом украшен эго-футуризм,— г. Ховин продолжает восхвалять «Вифлеемскую звезду» искусства. Правда, он дает очень красочные портреты поэтов своей группы. Вот Игорь Северянин, творящий «лунофейную сказку». Ему чудятся «росные туманы», липовые мотивы, всхлипы улиц. Он иногда увлекается душой города (урбанизм) демимонденкой. Футуристический гимн городу, действительно ярок и нов:

Солнце. Моторы. И грохот трамвайный.
Гулы. Шуршанье бесчисленных ног,
А наверху голубой и бескрайный
Бледный, магический, древний цветок.
Сумрак. Лученье. Поющие светы.
Улицы точно ликующий зал.
Смехи улыбки. Наряды. Кареты,
А наверху — березовый опал.
Тени. Молчанье. Закрытые двери.
Женщины. Вскрики. Темно и темно.
Прежнее. Страхи и власть суеверий,
А на верху до истомы черно.

Игорь Северянин, пророчествует г. Ховин, не будет родоначальником школы. Он только провозвестник, т. к. эго-футуризм — отрицание школы.

Эго-футурист Дм. Крючков – аскет, затворник («надела любовь мне кровавую схиму...»), любит природу, любит лесофею и чужд демимонденке. Как яркий индивидуализм, борется с неуловимым логизмом. Вадим Шершеневич, ничего не знает о лесофее, он урбанист, влюбленный не в самый город, а в «столбцы афиш», в гримасе города «Мои стихи есть бронза пепельниц, куда бросаю пепел я», – говорит Шершеневич. Вадим Баян себя определяет так: «Я гений, страстью опьяненный, огнем экзотик развращенный. Я экзотический поэт...»

Вот почти и вся группа футуристов, объединившаяся вокруг издательства «Очарованный странник». Несколько расхолаживающее заключение дает г. Ховин продемонстрированный галерее эго футуристов.

«Никто из них, – говорит он, – не создал большого и все тяготеют к Игорю Северянину».

Выступающая в концертном отделении г-жа Эсклармонда Орлеанская, юная, изящная и довольно трогательно, с какою-то подкупающей нежностью читающая стихи артиста.

Ей много аплодируют, особенно молодежь. Вадим Баян, юный, белокурый, с едва опущенным лицом, сологубовский «тихий мальчик», читающий стихи тихо, с уставленным вверх мечтательным взглядом.

Игоря Северянина встречают овациями. Его знают. Ему громко заказывают его стихи. Он баритональным голосом напевает свои стихи. Сначала странно слышать этот примитивный и заунывный напев: «Оттого что груди женские, там не груди, а дюшесс». Но потом замечаешь, что сама мелодичность стиха переходит в напевность. И это приемлемо.

Вообще же эго-футуристические трио – Эсклармонда Орлеанская, Вадим Баян и Игорь Северянин – попросту богато одаренная молодежь, достаточно культурная, внимательная, дружная, приятная на вид, для слуха. И в этом ее несомненный успех у публики.

Но при чем тут революция в искусстве, Вифлеемская звезда, эго-футуризм или, как любил спрашивать амфитеатровский профессор: «А почему сие важно, в пятых».

Ал. К-ий

Повторяю, мысль о выступлениях поэтов с эстрады, о поездках их по городам и даже весям – верна и жизненна. В древности поэты также ходили из города в город, из селенья в селение, напевали жадно внимавшему им народу свои саги и песни.

Иногда недостаточно прочесть про себя в книге вещь. Нужно к зрительному прибавить нечто слуховое, и притом из другого мира, из мира и души, родивших эту вещь, чтобы углубить в своей душе смысл постигаемого. Тут просто взгляд, легкий жест, дрожь и тон голоса, поэта, напевающего (как Игорь-Северянин) или декламирующего свои стихи, может сказать больше в сто крат, чем бездушные буквы.

<1914>

Владислав Ходасевич
ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ

Приветствовать новое дарование, сказать, что в мире стало отныне одним поэтом больше, — вот для каждого друга поэзии величайшая радость. Мудрено ли, что мы особенно напряженно искали ее в последние годы, когда так много явилось стихотворцев и так мало поэтов? Мудрено ли и то, что в поисках наших мы порой ошибались — и с горечью сознавали свою ошибку?

Одно из таких огорчений выпало на долю пишущего эти строки. Весной 1914 г. сперва во вступительном слове к первому поэзоконцерту Игоря Северянина, потом на страницах «Русских ведомостей» я с радостью говорил о незаурядном таланте этого поэта. Не скрывая серьезных погрешностей его лиры, я выражал надежду, что недостатки поэзии Северянина — временные, что он ими переболеет и они отпадут сами собой. Казалось, с течением времени пройдет у поэта пристрастие к «фешенебельным темам», ликерам, кокоткам и лимузинам, хотелось верить, что из стихов Северянина скоро исчезнет пошловатое верхоглядство фланера, что глубже всмотрится он в окружающее, перестанет по пустякам растрачивать свое дарование и заговорит языком, подобающим поэту. Его первая книга — «Громокипящий кубок» — давала право на такие надежды.

Вслед за «Громокипящим кубком» появилась «Златолира». Об этом сборнике хотелось молчать, так как, за исключением нескольких стихотворений, книга была составлена из пьес, написанных гораздо ранее «Громокипящего кубка». По ней никак нельзя было судить о движении творчества Северянина, и только успехом «Кубка» можно было объяснить ее появление.

Но минувшей зимой почти одновременно вышли еще две книги: «Ананасы в шампанском» и «Victoria Regia». Они также вдоволь разбавлены старыми, недоделанными, ученическими пьесами, писанными, судя по датам, иногда за четыре, за пять, даже за десять лет до выхода «Громокипящего кубка». Но все же и позднейших стихов набралось бы

из них в общей сложности на целую книгу. И, конечно, только об этой не существующей в виде отдельного издания второй книге Северянина стоит говорить, так как время для изучения его «ученических годов» еще не настало; вероятно, и никогда не настанет.

По-прежнему неглубокой осталась поэзия Северянина. Мелочные переживания питают ее, — порою до того мелочные, что становится тяжело: то это спор с какой-то женщиной, предъявившей к тому «я», от чьего лица писаны стихи, иск об алиментах; то грубая брань по адресу критики; то постыдные в устах поэта счета с другим поэтом, упреки в зависти; то, наконец, хвастовство ходкостью «Громокипящего кубка»...

Два года — не малый срок, в жизни поэта особенно. Почему же так плохо его использовал Северянин? Он не растет ни умом, ни сердцем. И особенно убогой кажется его наигранная, неправдивая, с оглядкой на рецензента, мания величия, когда, подходя к гигантским событиям наших дней, обращается он к Германии:

Германия, не забывайся! Дрожи перед моею лирой!

Ведь он же отлично знает, что все эти выкрики — просто вздор.

Плохую службу сослужили Северянину его публичные выступления. Я не говорю ничего против чтения стихов с эстрады: возражать против такого чтения, в конце концов, то же, что возражать против печатания их в книгах. Но одно дело — читать стихи с эстрады, другое — для эстрады писать их. Слишком изучил Северянин, что вызывает аплодисменты, что нет. И вот, боясь лишиться успеха, боится он каждого шага вперед, старается подносить публике то, что уже было признано и одобрено. Северянин пишет «под Северянина». Нужно ли говорить, что такие старания неизбежно бесплодны?

Я еду в среброспицной коляске Эсклармонды
По липовой аллее, упавшей на курорт,
И в солнышках зеленых лучат волособлонды
Злоспецной Эсклармонды шаплетку — фетроторт...
Мореет: шинам хрустче. Бездумно и бесцельно
Две раковины девы впитали океан.
Он плещется десертно, совсем мускат-люнельно, —
Струится в мозг и в глазы, по-человечьи пьян...

Эти строки характерны для теперешнего Северянина. В них повторяет он — иногда буквально — образы и слова, некогда имевшие успех и вошедшие в моду: «коляска Эсклармонды» — родная сестра знаменитой «каретки куртизанки», самое действие, как и прежде, происходит на курорте. Тут же вспоминаются другие строки из «Кубка»:

Элегантная коляска, в электрическом биеньи,
Эластично шелестела по шоссейному песку...
... И под шинами мотора пыль дымилась, прыгал гравий...
И т. д.

«Шинам хрустче», — говорит Северянин, и тотчас же вспоминается «хрупот коляски» — все из того же стихотворения, которое ныне перепевает автор. Тут же, — как пишут в афишах кинематографа, «по желанию публики, еще только один раз», — повторяются знаменитые слова «шаплетка» и «глазы».

Но это — еще не худшее из новых стихов Северянина. Вместе с фальшивой бравурностью — скука и равнодушие, их постоянные спутники. Скучно имитировать себя самого, и от этого меркнут в стихах Северянина краски, тускнеют образы, самый словарь его, прежде поражавший неожиданной меткостью, звучит теперь только нарочитой изломанностью, нудным придумыванием «северянинских» словечек. Словом, постепенно исчезает все то, что заставляло, примиряясь с внутренней незначительностью поэзии Северянина, радоваться ее внешнему блеску и ждать ее будущего углубления.

Поэзию Северянина много хвалили. Но в похвалах этих он не расслышал, не почувствовал главного: радовались не тому, что он уже дал, а тому, что он *может* дать, радовались его дарованию, еще не оформившемуся, его стихам, еще не написанным. Он не понял того, что слишком многое ему только прощалось ради его таланта, для всех очевидного.

«Victoria Regia» вышла после «Ананасов в шампанском». Говорят, она лучше предыдущей книги. Пожалуй, это и так, но ведь оба сборника появились почти одновременно, к тому же стихи самых различных годов в них так перемешаны, что говорить о них можно только как о двух частях *одной* книги, в которой лучшие пьесы случайно попали во вторую часть, худшие — в первую. Да и самая разница между худшим и лучшим здесь очень невелика.

Северянин не оправдал надежд, на него возлагавшихся. Больше того: последние стихи его много слабее «Громокипящего кубка», и не судьба виновата в этом, а сам поэт. К своему таланту он был безжалостен. Талант — чудо, божественный и несправедливый дар. Может быть, чудо спасет поэта? Может быть, но для этого Северянин должен пристальнее всмотреться в поэтическую свою судьбу, забыть про успехи эстрады, жить и работать серьезно. Боимся, однако, что этого он не сделает.

1915

Вадим Шершеневич
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ И. СЕВЕРЯНИНА «ПОЭЗОАНТРАКТ»

Игорь Северянин. Поэзоантракт. Пятая книга поэз. Изд. «Наши дни». М., 1915

Конечно, несправедливо было бы, прочитав эту книгу, говорить о том, что Северянин окончательно исписался и что в дальнейшем ждать от него чего-либо не приходится. Это было бы несправедливо потому, что новая книга — в сущности есть книга старая. В ней собраны стихи 1900—1911 гг. Мы далеки от мысли, что поэту молодому и только еще подающему надежды может прийти в голову, что читателю уже интересно знать все, что поэт писал в дни своей ученической молодости.

Если поэт издает книгу своих юношеских произведений, мы можем по ней судить не о развитии его таланта, но о его вкусе.

Давно уже известно, что вкусом Северянин обделен. Это явствовало уже из того, что и в прежних книгах наряду с хорошими пьесами находили себе место беспросветно-плохие. Здесь хороших нет совсем. Зная ранние брошюры поэта, мы видим, что здесь выбрано все самое скверное. Мы видим, что прежде, до возникновения футуризма, у Северянина стихи были обывательски скучные, и, право, мало чем отличавшиеся от нытья «под Надсона», есть строфы «под Апухтина».

Стихи Северянина напоминают цыганские романсы. Представьте себе, что у этих романсов отобрали музыку и стали читать текст, и перед вами будет Северянин:

Глупец и трус способны жизнь любить:
Кто понял жизнь — тому надежды нет.
Но я живу и даже жажду жить,
Хотя и жду вседневно новых бед.
Я жизнь люблю, хотя не верю ей, —
Она не даст ни счастья, ни любви,
Приди же, смерть, приди ко мне скорей,
Чтоб я не ждал, и сразу все порви.

Присутствие этого цыганского элемента, элемента душещипательных романсов, вполне определяет всю пятую книгу Северянина.

Здесь поэт с самым гордым видом провозглашает, что «Мой монастырь — в устоях духа нерушимых; в идее: жизнь земная — прах». Вот в том-то и беда, что всякая идея хороша на своем месте, но, если начать вставлять ни к селу, ни к городу в стихи распрекраснейшие мысли Макиавелли или категорические императивы Канта, — будет нехорошо.

Таких истин, срифомованных с предыдущей строкой, бесконечное множество в «Поэзоантракте», словно это учебник логики. Однако, хотя Северянин и восхваляет нерушимые устои духа, тем не менее в сборнике есть очень льстивое стихотворение о Льве Толстом, про которого недавно Северянин писал: «Своим безмозглым приговором меня ославил Лев Толстой».

В книге много выражений вроде «Опадает с неба Сакраменто» или «Страсти желания», которые ничего не теряют, читать ли их «Желания страсти» или «Страсть желаний». Много ошибок в стихе, и еще больше разногласий с русским языком.

В книге есть стилизация под «народное»:

А и дадено добру молодцу
Много-множество добродетелей (?)
А и ум-то есть, словно молонья,
А и сердце есть, будто солнышко.

Словом: гой-еси!

Однако и в этих стилизациях обнаруживается, говоря вежливо, необразованность поэта, который не шутя пишет, что во времена Малюты Скуратова:

...Блестят при люстрах (?) стаи (?)
Безалаберных рапир (?)

Еще большая необразованность сказывается в «подражании к Бодлеру». Смеем думать, что французский поэт никогда не назвал бы Пана «богом оправданной муки» потому, что это просто бессмысленно, и никогда не сказал бы: «У матерей созрел дюшесс (!) грудей» просто потому, что это чисто северянинская пошлятина.

Всем поэтам свойственно писать вначале плохие стихи, но то обстоятельство, что Северянин, еще ничего не дав по существу, уже роется в хламе детства, свидетельствует или о том, что у поэта нет впереди ничего, или о том, что у него слишком много «экспансивного» самомнения.

<*1915*>

Борис Гусман
ОЧНАЯ СТАВКА

(«Критика о творчестве Игоря Северянина». — Сборник статей и рецензий)

Маленькая, скромная книжка «Критика о творчество Игоря Северянина» совершенно неожиданно приобретает большой и значительный смысл, если попробовать хоть на мгновение перенести центр внимания. Конечно, когда начинаешь читать эту изящно изданную книжку, то думаешь, что героем ее является Игорь Северянин. Портрет его a la Уайльд, короткая, претендующая на многозначительность, автобиографическая справка, и дальше во всех статьях его имя чуть ли не в каждой строчке...

Но это все внешнее и не в этом значительность книжки. После второй, третьей статьи уже ловишь себя на том, что Игорь Северянин, собственно, отошел на второй план, а сквозь строчки все явственнее и ярче выступает лицо главного героя книги — к р и т и к и.

О, только в первый момент можно не заметить, что Игорь Северянин это только пробный камень, это только мишень. И все дело, конечно, не в той точке, в которую попал стрелок, а в степени меткости его. А меткость у современной близорукой критики оказалась поистине смехотворной. Господа критики не выдержали очной ставки.

Большая часть мямлит что-то о таланте Игоря Северянина, о его безвкусии, о путях, которыми он должен идти, от чего он должен отказаться и т. д. Скучно, «беспристрастно» и «авторитетно». Но стоит критикам перейти к более точному рассмотрению качеств и недостатков Игоря Северянина, и они оказываются зачастую совершенно беспомощными детьми.

Расхождения получаются разительные. Так, Валерий Брюсов, взяв общий сочувственный тон, заявляет:

После первой книги появилась «вторая», «Златолира», огорчившая всех, кто успел полюбить поэта, — так много в ней появилось стихов безнадежно плохих, а главное, безнадежно скучных.

Но г. Измайлов с ним далеко не согласен:

Что большая редкость, — вторая книга стихов Игоря Северянина не слабее первой.

Интересно, что г. Измайлов не сразу пришел к такому «признанию» поэта. С. Бобров в статье своей указывает, что до «Громокипящего кубка» и общего внимания к Северянину Измайлов отзывался о нем более чем отрицательно. И такое «поспешание за публикой» замечается за г. Измайловым далеко не впервые.

Впрочем, эта же книжонка дает нам в отношении такого «поспешания» материал более определенный. Критик из «Голоса Москвы», в припадке откровенности, признается:

Читаю эти взбалмошные экстравагантные стихи, и где моя придирчивость, где моя желчь и брезгливая гримаса? Рождается даже какое-то сочувствие к несомненному озорству и вызову. Старая истина: победителей не судят. А Игорь Северянин, в самом деле, победитель, и его приход весьма знаменателен.

Валерий Брюсов упрекает Северянина в безвкусном составлении своих сборников:

Можно понять любовь автора к своим произведениям и желание сохранить даже более слабые из них, но есть предел и такой любви. Только полным безвкусием, отсутствием всякого критического чутья можно объяснить, что И. С. переполнил II и III сборники своих стихов вещами безнадежно плохими.

Но, Боже мой, что бы стал делать И. С., если бы ему пришлось следовать советам господ критиков и даже наиболее авторитетных. По поводу стихотворения «Очам твоей души», Амфитеатров указывает:

И. С. добродушно невзыскателен к источникам. Так, 1-я же страница 1-й книжки поэт воркует читателю:

Тебе одной все пылкие желанья,
Души моей и счастье и покой,
Все радости, восторги, упованья
Тебе одной...

Ах, нет, виноват: это как раз не г. Игоря Северянина сочинения. У него не совсем так:

Очам твоей души — молитвы и печали,
Моя болезнь, мой страх, плач совести моей,

И все, что здесь в конце, и все, что здесь в начале, —
Очам души твоей...

Не правда ли, мило? Читая, искренно сожалел я, что умерли Я. Пригожий и Саша Давыдов... Какую бы первый музыку написал к этим стишкам, а второй как бы исполнил ее, «со слезой», под гитару!.. И сколько чувствительных барышень потом трогательно звенели бы ее фальшивыми голосенками в домиках, где на окнах цветут герани, а к потолкам привешены клеточки с канарейками...

Ясно, что надо безусловно выкинуть из сборника такие подражательные «стишки» с цыганским пошибом. Но оказывается, не все одного мнения с Амфитеатровым. Иванов-Разумник пишет:

Когда И. С. захочет, он пишет в «старых формах» такие прекрасные стихотворения, как «Очам твоей души» и др.

Конечно, мне могут возразить, что это дело вкуса. Да, действительно, у разных критиков могут быть различные вкусы. Но, неправда ли, становится удивительным, если у одного и того же критика два «разных» вкуса. Так, в одном месте (с. 11) Вал. Брюсов пишет:

«Громокипящий Кубок», — книга истинной поэзии.

А в другом (с. 23) проскальзывает такая фраза:

Все совершенное им... это то, что он написал книгу недурных стихов.

«Истинная поэзия» и «недурные стихи»!.. Великолепно, не правда ли?!.

Но не все об этом Игоре Северянине. В книжке мы находим столь же прекрасные образчики отзывов и о других поэтах. Так о Надсоне Вл. Шмидт немного разошелся во мнениях с Амфитеатровым.

Вл. Шмидт говорит вполне определенно:

Стихи Надсона не только не поэзия, но даже и не литература, а одна стихотворная публицистика.

Амфитеатров отзывается о Надсоне в форме лирической, в которой он оказывается не менее силен, чем в юмористической:

Необычайная красота светло страдающего рыцаря духа отразилась в каждом стихотворении Надсона с такой яркостью и цельностью, что юноша, совсем не щедро одаренный вдохновением, сложился не только в поэта, но в поэта глубокого и оригинального.

Еще больше разошлись эти два почтенных критика по поводу Лохвицкой. По Вл. Шмидту, ее искусство несомненно «второсортное», как бы выкроенное по масштабу среднего интеллигента. По Амфитеатрову,

мы имеем дело с поэтессой, «иногда возвышавшейся почти до гениальности».

«Гениальность» и «искусство второсортное» — расхождение, наводящее на слишком грустные размышления, чтобы можно было назвать его курьезным. Великолепный анекдот о российской критике!

Особенно много копий сломано в вопросе о словотворчестве Игоря Северянина. Выражение «драприть», например, понравилось из критиков только одному Вал. Брюсову. Вл. Гиппиус решительно не доволен этим словом:

Через два обыкновенных слова на третье — он прибегает к таким выражениям, как «драприть стволы» и т. д.

А Иванов-Разумник даже возмущен:

Насилование русского языка, которое Северянин возводит в систему: «драприть стволы» и др. — к чему все эти «эксцессы в вирелэ»? Надо пожалеть русский язык и избавить его от таких обогащений.

Но профессор Р. Ф. Брандт, именно с точки зрения правильности образования слова, не совсем разделяет мнение Иванова-Разумника о «насиловании русского языка»:

Не могу не сочувствовать различным способам укорочки, встречающимся у Северянина, таковы: туман... тебя задраприт, вм. задрапирует, с его немецким суффиксом ir.

Что касается выражения «популярить изыски», которым также возмущены и Вл. Гиппиус, и Иванов-Разумник, то профессор Бранд высказывается еще более определенно:

Двукратное укороченье представляет выражение «популярить изыски» вм. по-пу-ля-ри-зи-ро-вать и-зы-ска-ни-я. Последнее Игорем чуть ли не сказано в шутку, но я рекомендовал бы это всерьез.

Но в самое комичное положение попал, благодаря своему авторитетному тону, Валерий Брюсов:

Есть (у Северянина) просто исковерканные слова, большею частью, ради рифмы или размера, как «глазы» вместо «глаза» и др. Громадное большинство этих новшеств показывает, что И. С. лишен чутья языка и не имеет понятия о законах словообразований.

Вся комичность этой сентенции о «чутье языка» становится очевидной, когда прочтешь приведенную по этому поводу пр. Брандом народную поговорку: «Свиные глазы не боятся грязи». Очевидно, и народ придется отнести к разряду «лишенных чутья языка и не имеющих понятия о законах словообразования».

Что стал бы делать Игорь Северянин, если бы захотел хоть отчасти послушать советов гг. критиков насчет своего дальнейшего пути!

Валерий Брюсов советует ему стремиться стать «учителем человечества»:

Игорю Северянину недостает вкуса, недостает знаний. То и другое можно приобрести, — первое труднее, второе легче. Внимательное изучение великих созданий искусства прошлого облагораживает вкус. Широкое и вдумчивое ознакомление с завоеваниями современной мысли раскрывает необъятные перспективы. То и другое делает поэта истинным учителем человечества.

А. Измайлов мирится с меньшим:

Признание и любовь придут к нему (Северянину) в ту минуту, когда он оставит в детской все эти ранние игрушки, весь этот ажур парикмахерски прифранченных слов и найдет спокойный и честный язык для выражения нежных, наивных, прелестно грустных переживаний, какие знает его душа.

Иванов-Разумник зовет к природе:

Было бы грустно, если бы он век остался кричать на площади, или разносить свое «мороженное из сирени» по петроградским дачам. Он подлинный лирически поэт, и широкий путь его лежит от «дачи» к «природе», от «площади» — в леса, в поля...

Г-н А. Б. из «Голоса Москвы» никуда не зовет, он советует, по-видимому, остаться самим собой:

Раскрашивать цветочки, рисовать губки бантиком, писать мадригалы нездешним принцессам, — вот его поэтический круг. И пока нет в нем умысла, пока пенятся эти идиллические песенки молодостью и живой любовью к миру, до тех пор такая поэзия может привлекать и очаровывать.

Андрей Полянин ничего не советует, потому что смотрит на И. С. совершенно безнадежно:

...Мы более чем сомневаемся (!), чтобы из «гения Игоря Северянина» выработался хороший поэт.

А Амфитеатров «вылил свои думы» в стихах, пародирующих, между прочим, одно из стихотворений Северянина:

Читаю вас: вы нежный и простой,
И вы — кривляка пошлый по приметам.
За ваш сонет хлестну и вас сонетом:
Ведь, вы — талант, а не балбес пустой!

Довольно петь кларетный вам отстой,
Коверкая родной язык при этом.
Хотите быть не фатом, а поэтом?
Очиститесь страданья красотой!
Французя, как комми на рандеву,
Венка вам не дождаться на главу:
Жалка притворного юродства драма,
И взрослым быть детинушке пора...
Как жаль, что вас, детей, не секла мама
За шалости небрежного пера!

Каким проворным Фигаро нужно быть, чтобы хоть приблизительно следовать всем этим зовам и советам.

О, очная ставка господ критиков оказалась необычайно удачной и яркой. Игорь Северянин со своими необычными успехами, взлетами и падениями явился блестящей, совершенно исключительной мишенью для этих близоруких охотников. Это состязание с удивительной ясностью доказало, что только любовь или ненависть должны руководить пером критика. Сухая объективность, серое беспристрастие оказались для критика путеводителями совершенно непригодными.

Конечно, и говорить нечего, что личные счеты, погоня за вкусами толпы, собственное безвкусие, неумение разбираться в явлениях искусства и отсутствие чуткости ставят человека, берущегося за перо критика, в исключительно смешное положение.

Пусть эта маленькая книжонка станет настольной для всякого, кто хоть минуту сомневался в истинном значении нашей беззубой, равнодушной, творчески несостоятельной, нечуткой и «авторитетной» критики.

<1916>

Михаил Ефимов
НОВЫЙ ПОСТАВЩИК УЛИЦЫ

Игорь Северянин и А. Масаинов «Мимозы льна»

С тех пор как Игорь Северянин отошел от эгофутуристов, он всецело отдался служению улице и хорошо для этого приспособился. Снял хризантему из петлицы, из большой и шумливой толпы «соратников» оставил одного только верного Алексея Масаинова, сделал свой язык понятнее и, открыв новую лавочку поэзо-парфюмерии, спокойно дожидается успехов и лавров. А успехи, нужно признать, довольно крупные. Правда, Северяниным все меньше интересуется критика, но улица, к которой направил он теперь свои поэзы, принимает его сочувственно. Нужды нет, что, уйдя от футуристов, он не примкнул к «бальмонтистам» или акмеистам, или другим; язык его для широкой массы понятен и даже ощутительно нужен: как в крестьянстве до наших дней живет смутная тоска по «Милорду глупому», «Францылю Венециану» и другим чудесным заморским героям, так и в среде мелкой буржуазии есть всегда тяготение к экзотичному, «бонтонному», великосветскому. Лимузины и ананасы, не считаясь с их происхождением, она принимает за чистую монету, и звонкий, текучий стих Северянина ей как нельзя более по вкусу. И «гением Игорем» уже упиваются юнкера, провинциальные барышни, даже телеграфисты начинают мурлыкать его под гитару.

Как и все пишущие для улицы, Игорь Северянин не двигается в своем творчестве вперед. Чтобы идти с улицей в ногу, нужно плестись черепашьим шагом: толпе чужды искания и новые для нее порывы — она требует от каждого из поэтов поставки только одного сорта литературного товара. Игорь Северянин и в этом покорен толпе. Новая его книга «Мимозы льна» — «повторение пройденного». Он, как в кинематогра-

фе, прежде чем демонстрировать «вторую серию», еще раз повторяет первую, для тех, кто ее еще не видел.

Поэтому мы и находим здесь прежнее:

Снова маки в полях лиловеют
Над опаловой влагой реки
А выминдаленные лелеют
Абрикосовые ветерки...

...Нежно нежилось море голубым сновидением,
Вековой медузью, устрицевым томленьем,
Нежно нежилось море, упиваясь собой...

Здесь есть многое для репертуара Эссбукетовых с гитарой:

Мы ехали с тобой в бричке
Широкою и столбовой,
Порхали голубые птички,
Был вечер сине-голубой...
...А рдеет ветер, далеет Нарва,
Синеет море, златеет тишь,
Душа — как парус, душа, как арфа,
О чем бряцаешь, куда летишь?

Есть и новые изысканности:

Лилиевое тело
В прожилках голубых
Искристо запотело (!)
В сонах полубольных.

Есть и вариации на мотив «я гений Игорь Северянин» и еще многое-премногое, но отсутствует то, что имелось в достаточном количестве в прежних книгах, — стихотворения, отмеченные печатью таланта.

Это кажется безнадежным.

Даже Ал. Масаинов, скромно примостившийся позади Северянина, думается, заслуживает большего внимания. В его стихах есть содержание, и что гораздо важнее, очень мало той улицы, которой ревностно взялся служить его товарищ.

<1916>

Леонид Фортунатов
КУПЛЕТИСТ НА ПАРНАСЕ

Новый том Игоря Северянина «Тост безответный»

Изумительная продуктивность, редкая производительность, исключительная трудоспособность отличают Игоря-Северянина. «Такой молодой, а уже 6-й (прописью – шестой!) том стихов преподносит он читающей публике.

Вчитываешься, одну за другой перелистываешь страницы изящно изданного шестого тома. Хочется найти хоть несколько настоящих стихотворений, хоть одно бы, хоть несколько строф, рожденных подлинным вдохновением и идущих от сердца к сердцу.

Каждый новый поэт – это ведь новое ощущение мира, новая красота. Если ничего не горит, не сверкает между строк, – то кому и зачем нужны эти рифмованные страницы?

Ах, вы очень культурны, но души-то в вас нет:
Вы не знаете горя, вы не знаете боли,
Что в столице лишились этой шири и воли,
Что подснежник мудрее... чем университет!

Но как пристально ни вчитывайся, и при наилучшем, наиболее доверчивом и любовном отношении к поэту – н и ч е г о не найти на унылых страницах ш е с т о г о тома Северянина.

«Подснежник мудрее, чем университет» – это не ахти как ярко, но это единственная строка, какую стоит запомнить изо всего тома.

Все остальное – несравненно хуже. Не поэт, а лысый бухгалтер «сочинял» все эти признания:

Подлец ли я, что я ее покинул,
Ее, с которой прожил трое лет,
Что, может быть, уйдя из сердца, вынул?..
Подлец ли я? Подлец ли я иль нет?

Лысый бухгалтер предстает пред нами не случайно. Его стиль, его тон, его душа повсюду в этой книге:

Не было похожих на тебя, — не будет.
Изменял другим, — тебе не изменю.
Тебя со мною не убудет,
Себя с тобою сохраню.

Этот почтенный, тонко чувствующий дебет и кредит бухгалтер, — жалуется, что прежние возлюбленные его — их по точному подсчету оказывается было двенадцать — были не ахти каковы:

Немолода, нехороша собою,
Мещаниста и мало развита.

Зато теперь, — хвастает бухгалтер, — он нашел тринадцатую, это уж антик с мармеладом, что-нибудь особенное, как там ни говори.

...Тебя ни с кем нельзя сравнить:
Ты лучше, чем мечта (!).
...Ты — совершенство (!) в полном смысле слова
Ты — идеал (!), приявший плоть и кровь...
...Не улетай, прими истому:
Вступи со мной в земную связь.

Мы-то, наивные люди, верили, что теперь уже военные писаря и прыщавые парикмахеры не позволяют себе этой меры пошлости — ты, мол, мечта и даже «лучше чем мечта», ты, дескать, идеал, а посему «вступи со мной в земную связь», и чем скорее, тем лучше.

А оказывается, этаким языком говорят и пишут у нас поэты, и еще изысканнее, еле соглашающиеся «популярить изыски». Делается жутко за ту мелкость души, за ту изумительную пошлость, какою дышат все переживания этого поэта.

— Ах все мне кажется (и отчего бы то
Ведь ты мне поводов не подаешь),
Что ты изменишь мне, и все, что добыто
Твоим терпением, продашь за грош.

И все мне кажется, и все мне чудится
Не то подпрапорщик, не то банкир...
И все мне чудится, что это сбудется,
И позабудется тобой весь мир.

... Я безусловно тебя застрелю,
Если ты... с кем-нибудь... где-то там...

Потому что тебя я люблю
И тебя никому не отдам.

...Впрочем, делай, что хочешь, но знай:
Слишком верю в невинность твою.
Не бросай же меня! не бросай!
Ну, а бросишь, — прости, застрелю.

Самые разудалые цыганские романсы, самые старые номера куплетиста — и те требуют большей оригинальности, большего благородства, чем эти любовные стансы новоявленного Петрарки наших дней. — Ты меня допостичь не могла! — уверяет поэт возлюбленную. Но что ж тут «допостигать», если все так явственно пошло, трафаретно и вульгарно:

Тобою услаждаясь ежечасно,
Мне никогда тобой не досладиться:

... Миленькая девочка скучает,
Миленькая девочка не знает,
Как жестоко ошибался часто,
Как платился, как и сколько раз-то!

2

Игорь-Северянин с похвальной откровенностью рассказывает о себе все, что возможно.

Мы узнаем даже и о том, как велик темперамент поэта и его гвардейская правоспособность:

Как солнце восходит раз (!) в сутки,
Восходит в крови моей страсть...

Тем меньше оснований у Северянина скрывать внешние события своей биографии.

Недавние газетные сообщения о том, что Игорь Северянин (Лотарев) призван из запаса, — немедленно иллюстрируется соответственной поэзой.

Как на казнь, я иду в лазарет!
Ах, пойми! — я тебя не увижу...
Ах, пойми! — я тебя не приближу
К сердцу, павшему в огненный бред!..

... Я пылаю! Я в скорби! И бред
Безрассудит рассудок... А завтра
Будет брошена жуткая карта,
Именуемая: Лазарет.

Но ведь вот на обложке VI тома горделиво значится:

Бумага для этого издания изготовлена по специальному заказу. Шестого тома выпускается: 6.500 экземпляров: 500 нумерованных на Александрийской бумаге в переплетах из парчи, 3.000 в обложке работы Д. И. Митрохина и 3.000 в обложке работы Н. И. Кульбина.

А рядом перечисление целого ряда изданий первых томов,— тысячи и десятки тысяч экземпляров, и каждый том торжественно предлагается покупателю «в переплете материи Лионез».

Почему «лионез»? В каком смысле и откуда этот бесспорный бьющий в глаза успех?

В чем дело? Почему наше время дало титул избранника этому бухгалтеру, каким образом типичнейший мещанин мог показаться поэтом?

Не за газетность же, с какой воспевает всех знакомых развязный стихотворец:

И Брюсов, «президент московский»,
И ядовитый Сологуб
С томящим нервы соло губ,
Воспевших жуткую Ортруду,
И графоманы, отовсюду
В журналы шлющие стихи,
В котором злющие грехи,
И некий гувернер недетский,
Адам Акмеич Городецкий,
Известный апломбист «Речи»,
Бездарь во всем, что ни строчи,
И тут же, публикой облапен,
Великий «грубиян» Шаляпин
И конкурент всех соловьев,
И Собинова — сам Смирнов,
И парень этакий-таковский
Смышленый малый Маяковский,
Сумевший кофтой (цвет танго!)
Наделать бум из ничего.
И лев журналов, шик для Пензы,
Работник честный Митя Цензор,
Кумир модисток и портних,
Блудливый взор, блудливый стих.

Сам Игорь-Северянин не сомневается, что он гений.

«Ведь я поэт — всех королей король, — уверяет он. Моих стихов классично-ясен стих», «Гений мой тому порукой».

ПОЭЗА МОЕЙ СВЕТОЗАРНОСТИ

Когда мне пишут девушки:
  «Его Светозарности»,
Душа моя исполнена
  Живой благодарности.

Ведь это ж не ирония
  И не пародия:
Я требую отличия
  От высокородия!

Пусть это обращение
  Для бездарности...
Не отнимай у гения
  Его Светозарности!

В чем же – кроме безудержной смелости – видит свое право на «светозарность» этот гений?

В словотворчестве, музыкальности стиха?

Арфеет ветер, далеет Нарва,
Синеет море, златеет тишь.
Душа – как парус, душа – как арфа.
О чем бряцаешь? куда летишь?

«Нарва» и «арфа», – это рифма, конечно, очень богатая, но «стерва» и «Марфа» звучала бы еще лучше.

Все хорошо в тебе: и ноги (!), и сложенье,
И смелое лицо ребенка-мудреца,
Где сквозь энергию сквозит изнеможенье (?),
В чьей прелюдийности (?) есть протени (?!) конца...

Все хорошо в тебе: и пламенная льдяность,
Ориентация (?) во всем, что чуждо лжи...

Неужели этим можно ввести в заблуждение кого бы то ни было? Слов нет, не лишен звучности набор слов вроде:

ПОЭЗА О ИОЛАНТЕ

Иоланта в брилльянтах, Иоланта в фиалках.
Иоланта в муар, Иоланта в бандо,
Иоланта в шантанах, Иоланта в качалках,
Иоланта в экспрессе, Иоланта в ландо!
Иоланта в рокфоре, Иоланта в омаре,
Иоланта в Сотерне и в triple soc curasso.

Иоланта в Вольтере, Иоланта в Эмаре,
В Мопассане, в Баркове и в Толстом, и в Руссо!

Но ведь звучность ни на йоту не уменьшится, если вместо слова Иоланта вставить всюду хотя слово «Идиотка».

Идиотка в брилльянтах, идиотка в фиалках,
Идиотка в муаре, идиотка в бандо,
Идиотка в шантанах, идиотка в качалках,
Идиотка в экспрессе, идиотка в ландо.

Говорить о миропонимании, об идеях, о каком бы то ни было углубленном отношении к миру в стихах Северянина невозможно.

Его привлекает только «безыдейность»:

Блаженство бессмысленно, и в летней лилейности —
Прекрасен и сладостен триумф безыдейности...
Лишь думой о подвиге вся сладость окислена,
И как-то вздыхается невольно двусмысленно...

Но, как это всегда бывает, и помимо воли, — поэт проявляет свое я. Когда он заявляет «Мечта, ты стала инженю (!)», нам ясен опереточный уклон его мечтаний.

Правда, часто автор ведет себя как чеховский герой: «Оны хочут свою образованность показать и нарочно про непонятное говорят»:

И ты, как рыцарица (!) духа,
Благодаря кому разруха
Дотебной (?) жизни — где-то там,
Прижмешь свои к моим устам...

...Дитя, ты лучше грезы!
И грезу отебить (?) хотел бы я свежо:
Тебя нельзя уже огрезить: все наркозы,
Все ожидания — в тебе: все — хорошо!

Все хорошо в тебе! И если ты инкубишь (?),
Невинные уста инкубность тут нужна...

Но иногда добрый бухгалтер забывает об «инкубности», «дотебной жизни» и говорит по существу:

Я возьму в волнистую дорогу
Сто рублей, тебя, свои мечты,
Ну, а ты возьми, доверясь Богу,
Лишь себя возьми с собою ты!

И когда оставишь в стороне «словесность»: «За синельными лесами живет м е н я д о б и в н ы й я» — видишь настоящую суть.

Раньше всего аристократизм. Окромя «поклонниц», — поэт имеет дело с князьями и графьями:

Тут не сдержалась бы от вздоха
Моя знакомая к н я ж н а, —

вспоминает ни к селу, ни к городу в одном месте.

Maman с г е н е р а л ь ш е й с в и т с к о й
Каталась в вечерний час —

сообщается между прочим в другом.

Сколь аристократичны знакомства, столь же изысканны и вкусы:

Граммофон выполняет, под умелой (!) рукою
Благородно (!) и тонко (!) амбруазный мотив.

«Умелая» и «благородная» игра на граммофоне — это ли не типичный для парикмахера штришок?

А вот и еще более характерная черточка:

Гибнет от взрыва снаряда огромный пассажирский пароход. Что усмотрел здесь этот «поэт Божьей милостью»?

Умирали, гибли, погибали
Матери и дети, и мужья,
Взвизгивали, выли и стонали
В ненасытной жажде бытия...

...Женщины, лишенные рассудка,
Умоляли (?) взять их пред концом,
А мужчины вздрагивали жутко,
Били их по лицам кулаком...

Что — комфорт! искусство! все изыски,
К у ш а н и й, науки и идей! —
Если люди в постоянном риске,
Если вещь бессмертнее людей?!..

Раньше всего — «кушанья», а потом уже все остальное, — как это типично для изысков этого рода!..

Пусть бы наслаждался жизнью с «знакомою княжной» и с «благородным граммофоном» этот удачливый куплетист... Но Северянину этого мало. Он хочет еще славы.

Пусть афишируют гигантские
Меня афиши, — то ль не эра!

О, еще бы! Конечно, эра. Судя по новому, VI тому, от того дарования, какое — надо признать — несомненно было дано Богом Игорю Северянину, не осталось ничего.

Но осталась «эра». «Всякому времени свой муж потребен», и наша эра, очевидно, именно такова, что чуть ли не «первым», во всяком случае, самым модным поэтом — объявлен стихотворец, разменявший себя на дешевку, не имеющий как будто и представления о том, что такое Поэзия, что такое Искусство, что такое Красота.

<1916>

Лариса Рейснер
ЧЕРЕЗ АЛ. БЛОКА К СЕВЕРЯНИНУ И МАЯКОВСКОМУ

I

Александр Блок никогда не был революционером и реформатором.

Величие его поэзии не искало пурпурных и золотых слов.

Всегда большой и незабываемый, даже в пошлых образах, даже в поблекшей теме, он бесшумно переступил черту временного и ничтожного. Его влияние громадно, как влияние абстрактной идеи, тончайшей математической формулы.

Из сумерек социального упадка он вынес цветок мистической поэзии, бледный, но благоухающий, и в этом его величайшая заслуга. Но подражать Ал. Блоку, его полутонам, его лирике, выросшей без света и воздуха, его любви, затерянной в сером холодном небе, — невозможно и бесполезно.

Как всякое завершение — Блок неповторим.

И современная поэзия не совершила этой ошибки.

В беспорядочном бунте футуризма, каким бы скандалом он ни был, выразилась жажда жизни и творчества и желание и воля новых поколений.

Улица, прельщенная желтой блузой и развязными манерами, оценила новых героев и с улюлюканием проводила их на олимп русской литературы.

Теперь, обезвреженные и прирученные, подробно описанные критикой, — русские футуристы далеки от своей площадной купели.

Два имени, в особенности, вошли в общее употребление и пошли по рукам: Игорь Северянин и Вл. Маяковский.

Начнем с прославленного эголирика. Он принес с собой радость, этот странный человек с мертвым лицом и глубочайшим голосом.

В ночных кафе, после трех часов ночи, перед ошеломленными профессионалами его «поэзы» кипели, как брага, цвели, как цветет счастье:

Пою в помпезной эпиталаме
(О, златолира, воспламеней!),
Пою безумье твое и пламя,
Бог новобрачных, бог Гименей...

Он дерзал любить и благословлять. Как отпущение грехов, цвели ландыши его весны, и форма стиха была как прозрачнейший лед.

Как много богатства и щедрости, и все это нам, «талантливым трусам и обнаглевшей бездари».

И только одну непоправимую ошибку совершил Северянин. Вместо обнищавшего человечества он призвал к себе улицу, скверную и безнадежную улицу.

Кокотки зашелестели муаровыми шелками поэта. Все, бесславно увядшие и поношенные, цветными карандашами подчеркнули прославленную моложавость и прозрачность жалких лиц. Эта была поэтическая косметика, крем и пудра Северянина.

А эти, бездарные и оскудевшие, наша знаменитая «чуткая» молодежь, беззаботно идущая на удобрение общественной почвы! И она причастилась.

Восторгаюсь тобой, молодежь!
Ты всегда, даже стоя, идешь...

Когда-то поэт мечтал о хрустальном гробе, о сказочных похоронах своей души. Ну что же, желание исполнилось. Его сердце уже показывают за деньги, и не слишком дорого заплачено за публичное поругание. На помпезных поэзо-концертах подают «мороженое из сирени», «шампанское в лилии». Все стыдливые и тайные слова поэзии «распивочно и на вынос», со скидкой для учащихся, с бесконечными бисами — «очам души твоей», «болезнь» и «страх», «плач совести» и «хохот лиры» — всё, всё распродается!

Есть избранники; их жизнь — тайна и несчастие. Слава удовлетворяется их могилами, не смея запятнать самое страдание. Так жил и умер Тассо или Шекспир, о котором мы не знаем почти ничего. Так нищенствовал Сервантес и томился в течение сорока лет Поль Верлен.

Но есть и другие, для которых гений становится могильщиком.

Вычеркнутые из списка живых собственным величием, они жадно существуют, чтобы погибнуть случайно; преждевременно опустошенные, до дна испитые, всеми изведанные творцы.

Игорь Северянин — крайнее выражение именно этой категории. Он не только пережил свое дарование: заживо переваренный толпой, добыча тысячи тысяч желудков, он исчез, измельчал в непрестанном процессе общественного пищеварения.

«Victoria Regia» — одна из последних книг Северянина. Страницы ее как лепестки этого пышного цветка-паразита. Лишенные аромата, плотно, всею кроной вросшие в теплое и сырое болото — они наливаются яркой и болезненной краской.

Сожаление и боязнь сквозят в остывающих строфах:

О, век безразумной услады,
Безлистно-трепетной весны.
Модернизованной Эллады
И обветшалой новизны!..

Это значит, что Громокипящий кубок упал в трясину, его золото перестало блестеть, и Victoria Regia выросла на преждевременной могиле.

II

Маяковский никогда не был фальсификатором.

Улицу не смешивал с шантаном, чернь отличал от черни просвещенной, в кармане прятал кастет и пренебрегал Северяниным, как бродяга — сутенером.

Мир для него — не бутафория, не мертвая, временная декорация, которую можно подновить или взять напрокат, как берет Северянин «форелевые ручьи», «эскимосские юрты» и «карельские яхты».

Улица Вл. Маяковского «безъязыкая», которой «нечем кричать и разговаривать», его площадь, которую «испешеходили чахотки площе», часы, которые «падают, как с плахи голова казненного», — все, мертвое и покорное, попираемое ногами, — имеет свою высокую, скрытую ценность.

Мельчайшая пылинка живого
Ценнее всего, что я сделаю и сделал!..

Камень, железо и асфальт гнутся и стонут в стихах Маяковского. Через толщу тротуаров, из-под каменных гор приходит его гнев, его месть, его жажда освобождения.

«Крикогубый Заратустра», поэт, которым воспеты мужчины, «залежанные как больница», и «женщины, истрепанные, как пословица», Маяковский по-своему молится величайшему богу человечности:

...Люди,
И те, что обидели,

Вы мне всего дороже, ближе.
Видели,
Как собака бьющую руку лижет?

Он, осмеянный и у сегодняшнего племени,

Как длинный скабрезный анекдот,
Видит Идущего через горы времени,
Которого не видит никто.

Видит Поэта, и для него, Грядущего, отдает свою душу, чтобы она, окровавленная, стала «как знамя».

И еще странность.

Игорь Северянин, утонченный гурман, не побоялся такого посвящения: «Эта книга, как и все мое Творчество, посвящается мною Марии Волнянской, моей тринадцатой и, как Тринадцатая, последней».

Никто не увидел пошлости в этом посвящении, не нашел ее в фиалково-лимонном гареме, которым Северянин окружил свою Тринадцатую. Тем охотнее нашли скабрезность в задыхающихся стихах Маяковского. Его печальные многоточия, в которых больше ярости, чем желания, просмаковали вполне. Никто не захотел увидеть главного, чего нет и не было у Северянина, несмотря на эго-экстазы, груди-дюшесы и захмелевшие цветы, — Любви.

А между тем где ее больше, громадной и нежной, чем в книге, которая называется «Маяковский».

Правда, она страшна, эта любовь, она разливается «как румянец чахоточного», но с нею «Каторжане города-лепрозория:

Где золото и грязь изъязвили проказу, —
Чище Венецианского лазорья,
Морями и солнцами омытого сразу...

Игорь Северянин не знает ревности; в березовое шале его пускают с заднего крыльца. «Жена и мать» пользуются им, как морфием, чтобы немного ослабить тяжесть старой «бракоцепи». И галантный «Эксцесс» охотно идет к этой «замужней невесте», чтобы «девственно озверить» ее «алчущий инстинкт». Такая нежность, не лишенная пользы, называется «Berceuse осенний»...

Как неуместна после подобной «терпимости» безумная, ревнивая боль Маяковского:

До утра раннего, в ужасе, что тебя любить увели,
Метался и крики в строчки выгранивал
Уже наполовину сумасшедший ювелир...

Странная лирика. Она не умеет нравиться, у нее никогда не будет «дежурной адъютантессы». Юлии, Зизи, Инстассы и Вероники не станут утешать Маяковского мороженым из фиалок, сиреневыми шоколадами и лазоревыми жалами.

Мне, чудо творцу всего, что празднично,
Самому на праздник выйти не с кем.
Возьму сейчас и грохнусь навзничь,
И голову вымозжу каменным Невским!

Прихотливый мятежник Северянин никогда не выходил на улицу, никогда не искал поддержки глубоко презренной черни.

Поэзия, как и история, имеет свои дворцовые перевороты, учтивые, паркетные заговоры, производимые благовоспитанными молодыми людьми в рамках тонкого этикета.

И Северянин как раз наиболее талантливый лейб-революционер современного искусства.

Пусть Маяковский не завидует этому титулу: пока не оскудела его рельефная, образная речь, пока творчество не устало ломать старые воплощения, никто не оскорбит его, Поэта, этикеткой и номером Литературного архива.

<1916>

Мария Моравская
ПЛЕБЕЙСКОЕ ИСКУССТВО
Об Игоре Северянине

Многие не знают, что такое, в сущности, Игорь Северянин, так как принято его разглядывать с поэтической точки зрения. А поэтическая точка зрения здесь не при чем, так как этот внешне талантливый стихотворец с умопомрачительно дурным вкусом не мог бы так долго интересовать читателей и критику, если бы не социальное содержание его стихов.

Игорь и его подражатели — это плебейство, стоявшее у двери дворца.

Все читатели и почитатели Игоря Северянина, все слушатели его поэзо-концертов (какое романтическое слово!), восторженные курсистки и приказчики, все это — «люди без собственных лимузинов», которые тоскуют по внешней культуре. Они чувствуют, вдыхая стихи Северянина, запах экзотических цветов, запах цветов, которые обычно им приходится видеть лишь за стеклом магазинного окна. Они слышат легкую бальную музыку в этих стихах с банальным ритмом. Они, читая Игоря, входят в нарядные будуары и видят зеркала, в которых им никогда не суждено отразиться.

И крылатые яхты, и авто, и молниеносные путешествия по всему миру, — все, что доступно лишь немногим, лишь внешним хозяевам жизни, вынес Игорь на улицу. Он — продавец сказочных лубочных картинок, которыми кухарки оклеивают свои сундуки. Но он же бессознательный выразитель тоски по благам внешней культуры, тоски по физически полной жизни, по «нарядной сытости», как клеймят это некоторые.

А клеймить тут нечего. Из-за обладания этой внешней культурой идет борьба, совершаются социальные перевороты. Вечно стоит народ у парадных дверей. И всегда жадно хочет знать, что делается там внутри.

И пусть Игорь «все переврал», пусть у него мраморная терраса неестественно приделана к березовому коттеджу; пусть его принцессы с утра ублажают себя ананасами в шампанском — разве нужен верный быт людям без собственного лимузина? Им нужна фантазия на тему о том, как живут другие, хозяева жизни.

И это не смешно, и это не низменно. Сам Пушкин мечтал о внешней культуре; проезжая по плохим русским дорогам, он тосковал: когда же «Мосты чугунные чрез воды шагнут широкою дугой».

А если б он жил «во времена Северянина», он, быть может, мечтал бы, когда же ему удастся помчаться в родное имение на молниеносном самолете?

Это не смешно, что люди стоят у чужих парадных дверей: это не низменно, что они в мечтах тоскуют по внешней культуре; это лишь бесконечно печально.

Пастух, мечтающий о принцессе, приказчик из меблирашек, студент из мансарды, грезящий о березовом коттедже, и сам Северянин, воспевающий этот коттедж, их общая тоска — плод социального неравенства. Это очень серьезно и очень значительно. Это сама жизнь — тоска у чужих парадных дверей.

Но тоска эта имеет разный характер. Люди активные, которым обидно зябнуть под ветром нищенской судьбы, бьют в двери кулаком:

«Открыть или руки о двери сломать».

Вот, как говорит об этом Верхарн, сын героической страны. Обидно, что наш поэт плебейской тоски может лишь стоять и мечтать о том, что внутри... И с ним мечтают многие, пассивные, ничтожные, те мужчины, которые приглашают своих подруг:

«Пойдем в кинематограф, там теперь идет великосветская драма, о том, как лорд Нокс с опасностью достает своей Дженни черную жемчужину».

Они выйдут из кинемо, муж и жена, символические Муж и Жена, плебеи наших дней, и не будут чувствовать стыда, что не они — герои; что он никогда никуда не уедет за черной жемчужиной, а она не способна умереть от любви. Они выйдут на улицу и купят книжку Северянина, и будет их укачивать ритм этих стихов, как хорошие рессоры ландо, в котором им никогда не кататься, и забудут о борьбе, забудут о достижениях настоящей жизни, которая проходит у них мимо носа, забудут о ней, вдыхая запах «ананасов в шампанском».

Достойная пара, мещане-плебеи наших дней.

Для них пишет Игорь Северянин.

Есть другой плебс, есть толща народа, которая Игоря не признает и, если б узнала, отвернулась бы с презрением. Это — борющиеся. У них тоже есть тоска по внешней культуре, но она слишком остра, чтобы

удовлетворяться созерцанием. Такие не пойдут на поэзо-концерты, даже если бы эти концерты стали им доступны. У них еще нет своего современного поэта. Но если бы он был, он тоже в значительной степени был бы певцом тоски по внешней культуре. Ибо это тема — великая. И только благодаря социальной огромности темы выдвинулся Игорь Северянин, хотя он так вульгарно за эту тему взялся.

Плебейская поэзия может быть ничтожной и великой. Игорь — худшая часть плебейской поэзии.

<*1917*>

Александр Дроздов
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГИ И. СЕВЕРЯНИНА

«Crème des Violettes», 1919 г., «Puhajogi», 1919 г. и «Вервена», 1920 г.

Три книжки поэта, «покорившего литературу», – одна толстенькая, другая тоненькая, третья тощенькая брошюра, – иного, пожалуй, и нечего сказать о них. Есть верстовые столбы, крашеные столь хорошо, что десятилетиями ни солнце, ни ветер, ни дождь не соскабливают с них краски; также столбы есть и в поэзии нашей. Я не говорю о мрачных, ярмарочных ужасах чрезвычаек – но даже и психологический сдвиг народа, сделавшего и несущего революцию, прошел мимо них, никак не слиняв, ни на полшага не сдвинув, не толкнув к переоценке.

В «Crème des Violettes» Игорь Северянин собрал избранные стихотворения из десяти своих книг, в «Вервэне» и «Puhajogi» большинство стихотворений попадаются на мои глаза впервые, однако нового ничего нет в них: ни настроений, ни тем, ни техники, кроме двух-трех словообразований, свыше меры причудливых: душа изустреченная, ум луноизнервленный – деревянные бессочные образы, лишенные даже северянинской певучести.

Но революция шла, воющая, скрежещущая, многонравная, ее не мог не слышать поэт. Он слышал. И вот единственные его отклики:

Народ, жуя ржаные гренки.
Ругает «детище» его:
Ведь потруднее сбыть керенки,
Чем Керенского самого.

Или:

Как жестко, сухо и жестоко
Жить средь бесчисленных гробов,
Средь диких выходцев с востока,
Средь «взбунтовавшихся рабов»!

Но тем не менее поэт благодарен приютившей его Эстонии, ибо:

Благодаря тебе, быть может,
Меня Россия сохранит.

Пусть стонет Россия, пусть народ, жуя ржаные гренки, гниет в голоде и вшах, пусть ветры революции сдувают его спереди и сбоку — поэт не изменился, не поглупел, но и не поумнел, не растратил своего богатого лирического таланта, но и не углубил его. Всякую минуту, с хризантемой в петличке, он готов выйти на эстраду, и беда лишь в том, что нет аудитории, некому рукоплескать.

В новых книжках Северянина можно сыскать стихи той кисейной нежности, на которую он большой мастер, но все его гризетки, дачницы, кусающие шоколад, и соловьи, защитники куртизанок, идут мимо, в лучшем случае утомляя, в худшем раздражая. И три книжки, лежащие передо мною, — они отзвук старого Петербурга и старой Москвы, только памятка — в них нет крови, ни плоти тех дат, которые стоят на их обложках.

Северянин не был бы Северяниным, ежели бы на последних страницах не сообщил точного отчета, сколько и где было дано им поэзоконцертов за «пять сезонов», в скольких экземплярах скушала старая Россия книги и какие стихи были переведены на английский, польский, грузинский и пр. языки.

<1920>

Роман Гуль
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ И. СЕВЕРЯНИНА «МЕНЕСТРЕЛЬ»

В былые времена bon ton литературной критики требовал бранить Игоря Северянина. Его бранили все, кому было не лень, и часто среди «иголок шартреза» и «шампанского кеглей» в его стихах не замечали подлинной художественности и красоты. А она была,— вспомните: «Это было у моря», «Быть может от того», «Хабанера», «Сказание об Ингред» и мн. др.

Правда: Северянину никогда не случалось быть «гением», но справедливость требует отметить, что в довоенной Москве он был маленьким литературным калифом. К сожалению для автора – это было очень давно, и теперь выпущенный в свет его «Менестрель» говорит с совершенной ясностью, что калифство было даже меньше, чем на час.

Можно дивиться бледности, беспомощности и бездарности вышедшей книги И. Северянина.

Она – о «булочках и слойках»:

Десертный хлеб и грёзоторт
Как бы из свежей земляники,
Не этим ли Иванов горд,
Кондитер истинно великий,
А Гессель? Рик? Rabon? Ballet?
О что за булочки и слойки,
Все это жило на земле,
А ныне все они покойки!

Или вот – «поэза»:

Раньше паюсной икрою мы намазывали булки,
Слоем толстым и зернистым проникала икра,

Без икры не обходилось пикника или прогулки,
Пили мы за осетрину — за подругу осетра.

На этой «изысканности» Северянин, конечно, не успокаивается. Он по-прежнему не прочь «осудьбить» дев, но когда вспоминаешь в 19 году смелые вихри с эстрады Политехнического музея:

У меня дворец двенадцатиэтажный!
У меня принцесса в каждом этаже!

Но теперь удивляешься неуверенной немощи поэта, не только в стихе, но даже и в настроении:

Тебя не взять, пока ты не отдашься.
Тебя не брать — безбрачью ты предашься.
Ах, взять тебя и трудно и легко
Не брать тебя — и сладостно и трудно,
Хочу тебя безбрежно глубоко.

И вдруг:

Прости мой жест в своем бесстыдстве чудный...

Все эти поэзы Северянина по своим художественным достоинствам могли бы смело соперничать с поэзами Капитана Лебядкина:

Порхает звезда на коне
В хороводе других амазонок,
Из седла улыбается мне
Аристократический ребенок.

О Лебядкине и Северянине можно было бы спорить, если бы «царственный паяц» не перешел бы в область «мозгогрудочной» поэзии, заявив, что:

Кроме вопросов желудочных
И телесных есть ряд мозгогрудочных.

Тут уже спор решается сам собой в пользу Капитана Лебядкина. Вот образцы «гражданской» поэзии Северянина:

Из тусклой ревельской газеты,
Тенденциозной и сухой,
Как вы, военные галеты,
А следовательно, плохой
. . . .
Все это утешает мало
Того, в ком тлеет интеллект.

Язык богов земля изгнала,
Приняла прозы диалект.

Или:

Убийственные дни, не время, а — *полезно,*
И не цветы цивилизации, а — *сено.*

И совсем уже становится страшно за поэта, когда среди «булочек», «поленьев», «слоек», «грёзотортов» и «сена» он вновь «самопровозглашает» и «коронует» себя. Единственное спасение, по-моему, — это напомнить Северянину, что «всему час и время всякой вещи под солнцем».

<1921>

Константин Мочульский
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН. МЕНЕСТРЕЛЬ. НОВЕЙШИЕ ПОЭЗЫ

Том XII. Издательство «Москва», Берлин, 1921

Двенадцать томов «поэз», многотысячные издания «Громокипящих кубков», «Ананасов в шампанском», «Златолир» и прочих изысков, «удивительно вкусных, пенистых и острых», солидная критическая литература, триумфальные турнэ по России, оглушительный успех поэзо-вечеров, восторженные толпы поклонников и поклонниц... Разве это не слава? — Разве это не «поэтов русских король»?

Игорь Северянин — гений a priori. Обычно поэт предоставляет критике оценивать его достоинства, и только в конце творческого пути у него вырастает сознание своих заслуг. Тогда он воздвигает себе «нерукотворный памятник» — так делали Гораций и Пушкин. Северянин поступил наоборот: он сначала построил монумент своей гениальности и славе, а потом стал писать стихи. Он так громко говорил о себе, что в него поверили:

Я повсеградно оэкранен.
Я повсесердно утвержден.

Происхождение этого короля весьма любопытно: его выдумала «кучка» московских литераторов. Она пошутила над наивным молодым человеком, увенчав его бутафорской короной. Но эта выходка московских чудаков имела серьезные последствия. Не только сама жертва свято уверовала в свое призванье — но и заставила верить в него широкий круг публики. Появление нового бездарного стихотворца, одержимого манией величья, конечно, не страшно: оно осталось бы незамеченным в толпе статистов на Парнасе. Страшно то, что дребезжание его «варварской лиры» нашло отклик в тысячах сердец: страшно

то, что его мишурной короне поклоняются до сего дня. Поэтому творчество И. Северянина заслуживает внимания как симптоматическое явление нашей культуры, как показатель эстетического уровня «среднего читателя».

Говоря о культуре, мы обычно учитываем только верхний, последний тонкий слой. Эта небольшая группа читает Блока и Ахматову, слушает Скрябина, смотрит на картины Сомова и Судейкина и т. д. Но под первым слоем лежит второй — более широкий — нашего культурного tiers-état. У него своя определенная эстетика, своя литература (Вербицкая, Нагродская, Лаппо-Данилевская и др.), своя музыка (романсы Вертинского) и искусство (кинематограф, театры миниатюр и пр.). Tiers-йtat с любопытством и завистью смотрит вверх: он хочет самого модного, «самого дорогого». Для него-то изготовляются «поэзы» и «ключи счастья». И. Северянин утолил его жажду эксцентричного, безумно-дерзкого, пряного и «шикарного». В манерном раскачивании его berceuse, рондо, триолетов, терцин (какие изысканные названия!), в звонком щелканьи французских слов (какая образованность!), в мире терминологий ресторана и бара, кондитерской и café-concert'a, в щеголянии словарем косметики, парфюмерии и модного магазина, в пользовании жаргоном high-life'ного курорта, кулис и будуара демимонденки — воплощается заветная мечта мещанина о «прекрасной жизни» — деньгах, комфорте и великолепном женском теле в тонком белье. То же эстетство, которым переболели верхи, тот же эротизм с его «культом тела» и «свободной любви», только упрощенные и преломленные в романе Вербицкой, в фильме кинематографа и в романсах вроде «Дышала ночь восторгом сладострастья», тот же ресторан Блока с цыганами и «черной розой в бокале золотого как небо Аи», только воспринятый не посетителем, а официантом, те же «Шабли во льду, поджаренная булка и вишен спелых сладостный агат» Кузмина, только приспособленные ко вкусу менее взыскательного гастронома, те же «ночные чары, содрогания и крики страсти» Брюсова, только попроще и подешевле. Так поэзия Северянина препарирует «изыски» символической школы, фабрикуя из них популярное издание «для всех». (Пора популярить изыски! — Мороженое из сирени). От души символизма, его веры и тайны, от его провалов в вечность и мистических восхождений ad realiora в общедоступном издании ничего не осталось. Зато все измышленное, мертворожденное и лживое вспухло уродливыми нарывами. Пламенный неофит, Северянин свято верит в свою «красоту». Обнажая язвы учителей, он не глумится над ними, но своим преклонением он еще подчеркивает их безобразие. Поэт абсолютно лишен юмора: в своем упоении дорогими винами и пирожными от Berrin — он наивный комик. Чтобы почувствовать этот пафос шика

и комфорта, нужно проникнуть в психологию приказчика из Гостиного двора, вдруг вышедшего в люди. Каким заманчивым кажется мир после душного полумрака за прилавком: как свежи «все впечатления бытия»: и приятная эластичность резинового ландолета, и ослепительная скатерть ресторанного столика с «графином кристальной водки и икрой в фарфоре», и конфекты éclair и boule de neige от Gourmets, и женщины «в саке плюшевом желтом» или «шоколадной жакетке», и «роскошь волнующих витрин, палитра струн и музыка картин». Весь мир, со всеми его ананасами, морожеными из сирени и женщинами, пахнущими вервеной, — принадлежит поэту. Отсюда наивная самовлюбленность и наглая самоуверенность parvenu. Северянин искренно убежден, что вся Россия избрала его королем поэтов. В годину гибели Родины он озабочен:

Где состоится перевыбор
Поэтов русских короля?
Какое скажет мне спасибо
Родная русская земля?
И состоится ли? — едва ли,
Не до того моей стране.
(Менестрель, «Самопровозглашение»)

Но раз в стране беспорядки и перевыборы состояться не могут, он принужден сам себя провозгласить королем. Как преломляется переживаемая Россией трагедия в его психике? Стихи последнего сборника «Менестрель» дают интересный материал.

Гибель мира для поэта
Ведь не так страшна,
Как искусства гибель. Это
Ты поймешь одна.

Живя в Эстляндии, автор следит за «контрастными событиями». «Голодные ужасы в Вене» бросают его «в холод и дрожь». «А то, что у нас на Востоке, — Почти не подвластно уму», — но «Мы сыты, мы, главное, сыты. — И значит — для веры бодры». И в громах мировой катастрофы Северянин верен своему «гастрономическому» вдохновению. Узнав из газет о гражданской войне в России, он поэтически выражается:

Все это утешает мало
Того, в ком тлеет интеллект.

Арестован Сологуб, умер Андреев, Собинов, Репин; автор жалуется, что в России у него почти не остается друзей, и сообщает нам, что

В России тысячи знакомых.
Но мало близких.

Наиболее комическое впечатление производит его скорбь по поводу гибели культуры, в которой виноваты «футуристы-кубо» (Автор забыл, что он сам футурист-эго!) и их царь Бурлюк (!). Финалу стихотворения мог бы позавидовать Кузьма Прутков: «Позор стране, в руинах храма — Чинящей пакостный разврат».

В другой поэзе он рассказывает, как ходил в крестьянские избы и спрашивал: «Вы читали Бальмонта, — Вы и Ваша семья?». Получив отрицательный ответ, он жалеет «Бальмонта, и себя, и страну» и решает, что «стране такой впору погрузиться в волну». О том. как рисуется Северянину «культурная жизнь», свидетельствует «Поэза для беженцев». Русская колония в Эстонии огорчает поэта своими «запросами желудочными и телесными», и он предлагает ей «давать вечера музыкально-поэзо-вокальные», ставить «пьесы лояльные, штудировать Гоголя, Некрасова» и «...путешествие знать Гаттерасово» (ради рифмы).

Первые сборники Северянина при всей их вульгарности и пошлой безвкусице были отмечены мелодическим единством. Напевность Бальмонта сочеталась в них с темпами полумерных вальсов и цыганских романсов. В «Менестреле» чувствуется полный упадок и этой дешевой эффектности. Некоторые стихи столь кустарны и косноязычны, что появление их после многих лет стихотворной практики (12 томов стихов) кажется невероятным. Шедевром «гражданской лирики» Северянина является «Поэза Правительству». Приведем из нее две строфы:

Правительство, когда не чтит поэта
Великого, не чтит себя само.
И на себя накладывает veto
К признанию, и срамное клеймо.

Правительство, лишившее субсидий
Писателя, вошедшего в нужду,
Себя являет в непристойном виде
И вызывает в нем к себе вражду.

Трудно поверить, что это не пародия. Такая поэтическая безграмотность (ни ритма, ни даже синтаксиса) в связи с духовными убожеством — ниже уровня творчества раешников и дядей Михеев. Кроме стихов, посвященных «гражданским мотивам», мы находим в сборнике ряд любовных произведений: «Терцины-колибри», неизбежный «Малиновый berceuse», сонеты, рондели, рондо, газеллы, ноны, секстины дэ — полная коллекция утонченных стереотипных форм. Но ка-

ким доморощенным содержанием наполнены их благородно-хрупкие очертания.

Картофель — тысяча рублей мешок.
В продаже на фунты... Выбрасывай балласт.

(Секстина XI)

Одна терцина оканчивается в стиле античных пародий К. Пруткова:

Люби меня, натуры не ломая.
Бери меня. Клони скорее ниц.

В других старинных размерах есть ловкость жонглера, известное техническое умение; но полное отсутствие чувства стиля и культуры слова делают эти произведения образцами ложного жанра.

В творчестве И. Северянина в искаженном и извращенном лике изживается культура русского символизма. Давно исчезнувшая на верхах, она просочилась мутными струями в низший слой и страшным оборотнем живет в нем и поныне. Солнечные дерзания и «соловьиные трели» Бальмонта, демоническая эротика Брюсова, эстетизм Белого, Гиппиус и Кузмина, поэзия города Блока — все слилось во всеобъемлющей пошлости И. Северянина. И теперь в эпоху «катастрофических мироощущений» эта скудость духа русского поэта ощущается особенно болезненно.

<1921>

Александр Бахрах
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ И. СЕВЕРЯНИНА «СОЛОВЕЙ. ПОЭЗЫ»

Времена меняются, земля вертится, гибнут цари и царства... а Игорь Северянин в полном и упрямом противоречии с природой безнадежно остается на своем старом засиженном месте.

...Сегодня — гречневая каша.
А завтра — свежая икра!.. (с. 78)

Таким образом, и вчера, и сегодня, и завтра — все приносится в его поэзию с полки гастрономической лавки или из парфюмерного магазина. Открываешь книгу, и просто не верится, что на ней пометка «1923».

Все те же надоевшие нюансы, фиоли, фиорды, фиаско, рессоры, вервена — Шопена, снова то же старое, затасканное самовосхваление: «Я — соловей, я так чудесен» (с. 8), «я так велик и так уверен в себе — настолько убежден...» (с. 72), «целовал Фофанов и Клюев (бедный Клюев!) и падал Фофанов к ногам!..» (бедный Фофанов!). Для нового издания все это даже не перечесано заново; старый, довоенный фиксатуар так и лоснится со страниц книги.

Цикл стихов посвящен щекотливому «разбору собратьев». Наудачу, курьеза ради, выбираем несколько цитат:

О Кузмине: Кузмин изломан чрезмерно.
Напыщен и отвратно-прян.
Рокфорно, а не камамберно.
Жеманно-спецно обуян.

О Каменском: Да, я люблю тебя, Вася,
Мой друг, мой истинный собрат,

Когда, толпу обананася,
Идешь с распятия эстрад!

Северянин еще во время оно закончил делать *свое*, ценное. Ныне регресс превратился в падение и бесконечные, как оказалось, бездны безвкусицы и ноющего провинциализма.

Северянина-поэта, подлинного поэта было жалко.

От Северянина-виршеслагателя, автора книги поэз «Соловей», делается нудно, уныло.

<1923>

В. Ирецкий
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН
(1905–1925)

Среди огромного множества поэтов, стремглавно промелькнувших за последние двадцать лет, Игорь-Северянин выгодно отличается от многих: у него свой собственный поэтический лик и свой почерк. За это время на поэтической улице много было шума и не раз совершались сдвиги даже у более прочных авторов, а Игорь-Северянин уверенно шагал по избранной им тропинке, целиком отдавшись во власть своего музыкально-лирического дара, не замечая того, что творится вокруг.

А творилось немало. Бурлили Бурлюки, по-африкански сверкали глазами кубо-футуристы, благим матом вопили Хлебниковы и Крученыхи — Дыр-бул-щыл! В моде была стихийная звериность или звериная стихийность (сейчас уж не припомнить!), по крайней мере, поэты изо всех сил выбивались, как бы рявкнуть по-гиппопотамски, а любимейшим из любимых был Джек Лондон, помесь Майн Рида и Вампуки, живописец мордобоя и свернутых скул. Вон там в запыленной вазе лежат их запыленные пожелтевшие визитные карточки: «Ослиный Хвост», «Поросята», «Дохлая луна», «Бух лосиный», «Взорваль», «Пощечина общественному вкусу».

И среди этой неистовой пещерной шаманской какофонии невозмутимо звучала жеманная бонбоньерочная флейта:

Я в комфортабельной карете на эллипсических рессорах
Люблю заехать в златополдень на чашку чаю в женоклуб.

Перебираешь в памяти эти полувыцветшие воспоминания — и диву даешься: как это так случилось, что этот заблудившийся в столетиях романтик, которому уместнее было бы жить в эпоху женоподобных

миньонов короля Генриха III, обсыпанных фиолетовой пудрой, в кружевах и брыжжах, — пришелся ко двору во времена «Дыр-бул-щыла».

Впрочем, есть решающее объяснение: в нем неистребимо сидел задор подлинного дарования, опрокидывающего все попутные преграды.

Мы сначала очень недвусмысленно улыбались, выслушивая его поэзы, диссоны, берсезы с «шалэ», «грезёрками», «виконтессами» и «пуантами», а затем незаметно для самих себя стали прислушиваться к его виртуозности, умевшей передать ритм качелей, элластических шин и танцев:

И пела луна, танцевавшая в море.

Мы «жемчужно» хохотали, когда знакомились с его галантерейными комплиментами — «Властелинша планеты голубых антилоп» — и когда нам стало известно, что у него имеется:

...дворец пятнадцатиэтажный
И принцесса в каждом этаже.

Нам казалось весьма нехозяйственно вливать «шампанское в лилию» и делать мороженое из сирени.

Но...

Дело в том, что один из подлиннейших признаков искусства — это его заразительность и что степень заразительности есть единый критерий искусства. «Чем сильнее заражение, тем лучше искусство, не говоря об его содержании» — указывал Толстой. И надо признаться, что скептические улыбки, которые мы снисходительно дарили поэту в Бродячей ли Собаке или за чтением «Громокипящего кубка», довольно быстро сменились улыбкой благожелательности. Почему? Не потому ли, что мы почувствовали в поэте искренность, нас заразившую? В конце концов решительно всё имеет право излиться в искусстве. Надо только, чтобы это было совершенно и заключало в себе неподдельный пафос. Перед лицом Аполлона романсы Вяльцевой и жертво-песни Рабиндранат Тагора одинаково ценны. В известной легенде Анатоля Франса Божья Матерь не отвергла лепты жонглера, почтившего Ее эквилибристическими фокусами: это было сделано им от всей души и с подлинным пафосом.

Мир Игоря-Северянина — мир воображенный, не существующий. Оскар Уайльд, скорбевший об упадке украшающих самообманов, об упадке лжи, был бы вполне удовлетворен его даром преувеличения и никогда не сказал бы, что он охотится за очевидными банальностями. Напротив. В Игоре-Северянине он, пожалуй, нашел бы подтверждение

своих мыслей и положений, в частности, подтверждение того, что Жизнь подражает Искусству гораздо больше, чем Искусство – Жизни. И тут же он еще более уверенно повторил бы свой афоризм о Природе, главное назначение которой в том, чтобы иллюстрировать цитаты из поэтов.

У Игоря-Северянина на этот счет действительно все наоборот. В поля, в леса, на озера, куда он любит убегать от гнилой, «как рокфор», культуры, он приносит с собой не только файф-о-клоки, лимузины и кокеток-кокотесс, но и салонные слова и комфортабельные представления. Когда он думает о ягуаре, ему рисуется дорогой ягуаровый плед. Деревья кажутся ему маркизами. На берегу моря ему не хватает клавесин. Полосы спелой ржи представляются ему золотыми галунами. Он весь городской, этот паркетный «грезёр», всегда находящийся в гостях у г. Несуществующего и во власти давно отзвучавших, а может быть и никогда не звучавших слов. Это особенно чувствуется сейчас. Повторите про себя рассказ о виконтессе, уехавшей из оперы прямо на северный полюс:

Я остановила у эскимосской юрты
Пегого оленя – он поглядел умно,
А я достала фрукты
И стала пить вино.
И в тундре, вы понимаете, стало южно...
В щелчках мороза – дробь кастаньет.
И захохотала я жемчужно,
Наведя на эскимоса свой лорнет.

Старые засушенные цветы, которыми отдают эти строки, в наше время стали еще старше.. А через десять-двадцать лет кто-нибудь, читая эти стихи, с течением времени теряющие неправдоподобие, – чего доброго соблазнится мыслью восстанавливать по ним былую русскую жизнь, подобно тому, как по фигурам, изваянным на греческом фризе, мы наивно воссоздаем «подлинных» женщин Древней Греции. Такова сила искусства. Мы смотрим назад через его призму, и вымысел всегда сильные правды.

А все-таки, когда перелистываешь сейчас книги Игоря-Северянина, действительно восстанавливаешь кое-что из подлинной жизни. Помните словесные неистовства Северянина? Боги, как все были ошарашены новшествами поэта – окалошитые, осупружиться, златополдень, экстазить, орозить, обэкранить, миражить, офиалить, отсверкать! У обыкновенных читателей от этих слов глаза лезли на лоб и волосы

становились дыбом. Критики же были оскорблены в своих лучших филологических чувствах и объявили Северянина безнадежным еретиком. Однако, — не очень уж так нескоро, — при ближайшем рассмотрении Даля обнаружилось, что глаголов на «о» тьма тьмущая и что они настолько хорошо забыты, что их вправду можно принять за сочиненные автором «Громокипящего кубка». У Даля были найдены : овельможить, озвездить, обоярить, огурбить и даже отсверкать. Вспомните, что еще Жуковский говорил «ожемчужить», «обезмышить», а Пушкин, признаваясь в своем увлечении Н. Н. Гончаровой, употребил выражение — «я огончарован».

Сейчас словечки Игоря-Северянина перестали ошарашивать. Некоторые из них забылись, некоторые остались (напр., выразительное слово «бездарь»), а самый принцип стал будничным. «Женоклуб» Игоря-Северянина — родной брат советского «женотдела», а народное словотворчество пошло еще дальше, введя упрощенным северянинским приемом слова «буржуйка», «керенка», «шкурник», «мешочник», «танцулька» и пр. Чтобы утешить поэта, гордившегося своим собственным словообразованием, следует сказать, что создание новых слов никогда не было задачей поэзии. Образное сравнение ученейшего из современных критиков А. Г. Горнфельда лучше всего уяснит эту мысль. Поэзия, говорит он, влияет на язык не иначе как хороший садовод на культуру растений: дикое яблоко он может довести до великолепного кальвиля, но создать дикое яблоко ему не под силу. Да и действительно, меньше всего может сделать поэзия для внедрения, нового слова в обиход — гораздо меньше, чем техника, наука и даже начальство, потому что словотворчество поэзии лишено той принудительности, какую имеют слова науки, техники и официального документа.

Но, так или иначе, воздействие Игоря-Северянина в этой области было несомненным. Влияние литературного слова сказывается совершенно независимо от того, осталось это слово или не осталось. Слово выразило новое ощущение или новую мысль, и бесследно это никогда не проходит. Не пройдет бесследным и все то, что написал Северянин, певучий затейник и «грезёр».

<1925>

Евгений Шевченко
КОЛОКОЛА ОРАНЖЕВОГО ЧАСА

Можно было бы сказать проще — «вечерний звон». Но, во-первых, это звучало бы чересчур грустно, а во-вторых, не соответствовало бы стилю предмета, о котором будет речь. Речь же эта будет об Игоре Северянине и по поводу его недавно вышедших в юрьевском издательстве Бергмана двух поэм «Колокола собора чувств» и «Роса оранжевого часа». После романа «Падучая стремнина» это опять поэтическая автобиография Игоря Северянина в двух томах, разъединенных разными заглавиями, объединенных единством устремления к ... самому себе. Устремления, оправданного евангельски. Ибо «возлюби ближнего, как самого себя», дает мерило и критерий наилучшего...

«Роса оранжевого часа» — поэма детства, а «Колокола собора чувств» — роман из времен, когда поэт был «пьян вином, стихами и успехом, цветами нежа и пьяня, встречали женщины» его повсюду.

Роман и поэма Игоря Северянина — не достаточно ли сказать это, чтобы было понятно, как написаны эти новые произведения? Ибо, если Игорь Северянин совершенно напрасно признается, что

Родился он, как все, случайно
И без предвзятости при том... —

то поэзия, родившаяся от Игоря Северянина, вся в предвзятости словотворчества и в своеобразности построения, рифмы и ритма. Поэзия эта исключительно «северянинская», самоценная, отличная от других характерно и разительно. Если Игорь Северянин как поэт всем известен, то что еще можно добавить к общеизвестному?

Но три книги автобиографических романов-поэм за последние (и «последние» в кавычках) времена — это ли не знамение *времен мемуаров?* Это одно — объективное. А второе, увы, субъективное, ибо

В соборе чувств моих — прохлада,
Бесстрастье, благость и покой.

Это после недавнего горделивого:

Моя любовь — падучая стремнина,
Моя любовь — державная река.

Ретроспективный образ личного прошлого не наступает ли с «Росой оранжевого часа»? Но поэт идет далее в своих признаниях, и лирической слезой блестит его строфа:

Но вскоре осень: будет немо...
Пой, ничего не утая:
Ведь эта самая поэма —
Песнь лебединая твоя.

Это звучало бы совершенно трагически, если бы «лебединая песнь» относилась к творчеству поэта, а не к его прощальным чувствам и образам былых его «принцесс». Но именно этим отошедшим ликам поэт главным образом приносит прощальные:

...фиалки и мимозы,
Алозы, розы и крэмозы,
И воскуряет фимиам.

И это, конечно, печально, но ведь в недавно напечатанном стихотворении поэт признал, что:

Моя жена всех женщин мне дороже.

А потому не так уже трагична «лебединая песнь»:

В тиши я совершаю мессы,
Печальный, траурный обряд
И все они, мои принцессы,
Со мной беззвучно говорят...

. . . .

Игорь Северянин легкий, воздушный поэт. И поэтому о нем можно так нежно-шутливо говорить. Но было бы опрометчиво не почувствовать в последних его произведениях действительно глубоко лирических тонов. На этом месте недавно еще прозвучали его «Усталые строфы»:

Я так истерзался от горести вечной,
Я так нестерпимо устал,
Я так утомился от пасмурных будней,
От горя и всяких невзгод...

Это не лирическое кокетство. Это действительно усталые строфы. И устать есть от чего. Все устали. Не спасается от усталости и поэт. Отсюда и его строки, в которых никто бы не узнал Игоря Северянина, как такового:

Тяжелые часы сомнений,
Под старость страшные часы...

«Оранжевый час», конечно, еще не «старость», но как уйти от современья, когда «издатель хам и жох»:

Искусству предпочел поленья
И крыльям грёз — припрыжку блох...

А были ведь другие времена, когда «гений Игорь Северянин» диктовал свои условия, когда на поэтических пирах:

В честь «блещущей на небосклоне
Вновь возникающей звезды»
Все приглашенные светила
Искусства за мои труды
Меня приветствовали мило
И одобрительно. А «Гриф»
Купил «Громокипящий кубок»,
И с ним в горнило новых рубок
И сечь пошел я, весь порыв.

Когда о стихах Игоря Северянина писал Федор Сологуб: «Я люблю их за их легкое, улыбчивое, вдохновенное происхождение. Люблю их потому, что они рождены в недрах дерзающей, пламенною волей упоенной души поэта, Он хочет, он дерзает не потому, что он поставил себе литературною задачею хотеть и дерзать, а только потому он хочет и дерзает, что хочет и дерзает. Воля к свободному творчеству составляет ненарочную и неотъемлемую стихию души ею, и потому явление его — воистину нечаянная радость в серой мгле северного дня».

Теперь северную мглу сменила тьма непросветная, страшные мысли о той, о которой поэт пишет:

Моя безбожная Россия,
Священная моя страна...

В настоящем номере нашей газеты печатается «Запевка» Игоря Северянина к новому его сборнику «Чаемый праздник»:

О России петь — что весну встречать,
Что невесту ждать, что утешить мать...

Не сменяется ли у Игоря Северянина «мороженое из сирени» куском насущного черного хлеба – хлеба мечты о возрождении России? И кто знает, не искупит ли он своего прошлого поэтического карнавала новыми для него часами «пасмурных будней, горя и всяких невзгод». Быть может, с новым сборником появится и новый Игорь Северянин, как ни трудна будет его задача. Ибо есть предметы, о которых нельзя писать соком «апельсинов в шампанском». А нужно о них писать кровью сердца, тяжелыми, простыми словами:

Чем проще стих, тем он труднее,
Таится в каждой строчке риф.
И я в отчаяньи бледнею,
Встречая лик безликих рифм.

С выходом в свет двух указанных новых книг стихов Игоря Северянина количество томов его сочинений достигает двадцати. А «Колокола собора чувств» и «Роса оранжевого часа» появились ко дню двадцатилетия поэтического творчества Игоря Северянина. То есть каждый год признанной своей литературной деятельности Игорь Северянин отмечал новым томом стихов. Плодовитость завидная. И если, как то пришлось в другом месте и по другому случаю отметить, Игорь Северянин, «беспечно путь свершая», твердо оставался до сих пор на прежнем месте, не двигаясь ни вперед, ни назад, то теперь в его напевах стало звучать нечто новое, от «вечернего звона».

Еще невнятны эти новые звуки, и потому пока обозначим их именем далекого благовеста «колоколов оранжевого часа».

<1925>

Николай Оцуп
СЕВЕРЯНИН В ПАРИЖЕ

Северянин, уединившийся с семьей в эстонской деревне, проживший там много лет, печатал свои стихи в прибалтийских изданиях, так что и его самого и его поэзию успели основательно забыть в Париже, главном по эту сторону границы городе современной русской поэзии. Казалось, что появление здесь поэта будет лишним. Его бездумное и сладкозвучное пение, казалось, принадлежит целиком довоенному и дореволюционному Петербургу.

Не зная новых стихов Северянина, можно было догадываться, что они все о том же и все так же «поют». Да и в самом деле. Северянин мало изменился. Правда, он не поет больше своих стихов (иногда об этом жалеешь), а читает их. Правда, он написал целый ряд стихов о России. Но эти строки, хотя в них упоминается о катастрофах, о большевиках и других современных темах, написаны, в сущности, так же, как в свое время — стихи против Германии. Между военной лирикой Северянина и теперешней «на эмигрантские темы» — разницы нет. И то и другое мало украшает его поэзию.

Не очень изменился автор «Громокипящего кубка» и в лучшей части своего таланта. Правда, вместо «ананасов в шампанском» он воспевает сейчас сельскую природу и рыбную ловлю, вместо забав и соблазнов света воспевает семейную жизнь и свою жену.

Но появление Северянина в Париже оказалось нужным именно потому, что в сущности он нисколько не изменился, то есть не утратил своего непосредственного дарования. Он напомнил снова, как уже сделал это в свое время, восхитив Сологуба и Брюсова, что дар писать стихи не обязательно должен быть связан с большими знаниями и высокой культурой:

— Я так бессмысленно чудесен,
Что смысл склонился предо мной.

Это почти точно, и, во всяком случае, это из лучшего, что сказано о Северянине. Быть может, как в совсем недавнее время рядом с голосами умных и образованнейших литераторов должен был само собой зазвучать и этот голос, — полезно было его услышать и теперь в Париже.

Я не хочу этим сказать, что прошлые или нынешние поэты, обладающие высокой культурой, лишены лирического вдохновения. Но, быть может, никому за последние два десятилетия не было его столько отпущено, сколько Северянину. У него в поэзии легкое и от природы свободное дыхание. К сожалению, тот же Северянин — убедительнейший пример того, что от поэта для полноты, глубины и длительности производимого им впечатление —требуется не только это. Поэзия Северянина освежает и радует короткое время, но, раздражая нашу потребность к стихам, она не может насытить и утолить. Кстати, интересно отметить, что Северянин упорно работает над каждой строчкой стихов и выше всех современных поэтов ставит Брюсова.

<1931>

Георгий Адамович
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

Игорь Северянин. Медальоны. Сонеты. Белград, 1934

Странная мысль пришла в голову Игорю Северянину: выпустить сборник «портретных» сонетов, сборник, где каждое стихотворение посвящено какому-либо писателю или музыканту и дает его характеристику... Книга называется «Медальоны». В ней — сто сонетов. Получилась своего рода галерея, в которой мелькают черты множества знакомых нам лиц, от Пушкина до Ирины Одоевцевой.

Если бы не заголовок, узнать, о ком идет речь, было бы не всегда легко. Портретист Игорь Северянин капризный и пристрастный, да, кроме того, ему в последнее время стал как будто изменять русский язык, и разобраться в наборе слов, втиснутых в строчки, бывает порой почти невозможно. Надо, во всяком случае, долго вчитываться, чтобы хоть что-нибудь понять. А смысл вовсе не столь глубок и за труд не вознаграждает.

Приведу для примера две заключительные строфы сонета-медальона, посвященные Арцыбашеву:

Людей, им следовать не приглашая,
Живописал художник, чья большая,—
Чета не вашим маленьким, — коря

Вас безукорно, нежно сострадая,
Душа благоуханно-молодая
Умучена законом дикаря.

Очевидно, «большая» во второй строке относится к «душе» в строке пятой. А я все читал «большая коря», и, принимая эту загадочную «корю» за какой-то северянинский неологизм, пытался постичь его значение.

Автор «Медальонов» настроен то восторженно, то насмешливо. Восторги относятся большей частью к славным предкам и предшественникам. Насмешки — к современникам. Лишь к немногим из них Игорь Северянин обращается с комплиментами. По прихотливости поэта в это число включены не только Бунин и Куприн, но и Пантелеймон Романов:

В нем есть от Гамсуна, и нежный весь такой он...

Марина Цветаева — «беспочвенных безбожников божок» и удивляет таким «задорным вздором»,

что в даме — жар и страха дрожь — во франте...

Гиппиус:

Ее лорнет надменно-беспощаден,
Презрительно блестящ ее лорнет...

Андрей Белый:

Он высится не то что обелиском,
А рядовой коломенской верстой.

Пастернак:

Не отношусь к нему совсем никак.
Им восторгаются — плачевный знак.
Состряпанное потною бездарью
Пронзает в мозг Ивана или Марью,
За гения принявших заурядь.

Перелистать книжку все-таки довольно забавно.

Разумеется, поэзии или хотя бы мастерства в ней не много. Правильнее всего отнести «Медальоны» к области курьезов. С этой оговоркой, надо признать, что в сборнике попадаются отдельные меткие словечки и острые, неожиданные определения. Каждая страница вызывает улыбку. К сожалению, только улыбка эта обращена порой на самого автора, вместо его жертвы, и в авторском замысле, так сказать, не была предусмотрена.

В заключение, два «недоуменных» слова: лет двадцать тому назад явился в нашей литературе новый большой поэт... Над ним много смеялись — и по заслугам. Его во многом упрекали — и совершенно справедливо. Но почти никто из признанных тогдашних ценителей искусства не сомневался в исключительном даре пришельца, — ни Брюсов, ни Сологуб, написавший к первой книге Северянина предисловие, ни Гумилев, с какой-то скрыто-восторженной враждебностью за ним следивший, ни даже Блок. Все верили, что Северянину надо «перебродить», все надеялись, что рано или поздно это произойдет, и тогда талант поэта засияет чистым и прекрасным блеском.

Но этого не произошло. Надеяться и ждать теперь уж слишком поздно. «Громокипящий кубок» так и остался лучшей северянинской книгой, обещанием без свершения.

<1934>

СЕГОДНЯ – ЧЕСТВОВАНИЕ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА В ТАЛЛИННЕ

В Таллинне сегодня, в зале клуба Черноголовых состоится торжественный вечер чествования известного поэта и переводчика Игоря Северянина по случаю его 35-летней литературной деятельности.

Вступительное слово скажет эстонский поэт Валмар Адамс. Декламировать стихи Северянина будут на эстонском языке, в переводах Виснапу и Раннита, известный драматический артист театра «Эстония» Гуго Лаур и артист «Рабочего театра» В. Гутман. Прочтут стихи Северянина М. Шнейдер-Брайар, – по-испански, а на эсперанто А. Ытер.

Выступит на этом вечере и сам юбиляр. Игорь Северянин будет читать свои новые стихи и переводы с эстонского.

Затем пойдет концертное отделение.

Примадонна театра «Эстония» Милве Лайд исполнит, между прочим, песню на слова Северянина «Виктория Регия» на музыку С. Прохорова. Солист «Эстонии» Воотвле Вейкат споет «Поэзу об Эстонии», – музыка для нее специально для этого вечера написана эстонским композитором проф. Адо Ведро. Участвует в этом вечере юбилейного чествования Северянина и лучший эстонский пианист Бруно Лукк, как и многие другие деятели эстонской литературы и музыки.

К этому празднеству исполнил портрет Игоря Северянина известный молодой художник Б. Линде.

15.III.1940

Петр Пильский
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН

35-летие литературной деятельности

Опьяненный Петербург. — «Громокипящий кубок». — «Ананасы в шампанском». — Перерождение. — «Граф Евграф Аксан Грав». — Кто умеет носить плащ

Смятение, гнев, очарованная влюбленность, недоуменье сразу, будто из разорвавшейся пелены неба, слетели на закинутую голову молодого поэта. Поразило своеобразие его стихов, было что-то общее в его лице с властителем тогдашних дум и сердец, Уайльдом, нравилась и дразнила распевная манера декламации, импонировали у Игоря Северянина его вызовы, дерзания, набалованность, избалованность, разбалованность мотивов, тем, поз, поэтического высокомерия, трогала его искренняя печаль, — тысячи уст повторяли отдельные строки его стихов, их знали наизусть, его «поэзовечера» собирали огромные залы и не было конца сумасшедшим аплодисментам.

С небывалым, бешеным успехом шли его книги. Только за неполных 2 года (1913—1915) разошлось больше 25 000 экземпляров его сборников: «Громокипящий кубок», «Златолира», «Ананасы в шампанском», «Виктория Регия», «Поэзоантракт», и в том же 1915 году в другом издании (В. В. Пашуканиса) они вышли снова и разошлись в 45 000 экземплярах; таких тиражей Россия не знала, это было головокружительно. О Северянине стали писать поэты — Бальмонт, Блок, Брюсов, Бунин, Гиппиус, Гумилев, Городецкий, Фофанов, о нем заговорили в печати — Мережковский, Амфитеатров, Луначарский, Дорошевич, Ходасевич, Яблоновский, — всех не перечислишь, и тогда же вышла книга: «Критика о творчестве Игоря Северянина».

Этого поэта многократно перевели на польский язык, на еврейский, эстонский, хорватский, сербский и болгарский, на испанский, французский, румынский и чешский, а Хильда Дрезен его перевела даже на эсперанто. Стихи Игоря Северянина положили на музыку Рахманинов, Архангельский, Багриновский, Цыбульский, Кельберг, Вильбушевич, Малявин, Василенко, Голованов еще и еще. Печатался Игорь Северянина во всех журналах, во всех газетах, во всех альманахах, слава не жалела своих щедрот, для него она была расточительнейшим мотом.

А молодой Северянин кокетничал, изобретал изнеженные темы, придумывал несуществующих, полуземных женщин, пел о «боа из хризантем», «эксцессерке» и лесофеях, о лилиях в шампанском, — о всем том, чего нигде не существовало, и мрачные голоса иных критиков рычаще ворчали на эти раздушенные прихоти искусственных райских садов фантазии Северянина. Пугала его самонадеянность, негодовали на его словарь, — эти словесные изобретения Северянина казались страшными. Говорили, что все это — недозволенные новшества, что русский язык им окончательно поруган и — слава Богу! — что не окончательно погублен. Нечего спорить: дерзость была, но почему такое содрогание вызывали слова? Будто мы их никогда не знали.

Я повсеградно оэкранен,
Я повсесердно утвержден!

В самом деле, почему нельзя сказать: «оэкранен», «офрачился», если Жуковский не побоялся сказать «обезмышить», влюбленный в Наталью Гончарову Пушкин прекрасно выразился: «Я огончарован»? * Изобретать, творить слова — законное право. Это еще и — благодетельно. Язык должен развиваться, обрастать новыми приставками, суффиксами, цвести смелыми произрастаниями из старых корней. Эта оскомина от шаблонов у Северянина осталась на всю жизнь, — как это должно быть понятно каждому пишущему! Надо изменять словарь, — иначе можно возненавидеть старую словесную рухлядь, но тут вопрос вкуса. Родить слово не значит дать ему жизнь: есть мертворожденные слова, как есть мертворожденные дети, — они встречаются и у Северянина. В одной из его книг я нашел глагол «обрандясь»: это — от ибсеновского героя Брандта. Если бы стихотворная строка сама не разъяснила, пришлось бы разгадывать, что значит «обрандясь».

* У Гоголя в «Тарасе Бульбе»: «Бегущие толпы... вдруг *омноголюдели* те города...». «Веки *окраенные* длинными, как стрелы, ресницами». У него же в письме к матери: «Не от неудач это, которые меня совершенно *обравнодушили*». Еще: «Русские в свою очередь *обиностранились*». В письме к Дмитриеву: «Он усыпил и *обленивил* жителей».

Да, наш слух, наш вкус к слову не всегда мирился с дарами Северянина, и все-таки в каждой его книге чувствуется личность. У Северянина свой собственный голос. Этого талантливого поэта угадываешь сразу, по каким-нибудь трем, четырем строкам, — больше не надо! — ценнейшая черта, — это и есть настоящая литературная сила, в этом единственное право быть и жить в литературе, считаться писателем, с честью носить это высокое звание. Северянина нельзя смешать ни с кем другим.

Кажется, будто он никогда не отделывает своих вещей, бросает их в печать тотчас же, не остывшими, и за длинные годы работы он написал такое количество книг, какого нет ни у одного из поэтов, — его сборников не меньше 30-ти. Но это не все: до сих пор не вышли и покоятся в рукописях готовые к изданию книги, переводы, статьи об искусстве — необычайная плодовитость. Игорь Северянин неутомим. Прошлое потонуло в темно-розовой дымке заката. Все изменяется, все меняется — иногда до умопомрачительности, неожиданно и страшно. Утешающие волны жизни приносят нам мудрость, — ничто не проходит даром, наши испытания проясняют мир: с небес мы сходим на землю, — она не так плоха.

Иногда не верится, что те годы, 1905—1916, действительно были, что мы в них жили, так беззаботно хлопали крыльями, были такими счастливыми, надеющимися слепцами. Звенел и наполнялся «громокипящий кубок» жизни у Игоря Северянина.

С этим именем связана целая эпоха. Игорь Северянин в предвоенную пору, в годы войны был символом, знаменем, идолом петербургского надлома. Можно привести длинный ряд слов с этим корнем: «излом», «надлом», «перелом».

Что-то оранжерейное, тепличное вырастало, зацветало на российской темной земле, — барствовало, изгибалось, кокетничало. Взлетали и кружились «грезерки», манили «ананасы в шампанском», «мороженое из сирени», — далекая отзвучавшая весна сумасшедших лет. Петербург умирал, как чахоточный, с больным румянцем на лице. С необычайной жаждой жить, трепетно и свирепо приникал ко всем истокам мимолетных радостей и опьянялся, как юноша, впервые прикоснувшийся к хмельному вину, к сладчайшим ядам.

Но умер Петербург, и переродился Игорь Северянин. Промчались столичные наваждения, погас гримасничающий город, все оказалось минутным призраком. Теперь город Северяниным проклят. Для него это — «нелепость», жить в городах, — «запереться по душным квартирам» — для поэта «явный вздор». Современность Северянина раздражает. Ему претит его пошлость. Новый век променял «искусство на

фокстрот», взрастил «жестоких, расчетливых, бездушных и практичных».

Когда-то окруженный толпой поклонниц, теперь он чувствует свою отчужденность и от женщин: «Ты вся из Houbigant. Ты вся из маркизета! Вся из соблазнов ты! Из судорог ты вся». Возмущают «лакированные кавалеры», злит чарльстон, отталкивает вся Европа – «рассудочно-черствая», чуждой и обманчивой кажется сама культура. («Культура, Культура! – кичатся двуногие звери»). Все последние годы поэт находит утешение в сельской тишине.

Долгое время Северянин прожил в живописной Тойле, потом в замершем Гуптенбурге, предавался своему любимому занятию рыболова, влюблен в мюнхенскую удочку, отдал себя ночным мечтам и книгам. В его «Классических розах» мелькают имена писателей и поэтов: Пушкин, Маларме, Лесков, Достоевский, Метерлинк, Киплинг, Ахматова, вспоминаются театры, актеры, композиторы, затем города, прелести глухих углов. Москва и Тойла, Петербург и новгородское село, путешествия по Европе, Югославия и Болгария, Белград, Сараево, Дубровник, София, Плевна, «адриатическая бирюза», Фрина «ядовито-яростно-зеленая», южный январь, изукрашенный цветами – сердечное упоение северного человека, его трепетная влюбленность в эту непривычную легкость, непередаваемое струение в невиданные краски.

Его воспоминания об этих скитаниях проникнуты встревоженным и восхищенным чувством неожиданных перемен, упоительных встреч с новым миром. Но Северянин оказался и тут, верный себе и родным, привычным картинам: южная весна очаровала, – трогательной осталась весна севера, где «мох в еловом лесу засинел-забелел в перелесках», где подснежники, как «обескрыленные голубки». Странствия и уединение...

Игорь Северянин стал верен и постоянен. Петербургский период отцвел, увял и умер, появилась жажда простоты, свежести просторов земли, – дни отшельничества. По жизни он идет широким шагом, оставшись тем же независимым, каким был всегда и раньше, – его крылья не сложены и по-прежнему голос смел и молод. Поэтическая сила Игоря Северянина не увядает, его напевы прочищаются и светлеют. Он вошел в проясненную пору творчества и, как все талантливые люди, многое осудил в своих прошлых днях и прежних стихах.

Новые книги Игоря Северянина – книги отречений.

В них – отказ не только от прошлого, но и от самого себя:

Сам от себя – в былые дни позера,
Любившего услад дешевых хмель, –
Я ухожу раз в месяц на озера...

Поверхностному слуху в этих строках может прозвучать напев успокоенности. Это будет неверное восприятие. В книгах Северянина теперь поселена тревожность. Здесь — обитель печали. Слышится голос одиночества. В этих исповедях вздох по ушедшему, — точнее, по отлетевшей молодости.

Но с прошлым не расстаются. Его тащат, как горб, — до могилы.

Былые видения не могут померкнуть бесследно, погаснуть, как догоревшая свеча. Отсюда временами у Северянина — вздохи и сожаления: («Все необходимое порастерял. И вот, слезами взоры орошая, Я говорю: Жизнь прожита большая»). Ни скорбь, ни мечтательные надежды, ни любовь к родной стране, ни жизненные потрясения, ни годы не изменяют, не разрушают основного строя души, не умерщвляют коренных, врожденных, взрощенных пристрастий. У поэтов это особенно наглядно выдает их словарь, — и склонность к словесной изобретательности все так же шалит у Северянина и сейчас.

Эту склонность легко приметить и в его собственных стихах, и в его переводах, и многие их эстонских поэтов в северянинской передаче окрашены его словесными пристрастиями. Целиком преодолеть самого себя нельзя. Мы можем отвращаться от былых навыков, устранять и побеждать их, но совсем вытравить эти, когда-то искушавшие, страсти нельзя без остатка. В своем душевном складе Северянин неизменен. В нем есть упрямство, стойкость, упорство, вера в себя, в какую-то свою правоту и несомненна в нем внутренняя самонадеянность поэта.

У него бывают (и бывали) небрежность, неохота контролировать свои строки. За это ему приходилось не раз слышать осуждения. Встречать укоры. Они заслуженны, тем более что Северянин — один из самых талантливых поэтов последних 35 лет. По силе своего дара он должен быть поставлен рядом с Бальмонтом, и у них действительно есть много общих черт.

Пусть не все страницы его книг, не все его то искрение, то капризные стихи заслуживают нашей похвалы, — несомненны два вывода. Первый: в лице Игоря Северянина мы видим и чувствуем настоящего поэта. Второй вывод: даже обилие написанного им свидетельствует о том, что только здесь его единственный жребий, его единственное жизненное призвание. Это можно сказать не обо всех. Для других литература — только случайность. В их экипаже она скачет пристяжной, — коренником несет эту упряжку иная сила. Какая? Во всяком случае, не литературная.

Свою одаренность, призвание Северянин ощутил давно. Где талант, этот избыток сил, там бездумная шутливость, радостные шалости, и первая вещица Игоря Северянина, напечатанная в малоизвестном журнальчике «Досуг и дело», была подписана смешным и легкомыслен-

ным псевдонимом: «Граф Евграф Аксан Грав». С тех пор прошло 35 лет, и все таким же бесстрашным остается Игорь Северянин до сих пор, — бесстрашный пред темами, пред образами, пред словом, сравнениями, эпитетами, пред самим собой, пред собственным творческим даром и правом на хорошее место в поэтической истории.

Он — поэт, в лучшем и полном смысле этого слова, поэт в своих книгах, в чувствованиях мира, в своих днях и всей жизни. Он ее приемлет только преображенной, отдавая себя ее существующим и несуществующим прельщениям. Игорь Северянин — личность и самостоятельность. Если иногда он может казаться даже босым, то за плечами у него плащ. Носить эту эффектную ненужность умеет не всякий. Сейчас он, — волею судеб, — спешенный воин. Но это — воин.

<1940>

КОММЕНТАРИИ

Настоящая книга состоит из трех разделов: «Автобиографические материалы», «Письма» и «Критика». Тексты печатаются с учетом норм современной орфографии, но при сохранении особенностей языка поэта, имеющих смысловое и стилистическое значение (Бодлэр, Фантазэр — искаженное написание этого слова отмечено Северяниным как грубая опечатка в списке, отправленном издателю В. В. Пашуканису (см. раздел «Письма» и примеч. к ним); а также «настроенье», «бессмертье» и др.

В первом разделе представлены малоизвестные автобиографические материалы Игоря Северянина с необходимым пояснением и указанием источника публикации в примечаниях.

Второй раздел — «Письма» — впервые в таком объеме представляет эпистолярное наследие поэта. Принцип расположения материала — по адресатам, а внутри подразделов по хронологии. В примечаниях даются сведения об адресатах, их встречах с Северяниным и публикациях (если они имеются) о поэте.

В третьем разделе — «Критика» — впервые републикована редкая книга «Критика о творчестве Игоря Северянина» (М., 1916) с дополнением наиболее значительных критических статей В. Брюсова, Н. Гумилева, О. Мандельштама, В. Ходасевича, В. Маяковского, Л. Рейснер, К. Чуковского, Н. Оцупа, Г. Адамовича, П. Пильского и др., посвященных поэту.

Стихотворные цитаты воспроизводятся, как правило, так, как они даны авторами критических работ, без ссылок на источник. Фамилии, встречающиеся в текстах писем и критических материалах, при необходимости расшифровываются и даются в указателе имен.

Издание основано на архивных материалах; в нем с благодарностью учтены результаты исследовательской и публикаторской работы В. А. Кошелева, В. А. Сапогова, Е. Ю. Филькиной, С. Блох, В. Ройтмана, М. Петрова, Л. Городицкого и др. Составители выражают признательность и благодарность за разнообразную помощь в работе А. Т. Никитаеву (Москва), Н. А. Зубковой (Санкт-Петербург), а также сотрудникам РГАЛИ и Отдела рукописей РГБ.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

МОЯ ПОЭЗИЯ
Исповедь Игоря Северянина для «Синего журнала»
(с. 35)

Впервые: Синий журнал. 1913. № 41. Перепечатано в сокращении: Журнал журналов. 1915. № 29.

Первая публикация предварялась редакционным вступлением: «Игорь Северянин... Кому не знакомо имя этого легендарного поэта-модерниста. О нем говорят различно — шарлатан, безумец, талант...

Редакция "Синего журнала", продолжая свою анкету о современной поэзии, печатает статью-исповедь пресловутого Игоря Северянина со снимками, иллюстрирующими скромность личной жизни этого певца роскоши и наслаждений...»

Статью сопровождали две фотографии: «Игорь Северянин у себя дома» и «Игорь Северянин с дочерью».

Первая моя книжка... — единственное упоминание Северяниным его первой брошюры. В дальнейшем он отмечал другую дату литературного дебюта — январь 1905 г.

«Fleurs du mal» — «Цветы зла» (1857), книга французского поэта Шарля Бодлера (1821—1867), несколько стихотворениий из нее было переведено Северяниным (см. письмо к К. М. Фофанову № 12).

«казанцы» — альманах «Неофутуризм. Пощечина общественным вкусам» (Казань, 1913) был пародией на московский сборник кубофутуристов «Пощечина общественному вкусу» (декабрь 1912). Подробнее см.: *Крусанов* А. Русский авангард. СПб., 1996. С. 191.

«Цех поэтов» — об отношении Северянина к акмеизму и объединению «Цех поэтов» см. письма М. Лозинскому и Н. Гумилеву.

У ПОЭТА
<Беседа с Игорем Северяниным>
(с. 36)

Впервые: Московская газета. 1914. 31 марта (без подписи).

Беседа с Северяниным состоялась 30 марта 1914 г. на вечере в Политехническом музее в Москве. Как сообщалось в публикации «Вечер Игоря-Северянина» (без подписи), вечер состоял из четырех частей: «"полное собрание сочинений Игоря-Северянина", доклад В. Ф. Ходасевича, декламация Игоря-Северянина и декламация остальных.

Четыре части, ничем друг с другом не связанные.

Как будто в один стакан налили шампанское, кофе, кислые щи и огуречный рассол.

Северянин не знает доклада Ходасевича, Ходасевич не знает, что будет читать Северянин, остальные не знают ни Ходасевича, ни, что еще хуже, Северянина».

Сотрудник «Московской газеты» беседовал с поэтом во время доклада Владислава Ходасевича.

ДОЛЖНЫ ЛИ МОЛЧАТЬ ПОЭТЫ?
(*Анкета «Журнала журналов»*)
(с. 37)

Впервые: Журнал журналов. 1915. № 29.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
(с. 38)

Впервые: Критика о творчестве Игоря Северянина. М., 1916.

РОДСТВЕННИКИ И -ЧКИ
(с. 38)

Печатается по: *Северянин Игорь.* Соч.: В 5 т. Т. 3. СПб., 1995. С. 397–398.

ИГОРЬ-СЕВЕРЯНИН БЕСЕДУЕТ С ИГОРЕМ ЛОТАРЕВЫМ О СВОЕМ 35-ЛЕТНЕМ ЮБИЛЕЕ
(с. 43)

Впервые: Вести дня. Таллин, 1940, 2 февраля. Перепечатано: *Северянин Игорь.* Сочинения. Таллин, 1990.

ПИСЬМА

К. М. ФОФАНОВУ
(с. 49)

Фофанов Константин Михайлович (1862–1911) – поэт, получивший известность как «предсимволист» благодаря книге «Тени и тайны» (1892). Он происходил из небогатой купеческой семьи, стихи писал с детства и начал печататься в 19 лет. Фофанов, по мнению Брюсова, был поэтом диссонанса, отразившим «все грубое очарование современного мира». В 1896 г.

в издании А. С. Суворина вышли «Стихотворения К. М. Фофанова» в пяти выпусках, а в 1900-м – итоговая книга стихов «Иллюзии». К этому времени обострилась психическая болезнь поэта, его наследственная тяга к алкоголю; почти все время по совету врачей он проводил в Гатчине, а последние два года – в Сергиеве.

Игорь Северянин вдохновлялся поэзией Фофанова, подражая ее городским мотивам, стихотворным формам (терцина, октава, роман в стихах). Будучи 20-летним автором 14-ти небольших стихотворных брошюр, он случайно познакомился с Фофановым 20 ноября 1907 г. в Гатчине. Встреча оказалась памятной для обоих: Игорь отмечал этот день ежегодно, а Константин Михайлович уже 26 ноября прислал посвященный юноше акростих, опубликованный в брошюре Игоря-Северянина «Зарницы мысли» (1908):

И Вас я, Игорь, вижу снова,
Готов любить я вновь и вновь...
О, почему же нездорова
Рубаки любящая кровь?
Ь – мягкий знак, – и я готов!

К. Фофанов

Следующая брошюра, № 18 «Сирень моей весны» (1908), открывалась еще одним посвящением К. Фофанова: «Чудному, новоявленному поэту Игорю Васильевичу Северянину-Шеншину-Лотареву».

В ответ на это Северянин посвятил Фофанову брошюру «Лунные тени. Ч. 1» (1908):

«Константину Михайловичу Фофанову восторженно посвящаю: Его Светозарности Королю Поэзии – боготворящий наследник!»

«Герой, пророк и русский мужичок», как называл Фофанова Северянин, написал своему «шатенному трубадуру» около 20 стихотворений и всемерно поддерживал его своим вниманием.

Из трехлетней переписки поэтов сохранились только письма Северянина к Фофанову и один черновик письма Фофанова Северянину. Письма Северянина печатаются впервые по рукописи (РГАЛИ).

1. Написано на обороте визитной карточки: «Игорь-Северянин, сотрудник-ритмик периодических изданий. С.-Петербург. Средняя Подъяческая, д. 5». Это первое упоминание псевдонима «Игорь-Северянин» (не позднее 30 декабря 1907 г.). Адрес на конверте: «Г. Гатчино. Петербургской губ., Александровская слобода, № 26. Константину Михайловичу Фофанову».

В фонде К. М. Фофанова сохранилась более ранняя визитная карточка, полученная им, вероятно, при первой встрече: «Игорь Васильевич Лотарев, редактор-издатель ежемесячн<ых> литературн<ых> выпусков "Ми-

моза"». Этим косвенно подтверждается, что псевдоним «Игорь-Северянин» возник после встречи с К. М. Фофановым.

Лидия Константиновна – Л. К. Фофанова (урожд. Тупылова), жена К. М. Фофанова, с середины 1900-х гг. страдала нервным заболеванием.

Ольга Константиновна – дочь К. М. Фофанова. В семье поэта было 9 детей.

Константин Константинович – сын К. М. Фофанова, поэт, избравший псевдоним «Константин Олимпов» (см. коммент. к письму Олимпову).

Иван Александрович – возможно, И. А. Дашкевич (Корибут-Дашкевич), полковник, муж Е. К. Мравинской, по сцене – певицы Евгении Мравиной, родственницы Северянина.

2. *Привезу «Злату»...* – брошюра «Злата» (1908, вошла в кн. «Златолира», 1914) навеяна историей любви Игоря Северянина и Евгении Гутцан, родившей в декабре 1908 г. дочь Тамару. На 2-й странице обложки было напечатано стихотворение К. М. Фофанова «Акварель» и ответ на него Северянина – «Штрих».

3. Написано на фотооткрытке с видом Маньчжурии.

Мыза «Ивановка» – дачный адрес Северянина в 1907–1913 гг.: станция Пудость, Балтийской ж. д. Мыза «Ивановка», охотничий дворец Павла I.

4. Адресовано: «Здесь, Петерб. Сторона, угол Барочной и Петрозаводской ул., д. 1/22, кв. № 34. К. М. Фофанову».

Татьяна Михайловна – сестра К. М. Фофанова.

№ 3 «Тени и тайны» – третья поэтическая книга К. М. Фофанова (1882).

Леонид Николаевич – Л. Н. Афанасьев (см. коммент. к письмам ему).

5. *Это – Великий для меня день!* – Северянин отметил первую годовщину знакомства с Фофановым стихотворением «У К. М. Фофанова» (бр. «Зарницы мысли», 1908).

Пуни – Пуни Иван Альбертович (1894–1956) – художник, участник выступлений русских футуристов. В 1915 г. организовал «Футуристическую выставку «Трамвай В» и «Последнюю футуристическую выставку 0,10». Пуни издал на свои средства альманах футуристов «Рыкающий Парнас» (1914), в котором впервые печатались вместе эго- и кубофутуристы, а Северянин поставил подпись под общим манифестом «Идите к черту!». Книга была конфискована за кощунственные рисунки Ивана Пуни и Павла Филонова.

Пуни был давним приятелем Северянина (см. письмо Л. Н. Афанасьеву 7 сентября 1910 г., стихотворения «Вуалетка» и «Художнику (Евгению Пу-

ни)»). В 1921 г. эмигрировал, жил в Берлине, где встречался с Северяниным, затем в Париже.

6. *П. А. и К. К.* – Петр Андреевич Ларионов (1889–?), поэт-«народник», прозванный Фофановым «Перунчиком», и Константин Константинович Фофанов (Олимпов).

7. Написано на обороте фотооткрытки «Великий Сибирский путь».

8. *КМ и КК* – Константин Михайлович Фофанов и его сын Константин Константинович.

...доставить Вам книгу... – вероятно, речь идет о брошюре «А сад весной благоухает» (1909), посвященной памяти «Королевы поэзии Мирры Александровны Лохвицкой».

Мама очень хочет познакомиться с ним... – Наталия Степановна Лотарева (урожд. Шеншина; 1846–1921) принимала у себя поэтов и артистов.

«Миньона» – опера Амбруаза Тома, одно из любимых музыкальных произведений Северянина. Свою 27-ю брошюру «Колье принцессы» (весна 1910 г.) Северянин посвятил: «Памяти Амбруаза Тома, аккомпаниатора моей Музы». «Амбруазные мотивы» в его поэзии подвергались критике («По амбруазному Сеньке и амбруазная шапка»).

Измайлов – Измайлов Александр Алексеевич (1873–1921), литературный критик, автор статей о творчестве Фофанова и Северянина (см. в разделе критики).

10. *Уваров* – Уваров-Надин Владимир Вячеславович, написал послесловие к брошюре Северянина «За струнной изгородью лиры» (апрель 1909 г.).

11. В конце письма добавлено: «Целую Вас. П.Ларионов».

12. *Перевожу Бодлэра...* – среди переведенных сонетов из книги Шарля Бодлера «Цветы зла» были «Креолка», «Больная муза», «Отрезвление», «Музыка», «Цыгане в пути».

13. Написано на открытке с видом Петергофа.

Гаврилов-Лебедев – П. Г. Гаврилов-Лебедев, поэт, автор сборников «Первые лучи» (СПб., 1909) и «Голубые дали» (СПб., 1910). Они вышли тиражом 100 экземпляров с посвящениями Игоря-Северянина.

14. Адрес на конверте: «Пб., Пб. сторона, Барочная ул., уг. Петрозаводской, д. 1/22, кв. 34. Его Светозарности Константину Михайловичу Фофанову от Игоря-Северянина». На конверте извещение почтальона: «Фофанов выбыл Гулярная ул., д. 27».

Мирра Святая – Северянин так называл поэтессу Мирру Лохвицкую (в замуж. М. А. Жибер; 1869–1905). Речь идет, вероятно, о трех книгах из пятитомного собрания стихотворений Лохвицкой (СПб., 1900–1904).

«Монологи» – цикл медитативной лирики К. М. Фофанова, включавший 140 стихотворений (5-й выпуск издания А. С. Суворина, 1896 г.).

«Лазоревые дали» – брошюра Игоря-Северянина с двумя посвящениями К. М. Фофанова (СПб., 1908).

Кокорин – Кокорин Павел Михайлович (1884–1938?), поэт-крестьянин, автор сборников «Песни и думы» (СПб., 1909), «Фантастическая явь» с посвящением Северянина (СПб., 1910), «Песни девушек» (СПб., 1912), «Музыка рифм» (СПб., 1913). Он участвовал в эгофутуристическом альманахе «Орлы над пропастью» (1912). Северянин посвятил П. М. Кокорину стих. «Осенняя элегия» (1909).

Петр Гаврилович – вероятно, П. Г. Гаврилов-Лебедев.

16. *«После Голгофы»* – религиозно-философская мистерия К. М. Фофанова (СПб., 1910).

17. Написано на визитке с факсимиле «Игорь-Северянин».

18. Адрес на открытке: «Ст. Сергиево, Балтийск. жел. дор. Деревня “Сергиевская слободка”, дача № 77. Его Высокородию Константину Михайловичу Фофанову».

19. *27-го выезжаю на могилу...* – т. е. на могилу Мирры Лохвицкой на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в связи с пятилетием со дня смерти поэтессы, исполнявшимся 27 августа 1910 г.

20. *Арельский* – Грааль-Арельский (наст. имя -- Петров Степан Степанович; 1889–193?), поэт, прозаик, работал в обсерватории петербургского Народного дома. Свой псевдоним связывал с легендарной «чашей Грааля» – символом чистоты. Был одним из членов кружка эгофутуристов и выпустил сборник «Голубой ажур» (1911). Осенью 1912 г. перешел в акмеистический «Цех поэтов», где издал книгу «Летейский берег» (1913).

Дорин – псевдоним Николаева Дмитрия Александровича, поэта. На обложке брошюры № 24 «А сад весной благоухает!..» (1909) имелось сообщение о том, что готовится книга Северянина «Догадки сердца» с посвящением Дорина-Николаева (издание не состоялось). В другой брошюре Северянина «Интуитивные краски» (№ 26, 1909) опубликовано стихотворение «Град», датированное: «Август 1909. Мыза “Ивановка”, с посвящением: “Дарю Дорину-Николаеву”:

Качнуло небо гневом грома,
Метнулась молния, – и град
В воде запрыгал у парома,
Как серебристый виноград...

При поддержке Северянина вышли книги Д. А. Дорина «Полусны» (СПб., 1910) и «Тоскующий орел» (1914, изд. «Петербургский глашатай»).

Лукаш – Лукаш Иван Сазонович (псевд. Оредеж; 1892–1940), писатель, начинал в кружке Северянина как автор сборника стихотворений в прозе «Цветы ядовитые» (СПб., 1910), затем печатался в альманахах эгофутуристов «Стеклянные цепи», «Оранжевая урна» и др. В начале 1920-х гг. эмигрировал, жил в Софии, Берлине, Риге, печатал историческую прозу («Граф Калиостро», 1925; «Пожар Москвы», 1930). Северянин посвятил Лукашу стихи «Вне» (март 1910 г.; впервые: «Предгрозье», 1910) и «Воздушная яхта» (октябрь 1910 г., впервые: «Электрические стихи», 1911).

Антонов – К. Е. Антонов, поэт, автор книг «Новые думы» (СПб., 1903) и «Дали блаженные. Мелкие стихотворения» (СПб., 1910).

«Герцог Магнус» – баллада о встрече рыцаря с прекрасной монахиней.

«Звезда любви» – «маленькая поэма» о разлуке пажа с таинственной девой.

...одну из следующих брошюр посвящу опять Вам! – Северянин посвятил Фофанову брошюру № 21 «Лунные тени» (ч. 1, 1908). Следующие брошюры имели посвящения Мирре Лохвицкой, Амбруазу Тома и Шарлю Бодлеру.

21. *Гриша* – Фофанов Григорий Константинович, сын К. М. Фофанова. Северянин подарил ему книгу «Лунные тени» (ч. 2) с автографом: «На хорошую память Григ<орию> Конст<антиновичу> Фофанову от автора. 1911 г., 31.X. СПб.».

«Вандэлин» – весенняя сказка М. Лохвицкой. Судя по газетным объявлениям, в 1910 г. пьеса «Вандэлин» шла, в частности, в театре «Сказка».

Л. Н. АНДРЕЕВУ
(с. 58)

Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) – писатель и драматург. Окончил Московский университет, его первый рассказ «В холоде и золоте» увидел свет в 1892 г. Ко времени знакомства с Северяниным Л. Андреев стал одним из самых популярных прозаиков (рассказы «Красный смех», «Иуда Искариот», повесть «Жизнь Василия Фивейского»). Его пьесы «Жизнь человека», «Царь-голод», «Анатэма» были событиями в общественной жизни России 1907–1908 гг. Судя по двум письмам Северянина из, возможно, более обширной переписки с Л. Андреевым, их отношения, несмотря на разницу в возрасте, были давними и по-соседски теплыми. Письма сохранились в архиве Л. Н. Андреева (ОР РГБ) и печатаются впервые по рукописи.

1. *Теперь сижу без пальто...* – семья Лотаревых испытывала недостаток средств на жизнь (см. письмо Л. Н. Афанасьеву от 6 июня 1909 г.).

2. *«Стихотворения К. Антонова»* – имеется в виду книжечка «Дали блаженные. Мелкие стихотворения» (СПб., 1910), изданная тиражом 120 экземпляров.

Л. Н. АФАНАСЬЕВУ
(с. 60)

Афанасьев Леонид Николаевич (1864/1865–1920), поэт, близкий кругу К. М. Фофанова, автор книг «Стихотворения. 1885–1896» (СПб., 1896) и «Стихотворения. 1897–1900» (СПб., 1901). В 1909–1913 гг. состоял на службе в Главном управлении по делам печати. В то же время, познакомившись с Северяниным, участвовал в эгофутуристических альманахах «Стеклянные цепи» (1912), «Дары Адонису» (1913), в газете «Петербургский глашатай».

Игорь-Северянин посвятил Л. Н. Афанасьеву как «друг и поклонник» брошюры «Лунные тени: Стихотворения. Ч. 2» (1908), «Это было так недавно...» (1909) и стихотворение «Ваши милые мелодии...»:

Если снова на свободе я
Заберусь в мой старый сад,
Приезжайте, – и мелодии
Ваши снова зазвучат!

Отвечая Северянину, Л. Н. Афанасьев писал: «...С тихого балкона, / У стремнин каскада, / Звуки граммофона / Льются в сумрак сада...»

Письма Северянина Л. Н. Афанасьеву сохранились в фондах Отдела рукописей ГБЛ (№ 20) и РГАЛИ. Печатаются впервые по автографам.

1. *...написал у меня около 20 стихотв<орений>.* – Среди этих произведений К. М. Фофанова были посвященные Северянину – «На память Игорю-Северянину», «Пророк Илья» и автограф: «Ничего лучшего не мог я придумать, что мне показал Игорь-Северянин. Чту Его душу глубоко. Читаю Его стихи – и все говорит мне: в Тебе – Бог! К. Фофанов. 22 мая 1908 г. Пудость» (опубликован в брошюре Игоря-Северянина «Лазоревые дали», 1908).

2. Адрес на открытке: «СПб., Можайская ул., д. 11, кв. 35. Его Высокородию Л. Н. Афанасьеву».

3. Написано на открытке «Маньчжурия. Домики русских рабочих на восточной линии В.-К. ж. д.»

Сколько потерь... – Жемчужников Алексей Михайлович (1821–1908), поэт, драматург, один из трех братьев Жемчужниковых, которые вместе с кузеном А. К. Толстым писали под псевдонимом «Козьма Прутков». Листовка «Памяти А. М. Жемчужникова» 26 марта 1908 г. была впервые подпи-

сана «Игорь-Северянин». *Вейнберг* Петр Исаевич (1831–1908), писатель и переводчик. *Римский-Корсаков* Николай Алексеевич (1844–1908) — один из любимых композиторов Северянина (см. стих. «Памяти Н. А. Римского-Корсакова», 1908).

11. *Борис Фофанов* — Б. К. Фофанов (1888–1930), старший сын К. М. Фофанова.

...годовщина смерти ... — сводная сестра Северянина по матери Зоя Домонтович умерла от менингита в 1907 г.

13. *Захватите, очень прошу, Лохвицкую...* — речь идет о книге М. Лохвицкой.

14. *...во дворце же мельник сдать не решился...* — имеется в виду Охотничий дворец Павла I, где сдавались комнаты дачникам. *Мельник* — вероятно, отец Евгении Гутцан, возлюбленной Северянина (см. рассказ в стихах «Злата»).

15. *...читаю Арцыбашева...* — Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927), писатель, автор популярного романа «Санин» (1908) и повести «Рабочий Шевырев» (1909).

Евгений Матвеевич — возможно, Е. М. Пуни, внук композитора Цезаря Пуни, кузен И. А. Пуни, жил в Гатчине.

16. *К. Е. Антипов* — вероятно, Антипов Константин Михайлович (1882/1883–1919), поэт, сотрудник журналов «Стрекоза», «Сатирикон» и др.

17. *...не пришлете ли мне Бунина...* — см. признание Северянина: «Нравится ли Вам Гумилев, Гиппиус, Бунин, Брюсов, Сологуб — как поэты? Это мои любимейшие» (письмо Софье Карузо от 12 июня 1931 г.). Личная встреча поэтов состоялась только в 1938 г. в Эстонии.

19. Написано по поводу болезни К. М. Фофанова, приведшей его к смерти (см. очерк Северянина «Из воспоминаний о К. М. Фофанове», 1923).

20. *Косточка* — Константин Олимпов (см. письмо к нему от 28 июля 1911 г.).

22. *...поминки затянулись...* — поминки на 40-й день кончины К. М. Фофанова.

Е. М. — возможно, Евгений Матвеевич Пуни (см. письмо).

24. *...так называемой «уздечки».* — т. е. соединения верхней губы и десны.

Везенберг — поселок в Эстонии, современный Раквере.

25. *Йевве* — станция на пути из Петербурга в Ревель (Таллин), около которой в поселке Тойла Северянин снимал дачу, а с января 1918 до 1935 г. постоянно жил.

Мисс Лиль — вероятно, Елизавета Гутцан, младшая сестра Златы (Евгении) Гутцан.

Оредеж — см. И. С. Лукаш (коммент. к письму К. М. Фофанову).

Елена Яковлевна — Е. Я. Золотарева, гражданская жена Северянина в 1912—1915 гг., мать Валерии Игоревны Семеновой, дочери поэта.

И. И. ЯСИНСКОМУ
(с. 72)

Ясинский Иероним Иеронимович (псевд. Максим Белинский; 1850—1931) — писатель, журналист, редактор журнала «Новое слово». Был другом К. М. Фофанова, посвятившего Ясинскому поэму «Весенняя сказка» («Старый дуб», 1887). Вероятно, Фофанов познакомил с ним Северянина. В 1910 г., когда отмечалось 60-летие Ясинского, Северянин написал для него стихотворение «Весенняя яблоня» с подзаголовком «Акварель» (известно было, что писатель хорошо рисует). Впервые оно опубликовано в брошюре «Предгрозье» (весна 1910) с датировкой «1910. Апрель. Св. Пасха». Беловой автограф — в собрании П. Л. Вакселя (ОР РНБ).

Письма Северянина И. И. Ясинскому хранятся в Отделе рукописей РНБ (СПб.). Печатаются впервые по рукописи.

Б. Д. БОГОМОЛОВУ
(с. 73)

Богомолов Борис Дмитриевич (1886—1920) — поэт, сын ярославского купца, окончил петербургское коммерческое училище, автор поэм «Драма в лесу» (1907) и «Запорожцы» (1909). В 1912—1914 гг. был близок к эгофутуристам, участвовал в поэзовечерах Северянина и турне по южным городам России. При поддержке И. И. Ясинского и Ф. Сологуба издал сборник статей «Критик. Пантеон изящной мировой литературы и вселенской поэзии» (СПб., 1914).

Письма Северянина Б. Д. Богомолову хранятся в отделах рукописей РГБ (№ 7, 11, 13, 14); РНБ (№ 1, 3), в РГАЛИ (№ 2, 4, 5, 6, 8—10, 12). Печатаются впервые по рукописи.

2. Начало переписки связано, очевидно, с появлением статьи Богомолова о Северянине в газете «Голос Крыма» (1911. 5 мая).

«Предгрозье» — брошюра Северянина № 29 «Предгрозье» (осень 1910).

«За струнной изгородью лиры» — брошюра Северянина № 25 (1909).

3. *«Царевна Зоренька»* — книга Бориса Богомолова «Царевна Зоренька. Стихи детские с предисловием Игоря Северянина»(СПб., 1914). В предисловии говорилось: «Борис Богомолов — единственно-истинный русский детский поэт. Его поэзы очаровательны...».

Будищев Алексей Николаевич (1864—1916) — поэт, прозаик, происходил из дворянской семьи, учился в Московском университете. В 1901 г. выпустил сборник «Стихотворения».

4. *«В пути»* — сборник стихов Богомолова (СПб., 1908).

5. Письмо занимает особое место в эпистолярном наследии Северянина. В нем поэт излагает свою теорию рифмы, говорит о необходимости ввести в поэзию новую форму дисгармонической рифмы, а именно диссонанса. Жизненность и надобность новой рифмы поэт основывает народным как наиболее непосредственным слухом и в подтверждение своих положений приводит примеры народных пословиц.

«Не желая писать "примитивно"», он сознательно экспериментировал со словом, стихом и рифмой. Им придумано десять новых строфических форм: миньонет, дизель, кэнзель, секста, рондолет, перекат, квадрат квадратов, квинтина, перелив, переплеск, которые Северянин использовал в своем творчестве и описал в «Теории версификации» (1933). Еще ранее Северянин готовил лекции о стихе в Кишиневе. В своей стиховедческой работе поэт учитывал такие образцы, как «Наука о стихе» В. Брюсова, а также опыт «Версификации» Н. Шебуева, Г. Шенгели, С. Боброва и др. современников.

Сегодня начинаю проникаться Виктором Гофманом... — Виктор Викторович Гофман (1884—1911), поэт, последователь В. Брюсова. Скорее всего Северянин знакомился со стихами Гофмана по отмеченной В. Брюсовым, Ю. Айхенвальдом, Г. Чулковым и др. второй книге стихов поэта под названием «Искус» (СПб., 1910). Северянин испытал влияние поэзии Виктора Гофмана. Его стихотворение «Поэза Южину» (1917) имеет подзаголовок «На мотив Виктора Гофмана» («Весеннее! весеннее! Как много в этом слове...»). Стихотворение «Виктор Гофман», посвященное памяти В. В. Гофмана, вошло в книгу Северянина «Соловей», другое, с посвящением «В. Г.», — в книгу «Трагедия Титана» (1923).

Жду с большим нетерпением Вашего компетентного отзыва о «Колье принцессы». — «Колье принцессы», брошюра № 27, весна 1910 г.

12. *...поздравляю Вас, Вашу супругу и ребенка со Светл<ым> Праздн<иком>.* — Пасха в 1914 г. приходилась на 6 апреля.

14. *...в субботу состоится наш поэзовечер в зале Психоневрол<огического> института.* — декабрь 1914 г.

15. *...для альманаха «На берегах Невы» поэзу.* — Богомолов печатался в альманахе в 1912—1914 гг.

Е. ВЕНСКОМУ
(с. 82)

Венский Евгений (наст. имя Пяткин Евгений Иосифович; 1884/1885—1943) — поэт-сатирик, фельетонист. Был исключен из Сызранской семинарии «за стихотворство». С 1905 г. широко печатался в петербургских журналах «Зритель», «Сатирикон», «Солнце России» и др. Венский писал литературные пародии, вел историю посетителей ресторана «Вена», от названия которого происходил его псевдоним. В книге «Десятилетие ресторана “Вена”» (СПб., 1913) он в числе других известных писателей и артистов описал появление в ресторане Северянина. Е. Венскому принадлежат пародии на Северянина, например, «Стихи певучи как баранина, / Как мыло “Ландыш” от Ралле... / Ах! Кто напевней Северянина / На эго-снеговой земле?..» (Журнал журналов. 1915. № 1).

Письмо Северянина Е. Венскому хранится в Отделе рукописей РНБ (СПб.) и печатается впервые по рукописи.

...благодарен Вам за книгу... — очевидно, речь идет о «книге великого пасквиля» — сборнике пародий Е. Венского «Мое копыто» (СПб., 1910; 2-е изд. — 1911).

К. К. ОЛИМПОВУ
(с. 83)

Олимпов Константин Константинович (наст. имя К. К. Фофанов; 1889—1940) — поэт, сын К. М. Фофанова, крестник И. Е. Репина. Вместе с Северяниным был в 1911 г. учредителем эгофутуризма, но считал, что «идеи доктрин футуризма» заимствованы у него, что именно он придумал слово «поэза», начертав на траурной ленте в день смерти отца: «Великому Психологу Лирической Поэзы». К. Олимпов был автором сборников «Аэропланные поэзы» (1912), «Жонглеры-нервы» (1913). В 1914 г. он выпустил листовку «Эпоха Олимпова. Вселенский Олимпизм», затем ряд листовок за подписью «Родитель Мироздания». Входил в начале 1920-х гг. в объединение «Кольцо поэтов им. К. М. Фофанова». Северянин посвятил К. Олимпову стихотворение «Нелли». Сохранились дарственные надписи Северянина К. Олимпову (РГАЛИ) на брошюре «Предгрозье»: «Дорогому Константину Константиновичу Фофанову — любящий и ожидающий автор. 1910. 25.Х.». На брошюре «Качалка грёзерки»: «Безумно-смелому Константину Олимпову, моему дорогому, — Игорь-Северянин, упоенно следящий его осолненный взлет! 1912.II,27. СПБ».

Письмо Северянина К. Олимпову впервые печатается по рукописи (РГАЛИ).

посталька – неологизм Северянина, образованный от «carte postale» (*фр.*) – почтовая карточка.

...выпустил в свет новую книжку... – «Ручьи в лилиях: Поэзы. Пятая тетрадь третьего тома. Брошюра 31. СПб., 1911. Лето». Во время визита К. Олимпова книга была подарена ему с автографом: «Конст<антину> Олимпову – любящий автор. 1911 г., VII, 31. – Сиверская, на даче Веймара».

Л. Н. – Л. Н. Афанасьев.

В. Я. БРЮСОВУ
(с. 84)

Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) – поэт, теоретик стиха; одним из первых поддержал Игоря Северянина в начале его творческого пути. Впервые Брюсов писал о Северянине в статье 2-й «Стихи 1911 г.» (Русская мысль. 1911. № 7), посвященной молодым поэтам Эллису, Б. Лившицу, И. Эренбургу и др. О книге Игоря Северянина «Электрические стихи» Брюсов отозвался довольно благожелательно.

За несколько месяцев до личного знакомства 15 июня 1911 г. Северянин писал в письме к Б. Д. Богомолову: «Говоря откровенно, я не люблю ни Бальмонта, ни Брюсова, ни В. Иванова, ни Блока, ни Кузмина. У каждого из них, верю и даже знаю, есть удачные и хорошие стихи, но как поэтов я не люблю их, по разным причинам».

«Осенью 1911 г., – вспоминал Северянин, – это было в Петербурге – совершенно неожиданно, ибо я даже знаком с Брюсовым не был, я получил от него, жившего постоянно в Москве, чрезвычайно знаменательное письмо и целую кипу книг: три тома "Путей и перепутий", повесть "Огненный ангел" и переводы из Верлэна. На первом томе стихов была надпись: "Игорю Северянину в знак любви к его поэзии. Валерий Брюсов". "Не знаю, любите ли Вы мои стихи, – писал Брюсов, – но Ваши мне положительно нравятся". <...> В заключение он просил меня выслать ему все брошюры с моими стихами... <...> В письме ко мне Брюсова и в присылке им своих книг таилось для меня нечто чудесное, сказочному сну подобное: юному, начинающему, почти никому не известному поэту пишет совершенно исключительное по любезности письмо и шлет свои книги поэт, достигший вершины славы, светило модернизма, общепризнаный мэтр...» (5, 29).

Первое письмо Брюсова, посланные им книги и посвященное Северянину стихотворение послужили началом их диалога(см. примеч. к письмам).

В 1913 г. вышла книга-мистификация Брюсова «Стихи Нелли» (изд. «Скорпион»), написанная «под Северянина».

Брюсов ценил творчество Игоря Северянина, неоднократно писал о нем в обзорах «Сегодняшний день русской поэзии» (Русская мысль. 1912. № 7), «Новые течения русской поэзии. Футуристы» (Русская мысль. 1913. № 3) и др.

Но появление книги Северянина «Златолира» Брюсов встретил неодобрительно. Брюсов отмечал узкий круг тем и неразборчивость поэта в средствах. «Он часто красоту подменяет дешевой красивостью, а золото — безвкусной фольгой» (Русская мысль. 1914. № 6). На эту рецензию Северянин ответил «Поэзой для Брюсова» (сб. «Victoria Regia»), в которой назвал Брюсова завистником. В свою очередь Брюсов ответил Северянину в статье, помещенной в книгу «Критика о творчестве Игоря Северянина»: «Любопытно, в чем бы я мог завидовать Игорю Северянину? Мне было бы стыдно, если бы я оказался автором "Ананасов", и мне было бы обидно, если бы я сделался объектом эстрадных успехов, выпавших на долю Игоря Северянина» (см. раздел «Критика» в наст. изд.).

Письма Северянина к Брюсову публикуются впервые по автографам (ОР РГБ).

Сохранилось 13 конвертов. Конверты надписаны рукой Брюсова — «Игорь Северянин».

Судя по штемпелям на конвертах, одно письмо отсутствует: штемпель «26 июня 1921<?>».

1. *Ваши поэзы вроде сонаты «Возвращение»...* — скорее всего, речь идет о стихотворении В. Я. Брюсова «Возвращение» («Я убежал от пышных брашен...», 1890).

С радостью послал Вам имевшиеся у меня книжки. — В октябре 1911 г. Северянин послал Брюсову свои брошюры «Лунные тени» (Ч. 1. СПб., 1908); «А сад весной благоухает!..» (СПб., 1909) и «Предгрозье» (СПб., 1910) с дарственной надписью: «Умному и славному Валерию Брюсову — безумный и изнемогающий Игорь-Северянин. 911 окт. СПб.».

...Вашу заметку о «Электр<ических> стихах» — Опубл. в журн. «Русская мысль» (1911. № 7).

2. *Ваша тонная поэза ~ вдохновила меня на отклик...* — речь идет о стихотворении Брюсова, датированном 20 января 1912 г., с посвящением в рукописи «Учителю и вождю Академии эгопоэзии Игорю Северянину», которое начинается словами: «Строя струны лиры клирной, / Братьев ты собрал на брань...».

Юных лириков учитель,
Вождь отважно-жадных душ,
Старых граней разрушитель, —
Встань пред ратью, предводитель,

Разрушай преграды грезы,
Стены тесных склепов рушь.

В этих стихах Брюсов намекал на провозглашенный эгофутуризм. «Я ответил ему стихами, начинавшимися: "Король на плахе. Королевство — уже республика". Под королем я подразумевал только что скончавшегося» — 17 мая 1911 г. — К. М. Фофанова».

Второе издание тома III ~ не могу выпустить теперь же... — Северянин намеревался включить в III том Собрания своих поэз стихи из шести брошюр: 1. «Колье принцессы». 2. «Певица лилий полей Сарона». 3. «Предгрозье». 4. «Электрические стихи». 5. «Ручьи в лилиях». 6. Пролог «Эгофутуризм» (см.: Северянин, 802).

На днях выходит моя новая тетрадь... — в ОР РГБ сохранился экземпляр брошюры «Очам твоей души» с дарственной надписью В. Я. Брюсову: «Валерию Брюсову, мне дорогому. Игорь-Северянин. 912. IV. 17. СПб.», с правкой автора и пометами В. Брюсова.

3. *...альманах нашей газеты...* — альманах газеты «Петербургский глашатай», издаваемой И. В. Игнатьевым.

...начался пятый толстый том «Критики о моем творчестве»... — Северянин пишет о пятом томе книг-тетрадей, в которые он собирал вырезки из журналов и газет о своем творчестве. К 1918 г. у него было 18 таких тетрадей. В очерке «Из воспоминаний о К. М. Фофанове» Северянин написал, что оставил их у одного из своих знакомых, В. Н. Башкирова-Верина. Ныне их судьба неизвестна.

4. *...Ваш щедрый и прекрасный дар нашему изданию.* — Речь идет о стихотворении, посвященном Игорю Северянину (см. о нем выше).

5. *...«Русскую мысль» с Вашим обзором текущей поэзии...* — см.: Русская мысль. 1912. № 7.

...собирал по просьбе С. А. Венгерова био-библиографические о себе сведения... — В вышедший в свет словарь «Русская литература XX века» (изд. т-ва «Мир») статья о творчестве Игоря Северянина не вошла.

6. *...новый драгоценный дар...* — стихотворение «Игорю Северянину (Сонет-акростих с кодою)» для альманаха «Орлы над пропастью» (СПб., 1912). Ответ Северянина — «Валерию Брюсову». Сонет ответ (Акростих) — вошел в сборник «Златолира».

7. *...мой «Эпилог» выйдет на две недели позднее назначенного срока.* — Речь идет о брошюре Северянина «Эпилог Эго-футуризм». Экземпляр с дарственной надписью В. Я. Брюсову хранится в Музее книги РГБ: «Мне дорогому Валерию Брюсову — Игорь-Северянин. 1912. XII. 8».

...15—20 избранных пьес ~ для Вашей «Русской мысли». — Игорь Северянин послал Брюсову 15 стихотворений, автографы которых в настоящее время хранятся в Отделе рукописей РГБ. Среди них «Газэлла», «Повсеместная», «Шампанский полонез», «Bercеuse осенний», «Virelai», «На летуне».

8. *...принимаю первое из Ваших любезных предложений...* — выступление Северянина в Москве в Обществе свободной эстетики состоялось 20 декабря 1912 г. На нем присутствовали Б. Пастернак, В. Ходасевич и др.

...о втором Вашем предложении... — скорее всего, речь идет о подготовке новой книги стихов Северянина. Позже поэт так вспоминал о разговоре с Брюсовым по этому поводу: «Разговор наш длился около часа. Он настойчиво советовал мне подготовить к печати большой сборник стихов, повыбрав их из моих многочисленных брошюр.

— Это совершенно необходимо, — говорил он. — На что можно рассчитывать при тираже в сто экземпляров, при объеме в 12—20 страниц? Да вдобавок, как Вы сообщаете, брошюры Ваши почти целиком расходятся по редакциям "для отзыва" и в продажу поступает, быть может, одна четверть издания» (5, 30).

10. *Иоанна Матвеевна* — И. М. Брюсова, жена Брюсова.

Новогодье я встречал у милого Федора Кузьмича... – Речь идет о праздновании Нового 1913 г. у Ф. К. Сологуба.

11. *«Тоска о Сканде. На память Валерию Брюсову».* — Вошло в книгу Северянина «Златолира».

12. *...из Симферополя послал свою книгу...* — речь идет о книге «Громокипящий кубок».

В настоящее время печатается второе издание моей книги... — второе издание «Громокипящего кубка» вышло 26 августа 1913 г.

Приготовляю к осени 2-й сборник. — «Златолира» вышла в свет 4 марта 1914 г.

...особенно близка мне последняя строфа... — Последняя строфа стихотворения «В том же парке» (6—7 июля 1912):

Он был, он есть, — без перемены
Он будет жить в стихе моем.
Как имя нежное Елены,
Сплетенное с мелькнувшим днем.

13. Письмо датируется по штемпелю на почтовом конверте «3. II. 13».

«Открытка Валерию Брюсову» — Северянин включил это стихотворение в 3-е издание книги «Ананасы в шампанском» (1916; раздел «Незабудки в канавках»).

14—15. Написаны из поселка Тойла (Эстония), где Северянин жил с 1918 г.

К письмам присоединено стихотворение Игоря Северянина «Валерию Брюсову». Список рукой И. М. Брюсовой со ссылкой на сб.: Соловей. Поэзы. Изд. Акц. О-ва «Накануне», Берлин, 1923 г.

ВАЛЕРИЮ БРЮСОВУ

Нежны berceuse'ные рессоры —
Путь к дорогому «кабаку».
В нем наша встреча, — после ссоры, —
Меж наших вечеров в Баку.

Я пил с армянским мильонером
Токай, венгерское вино.
В дыму сигар лилово-сером
Сойтись нам было суждено.

Походкой быстрой и скользящей,
Мне улыбаясь, в кабинет
Вошли Вы тот же весь блестящий
Стилист, философ и поэт.

И вдохновенно Вам навстречу
Я встал, взволнованный, и вот —
Мы обнялись: для новой речи,
Для новых красок, новых нот!

О, Вы меня не осудили
За дерзкие мои слова, —
И вновь певцу лесных идиллий
Жизнь драгоценна и нова!

Я извиняюсь перед Вами,
Собрат, за вспыльчивость свою
И мне подвластными стихами
Я Вас по-прежнему пою!

Игорь Северянин

<1918>

А. Д. СКАЛДИНУ
(с. 95)

Скалдин Алексей Дмитриевич (1889—1943) — поэт, прозаик, критик, один из организаторов Общества поэтов, где 10 апреля 1913 г. выступил с

докладом «О содружестве муз». Как и Северянин, Скалдин был завсегдатаем артистического кабаре «Бродячая собака».

Письма Северянина А. Д. Скалдину печатаются впервые по рукописи (РГАЛИ).

2. *...украсит наш альманах...* – речь идет об альманахе «Орлы над пропастью»(1912), где стихотворение Скалдина было напечатано.

М. Л. ЛОЗИНСКОМУ
(с. 96)

Лозинский Михаил Леонидович (1886–1955) – поэт, переводчик, окончил Петербургский университет. С 1911 г. участвовал в объединении акмеистов «Цех поэтов», был редактором-издателем журнала «Гиперборей», в котором печатались Гумилев, Ахматова, Мандельштам и другие акмеисты, в том числе сам Лозинский.

Открытое письмо Северянина М. Л. Лозинскому было напечатано во 2-м номере журнала (СПб. Ноябрь 1912. С. 29). За ним следовало письмо аналогичного содержания за подписью Георгия Иванова и Грааля Арельского. По этому поводу Лозинский обращался к Граалю Арельскому (С. С. Петрову) 19 ноября 1912 г.:

«Многоуважаемый Степан Степанович,

В выходящем на днях № 2 Гиперборея будут напечатаны письма в редакцию Игоря Северянина, заявляющего о своем выходе из кружка "Ego" и о прекращении сотрудничества в изданиях "Петербургского глашатая", и Георгия Иванова, при сем прилагаемое. Может быть, Вы присоедините по письму Г. Иванова Вашу подпись. В таком случае будьте добры сообщить мне об этом возможно скорее, чтобы не задерживать выхода номера.

Жму Вашу руку
М. Лозинский, Волхов<ский> пер. 2, кв. 27. Тел. 577-63».

(ОР РНБ)

Из содержания очевидно, что северянинское письмо было написано до 19 ноября 1912 г. К этому времени Северянин опубликовал открытое письмо о выходе из кружка эгофутуристов в газете «Биржевые ведомости» и выпустил (под маркой «Ego») брошюру № 35 «Эпилог Эгофутуризма».

Письмо Северянина М. Л. Лозинскому печатается по тексту журнала «Гиперборей».

М. Г. – Милостивый государь.

«Ego» – кружок и издательство эгофутуристов, существовавшие с конца 1911 г. После ссоры Северянина с Олимповым и ухода Г. Иванова и Арельского к акмеистам объединение распалось. В. Шершеневич приводит

письмо Северянина к нему: «Любезный почитатель! Издательство "Эго" ликвидировано и книги распроданы. Был бы весьма рад исполнить ваш заказ, но увы! Пишите, я оботвечу все вопросы. Ликвидатор "Эго" — Лотарев» (Мой век, мои друзья, мои подруги. М., 1990. С. 487).

«Петербургский глашатай» — газета эгофутуристов под редакцией И. В. Игнатьева (см. очерк Северянина «Газета ребенка», 1924).

Н. С. ГУМИЛЕВУ
(с. 97)

Гумилев Николай Степанович (1886—1921) — поэт, драматург, критик, теоретик акмеизма. В «Письмах о русской поэзии» в 1910—1911 гг., задолго до выхода «Громокипящего кубка», Гумилев сочувственно упоминал Северянина: «...его стих свободен и крылат, его образы подлинно, а иногда и радующе неожиданны, у него уже есть свой поэтический облик». Поэты встречались и в подвале «Бродячей собаки», и на поэтических вечерах, и в Царском Селе, в доме Гумилева и Ахматовой. В стихотворении «Слава» (1918) Северянин писал:

Мне первым написал Валерий,
Спросив, как нравится мне он;
И Гумилев стоял у двери,
Заманивая в «Аполлон».

Сотрудничество Северянина с Гумилевым не состоялось, в октябре 1912 г. началось его сближение с Сологубом и Чеботаревской, с которыми в феврале-марте 1913 г. он отправился в свое первое турне по городам России.

Письмо Северянина Н. С. Гумилеву впервые опубликовано в кн.: *Гумилев Н.* Неизданное и несобранное. Paris, 1986. С. 141. Печатается с уточнениями по рукописи (РГАЛИ).

Анна Андреевна — А. А. Ахматова.

Л. Д. РЫНДИНОЙ
(с. 98)

Рындина Лидия Дмитриевна (наст. фам. Брылкина; 1883—1964) — актриса, писательница, вторая жена поэта и издателя Сергея Кречетова (Сергея Александровича Соколова), основателя издательства «Гриф», в котором печатались книги Северянина.

В Москву Лидия Рындина переехала из Варшавы в 1906 г. по романтической причине: во время поездки с отцом в Германию она познакомилась со своим будущим мужем. Официально она стала женой Соколова после его развода с Ниной Петровской, с ноября 1907 г.

С Северяниным Рындина познакомилась в конце 1912 г., увлекла Северянина и сама не осталась равнодушной к поэту и его таланту. В своем дневнике (запись от 13 февраля 1913 г.) она писала: «И главное в моей жизни этот год я скажу в конце сегодняшнего дневника, – это Игорь, да, Игорь Северянин, что говорит, что полюбил меня, что дарит мне свои стихи, что пишет их о мне, что проводит со мной долгие ночи. Я прихожу из театра <...> одеваю свой белый чепчик и сижу, и говорим, говорим, и целуемся, и я, не любя, – как-то люблю, и нет сил оттолкнуть, и люблю Сергея, но и Игоря. <...> Душа Игоря мне близка, мучительно тянет меня к себе его талант...» (Из дневников Л. Д. Рындиной / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. Н. А. Богомолова // Лица: Биографический альманах. 10. СПб., 2004. С. 211). Позже Л. Д. Рындина написала короткие, довольно сдержанные и критичные воспоминания о Северянине (*Рындина Л.* Ушедшее // Мосты. Мюнхен, 1961. № 8).

В изданной Сергеем Кречетовым книге «Громокипящий кубок» Северянин посвятил Л. Д. Рындиной стихотворение «Качалка грёзэрки», написанное еще до знакомства с ней в 1911 г., целиком вторую изданную в «Грифе» книгу стихов «Златолира» (1914), а также стихотворение «Рондо» («Читать тебе себя в лимонном будуаре...», 1914), вошедшее в книгу «Ананасы в шампанском» (1915).

В 1914 г. актриса с особенным успехом выступала с чтением стихов Северянина, например, на поэзоконцерте Северянина в Политехническом музее в Москве 30 марта 1914 г. В одном из отчетов о вечере, в частности, говорилось: «Л. Д. Рындина в своеобразной манере чтения, острой, как иглы шампанского, дала ту изысканную и несколько пряную утонченность, которая составляет душу поэзии Северянина» (Рампа и жизнь. 1914. № 4. С. 13; см. также: Московская газета. 1914. 31 марта).

В этом же 1914 г. в издательстве «Гриф» вышел юбилейный сборник «Грифа», в котором было опубликовано восемь новых стихотворений Северянина: «Поэза предвесенних трепетов», «Гризель», «Катастрофа», «Балтийское море», Зинаиде Гиппиус, «Невыразимая поэза», «Невод грёз», «Майская песенка», «27 августа 1912 года» (Юбилейный альманах «Гриф». 1903–1913. С портретами и факсимиле 29 авторов. СПб., 1914).

Ранние письма Рындиной Северянин по ее просьбе уничтожил, другие остаются неизвестными.

Письма Игоря Северянина № 1, 8 (в сокращении) и 9 впервые опубликованы Н. А. Богомоловым в указ. выше публикации. В настоящем издании публикуются впервые по автографам (РГАЛИ).

1. Датируется по содержанию письма. Обращение на «Вы» свидетельствует о начальной стадии знакомства Северянина и Рындиной, т. е. до первой записи о встречах с Игорем в дневнике Рындиной (13 февраля 1913 г.). Кроме того, январем 1913 г. помечено стихотворение «Одно из

двух» («Ты в жизнь вошла в колье жемчужном...»), о котором упоминается в письме № 8.

Сологубы в это время покровительствовали Северянину: он встречал в их семье Новый 1913-й год; в феврале получил предисловие Ф. Сологуба к «Громокипящему кубку», в марте отправился с ними в турне.

2. Датируется по содержанию.

3. *Я переехал ~ вместе с Еленой и Валерией...* — Речь идет о гражданской жене Северянина в 1912—1915 гг. Елене Яковлевне Золотаревой и их дочери Валерии Игоревне Семеновой. См. «Замужница» (1912).

Глебова — О. Н. Глебова-Судейкина.

Сергей Алексеевич — С. А. Соколов (псевд. С. Кречетов; 1878—1936), муж Рындиной, поэт, издатель, владелец издательства «Гриф».

...вновь поедем, — во второе, — турнэ... — второе турне с Сологубами не состоялось. См. письмо № 8.

4. *...сердится ли еще А<настасия> Н<иколаевна>?* — Первая размолвка Северянина и Чеботаревской произошла в апреле 1913 г., когда он, прервав выступления с Сологубами в Тифлисе, вернулся в Петербург. Судя по письмам к Рындиной, Чеботаревская могла ожидать посвящения ей новой книги Северянина. В реальности ей посвящено лишь стихотворение «Лучистая поэза». Отзвуки этих ссор слышны в очерке Северянина «Салон Сологуба».

5. *Много читаю (в особенности Метерлинка)...* — см. в «Златолире» новеллу «Отравленные уста» с эпиграфом из Метерлинка.

6. *Мейерхольд Всеволод Эмильевич* (1874—1940) — режиссер, творчеством которого Северянин восхищался (см. стих. «Изольда изо льда»). В январе 1913 г., сообщая Всеволоду Мейерхольду о планах создания собственного кабаре, Чеботаревская замечала: «Между прочим, Игорь Северянин написал маленькую вещицу, очень милую, которая могла бы пойти в программе».

7. Сохранился конверт с адресом: «Москва, Тверская, Пименовский пер., д. 2, кв. 20. Евр <Ее Высокородию> Лидии Дмитриевне Соколовой». Конверты с тем же адресом сохранились у писем № 13, 14.

2-е издание — речь идет о «Громокипящем кубке».

Елена — Е. Я. Золотарева.

Валерий Яковлевич — В. Я. Брюсов.

Парнок — София Яковлевна Парнок (1885—1933), поэт, переводчик.

Книга Нелли — См. подробнее: *Лавров А. В.* «Новые стихи Нелли» — литературная мистификация Валерия Брюсова // Памятники культуры. Новые открытия. 1985. Л., 1987. С. 70—96.

8. «Златолира» вышла с надписью: «Посвящается Л. Д. Рындиной».

«Одно из двух» — стихотворение вошло в сб. «Victoria Regia».

«Эстетика» — Общество свободной эстетики в Москве, где 20 декабря 1912 г. состоялся дебют Северянина.

10. Написано на бланке Лондонской гостиницы в Одессе.

Спутники веселые... — Северянин выехал в турне по Крыму 26 декабря 1913 г. вместе с Маяковским, затем к ним присоединился Д. Бурлюк и принимавший их «меценат из купцов» В. И. Сидоров (псевд. Баян). В конце января Северянин вместе с Сидоровым, Ховиным и Софьей Шамардиной (псевд. Эсклармонда Орлеанская) предпринял собственную поездку по югу Украины. См. воспоминания Вадима Баяна (Арион. 1997. № 1).

11. *...будешь работать над своей книгой.* — Рындина работала над переводом рассказов Марселя Швоба. Издание было конфисковано за порнографию.

12. *...предводительствовать.* — это рассуждение Северянина связано с его стихотворением «Мой ответ»: «...Тогда ваш нежный, ваш единственный, / Я поведу вас на Берлин!»

13. *Ртищева* — лицо не установлено.

«Кальвиль» — о какой пьесе (поэзе) идет речь, не установлено.

Балиев — Никита Федорович Балиев (1877—1936), владелец кабаре «Летучая мышь».

А. И. ТИНЯКОВУ
(с. 110)

Тиняков Александр Иванович (псевд. Одинокий; 1886—1934) — поэт, критик, журналист, неоднократно писал о стихах Северянина. Он отзывался критически о пристрастии поэта к урбанизму: «Не страшно ли от стиха Тютчева о Космосе дойти до стишков Северянина о моторе».

Письма Северянина А. И. Тинякову печатаются впервые по рукописи (ОР РНБ).

1. *...исполняю Вашу просьбу...* — речь идет о книге Северянина «Громокипящий кубок» (март 1913).

...вернулся из турнэ... — Северянин выступал вместе с Сологубом и Чеботаревской в 20 городах России.

2. *Масаинов, Виноградов* — *Масаинов* Алексей Алексеевич, поэт, выступал на поэзовечерах Северянина, печатался вместе с ним в альманахе «Очарованный странник», в сборниках «Мимозы льна. Поэзоальманах

2-х» (1916), «Остров разочарований. Альманах 2-х» (1917). В 1920 г. эмигрировал, выпустил в Париже сборник «Отходящие корабли» (1924), затем жил в Америке, скончался на Таити.

Виноградов Андрей, поэт из окружения Северянина, выступал на его поэзовечерах, участвовал в альманахе новых поэтов «Винтик» (1915) вместе с Северянином, Масаиновым, Толмачевым.

3. *...выступить и завтра в моем вечере...* — Тиняков участвовал в поэзовечере Северянина в зале Петровского училища 6 февраля 1915 г.

Только сегодня вернулся... — Северянин вернулся после выступлений в Харькове.

Т. Л. ЩЕПКИНОЙ-КУПЕРНИК (с. 111)

Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874—1952) — писательница, правнучка известного актера М. С. Щепкина, более всего известна переводами западноевропейских пьес (Э. Ростана, Лопе де Вега, Мольера, Гольдони, Р. Б. Шеридана).

Стихотворения Т. Л. Щепкиной-Куперник, а также Изабеллы Гриневской, Мирры Лохвицкой, Allegro, К. Д. Бальмонта и др. Северянин предполагал поместить в одном из выпусков своего сборника стихотворений «Мимоза», о чем дал объявление на второй стороне обложки 2-го сборника «Мимоза» (1906). Но сборники под этим заглавием больше не издавались.

Северянин был знаком и состоял в переписке с Щепкиной-Куперник. Северянин получал письма от нее, живя в городе Иеве в Эстляндии. Об этом поэт написал в стихотворении «Почтальон», датированном «1918. Петроград» («Письмо от Щепкиной-Куперник / Он мне в окно передает»).

Известно одно письмо Северянина к Щепкиной-Куперник.

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ).

Датируется по содержанию с учетом датировки дарственной надписи на книге «Эпилог "Эго-футуризм"»:

«Татиане Львовне Щепкиной-Куперник — идеальной русской женщине и солнечной поэтессе с благоговением. Игорь Северянин. 1913».

Книжку я Вам выслал и буду очень рад иметь Вашу. — В ответ на отправленную Т. Л. Щепкиной-Куперник книжку «Эпилог "Эго-футуризм"» Северянин мог ожидать ее недавно вышедшую книгу «Облака. Сб. стихов» (М., 1912).

Т. Г. КРАСНОПОЛЬСКОЙ-ШЕНФЕЛЬД
(с. 112)

Краснопольская-Шенфельд Татиана Генриховна — писательница, переводчица, входила в Общество поэтов, выступала там с докладами. Посещала артистическое кабаре «Бродячая собака». В романе «Над любовью» (1915) изобразила завсегдатаев кабаре, в том числе Маяковского, и проводы итальянского футуриста Томмазо Маринетти, которые состоялись 5 февраля 1914 г. Тогда же в журнале «Весна» (1914. № 2) Краснопольская-Шенфельд и Северянин напечатали свои стихи. Кроме того, Северянин написал ей стихотворения «Октава» (август 1910 г.) и «Заклинание» (май 1914 г.) — оба с посвящением «Татиане Краснопольской». В эмиграции Краснопольская выпустила книгу «Человек оттуда» (Берлин, 1922). Северянин встречался с писательницей в 1931 г. в Софии.

Настоящее письмо Северянина хранится в ОР РГБ как письмо к неустановленному лицу. Однако то обстоятельство, что дата вечера в «Бродячей собаке» 5 февраля 1914 г., на котором могли встретиться Т. Г. Краснопольская и Северянин, близка дате его поэзовечера, 9 февраля, — позволяет считать адресатом письма именно Краснопольскую-Шенфельд. Кроме того, в литературных кругах Петербурга только ей принадлежало полнозвучное имя «Татиана Генриховна».

М. Б. ЧУКОВСКОЙ
(с. 113)

Чуковская Мария Борисовна (1880—1955) — жена К. И. Чуковского. В 1910-е гг. семья Чуковских имела дачу на берегу Финского залива в поселке Куоккала (ныне Репино). Их соседями были художники Иван Пуни и его жена Ксения Богуславская, Юрий Анненков, Борис Григорьев, драматург Николай Евреинов, поблизости находился дом И. Е. Репина. Весной и летом 1915 г. здесь часто бывали Владимир Маяковский, гостивший у Чуковских, и Игорь Северянин, давний приятель Пуни. От этих встреч в альбоме «Чукоккала» остались пародии на Северянина, написанные Тэффи и А. Н. Толстым, и воспоминания К. И. Чуковского: «В стихах Северянина нас поразило сочетание сильной и высокой лиричности с дешевым снобизмом».

Письмо сохранилось в копии, сделанной в 1940 г. с оригинала рукой М. Б. Чуковской и заверенной подписью К. И. Чуковского. Вероятно, копия предназначалась для готовившегося тогда сборника «В. В. Маяковский. Материалы и исследования», но по каким-то причинам письмо тогда не было опубликовано. Оно не вошло и в полное собрание сочинений В. В. Маяковского в 13 томах. Печатается впервые по копии (РГАЛИ).

По сведениям М. Б. Чуковской, оригинал был написан рукой Северянина и мог быть датирован летом 1914–1915 гг. Поскольку Маяковский начал бывать в Куоккале в 1915 г., письмо датируется так.

В. Пуни – очевидно, Ваня Пуни.

В. В. ПАШУКАНИСУ
(с. 114)

Пашуканис Викентий Викентьевич (1879–1920) – поэт, издатель. Родился в Москве, в 1902 г. окончил математический факультет Московского университета, работал секретарем издательства символистов «Мусагет», затем стал его владельцем. Андрей Белый, Валерий Брюсов, Валентин Серов, Александр Блок ценили феноменальную эрудицию, любовь к литературе, доброжелательный характер Пашуканиса. Особенно важную роль он сыграл в судьбе Игоря Северянина. В 1915 г. Пашуканис начал издавать собрание его поэз (т. 1–4, 6), выпустил книгу «Критика о творчестве Игоря Северянина». Издательство было закрыто в середине 1918 г., вскоре после отъезда Северянина в Эстонию. 14 октября 1918 г. Пашуканис стал сотрудником Музейного отдела Народного комиссариата просвещения, спас значительные культурные ценности из разоренных поместий. В одном из отчетов он писал: «Сокровища дворца – около ста пудов золота и серебра были перевезены в Москву и сданы в Исторический музей». 12 декабря 1919 г. Пашуканис был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и постановлением тройки ВЧК 13 января 1920 г. приговорен к расстрелу.

Северянин писал в очерке «О творчестве и жизни Фофанова» (1923), что Пашуканис, «тонкий, интеллигентный издатель», расстрелян, и жалел, что не успел сделать с ним книгу стихов К. М. Фофанова.

Письма Северянина В. В. Пашуканису хранятся в ОР РГБ и печатаются впервые по автографам.

1. *Штемпель на открытке* – Александровск-Екатеринославский (ныне Запорожье). Датируется по времени пребывания в Александровске-Екатеринославском – 23 декабря 1915 г., та же дата и город указаны под стихотворением «Медовая поэза».

Адрес получателя: Москва, Большая Никитская, 17, кв. 11. В. В. Пашуканису.

...посылаю корректуру «Ананасов» – речь идет об издании книги «Ананасы в шампанском» в составе собрания поэз с вклеенными портретами автора.

...изд<аний> «Наших дней»... – в издательстве «Наши дни» выходили в 1915 г. книги «Ананасы в шампанском» и «Victoria Regia».

При 2-м издании «Критики»... — вероятно, Северянин извинялся за то, что не успел вычитать набранную рукопись книги «Критика о творчестве Игоря Северянина».

2. Список опечаток к 1-му изд. Собр. соч. Игоря Северянина; «Громокипящий кубок» <1915 г.> т. 1. (изд. В. В. Пашуканиса). Датируется временем подготовки 1-го тома Собрания сочинений Игоря Северянина.

Наиболее грубые смысловые искажения отмечены в следующих стихотворениях:

С. 39. Намеки жизни — 1-я строка.

С. 77. Секстина — 1-я строка

С. 121. Полярные пылы — 4-я строка.

С. 136. Балькис и Вальтазар — подзаголовок.

С. 139. Городская осень — 23-я строка.

С. 186. Поэза вне абонемента — 16-я строка.

С. 190. Эпилог — 30-я строка.

3. Датируется по почтовому штемпелю.

Бельск — имение близ Луги, к северу от Петербурга, где Северянин и М. Домбровская провели лето-осень 1916 г.

4. Вместе с письмом в архиве хранится записка Северянина, очевидно, к Пашуканису по поводу стихов неустановленного автора:

«Конечно, если автору всего 15 лет, эти пьесы значительны содержанием. Во всяком случае влияние Блока несомненно. Лично меня, впрочем, эти стихи оставляют холодным: рассудочность и, знаете, такая... умудренность.

И.-С.».

А. Д. БАРАНОВОЙ
(с. 116)

Баранова Августа Дмитриевна (урожд. Кабанова; 1891—1975) — дочь московского купца, окончила гимназию с золотой медалью, в 1912 г. вышла замуж за юриста А. А. Баранова (1855—1920). После смерти мужа Баранова в 1921 г. уехала с сыном Асафом в Швецию, работала в Российской железнодорожной миссии. В 1929 г. вышла замуж за Ф. Ф. Перно (1881—1937) и жила в Берлине. В 1940 г. вернулась в Швецию и продолжила филателистическую деятельность мужа. Знакомство с Северяниным произошло в 1916 г., тогда же написано стихотворение «Поэза странностей жизни», посвященное А. Д. Барановой. Сохранились подаренные супругам Барановым нумерованные экземпляры № 2 книг «Громокипящий кубок» и «Victoria Regia» и пропуск на все поэзовечера Северянина. Последний раз они виделись 3 (16) февраля 1918 г. (дата под списком «Поэзы последней

надежды»). В дальнейшем Баранова в течение пятнадцати лет переписывалась с поэтом и оказывала ему постоянную моральную и материальную поддержку. «Не только у Чайковского была фон Мекк, — признавался поэт, — и у Северянина есть сейчас меценатка...». Сохранившиеся 96 писем Северянина к А. Д. Барановой являются важнейшим источником сведений о зарубежном периоде жизни и творчества поэта. Они были опубликованы в книге: *Северянин Игорь*. Письма к Августе Барановой 1916—1938 / Сост., подг. текста, введ. и коммент. Б. Янгфельдта и Р. Крууса. Stockholm, 1988. Перепечатываются с любезного разрешения Бенгта Янгфельдта. В примечаниях частично использованы комментарии Б. Янгфельдта и Р. Крууса.

1. *Мария Васильевна* — М. В. Домбровская.

Вера Георгиевна — подруга Барановой.

Мария Асафовна — М. А. Баранова, сестра мужа А. Д. Барановой.

Асаф Асафович — А. А. Баранов.

Георгиевский переулок — по-видимому, Северянин посетил дом Барановых в Москве, на Спиридовке.

2. *Макар Дмитриевич* — М. Д. Кабанов, брат Барановой, жил и работал в Москве. См. далее о связанном с ним стихотворении «Ночь на Алтае».

3. *...выразим все наше горе...* — соболезнования по поводу смерти А. А. Баранова 21 июня 1920 г.

4. Начиная с этого письма, Северянин адресовал письма в Стокгольм.

Вера Асафовна — В. А. Линделеф, сестра А. А. Баранова.

5. *Ляцкий* — Ляцкий Евгений Александрович (1868—1942), автор монографий о Гончарове, Чернышевском, эмигрировал в Швецию, где основал издательство «Северные огни»(1920—1921). Переехав в Прагу, Ляцкий основал новое издательство — «Пламя» (1923).

6. *«Mon repos»* — «Мой отдых» (*фр.*), название ресторана в Таллине, где выступал Северянин (см. стихотворение «Villa Mon repos»).

Фелисса Крут — Круут Фелисса Михайловна, жена Северянина в 1921—1935 гг., писала стихи на эстонском и русском языках (см. письма к Ф. М. Круут).

7. *21.XII женился...* — Северянин венчался с Ф. М. Круут в православном соборе Юрьева (ныне Тарту). Это был единственный законный брак поэта.

8. *«Утесы Eesti»* — книга переводов вышла в 1929 г. под названием «Поэты Эстонии».

«Предцветенье» – книга стихов эстонской поэтессы Марии Ундер (1883–1980) вышла только в 1937 г. в Таллине.

«Amores» – книга переводов эстонского поэта Г. Виснапу издана в Москве (1922).

Эссен – Александр Карлович Эссен, «Принц Лилии» (см. «Поэза принцу Лилии»), крестный отец сына Северянина – Вакха.

Мадлэн – Елена Ивановна Новикова, адресат стихотворений «В березовом котедже», «Это все для ребенка», «Лесофея», «Поэза для Мадлэны» и др.

Злата – Евгения Менеке (урожд. Гутцан; 1887–1951) в 1914 г. вышла замуж за немецкого инженера и уехала в Берлин. В октябре 1922 г. она помогла Северянину устроиться в Берлине, где он также встретился со своей дочерью от Златы – Тамарой Шмук.

Башкиров – Борис Николаевич Башкиров-Верин, поэт, получивший от Северянина титул «Принц Сирени». Ему посвящена книга Северянина «Соловей».

Северянка – по мнению М. Петрова и Л. Городицкого, это одна из «северянисток» – А. Воробушкина, адресат стихотворения «Это было у моря» (*Городицкий Л.* «О славе своей не забочусь...». Hannover, 1999. С. 64).

Правдин – Борис Васильевич Правдин (1887–1960), поэт, историк литературы. Северянин дал ему титул «Принца Нарциссов».

«Тост» – сб. «Тост безответный» (М., 1916).

9. *Прокофьев* – Сергей Сергеевич Прокофьев (1891–1953), композитор, встречался в Берлине осенью 1922 г. с Северяниным и Маяковским. Переписка Прокофьева с Северяниным не сохранилась.

Минский Николай Максимович (наст. имя Виленкин; 1885–1937), поэт, философ, 14 ноября 1922 г. был избран председателем правления берлинского Дома искусств.

Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867–1941), критик, специалист по английской литературе.

Василевский Илья Маркович (псевд. Небуква; 1882–1938), журналист.

...был у Гзовской – Ольга Владимировна Гзовская (1889–1962), актриса, эмигрировала в 1920 г. Выступала с чтением стихов Северянина в Эстонии, этому посвящен его «Сонет Ольге Гзовской» (1921). О встречах в Берлине Северянин написал в стихотворении «У Гзовской» (1923).

Вакх – сын Северянина и Ф. М. Круут родился 1 августа 1922 г.

10. *Кайгородова* Маргарита Карловна – жена художника А. Д. Кайгородова.

11. *Долидзе* Федор Ясеевич (1883–1977) – импресарио, организатор выступлений Северянина, Маяковского и др.

...маленький дар — стихи... — к письму были приложены стихи «Солнечной женщине».

13. *«Плимутрок»* — одноактная «комедия-сатира».

«Калевипоэг» — эстонский эпос, издан в 1857—1861 гг. Перевод Северянина не состоялся.

Feliss — Фелисса Круут.

15. *При такой системе...* — Начиная с этого письма, Северянин и Баранова переписывались по предложенной поэтом системе. Ср. открытку Барановой от 14.4.1923 г.: «Ваше письмо от 4.IV мною получено. Ваша "выдумка-система" привела меня в восторг! С одинаковой аккуратностью и открытой душой я буду выполнять Ваши обе просьбы: каждую "субботу" открытку и каждое первое число "чек"».

Асаф, Ася — Асаф Асафович, сын Барановой (1914—1994?).

16. На просьбу о 220 кронах Баранова ответила 21.IV.1923, что эта сумма ей совершенно не под силу.

17. *...трилогия не знает времени.* — Трилогия Алексея Константиновича Толстого (1817—1875), любимого писателя Северянина: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис».

26. *Колонтай* Александра Михайловна (урожд. Домонтович; 1872—1952), троюродная сестра Северянина, в октябре 1922 г. уехала на дипломатическую работу в Норвегию, откуда написала Северянину 2 письма. В 1924 г. познакомилась с А. Д. Барановой.

35. *...первое стихотв<орение> было помещено 1-го февраля 1905 г.* — точнее, первое опубликованное стихотворение «К предстоящему выходу Портартурской эскадры» было напечатанов виде брошюры в сентябре 1904 г.

Костанов Петр Маркович, учитель музыки, приятель Северянина по Петербургу; ему посвящено стихотворение «Купание звезд». Его сестра Анаида вышла за кн. Оболенского.

38. *...новый большой роман* — речь идет о книге «Рояль Леандра» (Lugne), вышедшей в 1935 г. в Бухаресте.

41. *Липковская* Лидия Яковлевна (1884—1958), певица, колоратурное сопрано.

Юрьевская, Аксарина — оперные певицы.

Чириков Евгений Николаевич (1864—1932), писатель, в эмиграции жил в Праге. Сохранилась книга Чирикова «Семья» (1925) с дарственной надписью: «Милому душе Игорю Северянину с искренним расположением». Северянин посвятил ему стихотворение «Модель парохода (Работа Е. Н. Чирикова)» (1925) и сонет «Чириков» (1926).

Немирович-Данченко Василий Иванович — писатель.

42. *...вертикальная кроватка Shimmi и Fokstrott'a...* — Северянин резко высказывался против «порнографичности» танцев шимми и фокстрот. В стихотворении «Фокстрот» он пояснял образ «кроватки»: фокстрот — «кровать из публичного дома, / поставленная вертикально / в рискованнейшее мгновение / слияния любви покупной».

Крыжановская-Рочестер Вера Ивановна (1871—1924), писательница, автор оккультных романов «Смерть планеты», «Эликсир жизни» и др.

43. *...надолго ли в Берлине.* — А. Д. Баранова переехала в Берлин к Федору Федоровичу Перно и жила там до 1940 г.

44. *Русская опера Кузнецовой-Масснэ* — первый сезон открылся 27 января 1929 г. оперой «Князь Игорь».

45. *Это — молодой человек, учитель, поэт...* — Арсений Иванович Формаков (1900—1983), автор сборников «Вечера прошлого» (Рига, 1925), «В пути» (Двинск, 1926) и др.

Карсавина Тамара Платоновна (1885—1978) — балерина, эмигрировала в 1918 г.

50. *Гамалея Всеволод* Гаврилович (1883 — ок. 1942) и *Баринова* Мария Николаевна (1878—1956) — пианисты.

51. *...письмо М. Д.* — сохранилось переписанное рукой Барановой письмо Северянина к М. Д. Кабанову: «...Итак, Вы почувствовали Алтай, с давних пор меня к себе влекущий, воспетый мною в Петербурге. <...> Читали на бивуаке мои стихи, — горжусь такой декорацией! Как хотелось бы самому быть там, самому читать водопадам — "водопадам и облакам" (Гумилев) — какой, кстати, блистательный поэт. К сожалению, у меня всего 7 его книг». Стихотворение «Ночь на Алтае» было опубликовано в газете «Сегодня»(1930).

Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905) — украинский и русский писатель.

Шпильгаген Фридрих (1829—1911) — немецкий писатель, его собрание сочинений в 23 т. вышло в Петербурге в 1896—1899 гг.

Ожешко Элиза (1841—1910) — польская писательница.

53. *Юсуповы* — кн. Феликс Феликсович (1887—1967) и его жена, кн. Ирина Александровна (1895—1970).

57. *Спасибо за вырезку из «Руля»* — статья Сергея Горного «На выставке Л. Голубева» (Руль. 1931. 14 июня) была проиллюстрирована портретом Северянина работы художника Леонида Голубева-Багрянородного.

59. *gratis* — бесплатно.

61. *Массалитинов* Николай Осипович (1880—1961) — главный режиссер Народного театра в Софии.

Краснопольская-Шенфельд Татиана Генриховна — см. выше коммент. к письму.

Столица Любовь Никитична (урожд. Ершова; 1884—1934) — поэтесса, драматург, родилась в семье ямщика, автор сборников стихов «Раиня» (1908), «Лада» (1912), романа в стихах «Елена Деева» (1916). Эмигрировала в 1920 г. в Грецию, затем жила в Софии.

Федоров Александр Митрофанович (1868—1949) — писатель.

69. *Животовский* Сергей Васильевич (1869—1936) — художник, делал репортерские зарисовки для «Нивы», «Биржевых ведомостей» и др. В 1919 г. эмигрировал в Финляндию, с 1923 г. жил в Нью-Йорке.

86. *...прелестная дама из Петербурга* — Евдокия Владимировна Штрандель.

Посылаю Вам книжечку стихов... — речь идет о книге стихов Валентины Васильевны Берниковой «Хрупкие цветы» (Нарва, 1934).

88. *...послал Вам экземпляр «Медальонов»...* — в архиве А. Д. Барановой сохранилась книга с надписью: «Дорогой Августе Дмитриевне Перно в знак неизменного душевного влечения и сердечной признательности за все воистину дружеское и доброе, делаемое ею мне мне и семье моей десятки лет. Любящий Игорь-Северянин. Toila. Eesti. 20.XI.1934 г.».

...милая дама из Кишинева... — вероятно, Лидия Тимофеевна Рыкова.

90. *Мими* — Ольга Леонтьевна Мими-Вноровская, румынская знакомая Северянина, автор сборника «Стихотворения» (Бухарест, 1936).

95. *...моей теперешней верной подруги...* — Вера Борисовна Коренева (Коренди, урожд. Запольская), последняя жена Северянина.

96. *...выразить Вам свое соболезнование...* — Ф. Ф. Перно умер 5 ноября 1937 г.

А. С. ЯЩЕНКО

(с. 211)

Ященко Александр Семенович (1877—1934) — профессор международного права, журналист. Весной 1919 г. прибыл с научной командировкой в Берлин и отказался вернуться в Советскую Россию. В начале 20-х гг. стал одной из центральных фигур русского литературного Берлина. В 1921 г. основал и издавал журнал «Русская книга» (в 1922 г. выходил под названием «Новая русская книга»), ставший авторитетным справочным изданием по текущей русской литературе. Собирая материалы для первых номеров журнала, А. С. Ященко обратился к одному из самых прославленных

поэтов начала века Игорю Северянину с просьбой прислать библиографию. Справка об Игоре Северянине была опубликована в первом номере журнала «Русская книга». В следующем номере (1921. № 2) журнала была напечатана рецензия Дроздова на книги Игоря Северянина. В 1922 г. в журнале «Новая русская книга» публиковалась информация о выступлениях поэта с чтением стихов в Берлине (№ 9. С. 38; № 11–12. С. 28).

А. С. Ященко внимательно отнесся к просьбам поэта: выслал ему первый номер журнала «Русская книга» за 1921 г., а также вел переговоры с издателем А. С. Заксом об издании новых книг Северянина.

Письма Игоря Северянина А. С. Ященко публикуются по изданию: *Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О.* Русский Берлин. 1921–1923. Paris: YMCA-Press, 1983. С. 316–318.

1. *...эстонский издатель выпустил 3 книги моих стихов...* — речь идет о книгах «Crème des Violettes. Избранные поэзы» (1919. Тираж 3000 экземпляров); «Puhajogi. Эстляндские поэзы» (1919. Тираж 5000 экземпляров) и «Вервена. Поэзы 1918–1919 гг.» (1920. Тираж 3000 экземпляров), которые вышли в Юрьеве в издательстве «Odamees».

Если бы Вы в случайном разговоре с Заксом... — судя по содержанию второго письма, разговор А. С. Ященко с Заксом об издании книг Северянина состоялся. В берлинском издательстве А. С. Закса «Москва» летом 1921 г. вышел XII том «новейших» поэз Игоря Северянина «Менестрель» (тираж 3000 экземпляров); а в 1922 г. там же издана его книга «Миррелия. Новые поэзы. Т. VII» (тираж 3000 экземпляров).

...находясь в таком тяжелом положении. — См. справку о Северянине в «Русской книге» (1921. № 1. С. 31).

2. Северянин прибыл в Берлин осенью 1922 г.

Р. С. ЛЯХНИЦКОМУ
(с. 213)

Ляхницкий Ростислав Степанович (1878–1935) — редактор-издатель газеты «Последние известия», выходившей в Ревеле в 1920–1927 гг.

Письмо Северянина Р. С. Ляхницкому было опубликовано в газете 7 февраля 1925 г. Печатается по тексту газеты.

С. В. РАХМАНИНОВУ
(с. 214)

Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943) — композитор и пианист, автор известного романса на стихи Игоря Северянина «Маргаритки» (1909). Рахманинов знал стихи Игоря Северянина еще до выхода книги

«Громокипящий кубок». Двоюродная сестра композитора, А. Трубникова, вспоминала:

«1912 год. Лето. Ночью мы приехали в Ивановку.

Тогда процветал Игорь Северянин, и Н. Н. Лантинг (Девуля, как ее звали) увлекалась его стихами и читала их. Сережа подвергал эти стихи свирепой критике, больше дразня Девулю, а она с жаром их отстаивала» (Воспоминания о Рахманинове: В 2 т. / Сост., ред., примеч. и предисл. З. Апетян. 2-е изд., доп. М., 1967. Т. 1. С. 149, 498).

Рахманинов восхищался колыбельной А. Н. Александрова на слова Игоря Северянина («Пойте, пойте»). Композитор Александров вспоминал: «Не могу удержаться от удовольствия рассказать, как я был польщен, услышав потом от известного пианиста И. А. Добровейна, что Сергей Васильевич играл ему и пел наизусть мои романсы, особенно восхищаясь колыбельной на слова Игоря Северянина ("Пойте, пойте")» (*Александров А. Н.* Мои встречи с С. В. Рахманиновым // Воспоминания о Рахманинове. Т. 2. С. 181).

М. С. Шагинян по прошествии многих лет вспоминала: «Рахманинов находился в те годы в зените своей славы. Концерты его каждый раз сопровождались потрясающими овациями, многие "рахманисты" ездили за ним из города в город, чтоб присутствовать на этих концертах. Публика часто до глубокой ночи сторожила его у подъезда, не давая ему выйти, а из большой черной наемной кареты, увозившей обычно Рахманинова домой, очень часто приходилось, с помощью городовых, вытаскивать забившихся в неё фанатичных поклонниц. <...>

Несмотря на его "западноевропейскую" внешность, крайнюю подтянутость, застегнутость, сдержанность, даже высокомерие, усугубленное очень высоким ростом, заставлявшим его глядеть на собеседника сверху вниз, мы всегда чувствовали в нем русского, насквозь русского человека» (*Шагинян М.* Воспоминания о Сергее Васильевиче Рахманинове // Шагинян М. Собр. соч.: В 9 т. М., 1975. Т. 9. С. 371—374).

Известно, что Рахманинов оказывал материальную помощь в тяжелые годы жизни Северянина за границей. А. Формаков вспоминал о пребывании у Северянина в Тойле в 1926 г.: «Заодно показал и бланк очередного извещения Рахманиновского фонда из Нью-Йорка. Доллары из этого фонда приходили регулярнейшим образом — каждый квартал. Это у него была единственная постоянная статья дохода» (*Формаков А.* Встречи с Игорем Северяниным // Звезда. 1969. № 3. С. 178).

В коллекции В. Ф. Зеелера (Бахметевский архив, США) сохранилось адресованное ему письмо С. В. Рахманинова, в котором композитор упоминает о благотворительном взносе в пользу Северянина.

2. *Я живу ~ с женой и дочерью.* — С 1935 г. после разрыва с Ф. М. Круут Северянин жил с В. Б. Коренди и ее дочерью от первого брака в Таллине, а затем в Усть-Нарве.

Читали ли Вы мои стихи, несколько лет тому назад посвященные Вам? — Речь идет о стихотворении «Все они говорят об одном» (1927), вошло в книгу «Классические розы». Обстоятельства его написания точно неизвестны. Ю. Шумаков, ссылаясь на рассказ Б. Правдина, пишет, что «в 1926 году поэт побывал в Псковско-Печерском монастыре и стихотворение отражает впечатление от его посещения» (Сочинения, 446). Формаков описывает посещение Пюхтицкого монастыря вместе с Северяниным, Фелиссой Круут и ее сестрой и приводит текст этого стихотворения.

4. *Радостно благодарю Вас за портрет Ваш с надписью.* — Архив Игоря Северянина, в том числе портрет Рахманинова с дарственной надписью и письма Рахманинова к поэту сгорели во время бомбежки в дни Великой Отечественной войны.

Г. А. ШЕНГЕЛИ
(с. 217)

Шенгели Георгий Аркадьевич (1884—1956) — поэт, переводчик, теоретик стиха. Первая книга стихов «Розы с кладбища» вышла в 1914 г. В 20-е гг. издал несколько стиховедческих книг: «Трактат о русском стихе» (Ч. 1. 1921), «Практическое стиховедение» (1923), «Школа писателя» (1929). Книга «Как писать стихи и рассказы» (1926) выдержала 7 изданий.

С Северяниным, Д. Бурлюком, В. Баяном и В. Маяковским Шенгели познакомился зимой 1914 г. во время их гастролей по югу России. «Я уже с жадностью, — вспоминал о том времени Г. Шенгели, — проглотил "Громокипящий кубок": половину запомнив наизусть (память у меня "клинописная")». В 1916—1917 гг. Шенгели входил в ближайшее окружение поэта. В 1918 г. Северянин написал стихотворение «Георгию Шенгели» (вошло в сборник «Соловей»), где есть такие строки:

Ты, кто в плаще и в шляпе мягкой,
Вставал за дирижерский пульт!
Я славлю культ помпезный Вакха,
Ты — Аполлона строгий культ.

При содействии Шенгели в России были опубликованы стихотворения поэта в журналах «Красная новь» (1941. № 3), «Огонек» (1941, № 13). После смерти Северянина Шенгели написал стихотворение «На смерть Северянина» (опубл.: Таллин. 1984. № 4) и много сделал для сохранения литературного наследия поэта.

В настоящее время известно двадцать писем Северянина к Шенгели 1927—1941 гг. Сохранившиеся письма показывают, какое значение имели для Северянина письма друга, высоко ценившего его поэтический талант. В ответ на полученный от Северянина сборник последних стихов, подготовленный им к печати, Шенгели писал: «Я не мог не порадоваться, читая

Ваши стихи. Прежняя певучесть, сила, прежняя "снайперская" меткость эпитета. Какой Вы прекрасный поэт, Игорь Васильевич».

Письма к Георгию Шенгели впервые опубликованы в изданиях: *Коркина Е.* Георгий Шенгели об Игоре Северянине // Таллин. 1987. № 3; *Северянин Игорь.* Стихотворения и поэмы. 1918—1941 / Сост., послесл. и примеч. Ю. Шумакова. М., 1990. Ю. Шумаковым опубликованы по рукописям, которые были переданы ему вдовой Шенгели — Ниной Леонтьевной Шенгели (1893—1980) и хранятся в его личном архиве.

Письма печатаются по указанным выше изданиям с учетом комментария, сделанного Е. Коркиной, Ю. Шумаковым, В. Кошелевым и В. Сапоговым.

1. *...Ваш «Норд»...* — книга стихов Г. Шенгели «Норд» (М., 1927) с дарственной надписью автора: «Игорю Северянину — другу моей лирической весны. Г. Шенгели. 1927. 27. VIII. Москва.» хранится в Гос. лит. музее в Тарту.

...узнал о смерти Юлии Владимировны... — речь идет о первой жене Шенгели, с которой он развелся летом 1924 г. Она была жива. Северянин ошибся, неверно истолковав строки из стихотворения Шенгели из сборника «Норд» об умершей молодости: «О, как ты мучилась, как ревновала ты! / И тихо умерла второю ночью мая / О молодость моя! Тебя со мною нет!».

В 1921 г. умерла мама моя. — Мать Игоря Северянина умерла 13 ноября 1921 г. в возрасте 76 лет, похоронена в Тойла.

...я расстался, — наконец, — с М<арией> В<асильевной>. — Марией Васильевной Домбровской.

Ее зовут Фелиссой... — Ф. М. Круут.

2. *Смерть Ф<едора> К<узьмига>...* — Ф. К. Сологуб умер 5 декабря 1927 г.

3. *Вильно* — ныне Вильнюс, во время гастролей Северянина входил в состав Польши.

Двинск — ныне Даугавпилс.

...к одному местному поэту... — речь идет о Формакове Арсении Ивановиче (1900—1983), поэте, прозаике, литературоведе и музыканте.

...поэта, переводгика «Евгения Онегина»... — имеется в виду Бельмонт Лео (1865—1941), его перевод «Евгения Онегина» вышел в 1902 г.

Эльва — поселок, ныне город недалеко от Тарту.

...жену видного эстонского лирика... — Северянин упоминает о жене Генриха Виснапу.

4. *Из Toila уехал 7. III. 1935...* — После размолвки с Ф. М. Круут Игорь Северянин переехал в Таллин к Вере Борисовне Коренди (урожд. Запольская, по мужу Коренева; Коренди — эстонизированная форма фамилии).

...я очень рад, что мы с Вами граждане одной страны. — В 1940 г. Эстония воссоединилась с Россией. В этот период Северянин стал писать Шенгели значительно чаще, и тот, в свою очередь, помогал связям поэта с отечественными деятелями культуры и с московскими редакциями.

6. *...медлил с ответом на книгу.* — *Шенгели Г.* Избранные стихи. 1914—1939. М., 1939.

...вышлю две книжки Раннита и одну Виснапу. — Северянин обещает прислать книги своих переводов эстонских поэтов: *Ранит А.* В оконном переплете. Таллин: изд. Северянина, 1937; *Ранит А.* Via Dolorosa. Стокгольм: Северные огни, 1940; *Виснапу Г.* Полевая фиалка. Таллин, 1939.

Темин В. Л. — корреспондент «Огонька».

...стихотворение — «Старый Лондон». — Стихотворение не было опубликовано, хранится в архиве Ю. Шумакова.

8. *...два томика Байрона...* — Шенгели послал Северянину два томика Байрона в своем переводе.

Не пришлете ли нам книжку стихов Нины Леонтьевны? — Речь идет о книге: *Манухина Нина.* «Не то...». Лирика. Кашин, 1920. Жена Шенгели, Нина Леонтьевна Шенгели, выпустила свою книгу под фамилией первого мужа.

Не пригодится ли перевод «Моего завещания» Юлиана Словацкого? — вошел в сборник «Классические розы».

9. *Лилия Брик, говорят, поместила интересную статью...* — В мемуарном очерке Лили Брик «Маяковский и чужие стихи», который упоминает Северянин, говорится о том, что Маяковский хорошо знал поэзию Северянина и любил по разным поводам цитировать его стихи.

Пишу воспоминания о Маяковском. — «Заметки о Маяковском». Впервые: Таллин. 1988. № 5.

11. *Саркюль*— деревушка вблизи Нарва-Йыесуу.

...ее ребенок, девочка девяти лет... — дочь В. Коренди и П. Коренева Валерия (1931—1983).

12. *Вад<им> Габр<иэлевич>* — В. Г. Шершеневич.

15. *...читали ли Вы его <Белого> «Первое свидание».* — Поэма Андрея Белого пользовалась в те годы большой популярностью в литературных кругах Эстонии.

16. *Передайте Асееву мои искренние поздравления с премированием его романа...* — Речь идет о повести в стихах «Маяковский начинается» (М., 1940). В 4-й главе «Проба голоса» упоминается Северянин: «Тогда новолуньем всходил Северянин, / опаловой дымкой / болото прикрыв».

19. *...стихотв<орение> о Н. Н. Гончаровой...* — «125» («Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!..»), вошло в книгу «Классические розы» (1931).

И. К. БОРМАН
(с. 244)

Борман Ирина Константиновна (псевд. ИрБор; 1901—1985) — поэтесса, жила в Шмецке (Эстония), близкая знакомая Северянина с 1923 г. Ей посвящены стихотворения «Стихи сгоряча», «Ты вышла в сад», «Маленькая женщина» и др. Письма Северянина к И. К. Борман печатаются по рукописи.

7. *Михаил Константинович* — брат И. К. Борман.

9. *И. Х.* — Иван Харитонович Степанов.

12. *А.* — возможно, Антонина Егорова (1904—1990), младшая сестра И. К. Борман. По предположению Л. Городицкого, ей в 1930 г. посвящены стихи Северянина «Бей, сердце, бей...».
...черездур «атлантидно» — т. е. «катастрофично» (см. в письме № 15 о кн. «Тайна Запада. Атлантида — Европа» Мережковского, 1930).

15. *Стареющий поэт* — так названо стихотворение, навеянное Ириной Борман.

17. *Дуся* — Евдокия Владимировна Штрандель.
Грациэлла — Г. Брейтвейт, гостья из Лондона.

19. *«Дочь Альбиона»* — Г. Брейтвейт.

В. И. НЕМИРОВИЧУ-ДАНЧЕНКО
(с. 258)

Немирович-Данченко Василий Иванович (1844/45—1936) — писатель, путешественник, военный корреспондент во время русско-японской и Балканской войн, автор около 250 книг. Эмигрировал в 1921 г. в Берлин, с конца 1922 г. жил в Праге, где встречался с Северяниным в 1925 г. Письмо Северянина написано по случаю 85-летия В. И. Немировича-Данченко, которое отмечалось 4 января 1930 г. (23 декабря 1929 г. по старому стилю). Публикуется впервые по рукописи (РГАЛИ).

М. С. МИЛЬРУДУ
(с. 260)

Мильруд Михаил Семенович (1889—1942) — редактор, до революции сотрудничал в «Русском слове» и «Киевской мысли». После эмиграции работал в газете «Сегодня»(Рига) и вел переписку с авторами. В газете «Сегодня», выходившей в 1919—1940 гг., Северянин публиковался 185 раз, он

получал небольшую стипендию от издателей. Газета печатала рецензии, информации и другие материалы о поэте, прежде всего, написанные Петром Пильским.

В связи со сменой издателя и банкротством издательства М. С. Мильруд вынужден был сообщить Северянину 11 апреля 1931 г.: «Дорогой Игорь Васильевич. Издательство наше возложило на меня неприятную миссию обратиться к Вам с настоящим письмом, которое Вам, к сожалению, особого удовольствия не доставит.

Дело в том, что экономический кризис, охвативший Латвию и соседние страны, давно уже дает себя чувствовать и в деле нашего издательства. Очень пали объявления в газете и начинает сокращаться тираж. Все это вынуждает наше издательство пойти на сокращение расходов. В этом отношении давно уже пришлось предпринять ряд неприятных шагов. Сейчас это сокращение касается и Вас. С 1 мая с. г. мы вынуждены будем прекратить Вам уплату обычного жалования. Это не значит, что мы хотим сокращения Вашей работы у нас, по-прежнему мы очень рады будем возможности печатать Ваши стихи, но они будут оплачиваться построчно (30 сант<имов> за строку), а не входить в счет жалования, как это было до сих пор.

Повторяю, мне крайне неприятно сообщать Вам об этом, но, к сожалению, другого выхода у нас пока нет. Сердечный привет от всей редакции».

5. Рискнул заделаться издателем. — Речь идет о книге «Адриатика» и ее рекламе в газете.

С. И. КАРУЗО
(с. 265)

Карузо София Ивановна (урожд. Ставракова; 1893—1985) познакомилась с Северяниным весной 1915 г. в Харькове на одном из «поэзоконцертов». Выйдя замуж за офицера царской армии графа А. Г. Карузо, она в 1920 г. с мужем и сыном Игорем эмигрировала. С. И. Карузо узнала из газет о выступлении Северянина в Париже в феврале 1931 г. и написала ему из Брюсселя. Письма Северянина были переданы Софьей Ивановной в Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН.

Семь из тридцати четырех писем печатаются по: *Северянин Игорь.* Соч.: В 5 т. / Сост., подг. текста, коммент. В. А. Кошелева и В. А. Сапогова. СПб., 1996. Т. 5. Полностью опубликованы в: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома за 2005 г.

..я писал о Вас стихи. — речь идет о стихотворении «Лилия в море» (Впервые: Сегодня. Рига, 1930. 24 мая).

С. И. СТОДУЛЬСКОМУ
(с. 278)

Стодульский Семен Ильич – писатель, автор стихотворной книги «Испытания любви» (Кишинев, 1923). В 1933 г. познакомился с Северяниным во время выступлений поэта в Бессарабии, был одним из организаторов журнала «Золотой петушок» (вышло три номера). Из переписки Северянина и С. И. Стодульского сохранилась лишь одна открытка, опубликованная в статье Михаила Хазина «Пушкинские мотивы» (Кодры. Кишинев, 1983. № 3. С. 61). Печатается по тексту журнала.

Ф. М. КРУУТ
(с. 279)

Круут Фелисса Михайловна (1902–1957) – дочь тойлаского крестьянина, в декабре 1921 г. стала женой Северянина, 1 августа 1922 г. родила сына Вакха. Писала стихи по-эстонски и по-русски, делала подстрочники для Северянина, участвовала в его поэзовечерах под псевдонимом «Ариадна Изумрудная», сопровождала Северянина в зарубежных поездках. Фелиссе Круут посвящены книги «Фея Eiole» и «Менестрель», стихи «Девятое октября», «Дороже всех», «Поющие глаза», «Любовь коронная», «Сперата» и др. Письма Северянина написаны после того, как в начале 1935 г. он вынужден был уйти жить к В. Б. Коренди, близкие отношения с которой стали причиной семейного разрыва.

Письма Северянина к Ф. М. Круут хранятся в Литературном музее Эстонии. Опубликованы в кн.: *Петров М.* Донжуанский список Игоря Северянина. Таллинн, 2002. Печатаются по данной публикации.

4. *А. Э.* – Александр Эдуардович Шульц, редактор газеты «Вести дня».
Л. Т. – Лидия Тимофеевна Рыкова.

5. *Евдокия Владимировна* – Е. В. Штрандель.

13. *Линда* – Л. М. Круут.
Л. Ю. – Лина Юрьевна Круут, мать Ф. М. Круут-Лотаревой.

К. ВЕЖИНСКОМУ
(с. 289)

Вежинский Казимир (1894–1969) – польский поэт. Открытое письмо Казимиру Вежинскому входило в рукопись «Уснувшие весны. Критика. Мемуары. Скитания» (РГАЛИ). Опубликовано в кн.: *Северянин И.* Тост безответный / Сост. Е. Филькина. М., 1999. С. 506. Печатается по рукописи.

В. А. РОЖДЕСТВЕНСКОМУ
(с. 291)

Рождественский Всеволод Александрович (1895—1977) — поэт, участник второго «Цеха поэтов», автор сборников «Гимназические годы» (1914), «Земное сердце» (1933), «Окно в сад» (1939). Письма Северянина опубликованы во вступительной статье В. А. Рождественского к собранию стихотворений Северянина (Б-ка поэта. Малая серия. М., 1975).

КРИТИКА

«КРИТИКА О ТВОРЧЕСТВЕ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА»
(с. 295)

Книга, в которой из «всего невероятного количества газетных и журнальных статей» о поэте дано «несколько характерных моментов Северянинского “успеха”», вышла в свет в 1916 г. в издательстве В. В. Пашуканиса и стала важным этапом в осмыслении творчества поэта.

Северянин задумал издать эту книгу, скорее всего, невольно подражая Сологубу, которого считал «самым изысканным из русских поэтов». Книгу «О Сологубе. Критика, статьи и заметки» (СПб., 1911) издала жена Ф. Сологуба — А. Н. Чеботаревская. Вскоре, в октябре 1912 г., Северянин познакомился с Сологубом, который стал ему самым близким из современников после К. М. Фофанова.

Однако книга о Северянине существенно отличалась от книги о творчестве Сологуба, которая составлена только из положительных отзывов. В «Критике о творчестве Игоря Северянина» представлена «вся гамма критических отношений от самого восторженного и до резко отрицательного, граничащего с простейшей руганью». Кроме того, издатель книги В. В. Пашуканис счел необходимым предложить трем авторам, В. Я. Брюсову, С. П. Боброву и Р. Ф. Брандту, подготовить специальные статьи для этого издания.

Валерий Брюсов, отзывами которого «в значительной степени был создан успех Северянина», дал их окончательную сводку в особой статье, открывающей сборник. С. П. Бобров в статье «Северянин и русская критика» представил «историю отношений Северянина и критики», обобщив наиболее характерные отзывы (упомянуто около ста публикаций). «Их много, этих листков, — замечал С. Бобров. — Их такая масса, что, если бы перепечатать все, — вышло бы томов десять хорошо убористой печати». Известный славист, московский профессор Р. Ф. Брандт, человек старшего поколения, написал филологическое исследование о словотворчестве Северянина.

Книга открывалась портретом Северянина в духе Оскара Уайльда и «Автобиографической справкой» (см. первый раздел наст. книги). В центральном разделе «Рецензии» помещено четырнадцать работ, в том числе А. Измайлова, З. Гиппиус (под псевд. А. Крайний), Иванова-Разумника, В. Гиппиуса, А. Амфитеатрова.

Неудивительно, что вскоре появилась критика «Критики о творчестве Игоря Северянина». Рецензируя книгу, Борис Гусман справедливо заметил множество противоречий не только разных критиков в оценке одних и тех же стихотворений (напр., «Очам твоей души» в рецензиях Амфитеатрова и Иванова-Разумника), но и в оценках одного и того же критика (ср. отзыв В. Брюсов о сб. «Громокипящий кубок» — «истинная поэзия» и «недурные стихи») и пришел к выводу, что «господа критики не выдержали очной ставки».

«...Игорь Северянин со своими необычными успехами, взлетами и падениями явился блестящей, совершенно исключительной мишенью для этих близоруких охотников. Это состязание с удивительной ясностью доказало, что только любовь или ненависть должны руководить пером критика. Сухая объективность, серое беспристрастие оказались для критика путеводителями совершенно непригодными».

На самом деле, очная ставка критиков явила не столько лицо самой критики, сколько противоречивую, сложную и новаторскую поэзию молодого мастера, творчество которого в самом начале его пути стало предметом сотен критических откликов и научных изысканий.

В. В. Пашуканис. От издателя.

Пашуканис Викентий Викентьевич — см. о нем в примечаниях к письмам.

В. Я. Брюсов. Игорь Северянин.

Статья написана Брюсовым специально для этой книги.

Брюсов Валерий Яковлевич — см. о нем в примечаниях к письмам.

Сергей Бобров. Северянин и русская критика.

Обзор С. Боброва написан специально для этого издания.

Бобров Сергей Павлович (1889—1971) — поэт, прозаик, критик, литературовед, теоретик стиха, переводчик, художник. Важную роль в творческой жизни С. Боброва сыграло его знакомство с В. Брюсовым и А. Белым.

РЕЦЕНЗИИ
(с. 319)

П. Петропавловский. Памяти К. М. Фофанова. — Впервые: Голос. Ярославль, 1913. 17 мая.

И. В. Игнатьев. Игорь Северянин. К выходу в свет его «Качалки грёзерки». — Впервые: Петербургский глашатай. 1912. 11 марта.

Игнатьев Иван Васильевич (Казанский; 1892—1914) — поэт, критик, теоретик футуризма, издатель. В 1911—1913 гг. в газете «Нижегородец» вел отдел театральной хроники и привлек к сотрудничеству поэтов-футуристов.

Познакомился с Северяниным в конце 1911 г. Северянин посвятил ему статью «Газета ребенка (И. В. Игнатьев и его “Петербургский Глашатай”)» (1924), где описал историю первой хвалебной рецензии И. В. Игнатьева на его книгу «Пролог эго-футуризм» (Нижегородец. 1911. 17 нояб.; за подписью «Ивей»). Известно несколько рецензий И. Игнатьева на стихи Северянина (Нижегородец. 1911. 1 дек.; Петербургский глашатай. 1912. 11 марта и др.).

В романе «Колокола собора чувств» Северянин так описал Игнатьева: «Иван Васильевич Игнатьев, / Эгических издатель книг, / Любимец всех моих собратьев, / Большой проказник и шутник...».

В начале 1913 г., после разрыва Северянина с эгофутуристами, Игнатьев возглавил группу под названием «Ассоциация эгофутуризма». Издал книгу стихов «Эшафот» (1914) и работу «Эгофутуризм» (1913, 1914). Вместо поездки в Симферополь, где его ждал Северянин, Игнатьев, бывший, по словам Северянина, принципиальным противником брака и женоненавистником, неожиданно женился на состоятельной девушке и сразу после своей свадьбы покончил с собой 20 января 1914 г.

De voir venire — предугадывать, видеть издалека.

А. Измайлов. Красавица, нюхающая табак. — Впервые: Русское слово. М., 1913. 16 мая. Посвящена первому изданию книги «Громокипящий кубок» (4 марта 1913 г.).

Измайлов Александр Алексеевич (1873—1921) — литературный критик, поэт, прозаик. Наибольшую известность получил как литературный критик. Почти 20 лет был «присяжным» критиком «Биржевых ведомостей». А. Измайлов был в дружеских отношениях с К. М. Фофановым, который познакомил его с Северяниным.

А. Измайлов неоднократно выступал с рецензиями на книги Игоря Северянина. Кроме опубликованных в книге «Критика о творчестве Северянина» см. также: Ученик учителя // Русское слово. 1914. 7 июня; Темы и парадоксы // Биржевые ведомости. 1915. 27 апр. и др. До выхода книги «Громокипящий кубок» отзывался о творчестве Игоря Северянина резко отрицательно как о «рецидиве декаданса» (см.: Русское слово. 1911. 5 авг.; Новая жизнь. 1911. 22 авг.).

А. Измайлов. Принцесса Грёза («Златолира» Игоря Северянина). — Впервые: Русское слово. М., 1914. 14 марта.

Антон Крайний. О «Я» и «что-то». — Впервые: Новая жизнь. 1913. № 2. Февраль.

А. Крайний — псевдоним *Гиппиус Зинаиды Николаевны* (1869—1945) — поэт, прозаик, критик. Жена Д. С. Мережковского.

«Талантливая» и «зоркая» манера мемуаров и статей «декадентской мадонны», «слегка небрежный и капризный говорок ее повествования» ярко охарактеризовал В. Ходасевич.

Короткая заметка о Северянине не является рецензией на какую-либо конкретную книгу и отражает «живое лицо» самой Гиппиус, которая «наблюдает зорко», но «со своей точки зрения».

Сем. Рубанович. Поэт-эксцессер. Прочитано на вечере поэз Игоря Северянина в Политехническом музее в Москве 31 января 1915 г. Впервые опубликовано в книге «Критика о творчестве Игоря Северянина».

Рубанович Семен Яковлевич (ум. 1932) — поэт.

Иванов-Разумник. «Мороженое из сирени». Впервые: Заветы. 1913. № 3. Март.

Иванов-Разумник (наст. фам. Иванов) *Разумник Васильевич* (1878—1946) — критик, литературовед, социолог. Печатался с 1904 г. С сент. 1912 до авг. 1914 г. — ведущий критик и фактический руководитель литературного отдела журнала «Заветы». Отличался большой эрудицией и чутко улавливал приметы литературного процесса. После 1917 г. примыкал к левым эсерам. В 1941 г. оказался на территории, оккупированной немецкими войсками (г. Пушкин), затем жил в Германии.

Название рецензии на книгу «Громокипящий кубок» дано по заглавию ее второго раздела.

Владимир Шмидт. Игорь Северянин. Впервые: Северные записки. 1913. Декабрь.

Вл. Шмидт — автор очерков о творчестве Гоголя, Ропшина, Шагинян и др.

Владимир Гиппиус. Русская хандра. Впервые: Речь. 1913. 24 июня.

Гиппиус Владимир Васильевич (1876—1941) — поэт, прозаик, критик, педагог. В статьях о современных писателях 1910-х гг. критик отмечал «охлаждение любви и вялость сердец».

Александр Амфитеатров. Человек, которого жаль. — Впервые: Русское слово. 1914. 15 мая.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938) — прозаик, публицист, фельетонист, литературный и театральный критик, драматург, автор сатирических стихов. Сын В. Н. Амфитеатрова — протоирея, впоследствии настоятеля Архангельского собора в Московском Кремле. Окончил

юридический факультет Московского университета. Учился пению (в т. ч. в Италии), два сезона пел в Тифлисе и Казани.

Амфитеатров особенно прославился как фельетонист. До революции его политические фельетоны имели большой общественный резонанс и их автор был не раз за них сослан. В обширной критике выделяются яркие портреты А. Н. Толстого, М. Горького, Л. Н. Андреева.

До революции Амфитеатров более десяти лет жил в Италии и Франции. В ноябре 1916 г. вернулся в Россию. Октябрьскую революцию встретил враждебно. В 1921 г. вместе с семьей эмигрировал. Жил в Италии.

...il prend son bien ou il le trouve... (*фр.*) — он берет свое добро там, где его находит.

Tanto nomini nullum par elogium... (*лат.*) — Никакая хвала не равна такому имени....

Книжник. Пытка с пристрастием. Впервые: Южный край. Харьков, 1914. 23 мая.

Книжник — по сведениям С. Блох, псевдоним И. С. Бланка.

Junior. Художники и критика. Впервые: Русская молва. Пг., 1913. 28 апреля.

См. также за той же подписью: На разные темы // Русская молва. 24 июня.

Junior (псевд. «Юный»; наст. имя и фам. — Гершензон Михаил Осипович; 1869—1925) — историк литературы, философ, публицист, переводчик. Ходасевич вспоминал, что С. Бобров во время работы над обзором критики творчества Северянина прислал Гершензону свою книгу «Новое о стихосложении Пушкина».

Андрей Полянин. Отмеченные имена. Впервые: Северные записки. 1913. № 4. Апрель.

Андрей Полянин (псевдоним Парнок — наст. фам. Парнох Софии Яковлевны; 1885—1932) — поэт и литературный критик. В. Ходасевич в некрологе «С. Я. Парнок» вспоминал: «Ее суждения были независимы, разговор прям» (Возрождение. Париж, 1933. 14 сент.). М. Цветаева в цикле стихотворений «Подруга» писала: «Я Вас люблю! — Как грозовая туча / Над Вами — грех! / За то, что Вы язвительны и жгучи / И лучше всех».

А. Б. <А. Бурнакин?> Двухнедельный удалец. Впервые: Голос Москвы. 1914. 17 апреля.

В 1911—1913 гг. в газ. «Голос Москвы» опубликованы следующие материалы Анатолия Андреевича Бурнакина (?—1932) об Игоре Северянине: *Бурнакин А.* Спящая царевна // 1911. 2 окт.; *А. Б.* Русская литература в 1912 году // 1913. 15 янв. См. также «Литературные заметки» в газете «Новое время» (1913. 20 дек.).

Проф. Р. Ф. Брандт. О языке Игоря Северянина. Работа написана специально для этого издания.

Брандт Роман Федорович (1853–1920) – поэт, переводчик, филолог-славист. Чл.-кор. Петербургской АН с 1902 г. Сын основателя Зоологического музея акад. Ф. Ф. Брандта. Опубликовал статьи «Об "Ивиковых журавлях" в пер. Жуковского», «Воскресающий Наполеон у Лермонтова и в его немецких образцах», «Ф. И. Тютчев и его поэзия» и др. Владея 20 языками, Брандт на многих из них слагал стихи. Особый интерес проявлял к написанию и переводам басен. Снискал репутацию ученого-чудака. Мечтал о переводе русской письменности на латинскую графику с целью удаления лишних букв. В 1900–1910-е гг. активно пропагандировал эсперанто.

Брандт относился к Северянину с явной симпатией. Во время работы над статьей о языке Игоря Северянина ученый написал цикл «Эпиграммы Игорю Северянину», состоящий из семи эпиграмм (1915). Литография с подписью и припиской-примечанием хранится в Отделе рукописей РГБ. Первая из эпиграмм:

Здравствуй, Игорь-златолирник!
То приземец, то эфирник,
Ты красив, разнообразен –
Хоть порой и несуразен.

Николай Гумилев
ИЗ «ПИСЕМ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ»
(отрывки)
(с. 409)

Фрагменты, касающиеся творчества Северянина, печатаются по: Аполлон. 1911. № 5 (о брошюре «Предгрозье»); 1914. № 1 (о книге «Громокипящий кубок»). Впервые Гумилев упомянул о Северянине в журнале «Аполлон» (1910. № 6) в связи с оценкой Львом Толстым стихотворения «Хабанера» из брошюры «Интуитивные краски».

Максимилиан Волошин
О МОДНЫХ ПОЗАХ И ТРАФАРЕТАХ
(с. 413)

Впервые: Утро России. 1911, 5 февраля.

Рецензия посвящена книге поэтессы Марии Яковлевны Папер (1842–1914) «Парус. Стихи 1907–1910» (М., 1911) и брошюре Игоря-Северянина «А сад весной благоухает!.. Стихи» (СПб., 1909).

Название заметки отчасти связано с объявлением на последней странице обложки брошюры Игоря Северянина № 23 «Это было так недавно...» (СПб., 1909): «Портреты автора (4 позы) продаются в фотографии Д. Здобнова (Невский пр., 10)». Комичность объявления отмечалась в газетах. В архиве К. М. Фофанова (РГАЛИ) сохранился карандашный черновик эпиграммы на обложке этой брошюры:

Нарци<с>су

Нарцис<с>, Нарцис<с>!
Кис, кис, кискис!
Ты все любуешься собою.
Четыре позы —
Букет Мимозы,
Ведь это х... почти с
п....ю

К. Ф.

Вопросы стихосложения... — см. примечание к письму № 4 Б. Д. Богомолову.

Гитана... — отрывок из стихотворения «Хабанера» (1), посвященного «Зае Ч.».

Гриневская Изабелла Аркадьевна (1864—1942) — писательница, упомянута Северяниным среди будущих участников его альманаха «Мимоза» (вып. 2. СПб., 1905).

Виктор Ховин
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТИХИ
(с. 416)

Печатается по: Светлый луч. П., 1911. № 5.

Ховин Виктор Романович (1888—1942) — критик, издатель альманаха «Очарованный странник», журнала «Книжный угол». Участвовал вместе с Северяниным, Софьей Шамардиной и Вадимом Баяном в футуристическом турне зимой 1914 г. Ховин выступал с докладами на поэзовечерах Северянина в сезоне 1914—1916 гг. Северянин признавал Ховина наиболее чутким «интуитивным критиком» своего творчества.

Александр Измайлов
ТЕРНИИ СЛАВЫ, ИЛИ СОН В НОЯБРЬСКУЮ НОЧЬ
(с. 419)

Впервые: Биржевые ведомости. 1911. 28 ноября.

Фельетон посвящен выходу брошюры № 31: *Игорь-Северянин.* Пролог «Эгофутуризм»: Поэза-грандиоз. Апофеозная тетрадь третьего тома. СПб.: Тип. И. Флейтмана, 1911. Осень.

На 2-й странице обложки приведенный А. Измайловым текст «От автора».

Федор Сологуб
ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА «ГРОМОКИПЯЩИЙ КУБОК»
(с. 421)

Сологуб Федор (наст. имя Ф. К. Тетерников; 1867—1923) — писатель, одним из первых поддержал Северянина, в октябре 1912 г. устроил вечер Северянина в своем доме, в феврале-марте 1913 г. совершил турне вместе с А. Н. Чеботаревской и Северяниным по 20 городам России.

Владислав Ходасевич
РЕЦЕНЗИЯ НА ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ «ГРОМОКИПЯЩЕГО КУБКА»
(с. 422)

Впервые: Утро России. М., 1913. 16 марта.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939) — поэт, литературный критик, автор книг «Тяжелая лира», «Путем зерна» и др. Присутствовал на первом выступлении Северянина в Обществе свободной эстетики в Москве, в декабре 1912 г. Выступал 15 апреля 1914 г. на поэзовечере Северянина в Политехническом музее с докладом о футуризме.

Осип Мандельштам
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН. ГРОМОКИПЯЩИЙ КУБОК. ПОЭЗЫ
(с. 424)

Впервые: Гиперборей. 1913. № 6. Март. Подпись «О. М.».

Мандельштам Осип Эмильевич (1891—1938) — поэт, автор книг «Камень» (1913), «Tristia» (1921) и др.; входил в группу акмеистов.

Владимир Кранихфельд
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОТКЛИКИ. «80 ТЫСЯЧ ВЕРСТ ВОКРУГ СЕБЯ»
(с. 425)

Впервые: Современный мир. СПб., 1914. № 4.

Кранихфельд Владимир Павлович (1865—1918) — критик, публицист.

Сергей Кречетов
FINITA LA COMEDIA!
(с. 435)

Впервые: Утро России. 1914. 22 марта. Публикуется по указ. источнику с сокращениями, не относящимися к творчеству Северянина (критика произведений Вас. Каменского «Железобетонная поэма» и «Танго с коровами» и стихов Д. Бурлюка, а также полемика с В. Шершеневичем).

Сергей Кречетов (Сергей Алексеевич Соколов; 1878—1936) — поэт, критик, издатель, основатель издательства «Гриф», в котором печатались книги Северянина. Ко времени публикации статьи в издательстве «Гриф» вышло четыре издания «Громокипящего кубка» (4 марта 1913 г.; 26 авг. 1913 г.; 25 янв. 1914 г., 18 февр. 1914 г.) и «Златолира» (4 марта 1914 г.), которую Северянин посвятил жене С. Кречетова, Л. Д. Рындиной.

С. Кречетов высоко оценивал творчество Игоря Северянина и в других работах. Предваряя критические заметки «Среди книг» (Утро России. 1914. 22 февр.), С. Кречетов писал о большинстве рецензируемых им книг современных поэтов: «Если в Игоре Северянине, с его подлинным небом данным талантом, можно еще откуда-то принять его самовосхваления, не прибавляющие, впрочем, ровно ничего к его поэтической ценности, то из этого вовсе не следует, что объявлять себя великим вправе любое ничтожество. Северянин один, Вадимов Шершеневичей меряют гарнцами, как овес». В критических заметках под «Шершеневичами» С.Кречетов подразумевает В. Баяна «Лирический поток» (1914), «Книга Великих», стихи Павла Широкого и Василиска Гнедова (1914); Владимира Горского «Танго» (1914) и др. «Радостью» С. Кречетов называет только одну книгу Владислава Ходасевича «Счастливый домик» (М.: К-во «Альциона», 1914).

Эпиграфы — начальные и заключительные строки из «Поэзы истребления» Игоря Северянина.

...своим недавним «манифестом»... — речь идет о «Поэзе истребления», две недели назад опубликованной в «Утре России» (1914. 8 марта) с подзаголовком «Манифест Игоря Северянина» и следующим примечанием: «“Поэзу истребления” Игоря Северянина следует считать манифестом короля русских футуристов, которым он, с одной стороны, сметает с Парнаса своих лже-последователей, а с другой — утверждает свое родство с русской литературой».

Иван Игнатьев
ПЕРВЫЙ ГОД ЭГО-ФУТУРИЗМА
(с. 438)

Впервые: Орлы над пропастью. Альманах. СПб., 1912.

Дмитрий Крючков
ДЕМИМОНДЕНКА И ЛЕСОФЕЯ
(с. 442)

Впервые: Очарованный странник. Альманах интуитивной критики. 1913. Вып. 1.

Крючков Дмитрий Александрович (псевд. Келейник; 1887—1938) — поэт, входил в Интуитивную ассоциацию эгофутуристов. В сентябре 1913 г. разослал по редакциям «Прелюдный хорал», в котором писал: «Разделяет только Игорь со мной горящий светотрон». В стихотворении «Игорю Северянину» признал поэта создателем «новых созвучий» и «новой неведомой веры».

Корней Чуковский
ФУТУРИСТЫ
(с. 446)

Отрывки, посвященные творчеству Северянина, печатаются по: *Чуковский К.* Лица и маски. СПб., 1914. См. также: *Чуковский К.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1967. Т. 6.

Чуковский Корней Иванович (наст. фам. Корнейчуков; 1882—1969) — критик, писатель, переводчик. Выступал с лекциями и статьями о русских футуристах, в том числе о Северянине.

Василий Львов-Рогачевский
СИМВОЛИСТЫ И НАСЛЕДНИКИ ИХ
(с. 463)

Впервые: Современник. СПб., 1913. № 6 (часть 2-я «Творцы слова»).

Львов-Рогачевский Василий Львович (1877—1930) — критик и литературовед, сотрудничал в журналах «Русское богатство», «Современный мир», вел революционную работу и примыкал к меньшевикам.

Владимир Маяковский
ПОЭЗОВЕЧЕР ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА
(с. 472)

Впервые: Новь. 1914. 23 декабря.

Маяковский Владимир Владимирович (1893—1930) — поэт, драматург, художник. Вместе с Северяниным, Д. Бурлюком и В. Баяном участвовал в турне по городам Крыма в январе 1914 г., о чем Северянин писал в «Крымской трагикомедии». См. также «Заметки о Маяковском» Северянина.

Поводом для статьи стал поэзовечер Северянина в Политехническом музее 21 декабря 1914 г., открытый докладом В. Ховина «Футуризм и война».

Мариэтта Шагинян
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН
(с. 473)

Впервые: Приазовский край. Ростов-на-Дону, 1914. 9 февраля.

Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982) – писательница, автор книги стихов «Первые встречи» (1909), нескольких книг прозы и воспоминаний. Ее стихи «Воскресенье» были напечатаны 6 апреля 1914 г. в пасхальном номере газеты «Утро России» рядом со стихотворением Северянина «Регина». О своих статьях для «Приазовского края» Шагинян вспоминала: «Я писала одним махом, одним дыханьем. Черновики прямо отсылала в "Приазовский край"...».

Виктор Ховин
СКВОЗЬ МЕЧТУ
(с. 480)

Впервые: Очарованный странник. Альманах интуитивной критики. 1915. Вып. 7.

Александр Редько
ФАЗЫ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА
(с. 485)

Впервые: Русские записки. 1915. Кн. 5.

Редько Александр Мефодьевич (1866–1933), писал с братом под именем «А. Е. Редько».

Сергей Седлецкий
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН В ПРОВИНЦИИ
(с. 491)

Впервые: Журнал журналов. 1915. № 18.

А. Оршанин
ПОЭЗИЯ ШАМПАНСКОГО ПОЛОНЕЗА
(с. 494)

Впервые: Русская мысль. 1915. Кн. V. С. 21–27.

Пимен Карпов
ПОЭЗОКОНЦЕРТЫ
(с. 503)

Впервые: Весна. 1914. № 2.

Карпов Пимен Иванович (1887—1963) — поэт и прозаик.

Владислав Ходасевич
ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ
(с. 509)

Впервые: Русские ведомости. 1915. 18 сент.

Вадим Шершеневич
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ И. СЕВЕРЯНИНА «ПОЭЗОАНТРАКТ»
(с. 512)

Впервые: Свободный журнал. Пг.; М., 1915. № 11 (ноябрь).

Шершеневич Вадим Габриэлович (1893—1942) — поэт, критик, создатель группы «Мезонин поэзии», близкой северянинскому эгофутуризму, основатель имажинизма.

Борис Гусман
ОЧНАЯ СТАВКА
(«Критика о творчестве Игоря Северянина» —
Сборник статей и рецензий)
(с. 514)

Впервые: Журнал журналов. 1916. № 5. Подпись «Борис Гу-н».

Гусман Борис Евсеевич (1892—1944) — литературный критик, издатель, автор антологии «100 поэтов. Литературные портреты» (Тверь, 1923).

Михаил Ефимов
НОВЫЙ ПОСТАВЩИК УЛИЦЫ
Игорь Северянин и А. Масаинов. «Мимозы льна»
(с. 520)

Впервые: Журнал журналов. 1916. № 13. Март.

Леонид Фортунатов
КУПЛЕТИСТ НА ПАРНАСЕ
Новый том Игоря Северянина «Тост безответный» (1916)
(с. 522)

Впервые: Журнал журналов. 1916. № 21.

Лариса Рейснер
ЧЕРЕЗ АЛ. БЛОКА К СЕВЕРЯНИНУ И МАЯКОВСКОМУ
(с. 530)

Впервые: Рудин. 1916. № 7. Март. Подпись «Л. Храповицкий».

Рейснер Лариса Михайловна (1895–1926) – писательница, начала литературную деятельность в Петербурге в 1913 г., вместе с отцом выпускала журнал «Рудин» (1915–1916), где публиковала свои стихи и статьи. После революции вступила в ВКП (б) и стала первой женщиной-комиссаром на флоте. В 1921–1923 гг. вместе с мужем, Ф. Ф. Раскольниковым, жила в Афганистане и написала книгу «Афганистан» (1925). Работала в газете «Известия», умерла от тифа.

Мария Моравская
ПЛЕБЕЙСКОЕ ИСКУССТВО
(с. 535)

Впервые: Журнал журналов. 1917. № 10. Март.

Моравская Мария Людвиговна (1889–1947) – писательница, критик, входила в круг авторов журнала «Аполлон», осенью 1911 г. стала членом «Цеха поэтов». Автор поэтических сборников «На пристани» (СПб., 1914), «Золушка думает» (Пг., 1915) и др. В 1917 г. совершила путешествие в Японию, США, затем по странам Латинской Америки.

Александр Дроздов
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГИ И. СЕВЕРЯНИНА
(с. 538)

Впервые: Русская книга. Берлин, 1921. № 2. Подпись «А. Др.».

Дроздов Александр Михайлович (1896–1963) – публицист, прозаик. После революции вступил в Добровольческую армию, через Константинополь выехал в Париж, затем с 1921 г. жил в Берлине. Он издал книги рассказов «Счастье в заплатах», «Подарок Богу», организовал журнал «Сполохи», литературное объединение «Веретено». В декабре 1923 г. Дроздов вернулся в Россию.

Роман Гуль
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ И. СЕВЕРЯНИНА
«МЕНЕСТРЕЛЬ»
(с. 540)

Впервые: Сполохи. Берлин, 1921. № 1.

Гуль Роман Борисович (1896–1986) – прозаик, мемуарист. Учился в Московском университете, после революции вступил в Добровольческую армию, в 1920 г. оказался в Берлине, в 1933 г. эмигрировал в Париж, с

1950 г. жил в Нью-Йорке. Автор книг «Ледяной поход» (Берлин, 1921), «Жизнь на фукса» (М.; Л., 1927) и др.

Константин Мочульский
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН. МЕНЕСТРЕЛЬ. НОВЕЙШИЕ ПОЭЗЫ
(с. 543)

Впервые: Русская мысль. София, 1921. № 8–9.

Могульский Константин Васильевиг (1892–1948) – историк литературы, критик. Окончил Петербургский университет, в 1919 г. эмигрировал и в 1920 г. читал лекции в Софийском университете. В 1922 г. переехал в Париж, сотрудничал в журнале «Звено», газете «Последние новости», был профессором Сорбонны и Богословского института.

Александр Бахрах
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ И. СЕВЕРЯНИНА «СОЛОВЕЙ. ПОЭЗЫ»
(с. 548)

Впервые: Дни. Берлин, 1923. 18 марта. Подпись «А. Б.».

Бахрах Александр Васильевиг (1902–1985) – критик, мемуарист. Учился в Петербурге, в 1920 г. оказался в Берлине, затем в Париже, где слушал лекции в Сорбонне. Дебютировал в берлинской газете «Дни» 19 ноября 1922 г. Посвятил творчеству Северянина еще две заметки: рецензии на книги «Менестрель» и «Миррелия». Главной книгой Бахраха стали мемуары «По памяти, по записям» (1980).

В. Ирецкий
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН (1905–1925)
(с. 550)

Впервые: За свободу! Варшава, 1925. 2 февраля.

Ирецкий (Гликман) Виктор Яковлевиг (1882–1936) – прозаик, журналист, был отчислен из Киевского университета за участие в студенческих беспорядках. Печатался в газете «Речь», после революции опубликовал брошюры «Охранка (Страница русской истории)» и «Романовы (Сколько они нам стоили)». Осенью 1922 г. был выслан из Советской России в Берлин. Выпустил несколько книг прозы, сотрудничал в газетах «За свободу!», «Сегодня» и др.

Евгений Шевченко
КОЛОКОЛА ОРАНЖЕВОГО ЧАСА
(с. 554)

Впервые: За свободу! Варшава, 1925. 6 апреля.

Шевченко Евгений Сергеевич – журналист, в 1921–1932 гг. был одним из редакторов газеты «За свободу!».

Николай Оцуп
СЕВЕРЯНИН В ПАРИЖЕ
(с. 558)

Впервые: Числа. Париж, 1931. № 5.

Оцуп Николай Авдиевич (1894–1958) – поэт, литературный критик. Учился в Петербургском университете и в Сорбонне, входил в Новый цех поэтов, в 1922 г. эмигрировал в Берлин. В конце 1920-х гг. Оцуп переехал в Париж, где стал редактором журнала «Числа» (1930–1934). В том же номере журнала «Числа» были опубликованы пять стихотворений Северянина из книги «Классические розы».

Георгий Адамович
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ
Северянин. «Медальоны». Бухарест, 1934
(с. 560)

Впервые: Последние новости. Париж, 1934. 29 марта.

Адамович Георгий Викторович (1892–1972) – поэт, литературный критик. Учился в Петербургском университете, входил в Цех поэтов. Летом 1923 г. эмигрировал, стал ведущим критиком выходившего в Париже журнала «Звено», а затем – газеты «Последние новости».

ЧЕСТВОВАНИЕ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА
(с. 562)

Впервые: Сегодня. Рига, 1940. Без подписи.

Петр Пильский
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН
35-летие творческой деятельности
(с. 563)

Впервые: Сегодня. Рига, 1940. Январь.

Пильский Петр Михайлович (1879–1941) – критик, публицист (сб. «Критические статьи», 1910). Был ранен на фронте Первой мировой войны. После революции эмигрировал в Бессарабию, с 1926 г. жил в Риге и работал в газете «Сегодня». В статье использована рецензия на кн. «Классические розы» (1931).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

III
КРИТИКА

Игорь Северянин
Царственный паяц

Вера Николаевна Терёхина,
Наталья Игоревна Шубникова-Гусева

Корректор: *В. Н. Немнонова*
Верстка: *С. В. Степанов*
Художественное оформление: *С. А. Гаврилова*

Лицензия ИД № 02417
от 20.07.2000 г.

Сдано в набор 23.08.04. Подписано в печать 26.03.05. Формат 60 × 88 $^1/_{16}$. Бум. офсетная. Гарнитура Optima. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 40,00. Тираж 3000 экз. Зак. № 4000
ООО «Издательство «Росток»
E-mail: rostok_publish@front.ru
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: (812) 323-54-70

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП «Типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12